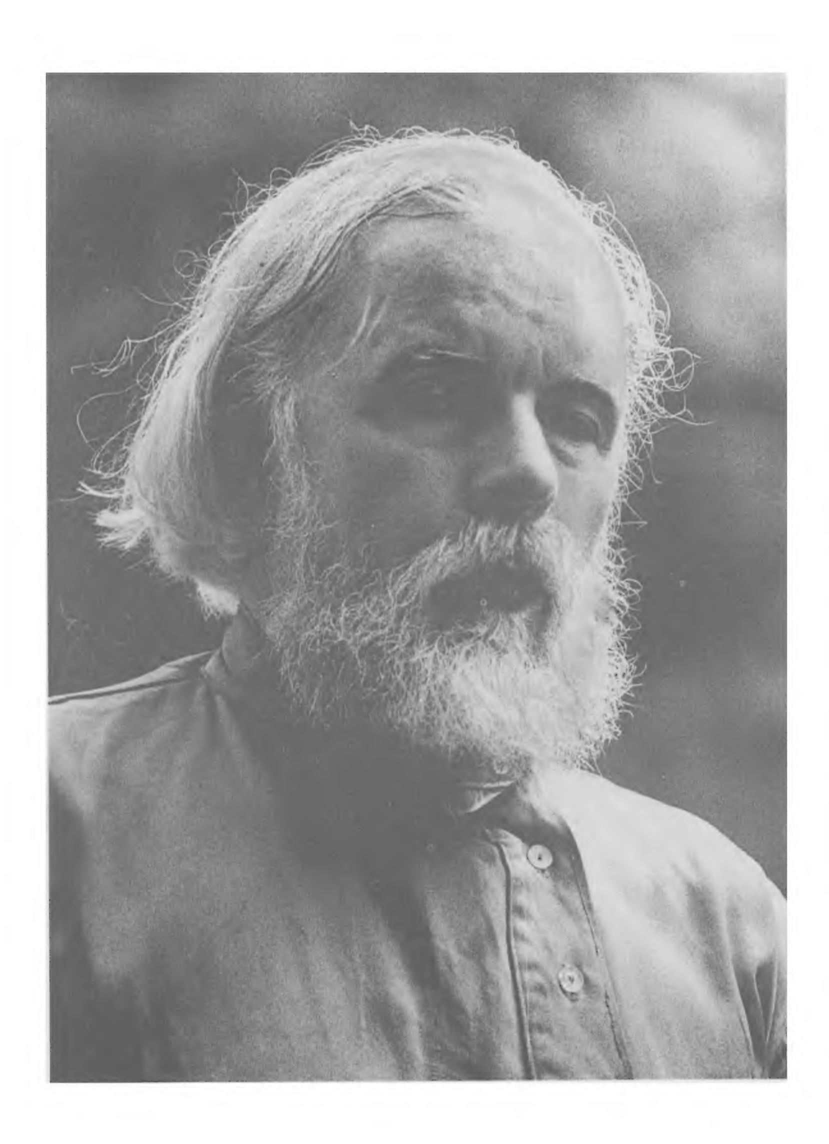
Дмитрий Балашов

1



Дмитрий
Балашов

1

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Москва «Художественная литература» 1991

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Младший сын

РОМАН

Москва «Художественная литература» 1991

ББК 84Р7
Б20

Вступительная статья
Л. ГУМИЛЕВА

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

Б $\frac{4702010201-165}{028(01)-91}$ Подписное
ISBN 5-280-01601-2 (т. 1)
ISBN 5-280-01602-0

БРЕМЯ ТАЛАНТА

Дмитрий Михайлович Балашов принадлежит к тому явному и растущему количественно меньшинству наших соотечественников, которые относятся к истории своего народа небезразлично. Интерес к истории — не всеобщий удел. И все же в том, что люди неодинаково относятся к историческому и культурному наследию, доставшемуся им от предков, нет ничего удивительного. Мы живем в изменяющемся мире, и эти изменения, происходящие не только вовне, но и внутри нас, влияют на наше поведение, хотя осознается такое влияние далеко не всегда. Поэтому в одно время люди изучают свое историческое прошлое без предубеждения, ценят и берегут его, а в другое время — прошлое отбрасывается, подобно ненужным осколкам, им пренебрегают и делают его объектом насмешек. За последние 150 лет у нас в России споров о ценности и значимости отечественной истории было более чем достаточно. И воинствующие нигилисты, видевшие в России лишь «нацию рабов», и ослепленные мифами славянофилы, говорящие о нации-избраннице, «народе-богоносце», были, наверное, одинаково далеки от истины. Главная проблема лежит в иной плоскости. Прежде чем ставить вопрос о холопстве или величии, нужно спросить себя и читателя: что есть сам народ, где корень отношения человека к тому, что он называет историческим прошлым своего народа? Парадоксально, но ближе всех ученых XIX и даже XX в. оказался к ответу на этот вопрос А. С. Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Правда, мнение А. С. Пушкина противоречит всем позднейшим социологическим концепциям этноса, утвердившимся в этнографии в XX в. и видевшим в народе продукт исключительно производственных отношений, общественно-экономических формаций и классовой борь-

бы. Однако взгляд на природу народного объединения, высказанный А. С. Пушкиным, не исчез не только из литературы, но и из научной мысли. Развитие этнографии к концу XX в. логически привело к формированию в нашей науке несоциологического подхода к этносу (народу). Центром такого подхода, предложенного автором этих строк, как раз и является представление о том, что изначально в единый народ людей связывает не производство и потребление, не идеология и культура, а именно чувство, ощущение бессознательной, некорыстной симпатии к другому человеку — «своему». В дальнейшем такие объединения и создают новую этническую традицию, ощущаемую и любимую в потоке единой исторической судьбы народа. Но когда народ в исторических деяниях исчерпывает имеющуюся у него пассионарность[1], этническая традиция разрушается вместе с этносом, члены которого покидают систему и входят в новые, более молодые, формирующиеся этносы. Пассионарная теория этногенеза принадлежит к числу концепций дискретного[2] исторического развития. Сама по себе идея разрывности истории не является новой: еще в I в. китайский историк Сыма Цянь сформулировал ее принцип: «Путь трех царств подобен кругу — конец и вновь начало». Разумеется, в реальной истории конец не всегда знаменует появление начала, но сути проблемы это не касается. Идея дискретности истории существует практически во всех крупных культурах — античной (Аристотель), китайской (уже упоминавшийся нами Сыма Цянь), мусульманской (Ибн Хальдун), европейской (Дж.-Б. Вико и Шпенглер). Она, как правило, не получала всеобщего признания у основной массы как ученых, так и обывателей, свято веривших, что «завтра будет лучше, чем вчера». Но сам факт постоянного возникновения подобных направлений в истории науки показывает, что дискретность исторического развития все же имеет место, хотя и не захватывает «социальных отношений».

Читатель предисловия вправе упрекнуть автора в отходе от темы и даже в саморекламе, но я не могу принять эти упреки, и вот почему. Все сказанное выше о дискретности исторического развития, о пассионарной теории этногенеза имеет к творчеству Дмитрия Михайловича Балашова самое непосредственное отношение: он был первым, и насколько мне известно, остается единственным русским писателем, исповедующим названную концепцию отечественной и мировой истории. В основе балашовского мироощущения лежит не логически рациональная, а именно названная А. С. Пушкиным чувственная стихия любви к Отечеству. Свое краеугольное убеждение писатель прямо сформулировал в одном из романов устами суздальского князя

---

[1] Пассионарность — поведенческий эффект избытка энергии живого вещества биосферы у человека. Подробнее см.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1989.

[2] Дискретный — прерывистый.

Константина Васильевича: «Сила любви — вот то, что творит и создает Родину!» И потому я не побоюсь утверждать, что здесь творчество Д. М. Балашова, будучи сугубо индивидуальным по образу и языку, вплотную примыкает к пушкинской традиции. Не случайно отношение Д. М. Балашова к пушкинским произведениям не только благоговейно-трепетно, но и лишено всякой декларативности: того же «Бориса Годунова» Дмитрий Михайлович помнит наизусть, легко и с удовольствием читает, начиная с любой строфы.

Необходимо, на мой взгляд, отметить и то, что историческая романистика Д. М. Балашова возникла как определенный итог его широкой творческой и общественной деятельности. Писать исторические романы Дмитрий Михайлович начал относительно поздно, будучи уже вполне сформировавшимся, взрослым человеком. Поэтому его писательский труд тесно переплетен с многообразным жизненным и житейским опытом. Понять творчество Д. М. Балашова вне контекста этого опыта — дело безнадежное, и потому я позволю себе остановиться на тех страницах биографии писателя, кои имели для его трудов, как принято сейчас говорить, «судьбоносное» значение.

Дмитрий Михайлович Балашов родился в 1927 г. в Ленинграде. Родители его — это люди вполне творческие и образованные на уровне своего времени: отец был актером ТЮЗа, мать — художником-декоратором. Подростком Д. М. Балашов пережил страшную зиму блокады 1941—1942 гг., которая отняла у него отца. Весной 1942 г. его среди многих эвакуируют из Ленинграда в Кемеровскую область. Вернувшись в 1944 г. в Ленинград, Д. М. Балашов вскоре поступает на театроведческое отделение Театрального института, а затем работает в Вологодской культпросветшколе. В 1950 г. Дмитрий Михайлович возвращается в Ленинград и в течение семи долгих лет пробует свои силы в самых разных областях деятельности.

Резкий поворот в его судьбе происходит лишь в 1957 г., когда Дмитрий Михайлович становится аспирантом одного из ведущих научных центров литературоведения — Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Там он посещает семинары Отдела древнерусской литературы. Но, видимо, чисто академический стиль научного общения оказался тесноват для импульсивного, эмоционального и в лучшем смысле слова реалистичного балашовского характера. По собственному, более позднему признанию Дмитрия Михайловича, ему на этих семинарах «стало скучно». Заметивший это Дмитрий Сергеевич Лихачев посоветовал аспиранту посещать специальные семинары по фольклору, которые вела Анна Михайловна Астахова. Д. М. Балашов последовал совету и на долгие годы нашел себя. Фольклористика русского Севера увлекла его, открыла ему удивительный, неведомый горожанину поведенческий и культурный мир северной русской деревни. Не берусь утверждать точно, но мне кажется, что на европейском Севере трудно указать тот район, который не посетил

бы Дмитрий Михайлович со своими сотрудниками в ходе фольклорных экспедиций. В собирании северного русского фольклора проявили себя и отшлифовались лучшие человеческие качества Д. М. Балашова — трудолюбие, упорство в достижении целей, терпимость, умение верить людям и завоевывать людское доверие. Те, кому приходилось работать бок о бок с ним, рассказывали, что если Балашов узнавал, будто в дальней деревне есть кто-то, знающий старинные песни или бывальщины, то его не могли остановить ни расстояние, ни отсутствие денег и транспорта, ни дефицит времени. Успокаивался он лишь тогда, когда интересующий его фольклор был записан. Эти истовость в работе, безоглядность труда чрезвычайно свойственны Дмитрию Михайловичу, и позже они ярко проявились и в его художественном творчестве.

Но главное, что дала ему фольклорная работа,— это соединение всегда жившей в сердце любви к родной земле с глубокими знаниями специфики образа жизни русского крестьянина. Понимание Д. М. Балашовым истинной сути народных обрядов, приемов труда, отношения к родной природе поразительно. Он не просто обладает знанием деревенской жизни, а наверное, нет такого элемента народной культуры, экологический и социальный смысл которого Д. М. Балашов не смог бы пояснить собеседнику полно и исчерпывающе. Но больше того. По отношению к фольклору, крестьянскому образу жизни Д. М. Балашов никогда не занимал только позицию этнографа-исследователя, рассматривающего «этнографический комплекс как раритет «старой культуры», подлежащий фиксации и описанию в научных целях». Для него образ жизни русской северной деревни, сами стереотипы поведения русского крестьянина никогда не переставали быть незамутненным источником всей национальной русской культуры, стержнем, вокруг которого и развивалась, особенно в ранний период, сама история России. И в этом, на мой взгляд, как ни в чем другом, зримо проявилась мера таланта, отпущенного Богом Дмитрию Михайловичу. Ведь ничто, кроме таланта, не может дать человеку способность отказаться от предубеждений, господствующих в науке или свойственных «своей», замкнутой социальной группе. Д. М. Балашов отбросил сословные интеллигентские предрассудки — и весьма решительно. Приняв для себя экологический и социальный смысл крестьянского образа жизни, он сам как исследователь вошел в тот круг представлений, который позволил ему рассматривать фольклор в качестве элемента более общей системы жизнедеятельности русского крестьянина.

С этих позиций написал Дмитрий Михайлович и свою кандидатскую диссертацию «Древние русские народные баллады». С блеском защитив ее и закончив аспирантуру, Д. М. Балашов снова уезжает из Ленинграда, на сей раз в Петрозаводск. В течение семи лет, с 1961 по 1968 г., будущий писатель работает в Карельском филиале АН СССР. Эти годы не прошли даром: вышли в свет книги Д. М. Балашова,

явившиеся результатом многих экспедиций, долгих размышлений и упорного труда: «Русская свадьба» и «Песни Терского берега Белого моря». Кому довелось или доведется прочесть их, тот легко убедится, что написаны они полно и сильно, поскольку в основе их — любовь автора к своему предмету и глубокие знания о нем. «Русская свадьба» и «Песни Терского берега Белого моря» принесли Д. М. Балашову заслуженную им славу знатока северного русского фольклора. Приглашения выступить приходили не только из разных городов страны, но и из-за рубежа. Позднее Д. М. Балашов прочитает лекции о фольклоре русской свадьбы перед весьма квалифицированными аудиториями в Федеративной Республике Германии, Монголии. Вместе с известностью пришло и относительное материальное благополучие.

Казалось, можно было успокоиться и всю оставшуюся жизнь пожинать плоды, пописывая рецензии да небольшие статьи и пользуясь уважением коллег. Примерам таких решений — несть числа, и кто осудил бы Дмитрия Михайловича, поступи он так? Но Д. М. Балашов поступил иначе. Он приходит к выводу, что просто понять крестьянскую жизнь — недостаточно, необходимо самому жить такой жизнью и собственным примером доказать его правильность и превосходство над привычной суетной жизнью горожан. Я уверен — в принятом тогда писателем решении не было и малой примеси интеллигентской позы, эстетского стремления к оригинальничанию «а-ля рюсс». Напротив, это было в высшей степени органично, ибо в обычае Дмитрия Михайловича стремление дойти до логического конца своих поступков, до той далекой прогнозируемой цели, на достижение которой и сил-то может не хватить. Так фольклор оказался ступенью, побудившей ученого перевернуть всю свою привычную жизнь и на бытовом, и на интеллектуальном уровне.

Поворот интеллектуальный был вызван пробудившимся в Дмитрии Михайловиче интересом к более общей, нефольклорной канве отечественной истории. Дело в том, что Д. М. Балашов не смог ограничиться чисто фольклорной проблематикой. Он настойчиво пытается найти ответ на вопрос: как и когда создался особый мир поведения русского Севера? И поскольку в традиционной фольклористике удовлетворительного ответа обнаружить не удалось, Дмитрий Михайлович вплотную обращается к осмыслению русской истории XIII—XVII вв. Так детальное знание русского быта соединилось со знанием русской истории. И все же в превращении фольклориста Д. М. Балашова в исторического романиста, на мой взгляд, главной была не эта логика жизненных событий, а его человеческие качества.

Будучи делателем по природе своей, Д. М. Балашов и в очередной раз не смог просто удовлетвориться собственным знанием. Стремление талантливого человека поделиться своими мыслями с неведомым читателем, нарисовать для других, а не только для себя выверенную в деталях картину исторического бытия — вот, наверное, та движущая

сила, которой мы обязаны появлением романов Дмитрия Михайловича.

Свое первое произведение «Господин Великий Новгород» Д. М. Балашов начал писать в 1966 г. Вскоре после этого в деревне Чеболакше он пишет и читает своей матери второй роман на ту же тему: «Марфа-посадница» (1972).

Уже в этих ранних вещах Д. М. Балашова явно обозначился талант исторического романиста. Не всякий рискнул бы начать свою литературную карьеру сразу с больших полотен, да еще посвященных такой запутанной и сложной проблеме, как противоборство Москвы и Новгорода в XIV—XV вв. Не всякий решился бы сегодня заставить героев своих произведений говорить на языке, близком к реальному разговорному языку XIV—XV вв. Не у всякого достало бы смелости в 70-е гг. открыто высказаться о благодетельной роли Русской Православной Церкви в истории России. Дмитрий Михайлович сделал все это, сделал сразу и без оглядки, так как всегда был чужд любым формам лжи, конъюнктуры и прямого приспособленчества. И еще одной гранью открылся его талант в романах, посвященных истории Вольного Новгорода. Писатель отнюдь не остановился на уровне логичного и правильного изложения событий. Хотя историческая канва его романов проработана им по-крестьянски основательно и твердо, Д. М. Балашов изначально стремится представить читателю свое видение смысла событий, их причинно-следственных связей. Такое стремление отличает его от других авторов, пишущих на аналогичные темы. К сожалению, куда как часто писатели в исторических романах пренебрегают осмыслением глобальной событийной канвы, предпочитая изложить ее по школьному учебнику. Взамен же читатель получает, как правило, массу любовных сюжетов, перемежаемых бытовыми подробностями. У Д. М. Балашова, напротив, индивидуальная психология и даже интимные сцены точно и плотно увязаны с событиями исторического ряда, составляют многообразный и многоцветный фон. Читатель практически не ощущает разрыва между личной жизнью героев и историческими событиями огромной значимости. Бытовые эксцессы органично вписаны в ткань повествования. Таковы сцены строительства Федором дома («Младший сын»), семейной жизни князя Юрия и Кончаки («Великий стол»), любовных интриг Никиты и боярыни Натальи («Ветер времени»).

Весь цикл этих романов, без сомнения, родился из того же стремления Д. М. Балашова осмыслить отечественную историю с точки зрения пассионарной теории этногенеза. Замысел целой серии под общим названием «Государи Московские» и представляет вниманию читателя настоящее издание.

«Государи Московские» — незаурядный пример в современной отечественной исторической романистике. Несмотря на то что цикл состоит из вполне самостоятельных — сюжетно и композиционно, крупных литературных произведений: «Младший сын» (1977), «Вели-

кий стол» (1980), «Бремя власти» (1982), «Симеон Гордый» (1984), «Ветер времени» (1988), «Отречение» (1990), все вместе они представляют собой целостное художественное полотно, охватывающее огромный и крайне значимый в отечественной истории промежуток времени — с 1263 г. (смерть кн. Александра Ярославича Невского) до середины XIV в. (создание Московской Руси и Великого княжества Литовского). И эта столетняя историческая картина со многими десятками подлинных и созданных воображением писателя лиц воссоздана Д. М. Балашовым ПОГОДНО. Сам Дмитрий Михайлович в послесловии к первому роману «Младший сын» следующим образом сформулировал свою концепцию исторической романистики: «В изложении событий, даже мелких, я старался держаться со всей строгостью документальной, летописной канвы, памятуя, что читатель наших дней прежде всего хочет знать, как это было в действительности, то есть требует от исторического романа абсолютной фактологической достоверности. Поэтому я разрешал себе лишь те дорисовки к летописному рассказу, которые позволительны в жанре художественного воспроизведения эпохи, например, в воссоздании второстепенных персонажей, людей из народа, живых картин тогдашней жизни, которые, однако, также строились мною по археологическим и этнографическим источникам» [1]. Следовательно, принятое писателем определение «роман-хроника» вполне правомерно, но, на мой взгляд, оно все же недостаточно полно. Дело в том, что, придерживаясь летописной фактологической канвы, Д. М. Балашов никогда (а в поздних романах — особенно) не принимает эту канву безусловно. В необходимых случаях (как-то — брак Данилы Александровича, причины плена митрополита Алексия и т. п.) летописные лакуны и политические умолчания дополняются Д. М. Балашовым весьма корректно проработанными и непротиворечивыми версиями. Здесь в романе-хронике появляются и черты исторического трактата, а переход от констатации к осмыслению событий должен быть поставлен в несомненную заслугу автору.

Пользуясь тем обстоятельством, что издательство «Художественная литература» выпускает цикл «Государи Московские» целиком, я не буду утомлять читателя пересказом содержания, ибо пересказ автора предисловия неизбежно вторичен и излишне субъективен. Отнимать же у читателя удовольствие самому проследить за сюжетами романов Д. М. Балашова — дело и вовсе неблагодарное. И потому я остановлюсь лишь на тех моментах исторического и художественного видения Д. М. Балашова, которые, как мне кажется, требуют дополнительного комментария.

Историографический цикл «Государи Московские» — это, несом-

---

[1] Балашов Д. М. Младший сын. Роман.— Петрозаводск, Карелия, 1977, с. 602.

ненно, глубоко самобытное художественное произведение и по замыслу, и по исполнению. Во-первых, в его основе лежит оригинальная концепция исторического становления России, проистекающая из пассионарной теории этногенеза. Потому конец XIII и XIV вв. закономерно рассматриваются Д. М. Балашовым не как продолжение развития Киевской «украсно украшенной» Русской Земли, а как время ее окончательного крушения и одновременно создания при помощи этих обломков совершенно новой культуры и государственности — Московской Руси. Во-вторых, такой взгляд на русскую историю XIII—XIV вв. заставляет автора целиком переосмыслить и роль монголов, отказаться от самого предвзятого мифа в отечественной истории — мифа о «монголо-татарском иге», о «России — спасительнице Западной Европы, заслонившей от диких орд цивилизованные страны». В-третьих, в основу изложения писателем положен строгий хронологический принцип. Отсутствие временных лакун в его рассказе придает масштабность историческому циклу, определяет его значительный объем. Мне кажется тем не менее, что автору нельзя поставить в упрек этой длинноты изложения, ибо иначе охватить события бурного и трагического столетия было бы просто невозможно.

И, наконец, в-четвертых, я хотел бы заметить, что «Государи Московские» выстроены автором, говоря научным языком, «системно». В самом деле, через все шесть романов цикла проходят несколько сюжетных линий. Они выбраны автором таким образом, чтобы создать не просто картину внутренней жизни русского народа в XIII—XIV вв., а увязать ее с широким фоном событий тогдашней мировой политики. В то же время в показе внутренней жизни Руси автор рисует многоцветную картину жизни самых разных сословий. Это и простые ратники (мелкие кормленники) — Михалко и его сын Федор Михалкич («Младший сын»), внук Михалки и сын Федора Мишук («Великий стол») и, наконец, сын Мишука и внук Федора — Никита («Симеон Гордый» и «Ветер времени»). В этом ряду видит Д. М. Балашов основу мощи будущей России, поскольку благодаря усилиям простых ратников, которые «сидят на земле» и защищают эту свою пожалованную князем землю, стоят и торговые города, и богословские споры, и великокняжеская власть. Простые мужики-крестьяне и накрепко связанные с ними мелкие «дворяна-послужильцы», у которых «всего и знатья-то — что сабля да конь», составляют становой хребет будущего Русского государства.

Более высокое служилое сословие Руси — боярство — представлено в цикле «Государи Московские» своей сюжетной линией. С одной стороны, это «старые московские бояре» — Протасий Вельямин, его сын Василий Протасьич и внук Василий Васильич Вельяминов. Все они — держатели «тысяцкого», то есть верховного главнокомандования вооруженными силами Московского княжества. В борьбе за это «бремя власти» им противостоят «бояре — рязанские находники», перебежав-

шие к князю Даниле Александровичу от рязанского князя Константина Васильевича — Петр Босоволк и его сын Алексей Петрович Хвост-Босоволков. Точно так же в борьбе за «бремя власти» противостоят друг другу и две генеалогические княжеские линии. Московская линия — это князья Даниил Александрович, сын Александра Ярославича Невского («Младший сын»), сын Даниила — Юрий («Великий стол»), брат Юрия Московского — Иван Калита («Бремя власти»), сын Ивана — Симеон Гордый («Симеон Гордый») и, наконец, брат Симеона Иван Иванович Красный и его сын Дмитрий («Ветер времени» и «Отречение»). Среди тверских князей на страницах цикла мы видим Святослава Ярославича и его сына Михаила Тверского, их потомков князей Дмитрия Грозные Очи, Александра Михайловича и Михаила Александровича. Прослеживает писатель и смену духовной власти на Руси. Занимающие митрополичий престол Кирилл, Максим, Петр, Феогност и Алексий, пожалуй, принадлежат к числу любимых и наиболее удачно воссозданных автором литературных образов, весьма близких к историческим прототипам по своему поведению.

Обоснованно много места занимает в «Государях Московских» проблема русско-татарских отношений. И здесь художественная заслуга Д. М. Балашова мне видится в том, что длинная череда ханов Золотой Орды изображена им отнюдь не как безликая масса тупых и жадных нецивилизованных насильников, побудительные мотивы которых можно свести только к грабежу, потреблению и похоти. Верховные властители России — ханы Менгу-Тимур, Тохта, Узбек, Джанибек и даже отцеубийца Бердибек — изображены Д. М. Балашовым прежде всего как люди, обладающие своими достоинствами и недостатками, совершающие, наряду с русскими и литовцами, высокие подвиги и подлые преступления. Человеческое лицо имеют и все другие персонажи «Государей Московских», и эта-то запоминаемость помогает писателю решить очень важную и сложную задачу: убедительно связать между собой все сюжетные линии цикла, воссоздать картину общей жизни формирующегося русского народа как единой этнической системы, где сословная разница лишь необходимое условие, форма разнообразия. В самом деле, простые ратники Федор, Мишук, Никита всей немудреной жизнью связаны каждый со «своим боярином» — тысяцким из московского рода Вельяминовых — Протасием, Василием Протасьичем или Василием Васильичем. Это чувство привязанности для «Федоровых» столь велико, что, когда Алексей Петрович Хвост-Босоволков отнимает «тысяцкое» у Вельяминовых, Никита Федоров, желая убить Хвоста из преданности Вельяминовым, уходит служить Хвосту. И на подозрения нового хозяина отвечает гордо: «А к тебе, Алексей Петрович, я не бабы ради и не тебя ради пришел, а с того, что стал ты тысяцким на Москве, а мы, род наш, князьям московским исстари служим!»

Так же понимает свою службу и основатель рода Вельяминовых —

Протасий («Великий стол»). Оскорбленный, ни за что униженный своим бессовестным князем Юрием Даниловичем, от несправедливостей которого бегут во враждебную Тверь его собственные братья, Протасий хранит верность московскому князю даже не ради него самого, а ради города Москвы, ради крестьян, горожан и ратников, которые ему одному верят и его одного любят из всех бояр московских.

Глубоко взаимосвязанным со всеми другими сословиями предстает и духовенство. Уходит в монахи Грикша, брат ратника Федора Михалкича, и становится келарем в Богоявленском монастыре Москвы. Сыновья обедневшего ростовского боярина посвящают себя церкви — это и подвижник Земли Русской преподобный Сергий, и его брат, духовник Великого князя Семена — Стефан. Митрополит Алексий, фактический глава Московского государства при малолетнем Дмитрии Ивановиче, происходит из московского боярского рода Бяконтов. Даже враждующие между собой после смерти Данилы Александровича московские и тверские князья связаны крепче, чем может показаться, долгой вереницей родства, местнических счетов, обид и военных столкновений. Недаром так много сил употребляет князь Семен Иванович, чтобы жениться на тверской княжне Марии, дабы положить конец вражде Москвы и Твери.

И все же самой сложной проблемой, которую затронул Д. М. Балашов в «Государях Московских», несомненно является проблема русско-золотоордынских отношений, вопрос о пресловутом «татарском иге». Пожалуй, ни один из многочисленных мифов отечественной истории не имеет таких глубоких корней в обыденном, народном сознании и научной мысли, как миф о «татарском иге». Принято думать, что поскольку в XII в. Киевская Русь была цветущим государством, а в конце XIII в. находилась в несомненном упадке, то виноваты в упадке монголы, поработившие Русь в ходе «Батыева завоевания» 1237—1238 гг. При этом, однако, начисто игнорируется самое главное — политическая ситуация, существовавшая вокруг Руси и Монгольского Улуса в XIII в. Вкратце изложу данную мной в свое время характеристику коллизии. В конце XII — начале XIII в. создавшееся монгольское государство находилось в состоянии непрерывных военных конфликтов с нежелавшими подчиняться власти Темуджина племенами. Одними из самых упорных врагов монголов были меркиты. Разбитые монгольским войском в 1216 г. на Иргизе, остатки непокорившихся меркитов откочевали к половцам. Половцы приняли их и стали, таким образом, врагами монголов. Борьба с половцами затянулась и была продолжена уже при преемнике Чингисхана — его сыне Угэдее. Еще в 1223 г. монголы, преследуя половцев, впервые соприкоснулись с русичами. Черниговские князья, находившиеся в союзе с половцами, присоединились к ним в противостоянии монголам. Монгольское посольство, прибывшее для объяснения монгольской позиции и согласное с русским нейтралитетом, было русскими князьями истреблено,

причем в числе запятнавших себя убийством неприкосновенных дипломатов был и князь Черниговский и Козельский Мстислав. Вот здесь-то и сыграла свою роль разница в стереотипах поведения между этнически молодыми монголами и представителями умирающей Русской Земли. В условиях славянской обскурации XIII в. убийство посла не считалось чем-то из ряда вон выходящим, ибо политическая практика была полна примеров, когда убивали не только чужих послов, но и своих собственных родственников. Иначе смотрели на подобные вещи монголы, считавшие обман доверившихся (т. е. предательство) худшим из грехов. У монголов XIII в., находившихся в этническом подъеме, получила распространение этика, предусматривавшая коллективную ответственность, в том числе и за предательство, ибо монголы рассматривали способность к предательству в качестве наследственной черты характера. Понятно, что в таких условиях столкновение не на жизнь, а на смерть стало неизбежным. Битва на Калке и уничтожение уже во время Батыева похода населения «злого города» Козельска, принадлежавшего Черниговскому княжеству, показали, что предательство — дело хотя и увлекательное, но не всегда безопасное.

Поход Батыя не выпадал из общего контекста монгольских военных усилий, ибо имел целью выход в тыл половцам, откочевавшим после Калки в венгерскую пушту. Пройдя по Руси «изгоном», монголы не оставляли гарнизонов, и таким образом дань платить было после Батыева похода просто некому. Из 300 русских городов Великого княжества Владимирского монголы захватили лишь 14, а целый ряд городов (Углич, Кострома, Тверь, Ростов и другие), приняв предложенный монголами компромисс, вообще избежали разрушения, связанного со взятием. Что же касается Киева, то этот город к тому времени был сильно ослаблен и разрушен, поскольку выдержал в начале XIII в. несколько осад и разорений от русских князей (1203 — Рюриком Ростиславичем Смоленским, 1235 — черниговскими князьями). Конечно, монгольский поход принес много жертв и разрушений, но такова была тогда каждая военная кампания. Ежегодные усобицы русских князей тоже стоили немалой крови и блага населению не приносили.

Более сложным является вопрос об уплате дани, которая обычно считается наиболее весомым аргументом в пользу «татарского ига». Поход Батыя состоялся в 1237—1238 гг., платить дань Русский Улус начал лишь в 1259 г. Разрыв в два десятилетия заставляет искать других объяснений. Обратимся снова к анализу политической ситуации. После смерти великого хана Угэдея (1241) на ханском троне его сменил Гуюк. К этому времени в самом Монгольском Улусе борьба за власть уже получила достаточное развитие: злейшим врагом Гуюка и был Бату. С воцарением Гуюка у него оставалось мало шансов на победу, ибо его военная сила и материальные средства были крайне ограничены. После ухода других царевичей-чингисидов у Бату осталось

лишь 4000 верных монгольских воинов, и это в стране, население которой было более 6 млн. человек. В такой ситуации о наложении «ига» и речи не могло быть: напротив, Бату крайне нуждался в союзниках из числа русских князей, которые могли бы удержать население от бунта и в обмен на военную помощь пополнять казну хана финансами. И Бату нашел союзника в лице Александра Ярославича Невского. Причин тому было несколько.

Во-первых, князь Александр еще с 1242 г. отчетливо понимал опасность западноевропейской агрессии на Русь. Ему, таким образом, союзники тоже были жизненно необходимы. Во-вторых, будучи Мономашичем, князь Александр во внутрирусской политике противостоял черниговским Ольговичам. А ведь именно черниговские князья и были друзьями половцев и врагами монголов. В-третьих, сам князь Александр Ярославич также был врагом Гуюка, поскольку его отец, Ярослав, был отравлен в Каракоруме матерью Гуюка, ханшей Туракиной. (Туракина поступила так, поверив доносу боярина князя Ярослава — Федора Яруновича.) Видимо, учет всех названных обстоятельств и привел Александра Невского к мысли о союзе с Батыем. Александр поехал в Орду, побратался с сыном Бату — несторианином Сартаком — и заключил договор об уплате дани в обмен на военную помощь. Политика Александра не встретила на Руси всеобщей поддержки и понимания, но даже после его смерти оказалась конструктивной. Так, в 1269 г. орденские войска угрожали Новгороду. При появлении небольшого татарского отряда «немцы замирашася по всей воле новгородской, зело убояхуся и имени татарского». Русь, вернее та ее северо-восточная часть, которая вошла в состав Улуса Монгольского, оказалась спасена от католической экспансии, сохранила и культуру, и этническое своеобразие. Иной была судьба юго-западной Червоной Руси. Попав под власть Литвы, а затем и католической Речи Посполитой, она потеряла все: и культуру, и политическую независимость, и право на уважение.

Дальнейшие исторические события еще более усложнили ситуацию. Поскольку Монолитный Монгольский Улус распался на 3 различные орды (Золотую, Синюю и Белую), каждая из них стремилась первенствовать. Монголы Золотой Орды были немногочисленны и частью придерживались традиционной монгольской веры — варианта митраизма, частью были христианами несторианского толка. Веротерпимость являлась одним из основных стереотипов поведения, принятых в Монгольском Улусе. Считалось, что дело хана — требовать службы, покорности и повиновения, а вопросы совести относились к компетенции личности. Однако купеческое население поволжских городов было в основном мусульманским и стремилось отнюдь не к веротерпимости, а к пропаганде своей веры среди победителей. Ислам, таким образом, тоже начал проникать в монгольскую среду, распространяясь и на ханов. И вот здесь-то и проявилась разница

в отношении к населению Русского Улуса. Ханы-мусульмане (Берке, Тудан-Менгу), естественно, смотрели на христиан Руси как на податное население — «райю» и проводили более насильственную, эксплуататорскую политику. Ханы «монгольской веры» (Бату, Сартак, Менгу-Тимур, Тохта), напротив, соблюдали традиции союза с Русью, ибо активно использовали растущие русские военные силы и в борьбе за власть, и во внешних войнах (Менгу-Тимур — в войнах на Кавказе, а Тохта — в борьбе за власть с темником Ногаем).

Таким образом, до начала XIV в. русско-золотоордынские отношения были крайне неоднозначны и изменялись под влиянием религиозно-политической ориентации золотоордынских ханов и русских князей. Все изменилось в 1312 г., когда новый хан Узбек произвел переворот, провозгласил мусульманскую веру государственной религией и казнил всех царевичей-чингисидов, ценивших свою совесть больше, нежели свою жизнь. С этого момента православная Русь действительно оказалась под игом, но только не «монголо-татарским», а «мусульманско-купеческим», поскольку Узбек опирался на торговое население «сартаульских» городов. Именно с этим игом — религиозным — боролись наши предки до 1480 г.

Однако в начале XIV в. сил для открытой борьбы с Ордой еще не было, и это хорошо понимали московские князья, продолжавшие традицию русско-татарского союза в новых политических условиях. Выплачивая дань — «выход царев», государи московские параллельно положили начало процессу собирания русских земель вокруг Москвы, руководствуясь новыми, заимствованными у монголов и дотоле на Руси не известными принципами устроения власти: веротерпимостью, верностью обязательствам, опорой на служилое сословие. Именно возрождение на Москве монгольских традиций, традиций Чингисхана вело сюда всех тех монгольских и тюркских богатырей, которые не хотели служить Узбеку и его потомкам. Традиции Союза со Степью оказались жизнеспособны и плодотворны, они материализовались в политической практике Московского государства XVI—XVII вв., когда вся бывшая территория Золотой Орды вошла в состав Русского государства. Монголы, буряты, татары, казахи столетиями пополняли ряды русских войск и бок о бок с русскими защищали свое общее Отечество, которое с XV в. стало называться Россией. И потому принятая Д. М. Балашовым в «Государях Московских» концепция русской истории, сколь бы необычной она ни казалась, представляется мне справедливой. «Государи Московские» отражают подлинную, а не мифологическую историю нашей Родины, и потому я осмелюсь рекомендовать эти книги всем, кому судьба Родины небезразлична.

Л. Н. Гумилев

Младший сын

РОМАН

Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих, тогда знаем Историю. Хвастливость авторского красноречия и нега читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории, но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?

Мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему благоденствия еще более, нежели славы, желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия, да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!

Н. М. Карамзин

ПРОЛОГ

О светло-светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами удивлена ты еси: озерами светлымы, реками многоводными, святыми кладезями местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми разноличными, птицами бесчисленными, городами великими, селами красными, садами обительными, домами церковными, князьями грозными, боярами честными, вельможами гордыми — всего еси исполнена земля Русская, о, правоверная вера христианская!

Отселе до у́гров, и до ляхов, и до чехов, а от чехов до ятвяги, от ятвяги до литвы, до немец, от немец до корелы, от корелы до Устюга, туда, где тоймичи дикие, и за Дышущим морем, а от моря до болгар, от болгар до буртас, до черемис, от черемис до мордвы — то всё покорено было Богом христианскому языку, все поганские страны: великому князю Всеволоду, отцу его, Юрью, князю киевскому, деду его, Володимеру Мономаху, которым половцы страшили детей в колыбелях, а литва тогда из болота на свет не вынькивала, а угры твердили каменные города железными воротами, абы на них великий Володимер тамо не въехал, а немцы радовалися, далече будучи за синим морем! Буртасы же, черемисы, вяда и мордва бортничали на князя великого Володимера. И сам кюр Мануил цареградский, опас имея, бесценные дары посылал к нему, дабы и под ним великий князь Володимер Цесарягорода не взял!

А в последние дни настала болезнь христианам, от великого Ярослава и до Володимера, и до нынешнего Ярослава, и до брата его, Юрья, князя владимирского...

О, великая земля Русская, о, сладкая вера христианская!

Горели деревни. Ветер нес запах гари, горький запах, мешавшийся со смолистым сосновым духом и медовыми ароматами лугов. Сухой и тонкий, он лишь слегка, незримо, вплетался в упругую влажность ветра, и все-таки от него, от этого легкого и горького привкуса, першило в горле и сухо становилось во рту, ибо это был запах беды, древней беды народов и особенной беды деревянной, дотла выгорающей в пожарах русской страны. И это же был запах огня, жизни! Но почему так рознятся запахи дыма костров и пожарищ? О жилом, о тепле, о ночлеге и хлебе говорит дым костра, и о смерти, скитаниях, стуже — горький чад сгорающих деревень.

На вершине холма, на коне, что, потягивая повода и тревожно раздувая ноздри, нюхал ветер, тянувший гарью из-за синих лесов, сидел, глядя тяжелыми, в отечных мешках, зоркими глазами туда же, куда и конь, и еще дальше, за синие леса, за озера, в далекие степи мунгальские, русский князь. Он лишь на миг скосил глаза, когда внизу вырвалась вдруг из леса, ломая грудью ельник, ошалевшая от огня и страшного запаха дыма кобыла, и тотчас, следом за нею, выскочил на опушку и побежал по склону холма, кособочась, босой старик, с отдуваемой ветром бородой, в серо-белой некрашеной рубахе и таких же серо-белых, отбеленных солнцем холщовых портах. Мужик бежал, щурясь на бегу из-под ладони, зорко и опасливо глядя вверх, туда, где, темный противу солнечной стороны, стоял на коне князь и чередой тянулись, щетинясь остриями копий и шеломов, ратники княжой дружины. Кто-то из ратных, не выдержав, порушил ряд и поскакал вперехватки, норовя раньше мужика ухватить за повод одичавшую лошадь...

Князь с холма продолжал глядеть вперед. Он знал эту дорогу. Долго будут тянуться, провожая, еловые да сосновые боры, березовые колки, дубовые и кленовые рощи, деревни и города, пашни и перелески, где остались, в чаще лесов, родной Переяславль, княжий стол, златоглавый Владимир. А там, за Муромом, за Окою, шире и шире пойдут поляны в разноцветье трав, по брюхо коню, чернее земля на пашнях, а там, за последними, потерянно прячущимися в приовражьях русскими землянками, начнутся степи, а за ними шумный и разноязычный Сарай, не поймешь: то ли торг, то ли город, то ли стойбище татарское?.. Где рев верблюдов, табуны

коней, амбары, лавки, пыль, иноземные купцы и, среди всего, жалкие глаза русских полоняников. А там, за широкой, как море, рекой Итиль, по-русски Волгой, опять степи, чужие, мунгальские, где уже и не встретишь русского лица, только седой серебряный ковыль под ветром ходит волнами до края неба да изредка промаячат по этому морю плывущие караваны. А там, дальше, редкие сосновые перелески да пески, и цветные, рыжие, красные, зеленые и синие холмы, и снова степи день за днем, месяц за месяцем, и сухая пыль, то жаркая, то ледяная, и горы в мареве, и лица чужие, плоские, широкоскулые, будто трава их рождает так, целиком, в оружии, на диких степных конях. И совсем далеко ставка великого кагана, степной город, составленный из расписных юрт и лаковых разборных дворцов, готовый ежеминутно сняться с места и в реве, в ржании, в глухом и тяжелом, потрясающем землю стуке бесчисленных копыт плыть на новые земли и страны, рушить царства, губить города... Город, откуда так трудно возвращаться живым... Князь смотрел, каменея, за синие леса, за широкие степи, великий князь Золотой Руси!

Он был женат, как и Владимир Святой, на полоцкой княжне. Только не брал ее с бою, как Владимир Рогнеду, и жили хорошо. Свое прозвище «Невский» он получил за малую битву, удавшуюся ему в далекие молодые годы, в те годы, когда только и можно так вот, очертя голову, не собрав рати, с одною дружиною сунуться на неприятеля, уповая лишь на удачу да на нежданность натиска... Свеи опомнились быстро, и, кабы не оплошность Биргера да не удаль молодецкая, ему бы плохо пришлось. После, с немцами, он уже не забывал так себя. А на что ушли прочие годы? На устроение. Он устраивал землю. Для себя. Для своих детей. Вот эту русскую землю топтали татарские кони по его зову. Саблями поганых добывал у родного брата золотой стол владимирский. Добыл. Разоренную, поруганную, в крови и пепле сожженных городов... И устраивал.

И принял руку Батыеву, протянутую ему, и сам протянул руку врагу в час, когда Бату, в споре с Гуюк-ханом, остался один, с малым войском, на враждебной, едва полоненной земле, и мог быть, возможно, разгромлен совокупными силами...

И не пошла ли бы тогда иначе вся история Руси Великой? В союзе с торговым, изобильным, деловитым Западом, с его королями и императорами, книжной пре-

мудростью, замками, рыцарями, каменными городами, учеными-гуманистами?

Думал ли он, что католики Запада могли оказаться еще пострашней мунгальской орды, что, наложив руку на храмы, веру, знание, обратив просторы русских равнин в захолустье Европы, прикрывшись страной, как щитом, от угрозы степей, они предали бы потом обессиленную, отравленную учением своим Русь и бросили ее на снедь варварам Востока, надменно отворотясь от поверженной в прах страны? Или, не загадывая так далеко, просто не почел рисковать неверным воинским счастьем в споре, исход которого был слишком неясен, и, в поражении, грозил обернуться еще горшею бедой? Или — из мести за отца, отравленного в Каракоруме ханшей Туракиной,— решил поддержать он Бату, врага Туракины и Гуюка? Или все это вкупе, быть может, даже и не понятое, а почувствованное сердцем, обратило его к союзу с Ордой?

Ручеек просек каменный склон и стремится вниз, с резвой белопенной радостью рождения. Тут и камня хватит, завала, лопаты земли, чтобы задержать, запрудить, поворотить течение назад, быть может, перекинуть на другую сторону горного хребта... Но вот ручей ширится, вбирая ручьи и реки, обрастает городами, несет челны, поит земли, и уже подумать нельзя, чтобы не здесь, не в этих брегах и не к этому морю стремился мощный поток, тот поток, что когда-то упавший камень, оползень или заступ землекопа могли обратить вспять, и росли бы другие города, и уже иные народы поили иные стада из этой реки, и в иные моря уходили ее струи... И уже стали бы думать — почему? Искать неизбежности, доказывать, что именно так, не иначе, должна была, не могла не потечь река-история, будто история существует сама по себе, без людей, без лиц. Будут говорить о ее непреложных законах, ибо видна река, но не камень, повернувший течение ручья...

Русский князь с тяжелыми властными глазами стоял у истока. Он, возможно, не знал этого и сам, не ведал, что от него, от копыт его скакуна потечет, будет расти и шириться великая страна. Он не знал и не ведал грядущего. Он весь еще был — при конце. Величие, рассыпавшееся по земле, как дорогое узорочье, гаснущий блеск Киевской державы закатным огнем еще осеняли его голову. Но он избрал путь, повенчав Русь со степью узами любви и ненависти, на вечный бой и вечную тоску

по просторам степей. И сейчас, с холма, глядел туда, в эти безмерные дали времени, прозревая и не видя за туманами верст и веков конца своего пути...

Его (он не знал этого) сделают святым. Святым он не был никогда. Был ли он добр? Едва ли. Умен — да. Дружил и хитрил с татарами, не пораз ездил в Орду, в Сарай, и даже в Каракорум, к самому кагану мунгальскому. Но, выбрав свой путь, шел по нему до конца. Себя заставлял верить, что надо так. Останавливал нетерпеливых, не послушал даже Данилы Галицкого. Усмирял Новгород, не желавший платить дань татарам. Усмирил, родного сына не пожалев. Сам гнулся и других гнул. Твердо помнил, как отец умно и вовремя склонился перед Батыем, не пришел на Сить умирать вместе с Юрием — и получил золотой владимирский стол. Отец был прав. Мало радости да и честь не добра, погинуть стойно Михайле Черниговскому!

Так, тяжелой братнею кровью окупленный, кровью не им, а татарами пролитой, решился вековой спор суздальских Мономашичей с черниговскими Ольговичами, спор Юрия Долгорукого, а потом и Всеволода о золотом столе киевском, спор Ярослава Всеволодича, отца Александрова, с тем же Черниговским Михаилом. И вот теперь не Михайло, святой мученик, а прежде того держатель стола киевского, мнивший объяти всю землю русскую в десницу свою,— не Михаил, а он, Александр Ярославич Невский, стал великим князем киевским и владимирским тож. Но горька та власть, полученная из рук татарских, над опустелым, травою заросшим Киевом, над разоренной и разоряемой Черниговскою землей. Горька власть, и тяжка плата за власть — дань крови и воля татарская.

Земля была устроена. Сыновья выросли. Старший, Дмитрий, получит Переяславль, а там, после дядьев, и великое княжение владимирское. Братья, братаничи, ростовские и суздальские своюродники, смоленские и черниговские князья — послушны его воле и под рукой ходят. Земля принадлежит ему, его роду. Даже младший, годовалый Данилка, получит удел — городок Москву, будет чем себя кормить при нужде. Земля была устроена, и дети выросли. И все равно, главного он не сделал. Земля была не своя, чужая. Дымившиеся за лесом деревни платили дань татарской Орде и были подожжены татарами. И отряд-то, верно, маленький,

пожгли и отбежали. Поди, тех баскаков чадь, что избиты по городам...

Самое время, одарив и улестив Беркая, добиться, чтоб самому, без бесермен поганых, собирать ордынские выходы! Дань на своей земле князь должен собирать сам! Пото и разрешил он черни резать и гнать бесермен из Ростова, Ярославля, Углича, Владимира и иных градов и весей. Не слепо, как Андрей, не очертя голову! Там, в далекой степи, встала рать. Орда в брани с каганом мунгальским. За каганьих ясащиков могут нынче и не спросить. На резню по городам, почесть, было получено разрешение золотоордынского хана... Было ли?

Резали страшно. В Ярославле инока-отступника, Зосиму, что принял мухаммедову веру и ругался над иконами, оторвав голову, таскали по городу и не то утопили потом в отхожем месте, не то бросили псам. Резали дружно, в один день и час... Он опять мысленно пересчитал тяжкие узлы с дарами. Но ведь дары можно взять и так, прирезав его, Александра, с горстью ратных! К счастью, пока еще он нужен Беркаю. Нужны русские полки для далекой персидской войны. Полков, впрочем, он тоже нынче не даст, рати с воеводами усланы им под Юрьев, громить немцев. Там они нужнее. Довольно уже русских воев ушло в мунгальские степи да в Китай. Ушло, и не воротилось назад!

Он сумел пережить и перехитрить Батыя. С сыном Батыевым, Сартаком, заключил братский союз. Но ежели там, в далекой степи, его поймут — он пропал и выплатит на сей раз головой тяжкую дань татарскую. Сартак, названый брат, убит. Быть может, и для него это последний поход.

Тяжело весить на весах судьбы своей невесомое! Отца не любили на Руси. И оговорил его у кагана свой же боярин, Федор Ярунович... Братство с покойным сыном Батыевым перевесит ли в Орде пролитую татарскую кровь, когда и на своих-то положиться нельзя? Да и поможет ли братство с покойником перед лицом нового хана чужой, мухаммедовой веры?

Ежели хоть одна из тех грамот, что рассылал он по городам, попадет в мунгальские руки... Ежели там, в далекой степи, поладят друг с другом и снова захотят пролиться на Русь тысячами конских копыт... Ежели Орда откачнется к бесерменам и объявит священный поход на христиан... Ежели Беркай его разгадает — он погиб. И погибнет Русь. Вот этот мужик, что ловит

свою кобылу... А об ином и думы нет. Сколько их бредет, с гноящимися ногами, бредет и пропадает костью в великой степи!

Ратник уже успел поймать крестьянского коня и теперь насмешливо глядел на подбегавшего мужика. Лошадь мелко дрожала кожей, тонко ржала, кося кровавым глазом.

Мужик, в некрашеной посконине, еще бежал, пригнувшись, вверх по скату холма, косо загребая твердыми, в бугристых мозолях, растоптанными стопами колкую с прошлогодней косьбы, сухую затравеневшую землю, и на бегу все вскидывал руку лопаточкой, пытаясь, защитив глаза от солнца, разглядеть князя, но уже чуялось, что и сам не знает, догонять ли лошадь или, спасая жизнь, стремглав кинуться назад, в лес.

Князь чуть повел шеей и краем глаза увидел, как Ратша повелительно кивнул ратнику, и ратник, по каменной спине князя мигом догадав, что дал маху, толкнул стременами бока своего скакуна, дергая упирающуюся кобылу: «Но! К хозяину идешь, шалая!» — с нарочитым безразличием подъехал к остоявшемуся мужику, верившему и не верившему нежданной удаче, и протянул тому конец веревочного повода. Мужик вздрогнул, чуть не оплошав, попятился, но успел-таки поймать прянувшую вбок кормилицу. Под тяжелым взглядом полуприкрытых отекшими веками глаз ратник отпустил повод, и мужик, смятенно озираясь на князя, торопливо вскарабкался на хребет лошади и так, охлюпкой, погнал ее скорее в лес, туда, где таял в воздухе дым догорающей деревни. Ратник воротился в строй. Князь, так и не вымолвив слова, отворотил лицо.

Земля была своя, и зорить ее без толку не стоило.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Александр умер на обратном пути из Орды, не доехав до Владимира, в Городце.

Приставали в Нижнем. Обламывая береговой лед, лодьи подводили к берегу. Бессильное тело больного князя бережно выносили на руках. Тяжелую кладь, казну и товары, оставили назади, ехали налегке — довезти бы скорей! И все одно не успели. От холодного лесного

воздуха родины ему сперва полегчало, но уже под Городцом поняли — не доедет. Остановили на княжом подворье. Обряд пострижения в монашеский сан совершали наспех, торопясь. Священник, отец Иринарх, пугливо взглядывал в стекленеющие очи великого князя владимирского и киевского, все еще не веря тому, что происходило у него на глазах. Властной тяжестью руки Александр паче всего приучил всех верить в свое бессмертие. И вот — рушилось. Русская земля сиротела, и он, Иринарх, перстом Господа был указан для дела скорбного и громадного: отречь от мира надежду и защиту земли. Замешкавшись, он пропустил тот миг, когда последнее дыхание умирающего прервалось и осталось смежить очи, из которых медленно уходила жизнь. Трепетной рукою он коснулся холодеющих вежд, с усилием закрыл и держал, шепча молитву, дабы не открылись вновь, не увидеть еще этот немой, безмысленный, мертвый и страшный взгляд; два холодных драгих камня — грозно оцепеневшие голубые очи великого князя.

Уже за Городцом начались поминальные плачи. Мужики придорожных деревень стояли рядами, крестились, сняв шапки. Бабы плакали навзрыд. На стылую землю с серо-сизого облачного неба оседала, кружась, редкая неслышная пороша. Лужи звонко ломались под копытами и полозьями саней. Молча подъезжали, присоединялись к печальному поезду князья с дружинами из Стародуба, Гороховца, Ярополча. Ближе к Владимиру гроб понесли на руках. Толпы горожан, чернея, оступили дорогу. У Боголюбова, за десять верст от города, где тело встретил митрополит Кирилл с причтом, от народа стало не пробиться. Люди забирались на кровли, лезли на ограду, с горы перли вниз так, что изгороди сметало, точно половодьем. Толпа шуб, сермяг, армяков и зипунов, простых вотол и дорогих опашней, бабьих коротеев и боярских шубеек залила и перехлестнула пути. Кое-где вскрикивала задавленная баба, дуром, на сносях, припершаяся в самую гущу; плакали и сморкались; гомон гомонился: «Братцы! Православные! Задавили! Батюшки! Спаси Христос! Люди добрые! Отдай! Отступи! Спаси, Господи, люди твоя! Заступник, милостивец! Живота лишите совсем!» Выпрастывая с усилием руки, крестились, тискали шапки в руках. Пар курился облаками над морем сивых и светлых, где лысых, где кудрявых голов, над платками,

киками и кокошниками горожанок. Старались не отстать и лезли, лезли вперед, к открытому гробу, туда, где пламя свечей металось от соединенного в ветер людского дыхания, в облака остро пахнущего на морозе ладанного дыма, и тут падали на колени, ползли, тянулись — хоть прикоснуться к краю одежды, к ногам, к скрещенным на груди рукам покойного. Священники, подымая кресты, отодвигали воющую толпу, совестили. Только так можно было, и то медленно, шаг за шагом, поминутно останавливаясь, продолжать шествие. А когда над кое-как укрощенным многолюдьем поднялся митрополит и слабым, но ясно прозвучавшим в морозном воздухе голосом бросил в толпу свои, ставшие знаменитыми в столетьях слова: «Зрите, братие, яко же зайде солнце земли русския!», и народ тысячеустно возопил в ответ: «Уже погибаем!» — и стал валиться на колени, показалось — задрожала сама земля, не выдержав тяжкого колыхания необозримой скорбной громады...

И звонили колокола, и снова, и снова передавалось и росло, и светлело, исторгая потоки слез, словно ветром принесенное, обогнавшее скорбный поезд благовестие: татарского погрома, мщенья за побитых бесермен, коего с ужасом ожидала истерзанная Владимирская земля, не будет, не будет! Мертвый Александр вез на Русь мир.

Потом, тоже разом облетевшее весь город, распространилось известие о чуде. В соборе, во время отпевания, когда приступили ко гробу, дабы вложить прощальную грамоту, покойный сам распростер длань и принял грамоту из рук объятого ужасом митрополита, и вновь сжал десницу,— а был уже девятый день по успении! О том, впрочем, говорил и сам митрополит Кирилл, толкуя чудо как знак святости и великих заслуг покойного перед Господом и языком Русским: «Тако бо прослави Бог угодника своего, иже много тружася за Новгород, и за Псков, и за всю землю Русскую, живот свой полагая за православное христьянство».

ГЛАВА 2

Пышные княжеские терема Всеволода Великого, о которых еще и теперь восторженно вспоминали старики,— с возвышенными, на киевский образец, обширны-

ми сенями, с хороводами гульбищ, вышек, затейливых верхов, сплошь изузоренных и расписных, золотом и киноварью подведенных,— сгорели во время Батыева погрома. Нынешний княжой двор во Владимире был и проще, и бедней. Да и не диво: с каких животов и кому было восстанавливать былую былинную красоту? Каждый князь, получавший владимирский стол, продолжал жить в своем родовом городе, только наезжая по времени во Владимир. Митрополичьи палаты, стараниями Кирилла возведенные на пепелище, выглядели основательней княжеских. Только голые белокаменные соборы по-прежнему возносили свои тяжело-стройные главы над кручей Клязьмы и от соседства понизившихся княжеских теремов прореженного пустырями города стали как бы еще выше, еще стройнее.

Тело Александра до похорон поставили в большой столовой палате. Теперь тут было все убрано и приготовлено к поминальной трапезе. Раздеваясь (прислуга, стараясь быть незаметной, сновала с верхним платьем, подавала гребни, шепотом спрашивала, не нужно ли чего?), проходили в соседнюю, крестовую палату. Здесь, под образами суздальского и новгородского письма, уже стояли — до прихода митрополита не садился никто — князья и княгини из рода Всеволода Великого, Всеволода Большое Гнездо, слетевшиеся на скорбную весть из ближних и дальних городов Владимирской земли.

Александра, вдова Невского, с двухлетним Данилкой, извещенная с пути о болезни мужа, выехала из Переяславля загодя. Весть о кончине застала ее во Владимире. От Боголюбова Александра в рыданиях билась над гробом, в церкви несколько раз падала замертво. Данилка, еще ничего не понимавший, только таращил глазки на золотые ризы, на свечи, на оклады икон, задирая головку на старинные, византийской работы, хоросы, чудом уцелевшие во время пожара и взятия града, когда последние защитники, епископ и княжеская семья задохлись в дыму на хорах поруганной святыни. Поднесенный к гробу, он недоуменно поглядел на мать, а когда его приложили губами к холодному лбу отца, стал упираться, но не заплакал, а только крепче вцепился ручонками в шею поднявшей его кормилицы и снова воззрился вверх. А Александра и на прощании опять завыла в голос.

Из детей Александра не было Дмитрия — не поспел

приехать из Новгорода — да дочери Евдокии, что была замужем за смоленским князем. Старший Александрович, Василий, когда-то любимец, а после новгородских раздоров сосланный и отстраненный отцом от всех дел, угрюмо стоял рядом с матерью, иногда поддерживая шатающуюся Александру под локоть. В свои двадцать три он выглядел уже тридцатилетним. К матери у Василия было горькое чувство: не спасла, не отстояла, во всех семейных спорах всегда становилась на сторону отца. Василий старался не глядеть на младшего брата Андрея. От нынешнего княжеского совета он не ждал для себя добра. Андрей, еще подросток, тоже бычился на Василия: «Поди, захочет теперича забрать отцов удел, будет нам с Митькой тыкать!» Так, дичась друг друга, но не отходя от матери, они прошли и в крестовую палату. Детям Александра предстояло получить (или не получить?) уделы из рук враждующих братьев-дядевей.

Ростовские князья, внуки Константина Всеволодовича, приехали все скопом, с Марией Ростовской, дочерью замученного в Орде черниговского князя Михаила, и держались особняком.

Вотчина Константина уже при его детях распалась на части. Старший из Константиновичей, ростовский князь Василько, был схвачен на Сити и, отказавшись служить Батыю, погиб у Шеренского леса, повешенный татарами за ребро. Братья его — ярославский и углицкий князья — тоже умерли, передав столы потомкам. Теперь на ростовских уделах правили внуки. Из них Роман Углицкий творил богоугодные дела, строил странноприимные дома и больницы, не помышляя о большей власти. В Ярославле сидел «принятым» смоленский княжич Федор Ростиславич, женатый на правнучке Константина Всеволодича. (Властная вдова сына Константинова, Марина Ольговна, и Ксения, ее сноха, пошли на этот брак, не желая, чтобы удел, за лишением мужского потомства, воротился в великое княжение.)

Они все приехали, вдовы и внуки, захватив и правнуков, совсем еще детей. Только «принятого» — Федора Смоленского — не взяли с собою на это семейное печальное торжество.

И здесь, среди вдов, была своя иерархия. Старшей по уделу, по значению и по роду была дочь Михаила Черниговского, вдова Василька Ростовского, Мария.

И ярославская великая княгиня Марина Ольговна первая засеменила ей навстречу. Княгини поцеловались. Марина не утерпела, вполголоса пожаловалась на «принятого», Федора Смоленского.

— Красив! — щурясь, уронила Мария, вспоминая Марининого зятя и обводя глазами собрание. (Борис Василькович и сама она посредничали в этом браке, тоже не хотели отдавать удел Ярославичам.)

— Уж больно красив-то! — вздохнув, возразила Ксения.— Нехорошо. У Маши сердечко тает, а он любит ли, нет — невесть!

— Власть-то он любит! — желчно подхватила Марина.— В ином мои бояре на вожжах не удержат...

— Пойдем, вот и Александра воротилась из церкви! — мягко остановила ее Мария и, тронув за рукав Ксению — «Не сердитесь, мол, что бросаю вас, а — не время нынче»,— пошла навстречу великой княгине владимирской.

Шла прямая, пристойно утупив очи долу, и лишь на миг, невольно, подумалось-колыхнулось в душе: «Так вот! Всякому свой час!» Двадцать пять лет, как погиб муж Марии, князь Василько Ростовский, двадцать пять... И тридцать пять, как они поженились: дочка всесильного тогда черниговского князя Михаила и молодой ростовский князь Василько. И было ему восемнадцать лет, а ей едва исполнилось пятнадцать. Свадьбу гуляли в Москве, на полдороге,— так Михаил настоял, выдерживая честь. Десятого февраля пировали, а утром, в потемнях, полусонную, молодой муж выносил в сани, и — эх! чудо-кони, кони-вóроны двести верст как диво, как ветер пронесли ее за неполных полтора дня. И казалось, то не кони, а муж молодой на руках несет ее сквозь обжигающий солнечный февральский ветер, в голубых проносящихся тенях от стройных елей, в сверкающей россыпи снегов. И двенадцатого уже были в Ростове, в хоромах мужевых. А потом десять лет счастья, короткого счастья! Вечные походы, разлуки вечные, дети один за другим. И вот страшный 1238 год, и развеяна удаль и слава, и муж, любимый, замучен татарами у Шеренского леса... А был он красив, светел лицом и очами грозен, ласков и храбр на охоте и в бою, и из тех бояр, кто его чашу пил и хлеб ел, никто уже не мог служить иному князю. И было ей тогда, молодой вдове, двадцать шесть лет! А через семь лет новое горе, горее прежнего.

Отец, князь Михаил, задавлен татарами в Орде, на глазах у внука, Бориса.

Отец был и не добр, и не прост. Все уже кланялись, чего бы было и ему поклониться Батыю? Да, видимо, не просто-таки! Или опоздал, или мстил Батый за унижение под Козельском, его, черниговским, Михаиловым городом, где простоял без толку семь недель и положил силы несчетно. Или уж у старого отца заговорила гордость древняя, ихняя, черниговская, гордость Ольговичей: тряслась Византия, половцы ходили под рукой, а тут — вонючим степнякам кланяться! Вместо того чтобы враз поклониться Батыю, поехал к западным государям. На Лионском соборе просил помочи на татар. А те тоже отреклись, решили отсидеться, и пришлось-таки ехать к Батыю, который не простил ему ни гордости, ни Козельской осады, ни Лионского собора... Так погиб отец Марии и стал святым, страстотерпцем, мучеником...

Ужас тех дней (Борису в год убийства деда было пятнадцать лет) на всю жизнь заронил в душу этого красивого — кровь с молоком — молодца, нынешнего главы ростовского княжеского дома, страх перед Ордой и желание всегда и везде во что бы то ни стало ладить с татарами. Он и сюда, на снем, приехал не столько ревновать о власти, как втайне хотелось бы его матери, сколько поддержать самого благоразумного из соревнователей.

Родичи, проходя, приветствовали друг друга тихим наклонением головы, говорили вполголоса. Александра, встречая, тоже склоняла голову, скупо отвечала, крепилась. Лишь когда подошла Мария Ростовская, вечная прежняя соперница, вдруг сердцем поняв, как не права была к ней все эти годы, дрогнула, точно сломалось что-то внутри. Обнимая Марию, вдруг зашаталась, повисла у нее на плечах и зарыдала, грубым низким голосом, обливая слезами плечо Марии. И оттого, что та не отвела рук, не отшатнулась, а матерински обняла Александру и гладила ее легкою сухою ладонью, тихо приговаривая слова утешения: «Ну что ты, Шура, крепись, крепись уж! Его воля! Не у тебя одной...» — оттого Александра, распаляясь, рыдала еще громче. Князья отводили глаза, хмурились. Борис было двинулся к ним — мать решительно махнула рукой сыну: отойди, мол! Митрополит Кирилл уже спешил на голос вдовы: утешать надлежало ему.

И, оглаживая рыдающую в голос Александру, Мария прощала ее наконец сердцем за все: за гибель замученного Василька, за отца, убитого Батыем, прощала за себя: легко ли молодой вдоветь четверть века! Прощала за все, провидя, что и той теперь заботы падут нелегкие и жизнь беспокойная, с детьми, что скоро потянут врозь, так что и не помирить их будет самой без заступы митрополита Кирилла, который и сам-то уже ветх деньми.

«Вот он идет, однако!» — Мария ласково отстранила Александру, поворачивая ее зареванным лицом к митрополиту Кириллу. И та, еще вздрагивая всем крупным, отяжелевшим телом от задавленных рыданий, стихла наконец, склонясь перед духовным владыкою Руси.

Наконец по знаку митрополита Кирилла все уселись на опущенных широких лавках вдоль стен под иконами. Это был большой семейный совет, еще без бояр, которые тоже могли и перерешить и склонить своих князей к иному. (Были, впрочем, четверо ближайших бояр Александровых, но держались они в тени, стараясь никак не выставлять себя перед князьями и княгинями Всеволодова дома.) И, разумелось само собой, что, как бы тут ни судили и ни рядили — все отлагалось до ордынского, уже окончательного решения.

Александра, оправившаяся, вымывшая лицо и за ушами холодной водой, поджав губы, недоверчиво вглядывалась в собравшихся. Прежнее отчаяние волнами ходило в груди, но теперь его гасил страх за будущее. Здесь, на семейном съезде, решалось: кто же заступит место покойного? Последнего князя, который сумел удержать в руках всю великую Киевскую Русь, хоть и под татарским ярмом, хоть и отступя из Полоцкой земли под натиском Литвы, и из Киевской — от татарского разоренья, но держал и был. И кто же будет теперь?

ГЛАВА 3

Ярославичи — трое братьев покойного Александра — отчужденно и ревниво ждали княжеского снема. Они не собирались отдавать власть никому. В их руках были Новгород, где сидел сын Александра, Дмитрий, Тверь

и Переяславль, Кострома, Суздаль, Городец с Нижним. В их руках, пока еще, находился и стольный город Владимир.

Андрей, когда-то тягавшийся с покойным за владимирский стол, встретил тело брата еще в пути. Из Костромы примчался младший Ярославич, Василий. Последним прискакал из Твери, верхом, с ближней дружиной, Ярослав Ярославич, второй брат покойного великого князя. Успел к выносу, хоть и не близка Тверь. Деревянно шагая (конь, третий по счету, бешено поводя мокрыми боками, храпел и шатался у крыльца, пятная снег розовой пеной), подошел и молча, хозяйски, остановил поднятый было гроб, даже не глянув на безропотно отступившего в сторону углицкого князя. Дети Ярослава, серые от усталости, спотыкаясь, точно запаленные лошади, ввалились следом за ним. Андрей хмуро и молча кивнул брату. «И детей приволок!» — недружелюбно подумал он. Со смертью Александра прежние союзники волею судеб становились соперниками в споре о власти. Не от одного горя великого загонял коней тверской князь!

Слишком ясно виделось, впрочем, что ростовским князьям не по силам тягаться с Ярославичами. Мелкие князья из бедных Юрьева и Стародуба были совсем не в счет.

Старшим из Ярославичей оказался теперь Андрей, но он после изгнания и примирения с братом сильно потишел, да и обеднел, и место его среди родни заступил следующий по возрасту брат покойного, Ярослав Тверской. Между ними, после первых обрядовых слов, и возгорелся спор.

Ярослав сперва упорно, потом уже сердито упирал на то, что Андрей уже был на великом княжении и уступил место Александру.

— Чего решено, не нам перерешивать стать!

Андрей, сильно сдавший за последние годы,— наследственная болезнь Ярославичей терзала его, сердце порой не давало вздохнуть,— намерился было молчать, но тут не выдержал, взорвался:

— У нас кто силен, тот и прав!

И спор возгорелся.

Митрополит Кирилл смотрел на сцепившихся братьев-князей, на все это собрание большей частью молодых нарочитых мужей, полных задора и сил, и еще ох как неопытных, на это потревоженное гибелью во-

жака гнездо и думал: «Трудно будет с ними! Суетна власть мирская!» Он был другом и правою рукою благороднейшего из князей, когда-либо живших на земле: Даниила Романыча Галицкого, который сейчас, как слышно, умирает в Галиче, не свершив и малой толики дел своих... Да и можно ли их свершить в краткой жизни сей?! Что земная власть без духовной опоры, что есть сила без веры? Понимают ли это они?! Вот над гробом Александра делят ее, мирскую власть, и каждый мнит себя бессмертным. И Андрей, хотя печать смерти уже на челе его, и Ярослав,— долго ли и он проживет и прокняжит? Старый митрополит ясно помнил свою мирскую жизнь, когда был главным хранителем печати при князе Данииле, но как бы про другого человека. Того, прежнего, всего в кипении дел мирских, он рассматривал теперь, как взрослый ребенка, и любил: за старание, за деловитость, за ясную силу письма, за верность Даниилу, но быть им уже не мог, как не может взрослый стать дитятей. Ибо теперь он постигал то, чего в мирской ежедневной жизни человек не разумеет: бренность плоти и даже дел людских, хотя они часто переживают плоть, и вечность духа, что незримо живет в народе, в языке, во всем живом, духа животворящего, им же живы люди, пока они живы, имя коему — Бог.

Андрей сам понимал, пожалуй, что богатая Тверь, неодолимо подымавшаяся на западной окраине земли на путях торговых из Новгорода, Литвы и с низовьев Волги, давно обогнала прочие грады. Тверь, торговая и людная, а не порядок княжений — вот что давало силу Ярославу. Но и его Нижний богател и строился, не в пример строгому пустеющему Суздалю, стольному граду Андрея... Нет, дело было не в том! А в старой обиде, старом споре, разрешенном Александром из Орды, татарскими саблями. Сам не явился небось, приехал чист, миротворец! (Все эти годы старался о том не вспоминать, а тут взяло.) И промолчал бы, кабы Ярослав, давний союзник, не плеснул масла в огонь:

— Помогла тебе свея да немцы твои? Немцы вон, как цесарь Фридрихус умер, все раскоторовали, брат на брата войной идет! У франков паки нестроение великое. Аглицкий круль Генрих с Людовиком рать держат. В Тосканской земле брань велия, гости торговые глаголют: ихний нарочитый град Флорентийский

взяли на щит, дак до Орды ли им? Они только обещать горазды, а на борони их не узришь! Забыл, каково оно поворотилось под Переяславлем-то? Я ить на той рати семью потерял! Детей, жену,— Ярослав всхлипнул, почти непритворно, и возвысил голос: — Где о ту пору были немцы твои?! Сам же ты потом кланялся, и тесть твой крепости разметал на Волыни, как приказали татары!

Не помогла свея; и тестю, Даниле Галицкому, папа римский не помог; и Михаил с Лионского собора привез лишь собственную гибель. Все было так, как сказал Ярослав, и — все же! Поднялся Андрей:

— А вы что сблюли под ярмом татарским? Зрите! В Египетской земле половцы полоненные, коих татары как скот купцам иноземным продавали, взяли власть. И уже от татар персидских отбились! А в Мунгалии резня! А папа римский Даниле той поры помочь предлагал! Египетски половцы, да Данила Романыч, да папа римский, да мы — вкупе и одолели бы степь!

— Половцы в Египетской земле бесерменской веры, бают, да и далеко от нас,— вмешался молчавший доныне углицкий князь Роман.

— А с папой твоим всем бы пропасти заодно! — брякнул Ярослав.— Не знаешь, что мы сблюли под татарами?! Себя сохранили!

— Сохранили веру, сохранили душу народа,— примирительно подтвердил митрополит.

Андрей Ярославич затравленно поглядел в строгое лицо Кирилла, обвел глазами лица братьев и родных:

— Православную веру спасли? Спасли ли?! Какое там православие! Окрест — мордва некрещеная, лопь да чудь, а там... Литва откачнется к Риму. Гляди, и Волынь не выдержит татарских насилий и туда же под Рим уйдет. Да, да! Все лучше, чем под властью хана! В степи мерзнуть, за стадами... Не видели?! Вы там, в Мунгалии, поглядите на русский полон, что, как собаки, просят объедков у ворот Каракорума! На русские кости, что усеяли пустыню!

Андрей губил себя, губил своей речью возможность получить великое княжение и знал это, но ему уже было все равно.

Тут уже пристойно стало вмешаться митрополиту. Впрочем, его опередил епископ Игнатий, напомнивший, что два года назад стараниями Кирилла основана епархия в Сарае и свет православной веры не токмо подает

утешение нужою покинувшим домы своя, но и осияет темные души язычников, из коих иные, подобно Сартаку, сыну Батыеву, уже прикоснулись благодати.

Сартак был другом покойного, и через него как раз, силами Неврюевой рати, Александр и согнал Андрея с владимирского стола. Ростовский епископ не должен был напоминать о нем, и митрополит Кирилл недовольно чуть сдвинул брови. Андрей, как и следовало ждать, вскипел:

— Сумеете ли обратить в христианство язычников, когда сами у них под ярмом? Католики за раздорами нашими давно уже теснят православную веру. Латины Царьград, святыню православную, захватили!

Кирилл легким мановением руки остановил готового возразить Игнатия и сам ответил Андрею:

— Святыни Царьграда паки освобождены от латин цесарем Михаилом Палеологом, и вера православная не угасла! Ведомо то и тебе самому.

Кирилл умолк и подумал, что говорит не то. Надо бы сказать, что страдания и смерть еще не самое страшное. Страшнее — сытое угнетение духа и разномыслие в народе и князьях. Не оттого ли недостало сил одолеть татар? Впрочем, по лицам князей видно было, что им сейчас не до Царьграда, лишь дети с расширенными глазами внимали речам, которые не часто ныне приходилось им слушать, речам, где разом поминались свея и Царьград, Восток и Запад, татары и Рим, Галич и Литва,— размахом той, пышной Руси, еще не знавшей татарского ярма, отсветом великой киевской славы проблеснуло сейчас перед ними... Да еще кто-то из ростовских княжат, в наступившей тишине, громким шепотом, вызвавшим мгновенную улыбку взрослых, спросил:

— Баба! А разве Царьград латины забрали?

— Уже прогнали их! — ответила Мария, привлекшая несмышленыша к своим коленям.— Молчи! Старшие говорят.

Андрей, побежденный спокойным взором митрополита, который как бы смотрел в века и говорил от будущих, скрытых завесою времен, обратился к братьям-князьям, которые, он уже знал, выберут великим князем Ярослава:

— Что ж! Спокойнее из рук татарских получать ярлыки на власть, чем от веча народного?

— А уж о наших делах не мужикам решать! —

возразил Ярослав, заносчиво задирая бороду, и собрание одобрительно зашумело.

— А по мне, мужики лучше татар. Пошумят, да не выдадут! А татары ваши жидам да бесерменам на откуп поотдавали грады русские!

Помолчали. Андрей зарвался. Говорить о прошлогодней резне и о поездке в Орду Александра, отвратившего расплату за эту резню, не стоило при нем, даже при мертвом. Только митрополит спокойно сказал, паки умиротворяя:

— То прошло.

— Прошло ли?! — воскликнул, остывая, Андрей, и опять вопрос-вскрик повис без ответа. Все хотели, чтобы прошло. Не хуже Александра знали, что только тот князь, кто сам собирает доходы с мужиков, с кем бы он потом этими доходами ни делился. «Будем сами собирать ордынские выходы и сами отвозить в Орду!» — ответило молчание.

И это было ужасно. Что соглашались быть рабами, лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани и выходы, а там — что потребуют из Орды: серебро ли, меха ли, хлеб, лес, людей работных, силу ратную... Лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани-выходы. Померкла пышная слава Киевской Золотой Руси!

Счастье тем, кто лег под Коломной и Пронском, кто пришел умирать на Сить и погиб под Шеренским лесом, смертную чару прия, чашу позора не испив... Счастье тем, кто не пережил собственной гордости и прадедней славы не развеял, кто лег со славою в землю отчизны своей!

И утих Андрей. И, согласясь уже на вокняжение на столе владимирском Ярослава, что, впрочем, отлагалось до ханского решения, князья заговорили о своем кровном — земле и уделах.

Тут зашевелились доселе молчавшие, тут-то стало ясно, зачем навезли с собою детей и внучат.

Земля была общая, родовая, и переделялась время от времени в своем роду точно так, как переделялась земля в большой семье крестьянской. Только вместо пашни да пожен, сараев и житниц делили тут села и города, волости и доходы с волостей.

Земля лежала между Окою и Волгой, кое-где отступая от Оки — где были уже рязанские и муромские пределы,— на западе упираясь в Смоленское княжест-

во, и, далеко перехлестнувши Волгу, уходила к северу, ко владениям Господина Великого Новгорода, до Галича Мерского, до Устюга, Белозерска — то все была та же Всеволодова земля. Земля была, как шубою, укрыта лесами, всхолмлена, извилисто перечерчена полноводными реками. В лесах водился зверь всякий: и дорогой соболь, и бобры, и лисы, медведи, волки, вепри и лоси; птица озерная и боровая. В лесах были грибы, ягоды, дикий бортный мед. В реках и озерах — рыба. Земля под лесом почти не знала засух, на пожогах хлеб подымался стеной. Земля была богатая. Бабы по праздникам ходили в серебре. Богатством был хлеб, который шел отсюда и на юг и на север, в Новгород. Золотое зерно. Золотая Русь. За землю эту стоило драться, и владеть ею хотели все.

Земля была княжеской. Княжескими были права: судить, наделять землею или отымать земли, налагать и взымать дани. У всех князей и княгинь были, как и у бояр, свои, личные села, города, земли — опричь тех, что входили в княжение. Сел и земель этих могло быть немного (помнят в Смоленске князя-книголюба, до того истратившегося на покупку книг, что и похоронить его было не на что). Но кроме того — они были князья. И права их, княжеские, не принадлежали больше никому. И правами этими самый нищий князь был сильнее самого богатого боярина, который даже право суда в своих волостях получал не иначе, как от князя, по жалованной грамоте.

Когда появилось оно, это право? Не силой удерживаемое — какая уж сила, когда страну разорили иноверцы! А преданием заповеданное, в сознании народном сущее, что правит всегда князь.

Право это утверждалось древними киевскими князьями, которые мало пили вино да сидели в теремах, чаще мотались в седлах, в бронях, насквозь пропахшие конским потом, и ели конину, едва обжаренную над огнем костра, либо просто сырую, размягченную под седлом, на спине конской. Мотались так, рубились, строили города, покоряли земли и языки, разбили хазар, одолели печенегов, справились с варягами и создали это право, право княжеское — судить и володеть. И стали великими, святыми, древлекиевскими. Отсюда и волость — власть, земля и право в одном слове. И имя было княжеское любимое Володимер, владеющий миром, то есть народом и землей.

Но и еще древнее было оно, право власти. От рода, родовых старейшин, кому в веках сородичи поклонялись, как духам дома, и кого при жизни слушались беспрекословно. Старейшины решали, кому где охотиться и кому где пахать. Изветшали, в войнах полегли вожди племен, и права их на землю и власть на земле переняли князья — Рюриковичи.

И потому они и жили как все, и были как все, а были — князья. Володетели. Ихними были право и суд. Даже дети, собранные тут матерями и бабками, глядели как взрослые, супились. Им будет когда-то также спорить об уделах, как спорят сейчас братья и отцы.

Чуть только Ярослав Тверской заговорил как великий князь и начал делить уделы — загомонили все разом. Никто ничего не хотел отдавать, а потомки требовали дележа земель, и шум стоял неподобный. «Мое!», «Обчее!» — раздавалось и тут и там.

— Вдове Александра — Переяславль, на прожиток до конца дней, и чадам ее с нею! — возгласил Ярослав, надеясь хоть так порешить спор. Но вышло еще хуже.

— Чада не мои, чада обчие! — вскричала, забывшись, Александра.

Василий Костромской не выдержал, прыснул в кулак, и тотчас гулко захохотал Михаил Стародубский, расхмылился сам Ярослав, улыбка тронула строгое лицо митрополита Кирилла. Вдовы лукаво потупились. Ярослав огляделся и увидел вдруг неотступные очи бояр Александровых, их каменные скулы, литые бороды, руки, готовые сжаться в кулаки. Вспомнил, что покойный брат сам назначал уделы детям, и уступил.

— Ищо Москву даю! — сказал Ярослав, помедлив. Александра тяжело дышала, красная лицом. Молча прижимала Данилку к коленям.

— На Москвы спасибо, князь! — сказала сердитым голосом и неприступно поджала губы. (Как не обчие?! Без Александра что бы вы делали все тута! И покойный, царство небесное, а грозу отвел!) Она вспомнила, что князя больше нет, и всхлипнула в голос, стиснув ойкнувшего Данилку.

— Ну ты, Шура, не журись, чад Александровых не обидим! — примирительно прогудел Василий Ярославич. Ярослав молчал, супясь. Митрополит коротко глянул на него, скользом — на вдову и, словно повторяя для вящего вразумления собравшихся князей, начал перечислять:

— К великому княжению отходят, опроче Владимира с пригородами, прежереченные грады по Клязьме, и по Волзе, и по Нерли волости, а такожде псковская и новогородская дани, и черный бор, и иное многое...

Перечень утйшил Ярослава. Кус получался изрядный и без Москвы.

Впрочем, о новгородских доходах говорить было еще рано. «И слава Богу!» — подумал митрополит, возгласив:

— Прошу к столу, помянуть покойного!

В Новгороде сидел Дмитрий Александрович, но было ясно, что, став великим князем, Ярослав не оставит его в покое.

ГЛАВА 4

С того памятного дня прошло пять лет. Как только Ярослав получил ярлык, Дмитрию в самом деле пришлось оставить новгородский стол, причем выслали его сами же новгородцы, не желая ссор с великим князем владимирским. Через год после похорон Александра умер Андрей Ярославич. Ярослав сразу же отрезал от суздальского княжения Городец с Нижним и дал Городецкий удел племяннику Андрею. Дмитрий сидел теперь на Переяславле уже как владетельный князь и ждал своего часа. И хотя был жив брат Василий и еще дядя Василий Ярославич сидел на Костроме, Дмитрий не без основания ждал, что после дяди Ярослава выбор падет на него.

Маленький Данилка пока жил в Переяславле и один оставался неустроенным. Речи о Москве не подымали до времени, хотя и не раз вспоминали смешной возглас Александра: «Чада не мои, чада обчие» — и звали мальчика полушутя «князем московским».

Меж тем в Орде умер царь Беркай, «и была ослаба Руси от насилья татарского». Ханом сел Менгу-Тимур, который увяз в войне с иранскими Хулагуидами и был доволен спокойствием на Руси. Страна могла жить и строиться, хоть и хирели низовские города, хоть и уплывало серебро в Орду, хоть и подрывала персидскую торговлю далекая южная война.

А годы шли, и жизнь текла своею чередой. Ярославу ударил бес в ребро. При взрослых детях же-

нился в Новгороде на молодой боярышне с Прусской улицы, дочери боярина Юрия Михайловича, Ксении Юрьевне. Александра сильно сдала со смерти мужа, располнела, состарилась, стала похожа на купчиху. Дети переставали слушать мать, отмахивались от нее. Александра терялась, плакала и все суетилась, все ездила: во Владимир, Городец, Ростов, Ярославль...

Дмитрию Александровичу, когда его изгнали из Новгорода, шел восемнадцатый год. Воротясь в Переяславль и сев на княжение, он женился, и Данилке, еще плохо понимавшему, что это за тетя у брата Мити, которая иногда играет с ним и дарит игрушки, скоро показали маленькую девочку с забавным красным личиком, объяснив, что это его племянница, Машенька. Впрочем, играть с племянницей, как ему ни хотелось, Данилке не позволяли.

Вскоре после того, как дядя Ярослав женился в Новгороде, у брата Дмитрия появился еще один человечек, теперь мальчик, Ваня, и Данилка, начавший уже многое понимать, долго разглядывал запеленатого племянника, а потом хвастал ребятам, что Митина женка выродила сына и всю челядь в доме угощали два дня и что, когда Митин сынок подрастет, они будут вместе играть.

А еще через год — Данилка уже стал ездить на ученье — исполнилась заветная мечта Дмитрия: его снова позвали новгородцы на войну с немцами и поставили во главе большой рати. Переяславская дружина ушла на север, едва только сжали хлеб.

ГЛАВА 5

С жарких лугов и цветущих гречишных полей пахло медом. Стрекозы, с легким жужжанием, неподвижно висели в воздухе. Данилка стоял в высокой траве, сжимая в потной ладошке щекотно скребущегося кузнечика. Кузнец уже высунул голову с удивленно округлыми глазами и, сердито разводя челюсти, старался вырваться на волю. Данилка был в затруднении. Конечно, можно было отломать кузнецу задние лапки, но тогда он перестанет прыгать, а интересно было, чтоб кузнечик был и целый, и свой. Поэтому он, высунув от усердия язык, уже который раз запихивал вылезающего кузнеца обратно, стараясь вместе с тем, чтобы он не цапнул за палец, а в непрерывно двигаю-

щиеся, с капелькой желтого яда, челюсти совал длинную травинку, и кузнец, глупо тараща глаза, тотчас перекусывал ее пополам.

Иногда ветер задувал с озера, и тогда враз обдавало влажной свежестью, вздрагивали повисшие в воздухе стрекозы, рядами наклонялись метелки высоких, уже выколосившихся трав, шуршал прошлогодний бурьян на склонах, и начинали трепетать на вешалах вынутые из ларей, ради летнего погожего дня, дорогие праздничные одежды. Солнечные зайцы отскакивали от золотого шитья наручей, парчи и аксамита, искрился жемчуг, густел или светлел в пробегающих складках фландрский бархат, что привозили к ним по вёснам богатые новгородские купцы, колыхалась над кланяющимися былинками легкая переливчатая персидская камка.

Оттуда, от вешал, доносится сдержанный говор — пришлые бабы умиляются на княжескую красоту — и, временами, громкое: «Кыш, кыш, кыш, проклятая!» — это дворовая девка отгоняет хворостиной настырную сороку, что с самого утра, вновь и вновь выныривая откуда-то сбоку, подбирается к вешалам, норовя клюнуть полюбившееся ей жемчужное ожерелье материной выходной собольей душегреи.

Данилку, впрочем, все это не интересовало. Уж куда занятнее смотреть, когда дядья, братья и тетки, надевши все эти наряды, торжественные, непривычно строгие готовятся к празднику, приему гостей или выходу в церковь.

Мамка [1] давно уже высматривала княжича и не пораз звала его с высокого крыльца, но мальчик, всецело занятый кузнецом, только досадливо поводил шеей, когда до него доносилось очередное ласковое: «Данилушка!» — и не трогался с места. Не видел он и крестьянина, карабкавшегося к нему по склону Клещина-городка с шапкой в руках. Мужик, большой, черный, неожиданно упал в траву перед ним, и Данилка, выронив кузнечика и уже не разбирая, что выкрикивал ему вслед страшный мужик, опрометью кинулся к терему, взлетел на крыльцо и с маху вцепился в спасительный мамкин подол.

— Блажной, блажной! Бесстужий! Робенка до смерти испугал! Ужо князю-то докажу! Да не ветром ли тя носит, как и подобрался-то?

---

[1] Мамка — кормилица, нянька (*устар.*).

Данилка, уже оправившись от первого страха, опасливо выглядывал из-за мамки, теперь уже с любопытством разглядывая мужика, который и вовсе не был страшный, и даже не черный, а светлый и очень растерянный. Мамка ругала его на чем свет стоит, а он только виновато кивал головой.

— Смилуйся, суда просить пришел! Опять княжевски косари наши пожни отымают!

— К суду, дак к боярину иди! Блажной и есь! — ярилась мамка.— Нешто тя дите оправит?!

— Чево он? — насмелился спросить Данилка, когда мужик, совсем повеся голову и не переставая виниться, попятился от крыльца.

— Пожни, вишь, у них княжевские мужики отняли! Деревни рядом, покумились, почитай, все, переженились, на беседы друг к другу ходят, а пожен век поделить не могут! Ходит и ходит... С Кухмеря он. Уж меря, дак меря и есь, совсем безо смыслу! К робенку ему нать...

Мамка повела княжича кормить, пора была ехать учиться.

Встречу, из горничного покоя, спускался дородный боярин, дядя Тимофей, ключник брата Дмитрия.

— А ко мне мужик приходил сена просить! — похвастался Данилка, глядя снизу вверх на широкое, в холеной бороде, лицо Тимофея. Боярин, как и должно, улыбнулся. (Данилка привык, что все радовались, глядя на него.)

— Что ж, дал ты ему сена?

— Не-е-е...

Данилка потупился, застеснялся, вспомнив свой испуг, хотел было сказать «я убежал», но застыдился и сказал иное:

— Меня мамка позвала!

— Кухмерьской,— вмешалась мамка,— с княжевскими все пожен не поделят. Да вон и по сю пору стоит под крыльцом! Как и на гору залез, прости Господи!

Боярин нахмурился и, проворчав: «В покое не оставят!» — двинулся на крыльцо.

Данилка, капризно увернувшись от мамкиных рук, побежал за ним, и мамка, семеня, заспешила следом за княжичем.

— Ну, ты, подь-ко! — позвал боярин.

— Смилуйся! — слезливо начал мужик, но боярин гневно прервал его:

— Сказано вам не раз! От Кухмерьской реки по старым росчистям да по берегу до борового лесу — то и ваше; от граней, которые я велел награнить самим, полюбовно, с княжевецкими и с купаньскими... Ну? Помню! На вражке, на березе грань, а с той березы на вяз, и вяз на вражке, где раменной лес, а оттоль на Козий брод, и у Козьего брода дуб, и на дубе грань, и дале, до озера, до черного лесу, к Усолью, и у озера на липках грань же!

— Дак тамо как косить — пропастина вязка...

— Пропастина! Сами и того не выкашиваете, знаю я вас! А княжевски отколь сено на себе волочат? С тоя ж пропастины да с черного лесу бабы саками носят на горбу!

— Дак у княжевских кони добры...

— А не у кажного и конь! Ратные мужики навозят хоть с Семина, хоть с Усольской реки, а вдовы-ти как?

— Исстари те пожни наши были...

— Исстари! Ты ещо князя Юрия вспомни! Допрежь тута одне вы да медведи и жили... Исстари! Сами делали, сами грани гранили, а теперича: «Помоги, княже, чужо добро воротить!»Как меряно, так и будет! Я вам не потатчик! Все!

Отчитав мужика, он поворотился, вновь разгладив гневные складки на лбу, потрепал Данилку по волосам:

— Грамоту постигашь ли?

— Постига-а-ю! — протянул, зарумянившись, Данилка.

— Постигай, постигай. Княжеская наука! Да гляди! Вырастешь — самому придет суд править, а приволокется такой вот: других ограбь, а ему отдай...

Данилка, начавший уже было жалеть мужика, смутился. У взрослых все было как-то непросто!

Взрослые вообще часто говорили одно, а делали другое, и, наверно, так и нужно было для чего-то, но когда и как — Данилка еще не всегда умел постичь и частенько попадал впросак.

Однажды старший брат Дмитрий с дядей Ярославом, великим князем, заспорили, кто лучше косит. Принесли две горбуши, дядя и брат скинули зипуны и, засучив рукава рубах, склонясь, пошли по лугу, взмахивая

вправо и влево свистящими кривыми ножами горбуш и в лад покачивая плечами. Брат обкосил-таки дядю и весело смеялся, когда они оба, мокрые, тяжело дыша, скинув рубахи, плескались, поливаясь ковшом из бадьи, и растирали широкие груди и мускулистые руки посконью, а слуги уже стояли со свежими сорочками в руках, ожидая, когда господа оболокутся.

— Я тоже научусь так косить! — восхищенно заглядывая Дмитрию в глаза, прокричал тогда Данилка. Но брат лишь насмешливо взъерошил ему волосы, от затылка вверх, и бросил небрежно:

— Чего захотел — косить! Мужичьей работы! Князем расти!

И слуги заулыбались снисходительно, так что вогнали Данилку в жаркий румянец стыда.

Теперь он уже различал, что была мужичья работа, а что нет. Пахать, например, это была мужичья работа, хотя и дядья и братья все умели пахать, как и косить, хорошо. Но об этом не говорилось и этим не хвастались. Зато запрячь коня, а паче того оседлать и красиво проехать верхом — этим гордились один перед другим уже не таясь. Это была наука княжеская. Князю даже и зазорно было ходить пешком, разве в церковь на своем дворе, в Переяславле.

Ученье, впрочем, тоже было делом княжеским, о чем ему кстати напомнил Тимофей. Поэтому Данилка, уже не отвлекаясь, резво побежал на женскую половину, где он жил, по младости лет, в особней горнице вместе с мамкой, которую видел много чаще, чем родную мать, то и дело уезжавшую на чьи-то свадьбы, поминки, крестины, похороны, то мирить родичей, то на богомолье. Уписывая за обе щеки пшенную, сваренную на молоке кашу, он силился вспомнить сегодняшний урок, но от урока мысли перепрыгнули к брату Дмитрию, что поехал воевать в Новгород, а от Дмитрия к другим братьям, и он спросил, как всегда, вдруг:

— Мамка, а Василий тоже уехал на войну?

— Какой Василий?

— Старший брат.

Мамка пробормотала что-то, возясь у поставца с посудой. О Василии здесь не говорили.

— Мамка, Василий тоже уехал на войну?! — капризно переспросил Данилка.

— Василий на войну не ездит,— нехотя отозвалась старуха.

— Почему?

— Батюшка твой так заповедал... Ешь-ко! Опоздашь!

Здесь была тайна, которую Данилка силился разгадать и не мог. Он поздно узнал, что у него есть еще один старший брат, которого зовут так же, как и костромского дядю, Василием. Но на него рассердился покойный батя и сослал его на Низ, в город на Волге. Бати уже не было на свете, но брат жил и все как бы находился в опале, и вроде было непонятно, кто же на него сердится сейчас?

Однажды Данилка, забежав в терем, увидел там высокого дядю в богатом зипуне, странно похожего на брата Дмитрия. Казалось, это Дмитрий, которого слегка подсушили всего и состарили. Дядя вгляделся в мальчика и вдруг, наклонившись, спросил странно дрогнувшим голосом:

— Данилка? Не узнаешь? Я твой старший брат!

Данилка смутился и растерялся. Его ждали сверстники идти в лес, искать птичьи гнезда, и было некогда. К тому же он не знал, как приехал к ним этот чужой и не чужой человек, звал ли его кто-нибудь? И потому он ответил первое, что пришло в голову:

— Не-е-е, старший брат — Митя!

И в наступившем неуютном молчании прибавил:

— Меня робятки ждут!

— Ну иди, иди...— как-то сникнув, уступил приезжий, и Данилка выбежал, испытывая разом и стыд, и облегчение. А вечером, воротясь из лесу, он услышал в столовой палате многие голоса, прокрался и, осторожно приотворив дверь, зашел. Гость сидел за столом с братом Дмитрием и боярами и о чем-то серьезно разговаривал. По лицам Дмитрия и прочих Данилка сразу понял, что гость его не обманул, но на него, Данилку, Василий уже не поглядел, быть может, намеренно не заметил мальчика, в обиде за давешнее. И Данилка, которому теперь очень хотелось поговорить с незнакомым братом, помявшись у дверей, тихо вышел, испытывая раскаяние за свою утреннюю грубость.

Мысли о Василии приходили к нему изредка и, как теперь, ни к селу ни к городу. Впрочем, Данилка привык, что взрослые, даже мать, отмалчивались при вопросах о старшем брате.

— Мамка, квасу налей малинового! — потребовал княжич, управившись с кашей.— Пирогов поболыше на-

клади! — приказал он, видя, что мамка собирает ему в холщовую сумку завтрак.

— Всех не укормишь! — пробурчала мамка в ответ, однако пирогов добавила.

«Надо Федьке дать для сестренки,— думал между тем Данилка, опоясываясь.— Кажись, именины у ней». Для именин пирогов было мало. Он поискал глазами, что бы еще — «Куклу нать бы!». Вспомнил, что у него валялась в коробьи кукла, привезенная ему когда-то матерью из Владимира.

— Мамка, куклу ищи! — потребовал он.

— Окстись, пошто?

— Так. Приятеля сестренке. Живо! — Он топнул от нетерпения.

— Дороги подарки делашь! — пожалела мамка, когда кукла в крохотном парчовом саяне перекочевала из коробьи в холщовую сумку княжича.

— Тебя не спросил.

Данилка запихал куклу в суму вместе с Псалтирью и побежал к выходу. На бегу подумал, что обидел мамку ни по что, и прокричал уже с крыльца:

— Они мне-ко подарки дарят, а я что — хуже? Я — князь!

Старый ратник с конем уже ждал его у крыльца, чтобы на седле отвезти в училище.

По нынешним неуверенным временам во Владимир отправлять мальчика не стали и учили дома, в Переяславле, при Никитском монастыре, где Данилка учился чтению, церковному пению, счету и письму и куда его каждый день возил из Клещина-городка пожилой ратник, ожидавший потом княжича в монастырской гостинице. Тут был старый спор, в котором Данилка пока еще не добился успеха. Он уже умел ездить на лошади самостоятельно, но в училище, как ни просился, верхом его не пускали и по-прежнему, как маленького, возили на седле. Некоторым утешением было то, что конь был хорош: настоящий боевой конь, темно-гнедой, рослый, с длинною гривой и хвостом, крутошеий, широкогрудый,— конь прямо из сказки. Садясь, Данилка втянул ноздрями густой конский дух и погладил коня по морде. Конь, мотнув головой, ответил на ласку.

— Поехали!

От крыльца взяли рысью. Запаздывать в монастырь не полагалось. Спустились под угор, обогнав медлен-

ный крестьянский воз, мимо яблоневых поспевающих садов, мимо зарослей дубняка и орешника, на нижнюю, приозерную дорогу. Миновали длинные, уходящие в озеро причалы, где дремало несколько рыбацких лодок. (По весне в этом месте, на мелководье, стрóгой бьют щук, что ходят в тине у берега с молосниками, а ночами даже ползают по траве, на самом берегу.) Обогнали еще несколько возов, наверно, из Кухмеря или даже из Купани (лошади были незнакомы), и, подымаясь на взъем, опять густо заросший дубняком и кустами, у самого монастыря нагнали княжеских ребят, что тоже торопились в монастырь, в училище. Те весело окликнули Данилку, он так же весело отозвался.

— Приятели? — спросил ратник, когда мальчики остались позади.

— Угум. С Княжева села один, а другой с Криушкина. У того вон, что с Княжева, у Степки, батя вместе с Митей уехал в Новгород, на войну.

— Это какой же? А! Прохора сынок! Знаю, мы с им, с Прохором, вместях от татар спасались.

— Побили вас татары?

— Татары, они всех бьют! От его и не ускачешь, на ровном-то ежели... К примеру, в степи... Да.

— А зарубить? Топором: ррраз!

— Зарубить — с им съехаться нать, а ён как бес, и тут и там. Кони резвы у их, страсть! И из луков садят на скаку без промаха... Тут и заруби! Самого прежде на аркане поволокут...

О чем еще спросить, Данилка не знал. Очень не вязался рассказ с теми татарами, которых он знал в Переяславле. Те ходили вперевалку, в богатом платье, а ездили хоть и хорошо, но всегда неспешно: гордились убранством коней. Главный татарин жил в Переяславле, в тереме, на княжем дворе. Для него и для его хана, который был далеко, в Золотой Орде, в городе Сарае, собирали дань, ордынский выход. С Данилкой татары были добрые, зазывали к себе, выспрашивали, учили словам татарским, угощали вареной кониной. Но мамка каждый раз уводила его и долго вычитывала, запрещая ходить к «баскакам» и «нехристям», как называла она татар. И прочие взрослые тоже старались прятать Данилку от «нехристей» (почему и держали обычно на Клещине-городке, подальше от переяславского баскака), а после посещений ордынского двора тревожно выспрашивали: о чем это с ним говорили у

татар? Татар не любили все взрослые, но при встречах были очень ласковы с ними, а мужики низко кланялись главному татарину, и это было совсем непонятно — он же не князь?!

— А они нехристи? — спросил погодя Данилка.

— А всякие есть! Есть и такие, что крестятся по-нашему, только не поймешь у их, словно бы не русская вера...

Подъезжали к монастырю. Данилка привычно нагнулся. В низких воротах въездной башни, казалось, головой можно было задеть бревенчатый свод. Сразу после ворот, под деревьями у поварни, он спрыгнул с седла и, разминая ноги, побежал к табунку разномастно одетых ребятишек, что ожидали учителя, отца Софрония, стоя на папёрках монастырской островерхой церкви, из открытых дверей которой доносилось стройное монашеское пение. «Да исполнятся уста наша хваления твоего, Господи, яко да поем славу твою... аллилуйя, аллилуйя». Был уже конец службы.

Мальчики горячо спорили о чем-то, а тут, завидя княжича, утихли, только продолжали поталкивать один другого, кулаками разрешая словесный спор. Данилка, торопясь обрадовать друга, подбежал к Феде и передал тому куклу и пшеничные пироги. Ребята тотчас остолпили их, разглядывая куклу, а Федя застенчиво и грубовато постарался поскорее отобрать у товарищей и спрятать дорогой подарок. Дружба с княжичем была трудна для него, вызывая то зависть, то насмешки сверстников, прозывавших его за глаза «московским боярином».

— Выбирают! Выбирают! — раздался снова громкий шепот в толпе.

— Сопли подотри!

— Выбирают!

— Княжича вон спроси!

До появления Данилки у ребят шел спор о новгородском правлении: выбирают ли там князя сами горожане или нет?

О Новгороде вообще говорили много. Иные из ребят были дети новгородских выходцев, пришедших сюда с князем Александром. Были в округе деревни новгородцев, переселившихся под Переяславль с незапамятных времен, как, например, Мелетино, но твердо помнивших свое новгородское прошлое и сохранивших родной говор. По веснам приплывали в Переяславль богатые новго-

родские купцы, тревожа воображение рассказами о дальних полуночных землях и заморских городах. А нынче, когда переяславская дружина ушла с князем Дмитрием под Новгород, воевать с немцами, разговорам и спорам не было конца.

Теперь ребята приступили к княжичу, требуя разрешить спор: природный ли князь в Новгороде или его выбирают сами горожане, как хотят?

Данилка сам знал о Новгороде немного. Туда ездили и брат и дядя, говорили про Новгород то со злобой, то с обожанием, но на его настойчивые вопросы — правда ли, что там каменные терема и храмов больше, чем во Владимире, что епископа и князя горожане выбирают жеребьями? — бросали только:

— Брешут!

Либо:

— Вырастешь, узнаешь!

Брат Дмитрий о выборах князя по жеребью сердито отверг:

— Великий князь надо всей землей и над Новгородом тоже! Отец им воли не давал!

Однако самого Дмитрия новгородцы отослали. Впрочем, пригласили дядю Ярослава, великого князя.

Данилка пересказал ребятам слова Дмитрия (сомневаться в княжеских правах перед ними он не хотел), и разом посыпалось:

— На вот! Выкуси!

— А мне батька баял!

— Князь Митрий Саныч лучше твово батьки знат!

— А нонеча его пригласили, да? Пригласили, да?! — не сдавался спорщик, которому уже пару раз нахлобучивали шапку на глаза и награждали тумаками и щипками.

— Они, верно, по́звали, дак того и зовут, кто великий князь! — постарался смягчить спор Данилка, хотя не очень понимал сам, как это происходит: брат Митя не был великим князем, однако его позвали старшим над ратью, а дядя Ярослав, говорили, гневался, но тоже послал полки от себя, из Твери.

Пели уже «Многая лета». Ребята подобрались, стали посторонь, чтобы не мешать выходу из церкви. Резче стало видно, кто — чей. Многие были дети священников и дьяконов. Это были свои в монастыре и стояли вольнее. Боярчата, одергивая платье, выступили вперед. Кто попроще — дети купцов или простых ратников,

вроде Федьки из Княжева, бедно одетые, в лаптях или кожаных опорках,— те отступили, невольно пряча драные рукава долгих, не больно чистых рубах.

Разная судьба ожидала их после училища. Одни, кое-как научась разбирать буквы, уйдут, если не окажут великого прилежания, на счастье родителям. По таланту через книжное научение и из бедности можно выйти в люди. Другие потом заступят место родителей, станут дьяконами и священниками. Боярчатам и княжичу придется еще учить «Мерило праведное», «Правду Русскую» и «Номоканон» — книги законов; читать летописи, постигая историю родной земли, а также еллинскую хронику Иоанна Малалы, еврейско-римскую Иосифа Флавия и всеобщую Георгия Амартола, по которым, как и по Библии, познавали историю мира. Этим, окончив ученье, предстояло началовать землею, править суд, собирать подати, водить рати.

Пока же они были все одинаковы перед учителем и, когда не в меру баловались, перед тростью наставника.

Данилка в окружении сверстников не величался, был как и все. О княжеском достоинстве ему чаще, как сегодня, напоминали другие, чем он сам вспоминал. Бегал вместе со всеми на деревню и в лес; весною с мальчишками таскал солому из загат, когда на Ярилиной горе жгли Масленицу и взапуски прыгали через огонь.

Учился он неровно. Петь по Псалтири начал сразу: наслушался в церкви и голос имел верный. Буквы же поначалу складывал с трудом. И рассказы священника запоминал по-разному. Что мог себе представить, то легко. Например, про Иону, которого проглотил кит, такая большая рыба. В Клещине-озере, сказывали рыбаки, есть щуки, что тоже могут проглотить человека. Им уже лет по триста, живут в глубине, все белым мохом обросли. Только у щук зубы, а у кита, наверно, зубов нет, иначе бы он разжевал Иону. А чего иного Данилка долго не понимал: про Авраама и Исаака или про то, как фараон разгневался на евреев и Бог за то насылал на него казни, а затем потопил все войско фараоново. Тут была опять какая-то неясность, как и все у взрослых. Почему, если Бог был за них, евреи не победили фараона и не захватили сами страну Египет? Вот на русских разгневался Бог и наслал татар, и уж сидят тут, не уходят! И почему фараон так упорно хотел их удержать, зачем ему нужны были евреи, если сам же он не хотел их иметь в Египте? Ушли бы —

и хорошо! Ну, что они золото унесли, дак из-за золота все войско губить и весь свой народ тоже не стоило!

Учился он, впрочем, прилежно, почти не баловался, разве уж когда тело затечет от долгого неподвижного сидения. Нравилась тишина в монастыре, суровая простота и благолепие. Тут и он и другие дети уже были не княжич, не боярский, посадский ли отрок, а все как бы равны и никто ни над кем не величался.

Монастырь был сплошь деревянный, и уже не раз сгорал дотла. Говорили, что в пору Неврюева разоренья погибло много книг, но книг было много и теперь. Их хранили в келье настоятеля и на хорах церкви. И там можно было, пробравшись узкой лестницей, поглядеть на темные кожаные корешки, потрогать медные или серебряные пластины и накладки дорогих напрестольных евангелий, вдохнуть душноватый запах кожаных книг, ни на что больше не похожий, запах, напоминающий чем-то суровые лики святых праведников на иконах в церкви.

Отец Софроний вышел из церкви последним, строго оглядел ребят и повел их гуськом через монастырский сад. (Кельи стояли кружком вдоль ограды монастыря и были полускрыты деревьями.) Училище помещалось в келье наставника, разгороженной пополам. В одной половине жил он сам, а в другой учил детей.

Они сидели все вместе, на низеньких скамьях, положив раскрытые книжки (у кого были) на левое колено, и слушали.

— Кто первые перед Господом? — строго спрашивал священник и сам же отвечал: — Последние здесь тамо будут первые. Блаженни нищие духом, яко тех есть царствие небесное. Что есть нищета духовная? Смирение перед Господом! Паки и паки надлежит знать, что все, нам дарованное, от Бога и ничего доброго не возможем мы свершить без него! И плоды земные от божьего изволенья произрастают, человек же лишь надежду имеет на божий промысел, кидая зерна в землю. И всякое дело торговое: возможет ли купец наперед уведать судьбу свою? И сама жизнь наша, живота скончание, в руце божьей. Кто знает о дне и часе своем? Пото и надлежит каждодневно быти готову к отшествию в мир иной, не возноситься разумом и гордынею, любить ближнего и Господа своего! Могут ли богатые быть нищими духом? — еще строже говорил он, глядя уже теперь на одного Данилку, и отвечал: — Могут,

ежели помыслят, что видимое богатство есть тленное и скоропреходящее и отнюдь не заменяет скудости благ духовных!

После наставительного слова отец Софроний обыкновенно давал детям передохнуть, а потом начиналось пение. Пению иногда учил дьякон Евтихий, большой, с большим, густым голосом. Евтихий указывал палочкой (пели строго в лад), когда следовало кому вступать, а при нужде и пребольно щелкал неслуха той же палочкой: не зевай!

Воротясь из монастыря, Данилка снова попадал в сложный мир взрослых. Старшие братья, Дмитрий и Андрей, приезжали то веселые, то хмурые, злые; походя ласкали его или супились, и каждый раз было непонятно отчего. Ссорились из-за уделов, бранили ростовских и смоленских князей, деятельно собирали казну, а потом ездили на поклон к татарскому царю, в Орду, и увозили скопленное серебро. Были ли они нищими духом? Мать, приезжая домой, баловала, задаривала сластями и игрушками. Данилка долго после раздаривал сверстникам расписных коней, глиняные свистульки, изюм и печатные пряники. Бояре, походя, звали его «московским князем» и, говоря так, щурили глаза и добродушно-насмешливо поглядывали на мальчика. Он еще не догадывался о жарких спорах, разгоревшихся вокруг уделов после смерти Александра, ни о том, что дадут ли ему вправду Москву — еще далеко не решено. Чуялось, впрочем, и тут что-то непростое, что пока еще мало занимало мальчика. В Москве он не был ни разу. Ездили туда старшие. Говорили скупо: «Охота там хорошая!» Где-то под Москвою ломали камень еще при князе Юрии Долгоруком. (Князь Юрий строил Переяславль и белокаменный собор на площади. Князь Юрий был еще до татар, давно, и о нем, как и обо всем, что было до татар, вспоминали с уважением.) Теперь уже не ломали камень и соборов не строили, не до того было.

Доходы с Москвы пока шли в казну великого князя. Но на прямые вопросы мальчика ему неизменно отвечали, что Москву заповедал ему сам батюшка, покойный князь Александр, а как он решил, так и будет. Со смерти Александра прошло всего пять лет, но уже стали преданием скорбные слова митрополита Кирилла: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли». Об Александре вспоминали как о хозяине, при

котором все шло как надо и каждый был на своем месте, указанном его властною рукой. Когда ссорились старшие братья, Дмитрий с Андреем, тоже всегда поминали батю. Андрей кричал: «Паче отца хощешь быти!» И это был укор, всем понятный. Паче отца не мог быть никто, даже дядя Ярослав, великий князь.

Данилка отца совсем не помнил. Силился представить и не мог. Но твердо знал, что отец его был «солнце земли Русской», и этим очень гордился.

ГЛАВА 6

Княжево, или, по-старому, Выселки, родная деревня Феди, Данилкина приятеля, стояла от Клещина-городка всего верстах в трех, прячась за перелесками от сторонних недобрых глаз. Княжевым селом или просто Княжевым стали звать Выселки с тех пор, как Александр начал тут селить ратников, приведенных им из Новгородской земли.

Батыевы татары Княжево прошли стороной. Их главные рати торопились от стольного Владимира к Волге. Сожженный Переяславль был тотчас брошен ими после торопливого грабежа. Жители отсиделись в лесах. Дела той, тридцатилетней давности, старины уже мало кем помнились, только старуха Микулиха любила сказывать (она была родом с Клещина), как у них при Батые сгорел дом и всего достояния осталось у матки горшок золы, набранный на родимом пепелище.

К тому же казалось сперва, что беда минует лихолетьем, как мор, как засуха. После уж, когда великому князю пришлось ехать в Орду на поклон, а за ним потянулись и прочие князья получать свои уделы из рук татарских, горькая правда стала явью. Начинался долгий (и еще не верили, что долгий!) плен Золотой Руси.

Неврюева рать оказалась для княжевских мужиков куда страшнее. Разгромив Андрея, татары рассыпались по деревням, зорили и жгли все подряд: избы, стога, скирды соломы и хлеба. Заезжали в чащобы и слушали — не замычит ли где корова, не тявкнет ли глупый пес, не заплачет ли ребенок или заржет, почуяв конский дух, крестьянская коняга? Тогда кидались на голос, выволакивали плачущих баб с ребятишками. Скот резали. Людей угоняли в полон. Деревни после татар

совсем обезлюдели, и Александр, воротясь из Орды, заселял их вновь.

В Княжеве после Неврюевой рати остался, чудом не сгоревший, один дом. Там и собрались, с детьми и скотом, все уцелевшие жители. Спали на полу, вплоть друг к другу. Ночью, в потемках — не ступить. Ели толченую кору, мох, весной обдирали березовый луб, толкли щавель, копали коренья. Иные объедали, выкапывая из-под снега, мясо павших лошадей и коров — то, чего не доели волки. С тухлятины пропадали животами, валялись в жару. Кто и умер, не дотянув до весны.

Рассказам этим — за ржаными куличами с творогом, за щами и студнем — как-то даже не верилось. Вспоминали и сами удивлялись:

— Слушай, Варюха, няуж было все?! Ноне и не веритце, как переживали! Теперь-то чего не жить! Хлеб есь, все есь...

— Мам! — спрашивал Федя из темноты.— А мы были с тобою?

— Вас ищо и не было! Куды бы я с вами-то, пропала совсем...— отзывалась мать. Все они у нее — и старший Грикша, и Федя, и маленькая Проська — народились уже после Неврюевой рати.

В Княжеве с той поры стало особенно много вдов. Впрочем, вдовы прибавлялись и после. Мужевья погибали на ратях, вдовы в одиночку ростили детей. У Козла, приятеля Федьки, отец пал под Юрьевом, и Козел родился спустя полгода после его смерти. Болтали даже, что Козел не от своего батьки, однако Фрося, матка Козла, ни в чем таком замечена не была. Жила она опрятно и сама была опрятная, кругленькая, невыского росту, ходила чуть переваливаясь, утицей, и все жаловалась, что по ночам ее душит шишкó. Работала Фрося, в очередь с другой бабой, птичницей на княжом дворе в Клещине. К матери приходила на беседу. Садилась, оглаживая на коленях старый, из пестрой крашенины костыч, вздыхала, сказывала:

— Корова ревит и ревит. Ни у кого в деревне не ревит, только у меня. Така ж противная! Скажут, что у Фросюхи корова ревит, верно лопать хочет! А есть у ей корму-то!.. Нонече шишко опеть душил. Навалитце и душит. Вот сюда! — показывала она на ожерелок.— Мохнатенький такой, а чижо-о-лый!

Фросю мать жалела, а вторую птичницу, Макариху, всегда бранила за глаза. Макариха заходила то за горш-

ком, то за кичигой, то веревки попросить. А мать потом гремела посудой и сердито недовольничала:

— Мужик што конь, и сама кобыла добрая, а веревки не могут нажить! На свадьбу придет, дак и сапоги в куричьих говнах. Тьпфу! Что за люди бесстужие!

Матерь уважали. Всегда звали на свадьбы и праздники, даже из других деревень. Когда приглашали, уважительно кланялись, а она отвечала не вдруг и сурово:

— Ладно. Управлюсь вот!

После, вздыхая, доставала дорогое праздничное платье из тафты, с парчовыми оплечьями, кокошник, высокий и рогатый, шитый серебром, с жемчужными висюльками надо лбом. Отец тогда и говорил с матерью как-то иначе, и она отвечала ему строго и важно.

Кроме того, мать заговаривала кровь, лечила телят, знала травы.

Иногда приходила задушевная подруга материна, Олена. Вдвоем с матерью они пели красивыми голосами долгие песни. Обычно без отца. Отец никого не любил. При нем гости к матери только забегали. Он тяжело глядел на приходящих, и женки ежились, скоро вставали, роняя:

— Ну, я побегу! Гости́ к нам!

— Чего им от тебя нать? — спрашивал угрюмо отец, твердо, по-новгородски произнося «г».

— Чего нать, чего нать! И побаять нельзя! — сердито отвечала, швыряя горшки, мать и ворчала себе под нос:

— Навязался ирод на мою голову!

— А ну! — рычал отец, ударяя изо всех сил по столу, и Федя прикрывал глаза от страха, что батя сейчас начнет опять бить матерь и страшно кричать.

Легко становилось, когда приходил дядя Прохор. Он был свойственник матери и один звал ее не Михалихой, по отцу, а Верухой.

— Эй, Веруха! — кричал он еще с порога веселым голосом, и сразу в избе становилось словно просторнее. Дядя Прохор был высок, сухощав и широк в плечах, с лицом, словно стесанным топором, на котором тоже как прорублены были прямой нос и прямые брови над маленькими, всегда чуть с прищуром, умными глазами. Борода у него слегка кудрявилась и была светлая, легкая, а на щеках, у скул, двумя плитами лежал каленый румянец. Феде он иногда кидал походя:

— Что, Федор, растем?!

И не понять было: шутит или взаболь спрашивает.

У него у первого между клетью и избой был сделан навес для скота, забранный с боков крупной дранью. Сельчанам он говорил кратко:

— Чище! Не в навозе жить! — Прибавлял: — И коровам теплей!

Мужики задумчиво чесали бороды, соглашались:

— Коровам теплей, да.

Дядя Прохор один не боялся отца, почасту спорил, убеждал в чем-то, поругивал, и отец заметно тишел при нем.

Ихний михалкинский дом был устроен как у всех на селе. Пол у печи, где зимою стояла корова и держали телят и ягнят — земляной. Топили по-черному. Стая для скота была на дворе — просто навес на столбиках. На него осенью накладывали стог сена. Туда же, под навес, ставили телеги и сани, сохи, бороны и иное что. У них было две лошади и жеребенок. Одна, на которой работали, Лыска, а другая — отцов конь, Серко, которого берегли и на котором батя ходил в поход. Еще была корова с теленком и овцы. Были куры. Маленький Федя однажды побежал за цыплятами, а наседка налетела и чуть не выцарапала ему глаза. Куриц с тех пор Федя долго боялся, а лошадей не боялся совсем. Они тепло дышали и трогали мягкими губами. Осторожно брали хлеб из рук. Взрослые говорили, что лощадь ни за что не наступит на человека, если ее не погнать или не испугать. Федя рано научился с забора вскарабкиваться на спину Лыски и так, повиснув и вцепившись в гриву ручонками, ездил — катался по двору. Когда он падал, Лыска останавливалась и осторожно обнюхивала его. Мать, поворчав для порядку, махала рукой. Отец, походя, давал затрещину, от которой долго звенело в голове. Бабушек в доме не было. Мамину мать увели татары, а батина родня вся осталась в Новгородчине.

Долго Федя знал только свой дом и двор. Редко выходил за ворота поглядеть, как мальчишки постарше играют в рюхи. Дома они с братом сражались в бабки, приговаривая шепотом: «Горб!» «Яма!», «Нет, горб!» — и пихали друг друга, но не очень, чтобы отец не наддал тому и другому зараз. Еще иногда ходили к дяде Прохору, и тот, усаживая, говорил:

— Садись, ешь, мужик!

Там было много ребят и играли в бабки все сообща.

Когда Федя стал постарше, мир раздвинулся. Бега-

ли с ребятами за околицу, играли в рюхи и в горелки, дружили и дрались с криушкинскими.

Очень любил Федя уходить смотреть на озеро: далеко-далеко! И там зелено, где Вески, на той стороне, и там, где, приглядеться, виден Переяславль, город, куда мать ходит иногда продавать студень и масло и один раз уже брала его с собой. Тогда ехали на телеге, отец запряг Серка. Везли тушу быка, а оттуда набрали всего-всего: и кадушек, и лопотины разной. От народу на торгу у Феди закружилась голова, и он только и запомнил гомон и пестроту. Ему купили глиняную свистульку, и он свистел всю дорогу, а Серко смешно прядал ушами.

Озеро было то светлое, спокойное, то все в гребешках, как синее вспаханное поле. По озеру можно было уплыть в дальние дали, туда, на Торговище, на Усолье и дальше, в Новгород. В Новгород надо было плыть много дней. Оттуда приходили весною на длинных челнах под парусами новгородские купцы, гости торговые, и тогда начинался праздник. Купцам продавали хлеб, получали от них разные товары, заморские ткани, украшения, замки, серебро. Старших гостей принимали на княжом дворе. Гости гуляли и пили пиво. Дарили бабам платки и ленты девкам. Уезжали купцы, и все возвращалось на прежнее.

Село, хотя и княжеское, жило исстари заведенным крестьянским обычаем, мало чем отличаясь от соседей. Так же гуляли, так же к Рождеству, на Велик день и в Петровки платили налоги. При этом взрослые ругались, меряли и считали, слезно плакались, а потом, успокоившись, пили пиво и поили приезжих сборщиков.

В праздники мужики собирали братчину, на Святках катались по улице на разукрашенных лошадях с колокольцами и лентами в гривах.

Близко заводились свадьбы. Дети бегали смотреть, визжали от восторга, когда взрослые останавливали жениховый поезд. Все взрослые были красные, жарко дышали и много смеялись. И их, малышей, тоже охватывало какое-то волнение. Что-то происходило, не совсем понятное, кроме того, что Машуха или Варюха выходила замуж за Петьку Голызу или Проху Песта, которых в эти дни звали не Пестом и не Голызой, а Петром Палычем и Прохором Иванычем, да еще и князем молодым, а невест — княгинями. От этого, не совсем понятного, и было веселье, и блестящие глаза, и

жаркое дыхание взрослых, заковыристые шутки мужиков и алые лица девок.

Масленицу жгли на Ярилиной горе, под Клещином-городом. Собирались все, и стар и мал. Смотреть приходили и боярышни, и княжичи с Клещина, иногда приезжал даже сам князь Митрий, и его в эту пору встречали как своего, добродушно шутили, кричали необидное, девки, что посмелей, кидали снежками.

Потом наступала весенняя пора. Небо голубело, раскисший снег переставал держать полозья. Ручьи перегораживали дороги. Уже за околицей было не пройти. Смельчаки, что пытались добраться в Криушкино, по пояс проваливались в ледяную подснежную воду. Когда паводок сходил и подсыхала земля, отец ладил соху, мазал дегтем ступицы колес, поварчивая, чинил упряжь. Брат помогал отцу. Федя же забирался под навес, «катался» на телеге, сам себе изображая и седока, и коня.

А когда совсем просыхало и становилось тепло, вечерами начинались хороводы. На Троицу девки завивали березку, кумились друг с другом, жарúли яичницу — про себя, парням не давали. Зато ребята — подростки — со смехом и шутками волокли потом обряженную березку топить в Клещине-озере. На хороводы девки надевали очелья, цветные сарафаны; ходили крýгом, неспешно, и дивно было слушать их стройное пение.

Когда начиналась полевая страда, веселье и игры сдувало. Трудились и стар и мал. Федя тогда сидел с Проськой, а брат с отцом ратовали в поле. Мать возилась на огороде, изредка забегая в избу и покрикивая на Федю. Отец приходил пахнущий потом и конем, ел молча, рыгал, оглядывая запавшими темными глазами стол. Руки у него слегка дрожали. Бросал что-нибудь:

— Шлея лопнула. Простояли. Мать их...— Или: — В том поле, под горкой, сыровато. Ищо липнет. Едва вспахал...

Федю посылали с хлебом и крынкой молока на поле. Он нес осторожно: отцов завтрак нельзя было пролить. Огибал околицу, выходил на полевую дорожку. Со всех сторон доносились крики ратаев. Мужики дружно пахали, а когда Федя и другие ребята, тоже спешившие с узелками и крынками каждый, подходили к своему батьке, работа прекращалась. Кто-то еще доводил борозду, другие же, оставя коня, шли к бровке, сложив ладони, кричали тому, кто еще пахал:

— Охолонь!

И тот, озрясь на мужиков, тоже оставлял рукояти сохи и распускал чересседельник. Завтракали.

Федя стоял и смотрел, как отец, двигая щеками, жадно ест и пьет, как ходит вверх-вниз его борода, как, так же истово, ест, сидя рядом с отцом на подстеленной дерюге, брат, как Серко, с ослабленной сбруей, сунув морду в торбу с ячменем, тоже жует и бока у него двигаются, как борода у отца. Стоял, иногда переминаясь,— влажная земля знобила,— и боялся сказать хоть слово: не только батя, но и брат сейчас отдалялся от него важностью труда. Феде не давали тут еды, на него не смотрели даже, и он понимал, что так надо. Кончив, отец вытирал рот тыльной стороной ладони, отряхивал усы и бороду, слегка отрыгивал и чуток сидел, полузакрыв глаза. Потом потягивался весь и окликал Серко: «Время!» Тот шевелил ушами, кивал, взглядывая на отца, перебирал ногами, мол, понимаю, но не переставал есть, лишь быстрее начинал жевать, громче хрупая ячменем.

— Время! — говорил отец, подымаясь, и, подходя к коню, ласково оглаживая его рукой, а потом, прикрикнув, затягивал чересседельник, снимал с морды торбу с ячменем, передавая ее брату, поправлял узду и брался за рукояти сохи. Пора было уходить, забрав порожнюю крынку и плат, но Федя еще медлил, дожидаясь, пока поднятая отцовыми руками соха не войдет, блеснув сошником, в землю, Серко не вытянется, горбатясь и напрягая задние ноги, и свежая борозда не начнет трескаться и крошиться, разваливаясь темными от влаги комьями остро пахнущей земли, а брат побежит рядом, понукая и проваливаясь босыми ногами в рыхлую вспаханную зябь.

Потом боронили. Потом отсыпали зерно, меряя мерами. Мать крошила в первую меру припрятанный черствый кусок пасхи — для первого засева. Отец вешал берестяную торбу себе на шею, крестился, трудно складывая черные твердые пальцы. Начинался сев. Федя с братом тогда бегали по полю, пугали грачей. Грачи, если выклюют зерно, сделают голызину, и хлеб в том месте не родится. Засеяв, снова боронили, гоняли овец по полю, втаптывали зерно поглубже, от птиц.

В июне, во время навозницы, парни бегали по деревне и обливали всех девок водой. Навоз возили до Петрова дня. Кончив возить, справляли навозницу, праздновали

всей деревней, пили, собирали столы. О Петрове дни уже начинали косить. Косить ездили далеко, за Кухмерь, к Усольской реке, и вечно ссорились из-за пожен с мерянами. Отец готовил сразу три-четыре горбуши и, работая, менял их. Грикша только еще учился косить. Матка гребла. Грести и она, и другие женки надевали хорошее, цветное, новые лапти, яркие платки. Копны им ставить помогал дядя Прохор, и они ему тоже помогали, ходили грести. Между делом Федя с братом возились с Прохоровыми ребятами, катались в сене, хоть это и не дозволялось: сено мялось, да к тому же в здешних сырых местах часто водились змеи. Раз Грикшу ужалила гадюка, и мать перевязывала его, прикладывая заговорной травы. Брат оправился, но долго хромал после того.

За сенокосом подходила осенняя страда. Пахали пар. Скоро поспевала рожь. Уборка хлеба была праздником. Зажинать посылали — у кого легкая рука. Обычно просили Олену Якимиху. У той была легкая рука, после нее и работалось легче. А то говорили: «Нынче Дарья зажинала — я руку обрезала! И я! И я!» У той рука была тяжелая. После же Олены, уверяли, и не обрежешься, и спина не болит. Первый сноп украшали васильками, ставили в красный кут.

На уборке работали тоже не щадя живота, жали и бабы, и мужики, дети и то таскали снопы, но было весело. Радовали возы с хлебом, тугие бабки, расставленные по полю, радовало обилие и спокойная, сытая — ежели не случится огня или рати — жизнь на год вперед.

Федя, маленький, любил прятаться в бабки, между снопов. Солома прохладно и скользко щекотала разгоряченное тело, в бабках хорошо пахло сладковатым духом зерен, было полутемно, и он подолгу сидел, наслаждаясь тишиной.

Уже подросши, он вспоминал с удовольствием эту свою забаву и жалел, что бабки стали такие маленькие, что под них уже и не подлезть.

Хлеб молотили помочью. Мать всегда со снохой, Дарьей, с Оленой и с Прохоровой женкой — в четыре цепа. Цепинья в лад ложились на снопы, будто плясали, и, со стороны, работа была веселая и вовсе не трудная, хоть взрослые к вечеру и валились с ног, засыпали, едва осилив ужин.

После хлебов убирали гречиху. Потом копали огоро-

ды. Позже всего, уже когда начинались осенние дожди, принимались за льны.

Лен сперва дергали, ставили в бабки, сушили и околачивали вальком семя; потом расстилали на лугах, мочили, мяли, трепали... В Великом посту уже расставляли в избе ткацкий стан и начинали ткать. Ткали весь Великий пост, семь недель. А потом приезжали купцы, мяли и рассматривали пóртна, увозили в дальние страны. Из холстин шили себе порты и рубахи с приятным запахом льна, шершавые и ласковые для тела, которые поначалу, пока не обтреплются, приходилось очень беречь, особенно от дегтя, чтобы не заругалась мать.

ГЛАВА 7

Поздняя осень. Лес багряный и желто-зеленый. В инее поля, убеленные, как сединою, в окружении желтого пламени берез. Тишина сиреневого неба. Хлеб убран. Птицы улетели. Твердеет земля по утрам. Трубят рога: княжеская охота рыщет по перелескам. Курятся соломенные крыши изб, хозяйки топят печи. Рожь просушена в овинах и ссыпана в житницы. Из мягкой соломенной золы хозяйки варят щелок. Мужики и бабы моются в корытах и кадушках, нагрев воду раскаленными камнями, а где и в больших хлебных печах — смывают пот и грязь. Работы окончены, можно и отдохнуть. Зимние — еще не начались. Извоз, дрова — до снега. Варят пиво и мед. Скоро свадьбы, Святки, Масленая... Вечерами девки сходятся на беседы — супрядки. Лучина, потрескивая, освещает румяные, с летним загаром, похорошевшие лица.

Позднюю осень Федя особенно любил. Может, потому, что первые воспоминания у него были о первом снеге. Как он стоит, маленький, босиком, и летят и кружатся белые снежинки и как пощипывает ноги, если наступить, и не понять отчего.

Первый снег всегда вызывал в нем радость. Так бело на зеленой траве, так отвычно для глаза и ярко, даже спервоначалу больно смотреть. После серых осенних полей белизна радостно жмет на глаза. Желтые березовые листики кажутся еще желтее, еще ярче на белом. И воздух такой свежий-свежий. Вдохнешь — и не хочется выпускать его из груди, и еще вдохнешь, и еще...

Нынешней осенью было особенно свободно, без отца, что ушел с князем в новгородский поход. Не надо было постоянно страшиться. Мать ругала за шалости, а не била, у отца же рука была тяжелая, и Феде, как он считал, доставалось больше всех. Меньшую, Проську, отец баловал, старший брат был уже работник, и отец иногда спрашивал его или говорил что-то как равному. Федя тогда ревниво завидовал брату.

Без отца, одни, они нынче делали загату вокруг дома и заплетали соломой, на зиму, для тепла. Без отца мылись в Прохоровом дому, вдвоем с братом, в очередь после матери, в русской печи, нежась в сухом горячем жару, и вдоволь дурили, плескаясь и щипая друг друга. До недавней поры мать мыла Федю как маленького. Усевшись в печь, на соломенную подстилку, она клала его себе на вытянутые ноги, головой к устью, мыла сперва живот, а потом, перевернув, как лягушонка, спину и голову. Окатив, звонко шлепала по заднему месту и выпихивала, красного, распаренного, вон из печи. Там он, с помощью брата или отца, обмывался холодянкой, сох, надевал чистую рубаху и лез на полати, где еще долго опоминался, ощущая блаженство от чистоты и непривычную легкость во всем теле.

Сейчас, без отца, можно было позвать Козла домой. Батя не очень жаловал его приятеля:

— С голью водитьце — себе нахлебников ростить! — говорил он.— Ты с княжичем своим дружи! Он подрастет — удел получит, авось и тебя не забудет той поры!

От таких советов Феде совсем переставало хотеться встречаться с Данилкой, «московским князем», как за глаза звали его ребята в училище, и, наоборот, хотелось чаще встречаться с Козлом. Тот был маленький, прыткий, вечно голодный и, верно, был как козел,— проказлив на все детские шалости: в огород ли слазать, нарвать чужой моркови и луку, гнездо ли разорить, утащить чужие салазки зимой... В драках он тоже не уступал другим, хоть и не вышел ростом. А в спорах ребячьих, припертый в угол, краснел весь, как смородина, и говорил: «Пошел ты, знашь! Куды не знашь!» — Грубого слова Козел никогда не произносил, слушался матки своей.

Козел уже, наверно, лепит снежки из первого снега или ломает лед на пруду... Когда кончилась осенняя распутица и отвердела земля, Федя снова стал ходить

в училище, хотя сейчас, осенью, было особенно страшно возвращаться уже в потемнях назад и проходить мимо Глинницы — проклятого вра́га под самым Клещином-городком, где когда-то мерянские колдуны совершали свои волхвования, пили человечью кровь, как уверяли некоторые мальчишки. А теперь во враге жила нечистая сила, пугала, свистела, сбивала с пути. Кто шел мимо, обязательно крестился и читал молитву — «Отче наш» или «Богородицу»,— а не то можно было пропасть. Сказывали, как девку с Криушкина утянуло во враг, да и не нашли потом. А недавно Козел, сидя на заборе и скаля зубы, рассказал, как два мужика с Маурина шли мимо Глинницы и помянули нечистого, а он и явился им. Мужик как мужик, а зубы скалит. «Вы,— говорит,— как идете? Давайте я вас поведу!» И завел. А водополка была, дак они и бродили, бродили, чуть живы вышли. Под Пасху дело было. И колоколы слышат, а выйти не могут. Так бродили, и оба умерли сегод!

Козел, конечно, рассказал не зря. Завидует, что Федя учит грамоту, дак и решил попугать, а все же проходить мимо Глинницы одному стало вовсе невмочь.

Федя потыкался по избе, не зная, за что приняться. К Проське набралась целая куча девчонок, и все пищали, а Проська расставляла свои чурочки, соломенные и тряпичные жгутики, в середину сажала владимирскую куклу в парчовом саяне и приговаривала, разводя руками:

— Царская кукла!

— Княжеска! — бросил Федя, как взрослый, глянув на подарок «московского князя».

— Царска! — пропищала Проська ему в спину.

«Пущай зовет, как знат!» — подумал он, хлопая дверью. На холоде дверь перестала забухать и звонко щелкала, закрываясь.

В воздухе реяли легкие редкие снежинки. Эх! Слепить первый снежок, а скоро и салазки можно будет достать, вскочить, проехать со склона к пруду, а то побежать туда, к обрыву, куда ходят большие мальчики, и — вниз! Он еще ни разу не катался с обрыва, только с замиранием сердца смотрел, как с визгом и уханьем летели вниз, иногда перевертываясь, старшие парни и девки. В училище идти было еще рано. Федя огляделся и побежал искать Козла..

Занятия он прогулял. Вечером мать с бранью усадила его за книгу, поставила свечу. Свечи зажигали

редко, берегли. Они с Грикшей уселись носами друг к другу, шевеля губами, читали. Грикша читал медленно, но упорно и уже перевернул страницу засаленного служебника, а Федя, утомясь складыванием непослушных букв, остановился и начал разглядывать цветную заглавную букву, представляя, что это лодья, плывущая по озеру.

— А ну, прочти! — потребовал брат.

— Веди... он... зело... веди... возвокробех...

Звонкая пощечина сопроводила его чтение. Федя вскрикнул, сжав кулаки:

— Не дерись! Бате докажу!

— Батя тебе ищо добавит!

Это была правда. Федя сник и, глотая обидные слезы, стал бороться с непослушными буквами, трудно складывая:

— Веди... он... наш... вонмими...

— Вонми́ ми! — поправил Грикша, не глядя на него.— Внимай, значит.

— Вонми ми, и оци... сы... услыши ми... юс... мя... веди... он... зело... буки... Во гробех, нет, возскорбех печалию...

Свеча, колеблясь от дыхания мальчиков, тихо оплывала. Мать, посматривая на склонившихся сыновей, сучила и сучила пряжу. Сама она была неграмотна, как, впрочем, и все бабы на селе.

Ноябрь встречали без снега, боялись, что вымерзнут зеленя. Однако за неделю до Филиппьева дня снег пошел сразу густой, пушистый и укрыл все. В обмерзшие, затянутые инеем окошки стало теперь ничего не видать, да еще для тепла одно из них задвинули задвижкой и заткнули ветошью, а в другое, вместо бычьего пузыря, вставили пластину ровного льда. Дома все чаще сидели в шубах, а, приходя со двора, греться залезали на полати. Подходил Рождественский пост.

Озеро замерзло, и по нему уже ездили на санях. Серое небо, мягко-лиловое, низко висит над землею и неслышно порошит снегом. Сугробы кое-где сравнялись с крышами. Ветра завивают серебряные смерчи, жалобно гудит в дымниках, шерсть на лошадях курчавится от мороза, облако белого пара окутывает входящих в избу. Козел прибежал: руки красные, его круглая, с острым подбородком, как у мышонка, мордочка тоже вся обмерзла и пошла сизо-красными пятнами. Залезши на полати, он долго трясся там, согреваясь. Отогревшись,

повеселел. Да еще Федя сунул ему кусок хлеба, и Козел жадно проглотил его, держа в горсти и уминая за обе щеки.

— Федюх, айда сказки слушать!

Мать не баловала сказками, она больше пела, а сказки сказывала редко, из пятого в десятое, обычно даже не доводя до конца. Поэтому Федя с радостью согласился.

— К кому?

— К Махоне рябому. Там ноне беседа, и Маланью позвали. Она сказывает — ух ты! Тут и заспишь, и хлеба исть не захочешь!

Федя быстро намотал онучи, надел лапти. Козел был босиком, пото так и замерз. Вынырнули на двор, на синий обжигающий холод. Козел понесся, высоко подкидывая ноги. Федя едва поспевал за ним. У Махониной избы мальчики долго колотились. Козел прыгал то на одной, то на другой ноге, а ладонями тер себе попеременно пятки. Наконец дверь подалась. Открыла Фроська:

— Куды, мелочь вшивая?!

— П-п-пусти с-сказки слушать! — пробормотал Козел.

— Ох ты, и без сапог! Ну лезь, да тихо!

В горнице потрескивала лучина. Кто прял, кто так сидел. Мальчики тихонько пробрались к печке и полезли на полати, в тесноту, в сдавленные шепоты, пихая чьи-то ноги, руки, получая тычки. Наконец умостились кое-как и, согреваясь, начали вникать в затейливое журчание сказки.

— ...И идет Ванюша, а клубочек котитце, котитце перед им. Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, идет день, идет другой. Попадает ему встречу стар старичок: «Куды, доброй молодец, идешь, куды путь держишь? Волей-неволей али своею охотой?» — отвечает ему Ванюша: «Иду я туда, не знаю куда, волей-неволей, а больше своею охотой...»

Сказка уводила куда-то, чудился лес, но не простой, а чудесный, где елки до самого неба, и за лесом неведомые земли, далекие, как Новгород, как Хвалынское море и царь перский...

Снег все шел и шел. По утрам приходилось расчищать снежные заносы на дворе. Волки выли за самой околицей.

Подошло Рождество, следом Крещение и Святки.

Внове было встречать праздники без отца, внове и вольготней. Батя, бывало, разгонял всякое веселье. А тут — дверь так и хлопала. Матери кричали:

— Михалиха, скажи жениха!

— Анемподост! — кричала, сама путаясь и смеясь, мать, выбирая имя помудренее, что и не выговорить. Славщикам она накладывала пироги, сама бегала гадать вместе с бабами. На Святках приходили ряженые, страшные, с рогами и хвостами, размахивали факелами из крученой, обмакнутой в деготь бересты, плясали.

— Тише, скаженные, избу подожгете! — смеясь и бранясь, унимала их мать. А те тормошили и звали ее с собой.

— Мам! А давай без бати жить! — сказал однажды Федя, в полной уверенности, что и ей легче без отцовой брани. Но мать тотчас дала ему подзатыльник и заплакала:

— Кажен день молю угодников! Да куды я тогда с вами, с троимы! Есь в тебе ум-то?! Отец когды и поучит, дак на то он отец! Глава! Становись на колени, молись, чтобы прошло слово-то глупое, ничо не стряслось с има там, в немецкой земле!

К великому счастью, мать скоро забыла Федино неосторожное слово и не поминала потом.

Миновала Масленая. О ратниках все еще не было ни слуху ни духу.

Федя за эту зиму очень вытянулся, пошел в рост и уже сносно читал, подгоняемый неукоснительным братним надзором.

Уже начинал рыхло проваливаться снег и тени голубели, чуялась весна. Обросшие за зиму мохнатые лошади вдруг останавливались, нюхали ветер и тихо ржали. Приближалась Пасха. На Крестопоклонной неделе дошла весть, что ратники возвращаются из похода.

Звонили колокола в Переяславле и на Клещине-городке. Федя, радостный, возвращался из училища. У ворот их усадьбы стоял знакомый конь, и он, с сильно забившимся сердцем, одновременно со страхом и радостью (поминая все зимние прегрешения!) понял, что воротился отец.

В избе сидел дядя Прохор, еще какие-то два мужика, а из угла, где толпились в полутьме Фрося, сноха Дарья, Окулина, Олена, еще какие-то женки, слышались рыдания, и Федя сперва даже не понял, что это рыдала

мать. Дядя Прохор говорил меж тем, обращаясь к мужикам:

— Коня и бронь — в целости! Чего больше, но коня и бронь я сохранил.

И мужики кивали головами и прикладывались к братине с квасом.

— Федюх! — окликнул его дядя Прохор и поглядел без обычного хитроватого прищура, прямо и строго: — Батька твой убит.

В голове еще гудели праздничные колокола, помнились сегодняшние шалости, чьи-то шутки, так что он даже чуть-чуть не засмеялся, и, вместе с тем, все как будто поворачивалось, отходило, погружалось в звенящую тишину, лишь издали донося рыдания матери.

«Как же так?! — думал Федя, все еще ничего не понимая.— Отец ведь должен прийти. Его ждали возить дрова и сено, толковали еще, что скоро придут. Он сам боялся суда за мелкие свои грешки... Как же так? Убит?»

Он стоял потерянный, не зная, что сделать, сказать, куда ступить, сжимая в руках торбу с книжкой. А дядя Прохор уже оборотился к тем двум мужикам, и откуда-то издалека до Феди донеслось сказанное им слово «Раковор!»

— Раковор, Раковор, Раковор...— повторял он про себя бессмысленное звонкое слово и все не знал, ступить ли дальше или уйти, выбежать, переждать... Казалось, что надо только где-то спрятаться и переждать, и тогда все кончится, придет отец, и они станут возить сено.

Кто-то из баб заметил остоявшегося Федю, запричитал над ним:

— Соколик ты мой ясный! Жалимая сиротиночка!

Федя только низил голову, не зная, что ему делать. Ни слез, ни горя не чуял он, а только растерянность, подавившую все, и горячее, почти неодолимое желание убежать и пересидеть эту беду.

Меж тем в избе начиналась деловитая суета. Что-то снимали, вешали, доставали какие-то одежды. Кто-то дал ему миску щей, и он жадно хлебал, сидя в углу, на краешке стола. Вот встал дядя Прохор и обратился к матке, которая, качаясь, поддерживаемая с двух сторон бабами, со вспухшим, словно не своим лицом, старалась понять, что ей говорят:

— Пашню я вам вспашу!

Мать поклонилась ему и зарыдала снова.

Ближайшие дни Федя был все в том же состоянии. Смотрел на хлопоты, на мать, что пекла, стряпала и плакала в одно и то же время, на деловитых, помогавших ей Фросю и Дарью. Слушал неспешные рассказы о большом сражении с немцами (Раковор — это, оказывается, так называлось место, где произошла битва). Смотрел, как собиралась родня и ближние, сидел за поминальным столом. Услышал, и тоже словно во сне, как кто-то из баб уронил вполголоса:

— Младший-то совсем бесчувственный, ни слезинки, ничо, и об отце не поминат!

Все ели и пили пиво. Он тоже ел, спеша насытить свой вечный детский голод. Низил голову, когда кто-нибудь из бесчисленных свестей, кумовей и ближников с заученным сочувствием спрашивал его: «Жалеешь батьку-то?» Молча, затрудненно кивал головой в ответ. Слушал, как мать разговаривает с братом Грикшей о сене, как со взрослым, и вроде даже ищет совета у него, и Грикша, сдвигая светлые брови, отвечает ей как настоящий мужик и начальственно кидает ему, Феде: «И ты будешь возить тоже!» И опять Федя кивал заученно, и все было как во сне.

Порою он чувствовал даже облегчение. Не будет отцовых тяжелых взглядов, страшноватого пьяного гнева, когда летели горшки и хряпала огорожа, а двери, казалось, вот-вот вылетят из подпятников; не будет затрещин по нужде и без нужды. Ну что ж, сено так сено! И дров навозим! Пашню дядя Прохор обещал вспахать! На дальше он уже не загадывал. И брат глядел на него отчужденно, и мать с каким-то горьким укором бросала ему ложку и хлеб, когда садились хлебать из общей миски. Федя старался чаще убегать из дому, часами пропадал у Козла, то бродил по улице или, замерзнув, забирался в клеть и тут отогревался, не смея зайти в избу, лишний раз показать матери свои сухие глаза...

Возвращались ежедневные будничные заботы, и в нем нарастало облегчение. Он подолгу лежал вечерами под шубой, вспоминая, как Козел, тоже считавший своим долгом утешать Федю, говорил, что ничего — у него тоже батька на рати погиб, и в тех же местах! Федя лежал, не думая ни о чем, все с тем же пустым звоном в голове. Мать с братом вполголоса в темноте переговаривались, что завтра надо уже начинать возить. И Федя, слушая этот как бы чужой разговор,

совсем успокаивался. Непонятно-жестокое прошло, проходило... Нынче он первый раз спокойно уснул, и во сне наконец, впервые с тех пор, как пришла злая весть, увидел отца.

Он так же лежал под овчиной, и отец о чем-то шептался с братом, и он знал, что собираются на рыбалку и обещали взять его с собой, и вот он лежит и ждет этого часа и что-то слышит, какие-то голоса, и вдруг, вздрогнув, просыпается от тишины и понимает, что они ушли, ушли, не разбудив, обманув его, маленького, и он вскакивает как есть, в рубашонке, и бежит стремглав, ударяется в дверь, падает и бежит по двору и по темной ночной деревне, с громким плачем, и добегает до обрыва, кусты хлещут его, он падает, катится, весь исцарапанный скатывается с горы и снова бежит, уже на мягких, трудно слушающихся ногах, бежит, тяжело дыша, и вот уже и вода, тускло светящаяся, и лодки, и кто-то темный отчаливает, и понятно, что это отец, и тогда он снова в голос начинает кричать и бежит, бежит, и вот видит, что отец придержал лодку багром, и он кидается в плотные отцовы руки, с рыданием, и отец, усмехаясь: «Прибрел-таки!»,— усаживает его в лодку, сильно пихаясь, потом снимает с себя сермягу и укутывает его, уже задрожавшего от ночного озерного холода, и он согревается и уже молча, приходя в себя, смотрит, как гребет отец, как струится вода, как сперва брат, а потом батя бьет кресалом, разжигая огонь, и вот Грикша подымает дымный смолистый факел, а отец берет строгу́, подымается и, прицелясь, с жестоко кривящимся лицом, бьет строгой в воду, и тотчас вода начинает бешено плескать, и извивающаяся страшная щука подымается, разбрызгивая воду, над лодкой, и отец стряхивает рыбину к Фединым ногам, так что он прячет пальцы босых ног под сермягу и весь поджимается, а рыбина продолжает плясать, горбатясь и разевая пасть, а потом затихает и лишь иногда сильно вздрагивает всем скользким пятнистым телом, ударяет хвостом и, зевая, показывает острые зубы, уже затрудненно, медленно разводя и сводя челюсти, а за ней в лодку падает вторая и тоже спервоначала начинает бешено скакать и свиваться кольцом, за второй — третья... Грикша переменяет факел. Отец иногда бьет мимо и тогда тихо ругается. Рыбины летят и летят, брызгая водой и кровью, а Федя начинает дремать и вот уже совсем спит, и отец вы-

носит его на руках из лодки и, сильно встряхнув, ставит на ноги, и Федя сразу мерзнет, лишенный сермяги, и, с прыгающими губами, качаясь и больно спотыкаясь о камни, спешит за отцом и братом, которые идут, уже не обращая на него, хнычущего, внимания. Грикша несет строгу и весла, а отец тяжелую торбу с рыбой, которая все еще шевелится у него за спиной, и вода стекает и капает в лад отцовым шагам...

И, пробудясь, поняв вдруг, что этого уже никогда не будет — ни темной дороги, ни озера, ни рыбалки, ни отцовых твердых рук,— Федя наконец заплакал, беззвучно трясясь, и слезы бежали у него из глаз по обе стороны лица. Грикша в темноте протянул руку, неумело обнял младшего брата и притянул к себе. И тоже молчал. А Федя продолжал плакать и вздрагивать, и так, вздрагивая, и уснул, теперь уже до утра...

Первый воз наклали маленький, обминали дорогу. Довезли благополучно. Со вторым же намучились. Ни мать, ни Грикша не сумели затянуть веревку по-годному, и воз рассыпался по дороге. Пока перекладывали да ругались, стемнело. Только и успели в первый день. Федя намерзся, вымок и уже начал понимать, что значит остаться без отца, который то же самое сено, на том же коне возил играючи и никогда не ронял, а Федя только сидел на возу да глядел по сторонам на опушенные снегом елки.

Снег был уже талый. Приходилось спешить. Днем липло к полозьям так, что лошади из сил выбивались. Когда принялись за дрова, Федю, накатав дорогу, стали посылать одного. Во второй или третий раз с ним приключилась обидная неудача. На выезде из лесу, близ Лаврушкиной пожни, выдернулась оглобля из гужей,— все было сырое, и гужи раскисли от воды,— воз съехал с наката в снег, и как Федя ни бился, ничего у него не получалось. Он с трудом дотягивался до хомута, а вставить оглоблю и затянуть гуж у него решительно не хватало сил. Измучившись, он тогда совсем выпряг коня, срывая ногти, и полез было сесть верхом, но покатился, не сумев взобраться, а Серко, освобожденный, в одном хомуте, отбежал в сторону и, фыркнув, оглянулся на Федю. Федя пошел за ним и, уцепившись за седелку, снова попытался вскарабкаться на спину коня. Но уже не было сил, пальцы разжимались, и он снова упал. Ища, на что бы взобраться, он упустил повод, и Серко спокойным шагом напра-

вился по дороге к дому. Федя пошел за ним, потом побежал, но конь прибавлял ходу, на все призывы лишь мотал головой; останавливался, оглядываясь, слушая детскую ругань и плач, фыркал и отбегал снова, чуть только Федя чаял уже поймать волочившийся конец повода. А вдоволь измучив Федю напрасной погоней — от беготни у того даже шапка стала мокрая,— конь перешел на ровную рысь и совсем оставил его одного, измученного и мокрого, на дороге, с засевшим где-то назади возом. И ему пришлось со стыдом идти домой, полем и лугом, а когда добрался, Серко, как ни в чем не бывало, уже стоял во дворе и подбирал раструшенные клочки сена. Жалеть Федю ни мать, ни брат не стали. Впрочем, и у него от усталости прошел уже гнев на коня. Всем приходилось трудно, коню, проделавшему долгий поход, тоже.

Возке, казалось, не будет конца. Сани проваливались, оглобли, как масляные, вылезали из гужей, и мать с братом перепрягали, завертывая гужи с сеном, чтоб крепче держалось. В Никитский монастырь Федя больше не ходил, в пору было добраться до постели.

Как-то раз (уже кончали возить, и лужи стояли на снегу озерами, а на въезде в деревню обнажилась черная земля) Федя, ведя воз, встретил княжескую охоту. Осочники проскакали мимо, гоня лисицу, и Федя не обратил бы внимания, кабы знакомый голос не окликнул его. Он придержал коня. Княжич Данилка, румяный, красивый, на легконогой серой лошадке, глядел на него и весело окликал. Поздоровались. Княжич спросил, почему Федя не ходит в училище. И Федя, дичась, ответил, что недосуг, за дровами, за сеном... Он хотел сказать, что батька убит, но княжич опередил его:

— Слыхал, батьку твово убили? — спросил он просто и участливо, и Федя молча кивнул, сразу как-то оттаяв и перестав сердиться на княжича. Данилка вздохнул, потупился, помолчал, а потом похвастал:

— А мне коня подарили, вишь! — И огладил гриву нарядного коня.

С поля окликали княжича. Он повернул голову, махнул кому-то рукой и сказал, вновь оборотясь к Феде:

— Ты приходи! Как вывозишь дрова — приходи!

И, уже тронув коня, спросил, то ли сам додумав, то ли подражая взрослым:

— С голоду не помираете там?

Федя потряс головой.

— Приходи! — прокричал княжич, пуская коня, и Федя тронул своего, шевельнув поводьями вправо-влево. Он уже, наученный горьким опытом, знал, как лучше стронуть с места груженый воз, чтобы конь не надрывался, отдирая прилипшие к снегу полозья, чтобы оглобли вдругорядь не выскочили из гужей.

ГЛАВА 8

Дмитрий Александрович воротился из-под Раковора с добычей и честью. Юрий, сын покойного дяди Андрея, бежал с поля боя. Он же выстоял и добыл победу. Не посрамили себя и новгородцы. Он еще и теперь, закрыв глаза, мог увидеть несущийся, блистающий доспехами, грозно ревущий клин вражеской «свиньи», опрокинувшей конный новгородский полк, цветные немецкие знамена и вал новгородских пешцев, что, смыкаясь на ходу, шли встречу вражеской конницы. Видел железные шлемы без лиц, слышал гибельный скрежет железа о железо и то, в падающем сердце тревожное — и стыд обернуться! — скачут ли за мной?! Нет, переяславцы не выдали, и Дмитрий был горд победой. Он опять и опять вспоминал тот миг, когда стена, о которую, казалось, сейчас сломаются копья и сомнутся мечи, распалась, и он увидел спины бегущих и уже рубил, рубил и рубил, и его обгоняли, рубя врагов, а разгромленные датчане и пешие чудины бежали от них по всему полю, и рыцарская конница стремительно уходила за холмы.

После Новгорода, его громадных ратей, многолюдства градского, вольного кипения торга, шума вечевой площади, розовых и белокаменных соборов, возносящихся ввысь теремов, после лиц веселых и дерзких, разноязычной толпы заморских гостей, что, казалось, собрались изо всех ведомых земель, после новгородской свободы — платя дань, новгородцы меж тем не держали у себя баскака, да и сами татары не домогались сомнительной чести быть, не ровен час, зарезанными разбушевавшейся северной вольницей,— после всего этого родной терем, даже родной Переяславль казались убоги и тесны. Соломенные кровли и плосковатые мерянские лица наводили уныние.

Он любил Новгород ревнивой и злой любовью. Он вырос в нем и был удален оттуда. Он злобился на новгородских бояр, на посадника, на граждан, изменивших ему, сыну Александра, и не мог забыть этих лиц, этой спокойной осанки вятших, этих уверенных речей и твердых глаз, этого богатства не напоказ, этого достоинства в каждом горожанине, встреченном на тесовой новгородской мостовой, деловитой грамотности посадских людей, строгой красоты иконного письма, гордой свободы горожанок...

У него все было в Новгороде. Была и любовь, когда он понял, что и князя можно отвергнуть здесь, на Новгородской земле (не про него ли сочинили потом обидную песню!), и... Как он понимал дядю Ярослава, что бросил Тверь и великое княжение в придачу к ногам новгородской боярышни! Как понимал, как завидовал... Сам он тогда, в семнадцать лет, при живом отце с матерью не решился, не мог решиться на такое. И она ушла, капризно надсмеявшись над ним (над ним, сыном Невского!). И как он любил тогда! Даже сейчас, едва выдержал... Но выдержал, не стал узнавать. Прошло. Верно, муж, дети. Как и у него теперь.

Жена, сосватанная матерью,— маленькая, едва по плечо мужу,— сияя и робея, встретила его в терему. Вспыхивала, не зная, что сказать, как лучше приветить. Ласкал ее ночью, закрыв глаза. Мятежный Новгород, злой и лукавый, тянул к себе, и не было до конца того чувства, что — дом, что вернулся домой. Дом — желанный, уплывающий, был там, далеко, где чествовали нынче его, победителя, и вели окольные речи... Нет, против дяди Ярослава, как бы ни хотела Прусская улица и даже вся Славна, он не пойдет!

Литвин Довмонт, новый пришлый псковский воевода, понравился ему. Умен. Видно, что умен. И храбр так, что уму непостижимо. Верно, таким был батюшка в молодые годы... Как умел отец держать всех в своей горсти! Князей, бояр, Великий Новгород, да и они, дети, не посмели бы своевольничать при нем. Не пощадил же он Василия, и после не простил, и уже не допускал на́ очи до самой смерти. Да, ему, Дмитрию, все-таки далеко до отца. Родного брата, Андрея, что сидит на Городце, уже не можно заставить слушать себя. Женился на боярской дочери... Княжон не нашел? Да и на чьей? Все ему, Дмитрию, вперекор! А прежние вечные их ссоры с братом! Это Андреево давешнее:

«Паче батюшки хощешь быть!» Да, хочу! Они оба с Андреем соревновались, кто из них больше будет походить на отца. Потому и была ярость в бою, и гордое мужество, и восторг, когда исчезает страх в расширяющемся сердце и тело становится легким, и тяжелой рука. Потому и были: твердая походка, неспешный поворот головы, прямой взгляд и молчание — рассчитанное, недетское, отцово. Потому и было упорство: задумав, не отступать, не свершив.

Но для того, чтобы сравняться с отцом, нужна была власть. Нужно было великое княжение, нужен был Новгород, своенравный, едва укрощенный отцовой дланью и теперь вновь вырывающийся из узды. И нужны были сейчас, пока сила в руках и жаркая кровь в жилах, пока все еще впереди и прожито только двадцать два года жизни, всего двадцать два!

Он лежал и не спал. Думал. Спать не хотелось. От заморского красного вина, что пили сегодня с боярами, все еще стучало в висках и слегка кружилась голова. Угощали ратников, угощались сами. Утром слушали благодарственный молебен в соборе, единственном каменном на весь Переяславль, строенном еще Юрием Долгоруким. Строить тогда умели. Владимирские соборы, пожалуй, значительнее новгородских, изобильнее белым камнем, богаче резьбой... Владимир и сейчас еще больше Новгорода... Нет, не больше! Пустеет Владимир. Был, говорят, больше — до татар.

Переяславль тогда, верно, тоже был больше, чем ныне. Отсюда, из Переяславля, уходят пути на Ростов, Юрьев, Владимир, Дмитров, Углич. И туда, через Москву, на Смоленск, на Чернигов и Киев... Не зря отец сидел здесь, в сердце страны. И все-таки стремился на север. Радовался, когда к нему шли служить новгородские бояре, давал им земли здесь, в Переяславском краю.

Земли приходилось давать за службу и нынче. Серебра было мало. Серебро требовала Орда. Оно струилось оттуда, из Новгорода, и плыло, уплывало в жадные, ненасытные руки ордынцев. Чтобы тучнели стада и росли дворцы, чтобы царства и языки трепетали при слове «татары», чтобы льстивые франки и сам папа римский слали грамоты и посольства в Сарай и Каракорум... От этого становилось душно. Душно становилось от сытого, широкого и плоского, с узкими умными глазами лица баскака, которому он, князь, должен был

после молебна в соборе давать отчет о походе и подарки ему и Орде. Да еще: «Пачему мало даешь?» И не скажи: люди бегут! «Бегут? Пачему бегут? Ты князь! Пашли бояр, верни! Куда бегут? Леса бегут? Все сбегут, тебе тогда плати, свой галава плати! Ханым люди не бегут! Орда не бегут! Палахой князь! Своя боярынь сыми, себя сыми, Орда давай!»

— Падаркам давай! — пробормотал он, скрипнув зубами. И то еще легче, чем при Беркае, когда любой посол татарский творил, что хотел, а смердов толпами угоняли в полон... Как отец терпел! Дмитрий порою больше понимал покойного дядю Андрея. Да, надо драться, спасать древнюю честь и святыни! Спасать древлекиевскую славу, пока она не исшаяла на ветру! Спасать храмы и терема, иконы и книги.

Ничего им не объяснишь, ничем не вразумишь, и не примут они никогда христианской веры! У них своя вера, требующая крови врагов!

Погибнуть? Пусть! Но в ратном строю! Но не задыхаться еженощно от бессилия, ненависти и унижения, не подлаживаться, не заставлять себя любить своего врага!

Да, они покорили полмира. В мужестве им не откажешь. Да, они честнее других, они не предают своих и не бросят в беде, не изменяют своим ханам, не завидуют, не лгут, не воруют — там, у себя, в Орде. В походах могут сутками не есть и не спать, не слезая с седла. Они не бегут с поля боя. Они не убивают трусливо послов и не прощают этого никому другому... Да, они такие!

И не так уж они жестоки в бою. В бою — кто не жесток! И кто не зорит захваченных городов и не уводит полона? И... В конце концов! Ежели владимирские князья не сумели удержать власть, пусть бы сели новые, которые вновь подняли величие страны, воздвигли новые храмы и города, чтобы кипела торговля, строились деревни и села, тучнели и колосились нивы, множились стада, расцветали многоразличные ремесла... Но им же ничего не нужно! Драный тулуп, да чашка кумыса, да бесконечная песня, что тянет монгол в степи... Им не нужны ни наше ремесло, ни наша утварь, ни наша еда. Разве только наша кровь для войны! А что иное? Просо коням?! Смешно! Им не нужны наши книги, и книги эти сгорят. И не от татар сгорят! А от небрежения опустившихся, забывших свое прошлое русичей.

Им не нужна красота: храмы, колокольные звоны, священные лики икон... И угаснут колокола, а храмы повергнутся в прах. Они, даже и не желая того, сами собой опустят страну до уровня степной Орды.

Так что же? Воззвать, ринуть рати, одолеть или пасть в бою?! Нельзя! Пока страна не в единых руках, ничего нельзя. Терпят все. Даже Новгород платит ордынскую дань. Да и откуда бы взять силы?

Город хиреет. Ремесленники в низких прокопченных полуземлянках толкуют о том, куда податься. В лесу за озером растут терема. Чего говорить о мужиках, когда княгини правящего дома ищут убежища в лесу за городом? Попробуй собери тут городских мужиков, как в Новгороде, да поведи в бой!

И с тамги, и с мыта, и с конского пятна, с ремесла и торга — все меньше и меньше доходов. Наместники качают головами. Земля скудеет серебром, пустеет казна.

На что опереться? Где путь? Юрий Владимирский мог кормить дружину у себя в терему! Нынче не прокормишь. Одно спасает — земля. Из отцовых бояр, что пришли за ним из Новгорода, те и остались, у кого поместья под Переяславлем: Гаврила Олексич да Миша Прушанин... Да и то Миша, поговаривают, хочет воротиться к себе в Великий Новгород. А иные отъехали к дяде Ярославу, в Тверь, кто в Костроме, у Василия... Гаврило Олексич, Гаврило Олексич, ты хоть меня не оставь!

Хорошо ли то, что бояре сидят на вотчинах, а не кормятся из рук князя? Те, прежние, были со своими князьями в беде и в бою. И переезжали за ними из города в город. А эти, поди-ка, уже не поедут!

Впрочем, и то сказать: сколько было спеси, пышности, а не удержали кормленые Владимировы бояре земли! Пали рати, погибли воеводы. Русь платит дань Орде. Давно ли степняки давали Руси дани-выходы!

И по-прежнему котóры, зависть, споры, нестроения в князьях. Дядя Ярослав давно отступился от Чернигова с Киевом. Удержит ли еще Новгород?! Сейчас поехал туда спорить. Их переспоришь...

Дмитрий наконец почувствовал усталость. Мысли стали мешаться. Он уронил голову на изголовье, обтянутое мисюрской камкой, и уснул. Жена, не размыкая глаз, осторожно натянула повыше шубное одеяло, закрывая плечи Дмитрию, и теснее прижалась к ненаглядному своему красавцу супругу.

ГЛАВА 9

Александра со снохою мылись в большой хлебной печи на поварне. Дмитрий поварчивал, а все равно мылись в печах. Александр, покойник, поставил новгородскую баню на дворе. Походили туда, да и перестали. В печи жар словно был суше и разымчивей — до костей пробирало. Всякую болесть, что от воды, или ветра, или иной застуды, снимало как рукой.

Печь вытопили накануне сухими дубовыми дровами. Дали выстояться. На сноп золотистой ржаной соломы постелили чистые рушники. Александра, кряхтя, разоболоклась и полезла первая в пышущее сухим жаром устье. Затянулась, перевернулась на спину, отдыхая,— всю сразу проняло по́том. Потом поднялась, села, поерзав, уминая солому. Позвала сноху: «Леза́й!» Печь была просторная, хоть троима мойся. Пухленькая Митина жена скоро залезла, устроилась рядом. Александра черпнула ковшом, кинула пар. Сноха ойкнула. Сразу стало нечем дышать и словно огнем охватило, и так же быстро прошло. Горячие кирпичи мигом всосали пар. Александра нынче не заволакивалась заслонкой, сердце стало сдавать. Посидели. Из устья шел легкий воздух, и дышалось легко, тело же было все в банной истоме. Александра снова плеснула на кирпичи. Снова все мгновенно заволокло белым раскаленным паром. Снаружи на ухвате подали горшок с холодянкой. Сноха разбирала волосы. Александра, потыкавшись в ее скользкие ноги, нашарила кусок булгарского привозного мыла. В печной темноте, бабьей, нестыдной близости распаренных тел решилась спросить о тайном: не понесла ли? (Ванятка плох, нать бы еще сына-то!) Сноха потупилась. Стесняется али уж и гребует, не хочет говорить... Александра вздохнула. У нее самой пятеро было сыновей! А нынче все врозь. И не соберешь. Василий — тот пьет без ума. Ее винит. А она что? Отец решил, бояре присудили... И Митя с Андрейкой все не ладят. Она уже стала забывать, как умела прикрикнуть на них на всех когда-то, как шлепала — скора была на руку — и Андрея и Митю, как властно гоняла холопов и бояр. Под рукой у мужа и сама была госпожа... А теперь хотелось покоя. И боязно делалось, когда видела в детях черты покойного мужа. Только младший, Данилушка, смиренный. Обещали Москву, и

ладно. Дитя еще! А дадут ли, нет — невесты Деверь-то. поди, и не даст, кто другой бы!

Снова вздохнув, Александра заговорила о смерти юрьевского князя, Митрия Святославича. Старого Святослава обидели: владимирский стол и Суздаль отобрали у него Александр с Андреем. А Митрий Святославич того в сердце не держал, покойному друг был первый и на похоронах Александра старался паче прочих.

Юрьевский князь помер нынче, канун Пасхи. Два года уже, как болел и потерял язык. А тут, при епископе Игнатии, посхимившись и получив причастие, обрел язык и выговорил: «Исполни Бог труд твой в царствии небесном, владыко! Се покрутил мя еси на долгий путь вечна воина истинному царю, Христу, Богу нашему!»

Александра умиленно, с удовольствием повторила слова покойного (смерть Дмитрия Святославича была еще новостью для всех, Александра узнала о ней первая, и то, что у постели умирающего сидели Мария Ростовская с младшим сыном Глебом и сам ростовский епископ Игнатий причащал юрьевского князя...)

— Святой он, матушка! — убежденно сказала сноха.— Мити-то, жаль, при нем не случилось! — добавила она в простоте.

Александра открыла было рот, поддакнуть, да и смолкла растерянно: «Чего ж это я? И верно: почто Мити-то не случилось? Ведь улестят, обадят ростовчане нового-то юрьевского князя!»

Приметив движение снохи, Александра разрешила:

— Лезай! Я еще посижу. (Беспременно надо Мите сказать!) — Сын давно уже не советовался с матерью о своих делах. Она еще раз вздохнула. Уже не сиделось. Пора было и самой вылезать.

С трудом — две холопки и боярыня со сеней бережно поддерживали ее за рыхлые бока — Александра вылезла из печи. Опустилась на лавку. Холопки повязали голову княгини убрусом, без конца вытирали спину и грудь. Ее большое студенистое тело после бани стало жемчужно-розовым, тяжелое раздутое лицо — пунцовым. Сноха была уже в рубахе, сенная боярыня тоже, и заплетали просохшие волосы. Александра накинула сорочку, потребовала малинового квасу. Сорочка скоро промокла, принесли другую. Снова говорили про юрьевского князя, вздыхали, жалели. Пили квас и легкий, кисловато-хмельной мед.

Одеваясь, Александра не сняла с головы убруса,

только сверху повязалась платом. Так, с пунцовым, обрамленным белым венчиком лицом, и вышла на улицу. После темной печи и полутемной поваренной избы весеннее солнце ослепило. Птичий щебет, близкий шум рыночной площади, голубизна, отраженная в лужах. Голубой, пронзительно-свежий воздух разом наполнил грудь. Она шла по двору и радовалась. Дети были взрослые. Уладят уж как-нибудь! И с юрьевским князем, и промеж собой. Андрейка с Митей помирятся, Данилка получит Москву. Весна-то, Господи!

Радостно звонили колокола.

ГЛАВА 10

Данилка, вымытый и выруганный матерью, тем часом сидел в светелке и, от нечего делать, возился с двухлетним племянником Ваняткой, которого тоже только что вымыли и одели в чистую рубашонку. Ругала его мать за побег. Все утро Данилка, брошенный взрослыми, бродил по теремам, побывал в челядне, где девки, сидя у станов, ткали, с однообразным щелканьем нажимая на подножки и подбивая очередной ряд, и, перекидывая челноки вправо-влево, пели негромко, хором. Он походил между станов, посмотрел на натянутые полотна, выслушал умильные бабьи похвалы себе, соскучился и пошел в шорную. Здесь стоял густой кожаный дух, мастера-холопы, с подобранными под кожаный ремешок волосами, в фартуках, кроили, резали и шили, тут же наколачивали медные бляхи на сбрую, тут же что-то жгли, стоял гул и чад, и у Данилки скоро заболела голова. Он спустился во двор, обогнул терем и, как был, без шапки, вышел на Красную площадь перед собором.

Александр Невский отодвинул торг подальше от теремов. Не замеченный стражей, Данилка проскользнул мимо молодечной и вышел на улицу, всю в грязи и тающем снеге, по которой, чавкая, шли и ехали с торга и на торг. Одет он был просто, по-буднему, и никто не заметил княжича, когда он, замешавшись в толпу, принялся обходить лавки, вдыхая запахи торга, зыркая глазами по сторонам — столько всего тут было выставлено и нагорожено! Данилка начал приценяться к товарам, выспрашивать купцов, которые снисходительно отвечали мальчику, а то и просто отмахивались от

него; прищуриваясь, как взрослый, трогал поставы сукон, отколупывал и жевал воск...

На торгу его и нашел Гаврила Олексич, старый боярин отцов, и, посадив на коня, привез назад. Мать уже хватилась и, ругая девок и няньку на чем свет стоит, искала пропавшего своего младшенького по всему дому.

Данилка дулся. Не такой он маленький, чтобы его на торг не пускать! Впрочем, племянник, который бормотал первые слова и смешно раскачивал головой, заставил Данилку забыть о дневной обиде.

— Чево у тя голова машется? Ну, чево? Молви! Ну! — говорил он, лежа перед племянником на персидском ковре и то протягивая, то убирая от него деревянного расписного коня, когда двери отворились и в светелку, пригнувшись у притолоки, вошел Дмитрий.

— Смотри, Митя,— закричал Данилка, радуясь брату.— Он уже держит, не роняет!

Дмитрий подхватил сына на руки, поднял, вглядываясь в большие, почему-то печальные глаза первенца, его слишком тонкую шею... Подумалось невольно: долго не проживет! И сам испугался этой мысли. Охватила острая жалость к сыну, прижал к себе. Тот ручонками тотчас, молча, уцепился ему за шею, не выпуская деревянного коня, которым невольно давил Дмитрию ухо. Дмитрий покрутил головой, передвинул, стараясь не уронить, игрушку, потом, поискав глазами, уселся вместе с Ваняткой на расписной сундук, тоже восточной работы. Сына устроил на коленях.

«Наследник!» — чуть не сказал вслух.

— Митя, а...— Данилка застеснялся, стоя перед братом и любуясь им, потом все же спросил: — А тебя теперича позовут в Новгород князем?

Дмитрий усмехнулся, отвел глаза от его сияющего лица.

— Еще не созвали!

— А созовут, дядя Ярослав пустит тебя тогда?

Дмитрий серьезно взглянул на восьмилетнего братца: наслушался взрослых, что ли? Или подговорил кто? Этого вопроса он и самому себе старался не задавать.

— Мал еще! — хмурясь, отмолвил Дмитрий.

— Нет, ты скажи! — с детским упрямством, все так же восхищенно глядя на брата, повторил Данилка.

— Не знаю, Данил,— ответил Дмитрий и, не заметив сам, как с языка сорвалось, примолвил: — Может и не пустить.

— А что тогда? — не отставал Данилка.

— Много будешь знать, остареешь скоро! — решительно прервал разговор Дмитрий.— На вот! — подал он сына младшему брату, стряхивая с колен «божью росу». Вбежавшая мамка (проведала, что князь в светлице, сломя голову мчалась, скажут: дите бросила!) засуетилась, подала князю плат, обтереться. Схватила ребенка, стала тискать без нужды. Ванятка заплакал.

— Сорочку смени! — сказал Дмитрий строго и вышел вон.

Данилка остался помогать мамке. У него в руках Ванятка тотчас перестал реветь. Сам Дмитрий не знал, что ему делать с сыном. Потому и заглядывал редко. Видел только, что слабый, больной, а нужен был воин, князь! Нужны были сыновья, много сыновей, чтобы не страшиться случайной беды, чтобы продолжили, когда придет час, дело отца и деда, дело собирания земли русской вокруг... Быть может, даже вокруг Переславля!

Мысли — через жену и мать — перескочили к юрьевскому князю. Почему мать не могла вызнать, упредить заранее, гонца послать, наконец! Сидят, золотом вышивают... Не на добро обаживали юрьевского князя ростовчане, ой, не на добро! Надо скакать к наследнику. Немедленно. Троюродный брат! Почтение оказать. Дороги развезло — все равно. Заодно узнаю, как и что. Юрьев нельзя уступать ростовчанам. Нельзя дать рассыпаться русской земле! Хорошо было Великому Всеволоду! И отцу хорошо... А у него ни власти, ни сил, ни денег!

ГЛАВА 11

Гаврила Олексич, великий боярин князя Дмитрия, отвезя пойманного княжича в терема, воротился к торгу. Старый боярин твердо сидел в седле, зорко, с высоты разглядывая запруженную народом площадь. Сын, Окинфий, и неколико человек дружины ехали следом. С утра он уже осмотрел ряды, где торговали сукном, холстом, рыбой, резной и глиняной посудой, кожами и многоразличным кожаным товаром. Мытник, отирая обильный пот, следовал за ним. Боярин сам проверял клейма, считал и писал что-то на вощаную табличку, которую, новгородским обычаем, всегда имел при себе.

Доходы все падали и падали, и князь был недоволен. Будут тут доходы, когда по Волге пути нет! Персидского товару совсем не стало на торгу...

Перед ними теперь была конская ярмарка. Приподымаясь в стременах, Гаврило Олексич вдруг ожег коня, конь прянул, веером взбрызнув снег.

— Держи! — крикнул боярин. Конные холопы кинулись вперейми и скоро привели беглеца с рыжим, золотистой масти, жеребцом, что злился и пробовал укусить.

— Так и есть. Без пятна! — ответил мытник, осмотрев коня.— Виноват, Гаврило Олексич!

— Ищо поищи! — строго молвил боярин.— Раззява! Неклейменых коней будешь в куплю пущать, князя вконец разоришь!

— Как узнал, батя? — спросил Окинфий, подъезжая к отцу.

— Глаз надо иметь. Учись!

— Отколе сам? — спросил он продавца. Тот низил голову, зло озирался, мямлил. Гаврило Олексич вдруг, подняв плеть и страшно вытаращив глаза, с размаху хлестнул задержанного так, что тот весь разом выгнулся и кровь брызнула у него поперек лица.

— С Рязани, с Рязани! — быстро забормотал он, пуча испуганные глаза на боярина.

Гаврило Олексич, уже вновь спокойный — будто и не он бил вора,— глядел на него с седла.

— Краденый конь! — отмолвил он и кивнул мытнику: — Клейма зарощены! Не туда смотришь. Вона, гляди! — ткнул концом плети, подъехав вплоть к золотистому коню.— Пото и продает украдом.

Продавец коня заторопился, с сильным рязанским яканьем стал объяснять боярину, что конь не краден, а взят в бою, и тому есть послух у него здесь же, в Переяславле, тоже рязанец...

— Ладно. Мне не первый снег на голову пал! — оборвал его боярин.— А за пятно почто не платил?

— Побоялся...— потупив голову, признался продавец коня.

— Сведи! — бросил Гаврило мытнику, к которому уже подоспели двое стражей.— Коли не брешет, не продаст его послух тот, пущай платит за пятно да меню, а коня — продает!

Огорошив рязанца неожиданной милостью, боярин отъехал.

— Они все там, на Рязани, воры да буяны. Думают татар перешибить... Татар не перешибешь! Прилаживаться нужно. Ну и зорят ихнюю волость кажен год. Татары их грабят, а они — сами себя! — сказал Гаврило Олексич негромко, оборотясь к сыну. Про татар громко не говорили вообще.— Я бы и отобрал коня, да начни тут... Торг закрывать придется! — прибавил он, помолчав.— А там с бою ли взят... Кто его с бою брал? Видать, что краденый! Добро, хоть не в нашем княжестве!

— Не оголодал? — спросил он сына, помолчав.

— Не!

— Съездить надоть за Клещин-городок. Тамо наши ратные на селе... Вдовы есь. Уведать надобно. Князь наказал. Может — пóмочь нужна. Коли не оголодал, терпи, тамо и поснидаем с тобой.

У златокузнечных лавок боярин придержал коня. Решил побаловать сына, а заодно и поучить.

— На-ко вот! — Он запустил руку в кожаный кошель.— Высмотри сам, чего тебе любо будет!

Окинфий радостно спрыгнул с коня. Миновал две-три лавки. Наконец задержался у одной. Серебряные наборные пояса, чары, нательные кресты, изузоренная серебром сбруя — тут, кажись, стоило поглядеть. Сиделец переводил острый взгляд с Окинфия на Гаврилу Олексича, что, сидя на коне, в отдалении, толковал о чем-то с остолпившими его гостями-суконниками.

Окинф перебрал товар, и радостное возбуждение от вида разложенных сокровищ померкло. Колты и серьги были грубы, зернь никуда не годилась, а подчас вместо зерни было простое литье по старым оттискам. Сканой работы не было, почитай, совсем. Он уже лениво перебирал серебряные крестики, изредка задерживая взгляд на черненом створчатом энколпионе или цепочке граненого серебра, но и то не годилось. Купишь, а опосле батюшка засмеет!

— Доброй работы нету ли?

Сиделец подумал, поглядел по сторонам, потом нагнулся, повозился, посопев, под прилавком, вытащил откуда-то сверточек и, оглянувшись опасливо, начал развертывать: первую тряпицу, вторую, третью. Наконец что-то проблеснуло.

— Ты мне словно крадено даешь! — пошутил Окинфий.

— Не крадено, а не всем кажу! — возразил купец.

Еще раз зорко оглядев боярина, сиделец выложил перед ним небольшой темно-красного камня крестик, оправленный в золото. Окинфий недоверчиво подержал крестик в ладони, перевернул. Вгляделся. Крупного чекана оправа с толстою перевитью (сперва показалась даже грубой) обличала, однако, руку опытного и зрелого мастера. Тончайший узор по краю, сотканный словно из паутины, чего Окинф и не заметил вначале, дал ему понять, что мастер был далеко не прост.

— Тех еще мастеров! — ответил сиделец на немой вопрос Окинфия.— До разоренья до етово делано, до етих! — он кивнул головой куда-то вбок, что на всем понятном языке намеков означало: терем ордынского баскака на княжом дворе.— Киевска альбо рязанска.

— Теперича в Рязани энтого не найти! — молвил Окинфий.

— Куда! — сиделец даже рукой махнул.— Ты бывал ли в Рязани ноне?! — И опять безнадежно махнул рукой.

— Во Владимире и то извелись мастеры! — прибавил он погодя, пожевав губами.— И в Ростове, и в Суздале... Всюду извелись. Есть ли еще в Новгороде Великом?! Я старой человек, а ты молод еще, боярин, дак не поверишь, иногды стыдно торговать, пра-слово! Тридцать годов всего и прошло-то, которы и старики живы еще, не уведёны в полон, а не работают больше-то! Серебра, бают, того нет, ни золота чистого, ни камней, да и боятся! Чуть что — к баскаку: где взял? Товар отымут и самого уведут...

— Ну, сколь просишь? — прервал его Окинфий.

Старик закряхтел, забрал крестик, подержал его задумчиво, сжал ладонь и, жестко глядя в глаза Окинфию, назвал цену. Начали торговаться...

Уже засовывая крестик за пазуху, Окинфий все думал: не много ли стянул с него купец? Но отец, лишь глянув, одобрил куплю, прибавив:

— Старая работа!

— Старая,— подтвердил Окинфий.

— Видать. Тута, почитай, мастеры были лучше, чем в Нове Городи! Поуводили всех... Кого азиятцам попродали, кого в Сибирь, в степи, к кагану, да в ентот, в Китай...

Последние домишки Переяславля остались позади. Холопы отстали. Отец с сыном ехали горой, и озеро,

большое, готовое тронуться, широко простерлось перед ними.

— Глянь, батя! Лед уже засинел! Дивно!

— Ты ищо Ладоги не зрел, Окинфий...— отмолвил, усмехнувшись, отец.— Тамо глядишь, и земли не видать! Во весь окоем вода!

— Страшно, чай?

— Не!

Отец молодо глянул на сына:

— Просторно! А нужен человеку простор! Хоть бы и в чем. И жисть, она... Нету простору у нас. То ли при Олександри было! Князь молодой и хорош, а когды великим князем станет, и станет ли еще?! Мыслю, маленько прогадал я тогды! С Ярославом бы нать! Счас не по такому торгу ездили!

Сын молчал, смущенный нежданною речью отца. После Новгорода (они оба были на рати под Раковором) и ему тесен казался Переяславль.

— Волга, бают, тронулась...— нерешительно произнес он, глядя вдаль, туда, где за синими лесами, за волжской Нерлью текла, ломая лед, великая река.

— Волга завсегда поране, чем здесь,— ответил отец,— вода текучая... Мельницу глядел? — круто перевел он речь.

— Глядел! — встрепенувшись, отозвался сын, не сразу сообразив, что отец спрашивает о вотчинной мельнице, что вот уже который год все больше и больше требовала починки.

— Совсем прохудилась. Летом новую ставить нать! — бросил отец. И погодя вздохнул: — Да, от земли просто не уедешь!

Окинфий же всю дорогу вновь и вновь ворочал в голове родителевы слова. Служили отцу, служим сыну. Редко кто, и то из крайней нужды, бежит от князя своего! Это он знал. Это знал всякий. На том держались и честь рода, и место в думе княжой, и чины, и служба по чинам. Спроста ли отец молвил таковые слова? Они побывали в Криушкине и в Княжеве. Обедали, как потом узнал Федя, у дяди Прохора, и боярин совсем не чинился, ел, что и все.

— Простой, простой! — с восторгом сказывали ребята.— А важный какой! Ух!

К ним в избу боярин заглянул тоже. Пролез в дверь медведем. Шуба, каких близко Федя еще не видал, волочилась по полу, прорезные рукава тяжело свисали

сзади. Мать засуетилась сперва, потом опомнилась, чинно поклонилась, сложив на груди руки, извинилась, что в затрапезе. От угощения боярин отказался.

— Не обидьте, Гаврило Олексич! — говорила мать, поднося чары с береженным для редких гостей медом.

Боярин улыбнулся, снял шапку, пригубил.

— Не забыла? Оксинья? Нет, Вера?! Ну, за хозяйку, Веру, за веру нашу православную, за чад твоих!

— Ну-ко, молодцы, подойди близь!

Щурясь, он осмотрел Грикшу с Федей с ног до головы, спросил:

— Грамотны?

Мать замялась несколько, дядя Прохор, вошедший следом, подсказал:

— Учатся!

Боярин глянул на дядю Прохора скользом, на мать — внимательно, сказал:

— Грамота — тот же хлеб. Ты их учи, мать. Вырастут, спасибо скажут.

Уже на улице, в седлах, когда выехали со двора, Окинфий решился молвить:

— Добрые ребята!

— Добры! — задумчиво возразил отец.— Не запускает. А учить бросила. В мужики готовит. Малы еще! Старшему, сказывали, двенадцатый год всего. Наделок им сократить надоть, хоть и жаль. Все одно без отца всей пашни им ноне никак не обиходить... Разве мир поможет!

Снова перед ними открылось озеро, на котором уже появились разводья и полыньи. Ехали шагом.

— Ты думаешь, батька твой князю изменить затеял? — негромко сказал Гаврило, не поворачивая головы. Окинфий вздрогнул, едва не выронив повода.

— Мы вон с Олфером Жеребцом были вместях! А теперича он у Андрея, под меня копает, а я здесь! И князья наши не ладят! Коли и умрет Ярослав и Василий Костромской отречется даже, и то: кто из них получит великое княжение?

Гаврило Олексич помолчал и добавил, вздохнув:

— Сумеем мы с тобою посадить Митрия Лексаныча на владимирский стол, самим тоже быть наверху. Только одно дело, как мы решим, а другое — как татары захотят!

Он подобрал поводья, и конь пошел резвее. Уже переходя на рысь, Гаврило бросил сыну через плечо:

— А земля, она держит! Сидишь тут, словно кобель на цепи...

ГЛАВА 12

Андрею, младшему брату Дмитрия Переяславского, когда умер отец, шел четырнадцатый. На пятнадцатом году, после смерти дяди Андрея, он получил Городец, сделавшийся его стольным городом, и в придачу Нижний Новгород, отобранные дядей Ярославом у суздальских князей: вдовы и малолетних сыновей покойного Андрея.

Опеку сына Александр Невский, уезжая в Орду, поручил Олферу Жеребцу, одному из своих старших бояр, перебравшихся на Низ вслед за великим князем. В год смерти Невского Олферу немного перевалило за тридцать. Он был высок, широк в плечах, крупноскул и черен, с мощными ладонями длинных бугристых рук. И видом и статью Олфер как нельзя лучше оправдывал свое родовое прозвище. Он ржал, как конь, был грозен в бою и, случалось, ударом кулака валил рослых мужиков в новгородских уличных сшибках. Олфер и сына своего Ивана (младенец был вéской, как говорили бабы, и при рождении чуть не стоил жизни матери) нарек Жеребцом, когда малыш однажды в руках у отца потужился и громко «треснул», аж на всю горницу.

— Ну,— расхохотался Олфер,— весь в меня! Тоже добер конь растет, жеребец!

И так и пошло: сына в отца стали звать Жеребцом и в глаза и позаочью.

В Городец они приехали вместе с Андреем. Дмитрий неволею отпустил Олфера, который не ладил с Гаврилой Олексичем, и свары их, при живом Александре сдерживаемые властной великокняжеской дланью, грозили уже возмутить весь Переяславль. Олфер увозил жену с малолетним сынишкой, увозил порты, рухлядь, брони и оружие, гнал коней и коров, уводил холопов и дружину. Ему было легко. Он еще не сел на землю так плотно, как другие, все жил по старине, кормясь от князя, доходами с волостей, что держал как кормленик, собирая оброки и дани. Дом, покинутый в Новгороде, мало заботил его, а переяславские свои хоромы он и вовсе бросил без сожаления. Понимал, что Гаврилу

Олексича ему не осилить. При последнем свидании с ним, отводя глаза, пообещал:

— Может, и сквитаемся когда, Олексич!

— Может, и сквитаемся, Олфер! — ответил Гаврило, и только и было меж ними всех сказанных слов.

В думе Дмитрия, когда Жеребец покинул Переяславль, вздохнули свободней.

Пятнадцатилетний городецкий князь был влюблен в своего боярина. Рослый, как все Ярославичи, угловатый и нервнопорывистый, с широко расставленными глазами и ярко вспыхивающим румянцем на худых, одетых первым пухом щеках, Андрей в Жеребце видел образец мужа и воина, первый после покойного отца. Когда Олфер поворачивал к нему красное, одетое черной бородой лицо и, щурясь, сверкал белками глаз или, снисходительно хваля за лихую езду, показывал в улыбке крупные белые зубы, Андрей был вне себя от счастья. Сам не замечая, юный князь старался с тою же ленивой небрежностью сидеть в седле, так же полунасмешливо говорить с дружинниками (у него, впрочем, получалось не так — резче и грубей), так же, спросив о чем ни то встречного мужика, глядеть через голову смерда и отъезжать, едва кивнув и не взглянув в лицо. Он и улыбаться старался широко и презрительно-насмешливо, как Жеребец, и узить глаза в гневе, подобно Олферу, чего у Андрея, впрочем, тоже не получалось.

И по роду, и по месту у покойного Александра, и по дружбе с юным Андреем Жеребец сразу занял среди городецких бояр первое место. Тем паче что Андрей поручил ему должность тысяцкого. Схлестнуться Жеребцу пришлось только с Давыдом Явидовичем, который по богатству, и по чести, и по роду превосходил Жеребца, да, сверх того, был посажен в Городец вдовою Невского, «отдан» Андрею, с чем, при живой Александре, приходилось считаться волей-неволею.

Давыд Явидович был старше Жеребца лет на семь. Когда Андрей сел на княжение, ему уже подходило к сорока. Он был умен и осторожен, но далеко не робок. Умел, ежели надо, показать себя и на коне, в соколиной охоте, и перед дружиною, в броне и шишаке. Но всего внушительней и казался и был он в княжеской думе, в дорогих, веницейского бархата, портах, в соболином опашне, с золотою цепью и сверкающими перстнями на пальцах, свободно и прямо

восседая и недвижно сложив руки на навершии трости, резным рыбьим зубом изукрашенной; он казался и ростом больше, и слово его, весомо и вовремя изреченное, почасту одолевало Жеребцово, приводя последнего в бешенство, от коего Жеребец совсем терял власть над собой.

В Городец Давыд Явидович перебрался почти одновременно с Жеребцом. Тогда еще был жив старый Явид (он умер года четыре спустя во Владимире), служивший Невскому, а потом его вдове, и Александра, чувствуя себя виноватой, что почти бросила среднего сына (она, и верно, лишь изредка наведывалась в Городец), упросила старого боярина приглядеть за «Андрейкой»:

— Нетерпеливый он, нравный! Олферка-то, чать, и не удоволит ему! Ты уж послужил бы Андрюше, Явидушко!

Явид кряхтел, кланялся, жаловался на болезнь, на годы. В Городец послал сына, Давыда, сам обещал почасту навещать молодого князя.

Села у них были под Владимиром и на Волге, невдали от Нижнего. Александра еще придала Давыду большую волость под самым Городцом, выкупив ее у вдовы Андрея Ярославича. Давыд устраивался прочно. Сам прикупал земли, строился, снаряжал лодьи с товаром. Двор поставил на крутояре над Волгой, с высокою повалушей, со многими горницами, что топились по-белому, с обширными сенями на столбах, для пиров и званых приемов, с тесаными потолками в покоях и галереей, что опоясывала дом по верхнему покою и словно висела в воздухе. Из окошек, забранных слюдою, а кое-где привозным стеклом, далеко виднелись заволжские дали. И бегучая масса воды, то темно-синяя, то серая, то кованная серебром, далеко уходила в зеленые просторы, лелея на себе лодьи и насады, купеческие крутобокие учаны и паузки с товаром, сплоченный лес и рыбацкие, черные, под холстинными парусами челны.

Среди городецких бояр Давыд Явидович тоже был свой, не то что Жеребец. У него тут имелись и раньше угодья и земли, его знали и уважали задолго до переезда в Городец. В спорах и на суде чести перед боярскою думою, да еще при поддержке Александры, Давыд Явидович мог, пожалуй, и одолеть Жеребца, во всяком случае, сильно повредить ему перед молодым

князем. Но как-то раз, внимательно посмотрев на Андрея, Давыд задумался и начал незаметно все более уступать Жеребцу. Все чаще соглашался с ним в думных делах, перестал обижаться, когда Жеребец лез не в очередь, заговаривал с ним без прежней злобы, и Олфер тоже помягчел к Давыду, не очень задумываясь над причинами уступчивости недавнего своего супротивника.

Однако Давыд все это делал — и уступал, и сближался с Олфером — неспроста. Князь рос, а у Давыда Явидовича росли дочери. И тут надо было очень и очень не ошибиться: настроить старика отца, а через него расположить Александру, да и самого Андрея незаметно приохотить к дому. В этом случае соперничество с Олфером было вовсе ни к чему и могло испортить весь замысел.

К тому часу, когда у Давыда умер отец, дело настолько продвинулось, что даже смерть Явида не могла уже нарушить задуманного. Юный князь всею молодой кровью прикипел к Давыдовым высоким хоромам, вспыхивал и бледнел при виде девушки, что унаследовала легкую походку матери и соколиную стать и выписные брови отца (Давыду было чем прельстить Александрова сына!), а дома, в постели, метался в жару, уже морщась, с юным отвращением, поминал ласки охочих женок, которых ему ненароком подсылал или приводил Жеребец, понимая, с болью и томлением тела, что нужно только ее, ее одну, и никого больше, и нужно до того, что уже казалось: привели бы ее в изложницу, и страшно станет, не смог бы даже прикоснуться рукой — как к чуду, как к диву дивному, как в птице Сирину, птице райской...

Давыд Явидович уже и с великою княгиней говорил, прозрачно обинуясь, и дочерь показывал Александре. Довольный, после посещений Андрея, заходил в светелку к Феодоре, глядел, усмехаясь, как та, стараясь не замечать отца, прикусив губу и темнея взором, смотрится в серебряное зеркало; подходил, оглаживал своенравно выгибавшуюся станом девушку, спрашивал:

— По нраву князь?

— Ах, батюшка, уйди! Устала я! — отвечала она, полузакрыв глаза и запрокидывая голову с тяжелой светло-русою косой. И отец выходил, все так же посмеиваясь. Дело и тут было на мази. Оставалось начистоту поговорить с Жеребцом (Олфера требовалось

сделать своим ходатаем в деле) и добиться, чтобы князь Андрей сам, первый, а лучше — вкупе с Олфером, попросил у матери согласия на брак.

Жеребцу накануне разговора он подарил новгородского терского сокола редкой красоты, выученного и на боровую и на полевую дичь, а незадолго до того восточную, дамасской работы, саблю и надеялся на успех.

Они ехали по-над Волгой, опередив слуг, и Жеребец первый начал разговор:

— Окрутить парня хошь?

— Любят друг друга! — осторожно ответил Давыд, не любивший прямых подходов.

— Башку ты ему закрутил девкой, это верно! — отозвался Жеребец, показывая зубы и сплевывая.

«Не смеется ли?» — беспокойно подумал Давыд. Молниеносно приподняв бровь, окинул Жеребца, его черную бороду, сощуренные глаза: нет, Олфер не смеялся, думал. Давыд заговорил откровеннее. С недомолвками и оговорками, то и дело быстрыми боковыми взглядами поверяя — не стоит ли прекратить и все свести к шутке, Давыд предложил Олферу поделить власть так, чтобы Олфер взял на себя все дела ратные, а он, Давыд, станет думным советчиком князя. Вдвоем они добудут Андрею владимирский стол и себе первые места в думе великокняжеской.

— Далеко глядишь! — задумчиво, без обычной усмешливости, отозвался Жеребец.— Я думал, ты дале, как девку Андрею в постель сунуть, и не мыслишь, а ты вона куда метнул! Да не осилить нам с тобою! Тверичи, костромичи, переяславцы, сколь их?! Да еще ростовчане вмешаются, того гляди!

— Ростовчане не полезут. В Новгороде затевают мятеж противу Ярослава. А ежели Ярослав не усидит, Василий Костромской сцепится с Дмитрием. Они сами себя осилят! — возразил Давыд, и Жеребец внимательней, чем раньше, обозрел своего спутника.

— Сами себя?

— А иначе нам с тобою и ждать нечего! Ярославу сорок лет, Василию тридцать три, Дмитрию едва за двадцать перевалило... По лествичному счету когда еще черед до Андрея дойдет, да и дойдет ли!

— А нашего Андрея,— прибавил он, помолчав,— надо с Семеном Тонильичем, князь Василья воеводой, свести. Тот его разожгет, лучше не нать! И самого

Семена на нашу сторону перетянуть не грех. Он роду высокого, старых владимирских великих бояр...

— Чего от меня хошь?! — сурово спросил Олфер.

— Дак без твоей помочи их, молодых-то, и оженить не́как! — простодушно отозвался Давыд.

Жеребец вновь расхмылился, блеснув белыми крепкими зубами:

— Лады! Оженим молодца! Так и эдак пора ему в бабий хомут!

В себя Жеребец верил. Давыду без него было и впрямь не обойтись.

ГЛАВА 13

Свадьбе Андрея воспротивился было Дмитрий, от чего, однако, упрямство и страсть Андрея лишь разгорелись еще сильней. Сваты и он сам, наученный Жеребцом, указывали на пример Ярослава, молодая жена которого, даром что боярышня, уже показывала в Твери истинно княжеский нрав. Давыд Явидович сумел обадить и улестить Александру, и Дмитрий махнул рукой. Своих забот хватало. Новгород позвал его воеводой, и Дмитрий с дружиной отправился на войну.

Свадьбу справили в Городце без особого шума и без больших гостей. В досаду отсутствующему Дмитрию Андрей пригласил старшего брата, Василия, что жил у дяди Василия Ярославича на Костроме. Были также стародубский князь Михаил, Федор Ростиславич Ярославский, а дядя Василий Костромской со свадебными поминками послал воеводу Семена Тонильевича.

Семен подолгу беседовал с Давыдом и Жеребцом, внимательно приглядывался к молодому городецкому князю. У Василия Ярославича наследников не было, и костромские бояре нет-нет да и задумывались о будущем. Впрочем, младший брат Невского был еще не стар, наследники могли и появиться.

Андрей к девятнадцати годам выровнялся. Еще раздался в плечах. Юношеская нескладность ушла. В порывистых движениях, резком повороте головы, широких, легко сходившихся над переносьем в гневную складку бровях начал проглядывать характер. Он уже не смотрел так завороженно в рот Жеребцу. В думе, закусив нижнюю губу и пристально глядя на говоривших, что-то решал сам и иногда, сбивая бояр с толку,

вдруг резко отвергал всеми принятое или так же резко требовал иного решения.

У Андрея до свадьбы не было времени толком поговорить с Семеном Тонильевичем, чего так хотели Давыд с Жеребцом. Голова кружилась от вина, музыки, шума, томительного ожидания первой супружеской ночи. Вопреки всем обычаям и порядкам он приехал накануне к Давыду один, без слуг и провожатых. Бросив коня на заднем дворе, прошел, минуя столовую палату, прямо на женскую половину хором. Пихнув растерявшуюся мамку, потребовал:

— Вызови!

И когда Феодора, легкими ногами простучав по лестнице, растерянная и рассерженная сбежала к нему на галерею, Андрей, не слушая и не понимая ничего, подхватил девушку, поднял, прижав грудью к своему лицу, одолевая царапающие руки и горячий злой шепот:

— Завтра, завтра же, Господи! Сором, увидят...

Чуть было не понес наверх, опомнился. Подержал еще, стиснув, слушая и не слушая судорожные укоры, всхлипы и жесткие толчки маленьких девичьих рук. Ковшом холодной воды плеснула мысль, что брак — это не только и не столько то, чего добивался он и чего страстно хотел теперь, а и что-то другое, трудное и сложное, и, быть может, не всегда радостное, к чему он совсем не готов и о чем не задумался до сих пор ни на мгновение... И от этой холодной мысли сами разжались руки, и он почти враждебно посмотрел сверху вниз в ее выписные, с капельками злых слез, глаза, увидел обиду и ярость и, совсем отрезвев, отступил на шаг, а она потупила очи, исподлобья, все еще сердито, взглядывая на князя, и вдруг, почуяв, верно, его досаду, жалобно приоткрыла коралловый рот, беззащитно уронила руки, постояв так мгновение, повела закинутой головой в жемчужном очелье, потянулась к нему, легко переступив, коснулась чуть влажными тонкими пальцами в серебряных перстнях его щеки, прошептала:

— Ведь завтра, завтра же, милый!

И, увернувшись от ринувшегося было к ней Андрея, которому кровь снова мгновенно ударила в голову, исчезла. Только плеснул по воздуху голубой шелковый подол да стремительно протопотали по лестнице легкие алые выступки.

Давыд Явидович, что давно уже стоял за дверью галереи, ловя миг, когда надо будет войти, отвалился

к стене, облегченно перекрестившись, когда малиновые каблуки зеленых востроносых новгородских сапог молодого князя с грохотом просыпались вниз по ступеням. Андрей, никого и ничего больше не видя, выбежал на двор, пал на коня.

Все, включая венчание в храме и бешеную езду на ковровых расписных санях, Андрей почти не помнил. Где-то пели, где-то толпились и поздравляли, еще прежде мать благословляла его старинной иконой и, благословляя, некрасиво плакала. Немного пришел в себя он уже, только когда приехали от венца, за большим столом.

Феодора в венчальном уборе, в белой шелковой фате, в саяне из серебряной парчи, с серебряными же, сканого дела, пуговицами прежней владимирской работы, в сплошь затканном розовым новгородским жемчугом уборе, с тончайшими, тихо звеневшими золотыми подвесками в волосах и большими, старинными, тоже золотыми колтами над ушами, в которых переливались драгоценные аравитские благовония, была чудно хороша. Глаза ее под выписными бровями сияли, как яхонты, и длинные ресницы, от которых тень падала на матовые щеки, слегка вздрагивали, когда она взглядывала на Андрея восторженным и гордым взглядом.

Пировали на сенях княжеского дворца. На улице стоял мороз, и в просторной, без печей, с широкими окнами палате поначалу пар подымался от дыхания гостей, что в шубах и шапках, опашнях, душегреях, вотолах собрались за столом. Постепенно, однако, палата нагревалась от множества собравшихся, да и стоялый мед и красное фряжское, вперемежку с огненною ухой, мясом и дичью, что еще дымились и шипели, доставленные прямо из поварни, делали свое дело. Шубы и опашни расстегивались, сдвигались, а то и сбрасывались шапки, платы боярынь опускались на плечи. Александра, красная, решительно распахнула свой бобровый коротель. Свадебные песни сменились плясовыми, и вместо молодки, что с деревянной тарелью обходила, кланяясь, гостей после каждого очередного величания, в палате явились скоморохи и лихо забренчали и загудели в свои гудки, сопели, домры и балалайки. Крики и здравицы потрясали хоромы, и уже Жеребец, сверкая зубами в черной бороде, выпутался из лавок и столов и пошел вдоль палаты плясом, раскинув длинные руки, озорно и свирепо поводя белками

налитых хмелем глаз, и уже обнимались и хлопали друг друга по плечам и спине за столами, и уже иной гость с отуманенным взором съезжал с лавки, пьяно икая, когда Андрей, у которого закружилась голова, покинув новобрачную, вышел из палаты.

Сени с хоромами и теремом соединялись крытым висячим переходом. И тут, на переходе, возвращаясь в сени, Андрей столкнулся со старшим братом, что тоже выбрался из-за стола прохладиться и был, как понял Андрей, уже совершенно пьян. С хмельным упрямством он уцепился за Андрея:

— Погоди! Постой! Гребуешь мной? И ты тоже гребуешь и мать... Думаешь, пьян? Да, пьян! Пьян!

Он сгреб Андрея за грудь с неожиданной дикою силой, притянул к себе и, жутко и жалобно заглядывая в глаза, выдохнул:

— Ты почто меня пригласил? Думаешь Митьке назлить етим? А он на тебя с...! Я труп! От меня смердит! — крикнул он, дыша перегаром в лицо Андрею.— И ты труп, и он! Батя, думашь, проклял меня одного? Он всех нас проклял! Он вверг нож в ны! — горячечно бормотал Василий, сведенными судорогой пальцами сжимая Андрееву грудь.— В нас теперя правды нет, мы — для себя самих! Мы будем резать брат брата, как Каин Авеля. Мы сами себя зарежем!

Андрей вырвал наконец, мало не порвав, бархатный зипун из скрюченных пальцев Василия и оттолкнул брата. Тот качнулся к стене и, видя, что Андрей уходит, бросил ему вслед:

— Митьки берегись! Он больше тебя похож на батю! Хочешь власти над ним — бери Новгород!

Андрей обернулся, сжав кулаки.

— Ты тут с бабой...— глумливо продолжал Василий.

— И с тобой! — гадливо скривясь, оборвал Андрей.

Василий скверно захихикал:

— С бабой и со мной! Вот именно, с бабой и со мной! А он там — стратилат! — Василий шутовски поднял растопыренные ладони.— Он ратью правит! — крикнул Василий вослед уходящему Андрею и сгорбился, цепляясь за оконный косяк.

Отвращение, жалость к погибшему брату и смутный ужас чувствовал Андрей, пробираясь на свое место в красном углу, и опомнился лишь, когда Феодора сжала ему руку своими прохладными пальцами и, тревожно заглядывая в глаза, тихо проговорила:

— Ты что, Андрюша? Осердил ли кто? Светлый мой!

Он даже не сразу понял, что она впервые сейчас назвала его домашним детским именем...

Ночь прошла нелепо и жалко. Ни восторга, ни гордости не испытал он от закушенных губ и сдавленных стонов девушки. И только утром, когда в стену холодной изложницы гулко ударили глиняные горшки и раздались зычный глас Жеребца и веселые выкрики дружек, а сваха гордо понесла казать гостям замаранную сорочку новобрачной, и Андрей, заскрипев зубами, уткнулся лицом в перину, Феодора, уже переодетая, подошла, уселась рядом с ним на постель и, бережно проведя по щеке влажными пальчиками, вдруг ткнулась лицом в разметанные кудри Андрея и задышала, заплакала, жаркими слезами поливая затылок супруга. Андрей перевернулся в постели и, увидев ясные и какие-то новые, омягченные ее глаза, привлек молодую жену лицом к своей груди, и так они и сидели молча несколько мгновений, пока нетерпеливые крики дружины за стеной не заставили их подняться и выйти к гостям. Только тут и почуялось, пожалуй, обоими, что это их первая брачная ночь.

Олфер, приглядевшись к молодому со своим обычным усмешливым прищуром, позже, наедине, проронил:

— Не горюй! Гляди кречетом! Девка не баба, ее когда ищо приохотишь...

И тотчас, не давая Андрею вскипеть, перевел речь на другое:

— Ты с Семеном баял? Повидь! Не то уедет, а мужик крутой! Он и в Литве и в Орде бывал, людей повидал, толмачит по-всякому. При батюшке твоем высоко взлетел, да не усидел... А все ж у Василья нынь главным воеводой!

ГЛАВА 14

Путного разговора у Андрея с Семеном Тонильевичем не вышло, однако, и на этот раз. Семен оказался ему не по зубам. Андрей стеснялся, дичился, сидел, напряженно выпрямившись, и не мог позволить себе, как в дружеских беседах с Жеребцом, ни расслабиться, ни повести плечьми, ни начать расхаживать по палате. Почему-то упорно припоминалось, что перед ним чело-

век, помнящий пиры и приемы Юрия. Меж тем Семен держался легко, с непринужденной почтительностью, мягкостью движений напоминая большого пардуса.

«Не смеется ли он надо мной?» — беспокойно думал Андрей.

Возраст Семена был так же трудно уловим, как и его душа. В холеном, ладно скроенном теле еще не чуялось ни лишнего жира, ни старческой грузности. Седина почти не угадывалась ни в светлых волосах, ни в золотистой, красиво подстриженной бороде. Гладкое лицо молодил легкий ровный загар, не сошедший за зиму. Лишь мелкие морщинки в наружных уголках глаз не давали слишком ошибиться. Да, этому человеку, который равно разбирался в тонкостях соколиной охоты и византийского украшенного энкомия, было уже немало лет! (Много за сорок, как докладывали Андрею.)

— Я знал вашего батюшку! — сказал он Андрею еще при первой встрече, и непонятно было, то ли «вы» — знак византийской церемонной вежливости перед князем, то ли это намек на всех их, детей Александра, вкупе. На миг ему показалось даже, что Семен в чем-то уравнял себя с покойным отцом, от чего вся кровь тотчас ударила Андрею в голову...

Досадуя на себя, Андрей не мог все же побороть жадного интереса к тому, что знал Семен Тонильевич об его отце, о сложных и мало известных Андрею отношениях Александра с Ордою и Западом. Семен рассказывал, не досказывая, подчас намеками, смысл которых ускользал от Андрея, но ему было стыдно переспросить. «Из-за чего он поссорился с отцом?» — гадал Андрей, но так и не решился спросить.

Семен Тонильевич принадлежал к роду старых владимирских великих бояр, выходцев из Киева, из которых мало кто остался в живых. Чудом спасся во время Батыева погрома; на Сити потерял отца и братьев; сумел подняться и опять чуть не погиб, но вовремя изменил Андрею Ярославичу; долго был в Орде, где научился бегло говорить по-татарски и по-персидски, из-за чего в последние годы поссорился с Александром и снова чуть не погиб; во время Неврюевой рати потерял первую семью; в Орде женился на татарке, которая умерла, оставив ему сына; был послом в Литве и в землях Ливонского ордена; хорошо знал латынь и греческий; мог, не задумываясь, перечислить всех византийских императоров, начиная с божественного

Константина и до Юстиниана, и от Юстиниана до последних Палеологов. Он, действительно, помнил от детских лет пышный двор и торжественные приемы Юрия Владимирского, красно украшенные проповеди тогдашних иерархов церкви; ценил прозрачное плетение словес Кирилла Туровского и соколиную охоту, секретами которой овладел в Сарае; был знатоком восточных булатных клинков, набор которых также вывез из Орды. Среди знатной боярской молодежи Костромы Семен Тонильевич был жестоким идолом и пользовался славою великого воина, хотя не выиграл (но и не проиграл) ни одного настоящего сражения.

Андрея Городецкого Семен, приглядываясь к нему на свадьбе, а особенно теперь, во время беседы, постиг вполне.

— Молод, а порода видна! — сказал он Олферу Жеребцу, а для себя самого заключил: — Горд и до власти жаден. Может, расшибется, как молодой сокол, но может и воспарить... При умном наставнике... Если я этого захочу! (Захочет ли он — Семен сам про себя, однако, еще не решил.)

Давыд с Жеребцом, как говорится, взяли Семена за бока. Однако на все их подходы и приступы он отмалчивался или переводил речь, соскальзывая на пустяки. В последний день они сидели у Давыда втроем и пили, отослав слуг. Жеребец, багровый от вина, раздраженный Семеновыми недомолвками, пошел напрямую. Не слыша остерегающих покашливаний Давыда, он выложил разом все, что надумали они вдвоем: и о владимирском столе, и о власти, и о том, чтобы объединить страну отсюда, из Городца. Семен, поморщиваясь, откидывался на скамье, тряс головой:

— Ну и переобуетесь из сапогов в лапти! Это же смешно! Что ваш Городец с мерей с этою, с мордвой толстопятой... Ну и торговля ваша туды ж, и Нижний! Одного татарского тумена хватит, чтобы здесь остались одни головни от всей вашей торговли! Сколько ты, Олфер, заможешь выставить ратных?! — Он насмешливо и высокомерно приподнял брови.— Ну, чего ж баять попусту?! Сейчас, ежели собрать в один кулак Владимир, Суздаль, Ростов, Переяславль, Тверь, Новгород да Смоленск с Рязанью... И то не хватит! А кто соберет? Ярослав?! Ему одного Нова Города не собрать!

— Ну и не Василий твой тоже! — вскипел Жеребец.— Недаром квашней прозвали!

Семен пристально поглядел ему в глаза, задержав взгляд. Олфер потупился.

— Налей меду,— спокойно сказал Семен. Жеребец послушно поднял кованый кувшин.

Давыд Явидович, пошевелясь, тихо выронил:

— Выходит, окроме татарского царя и силы нет на Руси?

— Вместо Золотой Руси — Великая Татария! — мрачно прибавил Жеребец.

Семен потянулся ленивым кошачьим движением, закинул руки за спину, поглядел вверх.

— Ты знаешь Восток, Олфер? Эти тысячи поприщ пути... Глиняные города... Жара... Бирюзовое небо... Курганы... Ты думал, Олфер, что такое Орда?! Та же мордва, черемисы, булгары, буртасы, татары, аланы, половцы, кыргызы, ойраты — кого там только нет! Бесермен полным-полно. Но все — в кулаке!

Восток безмерен. Он бесконечен, как песок.

Ты знаешь, Олфер, почему Александр вынимал очи этим дурням, что затеяли с новгородскими шильниками противустать хану? Почему выгнал Андрея, отрекся от Даниила Галицкого, не принял папских послов? Он понял, что такое Восток!

Запад вседневен. Города, городки, в каждом свой герцог или граф, господа рыцари, господа купцы, господа суконщики... А там — море. Тьмы тем. Тысячелетия. Без имен, без лиц.

Оттуда исходит дух силы. Закручивает столбом и несет, и рушит все на пути, и вздымает народы, словно сухой песок, и уносит с собой...

Это смерч. Пройдет, и на месте городов — холмы, и дворцы повержены в прах, и иссохли арыки, и ворон каркает над черепами владык, и караваны идут по иному пути...

А погляди туда, за Турфан, за Джунгарию, в степи, откуда зачинается, век за веком, этот великий исход,— и не узришь ничего. Пустота. Редкая трава. Юрта. Пасется конь. Над кизячным костром мунгалка варит хурут. И до края неба — ни второй юрты, ни другого коня, ничего! И из пустоты, из тишины степей исходят тьмы и тьмы и катятся по земле, неостановимые, как само время...

Это смерч. Сгустившийся воздух. Дух силы. Сгустившаяся пустота степей.

Жеребец, не понявший и половины сказанного, долго и мрачно вперялся горячечным зрачком в гладкое лицо Семена. Наконец, двинув желваками скул, отмолвил хрипло:

— Так что ж? Подчиниться Орде? Опустить руки?!

Семен медленно улыбнулся, полузакрыв глаза, и, все так же закинув руки за голову, глядя вдаль, сквозь стены, суженными, потемневшими зрачками, тихо произнес:

— Орду надо крестить!

Давыд с Жеребцом переглянулись, едва не ахнув.

— Под татарским царем, хошь и крещеным...

Семен опять поморщился, встряхнулся, разом переменив положение холеного тела.

— Брось, Олфер! Не одно тебе: по-русски али померянски лопочут смерды, абы давали дань! Ну, переженимся на татарках! У меня у самого была жена татарка, сын растет... А как назвать? Хоть Татария, хоть союз, что ли, товарищество, империя, хоть Великая Скуфь! Владимир крестил Русь и утвердил язык словенск пред всеми иными. Крести Орду — будет то же самое! Нам нужна эта сила! Сила степей, одолившая мир! А князя вашего свозите в Ростов, не то совсем задичает...

— Ну, увернулся! — обтирая пот, толковал Жеребец, проводив Семена.

— Не скажи! — возразил Давыд.— Я слыхал, что Семен князю Александру советовал поднять татар на совместный поход против Запада. Баял так: мол, католики подымаются, на Святой земле ожглись, теперича на Русь, на славянски земли полезли. Орденски немцы, свея, а там енти, латины, кои Цареград-то было забрали... Их нонь, толковал, бить надо, докуль поздно не станет! Нет, он тут не темнит!

— А все же не сказал, с нами он ай нет?

— И не скажет. Не столь прост! — Давыд подумал, склонив голову, потом поглядел на Жеребца: — Одно сказал все же! В Ростов Андрея свозить!

— Думашь...

— Семен ничего зря не бает! — решительно подтвердил Давыд.

ГЛАВА 15

За свадьбой Андрея Жеребец припозднился с обычным своим объездом княжеских волостей и воротился из полюдья уже по весеннему, рыхло проваливающемуся снегу.

Гнали скот. Волочили телеги с добром, мехами, портнами, хлебом и медом. Гнали связанных полоняников, нахватанных в лесах за Волгой. Кони вымотались, холопы и дружина тоже. Все не чаяли, как и добраться до бани, до родимых хоромин, до постелей и женок, что заждались своих мужиков, до жирных щей, пирогов и доброго городецкого пива.

Олфериха охнула, увидя мужа с рукой на перевязи. С мгновенным страхом подумала о сыне: Олфер возил десятилетнего Ивана с собой. Но тот был цел, и сейчас, весь лучась обветренной докрасна веснушчатой рожицей, косолапо слезал с коня. В пути, от усталости, вечерами глотал слезы — Жеребец сына не баловал,— теперь же был горд до ушей: как же, дружинник, из похода прибыл!

Жеребец, невзирая на рану, дождался, когда заведут телеги, загонят полон и спешатся ратники. Убедился, что людей накормят, что баня готова для всех (бани здесь, в Городце, рубили на новгородский лад, в печах мылись редко), выслушал, не слезая с седла, ключника и дворского, послал холопов доправить до места княжой обоз и только тогда тяжело спешился и, пошатываясь, полез на крыльцо. Жена, успевшая послать за бабкой-костоправкой, семенила следом, хотела и не решалась поддержать мужа под локоть: Жеребец слабости не любил ни в ком, в том числе и в себе.

В горницу, едва уселись, ворвался младший «жеребенок» — Фомка Глуздырь, ринулся к отцу. Жеребец едва успел подхватить сорванца здоровой рукой. Мать заругалась:

— Батька раненый, а ты прыгаешь, дикой!

Фомка отступил и исподлобья следил, как отец, с помощью матери, распоясывается, сдирает зипун и стягивает серую, в бурых разводьях, волглую от пота, грязи и крови рубаху.

Девка внесла лохань с горячей водой. Олфериха сама стала обмывать руку вокруг раны.

— Ладно! В бане пропарюсь! — отмахивался Олфер.

Скоро привели костоправку. Жеребец, сжав зубы,

сам рванул заскорузлую, коричневую от присохшей руды тряпицу. Гной и кровь ударили из распухшей руки. Старуха, жуя морщинистым ртом, щупала и мяла предплечье, наконец, поковыряв в ране костяной зазубренной иглой, вытащила кремневый наконечник стрелы.

В дверь просунулась голова дворского, Еремки. Холоп попятился было, но Жеребец окликнул его:

— Лезай, лезай!

Еремей, согнувшись в дверях, вошел и стал, переминаясь, переводя глаза с лица господина на рану.

— Вон еще какими о сю пору садят! — усмехнулся Жеребец, кивая на вытащенный кремень.— Добро, не железный еще!

— Камень хуже! — возразила старуха.— Камень-ки́бол, камень-ла́тырь, камень твердый, камень мертвый, камень заклят, синь камень у края мира лежит...

— Ну ты, наговоришь — на кони не вывезти будет! — прервал ее Жеребец.

Старуха ополоснула кремень, сунула его под нос боярину:

— Гляди!

На острие наконечника виднелся свежий отлом. Она вновь начала тискать и мять руку, и Жеребец, изредка прерывая разговор с Еремеем, поскрипывал зубами. Могучие плечевые мышцы боярина вздрагивали, непроизвольно напрягаясь, черная курчавая шерсть на груди бисерилась потом. Наконец, вдосталь побродив в ране своим крючком, костоправка вытянула отломок стрелы и, отложив крючок, принялась густо мазать руку мазью, накладывать травы и шептать заклинания.

— Кого убили-то? — спрашивала Олфериха, помогая старухе.

— Сеньку Булдыря. Ну, мы их тоже проучили! Я сам четверых повалил. Более не сунутся. Все мордва проклятая, язычники. Прав Семен, давно бы надо окрестить в нашу веру!

— Мордва да меря — хуже зверя! — поддержал разговор Еремей.

— Меря ничего, мордва хуже! — возразил Олфер.— Меря своя, почитай! Ты сказывай, сказывай, чего без меня тут?

Еремей уже доложил вкратце о делах домашних и теперь передавал ордынские и владимирские новости. Досказав, осмелился и сам спросить, удачен ли был поход?

— Князя удоволим! — ответил Жеребец, которому старуха начала уже заматывать руку свежим полотняным лоскутом.— Далече зашли нонь, за Керженец, до самой Ветлуги, и еще по Ветлуге прошли!

— На Светлом озере не бывал ли, боярин? — спросила старуха, собирая в кожаный мешок свою снасть, берестяные туески с мазями и травы.— Где град Китеж невидимый пребывает?

— Врут, нету там города! — отверг Жеребец.

— Ой, боярин,— покачала головой старуха,— не всем он себя показыват! Татары тож узреть не замогли! В ком святость есь, те и видят. На Купальский день о полночь звон колокольный слышен и хоромы явственно видать. Вот тогды поезжай, только не со грехом, а с молитвою, и тут узришь.

Олфериха проводила старуху, вручив ей серебряное кольцо и объемистый мешок со снедью. Костоправка приняла и то и другое спокойно, взвесив мешок, потребовала:

— Пошли какого ни то молодца до дому донести!

Слава костоправки шла далеко, и плата была соответственной.

— Как с бани придет, перевязь смени, да мази той положишь еще! — строго наказала она боярыне.— А к ночи не полегчает, зови!

Олфер не поспел изготовиться к бане, как прискакал князь. Прослышал, что Жеребец ранен в схватке. Запыхавшись, вошел в покой. Жеребец встал поклониться.

— Сиди, сиди! — остановил его Андрей.— В плечо? Как давно?

— Пятый день. Дурень, без брони сунулся!

— Цела будет рука-то?

— Чего ей! Вона!

Жеребец трудно пошевелил пальцами. На немой вопрос князя успокоил:

— Вызывали уже! Ковыряла тут добрый час.

— Все ж ты осторожней, Олфер. Мне без тебя...— хмурясь, промолвил Андрей.

Жеребец весело показал зубы:

— Еще поживем, княже!

— Ну, ты в баню походишь? — догадался Андрей.— Не держу!

Жеребец поднялся, придерживая руку. Перед тем как кликнуть холопа, спросил:

— Митрий Лексаныч, сказывают, с полоном из

чудской земли воротилсе? Как там, в Новгороде, не гонят Ярослава еще?

Андрей посмотрел в глаза своему воеводе, не понимая.

— Мыслю,— понизив голос, пояснил Олфер,— ордынский выход придержать нать. Как оно чего... Куды повернет!

И вновь показал, осклабясь, крупные лошадиные зубы.

ГЛАВА 16

Четверо голодных сорванцов сидели, поджав ноги, в самодельном шалаше в дубняке на склоне оврага и спорили. Они уже твердо решили бежать в Новгород, и остановка была лишь за тем, как добыть лодку и где достать хлеба на дорогу. И то и другое требовалось украсть, и воровство это было серьезное, для которого у ребят не хватало ни сноровки, ни дерзости. Матери-то и за чужую морковь готовы были кажинный раз уши оборвать!

— А чего! До Усолья можно и на плоту! А там у кого ни то стянем! — тараторит Козел, зыркая глазами на товарищей.

— Шею намнут в Усолье, тем и кончитце! — остуживает его Яша, крупный, толстогубый, с угрями на добром широком лице.

Рябой Степка Линёк, младший из сыновей Прохора, слушает их полунасмешливо, насвистывая. Предлагает:

— У кухмерьских у кого угнать, чай?

— Или у твово батьки! — горячился Козел.

— Мово батька лодью трогать нельзя, сам знашь,— спокойно отвергает Линёк и прибавляет: — Хлеба где взять? Из дому много не унесешь!

— С княжой пристани...— нерешительно предлагает Яша.— Там кули лежат с рожью и сторож один. Он когда спит, можно с берегу пролезть и куль тиснуть. Нам куля знашь на сколь хватит!

Федю такие мелочи, как лодка и хлеб, интересуют мало. Он откидывается на спину, подложив под голову руки, и, вздохнув, роняет:

— А что, братва, примут нас новгородские?

— А чего не принять?! — Козел поворачивается к нему еще более заострившейся за последний год

мордочкой с оттопыренными ушами.— Мы в дружину пойдем, немцев зорить будем!

— В дружину мальцов не берут! — отверг Линь.— Тебя любой немец долонью хлопнет, ты и сдохнешь!

— Да?! А это видел?

— Чего?

— А чего!

— А ничего!

Козел с Линем задираются уже без толку. Кончается тем, что Козел кидается на Линя и опрокидывает его на спину, но Линь вывертывается и, в свою очередь, прижимает Козла к земле.

— Дело говорим, а вы тут! — кричит на драчунов Яша.

Линь наконец отпускает Козла, предварительно щелкнув его три раза по лбу.

Успокоившись, еще дуясь друг на друга, приятели вновь усаживаются кружком, и Федя начинает сказывать, полузакрыв глаза, и ребята стихают, завороженные.

Федя сам не ведал, где узнал все то, о чем сейчас, мешая быль с вымыслом, баял приятелям. Одно — приносили калики-странники, другое сказывала бабушка в Мелетове, куда они с матерью ходили на Успеньев день, иное вспоминали старики, побывавшие в дальних городах и землях... Но все это в Фединой голове перемешалось, соединясь в причудливый сплав, и получилась одна, растянутая на много дней, постоянно обновляемая Федей сказка-мечта.

И вот уже отпадают досадные домашние злоключения, и что нет хлеба и лодьи, и маловато лет жизни... Уж прошли годы, уже собрали они дружину удальцов и плывут в Студеное море, где живут одноглазые люди аримаспы с одной рукой и одной ногой, и темно, только сполохи играют, бегают по небу огни, а еще там есть народы, замкнутые в горé, которые просят железа, а за железо дают рыбий зуб и меха. И они там торгуют и сражаются, и вся дружина гибнет от холода и одноглазых людей, и только они одни остаются и плывут назад, и у них полная лодья соболей, и горносталей, и серебра, и рыбьего зуба, и всего-всего! И потом они снаряжают новую дружину, купляют себе красные сапоги, и новгородские брони, и шапки с алым верхом, как у самого князя...

— Не, мне зеленые! — перебивает Козел.

— Ну, тебе зеленые,— соглашается Федя и добавляет: — Жемчугом шиты! Вот так, по краю, и тут, от носка,— показывает он на своей босой ноге.

Козел, подавленный, умолкает. Он-то и не видал еще ни разу близко шитых жемчугом сапог.

— Молчи, Козел! Вот, Козлище, вечно ты! — шипят Яша с Линьком. Потому что не от лодки и не от хлеба, а от Фединых рассказов возникла у них эта мечта — плыть в далекий Новгород за добычей и славой.

...Потом они плыли на Запад, в немецкие земли, продавали соболей, покупали ипский бархат и золотую парчу, и на них нападали свеи, и начинался бой. Свеи все были в железных кованых заговоренных бронях, и их нельзя было ранить ни копьем, ни мечом, но наши стаскивали их крюками с лодей в море, и свеи тонули, захлебываясь в холодных волнах, а они возвращались с полоном и добычей.

— А затем мы вернемся в Переяславль!

— Девки-то бегать начнут! — восклицает Яша.

— Девки вырастут. Уже пройдет много лет, и нас никто не узнает! — важно поправляет Федя.

...Все уже станут старые, дядя Прохор потерял глаза, и они привозят ему волшебной воды. «Ты ли это, сынок?» — спрашивает дядя Прохор Линя, и Линек мажет ему глаза волшебной водой, и дядя Прохор прозревает, но боится признать сына в такой богатой сряде...

Федя побледнел от вдохновения. Неважно, что третьеводни его с позором побили криушкинские, а вчера, когда играли в горелки, он никого не сумел поймать и над ним смеялись... Тут он делит и награждает, щедро раздает звания, и Яша, поскольку не знает грамоты, только потому и не становится у него боярином.

Затем они вновь отправляются на войну в далекие земли, помогают князю Дмитрию, добираются до Киева и гибнут в бою с татарами, победив самого храброго татарского богатыря...

— Други, а ежель Борискину лодью увести? — предлагает Линек.— Стоит без призору, а?

— Задаст!

— Не задаст! Бориско мужик смиренной.

— Мы вернемся из Новгорода и подарим ему лодью с красным товаром! — решает Федя, еще не очнувшись, сам завороженный своею повестью.

В это время слышится сердитый крик:

— Ироды, неслухи окаянные! Домой подьте! Живо!

— Матка зовет! — мрачно заключает Линек.

Ребята еще сидят поджавшись, гадая, авось пронесет, однако сердитый зов не прекращается, и к нему присоединился визгливый голос Яшкиной старшей сестры.

Яша вылазит первый из шалаша, за ним, с неохотою, следуют остальные...

Они так и не собрались в свое путешествие, ни в этом году, ни потом, хотя даже бегали на княжую пристань, глядели на бочки и кули с товаром, суету мужиков, что носили, катали, таскали и перегружали, не обращая никакого внимания на будущих храбрых воинов. По дороге домой их ловили криушкинские, и приятели спасались от них по кустам...

Подошла осень. Бежать, куда бы то ни было, стало поздно. А тем часом Яшку отдали в Переяславль к сапожнику, учиться ремеслу. Степка Линь все деятельнее помогал отцу, втягивался в хозяйство — все они, прохорчата, были работящие — и все реже вспоминал ихние с Федей замыслы.

Феде, который изредка продолжал посещать монастырь, а больше читал дома с братом, тоже некогда стало бегать по оврагам. Грикша учился упорно и в свободное время помогал священнику в церкви, так что матка все чаще перекладывала хозяйственные работы с него на Федора. Федя и вовсе бы бросил книгу, кабы не Грикша. Он нет-нет да и говорил матери, строго сдвигая брови:

— Федора тоже учить нать!

Нрав у матки со смерти отца заметно испортился. Она сердито швыряла поленья, ворча на Грикшу, как когда-то ворчала на батю: «Ирод, на мою голову!» — дала подзатыльник Проське, та завыла.

— Да что ты така поперечная! — срывая сердце, закричала мать.— Ягод не принесла, где-ка слонялась полдня!

— Они там испугались все, русалку увидали! — пояснил Грикша.

— Да! А мы с девками пошли,— всхлипывая и утирая нос, зарассказывала Проська,— пошли до кухмерьских пожен, а дождик пошел, мы и сели под елку, а потом побежали, глядим, а она-то и вышла из-под елки, и мы бяжим, а она так идет плавно...

— Кто ни то из кухмерьских и был-то!

— Да! А высокая, с елку вышины, и коса до сих пор. Мы и побежали, и ета русалка дошла до осинника и пропала там. Мы и не смели никуда пойти.

— Выдумываешь все! Стойно Федора! — ворчливо отозвалась мать. Присев и горестно подпершись рукой, она неподвижно уставилась перед собою, мысленно пересчитывая нынешний небогатый урожай.

— Не знай, нонче баранов резать али додержать до Покрова! Чего делать будем? Как дожить-то до новины?

— Доживем! — солидно отозвался Грикша. Он сидел у окошка, ловя скудный свет, разбирал «Устав праздничной службы».— Никанор ищет паренька. Может, Федю отдать ему? — предложил он, не отрываясь от книги.

ГЛАВА 17

Никанор был старик сосед, тоже княжовский, знакомый и добрый. Он иногда заходил к ним посидеть, побалакать и необидно подшучивал над Федей. Дети у Никанора были уже взрослые мужики и все «в разгоне»: один по кирпичному делу, другой по кровельному, третий кузнечил в Переяславле, и собирались домой они только на праздники.

Как потом, много лет спустя, понял Федя, в ту пору Никанор еще не был так стар, как ему казалось. Он просто рано поседел и рано начал лысеть. Но десятилетнему мальчишке Никанор, с его круглой, как у Николы-угодника, бородою, большелобый и морщинистый, казался уже дряхлым старцем. Никанор ходил косолапя, на кривоватых коротких ногах, и так же косолапо, носками внутрь, слегка переваливаясь, ходили-бегали его взрослые сыновья. Когда они, жаркие от выпитого пива, веселые, с женами и детьми набивались в Никанорову избу, хлопали по спине Никанориху, а та, притворно гневаясь, лупила их чем попадя, подымался шум и гам, а Никанор лучился весь, вскрикивая, правил застольем и весело сыпал неподобные слова. А напившись, свирепо таращил светло-голубые глаза в красных прожилках и начинал спорить и хвастать:

— Мы с Шалаем вон какие бревна здымали! Тольки двое!

— Молчи ты! — обрывала его Никаниха.— Ша-

лай был мужик, дак трое нужно мужиков, што медведь! Он и один бревно здымет!

— И я! — тряс головой Никанор.— И я, когда молодой был, меня на селе только Чуха кривой обарывал! А боле никто!

Он закашливался, выжимая слезы из глаз, крепко сплевывал себе под ноги и растирал лаптем. А Никанориха опять ругала деда, что не отойдет плевать к печному углу.

Федю он полюбил, и Федор привязался к старику. Никанор прежде осмотрел Федин топор, пощелкал, похвалил, спросил:

— Батькин? Отец еще, поди, правил? (Плотницкий батин топор со смерти отца лежал в коробьи без дела.) Не сильно ярый топор! — заключил Никанор.— Ярый топор хуже...

Потом Федя, надрываясь, вертел тяжелое точило, а дед, взобравшись на скамью и вложив топор в держалку, водил и водил по крутящемуся камню, словно очищая топором с точила бегучую ленту воды, подымая лезвие к носу, проверяя, снова опускал, наконец, когда Федя уже совсем вымотался, разрешал:

— Да ты отдохни! Мастеров по топору да по топорищу признают! Мы еще при князь Александре на Клещине терем клали, дак боярин первым делом: «Покажь топоры!» Топор поглядит, похвалит: «Мастер!» Вот! — Никанор клал топор лезвием и кончиком рукояти на бревно.— Так нужно! Помни! Без снаряду нет мастера! — И, усмехаясь, добавлял: — Без снаряду и вошь не убьешь, нёготь нужон!

Они клали новую житницу у боярина Феофана. Никанор учил Федю, как хитро, вагами, поворачивать тяжелые стволы, закатывая их друг на друга и легко вращая на весу. Сразу поставил затесывать комли, «сомить».

— Вот ето сом! А вот ето называтца зала́пка,— говорил он, делая легкую зарубку-затес на бревне.— Счас оборотим, обрубим, а потом будем налажать второе дерево...

Укладывая первые бревна, Никанор долго щурился, приседал, сказывал, как криушкински плотники ровняют ряд «по воды» — глядя на озеро...

— Напа́рью, напа́рью подай! — кричал он Феде и тут же хвастал: — Видал, Федюха, какая у меня напарья? Ни у кого такой нет!

— Через оглоблю смотришь! — окликал его Никанор спустя час. Федя не сразу понимал, вопросительно взглядывал в доброе, хитро сморщенное лицо старика.

— С изнутра, от себя надо глядеть, тогда николи не подгадишь! — пояснял Никанор.— А так, через топор, не гляди, накривишь!

С Никанором работать было занятно и весело. Федя старался изо всех сил.

— Не смял жало? — спрашивал старик.— Гляди, етот сук вырубать будешь, не сомни топора!

Доставая сточенный брус — поправить топор,— он каждый раз говорил Феде:

— Дай направлю и твой!

Первое бревно, в котором Федя кое-как сумел выбрать паз, Никанор похвалил, за третье выругал:

— Мелко берешь! Только поцеловать придется! Черту подай!

Чертой была двоезубая вилка с загнутыми концами. Ею Никанор проскребал след, докуда рубить.

— Ежель углем...— несмело предложил Федя.— Виднее!

— Черту надо видеть и так! — строго отверг Никанор.

— Как кладывашь! — уже орал он на Федора к концу первого дня, и тот готовно брался опять за вагу. Федя был мокрый после работы, но довольный. Хитрое плотницкое дело нравилось ему и раньше. Теперь же, когда открывались потаенные трудности ремесла, о которых, глядя со стороны, он и не догадывался, начинало нравиться еще сильней. И, глядя на положенные ими три венца, он уже и сам видел будущую клеть как бы готовой и говорил дома, что житница у них «красовитая будет!» А потом повторял к месту и не к месту любимую Никанорову пословицу: «Не клин да не мох, дак и плотник сдох!»

Между делом старик сказывал ему плотницкие бывальщины, поминал хороших мастеров, и тех, кто жил в соседних деревнях, и покойных, «старопрежних». Он, кажется, помнил про каждый большой дом: кто, когда и с кем его клал, какие мастера что рубили... Рассказывал, как еще в Никаноровой молодости клали они терем богатому купцу на Переяславле и хозяин сам проверял — ощупывая руками каждый ряд — хорошо ли уложен мох.

— А надоело! Ряд положим — хозяина зови. Кака

работа! Дрын положили ему в паз, мохом прикрыли, он и не почуял, хитро сделали. Ну, погодя говорим: «Глянь, хозяин, што у тя тут!» Он помолчал, ушел к себе. Погодя несет корчагу с медом. Вот, говорит, мужики. Сегодни пейтя, а потом уж на вашу совесть, говорит... И боле не проверял.

Они кончали, когда уже подмерзла земля и начали кружиться первые снежинки. Никанор хотел обязательно свести кровлю до снегов, да и уговор такой был с бояриsном.

Заваливать верх, для тепла, порешили муравейником.

— Муравейник кладоваешь, николи гнить не будет! — пояснил Никанор.

По первому морозу они со стариком ездили в лес, прозрачно-серый и сквозистый в ожидании снега, нагребали муравьиные кучи.

— Об эту пору только и берут! — объяснил Никанор Феде.— Мураши куды-то там уходят в землю, у них там и еда и все. Видал белые яйца? Это ихний корм. Муравейник и зимой можно брать, николи не промокает, сверху только корка у его сделатся. Медведь-шатун, быват, пробьет сбоку дыру лапой, выгребет, залезет туда и спит. Мы о прошлом годе за Мауриным пятнали дерева, и большо-ой муравейник! Ну и ето дерево тоже запятнали. А потом Санька Шевляга пошел да и видит: следы-то идут, он там, в муравейнике и сидел! Знатье бы, говорит, обухами забить можно! Зимой у его мясо сладкое, а вот летом уж не такой вкус в ём. Большо-ой зверь! А не ест всю зиму и не худеет он! Он лапу сосет, жир у его к осени на подошвах, и ето у него там переходит как-то, тем и пропитывает себя.

С княжичем Данилкой нынче Федя совсем не встречался и вспомнил о нем зимой, когда они работали уже у другого хозяина, в городе, доканчивая обвязку верхней галереи, и услышали, как сосед что-то кричит им со своего двора. Никанор освободил ухо от шапки, и Федя опустил топор, вслушиваясь.

— Князь Ярослав помер! Из Орды шел! — прокричал сосед.

— Теперь кто ж? — подумал вслух Федя (тут-то и вспомнив «своего» княжича).

— Нас не спросят! — отозвался Никанор. Помолчал, тюкнул и, задержав топор, сердито прибавил: — Тут теперь слухать надо: татары бы не пришли!

ГЛАВА 18

Вскоре Федя узнал, что князь Дмитрий Александрович вновь собирает дружину. Его позвали новгородцы на княжение. Полузабытые мечты вспыхнули в нем с прежнею силой, и Федя горько позавидовал ратникам, что уходили в Новгород, в город-сказку, в город, где остался отцов дом. Дядя Прохор баял про это. А матка как-то в раздражении обмолвилась перед Фросей, не зная, что Федя торчал в избе:

— У него там сударушка была, новгороцка, пото надо мной и лютовал! Прости ему, Господи, царствие ему небесное...

Все это вызывало у Федора острое любопытство. И то, что у покойного бати была где-то там, в Новгороде, «сударушка», тоже по-новому занимало Федю, рождая к отцу какое-то странное теплое чувство.

Он очень вытянулся за год, что работал с Никанором, и уже таскался с приятелями на беседы, где они, «стригунки», чаще всего толпились в углу, завистливо поглядывая, как старшие ребята задирают девок.

Однажды Козел предложил ему новую озорную проделку: попужать девок в овине во время гадания:

— Они ждут, что их овинник погладит лапой по тому месту, ну а мы возьмем рукавицы да и мазанем! — заранее ликовал Козел.

Феде стало страшно предстоящей забавы, когда они притаились в темноте под слегами, в пахнущей угольной горечью овинной яме. Дрожь пробирала не шутя: а вдруг овинник схватит? Но еще больше хотелось напужать девок.

Наконец раздались шаги, робкий пересмех.

— Кто да кто? — одними губами спросил Федя.

— Фенька с Машухой! — тихим шепотом отозвался Козел.

Ребята затихли, стараясь не дышать. Вот слеги зашевелились, заскрипели, послышалось пыхтенье и ойканье девок, укладывавшихся вверху, на жердях. Козел больно ткнул Федьку под бок, сунул в руку рукавицу.

— Ой, кто тут? — спросила Фенька заполошным голосом.

Ребята разом словно умерли.

— Дышит кто-то, Фень!

И опять тишина. Наконец девки отдышались, заговорили:

— Никого нет, показалось...

— Фень, как будет-то? Стыдно чего-то!

— Молчи! Овинника испугашь!

Девчонки захихикали, и тут ребята стали вставать на дрожащих, напряженных ногах, а Федя, забыв рукавицу, с разом пересохшим ртом, потянулся голой рукой наверх, туда, где смутно чуялось живое тело.

— Ой! — вскрикнула Фенька. Козел первый тронул ее рукавицей.

Жерди затрещали. Федя стремительно встал и, сунув руку между жердин, поймал голую ногу девушки. Просунув руку дальше, он ощутил ласковое тепло, от чего его разом кинуло в жар, и тотчас Машуха завизжала в голос и подпрыгнула, а Феде больно сдавило руку жердинами, и он вырвал ее, ободрав в кровь. Девки уже стремглав, с воплями, летели в деревню.

Козел вдруг схватил Федьку и кинул его на дно ямы. Федька вскочил, отбиваясь. Так, пыхтя, они возились некоторое время, пока запыхавшийся Козел не вымолвил:

— Будя!

— А лихо мы их! — выдохнул он погодя и шлепнул Федю по спине. Федя был как в полусне. Он невпопад отвечал Козлу, когда шли домой, старался скорее, выхлебав кашу с молоком, забраться в клеть, под овчину, и в душной темноте постели крепко прижал счастливую ладонь к щеке да так и заснул своим первым недетским сном.

Странно, что это ощущение воротилось к нему через год, весной, уже не связанное с Машей. На нее он долго стыдился смотреть, а потом как-то и совсем забыл. Маша через весну вышла замуж в Купань и, говорили, хорошо, так что Федя не испортил ей судьбы, тронув девушку голой, а не мохнатой рукой...

ГЛАВА 19

Иные, грозные события захватили всех, и старых и малых, в том неспокойном году. Неожиданно воротились переяславские дружинники из Великого Новгорода. Федор на дворе запрягал Лыску, когда в во-

рота зашел дядя Прохор и, на ходу подергав чересседельник, молвил:

— Отпусти! Хомут давить будет!

— Воротились?! — У Федора рот растянулся до ушей. Прохор качнул головой, с промельком улыбки. Румянец на его щеках был темно-красен, почти коричнев, глаза, утонувшие под прямыми, выгоревшими добела бровями, щурились с чуть заметной грустинкой.

— Хуже, Федюх! — отозвался он.— Гонят нас из Нова Города в шею, а мы опять идем!

В Переяславле собирали новую рать. Бояре вооружали холопов, горожан, созывали народ из деревень.

Грикша на этот раз тоже отправлялся в поход. Грикша взял молодого коня, которого, как и старого отцова коня, назвали Серым. Во дворе у них стоял теперь новый жеребенок, кобылка Белянка, и они уже не раз судили и рядили, продавать ли ее или держать про себя.

Переяславские полки ушли на север. Вести от них доходили смутные и разноречивые, потом перестали приходить совсем. Потом, как-то разом и неожиданно для всех, в Переяславль вступили костромичи. Говорили, что это дядя князя Митрия, Василий, со своею ратью.

В Княжеве костромичи побывали тоже. У них со двора свели Лыску, и мать выла и цеплялась за стремена ратников. Хорошо, оставили Серка и молодую кобылу.

Костромские мужики лихо разъезжали на конях, со свистом и гиканьем, задирали баб, в Мелетове подожгли скирду хлеба, и огонь полыхал высоко над кровлями, и все бегали смотреть и боялись, что пламя перекинется на сараи, а там и вся деревня сгорит.

— Где наши-то ратники?! — зло толковали мужики.

Вторая, наспех собранная переяславская рать стояла за Горицким монастырем и не двигалась, костромичи тоже не совались к Горицам, только изредка перестреливалась сторóжа с той и другой стороны.

Василий Костромской въехал на княжой двор под ругань, плач и беготню всей дворни. Его встречали испуганные дворский с ключниками и трое бояр. Александра отказалась выйти к деверю на крыльцо и встретила Василия уже в теремах. Бабы и мужики-холопы высыпали во двор — смотреть костромских

дружинников. Потом обедали в столовой палате, князь Василий с боярами. А дружину кормили в молодечной и на сенях.

До вечера Васильевы воеводы пересылались с горицкой ратью. О чем-то князь Василий говорил с татарами на ордынском дворе. Ночевали в теремах, выставив у ворот, по стенам и по-за городом сторожу.

Когда Василий отъезжал, Данилка вышел на крыльцо вместе с Ваней, показав на костромского князя, сказал:

— Это твой дедушка!

Князь Василий остановился, поглядел внимательно в большие, недетские глаза Ивана, поискал взглядом сноху-двоюродницу, что-то хотел сказать, не сказал ничего, махнул рукой. Высокий, он садился на коня, а Данилка глядел с крыльца и как-то все не мог понять своего младшего, когда-то веселого и простого дядю.

Дома потом долго горевали, ругмя ругали какого-то Семена, боярина Васильева, считали убытки, что было проедено, пропито и растащено костромскою ратью.

Василий, как слышно, от Переяславля пошел к Торжку, посадил там своих тиунов и ушел в Кострому, а воевода его, Семен Тонильевич, принялся пустошить новгородские волости. На Костроме, в Твери и по другим низовским городам хватали новгородских купцов, отбирали товар, заворачивали назад обозы с хлебом.

В Княжево ратные слухи доходили с запозданием. Уже весной, по раскисшему снегу, на отощавших лошадях воротились ушедшие в Новгород переяславские полки и принесли весть, что Василий Костромской сел на новгородский стол.

Мужики возвращались злые, усталые. Прохор, так тот прямо заявил:

— Друг друга только лупим! Лучше в крестьяне запишусь! Василий князь сам не мог, дак татар созвал Новгородчину грабить! Тьпфу!

Грикша мало рассказывал о Новгороде. Больше горевал, что загубил коня и теперь его придется продать. Феде на все его настойчивые расспросы только и сказал:

— Живут, как и у нас. А земля тут ищо и лучше!

Постепенно узнавалось, как было дело. Василий

Ярославич зарился на Новгород сразу, как получил великое княжение, но потребовал от новгородцев черную и печерскую дани, а также княжой суд, отобранные у Ярослава по прежнему договору. Тогда-то новгородцы и позвали Дмитрия. Василий, однако, дал племяннику просидеть спокойно лишь одну зиму. Нынче он вызвал татарскую рать, и татары с воеводой Семеном и Святославом Тверским принялись пустошить Новгородчину. Семен, набрав полону, воротился во Владимир, а Святослав Тверской с татарскою помочью разорил Волок, Бежичи и Вологду. Дмитрий с новгородскою ратью пошел на Тверь, а к дяде послал грамоту о мире. Василий отпустил послов с честью, но мира не взял.

Новгородцы с Дмитрием меж тем дошли до Торжка и тут задумались. Вместо того чтобы из Торжка идти к Твери, стали пересылаться, спорить, собралось вече. В Новгороде вздорожал хлеб, и, видя против себя почти всю низовскую землю да татар в придачу, самые осторожные начали говорить о мире.

Дмитрий, видя замятню и настроение в полках, сам добровольно отрекся от новгородского стола и был отпущен в Переяславль «с любовью». Приверженцы Дмитрия провожали его со стыдом, просили не гневаться, но говорили: «Не твое время, князь!» Дмитрию снова приходилось ждать. Впрочем, старший брат Александровичей, Василий, умер в один год с Ярославом Тверским, и хотя бы эта постоянная семейная язва, рождавшая между братьями ссоры, недомолвки и тяжелое молчание, минула. Александра тихо убивалась на похоронах, виня себя в смерти старшего сына. Однако и она почувствовала облегчение, что так это кончилось. А скоро ратные события отодвинули воспоминания и раскаянье посторонь.

ГЛАВА 20

О том, что будет второе «число» от татар, что снова будут пересчитывать дворы и налагать дань (и потому, что людей стало больше, дань, конечно, увеличат!), в Княжеве стали поговаривать еще с осени. Неясно, кто и принес злую весть, но все как-то не верилось,

пока наконец к самой Масленице не пригнали верхами из Переяславля Гавря Сухой с Мелентием Ослябей, крича, что едут!

Народ, оставя веселье, заволновался. Выходили, собирались кучками. Кто-то погнал было в лес, но неожиданно скоро явились княжие холопы, делюи и ордынцы, заворотили с руганью беглых и начали сбивать народ и вызывать старост и понятых.

Татары в остроконечных шапках, не переяславские, а иные какие-то, злые и подобранные, зорко озирающиеся по сторонам, ехали вереницею, один за другим, их кони сторожко и легко бежали след в след, как волки, вышедшие на добычу. С ними, посторонь, рядом с тропой, проваливаясь в рыхлый снег, скакали переяславские и владимирские ратные, торопились, сбиваясь с рыси, что-то объясняя, и один татарин, то ли не поняв, то ли не желая слушать, вяло, не поворачивая головы, махнул плетью — и ратник, ожегшись, шатнулся, дернулся вбок и отстал, утирая разбитое лицо.

По деревне поднялся вой. Хлопали двери изб, что-то несли, тащили, вели скотину. Марья Микитиха волочилась по земле, вцепившись зубами в веревочный повод своей пестро-белой коровы, а двое переяславцев толклись, не зная, что делать. Один тянул корову, другой пытался оторвать Микитиху, а потом, махнув рукою, достал нож и отмахнул повод ножом. Микитиха еще лежала, а потом, вскочив, побежала вслед. Ее схватывали раза три, она вырывалась с истошным воплем.

К ним тоже пришли, и Федор, бледный, стоял, глядя на Грикшу, который совсем по-отцовски жевал челюстью и вытаращенными глазами глядел то на ратных, что выносили кули с зерном, то на соблазнительно торчавший у крыльца дровокольный топор. Грикшу так и дергало, и Федя тоже примеривался к крайнему мужику, ожидая только первого братнего движения, когда во двор вошел бледный дядя Прохор и, строго бросив Грикше: «Охолонь!» — сам взял у ратного куль и понес назад. Переяславец распрямился, обвел глазами двор, дернулся за Прохором — глаза у него были бегающие и тоже одичалые — и вдруг, плюнув, поворотил и побежал со двора. У ворот остановились сани. Незнакомый мужик — по платью боярин — вылез из саней. Прохор воротился, встре-

чая. «Здесь чисто!» — отрывисто сказал он и повел боярина в дом.

— Постелешь, мать! — велел он, заходя за боярином в избу, куда Федя уже успел заскочить. Мать сурово поклонилась гостю.

В избу зашли потом еще четверо ратных. Их кони во дворе хрупали зерном. Ужинали в тяжелом молчании. Мать, не садясь, подавала на стол. Переяславцы дружно грызли вареную баранину, уминали пироги и кашу, пили, отдуваясь, квас, изредка роняя малопонятные для Феди замечания.

Татары остановились в Княжеве, и им каждый день резали лошадей. Мать надеялась, что ее минуют, но дошел черед и до их двора, до того страшного для крестьянина часа, когда рабочую лошадь, в силе, холеную, береженую, или — как у них — будущую рабочую лошадь ведут на убой. И Белянка — видно было по глазам — знала, куда ее ведут, и жалобно глядела и ржала, упираясь с дрожью всей кожи, а Грикша ушел в клеть, и там Федя нашел его, плачущего, по-отцовски, молча: мелко тряслись плечи и шея. Он яростно поглядел на Федю и с ненавистью прошипел:

— Уйди!

Белянку забили на задах, чуть ли не за домом. Забивал кухмерьской мужик, коротенький и большеголовый, со скверною улыбкою на лице, и потом они все зашли в избу: боярин, и другой боярин, знакомый, Гаврило Олексич, что приехал только что из Маурина, и ратники, и коротенький кухмерьской, и дядя Прохор, про которого Федя сперва подумал, что он пьян,— так пристально, иногда весь вздрагивая, глядел он, так горячечно пылали щеки.

— Ето дело — рабочих коней бить?

— Конь не рабочий! Пошто врешь? Кобыла и не езжена еще! Вас тут, таких крикунов, поучить хорошо, самому чтоб мало не было! — спесиво отмолвил боярин.

— Ты, боярин, мне не грози! Я тоже на ратях бывал, с князь Александрой ходил, дружинами правил! — с угрозой отозвался Прохор.

Боярин засопел и сбавил тон.

— Чтой-то ты не то баешь! — пропел, покачивая головой, кухмерьской мужик, ладясь польстить начальству.

— А тебе сколь заплатили? — кинулся на него Прохор.— Скажи!

— У нас кобылу свели уже князь Василья ратные, дак опеть! — высоким голосом сказал Федя.

— А оставлен вам конь! У вас тут еще есь добра! Наши вот места совсем запустели! — возразил владимирец.

— Страшно ето, когда рабочих лошадей... И пригнали бы коней своих! — не унимался Прохор.— У нас конины не едят! Чего народ злобите! Коней бить, дак ето всюю жисть рушить!

Прохор порывался, вскрикивал, и Федя снова подумал, что он пьян. (Потом узнал, что кухмерьской не смог сразу убить Белянку и валил ее дядя Прохор.)

— А вы зачем? Татарам, ежели... Ежели татары — власть, дак и вас не нужно!

— Ты, Прохор, осторожнее! — сердито вмешался Гаврило Олексич,— сам живешь, я знаю, как! Вконец еще не разорили тебя!

— Разорили не разорили... Ты, Гаврило Олексич, не то рек! Ты то... Пущай... Вот шапка одна, да знать, что с головы не сымут!

— Пото и плотим, чтобы не сняли с вас шапок, да и голов дурных в придачу! — возразил, прикрикнув, Гаврило.

— Я вот походом ходил...— не уступал Прохор,— Новгород зорили, с костромичами ратились... Почто?!

— Великого князя прошай!

Федя, не в силах смотреть, как убивают Белянку, вечером все-таки вышел на зады. Внутренности кобылы лежали в кучке, и собаки уже бродили около. Деревенские кони вереницей, осторожно ступая, подходили и нюхали снег.

— Товарища свово чуют! — скорбно прозвучал над ухом чей-то голос.— Теперича и не запречь будет...

Федор поворотился и, спотыкаясь, побрел домой.

Татары, переметив избы и людей по всей округе, уезжали на другой день, опять друг за другом, тою же волчьей тропой. Оба боярина уселись в широкие, под ковром, на кованых полозьях, сани. Запряженная тройка, с ходу, виляя, понесла, и ратники запрыгали на седлах, вытягиваясь в ряд.

На выезде, когда сани, мало не вывернув седоков, скатились с бугра и по наезженной санной дороге вылетели на лед озера, Гаврило Олексич поворотился, пробормотал:

— Так-то вот! — Хотел что-то сказать, подвигал кадыком, но сказал только: — Завтра в Вески!

— В Вески! — отозвался владимирский боярин.

Вечером того же дня в избу Михалкиных собрались бабы. Дядя Прохор только взглянул, вызвав мать, сказал, что весной даст им жеребенка, когда его каряя кобыла ожеребится.

— Я заплачу́,— отвечала мать.

Прохор как-то резко махнул рукой и, кривясь лицом, быстро ушел.

Мать поставила на стол миску с репой и квас, резала хлеб. Бабы черпали квас, чинно отпивали. Вздыхая, сказывали, у кого что отобрали.

— Татары тоже люди! — помолчав, молвила Олена.— Сказывали, когда громили их, по князь Лександровой грамоте, по всем городам, и на Устюге был тогда ясащик Буга-богатырь, и взял он прежде у одного крестьянина дочь, девушку, понасильничал, за ясак, себе на постелю взял. А как пришла грамота, что татар бити, и девка сказала ему... Уж невесть почто, верно, слюбились там! И он пришел на вечье, и народу всему кланялся: не убивайте, мол! И принял веру християнску, и на девке женился на той, сором снял с ей, овенчались.

Рассказывая, Олена смотрела задумчиво прямь себя. У нее свели четырех овец, забрали портна, овес да две кади ржи...

Потрескивала лучина, бабы вздыхали. Фрося, что сидела ближе к светцу, вздымая жирную грудь, наклонялась, брала новую лучину и вставляла в светец. Мать вымолвила в сердцах:

— Княжесьво большое, хорошее, ето не дело — у вдовицы последнее отымать!

Сноха Дарья, помолчав, отозвалась:

— Власть-то какая ни будь, животам бы полегче!

Грикши не было. Где-то пропадал уже день, и мать не спрашивала где. Федя вышел в звездную стыдь. Постоял, потом сами ноги отвели его под навес, где одиноко стоял Серко, их последний конь, последняя надежда, и беспокойно переминался, не чуя рядом привычного дыхания Белянки.

Федор так и не лег спать. Когда небо слегка посветлело, он, издрогнув от холода, пошел запрягать коня. Пока татары стояли в деревне, никто не ездил ни за дровами, ни за сеном.

Грикша появился о полдень, и они возили вдвоем, молча накладывая, по дороге соскакивая и труся рядом, чтобы облегчить воз, на взъемах дружно наваливались, помогая коню. Было страшно, что Серко без смены не выдержит, и верно, пока возили, стало видать проступившие ребра и спекшийся, засохший след от седелки на холке коня. К тому же боярские кони сильно подъели овес и ячмень, и Федор с беспокойством подумал, что Серка, пожалуй, не пришлось бы ставить на сено, а сенной конь так не потянет, как ячменной, и еще весна, и пахать...

Федор подтянул чересседельник, покачал за оглобли и шевельнул вожжой. Серко, горбатясь, переставлял копыта, а он угрюмо думал, что все это — Василий Костромской или ихний князь Митрий одолеет в борьбе за Новгород, кто будет великим князем, и будет ли им после Василия Дмитрий Лексаныч или кто другой — совершенно неважно, а страшнее всего, ежели станет конь и не потянет больше. «Власть-то какая бы ни была — животам бы полегче!» — вспомнил он Дарьины слова.

Серко мотнул шеей и стал, и у Феди захолонуло сердце. Но конь разведя и напружив задние ноги, потужился и оросил снег желтой пенистой струей. Постояв, он без зова вытянул шею и, сдернув с места тяжелый воз, тронулся дальше. Конь был хороший. Ежели дядя Прохор еще даст им жеребенка, так они, пожалуй, огорюют и эту беду.

ГЛАВА 21

Зимою во Владимире митрополит Кирилл, незадолго до того воротившийся из Киева, где он объезжал галицкие и волынские епархии, устроил церковный съезд иерархов всей земли. Из Переяславля собиралось большое выборное посольство. Грикша ехал в числе монастырских слуг и сумел уговорить келаря взять также и Федора.

К этой зиме они поправились. Пашню вспахали и собрали неплохой урожай. Дядя Прохор жеребенка отдал задешево, почти подарил. Федя, научившийся ремеслу, приработал в плотницкой дружине на починке большой монастырской церкви. С Козлом они дружили по-прежнему, но встречались изредка. Козел

сумел попасть на Клещино, в слуги под дворским, и теперь все что-то доставал, привозил, летал куда-то с поручениями. Сходясь, они все чаще говорили о девках, бегали на беседы, провожали, а потом хвастали один перед другим. У Федора завелась уже постоянная любовь на Кухмере, с которой они и ходили по-за деревней, и целовались, и на сеновал лазали, где, впрочем, только сидели рядом в опасной, соблазнительной темноте...

Узнав про поездку, Федя был вне себя от счастья: увидеть Владимир, церковный съезд, князей и бояр, соборы... Мать снарядила его в отцову просторную шубу — не замерз бы дорогою. Федя едва не забыл сбегать накануне в Кухмерь, к своей девушке, проститься. Они постояли за сараем, прижавшись друг к другу, слушая (пала ростепель), как капает с сосулек вода, и она впервые не противилась, не била его по пальцам, а только прижималась к нему и тихонько спрашивала:

— Забудешь тамо во Владимире?

Под ногами был талый снег, по улице кто-то шел, чавкали шаги, и — только что некуда было деться — и так осталось... Он шел домой, не разбирая пути, пьяный от счастья, смурной от взбаламученной и неутишенной крови, почти не спал, и только утром, когда соседские сани остановились у ворот, мысли перекинулись к желанной поездке. Он круто собрался, поклонился матери, которая для такого случая благословила Федю иконой, потянул за нос Проську и выбежал, на ходу натягивая тулуп. Сунув в сено мешок с подорожниками, он повалился в розвальни, и они помчались, в солнце, снежных и водяных брызгах из-под копыт, в радостном благовесте далеких переяславских колоколен. Сосед все оглядывался на Федора, подмигивал, жег и жег коня, спрашивая то и дело в сотый раз:

— Не бывал ищо?

Во дворе Никитского монастыря было необычайно людно. Сани, возки, возы стояли рядами, монахи и миряне сновали и толпились на растоптанном, перемешанном с водою снегу. Ржание, гомон — оглушали. Федя долго разыскивал брата и уже отчаялся, когда тот сам его окликнул. Потом они толкались по монастырским закоулкам, и Грикша долго уговаривал какого-то боярина, который подозрительно взглядывал

на оробевшего Федю в его большой, порядком вытертой шубе, с холщовой торбою за плечом.

Его свели к старшому. Грикша горячился, бегал куда-то и наконец-то устроил брата на сани. Потом еще принес ему миску щей, и проголодавшийся Федор хлебал, сидя прямо на санях, а Грикша стоял перед ним и торопил.

Впрочем, когда разобрались, все устроилось хорошо. Старшой оказался веселый мужик, он свел подзябнувшего Федора в клеть, битком набитую ратными, пропихнул, крикнув кому-то: «С нами будет!» И тут Федор подремал до того раннего часа, когда в сереющих сумерках весь большой обоз зашевелился под благовест больших монастырских колоколов.

Важные бояре и церковные сановники усаживались в возки, прошел архимандрит в бобровой долгой шубе. Попы выносили иконы и книги, потом благословляли весь поезд, и наконец возки и сани, запряженные одвуконь и гусем, по одной и тройками, потянулись друг за другом в монастырские ворота, и Федя, замотанный в отцову шубу, привалясь к кулям, уложенным у него за спиной, с забившимся сердцем следил, как передние сани скатывались перед ним с бугра меж рядов знакомых — и уже незнакомых — изб, ибо за ними сейчас начиналась дорога в далекий, неведомый стольный Владимир.

До Юрьева добрались только к закату следующего дня. Дневали и ночевали в пути. Федор резво бегал, рубил дрова, разводил огонь, таскал в избу и назад попоны и кладь. Все горело у него в руках, и старшой, что сперва окликал его: «Эй, ты!» или: «Эй, малец!» — к вечеру звал его уже Федюхой, а за ужином, подмигнув, плеснул ему монастырского меду в кружку. Грикша только раз подъехал. Узрев, что Федя освоился, он больше не занимался младшим братом, хватало своих забот. Тоже надо было вовремя соскакивать с коня, открывая дверцы, стелить дорожный половичок перед настоятелем, когда тому была нужда выйти, подавать и то и другое, следить за возами и прислугой — не стянули б чего невзначай.

В крытом возке настоятеля было тепло, нутро обили волчьим мехом. Колыхаясь, изредка поглядывая в слюдяное оконце, путники вели неспешный разговор. Игумен беседовал с протопопом, пристрастно расспрашивая про берендеевских попов, что были

ставлены по мзде и даже не рукоположены. Кто получил мзду, о том оба старались не вспоминать, но имя нового владимирского епископа Серапиона, что стараниями митрополита Кирилла перешел во Владимир из Киева, то и дело поминалось обоими.

— Муж учителен зело! — с воздыханием говорил игумен, и оба кивали, думая об одном: как снять берендеевских попов, не оскорбив княжого боярина Онтона и не затронув горицкого игумена, который, в этом случае, очень даже может поиметь обиду и запомнить.

— Зело учителен и неподкупен! — уточнял протопоп, сурово глядя перед собой и изредка шевелясь всем большим телом в тяжелой черной шубе.

— Божествен и духом выше страстей мира сего! — поправлял игумен, быстро взглядывая на дородного протопопа снизу вверх. Он сам приходился спутнику по плечо.

Оба были грешны, ежели не помочью, то попустительством, и, отдавая должное и митрополиту и новому епископу, скорбели о тех трудах, а паче того — осложнениях с думными боярами и другими иерархами Переяславской земли, которых потребует от них исправление дел церковных.

Были и в службе упущения, и сокращения противу древлего чина, и слишком снисходительно, как виделось теперь, глядели они на языческие игрища, что происходили под самым монастырем, у Синего камня, а такожде на самоуправства и насилия боярские... Прещать! Хорошо митрополиту, а как он может запретить что-либо самому Гавриле Олексичу?! И, думая так и извиняя в душе свою слабость, игумен все же с запоздалым раскаянием признавал, что должен, обязан быть тверже с сильными мира сего, ибо пред Господом все равны: и раб, и смерд, и великий боярин, цари и вельможи... Но по одну сторону был Господь, а по другую — трудно нажитое добро монастырское, дела и труды братии и хрупкая милость князя, что могла перемениться на злобу и гонения. Добро мужам, свыше вдохновенным от Бога, как многоразумному и красноречивому Серапиону! Добро и тем инокам, что в железах, во власянице, скудно хлебом и водою пропитахуся, дерзают молвить правду сильным мира сего, ибо нечего отобрать у них, кроме жизни сей мимолетной и бренной, коею мучениче-

ский конец даже и украсит, отворив праведнику врата в царство божие!

И, думая так, завидовал он сейчас нищим инокам святым затворникам, и вздыхал, и быстро взглядывал на сурово застывшего протопопа. Тяжел крест, на раменах несомый к Голгофе, тяжел и наш крест, в суете и скорби дел и страстей земных!

И были мелкие мысли о горицком настоятеле, о доходах; и даже о праведнике Никите, именем коего была наречена их обитель, подумал часом игумен грешно. О Никите, которого некогда растерзала толпа за старый грех мздоимства; Бог простил, миряне не простили прежней неправедной жизни! Изнесли из кельи затворника и разорвали на куски. Не было ли и то такожде от Бога: конец мученическ прият за передняя?

Сам Дмитрий Александрович ускакал во Владимир налегке, но младшего княжича, Данилку, везли с собой, и вдова, Александра, ехала с обозом.

Гаврило Олексич тоже ехал с церковным поездом. Бранил нашкодившего сына:

— А ну как до митрополита дойдет? Там и я тебя от церковного покаяния не спасу!

Умолкая, он прикладывался к немецкой стеклянной фляге с греческим вином, гасил раздражение. Их возок был широк и обит иноземным бархатом — княжому не уступал.

Боярам церковный съезд был важнее, чем другим. Статьи о рабах, о судах церковных и покаяниях касались каждого из них кровно. При завещаниях, сделках и менах духовная власть почиталась паче прочей. Любую важную грамоту скрепляли у архимандрита. Свои поминальники были у каждого боярского рода при излюбленных монастырях. Сюда ходили исповедоваться, здесь каялись и оставляли вклады «по душе». На смертном одре в присутствии священника отпускали на волю «души ради» холопов, иногда наделяя добром... Как и что решат на соборе во Владимире? Как потом поворотится все, что по пьяной горячности случалось и проходило: и от гнева тяжко поднявшаяся на нечаянное увечье рука, и иные неправды, и скоромные забавы, о которых потом бормотали, наливаясь бурой кровью, на исповеди, а от холопок понасиленных откупались владимирским платом да парой серег, а то и прицыкнув на дуру, что обиделась господской лаской... Но тут была власть высшая, митрополичья,

не свой духовник, что все простит и забудет. Тут могли постановить такое, что придет после и оглядываться! Думали и о том, кому, какому князю и княжеству будет больше мирволить — и будет ли — старый Кирилл? То всё были заботы боярские.

Низовые служки, причт церковный и миряне тоже толковали о владимирском епископе Серапионе, слава которого уже разнеслась широко, горели желанием узреть и услышать маститого проповедника. Толковали и о возможных перемещениях после епископского съезда. Купаньский поп обиженно изъяснял дьякону, с которым вместе ехали они на открытых санях:

— Аз не учен... Своим умом боле... То, иное возглашай... а неведомо как! И книги ветхи. Боярину недосуг, мужики тож торопятце, ну и подмахнешь, иное пропущаешь, иное кратко скажешь... Я чем виноват?!

Дьякон кивал молча, согласительно, и гадал про себя: лишат или не лишат места купаньского попа и, ежели лишат, кто будет заместо него, или пришлют кого из Владимира? То были заботы святительские.

Миряне, что провожали поезд, попросту радовались пути и дорожным развлечениям. В избе, куда вечером набилось — не продохнуть, за кашей и квасом мужики солено шутили. Один вспоминал, как умял девку под Владимиром и, чтобы не ревела, обещал жениться.

— О сю пору ждет!

— Эй, Федюх, девок тискашь?

— Ты их под поповским возком! Замолит!

Федор, красный, не знал, куда деваться.

— Брось парня! — вступился старшой.

Сказывали бывальщину, обсуждали виды на урожай, поминали летошнее «число». Заспорили о татарах, но скоро тоже свели на многоженство:

— Наставит кажной по юрте и ходит...

— Моя бы баба! Не приведи, все горшки побьет!

— О твою башку!

— Уж не о печь, вестимо!

Гоготали... Спать заняли весь пол, лавки, полати. Храп наполнил избу. Федор лег ближе к двери. Отцова шуба грела, и он тепло подумал об отце, засыпая.

В Юрьеве, в зимних сумерках, ничего не удалось толком разглядеть, и резной белокаменный собор только промаячил перед ним в отдалении. Убирая коней, он завистливо думал о старших возчиках, что могли

позволить себе пройти по посаду. Ему приходилось задавать корм, чистить, распрягать и запрягать коней, исполнять работу за себя и за старшого и, как ни хотелось сбегать поглядеть Юрьев, отойти от возов так и не удалось. Приметил лишь, что частокол на городском валу обветшал и среди посада было мало новых строений.

На выезде его изумили поля, холмистые, далекие. Лесу не было видать до самого окоема. Розовые и голубые снега слились с белесым небом.

Мела поземка. Мелкое ледяное крошево больно секло щеки и лоб. Вороны и сороки вились над лошадьми, жадно набрасываясь на комья свежего навоза. Церкви, оснеженные соломенные кровли деревень, изредка рощи и опять снега под ясным, холодно-звонким небом. Он смотрел, смотрел... Уже сиреневые сумерки облегли небо, и солнце, снизившись, озолотило снега и утонуло за холмом, а он все не мог насмотреться.

Ночевали снова в пути, под Владимиром. Часть обоза ушла вперед: боярские и княжеские возки, возок архимандрита. Федору пришлось оставаться с обозом, зато он был вознагражден тем, что подъезжали к Владимиру на заре.

Сверкали снега. Голубело небо. Звонко кричали птицы. Воздух, хоть и подморозило, чуялся весенний. Чаще пошли деревеньки, потянулись встречные и попутные обозы, и вот — Федя даже привстал — вдали стал промелькивать скоплением крыш и острыми верхами башен великий город. И уже с какого-то бугра проблеснуло, и вот появились, и уже не пропадали вновь золотые главы владимирских соборов, и росли, и приближались... Кто постарше, стали снимать шапки и креститься, и Федя тоже, с расширенными от счастья глазами, снял шапку и перекрестился, вдыхая тонкий запах дыма из многих труб и дымников в морозном воздухе, вслушиваясь в неясный шум городского многолюдья и тонкие, вдалеке, звоны владимирских колоколов.

Город надвинулся высоченными валами, по которым, в вышине, нависали рубленые городни. Удивляли терема с острыми крутыми кровлями, а более всего — густые толпы народу. Федя подумал, что в городе ярмарка, и только потом понял, что так тут — каждый день.

Шеломы соборов еще только проглядывали издали, скрываясь за кручами, густо обсаженными клетями и отыненными сосновою городьбой. Но вот обоз по широкой улице поднялся на гору, раздвинулись терема, и показались вышки и гульбища, широкие кровли повалуш, трапезных, гридниц, поварен, клетей, анбаров, теремов и палат митрополичья и княжого дворов, а над ними над всеми — белокаменные дива в резных львах и грифонах, в перевити каменных трав, в круглящихся гранях закомар и высоких долгих окон, в вереницах святых мужей, тоже изваянных в камне на безмерных просторах соборных стен.

Федя глядел с раскрытым ртом, плохо соображая, что ему говорят, и как во сне — старшому пришлось сильно пихнуть парня, чтоб опамятовался — начал делать свое дело: таскать кули и полсти с саней в хоромы, заводить и распрягать лошадей. Когда появился невесть откуда Грикша и что-то спросил у него, Федя посмотрел на брата отуманенно восторженными глазами и выдохнул:

— Гриш, краса-то, диво-то!

Разделаться с работой и вырваться в город ему удалось только к вечеру. Солнце уже низилось, стены храмов розовели. Темные бревна городни стали рыжими. Обойдя большой собор,— служба кончилась, и Федя только сумел заглянуть, сняв шапку, дальше порога его не пустили,— он вышел на угор и долго смотрел за Клязьму, где в снежных полях и разливе лесов курились далекие крыши деревень. Потом дошел до Золотых ворот и долго упрашивал ратного мужика пустить его наверх. Тот все выспрашивал, кто да откуда, пока из сторожевой избы не вышел молодой боярин. О чем-то спросив ратника, он оглядел Федю.

— Переяславской? Князя Митрия? — спросил он и, подумав, махнул рукавицей: — Вали! Недолго там!

Федя, не чуя ног, понесся вверх по узкой каменной лестнице. Задышавшись, достиг наконец верха, прошел вдоль галерейки, куда легкая пороша уже нанесла тонкий слой снега. Веник стоял прислоненный к заборолам, а врата в надвратную церковь были затворены цепью. Он поглядел в щелку на мерцающий в свете редких свечей иконостас и оборотился весь к безмерному воздушному простору, открывшемуся ему с заборол.

Отсюда, со страшной каменной высоты, люди и

кони внизу выглядели как мураши на снегу. Отмеченные желтым, текли дороги. Рядками, как снопы, стояли домики. И далеко-далеко уходила вечереющая равнина в седых лесах с белою полосою реки. Он посилился представить татар, там, внизу, на ихних косматых конях. «Тут и стрела-то не долетит!» — подумалось ему. Солнце село, и быстро начало темнеть. Сзади с кряхтеньем выполз на заборола старик прислужник.

— Тебя давно тамо кличут, молодец! — укоризненно попенял он. И Федя с сожалением начал спускаться, все оглядываясь, задерживаясь на каждой ступеньке, водя рукой по холодному шероховатому камню стен с давними, процарапанными там и сям надписями, верно тех, кто стоял тут, когда Батыевы рати окружали город.

Грикша наведался к нему вечером. Они вышли на улицу из дымной, набитой мужиками избы под высокие владимирские звезды и долго говорили, и Федя все спрашивал, не в силах понять:

— Нет, ты молви! Я стоял тамо, на вратах, дак инда голова кружится! Сколь высоко! Как мураши внизу люди-то! Камень скрозь: тут не то что взять — и подступить немыслимо! Как же татары наших одолели? Как же город-то пал? И не измором забрали! Хотя бы с голоду сдались, а приступом! Ну не тут, не у Золотых ворот... Все одно, валы-то какие! Нет, ты скажи, молви! Как же так?

С княжичем Данилой Федя встретился случайно, на третий день. Данилка первый узнал и окликнул Федю. Федор и не знал, что княжич ехал тем же санным поездом, что и он, а и узнал бы, не стал, наверно, казать себя. В Юрьеве, где Федя только с посада, издали, глядел на собор, Данилу с матерью принимал и чествовал у себя в тереме сам юрьевский князь Ярослав Дмитрич, и спали они в княжом терему на пуховых постелях. Здесь, во Владимире, Данила тоже остановился на княжом подворье, и только потому, что Александра днями пропадала в митрополичьих хоромах, оказался без дела тут, на дворе, где и узнал, вглядевшись, Федю, сильно выросшего, но с тем же застенчиво-жадным выражением свежего лица и широко раскрытых, сияющих глаз. Они поздоровались. В большом чужом городе, вдали от домашних забот, Федя неложно обрадовался Данилке, не чувствуя той постоянной насмешливо-завистливой остуды

сторонних, которую ощущал всегда мальчишкой, водясь с княжичем. Тем паче что не виделись они несколько лет.

Подростки, не сговариваясь, пошли за ворота, один в простом, другой в дорогом платье, и, перебивая друг друга, торопились рассказать, что с ними было за протекшие годы.

— Митю новгородцы бросили, а то бы он не уступил! — говорил Данилка горячо, с новыми, властными переливами ломающегося голоса, которых у него не было раньше.— А дядя Василий татар созвал. Он у нас был, обедал. Матка его ругала даже!

— А у нас костромичи кобылу свели, Лыску,— рассказывал в свою очередь Федя.— И Белянку татары съели, когда нас числили.

— И у нас забрали сорок коней со двора,— отвечал Данилка,— да ратным подарки, и порты им давали, и сбрую, и ячмень, и сено, и кормили их. А Феофан с Павшей с дружиною у Гориц стояли, и ничего тоже не сделали им! А «число» когда клали, тоже полон двор был татар у нас, и тоже с наших жеребят конину варили! Им конина — первая еда.

Приятели шли по пути, избранному Федей в первый день. Так же подошли к Успенскому собору и зашли внутрь, и служитель безмолвно пропустил их, покосившись на Федю, но Данила прошел, будто и не видя никого, кроме Федора. Они постояли в соборе, обошли боковые притворы и осмотрели иконостас, причем Данила купил свечей и расставил перед иконами. Потом оба постояли над Клязьмой, поглядели на юг, туда, где терялась в лесах дорога на Муром, и пошли к Золотым воротам. Княжич уже бывал тут не раз, и сторож — опять только покосился на Федора — пропустил безмолвно. Мальчики поднялись на глядень.

— Мой батя города бы не сдал! — серьезно сказал Данила, выпрямясь и озирая дорогу, откуда почти сорок лет назад подходили бесчисленные татарские рати. Федя глянул сбоку на княжича. Данил смотрел строго, и впрямь казалось, что, будь Невский на месте Юрия, все бы поворотилось по-иному. «Зачем же тогда князь Александр кланялся татарам?» — подумал, но не сказал Федор.

— Ты с девками не знался еще? — вдруг, порозовев, спросил Данилка, и Федя, тоже краснея и стыдясь,

отчаянно привирая, стал сказывать про свою зазнобу и, желая прихвастнуть, намекнул, что уже знал девушку.

— А я еще ни разу! — простодушно признался княжич, и Феде пришлось, спасая свою ложь, в которой он успел горько раскаяться, сочинить целую нелепую историю, присовокупив в конце, что все это пакость и лучше с бабами дела не иметь.

Вспомнил княжич и Проську. Узнав, что сестренка выросла и уже ходит на беседы, сам рассказал про племяша, Ванятку, который так и рос под Даниловым надзором. Митина женка родила с тех пор второго сына, но Данилка привязался к старшему и продолжал возиться только с ним.

Федя все хотел, но так и не решился спросить княжича, дают ли ему Москву и бывал ли он в ней? Сам Данилка, «московский князь»,— вспомнил Федя насмешливое прозвище — о том не поминал, и Федя тоже решил не спрашивать.

Их разыскали у ворот Княгинина монастыря. Пожилой боярин с несколькими холопами верхами подъехали к ним. Боярин спешился, и с ним подросток, ихних лет, в боярском платье. Данилка приятельски кивнул обоим, без смущения назвав боярина по имени, Федором.

— Как и тебя зовут! — присовокупил он, поворотясь к Феде. Затем представил Федю боярам: — Приятель мой, вместях учились с ним! — сказал он и, снова указав на боярина, прибавил, уже для Феди: — А его мне батя покойный поручил, со мною быть!

Княжичу подвели коня, и, после мгновенной заминки, один из холопов, подъехав, принял Федю к себе на седло. Они воротились к Детинцу, и Данилка еще пожелал проводить Федора до самой его избы, сердечно распростясь на глазах удивленного старшого, которому бросил совсем уже по-княжески:

— Не брани, со мною был!

У Феди хватило ума не хвастать дружбой, объяснив старшому только, что княжич, по переяславскому знакомству, брал его в провожатые и он не мог отказать сыну Александра. Старшой похмыкал, покачал головой, и лишь когда Федя с готовностью, даже не евши, пошел обихаживать лошадей, успокоился и предложил:

— Да ты выхлебай щи сперва, простынут!

В избе ратные спорили о возчицких доходах. Ка-

кой-то местный, владимирец, сидел с ними и жалился, что одолели ростовщики, берут с живого и мертвого, серебра нет, а возьмешь в рост — не расплатиться, лихвы и то не оправдать...

Федя так и уснул в углу, на своей овчине, под монотонные жалобы гостя, который все никак не хотел уходить, а сидел, глядя тоскливо на огонек одинокой свечи, перед чашкой квасу и бормотал, бормотал, когда уже переяславцы, почитай, все поукладывались и только старшой да еще двое мужиков клевали носами, жалея выгнать владимирца...

ГЛАВА 22

Данилка был во Владимире уже второй раз, вернее третий, но первого раза, когда хоронили отца, не помнил совсем, а от второго посещения, пять лет назад, у него остались только сбивчивые воспоминания о долгих службах, пространных и чужих покоях с массою незнакомых лиц да уличной пыли. Теперь он впервые по-настоящему знакомился с Владимиром.

Сам, испытывая гордость перед собою, побывал в соборе Рождественского монастыря, пустом и строгом (не в пример пышно изукрашенному Дмитровскому, где была могила прадедушки Всеволода Великого), чем-то странно похожем на их родной Переяславский собор, и долго стоял перед гробницей отца. Хмурился, стараясь вызвать слезы, слез не было. Мешали восчувствовать шепоты, доносившиеся сзади:

— Сынок Александра, последний!

Он приложился к холодному камню, расставил и зажег свечи. Постоял еще, подумав, как жаль, что батя не видит его сейчас, и оттого вдруг защипало глаза. Стало обидно, что и Андрей, и Митя, и покойный Василий — все знали и видели отца, и только он не видел и не запомнил ничего, даже похорон. Он расплакался и даже не мог объяснить ничего боярину Федору, который нынче опекал его с особым тщанием, всюду провожая, и с сыном которого, Протасием, или Веньямином (последнее имя было крестильное), Данила теперь бывал все чаще и чаще. Вместе катались верхом, вместе побывали на охоте. Венька учился во Владимире и знал кое-что неизвестное Даниле. Он

рассказывал иногда про римских кесарей, про древних киевских князей, про Владимира Мономаха, который громил половцев, ходил на Царьград, строил города и соборы. И Данилка молча слушал, испытывая уважение и легкую зависть. Иногда спрашивал:

— От Олега Святославича Черниговского — рязанские князья?

— Рязанские от его брата, от Ярослава Святославича, а от него черниговские!

Данил кивал головой, запоминая.

— И Михаил Святой тоже от него?.. А Мария Ростовская, вдова Василька, она дочерь Михаила?

— Дочерь.

— Родная?

— Да.

— Стало, и ростовские князи по роду от Олега?

— Род от отца идет! Не по матери! — возражал Венька.

Впрочем, уважая ученость, сам Данилка больше тянулся к делам хозяйственным. Ему нравилось бывать в торгу, заходить в лавки, трогать оружие, посуду и ткани. Во Владимире он упросил монастырского келаря пустить его в ризницу и долго разглядывал сионы и облачения, посохи, наручи, митры, шитое золотом и жемчугом богатство епископского двора, премного оскудевшее, как говорили ему, после татарского разгрома. Митрополит хоть и подолгу жил во Владимире и даже покои себе выстроил, но кафедра попрежнему считалась и была в Киеве, и самые древние священные одеяния, реликвии и сосуды тоже хранились там, как передавали, в пещерах под горой.

Так же внимательно Данила обходил всегда конюшни и мастерские. Еще маленьким он подолгу мог смотреть, как варят сыр или перетапливают коровье масло, как коптят рыбу и мясо, трогал туши, запускал руки в зерно и уже мог правильно сказать, почти не задумываясь: сухое или влажное, готово или нет,— про всякую приготовлявшуюся дома впрок и про запас снедь, зерно, крупу, рыбу или овощь.

Венька был высокий, выше Данилы, костистый, с большой головой. У него уже пробивалась светлая бородка и усы. Утром другого дня, как Данил встретился с Федором, они выехали верхами прогуляться, и Ориниными воротами выскакали за городские валы.

Данила запомнил вопрос Федора и про себя повертывал его и так и эдак. Батя жил в мире с Ордой, и Федя, конечно, был прав, хоть Данила ни за что бы в том перед ним не признался. Батя тоже не мог, видно, справиться с татарами, потому и платил им дань...

«Почему тятя не собрал всех воедино, как когда-то Владимир Мономах, чтобы разгромить татар?» — думал Данила, озирая окрестные поля в перелесках, в путанице дорог и крыши там и сям, курящиеся белым дымом. Он не выдержал наконец, спросил Веньку, но не про отца, а про Юрия Владимирского. Почему тот ушел, бросил город, не собрал всех вместе против Батыя?

Венька пожал плечами и отвел глаза. Он знал из рассказов и летописи, что Ярослав Всеволодович, дед Данилы, не помог Юрию. Но Юрий и сам не помог рязанским князьям!

Древние киевские князья были великие, они держали всю землю, ходили на Византию, били печенегов и половцев. Почему теперь недостало сил — он не знал сам. И отец его не знал, и не знали другие бояре, когда приезжали к отцу и ненароком, после судов-пересудов о родичах, хлебе, скотине и прочих хозяйственных делах, поминали татар, ордынский выход или подарки баскакам. Не устояли! Половцы тоже были разгромлены татарами!

Вениамин поводил плечами, не знал, что ответить княжичу.

А Данила не отставал: почему да почему? И верно, почему они разбиты? Почему платят дань? Кони лучше у татар — дак в лесах с конем не развернешься! Луки дальше бьют — дак на что и города со стенами? Много их было? Дак половцев, что бил Мономах, тоже было не мало! Поди, не меньше, чем татар!

— У их и пóроки, и тараны, все-все было! Они и не такие, бают, брали горóда! — ответил Венька без уверенности в голосе.

Данила смолк. В самом деле, зачем пытать Протасия! Все это должны решать дядя Василий, старшие братья, бояре, митрополит, и все-таки? Как же так? И что делать теперь?

ГЛАВА 23

Дядю Василия, нынешнего великого князя, Данила нынче видел каждый день за трапезой. Василий приехал почтить старого митрополита, ветхого и, казалось, уже бессмертного, так как умирали князья и княгини, менялись епископы и игумены монастырей, а он все жил, и хватало сил на долгие пути отселе в Киев и по южным градам русским, хватало сил на долгие службы, и труды церковные, и наставления. Принимали благословение у него даже с некоторым страхом.

Василий сильно сдал за последний год. Резче пролегли морщины, голову обнесло сединой. Он был бездетен — двое ребят, что принесла было жена, умерли во младенчестве — и начинал уставать от власти. Старая обида на брата Ярослава, что когда-то распоряжался у него на Костроме, как в своей вотчине, угасла. Заботы вечные, как собрать и выплатить ордынский выход, порядком измучили его. Князья только и глядели, как бы переложить неминучую дань на плечи соседа. Постоянная вражда новгородских бояр, запутанные дела владимирского княжения — все это утомляло. Он с великой неохотою нынче внимал своему воеводе, Семену Тонильевичу, толкнувшему его на борьбу за власть со старшим братом, а затем — с племянником Дмитрием. И... не то что хотел бы отказаться от власти — слишком и он был Ярославич, чтобы выпустить из рук великое княжение владимирское,— но неприметно все более долила его пустота власти. Дома — жалобы больной жены, вечные заботы, отхлынувшее куда-то веселье прежних беззаботных лет. Даже давнюю мечту свою: получив великое княжение, облегчить княжую дань своим костромичам — даже и того он не сумел сделать. Орда сосала Русь, и брать приходилось со всех неукоснительно. Добро было и то, что костромские купцы наживались на волжской торговле. Лодейные караваны ходили в Сарай, опускались даже и до Хвалынского моря, добирались до гор Кавказских... А все было как-то непрочно! И власть, и доходы, и милость хана...

Даже здесь, во Владимире, все шло и так и сяк. Ключник жаловался, что недостанет запасу. Мало было хорошей рыбы. Мороженых судаков, клейменых осетров и мешки воблы спешно везли из Костромы. Масло даже за княжою трапезой попадалось кислое —

перележало. Василий сам заходил в медовуши, тряс за шивороты ключников, проверял, бранил. Гостей было по случаю церковного съезда невпроворот, и он холодел при мысли, что его прием окажется беднее Александровых и даже брата Ярослава. Тем паче что из Твери прикатила целая куча гостей, и Святослав, сын покойного, недавний союзник противу Новгорода, был среди них. Да, не так представлял он себе когда-то великое княжение владимирское!

И с Александрой после похода на Переяславль было нелегко встречаться, и Данил, младший Александров сын, что тогда казал его с крыльца внуку Ивану, выросший, ясноглазый, тревожил его каждодневным присутствием за столом. Впрочем, гостей было много. Миряне и иереи, ростовчане, тверичи, и свои костромичи, и переяславцы, и владимирцы. Боярынь и княгинь кормили в иной палате, отдельно от мужиков. И духовных ради, и того ради, что за столом сидели татарские послы: великий баскак и с ним еще неколико татар княжеских родов. Сидели хозяева, и чем выше было его место — нынче самое высокое на Руси,— тем обиднее было, что хозяин все-таки не он, а эти: в своих тюбетейках или меховых шапках, в пестроцветных халатах, важные, красные, евшие досыта и пившие допьяна за его столом, как за своим собственным, и их, упившихся, бережно вели под руки его, Васильевы, холопы до опочивальни, и несли вино, и посылали дворовых баб стелить постели. И ему, князю, и боярам его было обидно и стыдно: кто у кого в гостях?

А город шумел за стенами княжеского двора, сходился на игрища и кулачные бои, торговал и строил, ковал, шил, чеботарил, мастерил, божился и плакал — стольный град Владимирской земли!

ГЛАВА 24

Александра водила Данила к митрополиту Кириллу в первый же день по приезде, к вечеру. Кирилл, ветхий и весь как бы светящийся, долго смотрел на юного князя, младшего сына Александрова, на расползшуюся, поседевшую вдову, что когда-то ратовала за этого княжича, тогда еще младенца суща, и отмечал про себя течение времени, безостановочный бег, уносящий годы и людей и рождающий новые жизни, что, в свою

очередь, отцветут и угаснут для новых и новых поколений. Вот уже нет Андрея и нет Ярослава. И из братьев князя Александра ныне остался лишь самый младший... Что единое, как не вера, не заветы отцов и прадедов, возможет связать нерасторжимою нитью эти проходящие жизни? Он перебирал свои дела и труды, давно уже загодя подводя итог жизни и готовясь отойти к престолу Господа.

От Менгу-Тимура, хана ордынского, он сам получил ярлык, охраняющий церковь от грабежа, насилья и ордынской дани. Он рукополагал епископов, утвердил епископию в Сарае, а ныне упрочивал православие на Западе, где католики грозили вторгнуться с мечом и крестом на русские земли.

Теперь надлежало укрепить саму православную церковь, почему он и уговорил знаменитого киевского проповедника Серапиона перейти во Владимир. Здесь, в лесной и северной Ростовской молодой земле, еще не утвердился крепко свет веры, еще меря и мордва, да и русичи иные держались языческих треб, и учительное слово мудрого мужа было паки и паки необходимо.

И ныне здание церкви увенчивалось. Надлежало утвердить обряды и правила — то, что пройдет в века, что не будет поколеблено ни войнами, ни мором, ни гладом, ни лихолетьем, ни раздорами князей. Таинства причащения и ясные символы веры, правила ведения службы, ограждающие православную церковь от лести католиков, суды церковные, «Номоканон» и те дополнения к нему, коих он неукоснительно добивался и добился: о рабах и рабынях, и о прещении инокам имети холопов в услужении своем, и о том, что господин за обиду должен отпустить рабу свою на волю,— чего не было в византийских правилах утвержденных и что разыскал он в древних книгах, и даже едва ли не сам измыслил, ибо то, чего жаждешь найти — и в злом и в добром,— находится для тебя всегда...

Благословив юного княжича и отпустив его и вдову, Кирилл позвонил в колокольчик. Вошел служка. Еда и прочие телесные блага мало занимали места в жизни престарелого митрополита. Его трапеза и в обычные дни почти не отличалась от постов. Красота облачений, драгие потиры и митры, груз злата, сребра и камней на священных реликвиях — тоже уже не воспринима-

лись им и были несомы привычно, как крест жизни, как вериги, к коим за долгие годы привыкает тело. Впрочем, престарелый митрополит не истязал себя ни веригами, ни власяницею.

Испив воды, едва сдобренной брусничным соком и несколькими каплями меда,— хлеба на ночь митрополит давно уже не вкушал,— и помолясь, он приказал разоблачить себя. Служка поставил ночную посудину с крышкой, помог омыть руки и лицо. Наконец, оставшись в нижнем тонком льняном облачении, Кирилл улегся на прохладную и скользкую, набитую свежей соломою постель, откинул голову в ночной скуфейке на взбитое пуховое взголовье, подтянул легкое, тоже пуховое одеяло и сделал разрешающий знак служке. Тот вопрошающе глянул на митрополита, имевшего обыкновение читать перед сном, но митрополит едва повел глазами Он слишком устал за сегодняшний день, и следовало беречь силы для завтрашнего долгого и трудного прения с иерархами. Ему было уже известно о многих и многих нестроениях, кои надлежало исправить властно, без пагубной жалости к немощи и лукавству человеческому, и после уже, соборно, полагать правила на будущие, скрытые завесою неведомого времена.

Он лежал, и тихое довольство разливалось по телу. Вот и снова он во Владимирской, ставшей уже почти родною, земле. Быть может, ей, а не старинному, ныне зело умалившемуся Киеву и суждено величие в веках; и свет православия, быть может, именно здесь, в пределах лесных и северных, воссияет ярче всего?

Кирилл чуть-чуть пошевелился, погружаясь в сон. Лампада горела ровно, чуть освещая гладко тесанные янтарные стены покоя. Печи топили внизу, и изложницу митрополита обогревали через отдушину теплым воздухом, так что ни дыма, ни копоти не было на стенах и на тесаном невысоком потолке. Было тепло, хорошо, покойно. Надлежало собраться с силами к завтрашнему трудному дню. Он уснул, не задергивая полога, и спал легко, не шевелясь и едва заметно дыша. И мир и покой были на его отененном краем полога сухопрозрачном, со смеженными веждами лице.

ГЛАВА 25

Грикша прибежал за Федором чуть свет и поволок его за собою. Дворами и по-за клетями вывел к собору. Успели. По улицам, от многолюдства, уже было бы не пробиться. Грикша спешил. Поговорив с кем-то из служек, сунул Федора на паперть у боковых дверей:

— Стой тут! А как пойдут, туда пролезай зараз! Мне недосуг с тобой, смотри, зараз лезай, не мешкай!

Он убежал рысью. Народ прибывал и прибывал, как море. Бабы в платках и киках, странники, молодые и старые горожане, мужики, парни, женки. Федора затолкали совсем. Памятуя братние слова, он держался дверей, боясь, что и верно: задавят — не попадешь и в собор. Бабы судачили, поругивались, старались пропихнуться поближе ко входу и тут же покаянно вздыхали.

— Согрешили! Жизни никому нет,— говорила одна, цепляясь за плечи и изо всех сил стараясь удержаться на верхних ступенях,— кто и хорошо живет, а жизни нет. Не у самого, дак у сястры, тетки, своюродника кого... И живут хорошо, а все одно — жизни нет!

— Он в монашеском,— поясняла другая, где-то за спиною у Федора (он слушал, поворачивая ухо, но не мог обернуться, толпа мешала, совсем притиснув).— Тут вот белое, на голове клобук, бают, а тут черное, как бы оболочина, накидка. Вроде опашня, широкая. И сколько его идет встречать духовенства, послушников! У дверей сымают накидку ту и надевают манатью, длинную такую, и несет хвост-от мальчик... Да не давите так, православные!.. И уже ему дают посох в руку, а потом уйдет на возвышение, и там облачают, и дьякон дает возглас: «И, как невесту, украсить тебя!» ...Батюшки, куды и прет, куды и прет!.. Молодушка, али ты без глаз?.. Сюда стань!.. А еще как посвящают-то в епископы... Марья, Марья, к нам! Это наша, я ей место заняла! И у тебя не куплено! ...И вот духовенства тут наставят рядами от олтаря до возвышения. Избранника, как клятьбу дает, ведут от олтаря по орлецам. И митрополит над ним читает. И тут пение красиво! А потом скажет митрополит-то ему: «Иди, весь народ благослови, они за тебя молились!» И он уж тут рук лишится: все к нему подходят...

— И все ты путашь, молодушка,— вмешалась третья баба. Начался спор.

— А ты хитра больно, я-то почадче тебя! Я ровня твоей матери!

— Как ты постишься? — спрашивали в другой стороне.— Вот ты скажи: пост, а ребенка как кормить, молоком-то?

— Думаю, не в еде дело! Знашь, как преосвященный Серапион объяснял: надо духом очиститься. Иная стоит прилежно и платочком накрыта, глаза опустив, а изнутри у нее бес. Возлюбить надо!

— Сам будет ли?

— Будет! И митрополит, и владыка...

Федя, кося глазом, наконец увидел молодку с истовым и чистым лицом, что говорила про посвящение. Рядом старухи толковали про Серапиона:

— Толь красиво говорит проповеди, так и льется речь, так и льется!

— Язы́ки знает!

— Из Киева он приведен.

— А ты в Киеве бывала?

— Там не так!

— Одна вера! Это у католиков...

— А они какой веры, католики?

— Какой-то не нашей.

— Тоже християнской, бают!

— А уж не такой! У них вера неправая, что у етих, махметов, магометов,— а не выговоришь! Там по десяти жен наберут...

Народу все прибывало. Толпа тяжко покачивалась, уплотняясь так, что становилось трудно дышать. Наконец пронеслось:

— Идут!

Федор изо всех сил вытянул шею, тут до конца оценив братнину предусмотрительность. Шествие выходило из-за палат, огибая собор. Алые и золотые ризы лучились на солнце. Он совсем близко увидел улыбающееся лицо невысокого и полного, с пролысинами надо лбом, епископа Серапиона (шепотом, как ветер, передавали, указывая на него, в толпе: «Вот он, вот!»). Лицо у епископа было в припухлостях, он что-то говорил, улыбаясь спутнику, что шествовал рядом, и лицо в улыбке становилось очень добрым и приятным, жизнеприемным. Следом шел соборный протодьякон Неплюй, высокий, слегка заплывший. Крепкий затылок круглился под гривой волос. Ризы колебались в лад шагам, стройные сухощавые юноши послуш-

ники и молодые священники несли иконы и хоругви. Монахи, дьяконы, священники шли и шли, изливаясь ало-золотым и бело-серебряным шествием, и, огибая собор, направлялись ко главному входу.

Засмотревшись, Федя чуть было не оказался сброшен со ступеней, так все хлынули внутрь. Но, отчаянно нажав плечом, он успел втиснуться тоже, и толпой его вынесло прямо к середине собора. Он увидел череду служек в белом и проходящую к алтарю процессию, епископов и самого митрополита. Воспринимая больше глазами, чем слухом, Федя старался не упустить, как надевали облачения, как выносили дорогие, сверкающие камнями, панагии. Он услышал даже, как Кирилл сказал тихо прислужнику, что держал перед ним раскрытый служебник: «Выше!» И чудно́ показалось ему от этого простого слова во время почти уже неземной красоты обряда.

Федор плохо слушал службу. Все было знакомо, хоть и пышней, чем у них, и хор был оглушающе грозен, и умилительно чисты верхние голоса маленьких певчих. Но весь обратился в слух, когда епископ Серапион вышел на амвон, и повернулся к народу, и воздел руки, и стало тихо и трепетно в храме, и когда он глубоким, ясным и, правда, каким-то льющимся голосом заговорил:

— Мал час порадовался о вас, чада, видя вашу любовь и послушание, и мнил уже, яко утвердились и с радостью приемлете божественное писание. Но увы! Все еще поганского обычая держитеся, волхвованию веруете, пожигая огнем неповинных! Аще кто из вас и не причастен к убийству, но единой мысли с убийцами — убийца есть!

По толпе прошел шорох. Недавно за Ветчаным концом, на Лыбеди, опять сожгли ведьму, о чем намедни судачил весь город. Какая-то баба шепотом, за спиной у Федора, принялась объяснять:

— Баяли им, что неправду деют! Может, она и не ведьма была! Сожгли женку ни за что!

— Тише ты! — зашикали на нее со всех сторон.

— Кто верует Богу истинно, тому и чародеицы не вредят! — твердо добавил Серапион, озирая плотную толпу прихожан, и новый ропот, ропот смущения, рябью пробежал по людскому морю.

Он помедлил, поднял руки, казалось — подавая их

всем сразу, и мужикам и бабам внизу, и князьям с княгинями вверху, на хорах собора.

— Не тако скорбит мать, видящи чада своя боляща, яко же аз, грешный отец ваш, понеже не пременишася от дел пагубных!

Аще кто из вас разбойник — от разбоя не отстанет; кто крадет — татьбы не лишится; аще кто ненависть на друга своего имеет — не оставит вражды; грабящий не насытится; резы и лихву емлющий и того не перестанет! Кому сбираете богатства свои? Кто, окаянный, помыслит, яко наг родился и наг отходит, ничто же с собою не возможет унесть? Кто любодей из вас — не престанет и того деяти; скверннословец и пьяница своего обычая не покинут... Как же утешусь, видя вас от Бога отлучаемых? Како обрадуюсь?

Сею в ниву сердец ваших семя божественное, но не вижу ни ростков прозябнувших, ни плода!

Голос Серапиона все рос, и слова его, простые и горькие, тяжко упадали в замолкшую людскую массу.

И Феде, зажатому в толпе, и Данилке на хорах собора, тоже притиснутому к самым перилам, равно казалось, что епископ Серапион обращается именно к нему и говорит с ним одним, умоляя обновиться душою и убояться кары господней.

— Кому грядем? Кому приближаемся, отходя света сего? Что речем? Что отвещеваем? — спрашивал Серапион, после каждого вопроса умолкая и обводя очами собор, точно ожидал ответа.— Страшно есть, чада, впасти в гнев божий!

Он вновь простер руки, как бы обнимая любимую и грешную паству свою, и голосом еще более глубоким и проникновенным заговорил о каре господней.

— Многим учаше ны, и ни единого из глагол его не прияша! Тогда наведе на ны язык немилостив, язык лют, язык не щадящ красы юных, немощи старец, младости детей...

У Федора холод прошел по спине. Он ждал всего, но не этого прямого слова о бедах родимой земли. Все, заслышав о татарах, молчали, оглядывались, понижая голос. И тут — с амвона, всенародно — эти падающие, как светочи, золотые и жгучие слова! И Данила замер на хорах, оцепенев от восторга, и замерли, выпрямляясь и сдвигая брови, бояре, и, потупив очи, слушал святителя князь Василий, поминая, что и он наводил иноплеменных на родную землю.

— Не пленена ли бысть земля наша? Не взяты ли грады наши? Не вскоре ли падеша отцы и братья наша трупием на землѝ? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощены ли быхом оставшие горькою работою от иноплеменник?

Се уже сорока лет приближает томление и мука, и дани тяжкие на нас не престанут! И глады, и мо́рове. И всласть хлеба своего изъести не можем, воздыхание и печаль сушат кости наши!

Замер собор. Мертвая тишина, так что слышно потрескивали свечи, повисла под сводами. Перестали толкать друг друга, прекратились шепоты. Только голос Серапиона заполнял вышину:

— Разрушены божественные церкви, осквернены сосуды священные, потоптаны святыни, святители повержены в пищу мечам и плоть преподобных мнихов — птицам на съедение! Кровь отцов и братьи нашей, аки вода многая, землю напои. Князей наших и воевод крепость исчезла, храбрые наши, страха наполнишеся, бежали, братья и чада множищею в плен сведены.

Села наши лядиною поростоша, и величество наше смирися, красота наша погибе, богатство наше иным в корысть бысть, труд наш поганые наследовали. Земля наша, русская, иноплеменникам в достояние бысть и в поношение стала живущим о край земли, в посмешище врагам нашим. Ибо сведох на себя, аки дождь, с небеси, гнев господень!

...И ныне беспрестанно казнимы есмы, ибо не обратились ко Господу, не покаялись о беззаконьях наших, не отступили от злых обычаев своих: но аки зверье жадают насытитеся плотью, тако и мы жадаем поработити друг друга и погубити, а горькое то именье и кровавое себе пограбити.

Звери, ядше, насыщаются, мы же насытитися не можем!

За праведное богатство, трудом добытое, Бог не гневается на нас. Но отступите, братие, от дел злых и темных! Помяните честно написанное в божественных книгах, еже есть самого владыки Господа нашего большая заповедь: любити друг друга! Возлюбити милость ко всякому человеку, любити ближнего своего, яко и себя!

Ничто так не ненавидит Бог, яко злопамятства человека. Како речем: «Отче наш, остави нам грехи

наша», а сами не оставляюще? В ту же бо, рече, меру мерите, отмерится вам!

Серапион умолк, и молчал собор, потрясенный словом владыки. Он оглядел паству, добавил тише, с грустною укоризной:

— Взгляните на бесермен, на жидовин, среди вас сущих! Поганые бо, закона божия не ведуще, не убивают единоверных своих, не ограбляют, не обадят, не поклеплют, не украдут, не заспорят из-за чужого. Всяк поганый брата своего не предаст, но кого из них постигнет беда, то выкуплют его и на промысел дадут ему, а найденное в торгу возвращают, а мы что творим, вернии?! Во имя божье крещены есмы и заповеди его слышаша — а всегда неправды исполнены, и зависти, и немилосердия. Братью свою изграбляем, в погань продаем, кабы мощно, съели друг друга!

Окаянный, кого снедаеши? Не таков же ли человек, яко же и ты? Не зверь есть, не иноверец, такой же русин и брат твой во Христе! Или бессмертен еси? Или не чаеши суда божия?

Молчали. Иные утирали слезы. Долог путь от слова к сердцу и от сердца к деянию. И сколь легче откупиться от совести свечой, вкладом или иным приношением, чем жить по завету Христову, по завету братней любви!

Но блажен народ, у коего есть святители, могущие сказать слово, и блажен тот, кто услышал слово в юности, когда ум и душа открыты правде и слово падет не на камень и не в пучину морскую, а на ниву благодатную и, рано или поздно, произрастет в ней семенами добра!

Два мальчика, один внизу, другой на хорах собора, поверяли сейчас свою совесть по слову святителя, отметая благие порывы от дел, и дел оказывалось совсем немного, много меньше, чем хотелось тому и другому. Просветит ли им за жизнью, с ее бедами, трудами и прельстительными радостями, днесь услышанное слово, даст ли оно плоды добрые, и когда, и как?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 26

Семейная жизнь не заладилась у Андрея. Вспышки страсти перемежались ссорами, когда Феодора холодно молчала, упорно отводя непроницаемые глаза, а князь в

гневе пушил слуг или кидался на конь, носился по полям, загоняя скакунов и себя бешеною охотой. Однако с тестем они сошлись. Давыд умел не замечать капризов старшей дочери, а князя увлекал далеко идущими планами, которым Андрей внимал все с большим и большим интересом.

Сразу после свадьбы, и еще до смерти великого князя Ярослава Тверского, Давыд Явидович и повез его в Ростов, сперва одного, а потом с молодой женой, прихватив и вторую свою дочь, Олимпиаду, только-только еще выходившую из детского возраста.

Ростов являлся некогда старейшим градом Владимирской земли, и князья ростовские поднесь пользовались особым уважением среди потомков Всеволода Великого. Память прошлого величия, а такожде древние споры о старшинстве и старинная, дедовская обида отделяли их от прочих Всеволодичей. Некогда старший сын Всеволода, Константин, вопреки воле родительской, «не восхоте оставить Ростова», и Всеволод, опалясь на первенца, передал великокняжеский престол второму сыну, Юрию. Константин, оставшийся в Ростовской земле, по словам летописца, «воздвиже брови своя с гневом» на советников отца и вскоре после смерти Всеволода, в 1216 году, в грозной сече на Липице наголову разгромил соединенные войска братьев, Юрия с Ярославом, воротив себе княжение владимирское.

Спор, впрочем, стал уже стариною глубокой. Константин умер, не просидев на великом княжении и трех лет. Свою волость, Ростовскую землю, куда входили Ростов, Ярославль, Углич и Белозерск, он оставил детям, Васильку, Владимиру и Всеволоду (и те вскоре разделили ее на три удела), а владимирский стол перед смертью воротил Юрию, заповедав сыновьям во всем слушаться дядю. Почему он так сделал? По лествичному счету это было правильно: младший брат наследует после старшего. Но самому же ему пришлось отстаивать это право оружием — поизветшала великая киевская старина! Каждый князь старался оставлять добытое в роду. Возможно, Константин предвидел, что Юрий с Ярославом не успокоятся (а дети были еще малы, старшему, Васильку, сровнялось только девять лет), и, избегая кровавых ужасов, решил уступить сам. Или, взвесив все и глядя на мир сквозь мудрость веков, взвесив и примирясь, счел право выше силы; или просто устал от борьбы, от глухой враж-

ды бояр, соболезнующих Юрию, и махнул рукой... Впрочем, иногда глубокая мудрость нужна именно для того, чтобы поступить самым простым образом.

Ныне все, кто тогда ревновали о власти, умерли или погибли под саблями татар. Юрий, воротивший престол после смерти Константина, бесславно погиб на Сити, умер и Ярослав Всеволодич. Из ратников, которые дрались на Липице вкупе с Константином и видели его, высокого, с порозовевшим лицом, упрятанным глубоко под высоким граненым шеломом, в час, когда новгородские пешцы пошли на приступ, пометав шубы и сапоги, и когда он, оглянув из-под ладони поле боя, веселым голосом бросил: «Спаси Бог, надо помочь этим добрым людям!» — и сам, с дружиною, врубился в разрушенный новгородцами строй Юрьевых полков, довершая разгром суздальской рати,— из тех воев теперь, через полвека, мало кто и остался в живых. Лица деда не помнили ни Борис, ни Глеб, родившиеся много спустя после его смерти, ни невестка, вдовствующая мать ростовских князей, вышедшая замуж за Василька, когда Константина уже не было на свете. Лишь старик книгохранитель в Ростове помнил старого князя: сухощавого, с высоко возведенными бровями на длинном, с нездоровою желтизной, породистом лице, когда он, кутаясь в бархатный, подбитый соболями охабень, сиживал в княжеской книжнице, перебирая свои рукописные сокровища и, слегка шевеля губами и далеко отодвигая книгу от дальнозорких глаз, читал про себя, по-гречески, еллинских древних мудрецов, труды Хорикия, Оригена или отреченные церковью сочинения Ария.

Библиотека Константина, огромная, в тысячу томов, и поднесь вызывала уважение всех просвещенных людей от Киева до Новгорода. Здесь было собрано старым ростовским князем чуть ли не все, что могло быть в ту пору на русском, греческом, а также еврейском и латинском языках: полное собрание библейских книг, жития и поучения отцов церкви, сочинения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Назианзина, Палладия, Феодорита, Григория Нисского, Афанасия Александрийского, Синесия, Иоанна Дамаскина, Фотия, Евгениана и других; хроники, труды Пселла и Константина Багрянородного, Геродота, Фукидита и Ливия; отреченные писания еретиков, проклятых на Соборах, русские летописи, начиная от творения божественного Нестора, проповеди и «слова», жития русских святых и «хождения» паломни-

ков в Царьград и Святую землю. Были тут служебники и крюковые рукописи, по которым пели в Ростовском соборе; были книги законов, сборники старых грамот и актов, пергаментные свитки с позолоченными печатями и берестяные грамоты из отдаленных уголков страны. Были книги толстые, в тисненых кожах, украшенные серебром, золотом и драгими каменьями, были маленькие, засаленные и ветхие, прошедшие через тысячи рук и через много веков, было даже несколько книг на папирусе, и одна из них с непонятными знаками-рисунками, как говорили, колдовская, сочинение древних египетских жрецов, прочесть которую уже никто не мог...

Ростов, вовремя сдавшийся Батыю, не подвергся разгрому, и библиотека Константина осталась цела. Ее растаскивали потихоньку по монастырям (во время осмотра хранилища епископом, после смерти князя, были сожжены яко отреченные сочинения Ария и богомилов), книги таяли неприметно, как тают годы спокойной жизни, но все же собрание продолжало изумлять знатоков, и Ростов теперь, после разгрома Киева, Чернигова и Владимира, оказался средоточием учености, куда приезжали книжники из иных градов и весей, где оставлялась, несмотря на разгром и запустение страны, общерусская летопись, куда ехали учиться церковные иерархи и миряне, посвятившие себя книжной премудрости...

Андрей не был в Ростове с раннего детства, и все виделось ему внове: и огромный собор, не уступающий владимирским, обвитый каменными поясами резного узорочья, с цветными мозаичными полами, блистающий золотою утварью, с драгоценными паникадилами и хоросами литого серебра; и краснокирпичная палата Константина среди просторных и затейливых расписных хором княжеского двора; и пышные усадьбы богатых горожан; и обилие часовен и храмов. То, что Ростов не был сожжен татарами Батыя, сказывалось на всем. Густое и благополучное население наполняло улицы, на торгу прилавки ломились от товаров, своих и иноземных, снедь громоздилась кучами.

Озеро Неро напомнило ему переяславское Клещино. С теми же зелеными далями, с теми же черными полосками рыбачьих лодей. Только город гуще и плотнее оступал берег. Прибрежные монастыри, казалось, вставали прямо из воды и смотрелись в свои отражения. Прямо к воде подступала городская стена, а за ней и над нею толпились кровли, кровли и кровли древнего города.

Звонили колокола. Борис Василькович хлебосольно и торжественно встречал Александрова сына. Андрей был счастлив. Тут, в Ростове, ничто не напоминало ему, что он не самый старший в семье. Не было непроходящей внутренней обиды от постоянного соперничества с Дмитрием, отравлявшей ему каждое возвращение в отчий дом, в Переяславль.

Князь Борис, красивый, статный, с чуть намечающейся сединой по вискам и на кончиках усов, встретил его на крыльце, раскрыв объятия, и приветствовал как равного. Облобызав Андрея, церемонно отступил, склонив благородную голову — пригласил в терема. Княгиня, Марья Ярославна, тоже вышла к гостю, приветила городецкого князя с веселым неотяготительным радушием. Чередою подходили дети и подростки, в которых Андрей не сразу разобрался, и, кажется, нарушал в чем-то чин встречи. Впрочем, вот этот, с холодными серыми глазами — старший сын Бориса Васильковича, Дмитрий, а тот, голенастый, с живым лицом — младший, Константин.

Андрея проводили в горничный покой и представили вдовствующей великой княгине. Престарелая Мария Михайловна, благостно-легкая, с прозрачными руками и темно-коричневыми кругами у глаз, все еще прекрасных, несмотря на высохшую шею и обострившийся, словно подъеденный временем очерк лица, также приняла князя Андрея ласково и сердечно. Приподнявшись из точеного, с полукруглой спинкой старинного креслица, она протянула ему руку, и Андрей, принявший ее прозрачные пальцы в свои твердые широкие ладони, смутился, не зная, что делать. Впрочем, старая княгиня тут же с легкой улыбкой отняла руку, произнеся несколько уставных приветственных слов.

Андрею не дали заметить его неловкость. Только уже когда городецкого князя провели в предназначенный для него покой, княжич Дмитрий, подняв холодные глаза на отца, спросил негромко:

— У Дмитрия Алексаныча, батюшка, больше вежества?

— Не надо об этом, сын! — поморщась и зябко переведя плечами, несколько беспокойно прервал его Борис Василькович.— С Андреем Санычем тебе, мой друг, когда ты станешь князем, придет иметь дело — и... и не надо, пожалуйста, не надо замечать... Будь добрей, ради... Ради меня!

Дмитрий в ответ молча кивнул и опустил глаза.

Впрочем, самолюбие Андрея щадили, и Борис Василькович мог не бояться какого-либо отчуждения со стороны гостя. Сыновья ростовского князя, и Дмитрий и Константин, были достаточно младше городецкого князя, чтобы уважать в Андрее старшего, но и не настолько, чтобы начать чуждаться, как молодежь чуждается стариков. Дети и подростки, собравшиеся вместе, затевали игры, гурьбой, с веселыми возгласами и смехом, бегали по лесенкам и переходам дворца, и от их веселой возни становилось легко и просто.

Здесь, за семейным столом в княжом тереме, Андрей лучше оценил свою молодую жену. Феодора держалась с ровным нестесненным достоинством. То, что дома порою казалось заносчивостью и капризами от вздорного права, здесь и очень пригодилось, и отнюдь не казалось церемонным или смешным. И ее гордые, чуть приподнятые плечи, царственный поворот головы, писаные дуги бровей и полуопущенные ресницы, сдержанная — больше глазами, чем ртом,— улыбка, и легкая плавная поступь, и то, как она сидела, прямо и легко касаясь скамьи, как брала, отламывая маленькими кусочками, хлеб, как свободно пользовалась двоезубой цареградской вилкой, как ела, лишь слегка приоткрывая рот, словно только отведывала и вместе опрятно, без обидной брезгливости, отдавая должное изысканным блюдам ростовской княжеской кухни, как беседовала с княгинями, как почтительно, опустив ресницы, внимала Марии Михайловне; и Андрей, глядя со стороны, узнавал и не узнавал жену в строгой красавице, чьи точеные черты по странному сходству перекликались с сухими стремительными чертами Марии. Феодора сумела очаровать старую Марию Михайловну до того, что та, расчувствовавшись, сказала Андрею наедине:

— Ну, не прогадал, племянник! Хоть и боярского роду, а норов княжеский. Мы ее полюбили! Не забывай!

Давыд Явидович тоже лицом в грязь не ударил. Держался с достоинством, не забывая, что боярин, но и не унижая себя как княжеского тестя. За столом сидел скромно, но, однако, постепенно сумел речами и рассказами расположить и к себе тоже ростовских князей и княгинь. А маленькая Олимпиада вовсю любезничала с Константином, с хохотом убегала от него, играя в горелки, и пятнадцатилетний Борисович тоже хохотал и краснел, хватая девушку за плечи.

Андрей оттаивал душой, видя, как Мария Ярославна

возится с двухлетним малышом Василием, как неложно любит и любуется она своим супругом, как и Борис Василькович отвечает ей тем же, не стыдясь на людях оказывать постоянные знаки внимания жене: подаст платок, похвалит шитье, заботливо спросит о здоровье или за обедом сам, прежде слуги, придвинет серебряную уксусницу. Брат Бориса, Глеб Василькович, был в отъезде, но маленький сын Глебов, Миша, «татарчонок» (князь Глеб был женат на ордынке), тоже находился здесь и играл, и бегал, неотличимый от прочих членов княжеской семьи.

Андрей, пока гостил в Ростове, начал понимать, как он еще груб и лишен «вежества», и тихо досадовал на мать, не обучившую его тому, что так необходимо для князя и в чем даже Феодора его далеко превосходила. Кажется, в первый день еще он, усталый с пути, оставшись вечером в покое, о чем-то с грубой заносчивостью попросил слугу-ростовчанина так, как привык дома, у себя. Тот, однако, ответил почтительно, без подлой холуйской усмешечки, и тотчас принес просимое, а принеся, замер в бесстрастной готовности услужить высокому гостю в любой прихоти. И Андрей понял, что гневаться на слуг было глупо. Их просто можно было не замечать.

Катаясь на конях с Дмитрием Борисовичем, Андрей невольно пробовал перенимать свободную легкость движений, сдержанную гордость без заносчивости, но с полным ощущением превосходства над людьми не своего круга. Дмитрий, спрашивая встречного смерда, не глядел поверх головы, как Олфер Жеребец, не чванился, но в ясном холоде его глаз читалось такое отстояние, такая бесконечная, бездонная пропасть между ним и простолюдинами, что и вежливый наклон головы, коим он неизменно оканчивал разговор, казалось, отодвигал смердов от Дмитрия Борисовича гораздо далее, чем Жеребцова брань.

Теперь Андрей и Семена Тонильевича начал воспринимать иначе и невольно отдавал дань уважения костромскому воеводе, который первым начал учить его соблюдению княжеского достоинства всегда и везде, а не только на боярском совете и в думе да на приемах послов.

Словом, поездка удалась. С ростовскими князьями завязалась дружба, тешившая самолюбие Андрея, а еще более его тестя, который верил и не верил пробрезжившей возможности пристроить свою меньшую, Олимпиаду, тоже в княжескую, да еще в такую старинную и уважаемую, как ростовская, семью.

Последний раз Андрей с Дмитрием Борисовичем, выехав верхами на прогулку, забрались особенно далеко. Они проехали Чудским концом, и Дмитрий показал место, где стоял некогда древний идол Велеса, сокрушенный тростью подвижника Авраамия.

Ехали бок о бок, и Дмитрий рассказывал, что идол, сотворенный из камени многоцветного, долго стоял у княжого двора, наконец при епископе Исайе, во время большого пожара, когда страшная громовая туча зажгла град и капище, сам вышел из своего пылающего храма и пошел по брегу, среди горящих хором, а озеро кипело у него под ногами и выбрасывало на берег рыбу.

Андрей спросил было, по какой дороге шел идол. Дмитрий показал, сдерживая улыбку. Андрей вдруг понял, густо покраснел. Сбоку, сердито, глянул на спутника. Но Дмитрий Борисович внимательно глядел в другую сторону, узя глаза, и небрежно прибавил: «Так бают!» — разом отрекаясь от древнего сказания, в истину коего христианину, да к тому же князю, верить было бы зазорно. Они миновали городские ворота, последние избы окологородья, и по полого вьющейся вверх дороге углубились в поля. Дружинники ехали много сзади, чтобы не мешать беседе князей.

Перед ними возвышалась роща раскидистых древних дубов. Зеленые облака листвы тяжелыми массами вздымались ввысь, птичий щебет и пронзительный свет солнца, полуприкрытого тяжелым клубящимся грозовым облаком, наполняли вершины дерев. Впереди и чуть отступя стоял неохватный великан, протянув в сторону из своей зеленой ризы две огромные сухие и зловеще извитые ветви, словно громадные руки, задранные вверх.

— Велесов дуб! — сказал Дмитрий все тем же насмешливо-торжественным тоном, каким только что повестил старинное предание.

Тут и Андрей увидел развешанные на ветвях какие-то тряпочки, увядшие и свежие венки и несколько конских черепов, добела отмытых дождями и солнцем. А когда подъехали ближе, то от темного пятна на траве под дубом потянуло к ним тяжелым духом свернувшейся крови и изумрудные мухи потревоженно загудели в воздухе.

В этот миг солнце зашло за тучу и листва потускнела.

— До сих пор?! — удивившись, спросил Андрей. Привыкнув к языческим требам у себя, под Городцом, он не ожидал, однако, что такие же радения справляют столь

близко от города, где уже почти три века воздвигнут епископский престол.

— Да, и требы служат Велесу! — надменно подтвердил Дмитрий. Они шагом подъехали к дубу и остановились под его сенью, глядя, как далекий дождь косыми столбами медленно волочится по земле и озеро белеет под ним, словно закипевшее молоко.

— Владыка Игнатий не единожды покушался срубить эту мерзость. Но отец воспретил,— уронил Дмитрий.— Бает, хватает нам и ордынских забот! Смердам не объяснишь, что с ханом опасно спорить. Татарского выхода никто из них не желает платить. Уже не раз собиралось вече, от отца требуют разрыва с Ордой.

Он усмехнулся, глядя на далекий город отвердевшим взором холодных княжеских глаз.

— Я не признаю́ воли веча! — медленно произнес он. В этот миг Дмитрий казался гораздо старше своих семнадцати лет.— Батюшка полагает, что прежде достоит просветити малых сих... А по мне — что может понять эта меря, которая о сю пору молится древиям и камням? Смерды! Трава, не ведающая ни путей грядущего, ни прадедней славы! Власть — свыше. Князь должен мочь все и не глядеть на... малых сих.

В голосе Дмитрия вновь прозвучала снисходительная сдержанная усмешка.

— Трогаем! — прибавил он, помолчав.— Дождь миновал.

Они выехали опять на вьющуюся полевую дорогу. Гроза, и верно, прошла стороной, едва прибрызнув пыль на дороге. Лиловая туча свалилась за город, а под нею золотистою желтизной вновь загорался далекий окоем. Дышалось легко и молодо, как бывает после грозы. Тяжелые хлеба клонились долу, освеженные ветром и влагой. Вдали, за хлебами, вставали, приближаясь с каждым витком пути, башни и купола ростовских церквей...

Мария Ростовская, старая княгиня-мать, умерла на следующий год. Хоронил ее и сидел у постели Борис Василькович. Глеб в это время был в Орде.

Умирала она в полном сознании. Борис, когда мать после недолгого сна открыла глаза и сказала: «Скоро уже!» — зарыдал, как ребенок, ткнувшись лицом в материну сухую грудь. Мария с усилием подняла холодеющую руку и благословила сына. Умирающая, она утешала его, живого.

С нею кончалась целая эпоха, эпоха величия, гордых

деяний и славы, время, когда возводились белокаменные соборы, росли города, множились книги и заселялась земля. Время, ставшее развеянным дымом, ставшее звуком угасшей былой старины. Еще доживали люди, воспитанные и выросшие тогда, и люди эти были значительнее, богаче духом людей новых, пришедших на смену им. Почему же они не удержали власть? Почему согнулись, сломались, почему, в раздорах и усобицах наводя поганых на землю Русскую, погубили сами себя? Почему же все, что сумели они завещать своим детям, это только хранить внутри себя память и веру старины, а вовне — склоняться и не спорить с тем, грубым и страшным, что пришло и прошло по земле победным смерчем и развеяло славу прошлых времен по ковылю степей...

Горе детям великих отцов! Могут ли они, не отведав величия прадедов, сохранить память о нем и пронести через свою жизнь? Да и можно ли сберечь хоть что-нибудь, склонясь и не споря? Рука умирающей матери бессильно падает на постель. Сын продолжает рыдать...

ГЛАВА 27

У Давыда Явидовича с Жеребцом хватило ума не ввязывать своего князя в усобицы, поднявшиеся со смертью Ярослава Тверского и вокняжением Василия Ярославича. Земля, наконец, успокоилась, и вскоре, стараниями митрополита Кирилла, состоялся церковный собор. Помирившиеся Ярославичи съехались во Владимире. Дмитрий приезжал накоротко, почтить митрополита и урядить с дядей Василием. Андрей задержался дольше.

Так же, как и все, Андрей слушал нового владимирского епископа Серапиона и был потрясен его проповедью.

С Семеном Тонильевичем, который нынче перебрался во Владимир и вершил делами от лица своего князя, Андрей встретился через несколько дней.

Костромской воевода забрал нынче великую силу. Он выезжал пышно, всегда с дружиною, в окружении бирючей и холопов, вызывая зависть всех прочих владимирских бояр. Злые языки говорили о его пристрастии к мальчикам, перечисляли богатства костромского боярина, якобы присвоенные Семеном из сокровищ великокняжеского двора, а также привезенные после грабежа Новгородчины.

Князя Андрея Семен встретил со спокойным достоинством, словно расстались вчера. Когда от первых обрядовых приветственных слов перешли на личное, посочувствовал домашним бедам городецкого князя. Феодора уже дважды была на сносях и дважды рожала мертвых детей. Расспрашивая, осведомился о Жеребце. Андрей был во Владимире с Давыдом Явидовичем, который сумел-таки выдать Олимпиаду за Константина Борисовича Ростовского и нынче был в силе. Тесть двух князей, он сильнел, покупал земли, богател и строился. Жеребец же в последний год стал что-то сдавать здоровьем, а нынче и вовсе расхворался, чуть не впервые в жизни, и потому во Владимир не поехал — послал сына Ивана.

Все эти новости, впрочем, не столь уж и интересовали Семена. Гораздо больше его занимал сам Андрей. В Василии Костромском Семен успел окончательно разочароваться. Перейти на службу к Дмитрию ему не позволяла гордость, да он и понимал, что Дмитрия не придется водить за собой на поводу. Он же хотел для себя свершений и дел. Даже не почетного места в думе великокняжеской, чего хватило бы какому-нибудь Давыду,— нет! Ему мечталось возродить роскошь владимирского двора, быть может — объединить Орду с Русью, дерзать и творить, самому стать новым Олегом при Игоре... А для того князь ему нужен был честолюбивый и жадный к власти, но неспособный обойтись без его, Семеновой, головы, без его замыслов и знаний. Покойный Александр пренебрег Семеновой помощью. Что ж! Невский мертв, а он, Семен, и жив, и набирает силу. Василия Костромского, «квашни», увы, хватило лишь на то, чтобы забраться на владимирский стол. Мельчающие ростовские князья тоже не годились для дальних Семеновых замыслов... Таким мог стать Андрей Городецкий, и, пожалуй, раз уж не получилось с Василием, только один Андрей.

Семен Тонильевич пригласил Андрея к себе. Щадя его самолюбие, извинился, пояснил, что у него в хоромах спокойнее поговорить без лишних ушей и глаз, чем на великокняжеском подворье, битком набитом по случаю съезда.

Он как-то сумел тотчас сбросить излишнюю важность. Кликнул холопа-ордынца, внесшего кувшины и блюда, умеренно посуетился, отпустив холопа, сам расставил вино и закуски, сам притворил дверь в тесный, богато убранный покой, весь устланный и завешанный бухарским ковром, с набором великолепных восточных клин-

ков по стенам. Андрей рассматривал клинки, узоры на стали, драгоценные рукояти, клейма мастеров и совершенно влюбился в один кинжал, который хозяин сперва повесил обратно на стену, рассказав его родословную: от кого и к кому переходил этот кинжал, побывавший у двух шахов и нескольких эмиров, и как закаляют подобные лезвия, погружая в тело здорового раба, так что уже при своем рождении кинжал отведал человеческой крови и стоил одной жизни. А в конце беседы, уже провожая князя, Семен незаметно снял кинжал со стены и вручил, с легким небрежным жестом, улыбнувшись: «Больше нечем!» — словно извиняясь за ничтожность подарка.

Андрей к двадцати пяти годам сумел многому научиться и теперь вспоминал свою давешнюю застенчивость со снисходительной усмешкой. Ему теперь было очень интересно встретиться с Семеном и уже самому хотелось о многом расспросить костромского воеводу.

Семен несколько сдал за протекшие четыре года. Лицо покрыла легкая желтизна, стали заметны отеки под глазами, уже явственней проглядывала седина на висках. Движения, по-прежнему плавные, как у большого барса, стали еще мягче, словно бы осторожнее.

Они коснулись проповеди владимирского епископа, о которой в эти дни, не переставая, только и твердил весь город.

— Владыка Серапион для простецов! — ответил Семен, чуть заметно пожимая плечами и хмурясь.— Честно говоря, я больше люблю слог Кирилла Туровского: «Днесь весна красуется, оживляющи земное естество: бурные ветры, тихо повевающе, плоды умножают, и земля, семена питающи, травы зеленые рожает. Ныне вся доброгласныя птица славит Бога гласы немолчными...»

Семен приостановился, как бы сам с удовольствием вслушиваясь в драгоценную словесную ткань знаменитого проповедника прежних времен.

— Это все так, так! — перебил он досадливым движением руки, когда Андрей пытался возразить, что проповедь Серапиона взволновала всех не столько красотою слога, сколько мужественным словом о бедах земли.— Мыслю, однако, доживи такой проповедник, как Илларион или Кирилл Туровский, до наших дней, его слово о бедах Руси прозвучало бы еще полнозвучней...

Семен вновь приодержался и нахмурил брови.

— Но есть иное, о чем можно говорить лишь избранным. Тайна власти! Беды и скорби, ордынское иго —

посланы нам за грехи?! Богом, значит, допущены и гибель детей, и глад, и разорение храмов — все то, о чем глаголал Серапион,— и запустение сел наших, и горький плен, и прочая, и прочая? Бог не только милует, но и казнит, и этим он выше Христовой заповеди о любви, им же самим данной человецем. Всякая кара есть насилие, и насилием является всякая власть! Но ведь земная власть — от Бога?!

Семен стоял, выпрямившись, и сейчас казался уже не пардусом, а византийским вельможею. Взгляд его был высокомерен и презрительно мановение руки, коим он отодвинул невысказанные слова возможных возражений:

— Божественности власти никто и никогда не опровергал. Никто! Лишь несмысленые скоты, гады и птицы пребывают в безвластии! Но ежели есть разум человеческ, уже есть и власть! И спорят лишь о том — какая власть? Кесаря, дуки, хана, шаха, римского папы, князя, короля или посадника, как в Новгороде? Но в безвластии не может жить человек ни в дому своем, ни в роде своем, ни в княжестве, ни в земле! Божественность власти — закон, данный Господом. И всякому властителю от Бога же дано право карать. Взгляни! Право суда, и самого тяжкого суда — за убийство, татьбу, грабление — дано князю! Каждый смерд в душе своей понимает, что не можно право суда и казни вручить такому, как он, соседу или сябру своему, что должен быти судья, и судья строгий и немилостивый. И Господа нашего называют судией!

Что держит княжества и царства, что съединяет? Могли бы вот эти вшивые смерды сами одержать землю, когда они и в едином граде не могут поладить друг с другом? «Не ведуще, иде же закон, тут и обид много».

Что собирает народы? Вера! И власть! Владимир Святой повелел, и вот: повержены идолы, смерды крещены, и стала Великая Русь!

Властью кесарей поднят Рим, властью греческих басилеев стоит разноязычная Византия!

— Да, быть властителем,— продолжал Семен с мрачною страстью,— значит, быть Богом! Для властителя нет воздаяния за грехи. Каин убил Авеля и положил начало роду людскому. Власть рождена братоубийством. И Владимир Святой убил старшего брата, Ярополка, и Чингис, покоривший мир, еще в детстве совершил братоубийство. К власти всегда идут через преступление. В борьбе познаются достойные власти!

Взгляни и помысли! Кто обвинял властителей за

убийства и казни? Обвиняют лишь за неудачи, за слабость, за поражение в бою. Лишь слабости не прощали властителю никогда!

Ты думаешь, княже, власть легка? Вот, смотри сюда! Это греческая книга о деяниях басилея Алексея Комнена...— Семен быстрым движением поднял и перелистал проблеснувший золотом и пурпуром фолиант.— Вот здесь! Это не битвы, не подвиги в ратном строю, нет! Это ежедневный и еженощный труд царя, когда ему приходилось словом смирять болтливых и суетных наемников своих. Да! Он восседал на золотом престоле. Да, казалось, он был в величии славы своей! Так вот: «Вечеру сущю, Алексей, не снидавший хлеба, ни пития целый день (ибо сидел на престоле и непрестанно глаголал!), подымался с трона, дабы удалиться в опочивальню, однако и здесь к нему шли чередою наемные вожди... И как кованное из бронзы или каленого харалуга изваяние, еженощно стоял басилей с вечера до полуночи, а нередко и до третьих петухов или даже до ярких солнечных лучей. Все остальные, не выдержав усталости, переменялись, уходили на отдых и возвращались вновь, и лишь один царь мужественно выносил этот труд... Коими глаголами возможно описать его долготерпение?»

Любой смерд,— да что смерд! — любой боярин не выдержал бы и дня сих царственных забот, пал бы в ноги, моля освободить, отрекаясь от славы и почестей...

Семен медленно закрыл тяжелую книгу и бережно положил ее на аналой.

— Царьград пал только из-за разномыслия кесарей! — прибавил он, помолчав. И страстно произнес: — Но тысячелетие власти! Но весь мир, завороженный величием града Константина! Но еллинская мудрость, Аристотеля и Платона и иных мудрецов, сохраненная Византией доднесь! Но знание, книги! Свет истинной веры, пролившийся на тьмы и тьмы! Дела и писания святых отец: Григория Назианзина и Василия Великого, Иоанна Златоустого и Иоанна Дамаскина и иных многих! Но драгоценная утварь и ткани, и храмы, и сама неземная София, со сводом, что повторяет небесный, словно парящим в аэре, где камень, одушевленный именем Бога, потерял плоть и вознесся в зенит! Но слава Византии! Но зависть народов! Но палаты кесарей, коим нет сравнения на земле! Во всем мире порфирородный значит царственный, порфирою же называется палата цареградского дворца, в коей рожали царицы будущих царей и царевен... Еще и

теперь, едва возрожденный после гнусных грабежей и погрома варваров, град Константина остался столицею мира для многих и многих...

— Вот почему,— сказал Семен сурово,— и нужен златой престол, и пышность, и божественная красота палат, и трон, в небеса воздымаемый, и львы у престола, и ужас, внушаемый черни!

Семен помолчал и вдруг улыбнулся Андрею:

— Поэтому я и тогда, при первой нашей встрече, не мог позволить себе быть равным с тобою, чего ты тогда хотел по некоему юному неразумию! Ваш батюшка, великий князь Александр Ярославич, это понимал.

Семен умолк, и тишина продолжала звенеть.

— Но как узнать,— спросил Андрей хрипло,— но как узнать, достоин ли ты власти?!

— Единственная мера — успех,— холодно ответил Семен.— Пригоден ли сеятель, судим по ниве и плодам ее. Недостойный власти гибнет, как погиб Святополк Окаянный или рязанский князь Глеб, зарезавший братью свою и впавший потом в безумие от страха содеянного...

У Андрея голова горела, словно от вина: «Значит, нужно не ждать власти, а драться за нее?! Так вот он какой, Семен Тонильевич!.. Но имею ли я право на власть? Проверится успехом... А ежели нет? А отец? Каким был отец? А Русь? Земля, гибнущая от княжеских раздоров?»

Заранее краснея, боясь узреть холодную усмешку Семена, Андрей все же задал этот вопрос. Но Семен лишь мягко улыбнулся и ответил с неожиданной простотой:

— Но ведь и я в конце концов хочу не войны, а единства Руси во главе с сильным князем! Слабые — погубят раздорами и себя и землю. Пусть уж лучше русичи режут не друг друга, а вкупе с Ордой кого-нибудь на стороне!

Последние слова он произнес, провожая Андрея, уже на пороге.

ГЛАВА 28

И снова они стоят, хоронясь за стеной сарая, и капель, теперь уже весенняя, опадает с мохнатой кровли чередой прозрачных звонких колокольчиков. Ему и ей кажется, что прошло невесть сколько времени, и девушка, чуя перемену в Федоре, вздрагивает, молча, послушно отдавая себя, свое тело его рукам. Он поднимает за подборо-

док ее склоненное лицо, долго смотрит на расплывающиеся в весенних сумерках черты, широко расставленные, пугливо убегающие от него глаза, короткий широкий нос, припухлые, словно вывороченные, большие, темно-вишневые губы.

— Телушка моя! Ярочка! — шепчет он, задыхаясь.— Коротконосая моя!

Он наклоняется к ней и целует долго-долго, взасос, словно бы и этому научился во Владимире. Губы у нее сочные и мягкие и теплой дрожью отвечают на поцелуй. Иногда, когда Федор уже совсем переходит всякую меру, она просит:

— Не нать, Федя, Федюша, милый... Соколик, не нать!

У него кружится голова, и он с трудом на минуту отрывается от девушки, и опять его руки тянутся к ней, к ее телу, и губы к губам, и ее мерянское, широкоскулое, с полуприкрытыми глазами и распухшими темными губами лицо откидывается, прижимаясь к его лицу, и два дыхания опять надолго сливаются в одно...

Небо уже начинает светлеть и четко отлипать от земли, от мягко изломанной череды княжеских кровель, когда он, стараясь не скрипнуть дверью, пробирается домой. Мать таки просыпается, хрипло окликает его с лавки:

— Федюха? — и ворчит, укладываясь на другой бок: — Полуношник-то, осподи! Щи в печи оставлены, поешь...

Она засыпает. А Федя, в котором разгорается волчий голод, нашарив в темноте горшок, ложку и прибереженный для него кусок хлеба, жадно ест, сдерживаясь, чтобы не расхохотаться или не начать прыгать от счастья, а потом пробирается в клеть, лезет под полог, осторожно отодвигая разметавшуюся сонную Проську, и, натянув на себя край шубы, валится в мгновенный, каменный сон.

С утра Федор запрягает Серка, отправляясь возить овершья. Нога привычно помогает затянуть хомут, пальцы продергивают в клещи хомута конец супони и закрепляют отцовым, никогда не развязывающимся узлом, руки привычно подтягивают чересседельник, покачивают оглобли, проверяя запряжку, ладони оглаживают морду коня и несут сено в сани, а в голове — солнечный цветной туман, и тепло мягких вишневых губ, и гибкое податливое движение тонкого стана девушки, и ее горячее дыхание у лица...

В сереющих сумерках знакомая, в лужах воды, тро-

пинка на Кухмерь. У огорожи переминается девчушка в платке:

— Федька!

Он узнает сестренку любимой. Что-то случилось, верно, послала сказать.

— Федька, бяжи, наши парни тебя бить хочут!

— Ладно, сама бяжи!

Ноги противно слабнут, и сердце толчками ходит в груди... На беседе, конечно, одни кухмерьские парни, девок почти нет, криушкинских всего трое, а княжевский один — те не вступятся. Кое-кто уже хватил хмельного. Федя проглатывает упрямый комок — только не робеть! Парни, неприметно окружив его, начинают задираться.

— В Володимери был, чего привез? — громко спрашивает рыжий Мизгирь.

— Свово московська князя видал, поди? — раздвигая парней, глумливо осведомляется Петюха Долгий.

— Видел, ходили с им! — как можно тверже и спокойнее отвечает Федор.— А вот, коли хочь знатьй, дак я в собори был, Успеньском, епископа нового слыхал!

— Какой такой пискуп?

— Серапион. Из Киева. Он когда говорит, дак в собори тишина, слыхать, как свечи трещат. А там народу — тут со всех деревень собрать, половины не будет!

— Погодь! — Мизгирь надвигается на Федю, обнимая Петюху за плечи. «Погодь» сказано одновременно и Феде и Долгому, который уже начинает учащенно дышать, как всегда перед дракой.

— Чего он баял-то? — спрашивает Мизгирь. («Сейчас начнут»,— думает Федор, подбираясь.) Он отвечает сурово:

— Про татар, как нашу землю зорят, и про все про ето!

— В церкви?! — ахает кто-то из парней.

— Врешь! — рубит Мизгирь.

Федя бледнеет от обиды уже не за себя, за Серапиона.

— «Поля наши лядиною заросли, храбрые наши, страха наполнившеся, бежали, сестры и матери наши в плен сведены, богатство наше погибло и красота и величие смирися!» — говорит он, и голос его, поначалу готовый сорваться, крепнет и уже не дрожит. Федор, приодержавшись, заносчиво смотрит на Мизгиря (сейчас он уже совсем его не боится) и звонко режет в ответ: — Мне таких слов и не выдумать. Вот!

В парнях движение. Кто-то сзади:

— Как у нас словно, когда «число» налагали!

— Постой! — Мизгирь, морщась, кидает в толпу несколько мерянских слов.— Да ты говори, говори! — подторапливает он Федю уже без прежней издевки в голосе.

— Все, что ль, сказывать? — спрашивает Федя, строго оглядывая ребят. Он еще ждет подвоха, да и они не решили, отложить ли им расправу над Федором или нет, но Сенька Тума деловито решает за всех:

— Вали поряду!

И Федя начинает поряду: про то, как епископ сначала срамил владимирцев за сожженную ведьму и за грехи — что в церкву ходят, а то же и делают одно старо-прежне, словно бы и не ходили совсем; и про гнев божий, наславший немилостивую рать татарскую, и про заповеди Христовы... Его перебивают, горячатся:

— Колдунов не знашь! Лонись Ильку утопили!

— Сам утоп!

— Нет, не сам!

— Сам!

— Окстись! Марья Кривая чегось-то иcделала ему! И все говорят, что она! Боле и некому!

— Как свадьба, дак тут они и шевелятся, у церкви на папёрках, бегают, редкой свадьбы не бывает, чтобы не испортили кого!

— А кто сильно верит, тому не сделают! Ничё!

— Сделают!

— Не сделают!

— Деда Якима знал? Нет, ты скажи, знал? Кого ему сделали?

— Дак он ко всякому делу с молитвой!

— То-то!

— Деда не тронь! Он б-б-божественный был д-дед!

— Ты постой, ополоснись холодянкой.

— «Кости праведных выброшены из гробов» — это как в Переяславле было, говорят, когда Батый зорил...

— Согрешили...

— Про грех и наш поп ягреневский бает!

— Постой!

— «Кто резы берет»... Чего тако резы?

— Ну, лихву, не понимашь! Взаймы под рост серебро дает!

— Дак и етим, как разбойникам?

— В одно уровнял, что тать, что лихоимец! Вот ето верно! Одна масть!

— Кто ворует...

— А нужны дела, а не слова! Стало, и того ся лишить!

— Он всех назвал, и любодеев и пьяниц!

— Я не п-пьян!

— Не пьян, не пьян, ложись только!

— А я во-в-в Владимир-р не ездил!

— Плесни ему, вот так, за ушами потри!

— Ну?!

— И там дальше: князьям и всем, что друг друга зорят, имение отбирают.

— Вот, как и у нас с вашими, княжевецкими, из-за покосов!

— А скажи нет, скажи нет! Ведь вы наши пожни отóбрали!

— Первая заповедь: возлюбить друг друга — самая главная. Быть един язык, един народ.

— Ну, мы тут меря!

— А тоже православные, поп-то один! Что в Ягреневе, что в Княжеви, что тут!

— Ну, постой...

— А и верно, дядя Микифор баял: в Орде у их нету воровсьва, промеж собой татары честные...

— Ну, хорошо! А дале, еще чего баял ли?

— И все? Возлюбить друг друга, а тогда само, что ли...

— Нет, скажи! Вот теперича, ежели и наши бояра — дань-то берут!

— А разница есь! Кому и помочь... Может, и так и едак. Вот, Фофан был: надо баранов. А овца не ягнилась еще, у матки. Дак он завсегда подождет! Всего и пождать-то каких недели три, может, пять. А иной: давай — и никаких! А в Орду мало ли наших угнали?

— Посбавить бы дани... Ну, скажем, нельзя. Татарам да своим много нать, а только ты посочувствуй своим-то, своих не зори!

— Ну, спасибо, парень. Как звать-то пискупа? Серапион? Он на Владимир, Суздаль, Нижний... Не у нас! А то бы послухали когды!

— Гуляй! Мы ведь тебя бить хотели...

— Знаю.

— Отколь?

— А понял.

— Ты не серчай!

— А с чего...

— Мы когда и подеремсе, помиримсе. Все свои!

Мизгирь хлопает его по плечу с маху, так, что Федора

чуток перекашивает. Все же дает понять, что было бы, начнись драка, а не разговор...

Федор возвращается домой вприпрыжку, радостный и гордый собой, и уже слегка досадует, что не подумал рассказать о слышанном в Володимере заранbше: не для него ж одного говорил все это епископ Серапион!

ГЛАВА 29

Серапион Владимирский умер в исходе того же года. О смерти епископа походя сообщил Грикша. Возили снопы с поля, и у Федора не было даже времени, чтобы присесть и одному, в тишине и одиночестве, пережить и обдумать известие, а было так на душе, словно бы погиб кто-то из родных или очень-очень близких людей.

В это лето дядя Прохор записался в деревенскую вервь, взял надел и стал крестьянствовать.

— В походы боле не пойду, ну их! Своих зорить — ето не дело. Да и от хозяйства не будешь так отрываться...

Мужики — кто одобрял Прохора, иные качали головами. Приезжал боярин, спорил с Прохором — не переубедил.

— Детей не держу! Пущай сами решают, как способней. А беда придет, и нас, мужиков, воспомянут! Так-то, Гаврила Олексич!

Прохор вышел проводить сердитого боярина во двор, поддержал стремя. Следил, усмехаясь, как тот едет со двора. Кирпичный румянец плитами лежал на щеках Прохора и был словно гуще, чем всегда. Прямые светлые брови совсем нависли над глазами, и непонятно было, то ли с издевкой, то ли с горечью смотрит он боярину вслед.

Мать Прохора не одобрила:

— По его уму-разуму дак в воеводах быть али при казне сидеть при золотой, а он эвон что учудил! — Помолчала, продергивая ряд в мережке: — Ходу ему не дают, вот что!

С любимой Федя встречался урывками. Как-то во время страды она заскочила к нему на телегу. Лошадь сама свернула в кусты... Девушка была вся горячая от солнца, работы, и пахло от нее хлебом и солнцем, как и от снопов.

— Ты поговори с матерью, Федя! — просила она. Федор отводил глаза:

— Пока не велит. Хлеб не вывезен, да...

С матерью он говорил еще прежде. Сжав рот, она отмолвила:

— И думать не смей! Кухмерьская родня!

— Ведь бабушка была с Кухмеря.

— Бабушка была, а я не велю! Кто мы, и кто они! Мужичек и без ней хватает! Ни хлеб не вывезен, ни коня — какой ты жених?! В дом не приму, а выделить нечем. Едва поправились! Глень, старший брат не женится! Дак тебе и непочто!

Подходила осень, и встречаться становилось все трудней и трудней.

Как-то они не виделись близко месяца. Федор уже начал запрягать Рыжего. Конек был резвый и в запряжке ходил хорошо. Тут он по первой пороше поехал за сеном. Она ожидала его за околицей, повалилась в сани. Федор сполз к ней. Рыжий шел, кося глазом.

— Что ты делашь со мной?! Батя ждать не будет, отдадут не за любого!

Она плакала злыми слезами, широкие губы кривились от рыданий. Федор целовал, стараясь не давать ей говорить, с яростной горечью...

После она лежала, откинувшись. Рыжий едва шел, и Федор сам удивился небу, елкам, сорокам — тому, что все было так обычно, как прежде.

— Ну, коли затяжелею от тебя, утоплюсь! — сказала она без выражения. И Федя, похолодев, понял, что она может решиться на все. Что же делать, что же делать-то?!

Он еще раз попробовал уломать мать, но было бесполезно. Признался, отводя глаза.

— А и непочто! Сама себя обмарала, дак ейна и печаль, никто и не неволил!

— Чего исделает над собой...

— Другие гуляют, дак не делают! Мир выделит девке избу да корову! Моего совета нету! И не проси. Какой ты мужик?!

Зима проходила, и уже вновь начинало подтаивать...

Приезжали сборщики. Грикша выручил немного серебра со своих монастырских дел, они сумели отдать долги. Хлеб можно было нынче придержать до весны, до новгородских лодейных купцов. Тем горчее был для Федора материн запрет. Он пробовал говорить с Грик-

шей, но тот без труда отверг все Федины путаные доводы:

— Это тебе сейчас кажет, что все только и есть в ней одной.. Правильно, правильно, так и думай! И еще будет, и тоже снова одна, единственная, ненаглядная... Жизнь проще и трудней. Ну хочешь, пишись в мужики... Только ты сам не захочешь! Тебе вон в Новгород да в иные земли... Ну все понятно, понятно! А будут у тебя дети, ты тоже им не позволишь безо времени. Вот возьми нашу Просинью. Отдашь ее за кого попадя? Да, да, мать злая, она тебе гибели хочет! А ты забыл, как она нас тянула? Мы с тобой грамотные! И что ей от нас теперь?

Брату возразить было тоже нечего.

Мели метели. Федор в эту зиму подрядился за Переяславль, возить тес.

Прощались украдом. Девушка отворачивалась, все не глядя на него, изредка шмыгала носом.

— Ничо! Езжай! Ничо не будет! Я к Кузихе ходила. Ладно. И ты прощай.

Так они и расстались до весны.

К севу Федор воротился. Встретились холодно. Перемолвили парою слов. И чуть было так же холодно не расстались, но прорвало:

— Федя! Милый! Возьми меня, увези! Пущай, куданибудь.. Как хошь, не могу больше! — Она ревела, вдруг повалилась ему в ноги. Федор, потрясенный, поднял ее, обнял. Ее всю шатало от рыданий.

— Куда я тебя увезу! У меня ни коня, ни двора...

— В Новгород, ты баял, во Владимир, ты всюду бывал...

Как-то около Петрова дни ему встретился Козел. Федор по просьбе брата гонял в Никитский монастырь и возвращался верхом. Козел тоже был на коне и в новых сапогах с загнутыми носами, которые он, красуясь, широко расставлял в стороны. Козел явно преуспевал. Федя с интересом оглядывал приятеля, с которым не встречался уже с полгода. Козел подрос, раздался в плечах, хоть и был по-прежнему мелковат. Сплевывал, стрелял глазами.

— Ну как?

— Да ничо! Житуха справная! Ты как? Не женился еще? А наши болтали...

Федор поспешил перевести речь на другое. Уже когда разъезжались, Козел остановился:

— Да, слушай! Слыхал: великий князь из Орды воротился?

— Василий Ярославич?

— Ну!

— Не слыхал. А он когда ездил-то?

— Зимой. Ничо не знашь?

— А чего знать-то?

— А то! В Орду наших зовут!

— Князей?

— Нет, всех, ратных всех, на войну! Разве не слыхал? На ясов, ни то аланов. Не знай, как и звать! Далеко! За Черные пески!

— Ну и чего... Ты пошел бы?

— А то нет! — Козел даже покраснел от возбуждения.— Дура, с татарами ходить, дак уж точно с прибытком будешь. Они всех бьют!

— Ежель голову не потеряшь там.

— Голову всюду потерять можно!

Козел был настроен воинственно, а Федору все это показалось далеким и ненужным. Он только пожал плечами. Отъезжая, вспомнил почему-то дядю Прохора: что-то он скажет теперь? Нать заехать, повестить ему...

Козел не соврал. О совместной с татарами рати скоро заговорили все. Судили и рядили так и эдак. Большинству не светило тащиться куда-то за Черные пески ради татарского царя.

— Князей позовут — и ты пойдешь неволею!

— Хошь бы хлеб-то дали убрать!

Впрочем, в разговорах и вялых сборах прошло лето. Выяснилось, что в поход пойдут только ратники княжеской и боярских дружин, мужиков трогать не будут. Радовались и тому.

Хлеб убрали. Подошла зима. Поход, по слухам, задерживался болезнью великого князя. В октябре Дмитрий Александрович срочно выехал во Владимир, и уже после его отъезда узналось, что великий князь Василий при смерти.

ГЛАВА 30

Василий Ярославич умер Рождественским постом[1]. Скакали боярские дружины. Одна за другой уходили

[1] В 1276 г. (Здесь и далее примеч. мои.— *Д. Б.*)

конные рати. Скакали скорые гонцы в Кострому, Ростов, Тверь, Городец. Владимирский баскак слал гонцов в Орду, от Менгу-Тимура ждали ярлыка на великое княжение Дмитрию — по прежним уряженьям, как старшему сыну Александра Невского.

Война, которую начали Хайду с Хубилаем год назад, разгоралась. Хубилай заключил союз с главою персидских монголов, иль-ханом Абагой. Менгу-Тимур, поддерживая Хайду, готовился выступить против Абаги и непокорных аланов (или ясов, как их называли на Руси), укрепившихся в предгорьях Кавказа, закрывая Орде Дербентские ворота и путь в Персию.

Менгу-Тимуру для штурма ясских городов нужны были русские полки, обещанные покойным Василием. Владимирский баскак спрашивал у переяславского: не задержит ли князь Дмитрий сбор войска?

Немецкие послы, в свою очередь, спрашивали, с многословными цветистыми уверениями в дружбе со стороны Ордена и императора Рудольфа: подтвердит ли «коназ Дмитрий» ярлыки, данные еще Ярославом Тверским, на свободный проезд ганзейских гостей через Новгород в Сарай и Поволжье? Намеками послы толковали также о возможном союзе русского великого князя с католической церковью. Дмитрий уже знал, что персидский иль-хан Абага еще полтора года назад просил на новом Лионском соборе у папы римского помощи против мамлюков, предлагая совместный крестовый поход и обещая принять латинскую веру. (В войске Абаги большинство монголов было христианами несторианского толка.)

В свою очередь, наместник митрополита Кирилла остерегал Дмитрия от излишней веры медоточивым словесам послов западных, поелику на том же Лионском соборе кесарь византийский, Михаил Палеолог, теснимый франками, захватившими землю греческую, согласился подчинить православную церковь папе римскому, призвав «filioque» (возглашение «и от сына», на коем настаивают нечестивые римляне, мнящие, яко Сын не единосущен Отцу) и опресноки (причащение одним хлебом, без вина) — сиречь отринув все то, что отличает истинное православие от суетного заблуждения латинян.

К счастью, церковь цареградская воспротивилась сему, и митрополит Кирилл — устами своего наместника — предупреждал князя Дмитрия, дабы и он не

поддавался латинской прелести, ибо веру потерявший потеряет и власть, данную Господом. Погибнет сам и погубит землю свою.

Все это, и многое прочее, обрушилось на Дмитрия разом, как грозный вихрь, освежающий грудь. Он заверил баскака, что не умедлит со сбором рати, немецким гостям обещал путь чист и тут же послал в Новгород узнать отай: верно ли, что кесарь немецкий Рудольфус собирает полки, мысля напасть на Чехию, и какая беда от того может произойти для земель славянских? Митрополита он заверил, что без него, без Кирилла, никаких послов папы римского принимать — ни тем паче вести переговоров с ними — не будет. Заодно Дмитрий просил духовного владыку Руси выяснить, правда ли, что темник Ногай, недавно породнившийся с кесарем Михаилом, тайно принял веру Махметову, и не станет ли он склонять к тому же Менгу-Тимура? Ибо на Руси очень помнили насилия покойного Беркая ордынского, державшегося бесерменской веры...

И еще было нужно отослать срочно гонцов на Волынь, ко князьям Льву, Владимиру Васильковичу и Мстиславу, и в Смоленск, недавно добровольно попросившийся в ордынское подданство, и урядить с ними дела литовские. (Князь Лев Данилович с татарскою ратью уже пустошил Ляшскую землю.)

Рассылая гонцов, принимая посольства, решая и приказывая, Дмитрий ловил новые для себя подобострастные взгляды старых бояр и «детей боярских», отмечал, с какой готовною быстротою — прямо опрометью — кидались исполнять любое его повеление, а поздними вечерами в изложнице рассеянной улыбкой отвечал испуганно-обожающим и тоже каким-то новым взглядам своей маленькой княгини-жены.

Переяславскому князю, который наконец дождался своего часа, исполнилось тридцать лет. Дмитрий оповестил всех, он хотел, чтобы земля приняла его сразу как законного главу княжеского дома Всеволодичей. На похороны Василия Ярославича в Кострому приехали, кроме самого Дмитрия: Михайла Иваныч Стародубский — старейший среди князей, последний из двоюродных братьев покойного; Борис Василькович Ростовский — у него, как у внука Константина Всеволодича, права на владимирский стол были, пожалуй, не меньше, чем у Дмитрия; прибыл и Федор Ростиславич

Чермный — начавший входить в силу «принятой» ярославский князь, опасный своими связями в Орде.

Уже по пути в Кострому Дмитрий договорился с боярами покойного дяди, а потом с боярами Андрея. Семен Тонильевич начал было хитрить, но Менгу-Тимур неожиданно быстро подтвердил ярлык на великое княжение Дмитрию, что разом прекратило споры. Тем паче что ни нарочито вызванный Дмитрием стародубский князь, ни Борис Василькович Ростовский не тягались с ним за власть. И тот и другой уступали владимирский стол сыну Невского. Михайло — отлично понимал, что не ему, с его маленьким стародубским уделом, спорить о великом княжении. Борис Василькович, тот и сам не хотел состязаться с Дмитрием. Страшная участь деда Михаила осталась в его душе на всю жизнь. Власти, которую можно получить, а можно — не получить и быть забиту ударами ног в сердце, этой власти он слишком страшился и вряд ли был бы рад, выпади жребий на него. Из других князей и княжеств никто не мог тягаться с Дмитрием ни по силе, ни по лествичному счету: ни Святослав Тверской, ни суздальские князья, ни тем более Ярослав Дмитрич Юрьевский. Врагом его — или другом? — мог стать только родной брат Андрей.

Через своих и Васильковых бояр Андрей потребовал Кострому. Дмитрий считал, что выморочная Кострома должна отойти в великое княжение.

ГЛАВА 31

— Едут, едут!

В неясной, серо-синей дали, застилаемой порошею, показался санный обоз. Спереди, сзади и по бокам скакали верховые. Андрей, глядя со сеней на приближающийся поезд, уже угадывал княжеский возок брата. Его беспокоило также, приедет ли тесть. Без Давыда Явидовича говорить с Дмитрием ему не хотелось.

Дворский подошел, стал посторонь, озабоченно взглядывая на князя. Андрей оборотился.

— Все готово?

Дворский склонил голову.

— Встречай!

Дворский вышел, и Андрей услышал вскоре, как перед крыльцом зазвякали стремена и весело затопотали

кони. Вот вершники вылетели под угор, рассыпались вдоль дороги. Вот они соединились с верховыми Дмитрия. На душе у Андрея было смутно. Он все еще не решил, встретит ли брата на сенях или выйдет на крыльцо. Пока думал, сани уже подъехали. Ржанье, скрип полозьев, людской гомон и конский топ наполнили двор.

Андрей поспел только сойти на галерею, когда услышал брата. Дмитрий уже подымался по ступеням. Слуги выбежали и стали по сторонам красной ковровой дорожки, нарочито постеленной для приема важного гостя. Андрей остановился стесненно, как в детстве. Походка брата, в которой была одновременно и тяжесть и упругая легкость, так напоминала шаги отца, что ему на миг стало сладко-страшно, но тотчас появился Дмитрий — и наваждение кончилось.

В светлой бороде брата еще сверкали тающие снежинки. Дорожную шубу он скинул внизу на руки слуг. Лицо было озабоченным, но не сердитым. Андрей сделал шаг. Они обнялись.

Сейчас сдавить бы Митьку, швырнуть,— да не швырнешь его, черта! Сейчас бы повозить друг друга, пыхтя и понарошку ругаясь, а потом, свалясь рядом на лавку, пить квас и еще задираться, обещая не такой еще бучи вдругорядь... Поди, и все иное по-другому пошло бы тогда!

Нельзя. По сторонам — слуги. Младшие дружинники — «дети боярские» с игрушечными копьецами в руках замерли, выпрямившись, у дверей. Не дышат. Присутствуют при великой встрече двух князей. И все нельзя. Они лишь на миг задержали друг друга в объятиях, поворотились и пошли по красной дорожке — два князя, съехавшиеся для переговоров. И навстречу уже вышла Феодора, строгая с византийскими глазами, в яхонтах и жемчугах, с хлебом и солью на серебряном блюде. Дмитрий принял хлеб, поклонился, передал его подоспевшим боярам. Принял серебряную чару из рук Феодоры, выпил, поцеловался с невесткой. Феодора с плавным поклоном пригласила в терем. Все было уставно, чинно, благолепно.

Дмитрия проводили в приготовленный для него покой, где он привел себя в порядок с дороги, ополоснулся и переоделся. Потом пировали в тереме, в узком кругу ближних бояр и семьи. Прочую дружину кормили на сенях. Давыд Явидович успел-таки и теперь —

прямой, внушительно-красивый, в серебре седин и в роскошном, как всегда, одеянии — сидел за столом и изредка, с настойчивым напоминанием, взглядывал в глаза Андрею. Тот хмурился, слегка кивал в ответ. Более всего хотел бы он избежать разговора с братом наедине. Но Дмитрий, тоже изредка поглядывая на Давыда, вел окольные речи о делах домашних и семейных и явно добивался свидания с глазу на глаз. В конце концов Андрей устыдился своего малодушия, разозлился, как злился на брата в детстве, когда Дмитрий, по старшинству, брал в чем-нибудь верх, и решил больше не увиливать. Они прошли в теплую горницу, отведенную Дмитрию, и остались одни.

Андрей очень скоро понял, что не след ему было начинать этого разговора без бояр или, по крайней мере, без Давыда Явидовича. Дмитрий как-то сумел вывернуть все его упреки, изобразив их личной прихотью, и обратить против самого же Андрея, Андрей, не выдержав, сорвался наконец:

— Понятно! Отец был главою! А ты почему?!

— Я старейший брат.

— Старейший не ты, а покойный Василий!

— А ты что ж — хочешь уподобить себя дяде Андрею, что с батюшкой ратился?

— Дядя Андрей владимирский стол получил по закону! Это батя переиначил все у Сартака!

— Отца не замай! Перста его не стоишь! Батя был прав во всем! Единства требует земля!

— Было единство! При Юрии Владимирском! Как глиняную корчагу разбили! ...Отец, опять отец! Ежели бы это сказал я, а не ты! Ты — да, старший из нас, живых (а Василий мертв!). А что нам? Что мне и брату? Стать ковром для твоих ног? Ладно, ты нас еще не очень обидишь, мы братья, а твои дети у моих не отрежут волости, как дядя Ярослав у Андреевых детей? Ах, я могу рассчитывать, что после твоей смерти... Но ни ты, ни я умирать еще не собираемся! Скажи уж прямо: мы должны исчезнуть в свой черед, как исчез Василий, чтобы тебе — не вообще великому князю, а именно тебе — освободить дорогу! И почему старший? Владимир Святой не был старшим сыном! И дедушка не был старейшим. Уж коли на то пошло, Константин Ростовский старше, но мы не уступили стола ростов-

ским князьям! Да, я жаден до жизни! Я не хочу отсыхать, как ненужная ветка в саду!

— Но как ты мыслишь судьбу земли, отчины нашей?

— Никак не мыслю! Завтра, завтра! Мор, огневица, любая иная смерть, гибель в бою... Откуда ты можешь знать, что будет? И я не знаю! И знать не хочу!

— Но оставить за собою хочешь!

— А оставить хочу. Как и ты, как и всякий из нас, как и любой мужик. И даже ежели мне предстоит княжить после тебя, без сильного княжества в руках я не получу места, стойно стародубскому князю! Вот мое слово: ты берешь Владимир, мне даешь Кострому — в удел.

— Владимир я беру не в удел, а как великий князь... Ладно, Андрей. Пойми, что бы ты ни говорил сейчас, все это я слышал уже от твоих бояр и боюсь, советчики у тебя не те, которые тебе нужны. Мы родные братья. Нам — ни тебе, ни мне — не удержать земли в одиночку. Вспомни батюшку! Что сказал бы он, увидев нас у власти, как собак у костра? Ладно, я могу тебе дать Кострому, но так же, как сам беру Владимир.

— То есть?

— То есть Кострома останется в волости великого княжения и будет дана тебе в кормление.

— Хочешь меня своим посадником сделать?

— Да.

— Не хочу!

— Пойми, что в очередь ты получишь и Владимир!

— Ну, это мы уже толковали с тобой. После смерти!

— Слушай, Андрей! Наша земля растоптана. Потеряно все. Слава Киевской державы развеяна дымом. Мы — подручники хана. Народы, сущие окрест, отворотились от нас. Деревни пустеют, люд бежит. Чернигов, Киев, Дебрянск, Смоленск и Рязань уже не подвластны великому князю владимирскому. Угры точат зубы на Галич, ляхи рвутся к Волыни, немцы зарятся на земли Новгорода и Пскова. Стоит кагану мунгальскому помириться с Ордой и привести на нас войска из Китая, и нас уничтожат, вырежут, и имя Русь исчезнет с лица земли! А среди русичей — зависть и свары, мы как будто устали жить, разлюбили самих себя. Мы гибнем! Единственный выход для нашей земли — единая власть!

— Так отдай ее мне!

— Мы, Андрей, не отцову клеть с добром делим. Земля — это люди, города, бояре, ратники, церковь. Мы — пример для всех: порядка, и единоначалия, и власти. Как мы, так будут поступать все вслед за нами. Наша жизнь, жены, дети, все, что делаем мы,— пример. Мы не имеем права сами переступать право отцов и закон земли, ежели хотим, чтобы закон существовал. А ты и женился не так, как лепо князю, а по страсти и по упрямству...

— Ты еще скажи, что Бог наказал меня за это смертью детей!

— О Боге, Андрей, и его воле не нам судить. Мы лишь приемлем сущее... Но ежели мы, князья, переступим законы, и веру, и старину, и заветы прадедов, и вновь переступим, и вновь,— кто скажет, когда земля перестанет считать нас своими господами и стряхнет с себя, как старую ветошь? Я не потому беру власть, что сильнее тебя, а потому, что по лествичному праву она мне принадлежит. И так думают все, так считает земля!

— Ни Городец, ни Кострома, ни Ярославль, ни даже Ростов так не считают! А ежели и считают, вспомни: у дяди Василия не сам ли ты хотел отобрать Новгород?!

— Новгород, но не великое княжение.

— Я тоже прошу даже не Новгород, а лишь одной Костромы.

— Кострому я тебе даю. Но не в волость, а в держание.

— И затем отберешь.

— И затем не отберу, она будет твоей до моей смерти, а после будет твоей как область великого княжения, а еще после, Андрей, ты сам поймешь, что я был прав, и станешь поступать, как и я.

— Поклянись!

— Пусть принесут Евангелие.

Андрей ударил рукой в подвешенное у двери серебряное блюдо.

Принесли тяжелое непрестольное Евангелие, призвали священника. Дмитрий положил руку на переплет и произнес:

— Клянусь не хотеть ми под братом моим волости, в держание ему данной, ни града Костромы, ни иных градов и весей до живота моего! Но и ты поклянись, что

не преступишь ряда и не будешь хотеть власти подо мной!

Андрей помедлил. Перед ним лежал костромской удел покойного дяди Василия, и надо было только протянуть руку, чтобы взять его. Он положил ладонь на тяжелый кожаный переплет и глухим голосом повторил клятву.

Почему-то в глазах у него встала при этом красная, будто пролитая на ступени, дорожка, по которой они с Дмитрием шли сегодня впереди всех.

ГЛАВА 32

Дмитрий так долго ждал, столько сил положил на уговоры и встречи, что только сейчас, когда кони бежали домой и возок колыхался, изредка проседая то правым, то левым полозом в рыхлеющий снег, когда позади остались шумный Владимир, где он был торжественно возведен на стол новым владимирским епископом Федором, трудные споры с братом, трудная тризна в Костроме и самое трудное — переговоры с ордынским баскаком,— только теперь он начинал чувствовать, что вот оно произошло, свершилось! Вот он стал великим князем во след отца, и деда, и прадеда, великим князем Золотой Руси! И вперекор всему — раздражению на татар, заботам власти, зависти брата Андрея,— вперекор всему в нем подымалась радость. Он лежал, закинув руки за голову, на пышном соломенном ложе, застланном попонами и шубами, вдыхал талый, уже слегка весенний дух, пробивавшийся внутрь возка, и молча улыбался. Он знал, умудренный опытом прошлых лет, что будет трудно. Перед ним проходили княжества и города, лица князей и бояр, и он улыбался трудностям. Судьба не страшила его, раз нынче, в Успенском соборе, он наконец получил силы и власть, чтобы бороться с судьбой.

В Переяславле нового великого князя ожидало новгородское посольство. Бояре Прусского, Неревского и Славенского концов приглашали Дмитрия на новгородский стол. Исполнялась и эта мечта. Двенадцать лет назад его удаляли из Новгорода, «зане мал бяше». Шесть лет назад он сам отказался от приглашения, дабы не спорить с дядей Ярославом. Четыре года назад,

в споре с Василием Костромским, он вел их на Тверь, был брошен в Торжке и воротился с соромом.

И вот они сидят перед ним за пиршественным столом, и подымают чары за него, и хитровато улыбаются. Послы в бархате и атласе, у иных серебряные и золотые цепи на оплечьях, твердые парчовые наручи пышных сборчатых рукавов затканы жемчугом, и все это для него, для его радости и веселия. Послы привезли поминки, и веские шероховатые гривны новгородского серебра пополнили опустевшую переяславскую казну. Послы привезли меха и кречетов, поставы драгоценных ипских сукон и дорогой «рыбий зуб». Послы приглашали его на всех прежних грамотах, а это означало, что ни черного бора, ни печорских даней ему не видать. Дмитрий согласился, он сейчас соглашался на все. Что и как будет он делать в Новгороде — об этом надлежало подумать позднее.

Дмитрий пировал, и у него лишь порою мелькала мысль о давешнем разговоре с боярином отца, Федором Шимановым. Разговор шел про Данилу, младшего брата, которого Федор Юрьевич Шиманов, приставленный к Даниле еще покойным отцом, просил выделить и наделить уделом. Речь шла о Москве. Дмитрий отвечал, что подумает. Брата наделить, конечно, было нужно, но охотнее он дал бы ему — и не в удел, а в кормление — Кострому. Костромой, однако, пришлось поступиться, чтобы утишить Андрея. Москва же была нужна как путь на Смоленск, на Чернигов и Киев. К тому же и дани с московских черных волостей росли и росли. Крестьяне с юга, с Черниговщины и Рязани, все бежали и бежали туда, на север под защиту болот и лесов. Думая о Москве, Дмитрий начинал морщиться. В конце концов через того же Федора Юрьича он передал брату, что готов дать ему владельческие доходы от Москвы, а жить предлагал по-прежнему в Переяславле.

С новгородскими гостями засиделись допоздна. Заглянув к детям, Дмитрий прошел в изложницу. Жена приподнялась — никогда не засыпала без него.

— Матушка прошала, Митюша.

— Завтра, завтра!

Он скинул платье. Повалился в постель. Заключил жену в объятия... Уже засыпая, спросил:

— Почто прошала мать?

— Хотела поговорить о Даниле.

«Тоже о Москве!» — догадался Дмитрий и опять недовольно поморщился, засыпая.

Однако назавтра Данил явился к нему сам, прежде матери.

Дмитрий, постоянно встречая Данилу играющим с Ваняткой, как-то не замечал, что брат растет, и тут вдруг поразился, какой он уже большой. Данил стоял перед ним худой, мосластый и носатый. Нос как-то неприметно выгорбился за последние годы. Старики, кто помнил, говорили, что носом младший Александров сынок пошел в деда, Ярослава Всеволодича. Голос у него тоже преломился и вместо прежнего, мальчишечьи-звонкого, стал глубже и глуше. Серые глаза потеряли былую прозрачную детскость, зрачки потемнели, и взгляд стал упорным, «думающим».

Дмитрию пришло в голову, что Данил, на которого он, в сущности, почти не обращал внимания, рос все время рядом с ним, и все, что случалось: наезды послов, советы боярские, торжества, брани, дела семейные,— все происходило у младшего брата на глазах...

Только низ лица — красивый, яркий рот со светлым пухом на подбородке и верхней губе — был еще совсем детским, особенно когда Данилка смеялся. Но сейчас он не смеялся, а, сжав зубы, отчего резче выступили припухлые желваки по углам рта, и хмурясь, исподлобья глядел в лицо старшему брату, по временам раздувая крылья носа.

— Ты что же думашь, я так и помру тута, в Переславли, да? И не женюсь, и все такое, как покойный Василий, как наш старший брат?

— И ты тоже! — чуть не крикнул Дмитрий, вскипая.

— Кричи, кричи! — двигая кадыком и бледнея, но не уступая брату, отвечал Данил.— Кричи на меня! Я никогда ничего у тебя не просил! Меня, вон, и учили дома, и все такое! А Москву мне тятенька завещал, спроси хоть кого вон, Федора Юрьича спроси, он тебе скажет! Твои бояра и то боле имеют, чем я: и села, и волости у их! Меня тута все деревенские парни дразнят «московским князем»! А не хошь наделять, отошли к Андрею, в Кострому!

Дмитрий свирепо глядел на этого сосунка, который тоже не понимает, не хочет понять...

— Ладно, поди.

— И уйду! — выкрикнул Данила, выбегая из покоя. В глазах у него стояли злые слезы. Мало что соображая, он побежал к себе, отпихнул старуху няньку:

— Давай мое, дорожное!

Он стал раскидывать порты, шапки, рукавицы. Трясущимися пальцами натягивал дорожное платье, сапоги. Вызвав холопа, велел седлать коня...

Уехать ему не дали. Прибежала мать, совсем поседевшая и согнувшаяся. Александра всплескивала руками, обнимала его, плакала. Данил, утихая, бормотал:

— Ну ладно, мам, не нать, не реви, не нать!

У него еще дергались губы и глаза горели обидой, и он боялся разрыдаться в свой черед.

К вечеру дело уладили. Федор Юрьич обошел бояр, собрали думу. Дмитрий почувствовал, что зарвался. Посадить родного брата у себя в городе, почти как пленника, было нелепо и ни с чем не совместно. Данилу требовался удел, как и всякому другому, и Дмитрий, раскаиваясь уже в своей необдуманной крутости, отпустил брата на Москву, удержав, впрочем, за собою часть владельческих доходов и тысяцкое, тем самым привязывая Москву к великому княжению. Данил, изобиженный прежним решением брата, стал спорить и против последнего, но тут его уже не поддержал никто из бояр, и сам Федор Юрьич начал уговаривать согласиться. И Данил, уже несколько успокоенный за будущее, поутихнув сердцем, наконец смирился.

Порешили, что он поедет смотреть Москву тотчас, как установится летний путь, а пока пусть подберет себе бояр и дружину.

Чуть только апрель согнал снега и обнажившаяся земля начала подсыхать, Дмитрий налегке, с небольшою свитой ускакал в Новгород, наказав боярам отправить после сева дружину и обоз к нему, на Ильмень, а иным, как урядили заранее, вкупе с другими князьями выступить на Низ, в помочь ордынскому царю, Менгу-Тимуру.

Уже тридцатого мая он подписывал в вечевой избе ряд с Новгородом и целовал крест перед избранными горожанами, посадником, тысяцким и боярами, а тридцать первого был торжественно возведен на новгородский стол в Софийском соборе новгородского Детинца при стечении толп горожан и звоне всех софийских колоколов.

ГЛАВА 33

Просыхала земля. Первые черные борозды ложились по серым, кое-где затравеневшим полям.

В эту весну в Княжеве не умолкали толки и пересуды. Поход на Низ предвиделся долгий. Кому выпал жребий идти туда, заранее прикидывали и уряживались, кто и как без них уберет урожай, заготовит лес, кто и на чем вывезет потом дрова и сено. Бояре обещали помочь рядовым ратникам, соседи — родичам, княжеские волостели выдавали кое-кому, по рассмотрению, оружие и коней...

Русичам — не то что ордынцам, у которых и конь и дом — все с собой. Приходилось думать и думать, ежели поход, как обычно, не укладывался в срок между уборкою хлеба и севом или между севом и уборкою урожая (по летней поре). Да и поход был не свой, никому не нужный здесь, во Владимирской земле, и шли только, чтобы удоволить татарскому хану.

Козел отправлялся в поход. Он сидел в Михалкиной избе как гость, как мужик, ел и пил, хлопая по плечу Федора, как с равным толковал с Грикшей и с дядей Прохором. Мать подавала на стол пироги и молочную лапшу. Пили медовую брагу. Прощались, разговаривали. Фрося, еще более огрузневшая, то присаживалась, то вставала помочь матери.

— Ты сиди, сиди! Ты гостья нонче! — останавливала ее мать. Спрашивала:

— Совсем отсеялись?

— Совсем. И лук посадили,— отвечала Фрося.

Параська любопытно, круглыми глазами следила за Козлом: уже и жених, уже и парень! Раньше, пока возился с Федей да босиком бегал, и не замечала его подчас.

— Первое дело — своих держись! — говорил Прохор.— К чужому котлу не приставай, хоть и голодно будет. Держись вместях. Свои не оставят! Меня так-то чужие бросили однова́. Тож в тамошнем краю. Проснулся — а ушли! А талдычат рядом, да не поймешь поихнему! И не татары вовсе. Я по-татарски-то еще как-то мог бы... Ну я и струхнул! А что? У их ето свободно! Захватят и продадут! И будет тебе Босфор: на чепи жисть кончать! А уж коли свои, дак... На миру и смерть красна! Старшо́го не забывай... Ну, тута ты не промах.

Федя не выдержал, подзудил:

— Он и у клещинского ключника в новых сапогах ходил!

— Иди ты, знашь, куды не знашь! — густо покраснев, возразил Козел и стал сразу похож на того задиристого мальчишку, с которым они играли в лапту, спасались от криушкинских и мечтали о дальних странах.

— Шучу, не обессудь! — Он обнял Козла за плечи. Козел посопел носом, притих. Потом торнул Федю под бок:

— А ты как же?

Федор, потупясь, признался:

— В Новгород! В обоз берут.

— Значит, и твоя думка исполнилась!

Когда-то сидели четверо сорванцов в самодельном шалаше на склоне оврага. Прохоров сын, Степка Линек, нынче весь в трудах, воротит за взрослого мужика. Яша...

— А где-то Яков?

— Яков женился.

— Да ну! А я и не знал.

— Что ты! — отвечает Козел.— Они там, за Весками. Чеботарит, и по крестьянству тож...

— Так никуда и не поехал...

— Зато мы с тобой!

Друзья умолкают, слушают Прохора. Пьют перед разлукой.

ГЛАВА 34

Дорога бежит из ворот Переяславля, плавно подымаясь на угорье, и мимо окраинных, крытых соломою домиков, мимо Никитского монастыря, мимо полей и пашен, чернолесьем и бором, убегает на восток, к Владимирскому ополью, к Юрьеву-Польско́му, а дальше, по распаханным, густо зеленеющим холмам, к стольному городу Владимиру, с его валами, крутыми кровлями посадских хором, с его белокаменными соборами над кручею Клязьмы...

Скрипят колеса телег; поводные кони, привязанные к задкам возов, бегут, поматывая головами. Возчики изредка взмахивают кнутами. Ратники — кто едет верхом, кто трясется на телеге. Козел, стреляя глазами

по сторонам, скачет вдоль обоза, горячится, кричит на возчиков:

— Боярин велел! Иди ты, знашь... От его послан!

Возчики подергивают поводья, понукивают. Им ехать до Нижнего, а там, погрузив товары и людей в лодьи, порожняком возвращаться домой. Возчики посвистывают: им в поход не идти, а коней надо беречь, ино и до дому не доедешь.

К ночи близ дороги раскидывают шатры, на кострах варят кашу. Стреножив, коней пускают пастись. Пастухи из окрестных селений подъезжают к кострам дляради разговора, обмениваются новостями. Сами следят вполглаза: не потравили бы проезжие молодой хлеб.

У костров бывалые сказывают, молодые слушают — иные, раскрыв рты. Запоминают отдельные татарские слова: хлеб — «ётмек», вода — «су», конь — «ат», «алаша», хорошо — «якши», плохо — «яман»... В Орде десяток слов и то пригодится. В дороге только и выясняется, что Оня, знакомый мужик из Маурина, хорошо говорит по-татарски. («Где выучил?» — Улыбается в ответ.) Что кто-то еще, про кого и подумать не могли, бывал уже на Волге, доходил до самого Сарая, а другой Алгуя, князя ордынского, знает в лицо...

Боярин великого князя Митрия, престарелый Гаврило Олексич, с сыновьями Окинфом и Иваном Морхиней объезжает стан. Где лопнул обод у колеса, где порвали упряжь, где воз, худо стянутый, развалился — едва дотянули до ночлега. В возах снедь, попоны, запасные порты, сапоги, сбруя, оружие, брони, шеломы. Все надо не растерять, за всем досмотреть. Гаврило Олексич озабочен: рать должна дойти свежей и справной, потому и не спит, потому и едет вдоль шатров, вдоль расположенных возов и хрупающих переминающихся в темноте коней, от огня к огню, окликая, поверяя и стрóжа. Путь не ближний, рати идти до Сарая много недель. Неяркая задумчивая полоса на закатной стороне неба бледнеет и гаснет. Тянет сыростью из низинок. Порою пахнёт теплом из-под сумеречных лап спящих елей. Костры догорают, сыновья давно уже клюют носами, качаясь в седлах. Пора спать.

Во Владимире стояла жара. Козел долго тыкался по раскаленному пыльному городу, пока нашел нужный дом. Подходили ростовские дружины князей Бориса Васильковича и Глеба, улицы были забиты возами и ратниками. Козла раз сорок окликали, то принимая за

своего, то за владимирца, и прошали дорогу... Хозяева, которым он должен был передать привет из дому и деревенские гостинцы, жили где-то на отшибе, у самой городской стены. Фросю с трудом вспомнили, и Козел, отвечая на ленивые вопросы хозяйки, уже понял, что ему тут ничего не отломится, ночевать и то не предложат. Воротясь, он узнал, что его искали,— легкая конница вместе с ростовчанами уходила вперед, а он, прошлявшись, пропустил перекличку и остался при возах. В сердцах Козел выругал и мать, и нелюбезную владимирскую родню. Впрочем, плыть по Волге всем одинако! — утешил он сам себя. Назавтра они двинулись дальше берегом Клязьмы. И все было по-прежнему: ночевки в шатрах, рассказы бывалых ратников у костра.

Наконец обозы подошли к Нижнему. Открылся рубленый город на круче, а с кручи, внизу — большая река, какой Козел еще не видывал, и заволжские лесные дали, и масса судов у пристаней, на которых, как мураши, копошились люди. Ярославская рать князя Федора Ростиславича и городецкая дружина князя Андрея уже прибыли в Нижний и сожидали ихний обоз.

Козел верхом подъехал к самому обрыву и застыл, натягивая повод, и конь застыл, подрагивая ушами. Козел смотрел и не мог насмотреться, глядел и не мог наглядеться. Он побледнел и невольно расправлял плечи. Он не думал сейчас ни о чем, только мурашками по коже ощущал тихий восторг. Он стоял, приподымаясь в стременах, смотрел в заречную ширь, и в нем тихо отслаивалось, отпадало босоногое голодное детство, убогий дом вместе со стареющей матерью, и не то что забывался, а уходил в прошлое. Там, впереди, были дальние страны, богатые восточные города, о которых без конца толковали дорогою, удача и слава, более прекрасные, чем в сказках. Он как бы и сам уплывал в эту неохватную даль. И то, что было с ним и чем он был сам до сих пор, становилось далеким и уже трудно различалось в отдалении...

Козел едва опомнился, услышав невдали громкий спор. Двое верховых в богатом платье теснили конями знакомого боярина, Гаврилу Олексича. Козел подскакал, с острым любопытством окинув глазами незнакомых бояр: пожилого, крупнозубого, с сединой в черных кудрях и с такими ручищами, что Козел мысленно поежился, прикинув, что от удара подобной лапой

свободно можно усвистать с коня, и молодого парня,— видно, сына,— тоже под стать отцу. По какому-то наитию Козел выпалил:

— Гаврило Олексич, наши уже тута! Покликать?

Черные отец с сыном недовольно оглянулись на Козла. Гаврило Олексич тоже оглядел его с прищуром. Едва заметно подмигнул, понял. Вымолвил:

— Что ж, зови молодцов. А то погодь, вместе поедем.

Чужие бояре,— это был Олфер Жеребец с сыном Иваном,— свирепо поглядев им вслед, потрусили под угор.

— Отколь сам-то? — спрашивал Гаврило Олексич дорогою.

— Княжевский, а служил у Тимофея Васильича, у дворского, на Клещине.

— А-а! Ну, ну. Ты малый сметливый, я гляжу. В Сарай приедем — напомнись...

«Я тебе еще и по дороге напомнюсь, боярин! — мысленно пообещал Козел, прощаясь с Гаврилой Олексичем.— Я не я буду, а возьмешь ты меня к себе, не отбояришься!»

По сходням заводили коней на барки. Кони недовольно косились на воду, иногда упирались. Заносили кладь. Возы, те, что брали с собой, закатывали, не разгружая, и крепили смолеными оттяжками к бортам и мачтам. От воды тянуло прохладой, солнце, дробясь на волне, слепило глаза. Пахло смолой, дегтем, конским и человечьим потом. Мальчишки толпились у причалов, перебегали на барки. Их шугали, награждая подзатыльниками. Подале, под горой, кипел торг. Козел уже побродил там, пошарил глазами, посвистал — всё одно, в кошеле хоть шаром покати. Поглядел восточных купцов в полосатой сряде, потрогал с независимым видом богатого покупателя, поставы дорогой камки и пестроцветной зендяни. С ним заговаривали, иные на своем языке, он крутил головой, отвечал татарским, выученным в пути: «не понимаю». Ходить по торгу с пустом скоро надоело, да и отлынивать от работы очень-то не стоило; и теперь Козел хлопотал, заводя коней на суда, суетясь больше всех и покрикивая на напарников. К ночи должны были погрузиться, а на рассвете — отплывать. Нижний был последним русским городом на пути. Дальше вниз по Волге начиналась Орда.

Берега разбегаются по сторонам, становясь ниже и ниже. Слева уходят вдаль заливные луга, справа тянется, не кончаясь, обрывистый склон. Табуны коней пасутся на приволжских кручах.

— Раз-и-два! Раз-и-два!

Весло мерно подымается и опускается. Солнце жжет спину, руки и плечи гудят, пот пропитал рубаху, заливает глаза. Кажется, даже скамья, на которой сидишь, мокра от пота. Козел сжимает зубы, чтобы не расплакаться. Раз-и-два! Раз-и-два! Сбиться нельзя, дадут по шее. Весла враз подымаются, роняя сверкающую бахрому прохладных капель, и враз опускаются, разбивая волну. Хоть бы черпнуть из-за борта, ополоснуть лицо, едкий, разъедающий глаза пот,— некогда. Раз-и-два, раз-и-два! Покажись туто боярину! Боярин в шатре, на головном судне. Боярину грести не нать... Солнце печет и печет и все не хочет снизиться. Тогда бы ночлег, костер, обжигающая каша, мгновенный, как в воду, сон.

Иногда к берегу пригоняют баранов, тут же режут, варят для ратников похлебку. После мясной заправки веселее глядится, легче кажется весло, сильнее руки.

— Раз-и-два! Раз-и-два!

Пот просыхает под солнцем, и постоянная тяжесть в плечах уже не гнетет так отчаянно и не кидает вечером сразу в сон. День за днем...

Цветные машущиеся тряпки на незнакомо одетых бабах и мужиках вдали по-над берегом. Стоят, загораживая горсткой глаза, смотрят на караван. Крикни — не услышат: далеко. Овцы, словно серая вошь, ползут по берегу, у воды. Бродят быки и кони. По круче, темнея противу солнца, тянется крохотная запряжка. Возок не возок, вроде юрта ихняя на телеге, и дымок вьется над ней. На ходу и варят что-то себе. Города просторные, без стен, домики будто высыпаны по берегу, и церквей не видать. Как живут, что делают? Кое-где пашни, тоже и хлеб сеют, значит, не только кумыс да мясо, как сказывали про них.

Мужики поют в лад. Под песню забывается усталость. Хоть бы ветер попутный! Тогда поднимут парус, гребцам можно будет сушить весла, можно будет развалиться на досках, глядя в небо, где висят — не то плывут, не то тают — белые облака. Раз-и-два! Раз-и-два! Раз-и-два!

К Сараю подошли на закате солнца. Город, чуялось,

что большой, было уже и не рассмотреть. В темноте налаживали сходни, выводили коней. На берегу — сутолока: и свои, и татары, кого ни набежало. Князья разъезжали вдоль причалов, скакали бояре. Кого-то, кто дуроломом, в ночь, дернул было в город, с руганью вели назад. Люди истосковались по твердой земле, по человечьему жилью, а тут — стой, терпи, ночуй тута, у лодей, у берега.

Спалось плохо. Едва развидняло, а уже там и сям слышались хриплые голоса, люди выползали из шатров, собирались кучками. Козел тоже выбрался. От холода пробирала дрожь. В рассветных сумерках смутно обозначались рубленые сараи, бочки и кули под навесами, костры приплавленного с верховьев леса и жердевые, обмазанные глиной загоны для скота. Козел пошел по берегу. Русская сторожа дремала, опершись о копья.

— Эй ты, переславськой, далече не ходи! — окликнули его.

— Не бойсь! — отозвался Козел. Отходить и верно не стоило. «Останешься не евши!» — подумал он.

Около загонов стояли какие-то в долгой сряде, в остроконечных бараньих шапках, с посохами в руках. Верно, стерегли скот. Лица были плоские, коричневые.

— Здорово, мужики! — сказал Козел. Те покивали головами, залопотали что-то по-своему. «Урус, урусут!» — только и понял Козел. Он хотел было пойти дальше, но один из загонщиков, широко улыбнувшись, блеснул белыми зубами, достал из сумы что-то, видом похожее на засохший творог, и протянул Козлу, повторяя «урус, урус!» и показывая на рот.

Козел откусил — было солоно и похоже на сыр. Сам показал знаками, что нечем отдарить. Те заулыбались, замахали руками.

В самом конце причалов Козел набрел на русского деда из местных и с ним наконец отвел душу. Дед был, правда, приглуховат, путался, переспрашивал, все поминал «князя Ляксандра», и Козел едва втолковал ему, что князь Александр давно умер. Дед покивал, кажется, не поверил.

— Жизня ничего, жить можно и тута,— говорил он, вздыхая.— А вы насовсем али как?

— В поход!

— Стало, домой вертаете... Ай еще куда?

— Вчерась прибыли! — кричал ему Козел.

— Вчерась. В поход, значит! — кивал дед, глядя перед собой потухшими глазами.

— В Гороховце не бывал, парень? — спросил он, малость оживясь.— Не бывал... Свои у меня тамо,— прибавил дед тише и понурился.— Поди уж нетутко, сколько летов прошло!

Светало, и уже начинали обозначаться плетневые заборы и кирпичные, обмазанные глиной, домики. В отдалении что-то голубело, зеленело, словно купола и узкие башни над домами. Верно, церкви ихние! — догадался Козел. Он чуть было не тронулся в гору, да на берегу ударили в било, и пришлось рысью бежать назад.

Стан уже весь проснулся и свертывал шатры. Прибыл сарский епископ и два попа из русской церкви. Кадили, благословляли рать. После молебствия роздали по ломтю хлеба. На ворчание мужиков было сказано, что завтрак им уже готов в городе.

Князья — принаряженные, в алых шапках и корзнах, с ними избранная дружина — ускакали вперед представляться хану. Прочие ратники, свернув шатры, погрузив добро и доспех на телеги, навьючив коней, тронулись следом за ними мимо любопытных чумазых мальчишек, мимо мужиков и женок,— что были одеты почти как мужики,— столпившихся по сторонам поглядеть на русских воев, мимо плетней и огорож, мимо сложенных из кирпича низких домов и войлочных круглых шатров татарских, по широкой пыльной улице, разгоняя скот и собак, что с визгом кидались под ноги ратникам. Когда увидали первого верблюда, даже порушили строй. Всем охота было посмотреть, что за зверь. Верблюда с погонщиком окружили. Кто посмелее — норовил потрогать, подергать за шерсть. Верблюд пятился, надменно задирал голову. Мужики хохотали, глядя на его морду.

— Берегись, плюнет! — остерегали иные...

Городом шли очень долго. Насмотрелись и богатых хором, что были выложены с лица лазоревыми блестящими кирпичами. Видели и бесерменские церкви с высокими голубыми куполами и узорными башнями по сторонам. Прошли русский конец, где среди плетневых мазаных и кирпичных домов густо стояли избы, тоже промазанные глиной. Там и сям виднелись сады, и молодки и бабы, всплескивая руками, выбегали на улицу, на голос родимой русской речи, а потом торопились

кто с кувшином молока, кто с яблоками или пирогом — угостить на ходу и выспрашивали тут же, роняя непрошеные слезы:

— Отколь, родимые? Курских нету-ти? Али с Рязани кого? — Народ тут был все больше южный, с Оки да с Прони.

Наконец плетни кончились и вышли внова в степь, к мазанкам, что были приготовлены для них на окраине, и к загонам, где еще следовало поставить шатры.

Впрочем, их не обманули. Татары и русские — местные, полоняники — уже хлопотали у костров. В котлах булькало мясное варево. Часть комонных, что ускакала вперед, без оружия, теперь встречала рать и разводила по местам. Мужики торопились дорваться до еды, все прочее сейчас уже не интересовало.

Рассаживались прямо на земле. Дымящееся мясо выкладывали на кожаные большие подносы. Хлеб был свой. В ход пошли ножи. Мясо ели руками, горячее хлебово черпали из котлов и мис по очереди, глотали, обжигаясь.

— Ничо! Так будет кормить хан, и воевать заможем!

Спешили. Полдня протопав в пыли и жаре, боялись, что умедлишь — и не достанется. Наевшиеся отваливались, распускали опояски. Татары привезли несколько возов арбузов и дынь в двухколесных плетеных коробьях. Мужики разбирали, дивились:

— Погодь! Дай гляну, що тако за овощ? И как ю едят? С кожурой али так?

Скоро, впрочем, и тут нашлись знатоки, и сочные красные и желто-зеленые ломти пошли по рукам.

— Чудно! Словно огурец, а сластит!

— Вода и вода!

— Ну, не скажи, вроде квасу оно, ежели к примеру сказать!

— А что, Митюх, женки тута, курянки, ничего себе! Я перемигнулся с одной!

Бояре с трудом подымали наевшихся мужиков. Ругали, заставляли ставить шатры. Вырваться в город, побродить — в этот день нечего было и думать.

Вечером в шатре сказывали:

— Тута наших полоненных, ежели в степь угонят, считай, пропал. И голоден и холоден, грейся с баранами в куче. Ну, а которого тута поселят, ежели мастер добрый, к примеру,— живут. Торговлишку какую ни есь заводят. Гостям торговым тут легота, со всего свету,

почитай, везут. Да сами татары, как с войны воротятся, за полцены у их и товар, и порты, и челядь. Тут бы и вовсе жить, да бесермены люты. Нашим ходу не дают. Они и хана обаживают, чтоб ихнюю веру принял, Махмудову...

Козел слушал вполуха, а сам прикидывал так и эдак. К боярину подстать али к кому из ростовских князей? Али, может, и к местному какому, бают, наймуют русичей... Бронь бы достать только! Али к купцам...

Впереди был поход, жара и пыль, безводье, черные пески, ясские острые сабли и стены Тетякова. Сто раз еще и голову сронить можно, но только Козел не собирался скоро расставаться с головой, и возвращаться с пустом в родимое Княжево он теперь тоже не собирался.

ГЛАВА 35

В то время как разубранные кони взбивали пыль, проносясь по улицам этого чужого, огромного и какого-то нелепого города, князь Андрей нервничал, словно мальчишка накануне первого боя. Он излишне прямо сидел в седле, глядя строго перед собой, и лишь краем глаза позволял себе проверять, тут ли Семен Тонильевич, в котором он сейчас нуждался, как никогда. Ростовские князья — и Борис Василькович, и Глеб, и даже сын Глеба, юный Михаил — все бывали в Орде и представлялись хану. Бывал в Сарае и Федор Ярославский. Андрей один ехал впервые, и все было впервые для него: и верблюды, от которых шарахались их северные кони, и этот сплошной кирпич, и голубые изразцы, и купола, и минареты мечетей, и юрты, и зной, и даже пыль, какая-то тяжелая и липкая, не такая, как там, у себя на родине. Он повторял про себя, как и что должен делать в ставке кагана, и ему претило все это. Претил кумыс, который придется пить при входе в шатер Менгу-Тимура, претило коленопреклонение, претили разговоры через толмача...

Они проскакали насквозь глиняный и кирпичный город, и вот перед ними вырос другой город, раскинутый на зеленой траве, свежий и яркий, весь из войлока, шелка и парчи,— «юрт», или ставка хана Золотой Орды.

Казалось невероятно, как держатся эти круглящиеся огромные сооружения, одно больше другого, расстав-

ленные в строгом порядке вокруг самого главного — сверкающего шатра Менгу-Тимура.

Андрей не ожидал подобных размахов. Про себя при слове «шатер» он представлял обычный походный шатер княжеский, сюда же могло уместиться четыреста, а то и пятьсот человек. Узорчатые войлочные покровы едва виднелись из-под паволок, переливчато сиявших на солнце, с вытканными китайскими драконами и сказочными птицами на них. Золотая парча лентами обвивала все сооружение. Нукеры в серебряной чешуе доспехов, с узорными круглыми щитами и сверкающими копьями в руках, замерли у входа. Плоские узкоглазые лица были надменно-неподвижны. Русская дружина осталась позади, и вдруг Андрею стало не по себе. Кто он? Русский владетельный князь или пленник, пойманный среди белых и расписных шатров, среди чужой, чужому слову покорной рати. Что у этих в мыслях? Что на сердце? Своих, русичей, понял бы со взгляда, а этих — гляди не гляди — чурки с глазами. Окружают, берут коней под уздцы, приходится спешиваться — не близко от шатра — и идти пешком в княжеском пурпурном корзне, что волочится и цепляет за траву... Стыд, срам! А этим — хоть бы что, и не смеются даже.

«Вот она, Семенова Византия! Ни мрамора, ни палат, а дрожишь, как последний щенок! — думал Андрей, приближаясь к шатру.— Вот она, власть!»

Он вздрогнул, чуть не позабыв, что нельзя ни за что на свете задевать порога шатра. («Не то убьют!» — полыхнуло в мозгу и словно варом обдало всего.) Где здесь порог? Верно, эти вот веревки!

Первым вошел Борис Василькович. Андрей ступил следом, скованно повторяя движения ростовского князя. Только уже переступив злополучный порог и отойдя от него на несколько шагов, он опомнился и сумел оглянуться по сторонам.

Свет падал сверху в отверстие шатра, но так рябило от сверкания драгоценных одежд, утвари, узорных ковров, от многолюдья разряженных придворных, что он не сразу сумел разглядеть самого Менгу-Тимура и опять едва не сбился, ибо теперь надо было преклонить колено и принять серебряную, восточной работы чашу с кумысом. (Который, впрочем, как заранее объяснили ему, можно было только пригубить: упорное нежелание русских пить кумыс было принято в Орде

во внимание.) Тут же стояли другие чаши с медом и вином из разных земель, подвластных Орде или торгующих с нею.

Хан ответил на приветствие гостей наклонением головы. Им подали скамьи, и теперь только Андрей сумел рассмотреть все как следует. Прямо перед ними тянулось разубранное возвышение, твердая основа которого была вся до кусочка укрыта узорочьем. В середине стоял низкий, с круглою спинкой, золотой трон. На троне, скрестив по-монгольски ноги в шелковых шароварах, в сверкающем парчовом халате и в венце сидел Менгу-Тимур. Лицо его было так же бесстрастно, как у нукеров перед входом. Впрочем, приглядевшись, Андрей понял, что он чуть-чуть улыбается, разглядывая своих русских улусников. Слева от хана, пониже, сидели его жены, в высоких, точно шлемы с навершьями, и еще расширяющихся вверх от середины, шапочках, обернутых парчой и шелком, с золотыми прутиками на самом верху убора, в голубых, рисованных драконами халатах, толстые, недвижные, с такими же узкими, словно полуприкрытыми глазами. Справа от Менгу-Тимура и внизу, перед возвышением, густо сидели придворные хана: родичи чингизиды, нойоны, темники и тысячники, монгольская знать, покорившая мир. Впрочем, и не только монгольская. Андрей заметил белые пышные бороды и иной склад лиц у некоторых из сидящих в шатре. Слуги, стража, музыканты, виночерпии теснились по сторонам и у стен двойного шатра, узоры которого внутри были иные, чем снаружи.

«Вот она, власть!» — повторил про себя Андрей, не понимая толком: от заморского вина, от оглушительных хлопков в ладоши после каждой выпитой чаши или от этой многоцветной роскоши кружится у него голова. Принимая чары, он сперва не закусывал и, только уж когда Семен незаметно кивнул ему, заметил кожаные, позолоченные по углам, тарели с мясом и дичью. То и другое полагалось брать прямо руками или маленькой двоезубой вилочкой. Менгу-Тимур спрашивал что-то, почти не шевеля губами, толмач переводил. Андрей снова не сразу понял, что спрашивают его.

— Да, да, он средний сын Александра Невского, князь городецкий!

И еще что-то было сказано, в похвалу его отцу, от чего Андрей почувствовал, что неприлично, по-мальчишечьи краснеет.

При каждой новой чаре, что подавалась гостям, играла музыка. Менгу-Тимур еще что-то спросил, и толмач перевел:

— Почему мы не видим здесь нашего князя Дмитрия?

Вопрос вызвал мгновенную заминку. «В самом деле, почему?» — подумал Андрей. Еще час назад, едучи через город, он бы не подумал так, находя вполне разумным, что брат прежде всего кинулся в Новгород.

Отвечал хану боярин брата, Гаврило Олексич, и Семен тоже сказал несколько слов по-кипчакски, словно дополняя ответ Гаврилы, на что Менгу-Тимур чуть заметно нахмурился и переглянулся с приближенными.

Торжественный прием на этом был окончен. Князья встали и, пятясь,— оборачиваться спиной к хану не полагалось,— покинули шатер.

Андрей еще весь был в сумятице чувств и мыслей после приема у хана, когда вечером того же дня Семен Тонильич пригласил его в гости к одному из ордынских вельмож, Олексе Неврюю, сыну того Неврюя, что когда-то громил покойного дядю Андрея, освобождая для Александра Невского владимирский стол.

Семен уже дорогою объяснил Андрею, что мать Олексы была христианка, сам он крещен по православному обряду и сын Александра Невского для него — желанный гость.

Андрею тут первый раз довелось увидеть каменное ордынское жилище, выстроенное Неврюю мастерами из Хорезма.

Дверь узорчатая, наборного дерева, с большими, кованой меди, позолоченными узорными гвоздями; затейливые выкладки из синих, голубых, зеленых, желтых и белых изразцов в нишах наружной стены; решетчатые окна, свободно пропускающие воздух, в которые, однако, невозможно было заглянуть, и дворик внутри дома, застланный ковром и отененный какими-то незнакомыми низенькими деревцами с раскидистой кроной, дворик, куда выходили двери и окна, забранные резными ставнями, из разных покоев. В просторной и неожиданно высокой палате хозяина (с улицы дом казался гораздо ниже) все было устроено на восточный лад. Ковры и низенькие столики, и кованые кувшины, и расписная глазурь в узорчатых открытых нишах стен. О христианстве хозяина напоминали лишь небольшая икона в

углу, с лампадкой перед нею, да серебряный позолоченный крест на стене.

Дружинников, с которыми приехали Андрей с Семеном, проводили в другое помещение. Хозяин, еще очень не старый, с внимательными, чуть раскосыми глазами, прямым носом и несколько более густой, чем у других татар, бородкой, коренастый и широкоплечий, принял их спокойно, радушно. Семена — как старого знакомого, Андрея — с цветистыми приветствиями, которые Семен не без удовольствия тут же и перевел. Впрочем, далее выяснилось, что Олекса Неврюй совсем неплохо говорит по-русски. Он не суетился, слуги, казалось, понимали его мысли.

Андрею подали скамеечку. Семен Тонильич уселся по-восточному. Внесли серебряный таз — ополоснуть руки. Потом начали носить блюда. Мясо наперченное, мясную, с длинною упругой лапшою, густую похлебку, мед и вино, кумыс, который Семен пил, а Андрей, поняв, что тут можно и не пригубливать, незаметно отставил в сторону. Снова мясо с иноземными пряностями, наконец — белые пшеничные лепешки и фрукты (овощи, как говорили на Руси), свежие и засахаренные, вяленую дыню, тягуче-сладкую, инжир, сушеный виноград, персидский, приторно-сладкий замороженный напиток с фруктами — шербет.

Откинувшись на подушки, хозяин наконец заговорил, неспешно подбирая и очень чисто произнося русские слова:

— Народ моалов невелик числом и еще темен. Но мы покорили мир, и если бы ныне нас самих не разделила война, наши кони давно бы дошли до последнего моря. Папа римский и франки сейчас присылают каану своих послов и дары. Кесарь Михаил ныне дружен с нами. Но папа пересылается также с нашим врагом, иль-ханом Абагой, и мы знаем об этом. Твой батюшка был другом великого Бату, деда нашего каана. Скажи, будет ли таким же другом ему твой брат, князь Дмитрий? Менгу-Тимур опечален тем, что не увидел нынче его лица.

— Великий князь Дмитрий очень спешил в Новгород!— ответил за Андрея Семен.— Каан не должен слишком винить нашего великого князя. Новгород своеволен. Но оттуда идет серебро на Русь и в Орду. Немцы зовут Новгород ключом к Русской земле. У нас верят: тот, кто возьмет Новгород, станет королем на

Руси, стойно западным государям. Триста лет назад наш великий каан Владимир, крестивший Русскую землю, привел из Новгорода полки руси и варягов, с коими разбил брата Ярополка с печенегами, захватил Киев и стал хозяином русской земли. Что ж! Мудрые молвят, что жизнь идет коловратно и возвращается на круги своя, подобно течению планет!

Андрей несколько осоловел от непривычной и обильной еды, от хмельных питий, которые тут были еще разнообразнее, чем в ставке хана, и потому трудно понимал хитрые извивы разговора, который затеял наконец Семен Тонильевич. По мере того как разговор становился все откровеннее, Андрей мрачнел и отвечал все короче и суше. Семен явно вел дело к тому, чтобы опорочить Дмитрия перед ханом. Однако взаимная клятва еще свежа была в памяти городецкого князя, да и здесь, вдали от дома, так, сразу, в чужом доме и среди чужого народа, он словно острее почувствовал, что они с Дмитрием как-никак родные братья, и эта хитрая игра Семена уже начинала не нравиться ему...

Уже когда они ехали верхами домой в полной темноте, слыша только топот копыт дружинников за спиною, вслед за факелоносцем ордынцем, который трусил впереди, указывая дорогу, Андрей отмолвил почти враждебно:

— Брат не виноват перед ханом, что не приехал кланяться. Рать-то он послал!— И, поскольку Семен молчал, добавил погодя с хмельным упрямством:— И передо мной не виноват! Ты что молчишь? Не виноват он передо мной! И я — тоже — не виноват...

Семен молчал.

ГЛАВА 36

Дорога бежит из ворот Переяславля, мимо хором и палат, клетей, изб, амбаров, лавок, сушилен, коптилен, кузниц, красилен, кожевенных, скорняцких, седельных и щитных мастерских ремесленного окологородья, мимо окраинных церквей, мимо куполов и башен Горицкого монастыря, плавно подымаясь на угорье, полями и пашнями, селами и деревнями, раменьем и бором, ныряя с холма на холм, убегает на запад, к Дмитрову и дальше, сворачивая на север, Серегерским путем, через Молвотицы, к славному озеру Ильменю, к Господину Великому Новгороду.

Поскрипывают тяжелые, груженные воском, скорой, зерном, медом и лопотью возы. Надежно увязаны, укрыты рогожами, стянуты смоленым вервием кули и бочки — путь не ближний. В кожаном, с серебряными узорчатыми оковами возке едет в Новгород, к мужу, великая княгиня с дочерьми и младшим сыном Александром — жданным, моленным, и назвали по деду, будет помощник отцу! Старший, неудачненький, Ваня, остался в Переяславле, опять приболел, побоялась брать с собою. Княгиня то оправит платьица на дочерях, то возьмет Сашуню у няньки из рук, прижмет, зацелует. Глаза у княгини сияют; ехать и ехать еще, а уже не сидится, и сердце бьется тревожно: как он там без нее? Милый, болезный, ненаглядный! Она высовывается в окошко — покликать кого из слуг. Терентий, Митин боярин, завидя великую княгиню, шпорит коня, рысью подъезжает к возку. Он улыбается, и княгиня улыбается боярину. Спрашивает о жене, о сыне, что недавно родился у Терентия. Боярин отвечает, наклоняясь с коня, улыбка не сходит с его румяного красивого лица. И княгиня видит, что Терентий красив и внимателен к ней, и еще больше радуется за себя и за Митю, которого они все так любят. Терентий отъезжает и издали, оборотясь, машет ей рукой, и княгиня машет ему своей маленькой ручкой со сверкающими перстнями на пальцах и, довольная, отваливается на узорчатые восточные подушки...

Обоз ведет Миша Прушанин, старый боярин, что еще на Неве когда-то бился вместе с покойным Митиным батюшкой. Миша уже старый, великая княгиня немножко робеет перед ним. Покойный свекор, говорят, перед смертью поручил ему Митю.

Миша Прушанин сейчас в голове обоза. Перебрался с коня на телегу. Холопы устроили ему соломенную постель, покрыли попонами. Выезжали — хлопотал все сам, ночь не спал, а тут вона — сердце зашалило. Да, хвор стал. Старость не в радость! Куды што девалось — и сила и годы,— все прошло, прокатилося. Ноне старуху свою, покойницу, почасту чтой-то стал вспоминать и Новгород снится: то словно Ильмень шумит, то колоколы софийски, то иное что блазнит... Перед смертью, видать. Пото и на родину потянуло!

В Переяславле крепко уселся Миша, вотчина обихожена, лучше не нать! А и там, в Новом Городи, корень не вырван еще. Родовая хоромина на Прусской, прошали

продать — не продал, и земли по Шелони... Младшего тудыкова посадить? Захочет ли еще?

На князя Митрия чуток в обиде Миша. Уж больно довóлит Гавриле Олексичу. Да все срыву, с маху... Нехорошо. Как обод гнешь: перегнешь — поломашь! А Гаврило еще и подзуживат... В Орду поехал... А и непочто! Самому бы Митрию, батюшке, нать до хана полки доправить, Менгу-Тимуру честь оказать, а там хоть кто... Хоть и мой Терентий мог бы... Не ниже Гаврилы сижу... Ладно, мне-то уж с Богом говорить, пущай как хотят тута... Он вздыхает. Шалит сердце, шалит! То забьется, то онемеет словно. Терентий подсказал:

— Батюшка, возок не подать ле?

Миша помотал головой.

— Не нать! Душно. Так полежу, олегчает... Княгиня как?

— Торопится, по Митрию Лексанычу соскучала!

Терентий улыбнулся, блеснул зубами. Отец поднял бровь, поглядел на сына искоса:

— Жалимая. Ты удовóль ей, Тереша.

— Гляжу, батюшка!

— Удоволь, удоволь!

Старик закрывает глаза. Телегу раскачивает на выбоинах, кони на бегу взмахивают хвостами, отгоняя мух, легкий ветерок задувает в лицо. Боярин задремывает, и снова ему блазнит — словно Ильмень шумит вдалеке.

Всю первую половину пути до Дмитрова Федор мало что видел и еще меньше того понимал. Возчики, случалось, окликали его, но он не отвечал, не оборачивался, и его оставляли в покое. Добро, что кони сами шли, не отставая от переднего воза... Порою так становилось, что соскочил бы с телеги, бросил кнут и пешком пошел назад. Пал в ноги ейному отцу и остался. Насовсем, навсегда в деревне. Не нужно никаких Новгородов, лишь бы с нею! Пахать и сеять, и возить сено, и знать, что дома — она, что вечером — она, что в постели — она, кáжный день, кажную ночь...

Вчера еще стояли у поскотины, говорили что-то. Нет, говорил он: обещал воротиться, уговаривал. Она молчала, кивала, шептала «воротись», и оба знали, что рáсстаются насовсем.

И сейчас Федор смотрел, изредка смаргивая, на спину коня, отмечал мерные удары конского хвоста по крупу

то справа, то слева, и светлые слезы изредка скатывались у него по щекам. Чего себя обманывать! Не остался бы он, а остался — век бы жалел и стал уже не тот, что раньше. И она огрубела бы, а там — неурядицы, ругань, бедность, мерянская родня, для которой что там Новгород! А брат стал бы жалеть, изредка заезжать, брезгливо оглядывая избу... Брат, гляди, скоро монастырским ключником станет!

Нет, нельзя остаться, а сердце болит, и можно плакать, глядя на хвост коня, абы не видели люди, плакать и мечтать, как он воротится через много-много лет, богатый и старый, а она встретит и не узнает его. И она представляется все такою же молодой, тоненькой... Стоит у околицы, коротконосая, с широким мерянским лицом, с толстыми губами, с сочными губами, с вишневыми теплыми губами, которых ему больше не целовать...

Юность быстро и ранит и лечит. Еще не доехав до Дмитрова, Федор, стыдясь самого себя, почувствовал, как новые впечатления все чаще отвлекают его от горестных дум. Он уже порою словно издалека глядел на милый облик, оставшийся там, у околицы. Да и работа не очень-то давала времени для переживаний. Приходилось рубить дрова, распрягать и запрягать лошадей на дневках, водить их к водопою, задавать ячмень, перекладывать груз. Старые возчики норовили проехаться на молодых, а Федор ни от чего не отказывался. За делами меньше думалось и вспоминалось меньше.

Дмитров Федор миновал еще словно в полусне, но чем ближе подвигались они к новгородскому рубежу, тем чаще задумывался он о том, что ожидало его впереди, и, кстати, о хлопотном поручении брата. Грикша раздобыл ветхую грамотку, удостоверявшую их права на отцову хоромину под Новгородом, и велел, ежели там что сохранилось, попытаться продать ли, выменять,— словом, так или иначе выручить какую ни то мзду. Грикша долго толковал Федору о новых новгородских уложеньях, запрещавших низовцам будто бы иметь земли на Новгородчине, и о том, как их можно обойти, но Федор вникал плохо, всецело занятый своими сердечными делами, и только теперь начинал запоздало припоминать братнины советы...

Дни сменяются днями. Острова леса то густеют, то вновь отступают от дороги, освобождая место взору. На росчистях переливаются зеленые хлеба, по голубым

овсам, как по воде, пробегают тени. В придорожных деревушках неприметно соломенные кровли все чаще перемежаются дерновыми, и на бабах, что выходят из-под ладони поглядеть на обоз, уже иные кокошники, по-иному бегут узоры по нарукавьям, и речь становится тверже. Спросишь: «Кто тут живет?» — «Новогородчи»,— скажут в ответ.

Утром над рекою плотный туман. Руку протянешь — не видать пальцев. В тумане глохнут звуки, сырость ползет за воротник. Но вот подымается солнце, светлое, неяркое, и туман начинает сваливаться, клубящимися столбами уползает в кусты, тает в воздухе, и все тогда — в сверкающей жемчужной росе. Лес полон птиц, в реке плещет рыба, лоси, почти не таясь, выходят на дорогу.

Ночевали обозники больше в шатрах, в избе в летнюю пору душно. Одолевали комары, сила их на Новгородской земле! Как ни заботливо затыкали вечером рядно у входа, все одно к утру пискунов набивался полон полог.

Медленно, неприметно для глаза, менялся лес. Гуще росла ель. Ольха да осина потеснили дубняк с орешником, травы словно становились ниже в перелесках, гуще рос верес да черничник в борах, и все-таки почти не чуялось разницы: дни за днями, а та же и та же земля!

Несколько раз бродами и паромом переправлялись через реки, и возчики не всегда умели сказать Федору, что за река. Ехали берегом Волги, в этих местах уже очень узкой. Наконец открылось озеро Серегер, с извилистыми красивыми берегами, в островах, на которых лес стоял словно по пояс в воде. Гуще пошли новгородские деревни и села, бойкие торговые рядки, и вот показались Молвотицы: городок из островерхих башен с бревенчатым стоячим частоколом между ними, битком набитый хлебными амбарами, лавками, клетями, кучами разного товару под легкими, крытыми дранью навесами,— весь в деловом кипении людей, что разгружали и нагружали подходившие обозы и караваны речных судов.

Лодьи, посланные Дмитрием из Новгорода, уже ожидали у причалов. Отселе часть обозных возвращалась назад, и Миша Прушанин распорядился нагрузить возы новгородским товаром, чтобы не гонять коней порожняком.

Перегружались два дня, наконец поплыли. Новгородские мужики ловко пихались шестами, обходя мели и перекаты на узкой речке Щеберихе, что впадала в Полу. Там уже все посажались на весла, и Федору пришлось, подзакусывая губу, напрячь все силы. Отставать от бывалых гребцов, да еще перед языкастыми новгородцами, он не хотел. Лодьи летели вниз по стрежню реки, а встречу, по-под берегом проходили — то бечевой, то пихаясь шестами — встречные караваны. Новгородские окликали своих, переговаривались на ходу:

— С Твери аль с Костромы?

— С Переяславля!

— Кого везете?

— Князь Митрия Лексаныча княги-и-ню!

— Мотри, не утопи-и-и!

— Не бои-и-сь! Пойма-а-аем!

«У нас бы так не стали кричать!» — думал Федор. Он уже с нетерпением ожидал, когда покажется ихний хваленый Ильмень, надеясь в душе, что он окажется не больше Клещина-озера.

Но вот берега отступили в последний раз, и за поворотом открылась равнина серой, словно бы нависшей, без конца и края воды. Небо заволоклось тучками, и серая рябь с отдельными белыми гребешками стала круто покачивать выбегающие на открытую воду лодьи. Весло то выпрыгивало, лишь задевая за кончики волн, то глубоко погружалось в воду. Прохладный ветер разом остудил горячее тело.

— Си́верко! — сказал кто-то из местных и деловито прикрикнул на Федора: — Ровней, ровней, парень, али впервой на воды?

У кормчего, тоже новгородца, разом острожело лицо. Ветер крепчал, все круче и круче становились волны, порою пенные брызги окатывали гребцов.

— Ильмень дани требоват! — сказал прежний новгородец, проходя бортом.

«Неужели кого бросят в воду?» — смятенно подумал Федор. Но дело оказалось проще. Водянику дали кусочек серебра в хлебном мякише и щепотку соли. Все это кормчий, дождавшись самой большой волны, с размаху кинул в воду. Часа полтора ждал Федор, выбиваясь из сил в споре с непослушным веслом, когда утихнет расходившийся водяной царь, и уже отчаивал-

ся, но наконец почуял, что волны стали вроде ровней и глуше ударять в борта и ветер ослабел.

— Послухал-таки! — переговаривались мужики.— Оногды и назадь швырнет! Кому-то так в личе бросил, мало глаза не выбило ему. Уж кормчий зрит, что дело не метно, заворотил лодью, ан туда луда, отколе взялась, их опружило, мало кто и уцелел той поры, и лодью всю в щепу расколотило...

Про себя Федор молился, чтобы все это скорей кончилось. Руки, стертые в кровь, горели и уже едва удерживали весло. К счастью, ветер все больше поворачивал, и вот уже на лодьях по знаку главного кормчего начали подымать паруса. Скоро и у них с тяжелым хлопаньем развернули серую толстину, сразу плотно наполнившуюся ветром; лодья резко и сильно накренилась и пошла, оставляя пенный след, ныряя и раскачиваясь, верхним набоем то и дело доставая воды.

Так они шли час за часом, одолевая серую, в пенных струях, сердитую стихию, и Федора то начинало мутить, то вдруг охватывал беспричинный восторг от тяжких ударов в борта, от мощных качаний лодьи, от того, что Ильмень оказался и вправду великим и грозным, не обманув его давешних детских мечтаний.

Солнце низилось и начинал стихать ветер, когда над ухом прокричали:

— Перынь видна!

Федор поднялся, вытягивая шею. На желтом палевом небе четко выделился берег в соснах и что-то розовеющее среди красных закатных стволов. Перынь! Он никогда не слышал этого слова, но что-то заставило пересохнуть горло и побледнеть щеки. Перынь! Лодьи, все так же мерно качаясь на волнах, шли друг за другом туда, где меж берегов уже начал обозначаться разрыв, и там, за этим разрывом, устьем Волхова, ожидал его город детской мечты, отцова родина — Господин Великий Новгород.

Приставали под княжеским Городком, сам Новгород начинался дальше, и Федор с завистью глядел на смутно очерченные в светлой северной ночи стены, башни, верхи и купола близкого, но пока еще недостижимого чуда. Туда было версты три-четыре на глаз, и он аж тихо выл от нетерпения, когда чалились, когда выгружались, когда ужинали в княжой молодечной... Городок состоял из двух каменных церквей, большой и малой, да возвышенных княжеских хором,

густо облепленных амбарами, клетями, гридницами, конюшнями, избами. Впрочем, что тут к чему, за ночною порой и усталостью было не рассмотреть. Долгая молодечная изба набилась битком. Ели жадно, почти не разговаривая. За озерный путь все вымотались вконец. Тут же и повалились спать по лавкам и на полу, на охапках соломы. Потушили светцы. Федя лежал на спине, чувствуя, как гудят руки, плечи, ноги, спина и как еще все качается и качается: кажется, даже пол молодечной тихонько покачивается под ним. Он еще подумал, что надо все-таки выйти, поглядеть хоть и в темноте на город, но, подумав так, только перевернулся на бок и уснул.

Второй день тоже был заполнен деловой суетой, и Федор рад был уже, когда удалось пристроиться гребцом на лодью, что шла в Юрьев монастырь. Пока боярин был у настоятеля, Федя сумел сбегать в собор, подивиться его торжественной строгой высоте, и оглядеть кельи, и даже высунуть нос за ограду. Запыхавшись, он подбежал к лодье как раз, когда боярин уже спускался к причалу. Миша Прушанин (это был он) оглядел разрумянившегося молодца:

— Впервой, что ли?

— Впервой! — ответил Федор, отзывчиво улыбаясь боярину. Тот подумал, поерзал, усаживаясь:

— Небось город охота поглядеть?

Федор так радостно и так откровенно кивнул, что и боярин и остальные гребцы рассмеялись. Миша ничего не сказал, но когда подъехали к городищенскому причалу и стали вылезать, боярин придержал Федю за плечо и, поискав глазами в толпе на берегу, окликнул:

— Терентий!

— Я, батюшка! — отозвался тот.

— Етого молодца возьми тоже!

И, подтолкнув радостного Федора по направлению к Терентию, Миша неторопливо прошествовал в гору.

Федор готов был плясать. Пришлось, однако, долго ждать, потом грузить лодью, потом снова ждать.

Наконец оба боярина спустились к причалу, и они тронулись. Лодья по течению шла ходко, и Федор, занося весло, каждый раз бросал мгновенный жадный взгляд на выраставший и близившийся Детинец. У него, как это часто бывало с ним, разделились руки и голова. Руки споро, с юношеской ухватистостью де-

лали свое дело, гребли, выгружали, вытягивали лодью, а глаза, широко раскрытые, полные восторга, жадно пили окружающую его красоту и деловитое кипение сказочного города, пили и не могли напиться...

Речными воротами поднялись в Детинец. Два величавых собора, справа и слева, малые церкви, палаты, и люди, люди,— какие-то другие, иные, чем у них в Переяславле. Чем иные, он не мог еще понять, но видел, чуял — глядели как-то не так! С мгновенным интересом, но без того, чтобы, раскрыв рты, долго пялиться вослед. И еще подметил он, подходя к храму Софии Новгородской,— и тут-то понял отличие! — горожане одинаково оглядывали и его, с остальными мужиками, и бояр, Мишу с Терентием. Оглядывали, словно уравнивая взглядом. «У нас бы,— подумал он,— глядели на боярина на одного, а холопов при господине и не заметят!» Храм, после владимирских, не поразил высотой, но поразил Федю богатством убранства, и он снова подумал, крестясь и оглядываясь по сторонам на расписные стены, на золотую и серебряную утварь, на иконы, с которых глядели на него мощные и строгие святители: какой же это гордый город!

Ему очень хотелось бы теперь пробежать по мосту на ту сторону, где целый хоровод бело-розовых храмов и муравьиное кипение людей обозначали место великого новгородского торга, но бояре двинулись внутрь города, по Прусской улице, и Федя, только ступив на тесовую новгородскую мостовую и увидав высокие, изузоренные, в плетеных зверях и травах, расписные и золоченые хоромы, забыл все на свете. Он не знал, что идет по боярской улице, где в каждом доме жил кто-нибудь из великих бояр Софийской стороны, и думал уже, что в таких дворцах живут все без исключения горожане. Впрочем, и обычные посадские дома — с поднятыми на высокий подклет повалушами, с резьбою на воротах и висящими в воздухе галереями, опоясывающими срубы на уровне горнего жилья,— не заставили его разочароваться. Боярин, после того как мешки и кули перегрузили из лодьи на телеги, отвезли, сгрузили и сносили в терем, позволил Феде погулять по Новгороду. Федор того только и ждал. Он бегом отправился к Великому мосту, все время проверяясь по софийским, видным по-над кровлями, куполам. Он шел и дивился. На Великом мосту он застыл на самой середине, следя,

как осторожно снуют по запруженной судами реке лодьи и учаны, как уходят вниз по течению реки застроенные, в грудах леса и товаров берега, впитывал в себя островерхие кровли, башни, ограды, ворота, купола, сады... Мимо него шли и ехали, чаще шли. Тут и богато одетые люди ходили пешком. На ногах у них были легкие кожаные поршни из цветных кож — да и не диво! «По тесу, не по грязи ходить!» — подумал Федор. По необычным коротким одеждам и круглым, свисающим на бок шапочкам он догадывался, что тот вон, и тот, и эти — заморские гости; и их обилие, и то, как свободно они ходят, не привлекая ничьего внимания, тоже удивляло Федора. У нас бы уж мальцы следом побежали за таким-то! Он двинулся дальше, через мост, и, разом утонув в стеснившей его толпе, стал подвигаться к торгу.

Торг оглушил и ослепил. Кругом кричали, торговались, зазывали, смеялись, ссорились. Федя уже ничего не понимал и не видел толком. У него, как в детстве, закружилась голова. Его толкали, он не обижался, не замечал порой, и все шел куда-то. В глаза бросались то горы воска, то многоразличные ткани и целые поставы иноземных сукон, то груды точеной, резной, поливной и кованой посуды... Он сам не знал, как его занесло в железный ряд, где узорчатые новгородские замки наполнили его всего восторженной завистью. Ему о сю пору мало что приходилось запирать, и замки были ему совершенно не нужны, но бог ты мой! Тут тебе и русалки с рогом, и змеи какие-то, и скоморохи — руки кренделем, тут и махонькие золоченые замочки и огромные, что, почитай, и не подымешь одною рукой... А какие ключики к ним! А какие ларцы, с какою узорною оковкой! Федор переходил от замка к замку, не чуя, что его пихают, не понимая, что мешает продавцам и покупателям. Трогал, трепетно брал в руки. Не сразу понял, что его уже несколько раз окликнули. Подняв ослепленные сияющие глаза, увидел за прилавком такого же, как он, молодого парня, в соломенных, золотистых кудрях, бело-румяного, с лукаво-озорным усмешливым взглядом.

— Ай не слышишь? — спрашивал тот, весело-любопытно оглядывая Федора.— Купляй!

Федор улыбнулся, широко и застенчиво, развел руками.

— Не на что!

Парень усмехнулся.

— Отколь сам-то?

Федя, заалевшись, ответил.

— Далече! — присвистнул купец.— Цего ж ты с Низу приехал, а никоторого товару не привез? Ты бы оттоль цего ни то взял, а здесь торганул, глядь, и какую гривну скопил! Видать, цто не тверской! Звать-то как?

— Федюхой.

— Федором, значит. Ну, а меня Онфим! Да ты тута стань, за прилавок, вон сюда, чать не укра́дешь!

Парень при этом заговорщицки подмигнул Федору, как свой своему, и Федя, которому парень и сразу показался приятен, тут же влюбился в новгородца окончательно.

Тот отпускал товар, шутил, рассыпая частоговорки, окликал покупателей, спорил с кем-то, принимал серебро и шкурки белок и в то же время успевал расспрашивать Федора: кто он, каких родителей, почему и как приехал к Господину Нову Городу,— и скоро знал о Федоре, почитай, все.

— Ну-ко, раз грамотный — пиши тута! — приказал он Федору, подвигая ему вощаницы и писало, и Федя, с замиранием сердца приняв то и другое, стал записывать то, что приказывал ему Онфим: название товара и цену. Онфим заглядывал через плечо на Федины старательные, прямо поставленные буквы и, убедясь наконец, что переяславец не сбивается, уже только бросал ему:

— Воротный! Две ногаты с белкой! На ларец два! Четыре куны пиши!

Первый раз, кажется, Федя увидел прямую нужду от своей грамотности. Он взмок от усердия, излишне сильно надавливал на писало, иногда царапая доску, но писал и писал, изредка вспоминая свое учение и подзатыльники брата. Тут бы стоять, дак и подгонять не нать было, у их, видать, без грамоты не проживешь!

— Ты хоть знашь ли про дом-от отцов, цел ли, нет? — спрашивал меж тем Онфим, отпуская очередного покупателя.— Може, там от дома вашего одне головешки!

Перемолчали.

— Ну, ладно, парень,— сказал он наконец.— Складывай вощаницы и пошли!

— Куда?

— Как куда? Поснидашь с нами, как-никак зара-

ботал! С батей перемолвишь, може, и насоветует что!

Он быстро собрал мелкий товар в коробью, засунул вощаницы и выручку в торбу, перемолвил с каким-то мужиком, заступившим его место, и легонько подпихнул Федора, который от смущения приодержался было.

— Вали!

Они выбрались из толкучки торга. Пока выбирались, Онфима несколько раз окликали и раза два даже назвали Олексичем. «Словно жениха на свадьбе!» — подумал Федя. Впрочем, начав привыкать к местной речи, он уже уловил, что здесь у всех в обычае уважительно именовать друг друга, а не так, как у них на Низу: Федюхами да Маньками. Это тоже отличало Господин Великий Новгород.

Пришли. Отворились резные ворота.

— Наш двор знают! — похвастал Онфим.— Спроси на Рогатице дом Олексы Творимирича, тут тебе всяк укажет! Батько мой.

Федор, глядя на высокие хоромы, только ахнул. Вот живут! Поди, и топят по-белому, чисто боярский двор!

— Вота, батя, гостя привел! Не обессудь! — представил его Онфим.

— Здравствуй, молодечь!

Отец Онфима был невысокий, грузноватый, с сильною сединой и лысиной в редких кудрях, с отеками под глазами, но все еще быстрым взглядом. И когда уселись и Федор посмотрел на Онфима рядом с батькой, то понял, что Олекса Творимирич был в молодости таков же, как сын,— ясноглаз и кудряв. Матка Онфима, полная, с двойным подбородком, несколько недовольно оглядела Федора, и он невольно поежился.

— Не купечь?

— Не! С обозом я.

— Тверской?

— Переяславськой.

— Етто?..

— Князь Митрию княгиню привезли. Давеча на Ильмене покачало, баяли.

Матка Онфима сама села за стол. Его бы мать сейчас подавала. И тут у них по-иному. «Девку держат!» — догадался он.

Ели уху, хозяин угощал:

— Стерляди нашей отведай-ка! Батько-то кто будет?

— Батько убит у его,— подсказал Онфим,— под Раковором.

Олекса Творимирич оживился, глаза блеснули молодо:

— С князем Митрием, говоришь? Я ить тоже! Вота оно, как быват!

— Батя на той рати мало не погиб! — с гордостью пояснил Онфим.— Его из самой сечи вытащили!

Олекса Творимирич принялся вспоминать, расчувствовался даже. Федор во все глаза глядел на человека, который дрался там же, вместе с отцом, быть может, даже говорил с ним или был рядом в бою. Даже Олексиха, хоть и глядела сурово, положила молча ему новый кусок в тарель.

— Дак как, гришь, батьку звали твово? Михалко, Михалко...

— С Олександром ушел, дак ты вспомнишь ле! — подала голос матка Онфима.

Когда уже подали горячий сбитень, Онфим, покраснев, поведал:

— Вот, батя, дело у гостя. У батьки-то у егово хоромина была на Веряже... Дак как ни то ему подмогнуть в ентом дели...

— Грамотка есь! — поспешил пояснить Федор.

— Дак не дите ить! — пожала плечьми Олексиха.— Сам пущай и сходит к подвойскому!

— Ты, мать, не зазри,— мягко остановил Олекса.— Человек молодой, истеряетси тута, с нашими-то приставами да позовницами...

— Дак я сам, конешно...— начал было Федор.

— Сам-то сам, а все погодь, парень,— возразил Олекса Творимирич.— Покажи грамотку ту! — Отставив от лица подальше и щурясь, он разбирал грамотку, покивал головой.— Ето мы обмозгуем. Вот цего, Онфим! Тута Позвизда нать!

— Вота уж и Позвизда Лукича мешать, тьпфу! — снова вмешалась матка.— Потолкуй с Якуном!

— Ладно, молодечь. Приходи завтра, сделам! Мы с твоим батькой тезки.

Федя ушел окрыленный.

— Будешь всякому шестнику помогать! — не вытерпела Олексиха по уходе Федора.

— Не говори, мать. Где ни то придет еще встретитьце. Все православные люди!

— То-то, православные! Кабы ратитьце с има не пришлось! Цего Дмитрий рать собират?! На корелу?

— Корела нонь к свеям откачнулась, ее не грех и проучить.

— Ну и учили бы сами! Ярославу не дали, дак Митрию топерича...

ГЛАВА 37

В ближайшие дни Федору пришлось помотаться. От работы его никто не освобождал, и вырываться для своих дел приходилось чуть не украдом. Наученный новыми знакомыми он, однако, успел побывать в вечевой избе, вызнал и то, что отцов дом цел и что живет в нем какой-то Иванко Гюргич; упросив своего боярина, успел поговорить о доме и с княжьим тиуном, заручился у него еще одной грамотой и наконец воскресным днем, одолжив, все по той же боярской милости, коня, с некоторым замиранием сердца выехал в дорогу.

Он доскакал от Городца до Новгорода и Рогатицкими воротами проехал через весь город, мимо торга, Ивана-на-Опоках, Ярославова дворища с храмом Николы, переехал мост и, обогнув Детинец, поднялся на гору. Тут он уже начал спрашивать и дальше так и ехал, по пословице, что язык до Киева доведет.

Дорога вилась вдоль речки, ныряла в перелески, наконец с пригорка открылось селение. Серые крыши, крытые тесом и дранью, казалось, тускло отсвечивали, как вода в пасмурный день или старое серебро. Федор проехал селом, не решаясь спросить, наконец остановился у одной изгороди.

— Иванко Гюргич? А вот еговый дом! Родственник али кто? Не узнать словно?

— Дело к ему...

— А... Дома, кажись!

Федор спешился, привязал коня. Он еще медлил, оглядывая большой, на подклете, красно-коричневый дом. Как-то в голове не умещалось, что это вот и есть отцова хоромина. Их дом в Переяславле выглядел куда скромнее. Хозяин сам вышел на крыльцо.

— К кому, молодечь?

— Иванко Гюргич?

— Я буду.

— Грамота у меня...— Федор запнулся и покраснел.— На дом грамота. Мово батьки дом-от!

Новгородец глядел на него, соображая, и покачивался с пятки на носок. Федору показалось, что он сейчас оборотится и уйдет, захлопнув дверь.

— Дак вот! — сказал он, постаравшись придать строгость голосу.— Вхожу во владение!

Новгородец поглядел по сторонам, уставился на коня, снова оглядел Федора.

— Цего-то не понимаю, парень! Покажь грамоту ту!

Он долго читал и перечитывал и все не выпускал грамоты, и Федору опять показалось, что он раздумывает, как спровадить Федора, оставя грамоту у себя. Наконец спросил:

— Дак умер Михалко-то?

— Батя умер.

— Дак чего тебе-то нать?

Федор наконец озлился. Решительно вырвав грамоту из рук новгородца, он возвысил голос:

— Чего нать? Свой дом получить! Али позовников покликать?

Новгородец, поняв наконец, что ему от Федора просто не отделаться, зазвал его внутрь. Женка оборотилась, разглядывая Федора.

— Цто за таков молодечь?

— Да вот, выгнать нас с тобою хочет! Не знать уж, кто и такой.

— А ты его самого выгони! — с угрозою взяв руки в боки, посоветовала женка.

— Ты вот что! — с расстановкой произнес Федор.— Грамоту чел? Я в дружине князь Митрия. Будешь тута чудить, приеду с боярином со своим, он меня послушат, да с тиуном. Тебя укоротят враз. Етова хошь?

— У, такой-сякой! Счас иди! И вон из моего дому! — начала было женка, но новгородец остановил ее:

— Ты поди-ка, поди. Мы тут сами разберем!

Она вышла, хлопнув с размаху дверью.

— Мужиков созвать да выкинуть его и из села! — проговорила она, уходя.

Стали рядиться. Новгородец упирал на то, что земля, по закону, «новогорочка» и никому из низовцев принадлежать не может. Тогда Федор, смотря в колючие глаза хозяина, возразил:

— Пущай. Землю бери, а дом не твой, дом отцов, вота. Дом очищай счас, и все!

Новгородец с усмешкой возразил было:

— А цего тоби хоромы без земли?

— Чего, чего! — взорвался Федор.— В дружину наместничу перехожу, тута буду жить!

Новгородец сбавил спеси, глаза забегали.

— Бери отступного...

— Очищай!

— Слушай...

— И слушать не хочу!

— Запалят тя и с домом!

— И деревню спалят как раз,— спокойно возразил Федор.

— Цего просишь? — сдался новгородец.

— За дом?

Торговались долго. В конце концов новгородец предложил коня с приплатой. Выходили, глядели коня. Задирали храп, смотрели зубы, щупали бабки. Конь был хорош.

— Добрый конь! — говорил новгородец, и по сожалению в колючих глазах яснее, чем по стати, виделось: да, добрый. Наконец сошлись на коне с пополонком в пять ногат. За такой терем это было даром. Но Федор знал, что иначе совсем бросит и не возьмет ничего.

Захотелось еще что-то добыть от отца. Спросясь, полез в клеть, соединенную тут с избой под одну кровлю. Долго рылся в старой рухляди, что свалили тут, очищая жило для нового хозяина. Что поценнее уже, видно, давно выбрали. Волочились какие-то тряпки, ломаная деревянная и лубяная утварь... Все было не то. Вот проблеснуло что-то. Но оказалось — просто ломаный стеклянный браслет, тоже не то... Федор отчаялся было, как новгородец, уже долго молчавший у него за спиной, подал голос:

— Солоница есть. Не твой ли батька резал?

Захотелось верить, что, верно, отцова. Подобрал еще крохотную медную иконку, всю покрытую сажей и зеленью. Верно, тоже была в отцовом доме, сунул в калиту — потом отчистить. Все, кажись! Новгородец помягчел, видно, тоже что-то переломилось. То было отобранное, стало купленное. Зазвал выпить пива на дорогу. Женка взошла, шумно дыша, молча налила чары и снова вышла, пристукнув дверью.

— Как там у вас, на Низу? Татары сильно зорят? — спрашивал новгородец. Федор отвечал односложно. Он

еще не понимал, что дела торговые надо отделять от обиходных, и продолжал дуться.

Дверь опять отворилась, и в жило вошла старуха, еще крепкая на вид, осанистая, с крупным мускуловатым лицом.

— Поведай, Гюргич, каков таков молодечь?

Она пытливо разглядывала Федора, уселась:

— Михалкин сынок? Молодший? Как кличут-то? Федей? Знала батьку твого...— Она помолчала, спросила: — Ну, Гюргич, продал дом-то?

— Продал,— со вздохом ответил хозяин,— на коня сменял.

— Ну и дешево обошлось, и не журись! — сказала старуха.— Зато теперича во своем будешь! Я ить толковала тоби, кто ни то есь у Михалки родных!

— Вот, искал, нет ли цего от отца! — отозвался хозяин.— Говорю, у тебя, Макариха, нету ли?

— Ужо погляну! Ты заходь, молодечь, в мою horoмину! — позвала старуха.— Третья отселева! — Она поднялась, вышла.

Федор кончил с хозяином. Передали повод из полы в полу. Звали послухов, при них Федор отдал грамоту. Снова пили пиво. Иванку поздравляли с покупкой, Федора оглядывали уже без вражды, с интересом. Хлопали по плечу:

— Наш по батьке-то!

Старуха не ушла, ждала его на улице. Он завел коней за огорожу покосившегося дома, опять с некоторым страхом, уже понимая по значительным ухмылкам мужиков, что это, верно, и есть та «сударка», о которой с раздражением говорила мать. Он даже хотел и не заходить, но любопытство пересилило. В горницу ступили, пригнувшись. Дом сильно просел,и пол покосился весь в сторону печи.

— Посиди, молодечь! — велела старуха. Достала меду, поставила на стол. Федор не знал, о чем говорить, да и старуха не столько спрашивала, сколько глядела на него.

— В матерь, видно, пошел! — заключила она.— А руки отцовы, таки же вот, и персты еговы, и долонь...

Федор не знал, что ответить. Поворотясь к коробье, стоя спиной к нему, она спросила глухо:

— Помнишь батьку-то?

Порывшись, достала серебряный перстень с темным камнем.

— Вота! Память мне была от батьки твого. Да уж в домовину не унести... Возьми!

Отец, судя по этому перстню и по тому, что дома лежала дорогая отцова бронь, явно знал когда-то лучшие времена. Верно, еще до них, до их рождения... Федор, несколько враждебный до сей поры к старухе (поминая отцовы свары и слезы матери), тут вдруг понял, почуял, как тяжко ей теперь: одинокая пустая изба — бобылка, должно; ему вдруг стало горько и на миг показалась близкой эта чужая старая женщина. Он даже застыдился своей молодости, силы, того, что у него еще было все впереди, а тут все уже позади, в прошлом, все уже безвозвратно прошло и прожито. Он уже с неохотою принял дорогой перстень, раздумывая, не вернуть ли. Все же для нее — последняя память.

— Прими, прими! — угадав его колебания, сказала старуха. Голос у нее пресекся, и Федя уже со страхом сожидал, не увидать бы слез. Но она справилась с собой и сама поторопила Федора:

— Езжай, время не раннее!

— Прощайте!

— Прощай...— Она помедлила, назвать ли его именем, но не назвала.— Прощай, молодечь!

Новый конь, насторожив уши, тихо проржал, было попятился идти назад, всхрапнул, натянув повод, но Федор не шутя рассердился, пристрожил, и конь покорился новому хозяину.

Дивно было: был дом, стал конь. С пригорья, привстав на стременах, он оглянулся, поискав глазами тесовую кровлю, почти неразличимую среди прочих. Знал, что уже сюда не воротится никогда.

На Городце коня переглядели все ратники.

— Ну, Федька, теперича ты воин! — заключил старшой. Федор как-то не вдруг понял, что собственный конь меняет его положение. Только когда его вызвал боярин и, тоже оглядев и одобрив коня, велел скакать гонцом во Владимир, он сообразил великую истину того, о чем постоянно говорили ратные: по справе и служба.

И вот он сидит, прощаясь напоследок, в хоромах у своих новгородских друзей. Конь осмотрен и одобрен. Федора заставляют рассказать, как было дело. Он сказывает, гордясь и маленько стыдясь, что продешевил.

— Городецкие пеняли, что земли отступился!

— Ну, ето как бы тебе сказать! — возражает Олекса Творимирич.— Цего тамо бают на Городце, слушать не

нать! Был бы ты наш, новгородской — иное дело. А об етом у нас уж и в совети решали, чтобы низовцам, значит, новгороцкой земли не имать! Чтобы уж коли твое, дак оно твое!

Мы уехали в голод, воротились: пепелище. А свое место-то! Никто тута не позарилсе. Теперь подумай: я ворочусь, а тут ну хоть и ты построилсе. Хорошо ли то? Всем равные права, дак почто ж тогда Господин Великий Новгород?! А так, позови — встанем! Есь что защищать!

...Дак и с вами! Ордынский выход платим? Платим! Черный бор по времени даем князю. Ну уж, а покойный князь Ярослав цего надумал — гостя торгового выводить от нас! Не гневай, а етого и твоему князю Митрию не позволим!

Ну, а ты, ето верно... Твой батька лег под Раковором... Как ни то надо сообча... А только, чтобы земля была князева, как у вас, на Низу, ето не дело, нет, не дело! Князь какого ни то иноземца посадит мне на шею. А что удержит? Скажет: тот лучше дело знат! Немчин какой — скажут, порядка поболе; фрязин — сукна навезет, жидовин — этот похитрей меня, да и кланяться князю сумеет, как я не могу; бесермен-персиянец богаче окажет, шелка навезет... А хоть бы и из своих! Тверич князю Ярославу хоть — свой ему, ну а Митрию — переяславцы свои. А я при чем? Князево дело быстро сполнено. Ты сиди, Олекса, вразнос селедками торгуй Христа ради. Альбо по деревням полотно для того же жидовина купляй. Ну а меня уж, когды под Раковор кровь проливать, разве попросят, тогды поклонятце: Олекса, мол, Творимирич, не выдай! Своей родимой стороны... Господь тебе воздаст! На том свети. С присными одесную себя посадит близ престола вышняго. Так-то вот!

А за что тогды кровь-то лить? Озришься — ропаты́ немецки настроят, каки ни то свои и домы, и одежа ихние; не пройди, не ступи: невежа, скажут, неумыта рожа! На могилу земли дадут ли еще! Разве два локтя пожалуют, родимой-то, кровью моей политой... Вот так-то, всем единако ежели! Вот те и равные права! Тута мне Новгород защита, а там... И кого тогда ты будешь защищать? Етого бесермена своею головой? Вот тебе и государсьво!.. Да хоть и из своих... Были тут всякие! Свой-то подлец еще хуже. Чужого видать, а етот, как тяжко ему — «я с вами!». За твоей спиной отсидеться. Как доходы делить — «я впереди!». А как беда

обчая — «мне су и дела нет!». Землю продаст, серебро с собою, и укатил в иное княжесьво. Нет, ты тута живи, тута и обиходь! Уж коли у боярина земли по Шелони, да ворог подступит, дак я ему доверю, пущай рать ведет! Свое оборонит зубами! Как и мне, Новгорода ся лишить — куды я денусь? Вот терем — я сам рубил! Сруби дом, заведи с ничего. С двуста белки да с десяти пудов железа с отцом дело начинали! Вота! Глянь! А ты — обчие права...

Федя, весь заалевшись, решился-таки высказать, что власть должна быть обчей, но по любви...

— Дак вот тута и полюби! — вздохнул Олекса.— По любви ты должен бы дом-от Иванке Гюргичу подарить... По любви опеть выиграт тот, кто хуже. Ты его полюбишь, он тебя обдерет да сам и надсмеется.

— А Христос?

— Христос всякого имущества отвергся, а мы грешники. Ему на земле было как на небе.

Федор много хотел бы сказать, да не решился, он понимал, что новгородцы по-своему правы, но и то не давало ему покоя, как же тогда всем-то, соборно, вместе?! Что князь может быть несправедлив к своим людям и почитать иноземцев, это ему и вообще как-то раньше не приходило в голову... Может, и я, как тверич, своего князя защищаю? — думал он.— Ну кабы не Митрий Саныч великим князем, а кто другой?! Решить всего этого, впрочем, он не мог и потому молчал. Спор наконец утих сам собой.

На прощанье Олекса достал плат:

— Вот, молодечь, може свидимся, може нет, а...

— Девке подаришь! — усмехнулась хозяйка.

— Ладно,— возразил Олекса Творимирич строго,— девкам ищо надарится, матери отвези!

И по тому, как дрогнул вдруг у него голос, Федя понял, что этот старый купец очень любил свою мать, продолжает помнить и теперь и, может, даже и его, Федю, дарит ради той, покойной. Прощаясь, он поклонился в пояс хозяину и хозяйке, сердечно расцеловался с Онфимом. И — в путь. Прощай, Господин Великий Новгород!

И еще одна непрошеная мысль холодом обжигает его, когда он, уже выехав за Рогатицкие ворота по направлению к Городцу, оборачивается и озирает уходящий в закат город,— мысль о том, что ежели Дмитрий, как прежде князь Ярослав, поссорится с Новгородом, то

ему, Федору, придется стоять на бороии против Онфима, и мысль эта так непереносна, что Федор старается не додумывать ее до конца.

ГЛАВА 38

Великий князь Дмитрий недолго предавался семейным радостям. Встретя княгиню с детьми и перебыв с нею лишь два дня, он поскакал в Плесков, ко князю Довмонту. Воротясь оттуда накоротко, ускакал в Ладогу, где пробыл полторы недели. Причем с утра до вечера он был то с новгородскими боярами и посадниками, то со своими приближенными, то с теми и другими вместе. Рассылал гонцов, распоряжался, принимал свейских, немецких и датских послов. Когда добирался до изложницы, то мгновенно сваливался в сон. Вся нерастраченная, неистомная ярость прошлых лет, когда он сидел у себя, в Переяславле, и ждал, ждал, ждал, изводясь, сейчас бурно рвалась наружу. Поход на корелу уже был решен. Уряживались купеческие и кончанские споры, а меж тем гонцы уже скакали на Низ, и владимирские и переяславские бояре готовили оружие и рати. Он одолевал себя, зная, что дать волю раздражению — уподобиться дяде Ярославу. В нем росла мысль, о которой он пока боялся сказать кому бы то ни было. Но порою, просыпаясь, избавленный от обожающих, сковывающих его взглядов жены, он лежал недвижно, расширенными глазами глядя в темноту, и думал. И темнота пахла морем, солоноватой необозримой громадой воды. Ладога? Нет! Ближе! И свое! Да, так, именно так, немцы умели думать и не зря выбрали тогда Копорье — при отце. И не зря отец прежде всего выбил их оттоль. Дмитрий уже не пораз осматривал место. Крутосклон, самой природою предназначенный для почти неприступной крепости. Под крепостью — торг, и Свейское тяжелое море, Балтийское море, под боком. Вот оно! А там — корабли, корабли, серебро щедрой рекой. Север, серебро и свобода! Быть может, та же свея, что сейчас ладит ратиться с ним, станет у него на службе или закованные в сталь немцы, также жадные до серебра,— бросить их туда, на татар... (Об этом не надо думать. Рано! Быть может, еще придется позвать татар на них, дабы обуздать орденских рыцарей.) Но все равно: открытые ворота, торговля, пути... Где-то

там страны, которые не дают ордынского выхода! Седая старина, наемные варяги Ярослава Мудрого, с коими тот добыл себе киевский стол, холодные тяжелые ветра Балтики...

Солью и ветром па́хнул воздух в ночной темноте, с терема сносило кровлю, и влажный поток врывался в изложницу. Когда-то лежал он так, безо сна, там, в Переяславле, и мучился от бессилия. Теперь... О, только опереться на море, пробить окно соленому ветру западных стран! Тогда не надо будет требовать с них печорской дани и черного бора, рискуя лишиться стола, тогда... Уже тогда и сами дадут. В ноги поклонятся ему!

Знает ли он, как велика и невозможна его мечта? Сколь долгие века пройдут, прежде чем совсем другие люди сумеют ее осуществить, построив град, и уже не в Копорье, а дальше, на топких брегах невского устья? Чует ли он безмерность грядущих путей?

Ветер, шальной и соленый, проходит над кровлей. Тяжелые сизые волны бегут и дробятся во тьме. Воля, ветер и власть!

ГЛАВА 39

Дорога бежит из ворот Переяславля, плавно подымаясь на угорье, мимо слобод и монастырей, селами и пашнями, лугами и бором, и через Дмитров, сквозь чащи, болота и дебри верхней Клязьмы убегает на юг, к маленькому городку Москве.

Кони ждут у крыльца, нетерпеливо встряхивают гривами. Данил Лексаныч, молодой князь московский, прощается с государыней-матерью, с княжьим теремом, со старухою нянькою, с дворней, с родимым Переяславлем.

Тоненький большеглазый десятилетний мальчик, с волосами светлыми, как неспелая рожь, с задумчивым и печальным взглядом, в белой полотняной рубашке стоит на крыльце. Мальчик провожает дядю Данила, и ему грустно. Данил выходит на крыльцо и подымает племянника на руки.

— Ну что, Ваня, будешь меня помнить?

Мальчик без улыбки кивает в ответ и тихонько отвечает:

— Буду.

Данил прижимает его к себе, гладит по светлым

шелковым волосам. Племянник Иван Дмитрич обнимает его за шею, хочет попросить: «Не уезжай!» Но ничего не говорит, знает, что ехать надо. Данил ставит Ваню на крыльцо, ерошит ему волосы: «Не грусти!» Улыбается.

Данил сегодня улыбается с утра, хочет сдержаться и не может, алые губы сами раздвигаются мальчишечьей счастливой улыбкой. Он с вечера сам проверил возы, что укладывали под надзором боярина Федора Юрьича, оружие и рухлядь, запас на первые дни и всякий хозяйственный снаряд. Не потому проверил, что не доверял Федору Юрьичу, а потому, что хотелось (впервые!) почувствовать себя наконец хозяином. Припас был свой, и оружие, и снаряд, и все тут было свое теперь. С этим начинать хозяйство там, в Москве, про которую он и посейчас знал лишь только, что «ловли там хорошие». И для ловлей тоже приготовлен припас: силки, капканы, сети, охотничьи стрелы, рогатины.

В особом ларце, в княжеском возке, сокровища. Не бог весть и какие: каменный ларец, как говорят, цесаря Августа, серебряные кубки, кольца, несколько серебряных поясков, один с камением, изукрашен, да золотая иконка, да крестик... Немного, да опять же свои. И дорогие одежды в коробьи тоже свои. Голубого шелка зипун с разрезными рукавами, бобровая шубка, бархатный опашень, несколько шелковых рубах, парчовый долгий сарафан для выходов да шапка, шитая серебром, с каменьями и с соболиной опушкой. В ней он будет сидеть в думе, принимать послов... Будут теперь и послы! В ней — править суд. И суд теперь будет он править, как полагается князю.

Кони нетерпеливо перебирают копытами. Мать-государыня выходит на крыльцо. Молодые бояре князя московского садятся в седла. Данил нарочито неторопливо, покачивая плечами, сходит по ступеням крыльца. Он весь угловатый, еще нескладный, как молодой породистый пес, и немножко смешно, когда он так вот изображает взрослого. Его большой нос на худом лице, худая шея, и эти никак не складывающиеся, сами улыбающиеся алые губы, и голос, низкий, но с невольными еще звонкими срывами — все упрямо свидетельствует, что владетельному хозяину московского удела еще только шестнадцать лет.

Государыня-мать, рыхлая, широкая, уж очень старая, смотрит на него с крыльца. «Женить нать! —

думает она, пока улыбающийся сын садится в седло и машет ей рукою.— Невеста, дочь муромского князя, уже почти присмотрена. Говорят, красивая. Надо самой поглядеть». Данил отъезжает. Кони, картинно ступая, пересекают Красную площадь. Позади остаются княжеские хоромы, белокаменный собор, шумный торг, слободские низкие домики...

Дмитров, где Данилу с дружиной чествовали в княжеском терему, остался позади. Едут лесом. Белки взлетают по стволам прямо перед мордами коней. Лоси лениво отбегают с дороги. Все в пятнах и кружеве солнечного света. Тут уже все свое: и лес, и белки и солнце, и медовый дух цветущего вереска, и незабудки — брызги небесной голубизны — тоже свои. Первая росчисть, первая деревня... Жарко. Пахнет разогретой смолой. Тонким дурманящим духом болиголова тянет с болот. Открываются поляны в белой кипени или в солнечно-желтом разливе цветов...

Ближе к Москве деревни пошли гуще. Мужики настороженно глядели вслед верхоконной дружине, гадая, к худу иль добру приезд незнакомых, судя по платью, боярчат.

Данила торопился. Обоз давно уже остался позади. На переправе через Клязьму их наконец встретили несколько московских бояр со слугами и дарами. Дары были бедноваты, и бояре смотрели скорее с любопытством, чем почтительно. С коней они не слезли. Старший из встречных бояринов ошибкой обратился было к ключнику, осанистому и видному собою Кочеве, приняв его за князя. Данил был одет как все, в простом платье. Протасий, заглядывая сбоку в напряженное, с сомкнутыми губами и двигающимся кадыком лицо Данилы, хотел было вмешаться, но Данил чуть повел головой, запрещая, и, дав боярину произнести уже первые слова приветствия, сказал резко, чуточку побледнев:

— Князь я.

Боярин огляделся и по смущению ключника, по напряженным лицам остальной дружины уразумел что-то, а внимательнее вглядевшись в закипающие гневом глаза молодого голенастого парня в холщовой распахнутой летней чуге, вдруг понял и начал торопливо слезать с коня. Спешились и остальные. Данил, двигая кадыком, продолжал молчать, скорее тоже от растерянности. Он совсем не представлял, что его так оскорбительно могут встретить. Но это и оказалось лучше всего.

Молчал он, молчала, натягивая поводья, дружина, молчал Протасий, решительно сжимая в кулаке тяжелую плеть, и спешившиеся москвичи, пересаливая в другую сторону, повалились в ноги. Скоро подскакал великокняжеский наместник, знавший Данилу в лицо, и тоже спешился с многословными извинениями: не ожидали князя-батюшку так скоро... Данил едва взглянул на дары, кивнул Протасию:

— Прими! — Обратившись к наместнику, спросил отрывисто: — Когда будет встреча?

Тот, переглянувшись с местными боярами и проводив глазами принятые и непринятые дары, уразумел в свою очередь и заверил, что торжественная встреча назначена на утро, а сейчас его только хотят проводить до ночлега и просят принять хлеб-соль. Данил глядел на него и через него и не шевелился. Протасий, двинувшийся было вперед, молча натянув поводья, вспятил коня. И опять Данил угадал правильно. Это была еще одна невежливость: подносить хлеб-соль прежде торжественной встречи не полагалось. Москвичи, воспрянувшие было при словах наместника, чуя затянувшееся молчание, опять запереглядывались. Данил, так и не ответив наместнику, повернулся к Протасию, дернул головой вбок:

— Пошли кого ни то!

Протасий решительно направил коня на бояр с хлебом-солью, и те торопливо стали заворачивать развернутое полотенце и садиться на коней. Скоро весь встречный отряд во главе с наместником и с людьми Данилы в опор ускакал вперед.

Данил ехал рядом с Протасием, который, напрягая мышцы, удерживал коня так, чтобы быть и рядом и на пол конской морды позади князя. Данил долго молчал, забыв свою давешнюю улыбку, которая всю дорогу не сходила у него с лица, потом сказал сквозь зубы, срывающимся голосом, глядя прямо перед собой:

— Они что, и здеся меня будут дразнить московским князем?!

Протасий, невольно улыбнувшись, вовремя прикусил губу...

Торжественно встречали их на другое утро. Данила, уже пересердившись, словно бы и не помнил вчерашнего. К тому же чин был полностью соблюден, дары (видно, что наспех собранные) обильны, московские бояре почтительны. Он опять не захотел ждать обоза,

помчался — теперь уже с сильно увеличившейся дружиной — вперед. К Москве подъезжали засветло. Ехали долиной речки Неглинки, уже густо распаханной, мимо череды изб и кое-где владельческих хором, изредка прерывающихся островками смешанного леса. На вырубках еще подымался густой веселый березняк, а уже под самым городом и он расступился, и открылась потемневшая бревенчатая крепостца на горе. «Вроде Клещина!» — отметил про себя Данила, умеряя ход лошади. Негустая толпа горожан выстроилась для встречи, тоже с хлебом-солью, которые поднес большой сивобородый дед. Данил, принимая хлеб, улыбнулся и сказал:

— Спасибо, дедушко!

Как-то само прорвалось, не подумал, от мальчишеских лет, а вышло опять хорошо. В толпе заулыбались, закивали князю.

Внутри крепостцы было десятка четыре хором, простых и боярских, рубленая церковка, торговый и ордынский дворы. Для князя приготовили хоромы, но Данила даже и при беглом взгляде на все увидел ветхость и запустение. И запустение было обидным, больше всего в небрежении гляделись боевая городня и княжой двор, словно бы уже и забыли про князей в этой лесной вятичской стороне!

После благодарственного молебна в церкви, после вечерней трапезы с дружиною и с местными боярами, уже оставшись один в изложнице, Данил как-то вдруг упал духом и затосковал. Он полежал, неспокойно пошевеливая плечами, потом встал, натянул сапоги, накинул на плечи зипун и вышел из покоя на галерейку. Ратник, что стоял на стороже, пошевелился, спросил почтительно:

— Не спится на новом, Данил Лексаныч?

— Да...— бегло улыбнувшись, отмолвил он, отходя к дальнему концу галерейки. Ратник, помявшись, задвинулся за угол, чтобы не мешать.

Данил остановился, вдыхая речной влажный воздух. Река светилась под горою, внизу. Редко розовели крохотные оконца хором. На кострах невысокой городни трепетали, потрескивая, факелы сторожи. Смутный шум то доносился, то таял. Чьи-то шаги хрустели внизу, да голос текущей воды непрестанно доносился из-под горы. Здесь было даже тише, чем на Клещине ночною порой, и Данилку совсем охватила грусть.

Нет, он, конечно, и не ждал кирпичных палат или узорчатых белокаменных храмов! А только чего-то все же хотелось другого, более сказочного, что ли... Он стоял, кусая губы, вдыхал ночной прохладный воздух, и все не приходило желанное, жданное всю дорогу чувство, что это свое, родное, кровное, наконец. Было — что чужое, незнакомое, даже враждебное. И дом был разрушен: не здесь и уже не там, откуда он уехал и где был дом тоже не его, а старшего брата, Дмитрия.

Обоз пришел на другой день к вечеру. Данила весь этот день принимал гостей с подарками, страшно устал, стараясь с первого раза запоминать всех и каждого, и все одно не запоминал. Голова начинала кружиться. Между делом узнал, что город богат, только не ухожен. Амбары стояли полнехоньки, великому князю шло отсюда немало, а кто-то сказал,— он так и не запомнил кто,— что «тута поискать по лесам — вдосталь народу, что и дани не дают никакой!» Поискать следовало, Данила совет запомнил.

На третий день, бросив все дела, Данил позвал Протасия проехаться верхами. С этого, пожалуй, стоило начинать: самому оглядеть хотя бы округу. Они шагом объехали городню, отмечая гнилые бревна, покосившийся частокол, щербатые свесы кровель над кострами. Взглянув на ремесленное, окологородье и лавки вдоль Москвы-реки, на низком берегу, они поворотили коней, миновали жидкий посад, переехали через легкий мостик на ту сторону Неглинной и выбрались в луга.

Данила молчал. Уже кустарник начал переходить в подлесок и крупные сосны, как первые стражи леса, оступили кругом, когда Данил, пробравшись через ельник, остановил коня. Чистая река струилась перед ними. Вода слегка, неприметно, пела. Над крутояром того берега прямо к обрыву подступали крупные стволы, а вдали и выше по течению виднелось большое село. Протасий подъехал, решившись нарушить молчание.

— Воробьево! — сказал он, поглядев за реку и тотчас на князя. Данила долго-долго молчал, и Протасий подумывал уже, не отъехать ли ему назад, к кучке ратников, что на расстоянии сопровождала князя, когда Данил обернулся к нему с медленной улыбкой.

— Тихо тут! Слышишь, как река журчит?

Когда возвращались и снова кругом объезжали крепость, поднявшись на гору, у самых городских ворот, Данила снова остановился, глядя на луг под горой,

неровно окаймленный редкою цепью домиков, переходящих на той стороне Неглинки в деревушки, прячущиеся меж перелесков и холмов. Протасий тоже остановился, гадая, о чем сейчас думает Данил Лексаныч? Он даже заглянул в лицо Даниле, которого за эти дни как-то невольно начинал чувствовать старше себя, хоть князь и был младше его двумя годами. Данил вздохнул, потом опять вздохнул, выпрямился, сказал тверже, чем прежнее:

— Мельницу поставим. Вона там! А здесь будет у нас площадь. Красная! Как в Переяславле! И торг тоже здесь!

Кони шагом протопотали в воротах, Данила ехал нарочито медленно. Миновали житный амбар, где сейчас из отверстых настежь ворот выносили кули с зерном и старый житничий, мельком поглядев на них и поклонившись князю, что-то отмечал на вощеной табличке.

— Утром вызови! — кивнул Данил Протасию.— Пущай доложит, кому отсылает хлеб.

— Понять не мочно! — говорил Данил Протасию на пятый день.— Должно тута быть княжеским селам! Все ж ты, Протасий, перемолви с наместником!

Братнин наместник, конечно, сказал, что, мол, сел нетути, а внове устроить и населить пришлым народом можно.

— Устроить! Населить! — гневался Данил. К счастью, приехал Федор Юрьич. Покряхтел, выслушал Данилу, его сбивчивые объяснения о селах и жалобы, что москвичи не признают своего князя.

— Признáют помаленьку! А села есть, селам как не быть! Дак хошь и не жили тута, а батюшка твой всюду имел, и от Михайлы Хоробрита должны были остаться, да и от Юрия Долгорукого... Тому хоть и многонько летов, а князево добро не ветшает. Бывал на той стороны, на Воробьевых горах? Съезди, воздух там легкой, здоровой — боры! Дак и села поглянь. Те села издревле княжески!

Тут же узналось, что села те сейчас за наместником.

— Пущай очищает! — кипел Данил.

— Ты не вдруг,— останавливал Федор Юрьич.— Ты кем тут ставлен? Братом. Братним наместником, значит. Он тута бояр собирал, встречу устроил, а ты — очищай! Он и очистит села, но не так, не срыву. Ты его

подорвешь и свою власть тоже не укрепишь. Да и не за им одним села те! Думу собрать и на думе высказать, пристойно чтоб. И не так обидно, не ему одному... Вообще — грамоты на землю посуживай, ты же князь!

Данила тотчас велел объявить о думе и что созывает всех вотчинников говорить о земле. Вечером, накануне, трапезовали с дружиной. Обсуждали грядущий день. Спорили, запивали медом. Толковали о том, что и им, пришлым Даниловым боярам, надлежит земля.

— Ты уж нас не забудь, княже! — шутили ратные.— Еще будем вспоминать, батюшка Данил Лексаныч, как сидели вместе за столом-то!

Данил усмехался, кивал, обещал.

С утра перед думой Данил волновался, как в училище. Зеркало куда-то запропастилось. Не стал звать слугу, отодвинул из-под рукомоя лохань с водой, дождался, когда уляжется рябь, осмотрел свое отражение в темной воде. Представил себя со стороны в этот миг, прыснул, не сдержавшись. Княжеская шапка чуть не свалилась в лохань.

Московские бояре украдкой переглядывались с наместником. Бояра Данилы все, кроме Федора Юрьича, были мальчишки и вид имели заносчивый. Молодой князь старался глядеть грозно, но губы выдавали — то и дело морщились непрошеною улыбкой.

Начал Протасий: «...о селах княжеских, которые исстари за князьями были, и на которых достоит князю сидети, и с которых достоит ему доходы имати, и кто те селы заял, и под кем они ныне, и како мощно села те князю московскому Данилу Лексанычу воротити...»

Заспорили яро:

— У Михайлы Ярославича были тут селы?!

— Дак тому давненько летов!

— Летов тридцать, да и поболе! Иное и запустело...

— Людей все прибавляется кажен год, то с Рязани, то с Чернигова бегут, а тут запустело?

— Доход в казну великого князя отколь идет?!

— Великому князю идет обчее, со всего княжества, а не с сел!

— Дак что, о селах тех к великому князю посылать?

Сел старых, ухоженных, было жалко. Но Дмитрий, занятый в Новгороде делами и войнами, вряд ли сейчас опалится на брата. Наместник покорился, за ним поко-

рились и другие, тем паче что о селах, где и какие суть, Данил вызнал заранее.

После думы Данил был весел и счастлив, но Федор Юрьич тотчас остудил его:

— Пошли, княже, приглядеть, скот бы не угнали!

Данил покраснел — как не сообразил сам! Вызвал дружину, разослал в разные концы, на Воробьевы горы послал Протасия.

На перевозе почему-то не оказалось лодок. Переплыли верхами. Скакали, подымались в гору. Встречу в темноте шло стадо.

— Куды? Заворачивай!

Пастухи нарочито бестолково хлопали кнутами, разгоняя скот. Протасий, ярея, обнажил саблю. Подействовало. Скоро сбитый табун двинулся обратно. До утра удалось воротить еще шесть конских и скотинных табунов, нагнать страху на посельских и старост. У других прошло не так гладко, где-то почти дошло до оружия, уже зазвенела сталь, двое-трое были поранены, кому-то пришлось даже и отступить.

С утра Данил принялся сам объезжать села. Осматривал хозяйство, принимал отчеты посельских и старост. Наученный Федором Юрьичем, всюду влезал сам, отстранял списки и приказывал отворять амбары, житницы, сенники. Пересчитывали скот. Мужиков собирали, объявляли им, что села теперь — княжевы. Страдникам, издольщикам и прочим зависимым пахарям долго приходилось объяснять, что они уже теперь своему прежнему господину ничего не должны, а должны одному московскому князю. Скоро раскрылось, где что было уведено. Данил несколько раз посылал дружину возвращать отогнанные стада, где и сами, уразумев, что князь не шутит, приводили скот, винились.

Чтобы отбить охоту перечить князю, Данил объявил, что все несудимые грамоты прежних князей теряют силу и он будет пересуживать и подтверждать владельческие грамоты сам, и только после осмотра сел и земель, а допрежь того сбор даней поручает своим боярам, а суд по всей волости берет на себя. Он вызвал московского мытника, вирников, посельских, всех перешерстил, кого-то выгнал, поставил своих. О суде, что отбирается у бояр и будет княжеским, доколе не подтвердят несудимых грамот, бирючи по три дня кричали на торгу и повестили по селам. Обиженный народ разом прихлынул на княжой двор. Данил с боярами

оправливал мужиков, разбирал тяжбы, посылал дружинников поглядеть на месте, как и что. Разрешил сам, по сказкам послухов, два-три спорных дела местных бояр и одну древнюю тяжбу о землях по Яузе, послав перемерить землю заново.

Среди прочих дел пришлось рядиться с ордынским баскаком, приехавшим вслед за Данилою для ханского надзора за новым князем; разрешать церковные дела; отпускать хлеб, рыбу и мед попам и причту, что прибыли по его зову из Никитского монастыря...

И уже готовили лес чинить городни, уже везли смолистые бревна на новый княжеский терем, уже суетились и заглядывали в глаза вчерашние местные насмешники и спесивцы.

Возчиков-древоделей Данил встречал сам. Везли бревна и тес, дубовую дрань на терем. Народ был веселый, здоровый, видно, что не изработанный еще, свежий народ. Нравились и лица — крупноносые, большеглазые, без боязливости этой, мерянской: не понять, то ли винится, то ли лукавит перед тобой?

— Ай, батюшка-князь, не круто затеваешь?

— Мечтаешь ли здеся сидеть али от нас куда в ино место?

— У нас место глухое, лесное, князи не держатся!

Возчики сгрудились вокруг Данилова коня.

— Михайло Хоробрит, твово батюшки брат, одно лето и высидел! А потом и не было никого, на нашей-то памяти все наместничали тута...

— А уж свой князь был бы, ино и мы не подгадим! Свой князь — порядку боле!

— Налоги буду брать со всех! — улыбаясь, отвечал Данил.

— Дак налоги-то бери, лихву бы не брали, а то на постой, да кормы, да так — поболе налога отдаем! Тому — бобра, иному — куницу, набольшему — соболя, да коням кормы, да посельским, тем и другим давай, всего много станет!

Один из мужиков, охлопав коня Данилы по морде, оправлял уздечку, кто-то трогал седло, оглаживал круп. Всем им хотелось верить, что князь не уедет, будет местный, свой, и Даниле стало даже жарко от этого неложного к нему сочувствия и неложного хотения, чтобы он остался у них и не уезжал никуда.

И когда уже обоз тронулся дальше и возчики, многажды оглядываясь, кричали ему приветственные

слова, Данил все стоял, не трогая коня, и все смотрел им вслед, и горячее чувство в груди ширилось, слагаясь в твердое решение: бросив все дела, начать немедленно объезд княжества, на который он еще как-то не решался до сих пор.

В объезде и осмотре княжества Данил провел все лето и часть осени. Он накоротко возвращался в Москву и уезжал вновь, совершив лишь самые первоочередные дела. Дружина его в дорогах менялась, и только один Протасий безотлучно находился при князе.

Они спустились по Москве до Мячкова, осматривая села, починки и деревни по обеим берегам реки. Воротясь, проехали по Пахре до Красного и даже выше, пробираясь сквозь густые лесные дебри. Потом осмотрели берега Москвы выше по течению, вплоть до Рузы и границ княжества с Можайской землей. Поднимались по Истре, изъездили из конца в конец до пределов княжества всю Клязьминскую пойму, были на Воре и на Уче, где Данил подарил Протасию в вотчину обширные земли на рубеже Дмитровского княжества. Обскакав берега Сходни, Неглинной и Яузы, Данил наделил землею своих ратников, подавав им усадьбы на посаде и под городом.

Местные бояре, напуганные указами Данилы, сами встречали князя, подносили дары, провожали на путях, униженно молили посудить грамоты на землю, что от дедов, прадедов... Данил смотрел, пересчитывал, мерил. Грамоты посуживать не торопился, отлагал до своего возвращения в Москву.

Много было мест совсем пустых, хоть и удобных, к коим стоило только приложить руки, скучавшим по крестьянскому топору и тупице.

— Богатая земля! — говорил Протасий.

— Богатая,— соглашался князь и добавлял: — У нас в Переяславле богаче! Ухожено более!

Находились деревни ничьи, с которых и даней не брали или брали случаем, от наезда к наезду. Обычно о том сказывали сами местные жители или бояре, чая снисхождения к себе от князя. Посылали кого-нибудь, иногда ехали и сами Данил с Протасием. В чащобе неожиданнс открывалась росчисть, на росчисти низкая, с односкатной, почти прямой кровлей, изба, перекрытая тройным слоем дерна. Толстая зевающая мордовка останавливается на пороге: «Моя не понимай!» Мужик вылезает погодя откуда-нибудь из лесу, сторожко под-

ходит, пытается сунуть Даниле лису или бобра. Узнавши, что князь, стоит в растерянности. Вокруг тишина, неподвижное, будто веками не меняющееся время. Все неизменно: лес, вода, пни, медвежьи следы в овсе.

— Крещеные? — спросит Протасий. В ответ новый зевок. Хозяйка всею пятерней расчесывает себе поясницу.

— Хрещены...

— Крест-то где?

— Хрест! А где-то у хозяина! Моя не знай!

На самой посконный, с поперечными красными нашитыми полосами, костыч, красный убрус на голове. Из-под засаленного, с каемкой грязи, убора — серебряные кольца. Когда отъезжают, стоит, смотрит, как красный мордовский идол.

ГЛАВА 40

Около Покрова приезжала государыня-мать. Осмотрев хозяйство и поругав девок, говорила о женитьбе.

Мать бестолково сказывала новости, и все как-то было мимо сознания. Про смерть ростовского князя, Бориса Васильковича, что заболел в Орде...

— Хотел постричься — жена, Марья, не дала,— сказывала Александра.— Думала, переможет. Теперь в монастырь уходит. Я уж на твою свадьбу погляжу, Данюша, и тоже в Княгинин монастырь, в свой...

Он наконец увидел ее замученный взгляд, дряблое, вконец расплывшееся тело. Приобнял за плечи:

— Еще поживешь, мамо!

Она утерла глаза кончиком плата. Александра стала почасту плакать, и это уже не вызывало участия даже у родных детей. Привычно было. И в монастырь собиралась привычно.

Федор Юрьич дважды уезжал во Владимир и возвращался. Был в Муроме. От имени Данилы к муромскому князю посылали сватов. Решала все мать сама, и Данил не спорил с нею. Разговоры о женитьбе велись давно, да и сам он все чаще начинал томиться от глухого неясного желания. Порою, наскакавшись на коне, не мог уснуть или вдруг просыпался и лежал, слушая, как туго ходит кровь. Если уж без баловства, дак и пора было поспешить со свадьбой...

Данила знал, конечно, про «это» и как «это» происходит. Слышал и рассказы, и глаз имел острый, запоминающий. Видал порою на купанье, ненароком, раздетых баб, а все же трудно мог представить себе девицу не в долгом платье, не в платке, да еще с открытыми ногами — то уж и совсем в голове не умещалось никак. И хоть сенные девки порой умильно взглядывали на молодого князя, иная, шмыгая мимо, по галерейке, норовила коснуться грудью или плечом, но ни с одной из них Данил так дела и не поимел. Стыдился, да и княжеское свое достоинство, столь недавно обретенное, берег. Казалось, поди на такое, дружина засмеет потом. Будут за спиной лясы точить... Поэтому он и свадебные дела предоставил матери; только уж когда подошло близко к делу, послал от себя, среди прочих Протасия. Густо покраснев, наказал:

— Поезжай с отцом. Дружкой моим... Поглень, какова невеста-то... Ну, на лицо и вообче...

Протасий кивнул, ответил серьезно, чтобы ничем не задеть князя:

— Погляжу! И батько мой не стал бы сватать, ежель какая некрасовитая. Так-то в муромском роду невесты справные. Ростовскую княгиню, вдову Бориса Васильковича, знаешь? Ну, дак ейная тетка будет!

Ближе к свадьбе Данил, забросив все прочие дела, занялся княжьим теремом. По подстылой земле и первому снегу везли и везли кирпичи, утварь, припас.

Ордынский баскак поднес подарки на будущую свадьбу: расписные чашки, пиалы тонкой выделки, сплошь изузоренные. Среди темных глин, зеленой поливы, резного дерева, жаркой меди и темно-блестящего серебра княжеской посуды хрупкие бело-узорные чашки поражали праздничным восточным великолепием. Женки мыли, скребли, оттирали песком, квасом и пивом — для цвета, янтарно-желтого, и хорошего духа — княжеские хоромы. Данил, хмурясь, входил в изложницу, осматривался, задирал голову. Шевеля бровя́ми, прикидывал: понравится ли избалованной (почему-то думал, что избалована роскошью, и робел) муромской княжне ее новое житье? Ему-то нравилось — плотники постарались на славу. И — как до блеска отглажены стены, и — как круглятся и тоже вытерты до блеска углы; и печь, беленая, украшенная зелеными изразцами и росписью, с отводом, чтобы топить по-белому, была хороша; и даренный баскаком ковер на полу, гладкий,

показавшийся сперва будто грубым,— с этими крупными, как плиты красно-коричнево-черными, по блекло-желтому, узорами,— тоже был хорош; и иконы суздальского письма (а одна, так даже и древней киевской работы); и посуда, русская и ордынская... А все же ловил он себя на том, что ему-то нравится потому, что сам, почти своими руками... Ведь еще весной и терема не было, не было ни думной палаты дубовой, новорубленой, ни новых опор под сенями, ни конюшен под стеною Детинца — Кремника, как они здесь все говорят,— ни коней в тех конюшнях... Не было и высоких хором Протасия, видных из окошка изложницы, по ту сторону от житного двора, не было новых островерхих кровель над кострами, ни той вон башни, не было и нового взвоза от пристани... Много чего не было! Но разве поймет? Оценит? Почует ли, что каждое бревно перетрогано руками, его руками, что рубили и мужики и дружина, что коней, которые повезут далекую невесту, минувшим вечером он вычистил сам, сам кормил и поил медвяною сытой? Должна понять! Я — князь! Должна оценить и увидеть! А если нет? А ежели надменно оглядит: как, мол, убого... Стыд! И как потом?!

Свадьбу решено было играть в Переяславле. Вроде бы и лучше так: и матери ближе, и всем прочим. И муромскому князю почет. Хоть не у него в терему — то было бы обидно Даниле,— но и не на Москве, а на полдороге как бы и — у великого князя Дмитрия, у самого... Но вроде бы и обидно слегка. Поди, тоже молча думают, куда уж, в Москву-то, в медвежий край...

Он бы не беспокоился так, знай, что Муром нынешний обеднел и оскудел народом, что былые княжеские сокровища утекли невозвратно, одно продано, другое расхищено, иное сгорело еще при Батые, что ни ратей прежних, ни гордости прежней древнего града, матери Рязанской земли, давно уже нет, и сам муромский князь рад-радехонек породниться с домом покойного великого Александра. Что выдать дочку (которой осенью исполнился уже пятнадцатый год) за младшего брата великого князя Дмитрия — это для него честь, и честь немалая. Запуганный резней и погромами в Рязанской земле, изнемогший в борьбе со своими же боярами, муромский князь боялся, наоборот, того, что свадьба почему-либо не состоится и что ему потом придется для любимицы дочери с горем и соро-

мом приискивать жениха среди липецких, воргольских или курских, вконец разоренных татарами князей, а то и выдавать ее за какого-нибудь владимирского боярина, а то даже и в Орду, на что намекал ему муромский баскак, откровенно любовавшийся подросшей княжеской дочерью.

Сама Овдотья, Дуня, молодая муромская княжна, давно уже гадала о женихах, с замиранием сердечным ждала брака и неясных, пугающих брачных радостей. К своим пятнадцати годам она уже и округлилась, и расцвела, ей уже «пора подошла», как говорили бабы. А когда девушке подошло время, там лишь бы жених сразу, на смотринах, понравился. Будут и совет и любовь у молодых, и все своим порядком, ладом да побытом пойдет — тут уж примета такая у стариков верная, никогда не подводит.

Сваты приезжали. Старший — владимирский боярин, Федор Юрьич. Сватам казали невесту в праздничной сряде. Невеста прохаживалась, взглядывала исподлобья. В глазах блеск, не скроешь, румянец от алого до темно-вишневого переливается по лицу, ноздри трепещутся, а сама статна, в поясу тонка, а на ногу легка... Переглянулись сваты, остались довольны. С возрастом придет и угодное мужам дородство женское. Не зазрит и князь Данила, невеста — хоть куда!

В Переяславле уже готовились. С деревень собирали певиц, Федор Юрьич сам ездил, выбирал, выспрашивал. Бабы поминали бывалошных девок-певиц, спорили, княжевские перепирались с криушкинскими — всякой честь попасть на княжую свадьбу.

— Ты гару́снее Татьяны-ти!

— А быват и гару́сна, да к иным не подстанет!

— А не на всякого гостя угодишь, коему по ндраву, а иной скажет: что ета вы притявкали, ничё не понятно, плоха песня, перепойтя! Там сбились, или чего ему не пондравится!

— Ну, дак на свадьбе не без того! И нову перепеваем!

О свадьбе в Переяславле толковали по всем деревням, благо Данилу тут все знали как своего. Певицы, собранные на княжом дворе, бегали глядеть на приезжую муромскую княжну. Только жених с невестою до самой свадьбы не видали друг друга. Овдотья уже приехала в Переяславль с нянькою и сенными боярышнями-девушками, а все не знала, какой он. С подарками

приезжал от московского князя молодой боярин, Протасий-Веньямин. Большеголовый, костистый, с серьезным лицом. Дуня только гадала: таков ли и сам князь или не таков? Хотелось другого какого-то.

Уже в самый канун ей показали жениха в окошко. Он ехал с боярами-дружками верхами. Вроде худой, носатый показался, но рассмотреть толком не смогла. Да и не поняла: тот ли? Так и гадала до самой свадьбы, тот или не тот?

А меж тем дело шло старинным побытом. Девичник собирали еще в Муроме. Тут уже только благословляли, накануне — водили в баню. В ночь перед свадьбой Овдотья спала с Сашей, ближней подружкой. Еще старуха нянька дремала в углу. Овдотья уже и уснуть не могла. Саша уютно посапывала рядом. Не в силах спать, Овдотья перевернулась в постели и обняла Сашуху, просунув руку ей под потную шею. Притянула к себе, стала гладить, стараясь представить, как завтра так же будет лежать с московским женихом. (Стыд какой!) И от стыда, желанного, сладко-страшного, она теснее прижала подружку, забираясь рукой под ее скрещенные ладони к теплым упругим девичьим грудям.

— Ты что, Дунь? — сонно пробормотала Сашуха.— Щёкотно! — И, просыпаясь, опрокидываясь на спину, тихо рассмеялась: — Подожди до завтрева, натешишься ужо!

— Саш, а он хороший?

— Хто их знат! Норов на личе не писан! Бают, добрый... Бывat и злодей, а до жены добер, а быват до людей добер, а жены и не нать ему! Всяко быват!

— Ну, меня пущай посмеет не залюбить! — раздувая ноздри, пригрозила Овдотья.

— А что ты сделашь?

— Что?! Задавлю!

— Ой, скаженна, пусти!

Не отпуская Сашуху, Овдотья повернула ее на себя и, притиснув, шептала:

— Молви, любишь ай нет? Любишь? Любишь?!

— Люблю, пусти, задавишь, Дунька!

— Целуй!.. Не так! С парнями целовалась ли когда? Не в игре, а по правде? Скажи!

— Раз только...— пряча лицо, прошептала девушка.

— Ну и... чего было-то?

— А чего... Голова закружилась враз...

— А я и не целовалась ни разу...— задумчиво от-

молвила Овдотья, откидываясь на подушку. И вдруг принялась тормошить и щипать подружку, приговаривая вполголоса:

— Не смей целоваться с парнями, не смей целоваться, не смей! Не смей! Не смей!!

— Тише вы,— спросонок пробормотала старуха нянька.— Угомону нет на вас...

Овдотья, глубоко вздохнув, замолчала, задышала ровно, но еще долго не̂ могла смежить глаз, глядя в чуть редеющую темноту слюдяного окошечка опочивальни... Какое уж тут ложенье!

С утра девушки расплетали косу. Крестный — любимый, старый, девчонкой все на руках носил, баловал пуще родителя-батюшки,— благословлял ее хлебом-солью. Овдотья дома, как ни слезили, не плакала, так уж всхлипывала голосом без слез, чтобы люди не зазрили, а тут, когда крестный сказал: «Наделяю хлебом-солью и божией милостью!» — и она увидела, как слегка дрожит каравай, а потом — старые морщинистые руки крестного и его лицо с доброй беспомощной улыбкой, и по этой улыбке, а пуще по дрожи в руках, почувствовала в нем беззащитность и угасание, разревелась в три ручья, сама толком не могла объяснить почему, так что пришлось после вином обтирать лицо.

А когда уже расселись гости, и свекровь, седая, толстая, поместилась за столами, и наконец ввели жениха, всю ее бросило в жар, щеки взялись полымем и очей возвесть не могла поначалу, а только меж ресниц поглядела, и прежде губы его в глаза бросились, сочные, яркие и совсем детские еще, мальчишечьи, и потом уж нахрабрилась, поглядела в глаза, а у него глаза сияют, и правда носатый, худой, жадный,— так сердце и прыгнуло: да какой же он мальчик, да какой же смешной и какой хороший, верно! И уже ничего не понимала, словно несло, и слышала, что поют, да и пели про то же:

Разлило-ось, разлеле-еялось,
По лугам вода вешняя,
По болотам осённая,
Унесло, улелеяло
Со двора три кораблика:
Уж как первой корабель плывет —
С сундуками-оковами,
А второй-от корабль плывет —
С одеялы собольими,
Уж как третий корабель плывет
Со душой красной девицей...

И не шла — плыла словно, и в церкви плыла, не чуяла ног, как повели вокруг аналоя, не чуяла холода, как выходила на снег в венечном уборе... И за большим столом все как кружилось и пело в ней и вокруг нее. А кормили их — ел жадно, торопился, и желваки у рта движутся, а не про еду, про нее думает и не чует ведь, чего и ест! Данил. Данил Лексаныч. Данилка!

И губы же оказались у него, когда им велели целоваться за большим столом! Мягкие, жаркие, нежные-нежные. А верно Сашуха сказывала, у самой голова пошла кругом! И не в стыд было целоваться, просто никого и ничего не видела вокруг, кроме него...

Когда повели спать в холодную горницу, все делала как во сне. Он тоже, видно, смущался. Пробурчал: «Отвернись!» — стеснялся раздеваться перед ней, хоть и в темноте.

И вот они лежат, успокоенные, и Данил, весь еще в сознании мужской гордости и с новым каким-то чувством, ответственности что ли, шепчет, рассказывая: «У меня там новый терем... Осенью рубили... Смолой еще пахнет...» Она кивает, не подымая головы, не открывая спрятанного у него на груди лица, теснее прижимается, может, и не слышит вовсе. А в дверь стучат, и надо вставать, умываться и выходить к гостям.

— Давай никуда не пойдем! — просит Овдотья горячим шепотом, когда сваха заколотилась в дверь.

— Нельзя, надо! — нехотя отзывается Данил, но еще и сам лежит, приотпустив ее, слушая настойчивый стук и веселый голос свахи. Такой был покой сейчас — ничего не хотелось уже...

Назавтра, отгуляв день, пороли свата, Федора Юрьича. А он явился чудно разряженный, с привязанной редкой бородой, в какой-то вывороченной шубе. То был серьезный боярин, а тут — откуда что! Озорно глянул, отдуваясь, пробежал округ терема. С гиканьем и улюлюканьем пестро разряженные гости гнались за ним. Сват полез на кровлю, тес трещал под его тушей. Боярина тащили вниз. Уже несли лавку, валили с хохотом, уже взвился соломенный кнут.

— Охо-хо! — кричал Федор Юрьич.— Матушка, голубушка, заступи!

Алея лицом, Овдотья бросила на спину свата кусок старинной цареградской парчи.

— Вот так покрыла! — охнули в толпе.

Боярин неспешно поднимался, пряча улыбку в боро-

де, взвел бровь, слегка подкидывая сверкающую ткань — недаром лёжано! — поклонился невесте.

Гуляли и еще день, кормили и поили полгорода, на дворе, по клетям, на сенях и в молодечной — всюду, пили, ели, плясали и орали песни. И хотя знатных гостей было мало,— из князей приехал только Ярослав Дмитрич Юрьевский, прочие отделались поздравлениями и поминками — свадьба все равно прошла весело и долго напоминалась всеми в округе.

Отгуляв, молодые тотчас выехали в Москву.

ГЛАВА 41

Дедяков был взят приступом русских ратей в феврале. Весной полки возвращались из похода. Менгу-Тимур щедро угощал и дарил русских князей в своей ставке. Ратники и воеводы ополонились. Берегом Волги гнали табуны коней. Тяжело груженные полоном и рухлядью лодки шли где на веслах, а где и бечевой, одолевая стремительное течение весенней волжской воды. И грести и тянуть было трудно, люди устали, отощали, оборвались. По пятам за ратью двигалась непонятная черная хворь, от нее делались нарывы на теле и люди умирали, кашляя кровью. И все-таки шли веселые: домой! Казалось, только добрести до своих палестин, там и болесть отстанет.

От Нижнего рать ручейками стала растекаться по сторонам. И уже женки выбегали следить обожженных солнцем, ветрами и стужей мужиков в иноземных халатах и шапках и кидались на шею, и уже где-то подымался вой по убитому, пропавшему без вести или погибнувшему черною смертью.

Ручеек, докатившийся до Княжева, донес весть о двух погинувших. Проху Дрозда с Криушкина убили на приступе, и не вернулся Козел. Но про этого сказывали ратные, что жив, да не похотел ворочаться, пристал куды-то в Орде. Погоревала Фрося, поревела, и то не знала, реветь али нет? Ставить ли свечки, заказывать ли панихиду — дак ежели живой!

— Вот как за всю мою заботу да за труды! Сколь убивалась, пока ро́стила, ночей не спала, хлеба недоедала! Бросил матерь, и на́ поди! — причитывала Фрося, сидя в избе у Михалкиных, и раскачивалась на лавке. Мать Федора утешала, как могла:

— Мой тоже в Новгороди и глаз не кажет! Любанку свою бросил, уж ждала, убивалась. Походит замуж теперь! — сказывала она, забывая, что сама запрещала когда-то Федору эту женитьбу и ругала «кухмерьскую родню».

Мор гулял по Руси два года. Умирали в избах, умирали в боярских хоромах и княжеских теремах. Умер в Суздале князь Юрий, и на стол сел его брат, Михаил Андреевич; умерла в Ярославле Марина Ольговна, развязав окончательно руки Федору Ростиславичу Чермному, который поторопился прибрать к рукам ее села и склонить под свою руку бояр. И в тот же год скончался от моровой болезни Михаил Ростиславич, освободив смоленский стол для Федора Чермного. И Федор, оставя Ярославль на бояр, кинулся с дружиной к Смоленску. Уже в его голове, воспаленной нежданной удачей, роились планы, как, забрав Ярославль и Смоленск, начать — с татарской помочью — прибирать к рукам прочие города и княжества. Уже он с холодным ожесточением готовился предать, ежели будет нужно, своего союзника Андрея Городецкого — лишь бы урвать кус пожирнее.

Андрей меж тем собирал силы, обкладывая новыми и новыми данями Кострому и Нижний. Раздраженные поборами города глухо волновались. В душном предвестии близких грозовых лет незаметно угасла Александра Брячеславна, великая княгиня, вдова Александра Невского. Вскоре после свадьбы младшего сына она постриглась в Княгинином монастыре и там, поскольку уже все сделала, что могла и умела, как-то сразу слегла. И больше не вставала с одра. Неизвестно, хотела ли она повидать сыновей перед кончиной. Они съехались на тризну матери, едва ли не последний раз встретившись как братья, а не как враги. Озабоченный Дмитрий, оторвавший себя на малое время от строительных, ратных и торговых новгородских дел, который и здесь, у могилы матери, продолжал думать о Копорской крепости; хмурый Андрей, обожженный солнцем степей, с одною мыслью, из-за которой он уже не мог смотреть в глаза старшему брату; веселый Данила, при коем старшие братья только и могли еще как-то общаться между собой... Съехались, отпировали и тут же разлетелись врозь. Один в Новгород — смещать посад-

ника, ссориться с мужами Софийской стороны и строить свою крепость; другой к себе в Москву — строиться и заводить новые села; третий в Кострому — рядиться по настойчивому совету Семена Тонильевича с Федором Ярославским и влезать в ростовские дела.

Что-то страшное, как нутряная болесть, разъедало землю и, подобное зловонным пузырям болотной гнили, отравляло самый воздух страны. Все и вся тянули поврозь, забывая и думать о том, о чем печалились, к чему призывали провидцы и пророки, чаявшие света духовного. И дети становились хуже отцов, и уже некому становилось хранить заветы великой старины.

ГЛАВА 42

Неподобное творилось ныне в древнем Ростовском дому. После Бориса Васильковича на стол сел его брат, князь Глеб Белозерский, но Глеба через год самого свалила моровая болезнь. В Ростове началась грызня племянников, детей покойного Бориса Васильковича. Старший из них, Дмитрий Борисович, уже давно прибирал к рукам город и Ростовскую волость. Когда Константин (женившийся-таки на Олимпиаде, дочери Давыда Явидовича) ушел в поход под Дедяков, Дмитрий Борисович воротился из Сарая домой. Поход разделил братьев широкой межой. Дмитрий тогда повез из Сарая умирающего отца домой и остался в Ростове, не изведав ни трудов, ни тягот далекой степной войны. И теперь стало ясно, что распадается Ростовский дом, что с бабкой Марией умерло и с отцом окончилось то старинное, милое, хрупкое, чему трудно было теперь даже дать название. Иные ветра продували насквозь их древний терем. Константин с раздражением представлял, что было бы с изысканным Дмитрием, с его строгим платьем, кровным конем, с его брезгливостью и холодными глазами князя древних кровей в черных песках? Эти кости, и гниющее мясо, и тяжелые степные орлы, и вóроны на падали... И режущие лицо ледяные ветра, и ледяной снег, и необозримые массы конницы, движущейся через ветер. Он теперь лучше, пожалуй, начал понимать татар. Но Дмитрий ничего не хотел понимать! Может быть, он, Константин, просто огрубел? Олимпиада иногда морщится от его слов, повадок, привезенных из похода... Но и Дмитрий

огрубел, огрубел, никуда не ездивши. У него появились жестокость и упрямство во взгляде, въедливая мелочность в расчете о доходах, селах, вирах, имуществе, которое до сих пор они и не думали делить. Он многого сумел добиться за эту зиму. Его слушались беспрекословно в ростовском терему. И Константин нет-нет да и задумывался, как сложатся отношения у старшего брата с дядей Глебом теперь, после того, как Глеб занял ростовский стол. Но страшнее всего и горше всего становилось от мыслей, что уже не воротится время, когда тоненькая Олимпиада бегала от него в горелки и он хватал ее за плечи... На чем все держалось и можно ли было удержать?! Детский девичий смех, толстые переплеты старинных книг, тонкие старческие невесомые руки бабушки Марии Михайловны, изысканный разговор... И вóроны над падалью в дикой степи, и тяжелая пыль над табунами коней и проходящей ратью, и режущий холод степей, и ночевки в снегу, и кибитки в пыли, и пот, и грязь, и конский несмываемый дух, и коршуны кругами в выжженной солнцем дожелта небесной голубизне...

Смерть Глеба разом обнажила скопившееся зло. Дмитрий Борисович, сев на ростовский стол, тут же наложил руку на пригородные села двоюродного брата, «татарчонка», Михаила Глебовича и «поотнимал их у Михаила со грехом и неправдою». Воротясь весной из нового ордынского похода, Михаил уже не получил ничего из ростовских владений отца и уехал к себе, в Белозерск. Великий князь Дмитрий Александрович был занят в Новгороде и помочь Михаилу не смог.

Но и бóльшее зло сотворилось в Ростовской земле! Епископ Игнатий схоронил князя Глеба в соборе Ростова, но через девять недель изверг тело, распорядившись тайно, ночью, перевезти во Владимир и зарыть в Княгинином монастыре. Известие всколыхнуло всех неслыханной мерзостностью поступка. Мстили живым, мертвых до сих пор не трогал никто.

Передавали о каких-то церковных упущениях, якобы совершенных покойным князем, но, вернее всего, и тут поступлено было по требованию Дмитрия Борисовича, который теперь захотел доказать всему миру то, в чем он когда-то, еще подростком, убеждал Андрея Городецкого: «Князь может делать все, что захочет»...

Лето 1280 года было грозовым, ветреным. Бурею рвало и разметывало хоромы, грозные ливни прокатыва-

лись над землей. Казалось, природа громами и вихрем тоже предвещает беду. Впрочем, мор утихал, а грозы — толковали старики — к доброму урожаю.

ГЛАВА 43

К Дмитрову подъезжали засветло. Федор еще не был здесь со смерти князя Давыда и несколько беспокоился, как их встретят. Он переложил поводья из правой руки в левую и безотчетно ощупал грудь. Кошель с грамотами висел у него на груди под ферязью на прочном кожаном гайтане и был так привычен телу, что порой переставал ощущаться, и тогда рука сама трогала, проверяя, дорогой груз. Четверо ратных трусили вслед за гонцом великого князя владимирского. Грамоты были важные, и Федору придали нынче четырех провожатых вместо двух. Он уже второй год ездил в гонцах, сперва подручным, потом и старшим стали посылать, увидя, что не пьет излиха, а с делом справляется толково и в срок. Федор побывал уже во многих городах, а теперь путь его лежал в Москву, ко князю Даниле. Откуда-то с детских лет подымалось воспоминание о «московском князе» и гасло. Князь есть князь. Примут грамоты, расспросят. Нужно не уронить себя перед думными боярами: честь княжого посла — честь самого великого князя. Нужно передать все приветы и поклоны, не забыть затверженных наизусть, помимо грамоты, дел и речей...

Дорога, виясь, огибала шевелящиеся под ветром, как шубой одетые лесом холмы. Пашни разбегались все шире, здесь, в изножиях холмов, в затишках, солнце палило не шутя. Мужики пахали, доканчивали. В долгих, чуть не до пят, посконных рубахах, скинув лишние порты. В штанах за лошадью не набегаешь, и то рубаха — выжми. А так и обдувает малость по ногам, и комара еще того нет, не заест. Мельком напомнилось: «Как-то у нас с пашней?» Федор и Грикша оба теперь были и в справе изрядной, и серебро не переводилось, а с пашней — горе одно. Нанять — поди их весной найми, лишние руки! Да и как наймит сделает! Только исковыряет землю. Мать кланялась родне, носила подарки. Дал бы князь землю, что ли! Своих бы хоть две души крестьян, чтоб с хлебом не маяться! Иным дает, у кого и так довольно. Большим боярам

вон сотни рук работают! Федор сплюнул, отворотился. Грачи тучами носились над дорогой, смешно переваливаясь, бегали по черным бороздам, следом за пахарями, хлопотливо выбирали червей. Позже, от зерна, этих же грачей гонять — не выгонишь!

Дмитров должен был быть уже скоро. Ночлег всяко будет и при новом князе! Где это бывало, чтобы гонца да плохо приняли! За ночлег, харч, корм лошадям Федор, разумеется, не боялся. В любой деревне все это гонцу дадут безо всякой платы, старосты отводят постой в самых справных домах. Но хотелось доброго отдыха, бани, хотелось привести себя в порядок, чтобы предстать перед московским князем не с пути, в поту и пыли, с этим зудом под рубахою и в волосах. У иных хозяев вшей полным-полно. Как-то мать вела дом — редко и в головах-то искали!

В Дмитрове, однако, приняли — лучше не надо. Может, потому, что и дмитровскому князю были вести из Новгорода. Ратники выпарились, вычесались, переоболоклись во все новое, коням устроили дневку. Отдохнули справно. Отдохнули и кони, сытно отъевшиеся княжеским ячменем, и уже весело бежали по лесистой московской дороге.

Москва показалась ввечеру. Деревянная, пестрая от белотесаных заплат и еще не обветренных новых бревен крепость на холме. Над городней проглядывали, тоже светлые, верхи новых хором и маковицы двух церковок. Федор усмехнулся: невелик город у Данилы Лексаныча! И погасил усмешку. Встречу скакали трое верхоконных. С вышки, что ль, увидали? Блюдут! Он еще издали, коснувшись шапки, поздоровался с приближающимся дружинником.

— Отколе?

— Гонец великого князя владимирского! — повелительно прокричал Федор в ответ, выпрямляясь в седле. Дружинники враз заворотили коней и поскакали посторонь, на полкрупа позади Федора, а третий во весь опор помчался вперед, к воротам. И по тому, как старательно они все это проделали, видно было, что великокняжеские гонцы здесь не часты.

В крепости все было деревянным и многое — увидел Федор — недавно возведено. Где светло-серые, чуть обветренные, где бело-розовые на закатном солнце бревна, притухающее, но все еще многолюдство снующих мужиков — все говорило, что московский князь въелся

в дело и даром времени не теряет. Мельком разглядел заворачивающую телегу: проблеснувший железный обод нового колеса, крепких, сытых коней (значит, до весны и сена и жита им хватало с избытком!). Еще от ворот узрелись лодьи на реке, и наметанным глазом по едва заметным приметам Федор узнал новгородских вездесущих купцов. Их встретил городовой боярин, отвел на ночлег. После шестидесятиверстной скачки ноги плохо слушались и все качалось. Ели, обжигаясь, жирные горячие щи, черпали кашу, а глаза уже слипались, да и нечего было особо разгуливать. Утром — предупредил уже давешний боярин, которому Федор отдал дорожную грамоту — ко князю.

Он проснулся ночью сам, словно толкнули. Полежал, встал. Мужики храпели на попонах. Вышел под зеленое предрассветное небо, под холодеющие звезды. Сторож на башне ударил в било. Звук пронесся над притихшей крепостью, отозвался над рекою и, повисев, сник, растворился в тишине. В стороне, у житных амбаров, чуть пошевелились закутанные в долгие тулупы сторожи.

— Эй ты! — окликнул один.— Не спится? Как там, в Новом Городе?

— Бывал ле? — ответил Федор вопросом на вопрос.

— Бывал! Спроси, где я не бывал! И в Ростове бывал, и на Двину хаживал!

— Хорошо тут?

— А Бога не гневим! Князь добер. Вострог.тазый. Порядок при ем настал. Тут спервоначалу мечтали: посидит да и улетит. Ан нет, села забрал, которы свои, не поглядел на наших бояр, да и наместника поприжал самого. Суд правит тоже сам. Купцов нонече навалом. Знают, у мыта свое положи — боле не тронут тебя, торгуй, как хошь. Строится, почитай весь Кремник обновил! Монастырь поставил за рекой, архимандрита там посадил, с Переяславля, что ль, созвал...

Ратнику явно хотелось поболтать, да и Федор не останавливал, самому было любопытно. В Ростове да Новгороде мало и вспоминали про Данилу Московского. Он снова оглядывал все более четко вылеплявшиеся на светлеющем небе кучи крыш, ровный обрез городни и как бы висящие над нею дощатые кровли костров, под которыми стояли или похаживали бессонные сторожа. Жаль, ратный не мог вспомнить имени переяславского архимандрита — може, знакомый какой?

Впрочем, Грикша скажет! Он ведь сам сюда ездил, возил утварь да книги из Никитского монастыря!

«И чего я дичился так?» — подумал Федор, уже с некоторым раскаянием вспоминая недавние детские годы. Он поймал себя на искушении сказать ратному, что знавал князя Данилу по Переяславлю, но сдержался. Негоже было этим хвастать, тем паче здесь.

Уже совсем осветлело. Вдали, над краем леса, видного немного по-за верхом городни, поднялся столб светлого, не колеблемого ветром огня, постоял, разгораясь все ярче, словно поднятый в небеса светящийся меч, и вот наконец раскаленный золотой краешек светлого утреннего солнца вылез из-за холма. Косые брызги озолотили верха костров и кровли, желтое тепло зажгло рудовые бревна городень, и скоро ослепительные лучи хлынули в глаза так, что оба, и Федор и ратный, зажмурились, и сразу, будто ожидавшие солнца, разноголосо запели петухи. Над Москвою подымался рассвет.

Его проводили в думную палату. Федор ступил через порог, заученным движением сняв шапку, отвесил поясной поклон и снова надел шапку (в думе княжеской шапок не снимали). Князь сидел на невысоком резном креслице. Федор, остановясь на должном расстоянии, не глядя в глаза, громко передал поклон от великого князя Дмитрия младшему брату Даниле Лексанычу и поклонился снова.

— ...Шлет о новгородских делах! — Он протянул свернутую и запечатанную грамоту. Боярин принял грамоту из его рук и передал князю. Федор, как гонец, должен был только передать послание (посол читал бы сейчас грамоту вслух, но для посольского дела посылают уже боярина). Грамоту прочтут без него, хотя Федор знал и сам содержание великокняжеского письма. В Новгороде стало совсем плохо, и Дмитрий Лексаныч посылал к братьям о возможной войне с Новгородом.

Пока принимали и передавали свиток, Федор лучше всмотрелся в князя. Данил Лексаныч возмужал. Бородка сильно изменила его лицо, и Федор подумал вдруг, что и его самого с бородою, пожалуй, князь не узнает. Данил держался как подобало по уставу. Сидел прямо, не шевелясь, соблюдая весь чин. Федор представил, как будет выглядеть московский князь, когда поседеет его светлая борода, пролягут морщины от горбатого

носа, прибавится дородства, а светло-красные губы потемнеют и сморщатся. («Да ведь и мне тоже стареть!» — Как-то впервые это задело сознание.) Князь тоже пристально вглядывался в Федора и что-то сказал боярину справа от себя, но его самого ни о чем не спросил. «Ну что ж, так и нать!» — подумал Федор, покидая думный покой. На переходе его окликнул давешний городовой боярин, что брал грамоты, и Федор сперва понадеялся, что воротят, но боярин просто хотел от себя расспросить Федора о Новгороде, и ему пришлось участвовать в долгом разговоре с ним и еще двумя боярами, одного из которых, костистого, высокого, с серьезным, большим, словно бы немецким лицом, он где-то, кажется, видел. У орденских немцев, что приезжают в Новгород, бывают такие лица: прямоугольно-большие, с тяжелой челюстью, твердые, словно из одних мускулов и костей, только у тех — жестче. Боярина звали Веньямин, и только уж когда первый боярин назвал его Протасием, Федор вспомнил враз, где он его видел. Ну да, во Владимире, вместе с Данилой!

Посольское дело и беседа с боярами порядком утомили Федора. Отобедав и выяснив, что он боле сегодня не надобен, Федор отпустил ратных и сам, оседлав коня, поехал со двора поглядеть город и посад, которых он еще толком не видал.

В рядах москвичи продавали глиняные свистульки, неровно облитые зеленой поливой, горшки, железный и скобяной товар. Кованое узорочье было только про себя: медные и серебряные кольца на вятичей, бусы. Кое-какой годный товар был лишь у тверских да новгородских купцов. Впрочем, сидел на самом низу, у воды, какой-то не то бухарец, не то персиянец с коврами. «Еще не было летнего привозу»,— догадался Федор. Зато снедь была всякая возами: рыбу, соленые грибы, бочки квашеной капусты предлагали нипочем — видно, спешили распродать остаток с зимы. Покупатели тыкали пальцами, кобырялись, пробовали, брали на зуб. Федора, который не слезал с коня и шагом ехал по рядам, то окликали из лавок, льстиво называя боярином, то поругивали: «Ишь, ворона на корове! Чеботы замарать боязно ему!» — пихая кулаком или замахиваясь перед мордой коня.

— Чей будешь-то?

— Переяславськой! — отзывался Федор.

— Бояриц ай нет?

— Ратник!

— Каки грамоты привез? — спрашивали, где-то уже вызнав, что незнакомый ратник — гонец.— Не ратиться ли зовут?!

Его оступили. Мужики были востролицые, глазастые. Где и дознались, черти! Федор отшучивался:

— Вам тута надоть маленько поратиться, а то забудете, как и рогатину держат!

— Ничо, наше от нас не уйдет! — возражали мужики.

— Отколь счас-то? Из Нова Города? Велик? Чать, поболе Москвы?

— Да сказать, не соврать,— приодержав коня, серьезно отмолвил Федор,— раз в сто, а то и более!

Мужики присвистнули.

— И терема камянны есь?

— Больше церквы,— отвечал Федор,— и в Детинце и на посаде.

— Що тако Детинец? — не понял кто-то, ему ответили сами.

— Кремник, ну!

— А терема как у вас, но только выше гораздо, раза в два, а то и в три...— Федор прикинул на глаз.— И в четыре раза выше есть. И улицы мощены, ходят посуху.

— Новгородци баяли о том, да кактось не верится! А ты сам-то каков, не брешешь?

— Переславской, уже баял он, уши открой!

— Да ты стой, паря, сойди с коня-то, чать не украдут! Давай хоть ко мне! Вали, братва!

Во дворе и в доме у хозяина встретил непереносный дух мокнущих кож. Федор покрутил головой, мужики заметили:

— А нам ништо! Привыкши, дак и не чуем!

Мужики густо набились в избу. Кто-то приволок корчагу хмельного.

В дверь уже лезли любопытные бабы.

— А вы куды, толстожопые!

— А нам охотца тоже поглядеть, каков таков гонец?

— Подьте, подьте, у его баба есь!

— Чать не зазрит! Она и не увидит оттоль! — прыснули женки.

— Вот ты гришь, новгородцы князя выбирают! — не отставал сухощавый,— дак там свои все, кто по

родству-кумовству, а у нас тута Христов сбор, кто отколь, и не знаем один другого! Не так за себя, как за боярина держишься! Вона, Птаха, тоже к боярину пристал ко свому! Боярин его с Рязани убег тож, ну и приветил. Худо не худо, а хату дал!

— Все порознь, дак тут не то что князя, старосту уличного не заможем выбрать!

Мужики, перекоряясь, заспорили о своем. Федор посидел, распрощался, вышел. Конь хрупал сено во дворе. Федор немножко проехал берегом реки, до крутояра. Здесь еще одна речка впадала в Москву. На той стороне в вечернем пронзительном свете четко рисовался монастырь, куда брат возил кресты, книги, облачения и прочую рухлядь. Захотелось съездить туда, да не знал, как. Мост был один, наплавной, под самым Кремником, и Федор воротился назад.

Они поужинали в посольской избе и уже было сряжались спать, когда за ним пришли. Федор живо опоясался и с бьющимся сердцем, веря и не веря, пошел следом за посланцем. Провели какими-то задними дворами, мимо конюшен. На крыльце его перенял придверник и, приотворив толстые створы, кивнул в темноту:

— Князь звал!

Федор чуть не споткнулся о порог. В темноте отворилась вторая дверь, и его втолкнули в освещенную светелку. Отсюда другой слуга провел Федора еще через одни двери в княжескую опочивальню. Увидя Данилу близко, в простом платье, Федор, хоть и ждал встречи, все же растерялся и, не зная, как себя держать, молча поклонился князю.

— Садись! — весело сказал Данила. Федор сел и как-то опять не ведал, о чем говорить.— А я тебя не враз и узнал! — примолвил Данил.— После уж спросил у Протасия, тот бает: «Федя и есть!» Он-то тебя сразу вызнал! («А виду не показал»,— подумал Федор. Хотел было сказать, что тоже не сразу узнал Протасия, но поперхнулся, глупо было бы себя сравнивать с боярином.)

— А я женился! — широко, по-детски улыбнулся Данил, и у Федора стронулось в душе. Он тоже улыбнулся.

— Знаю. На свадьбе на твоей пела наша соседка, Олена, ближня материна!

— А ты? Помнишь, ты баял еще во Владимире про зазнобу про свою?

— Расстались...

Зашла княгиня. Федор встал и отвесил поясной поклон.

— Наш, переславской, вместе были в училище с им! — представил Данил. Княгиня обожгла Федю горячим взглядом, в очах трепетал смех, переглянулась с мужем, налила меду. На серебряном подносе подала Федору. Когда он выпил, поцеловала, едва тронув губами, и его опять как окатило горячей волной. Он в чем-то смутно позавидовал Даниле. Когда княгиня вышла, Данил, понизив голос, сказал с гордостью:

— Сына ждем!

Федор, постаравшись придать голосу деловую сухость, стал кратко передавать о новгородских делах. То, чего не доложил из утра. Но Данил посреди речи вдруг, вздохнув, выронил:

— А я ведь и не был в Новгороде!

Обрадованный Федор начал рассказывать своими словами о красоте градской, о храмах, торговле, людях.

— Погоди! — остановил его Данил и снова позвал княгиню. Она села, вольно уронив белые руки на колени и тоже приготовилась внимать рассказу. Речь Федора лилась складно, и его слушали с удовольствием, долго не прерывая, и князь и княгиня.

— А помнишь, ты хотел когда-то бежать в Новгород? — спросил Данил.

— Да вот... Исполнилось! — густо зарумянившись, отозвался Федор.

Разговор воротился к посольским делам. Княгиня, опять переглянувшись с мужем, плавно поднялась, кивнула Федору и вышла из покоя.

Федор рассказал про споры ростовских князей. Данила слушал с жадным напряженным вниманием. Поступок ростовского владыки Игнатия с телом Глеба, видимо, возмутил его паче всего. Уже зная об этом, он и теперь снова не сдержал гневного движения.

— А правнуки потом наши кости не выкинут из гробов?!

И Федор увидел с одобрением, что князь, который, кажется, при нем в прежние годы ни разу не нахмурился, умеет и гневаться. Да иначе бы его тута и не слушали!

— Помнишь, как епископ Серапион говорил? — помолчав, спросил Данила. Федор склонил голову и вдруг

устыдился, помыслив, как нечасто сам он в эти годы вспоминал Серапионовы заветы.

— А я велел переписать все его «Слова», у меня изборник есть! Монахам дал, чтобы знали...

Разговор тут же перешел на дела церковные. Федор уже знал об ожидаемом приезде митрополита Кирилла из Киева снова в Суздальскую землю.

— Скоро уже!

— На Москву, поди, и не заедет! — сказал Данила, вздохнув.

— Он уже очень старый?

— Очень. И все живет. И ездит еще. Батюшку хоронил.

— Да.

Они молчали, и в молчании снова, как когда-то, начинали чувствовать друг друга без слов. Данил сделал движение позвать слугу, отдумал, встал, сам налил меду, и Федор, молча приняв мед из его рук, сообразил, что вот ему сам князь налил чару, и... нет, не князь сейчас! И прежнее давешнее детское стеснение перед училищными мальчишками появилось в нем. Не скажешь ведь никому об этой чаре, а скажешь — осмеют. Да ведь и не дар, не милость княжая, а просто не захотел Данил, чтобы кто-то помешал беседе.

— Ну, что еще хочет от меня брат? — спросил Данил, встряхнувшись, когда они молча выпили каждый свое. Он рассказал, как Федор Ярославский проходил Москву с ратью, торопился к Смоленску. Рать с полтыщи душ. Не много, а и не мало. Много-то ему было ни к чему! Ждали в Смоленске. Теперь все ездят гонцы: то туда, то сюда. И Ярославля не хочет упустить, и за Смоленск боится.

— У него в Орде рука! — подсказал Федор.

— Да, в Орде! Он тут все высматривал, словно воевать Москву хочет! — с недоброй усмешкой присовокупил Данил.— Словом, брату про Ростиславича так передай. Ежели с Новгородом подымется какая замятня, Федор Чермный, пожалуй, не вступится. В Смоленске не очень его любят. Так мне сказывали.

Он помолчал, поднял глаза:

— А никак Митя не может там, у себя, по-хорошему поладить?

Федор несколько сбивчиво начал объяснять про Копорье, которое нынче Дмитрий Александрович приказал с самой весны обкладывать камнем. (Камень ло-

мали и возили уже с осени и до Пасхи, на что Дмитрий бросил все имевшиеся у него наличные силы.) Данил слушал хмуро, не прерывая. У него в Москве даже церкви были деревянные.

— Ну что ж! Позовет — пойду. Будем готовы. А может, еще и замирятся как ни то! Покойный дядя Ярослав ратился с Новгородом, а чего достиг? Гордости еговой не убудет, а худой, да мир, все лучше доброй-то ссоры! Подумаешь о славе — одно́яко, а о тщете земной — другояко... Великий Новгород! Тебе тоже, поди, там любо? А то перебирайся ко мне, на Москву! — светло улыбнулся Данил.— Хорошо у меня! Я бы и землю дал. Земля есть, людей мало. Особливо — кто грамоту знает!

Федор встал, жалея, что конец разговора. Поднялся Данил:

— Ну, прощай, кланяйся брату!

Он улыбнулся, обнял Федора, и Федор, хотевший было отдать поясной поклон, сжал на мгновение князя в объятиях. Как-то так сказалось больше, чем словами.

— Завтра едешь?

Федор кивнул. Были грамоты во Владимир и Городец, тоже важные, князю Андрею. Тоже о новгородской войне.

Ратники, что сопровождали Федора, отсылались назад. Данило посылал дальше с Федором своих, до Переяславля. Там будет новая смена. Только гонцу скакать и скакать, изредка прикладывая руку к груди, где на крепком кожаном гайтане под ферязью висит кошель, потерять который можно разве только вместе с головою.

Дома в этот раз побывать вовсе не пришлось, и с Грикшей не встретились тоже, тот как раз уехал с монастырским обозом. Федор только передал с верными людьми матери скопленную гривну серебра и поскакал дальше, подымать князей на войну с любимым далеким вольным Новгородом.

ГЛАВА 44

Ополье, мягко всхолмленная степь. Замглилось сиреневое небо, легко облегло холмы. Перистое, сквозное, оно увеличило тишину. Лишь жаворонок, невидимый в вышине, щебечет и заливается, мелко трепеща кры-

лышками. И ничего! Вдали, сзади, в кущах дерев, высовываясь церковью, прячется село. Снова холмистые дали с редкими островами леса, словно где-то залегшего сплошною шубой, а сюда выгнавшего далекие передовые языки.

По этому полю прокатилась сорок с лишним лет назад Батыева конница, и исчез, как растаял, древний Суздаль, исчезли да и не возродились вновь Мстиславль, Городец-Клязьминский, Кидекша, Глебов... Почему так случилось? Почему они победили? И не много их было! Теперь Федор знал, что не так-то и много.

Почему-то всегда эти мысли приходили к нему, когда он Опольем подъезжал к Владимиру. Живо помнил, как впервые подумал о том, когда стоял на головокружительной высоте Золотых ворот, и снова — когда он вторично увидел Ополье, осеннее, и тоже у Юрьева. Серые коровы ползли по желтой стерне; с высоких перевалов отворялись дали, игрушечные рощицы меж зеленых и серых холмов, деревушки, церкви и — далеко-далеко! — поля, полосатые, как полы восточного халата.

Наверно, и старого князя Святослава прельстили на всю жизнь эти полосатые поля в буро-зеленых лентах ярового и озими, в пестрых, будто вытканных узором, платах пара; щедрая, золотисто-зеленая к осени, холмистая сторона.

Святослав Всеволодович! Нынче удивительно и помыслить: еще ведь тогда, до Батыя, начал жить и править! Сидел когда-то на великом княжении. И не усидел. Почему? Уступил стол Михайле Хоробриту, а потом Александру Невскому с Андреем. И Суздаль отобрали у него потом без спора... Остался тут, в Юрьеве, где сейчас княжит его тихий внук... Сидел и смотрел на цветные холмистые поля. Или тоже горевал о потерянной власти? А собор Святослава, высокий, весь в резном камении, стоит и доднесь — еще от тех, великих времен...

Сейчас дали были одноцветны, лишь озимое зеленело среди черно-вспаханной и уже засеянной земли. Федор погонял коня, торопясь увидеть Юрьев и юрьевский собор на закате солнца: стремительно-стройный, весь в кружеве каменной рези снаружи и внутри, придававший необычайное столичное великолепие пустеющему, утонувшему среди полей городу.

Подъехали прямо к теремам. Князь Ярослав Дмит-

рич был в отъезде, во Владимире. Принял ключник. Федор, усвоивший уже гордый тон великокняжеского гонца, потребовал того и другого, устроил людей и, решив не лезть в хоромы,— ночь была хороша! — попросил только положить кошель с грамотами на ночь в казну. Старик хранитель бережно опустил грамоты в ларь и запер окованные двери. Освободившись от постоянного своего опасного груза, Федор вздохнул свободнее. Ключник ушел. Федор помедлил, глядя, как старик хранитель запирает наружные двери. Спросил просто так, чтобы что-то сказать:

— Ты, верно, знал Дмитрия Святославича хорошо?

Старец пожевал пустым ртом в сетке серых морщин. Отмолвил неожиданно ясным голосом:

— Я еще самого Святослава Всеволодича, царство ему небесное, помню!

Федор глянул внимательнее, веря и не веря.

— И храм строили при мне! — прибавил хранитель. Глаза у старика были ясные, голубые и смотрели умно.

— Я и Батыеву рать видал!

Морщины неподвижного лица тронулись слегка, и Федор угадал улыбку.

Они вышли в сад. Старик неспешно шел впереди по дорожке, засыпанной отцветающим яблоневым и вишенным цветом.

— Великий был князь Святослав Всеволодич! — говорил он, не оборачиваясь к Федору.— И на престоле сидел володимерском, и здесь княжил достойно... Ты сам-то, молодец, у кого служишь? Дмитрия Лексаныча? Знаю! И батюшку его знал, князь Лександра, и Андрея Ярославича знал! Строгой князь был, Лександр Ярославич, а только до нашего князя Святослава не достиг! Тот был из прежних, а эти уже... Другие они люди...

— Зайди! — не то пригласил, не то приказал старик, когда они дошли до ветхого домика под самым градским валом.

— Сам-то каков? Отколе? Переяславськой? Бывал ле у нас? Митрополита Кирилла знаю! — продолжал он, возясь с замком.— Видал, говорил даже с им. Он под мой норов. Тоже из тех, из прежних. Больше были нонешних люди. Чего и не знали когда, а совести, той было поболе у их!

Они зашли в горенку. Хозяин вздул огонь. Лампадка скудно мерцала в углу, и от нее, долго не попадая дро-

жащею рукой, старец зажигал свечу. Помощь Федора, однако, отверг.

— Оставь, сам!

От старика пахло кислетью, старой кожей — душновато. На полице стояли книги, и Федор по переплетам догадался, что книги были редкие, а некоторые, видно, даже и греческие. Старец был не прост.

Федор попытался продолжить разговор, поспорить с ним, но хранитель спокойно отверг его слова, смахнув их, как пыль с книжного переплета.

— Вам, нонешним, уже того не понять! Вы по силе судите. Кто одолеет, тот у вас и набольший. А надо не так! Ты спроси, что после себя оставит? Вот, Юрий князь, Долгорукой, оставил города, Всеволод — храмы. А битвы можно выиграть и проиграть, да... Святослав Всеволодич не меньше был тех-то, а не хотел ратиться! Александр с Андреем бились за стол володимерский, кровь пролили, навели татар на Русь, а Святослав преже их был великим князем, а уступил без бою, и кроволитья не бысть на земли! Дак кто боле сделал? То и смекай! А без мужиков — перебить коли — и земля не постоит. А теперь вот храм, погляди! Память!

Народ, конечно, ето — хлеб, чтобы был сыт. Но то еще не народ! Скот — то тоже плодится. Народу память нужна.

Знаю татар! У их тоже певцы свои и все такое есть. Они ханов своих помнят прежних, богатуров... Половцев знал, те же татары, сейчас зовут их только иначе, а память пропала! Как память потерял народ, считай, и все тут.

А вот храм стоит! И всяк поглядит да помолится, и ты едешь не пораз уже, а все посмотришь, поглядишь, князя нашего воспомянешь и старопрежние времена!

Говоришь, киевские князи великие были. А почто? Созидали! Землю расстроили, храмы, города, книги — вот! Где бывал еще? В Новгороди? Тоже был... Там София стоит, Перынь, Юрьев монастырь, Николы собор... Всё ставили великие князи. В Киеве — Михаила Архангела, София — то Ярослав Мудрый строил... Мы не степняки какие, у тех только трава, да скот, да песни. А мы — землю устроили, пашем, зиждем грады, и вот... А спроси про Святослава Всеволодича: где был, что делал? В какие походы ходил? Думашь, меньше других?! Был в Новом Городе, с Юрием был во многих сечах, на болгар ходил, на Волгу, с новгородцами к

Кеси, пустошил тамо немецкие земли, на мордву ходил... Немало! Сидел после в Переяславле русском, под Киевом, на Сити дрался, уцелел. Был в Орде, был на суздальском столе и на владимирском. Построил сей храм! И татары, вишь, не порушили, рука не поднялась. А почто уступил Лександру с Андреем? Он на шестом десятке лет... Не пристало... Как отец им! Отцу дети тоже иные в тягости, и нравны, и поперечны. А всё ведь для их уж жисть прожита! Вот не поехал в Орду, татар не навел — и святой. А вы глупы. Вам всё силой! Кто по силе, кто крови боле прольет, тот у вас и герой! А того не сметите, каков с крови той прибыток? Хлеб с крови гуще не родит! И церквы не на крови, на труде созидаются... Да на вере... То дорого! И сынок его, царство небесное, Дмитрий Святославич, рук ничем не замарал. Суздаль отобрали — пускай! Ну и что, что отобрали? И кто отобрал, умер преже еще,— Андрей Ярославич,— и самого тоже обрезали, Нижний-то взяли у их! А веки пройдут — и не попомнит никто, чей то был град. Скажут — русский град, и всё тут. И на собор глянут: не медведи, мол, жили, а люди мудрые, ученые, да!

Старик задремывал. Федор тихо вышел, задув свечу и притворив дверь. Прошел садом. Голова кружилась от запаха цветов. Что слава! Может, и правда, что ото всей от нее останется лишь то, о чем напишет такой вот старик в ветхой книге... В траве и ветвях заливисто трещали кузнечики.

Он улегся, завернувшись в попону, поглядывая на светящиеся окошки княжого терема. Верно, он уже задремал, потому что окружающее как-то отделилось от него самого, и Федор совсем не удивился и даже сразу узнал, кто это, когда раскрылась, не скрипнув, древняя дверь и показалась высокая фигура старого князя Святослава.

Лунный свет лежал на храме, обводя тенью дорогое каменное узорочье. Святослав провел сухою пергаментной рукой по выпуклостям рези. В траве заливались кузнечики. Он поднял голову. Над собором, в той стороне, где лежал Владимир, висела красная звезда. Ехать в Орду! Зачем? Жизнь кончалась, и ему осталось лишь достойно лечь в изножие своего храма, соединиться с Господом... Неужели это было — пиры, охота, походы, сечи, гордый шум стольного Владимира? Окна светились в тереме, звали назад. Старая кровь не грела. Князь запахнул епанчу, еще раз взглянул на собор и побрел

назад, в теремное тепло. Мягкая ночь, полная серебристым шелестом кузнечиков, осталась одна. И храм одиноко белел, отражая луну...

Федор проснулся с лицом, мокрым от росы. Попона тоже вся увлажнилась и отяжелела. Солнце косыми лучами заливало сад. Он встал, встряхнулся, пошел будить ратников.

ГЛАВА 45

Его везли по рекам, по Днепру и Угре, по Оке и Клязьме, оберегая от тряски летних дорог. Весла враз опускались и подымались, и, закутанный в бархатную, отороченную куницей накидку, он молча смотрел на плывущие навстречу и мимо берега. Силы в нем убывали, близился конец этой мимолетной временной, похожей на причудливый сон, жизни, близился порог жизни вечной, той, где ни тлен, ни болезни плоти, ни угнетение духа уже не властны над нами. И у порога отшествия он покидал родные киевские и волынские просторы, устремляясь на север, в край хвойных лесов и суровых зим, край еще дикий и необжитый, потому что человека в исходе жизни уже не земля предков влечет к себе сильнее всего, не те места, где ты получал от других, а те, где воплощены плоды твоего труда, где ты давал полною мерой и где можно проверить, что ты сделал в жизни и сделал ли что-нибудь?

Он еще похудел, стал почти прозрачный. Тела своего митрополит Кирилл временами не ощущал вовсе. Ему самому порою казалось, что он не отходит — отлетает света сего.

А кругом расцветала земля. Песчаные берега Оки раскидисто развертывались перед глазами. Сочная трава подымалась на низменных лугах, буйная поросль орешника вилась и лепилась по склонам, на крутых ярах стояли красные боры. Князья попутных городов выезжали встречать митрополита. В Переяславле рязанском пришлось пристать, благословить рязанского князя и семью его, но задержаться дольше Кирилл отказался, торопился во Владимир. До него уже дошли нехорошие вести о ростовских нестроениях, а такожде о вражде братьев, сыновей Невского, Дмитрия и Андрея. Надо было не дать совершиться и этому злу...

Зло возвращалось в мир в любом обличье: властью, завистью, сребролюбием, гордостью, буйством плоти; и не было предела, и не было отдыха в борьбе со злом. Да и мог ли он наступить, этот предел, пока длится искус жизни?

Листва берез была по-весеннему свежа, и синей была вода, и небо голубым. И так хватало всего этого для полного совершенного счастья и покоя души! Да, труд, земной, упорный, в поте лица своего, и вода из родника в берестяном самодельном ковше, корка хлеба — дань плоти, и книга, умная, древняя, на дощатом столе, и молитва в вечерний час. Разве мало? Разве не в этом — величие Господа, чудо бытия, что подарено нам всем, и добрым и злым, просто так, ни за что, от безмерной любви и безмерного терпения. Его терпения!

Владимир встречал митрополита колокольным звоном. Съезжались епископы, архимандриты и игумены монастырей, протопопы, келари, многоразличные чины черного и белого духовенства. Съезжались князья — получить благословение, на миг обрести душевный покой, прикоснувшись к тихому сиянию этого древнего старца. Ветхий деньми митрополит так долго уже жил и в такие бурные и страшные, такие неясные годы, что и в их глазах, как и в глазах народа, перешел заживо в сонм святительский. Он был почти вечен. Его и звали за глаза не по имени, а просто — митрополит, и знали, что это он. Другого уже и трудно было вообразить себе на святом престоле духовного пастыря Руси.

Народ тучами одел берега Клязьмы. Реку наполняли подходящие лодьи. Пестрели одежды знати у пристани, золотились и сверкали облачения высшего духовенства и вельмож градных.

Митрополит на мгновение закрыл глаза: как помочь им, мнившим благая и, не ведаша, сотворивым скверная! Ему уже рассказали все, и праздник встречи померк. Не стало отдыха, не стало радости от вкушения плодов произращенных. Как мог он (он винил только себя) так ошибиться в Игнатии, как он не сумел внушить ему и им всем правила святительския! Горести достойна была скорая смерть епископа Серапиона.

Ведомый под руки Кирилл, как в тумане, под крики толпы, благословляя народ, медленно поднимался в гору. И внешне все было как и должно было быть. Радостные лица, скорые бабьи слезы и толчея, а потом короткий отдых и служба в соборе. Его облачали и

переоблачали. Тихим голосом он говорил, и все замирало под сводами, ловя наставнические слова. Он говорил о мире, о любви, о терпении — и верил, заставлял себя поверить, что слова падают не на камень, на почву благодатную.

Вновь его встретил приготовленный привычный покой. Иное и обветшало за годы отсутствия, иное поправили наспех, он не вникал. Отстранил и ключника с исчислением доходов митрополичьих — потом! Разоблачился. Отослал служку. Лежал, думал. Сон не шел. Мысли были горькими. Игнатия следовало наказать не так, как он хотел сначала, не с глазу на глаз, а соборно — дабы помнилось, дабы вразумить заблудших. Дабы не пропало все то, что с таким трудом насаждалось годы и годы.

Игнатий был призван на другой день. Сперва, однако, митрополит посетил Княгинин монастырь и новую могилу князя Глеба и сам отслужил панихиду по покойному ростовскому князю.

Игнатий полдня томился, ожидая приема, рядом, но не вместе с другими иерархами, паки и паки обеспокоенно вглядываясь в остраненные лица владимирского и сарского епископов. Страшась и тоскуя, он все же предпочел бы, чтобы разговор с митрополитом состоялся наедине. Намеренно или нет, Кирилл додержал ростовского епископа до того часа, когда тот уже совершенно изнемог духом. К тому же он увидел, что прочие епископы садятся в кресла по бокам митрополичьего престола и все принимает явный вид судилища.

Кирилл прочел краткую молитву. Епископы вторили ему. Голос Игнатия дрожал и едва не срывался. Он один оставался стоять перед престолом.

— Поведай, отче,— вопросил наконец митрополит,— почто изверг ты прах князя Глеба из могилы?

Игнатий начал было объяснять, какими грехами покойный Глеб Василькович заслужил толикое, но Кирилл тотчас прервал его:

— Ежели хощеши обличать заблудшего, обличи при жизни! В лицо, не обинуясь, скажи ему небрежения его и грехи! Исправь, и да не погубит души своея! Но исправляй наставлением, советом, а паче — милостью! — Голос Кирилла вдруг сорвался, и он почти выкрикнул с болью и гневом: — Ел и пил его чашу! Кто ты сам, чтобы судить?! Бог простил и взошел на крест за нас, а мы? Что можно сделать злом?

Он остановился, задыщавшись. («Сам я встречал Александра как защитника после расправы с братом! — Это он сказал про себя, одною мыслью: — Мог бы проклясть и подорвать его власть и мир на земле!»)

— Милостью! — продолжал он, передохнув.— Любовь соединяет, только любовь! Что простительно князю, простить ли то служителю божьему? Если мы, духовная власть, будем карать, то кто будет миловать? И возможно ли измерить меру зла, которое проистечет тогда на земле? Весь смысл учения Христа: возлюби ближнего своего!..

Голос Кирилла возвысился и уже звенел и потрясал, повергая в трепет. И все-таки ни Игнатий, ни епископы не ожидали и вздрогнули разом, когда митрополит, встав, сурово произнес:

— Отлучаю от службы и от сана, аки недостойного благодати божией!

Игнатий вышел, пошатываясь. Он не понимал еще толком, что произошло. У него отобрали тут же святительский посох, митру, печать и праздничное облачение. Прочие епископы также пребывали в страхе и смущении. Отлучали попов и протопопов, смещали игуменов, но епископа! Да еще ростовского, признанного главу русских епископов, не пораз замещавшего митрополичий стол! Такого, кажется, еще не бывало на Руси...

Его молили отложить наказание, но Кирилл был тверд. Возможно, его еще заставят пересмотреть свое решение. Возможно, он сам сменит гнев на милость... Но потом, позже, не сейчас. Пусть едет к себе, пусть мучается, пусть умоляет князя о заступе, пусть до дна изопьет чашу...

Теперь предстояло другое дело, не менее важное, хоть и касалось мирян и мирских нестроений. Сарский епископ доносил, что князь Андрей уже получил в Орде от Менгу-Тимура ярлык на великое княжение под братом Дмитрием. Ярлык как будто был дан еще не на полное княжение, а на половину, в точности не известно. Но, во всяком случае, об этом уже прознали в Новгороде, где против Дмитрия подымалась градская смута.

Он послал с благословением приглашение князю Андрею прибыть к нему во Владимир. Он решил, ежели князь откажется, сам ехать к нему в Городец. Князь медлил, наконец прислал с поминками сказать, что будет. Быть может, он издали почувствовал настойчивость зова, быть может, устрашился возможной поездки пре-

старелого митрополита в Городец,— поездки, которая могла серьезно уронить Андрея во мнении всей Суздальской Руси.

ГЛАВА 46

Князя Андрея одолевали свои заботы. Заботы такие, что — по первому движению души — он хотел было отказаться от зова митрополита, как от пустой докуки. Отречься и забыть. Для Орды, для Менгу-Тимура, для его вельмож, князей, нойонов и темников требовалось серебро. Подарки везли и везли, а Семен просил еще и еще. Приходилось не то что сбавлять,— наоборот, умножать и умножать дани. Купцы роптали, кто и перебегал украдом к тверскому князю. Олфер Жеребец шарил по заволжским лесам, выколачивая дани и меха из лесных жителей. Забирались все далее, возвращались все чаще с уроном в людях. После лесных сшибок и засад по глухим урочищам хоронили своих мертвецов. Ставили большие сосновые кресты. Иван Жеребец нынче был послан в Кострому. На двадцать первом году он уже вполне вымахал в отцову стать, и так же бешено гулял, и так же веселая широкая улыбка у него на лице могла мгновенно сменяться страшным оскалом ярости, когда обнажались крупные зубы и кулаки сжимались, набухая венами. «Те же отцовы, по пуду кулаки!» — говорили, покачивая головами, мужики, когда Иван, размахнув на широкой груди ворот дорогой рубахи и твердо ступая, выходил на пристань улаживать споры у речного мыта, и бывалые купцы, что не робели в схватках с волжскими разбойниками, тут, узя глаза, отступались, развязывали вервие, казали товар, что чаяли провезти украдом, и, крякая густо и недобро, доставали тяжелые кошели. Давыд Явидович тоже сидел на Костроме, улаживал с местными боярами, пересылался с зятем, Константином Ростовским. Семен Тонильевич безвылазно сидел в Орде, лишь наезжая домой время от времени, а прочие костромские бояре во главе с Захарием Зерном жались да выжидали, готовые поддержать князя Андрея, ежели он окажется наверху, и отречься от него, коли оступится. Зато городецкие бояре князя Андрея были чуть не все в разгоне: в Нижнем, где требовалась рука и рука, в посольских делах, в походах.

Кострома с Волгою и Новгородом Великим считалась половиною великого княжения, и Семен доносил из Орды, что ярлык на эту половину Менгу-Тимур дает (готов дать) ему, Андрею. Что за Андрея хлопочет сейчас старшая царица Джиджекхатунь, а ее голос в делах ордынских важнее многих голосов вельмож. У князя Андрея после Семеновых писем теплело на душе. Что бы ни говорили про Семена — для кого он старается? Дочерей давно выдал замуж, сын, первый, погиб, второй, татарский сын, живет в Орде и служит Менгу-Тимуру. У него, у Семена, здесь только он, князь Андрей. Иным было отношение Давыда Явидовича. Тот соблюдал свое: выдать дочь за князя, прикрепиться и укреплять Андрееву власть, как вложенные в лихву гривны. Иным было и отношение Олфера Жеребца. Для Олфера князь был щитом, и сам он был щитом князю, как в драке, к кому прислониться спиной. Он и мирволил Андрею, и ублажал его — все, чтобы быть ближе. У Семена же все было не так. Он не дозволял ни себе, ни Андрею излишней близости. Он — видимым образом — не просил богатства. На предложение перебраться к нему в Городец, получив от Андрея села и земли, ответил вежливым отказом. В думе держался сухо-почтительно, никогда не выставляя себя наперед. Но порою, изредка, оставшись наедине с князем, он или рассказывал нечто, неизвестное прежде Андрею, а то давал прочесть, иное переводил с греческого или латинского, с немногословною страстью подчеркивая важное, и тогда исчезал маленький Городец, сам Владимир становился мал перед блеском палат древних римских кесарей или Царьграда — мировой державы... Византия, мунгальский каган, римские кесари... И по дороге было одно: ярлык на великое княжение. А там — Новгород; а там уже поговаривал Семен про Ногая: разбив его,— ежели он не поладит с Менгу-Тимуром,— можно будет воротить Чернигов, Киев и прочие, северские и волынские города... И Андрей, разгораясь от дальних замыслов своего боярина, слал серебро в Орду; пересылался с новгородской вятшей господой и облагал новыми данями Кострому и Нижний, не свои (пока не свои, еще не свои!), лишь данные ему в кормление города.

Послание митрополита застало его врасплох. Семен был, как на грех, в Орде. Давыд в Костроме. Даже Олфер Жеребец ушел в летний путь, в полюдье. Посовето-

ваться было не с кем. Митрополит звал настойчиво. Не узнал ли он о ярлыке? Все, что подготавливал так долго и тщательно Семен, уже начиналось. Новгородцы, которым он обещал любые льготы (потом можно и отобрать!), ждали только знака, лишь шевеления. Уже Дмитрий, почуяв недоброе, начинал действовать круто, отталкивая тем от себя посадское население и даже прежних доброжелателей своих. Уже зашевелилась Орда...

Андрей медлил, чаял дождаться Семена, но и медлить было трудно. Митрополит Кирилл был слишком почитаем всеми. Он хоронил отца, он встречал его после разгрома Неврюем покойного дяди Андрея. (Сходство имен тревожно резануло по сердцу. Он постарается отбросить непрошеное сравнение. Я и дядя Андрей! Глупо.) Но тут из Владимира дошли подробные вести об отлучении ростовского епископа Игнатия. О том, какое впечатление это произвело на всех, лучше всего сказали Андрею глаза его духовника, тихого и неслышного отца Онисима, который рассказал об отлучении Игнатия как бы ненароком, исповедуя князя. Андрей засомневался, и вдруг его охватил страх. Митрополит, конечно же, знает о ярлыке! Он поедет сюда, непременно поедет! И тогда? Не проклянет ли он и его, как проклял, отлучив, ростовского епископа?! Отец — дядя Андрей — и они с Дмитрием... Он проснулся ночью. (Спал один, у них с Феодорой, как у византийских царей, были особые изложницы.) Проснулся в ужасе. Перед глазами, качаясь, стоял покойный брат Василий, тогда, на свадебном пиру, выкрикнувший ему вслед: «Отец проклял нас, он вверг нож в ны, мы будем резать друг друга, как Каин Авеля, мы сами себя зарежем!» Что он мог знать, что он понимал, несчастный пьяница, похороненный отцом прежде смерти? Что мог он предвидеть? Ночь струилась, слегка разбавленная лампадным огнем... В Городце, Костроме, Нижнем готовилось оружие и рати. В Орде вовсю творилась мышиная возня подкупов. Связки мехов и веские серебряные слитки переходили из рук в руки. Тяжкая, до времени пощипывая траву, шагом бредущая по степи неодолимая сила медленно склонялась, по зову серебряных ручейков, в его сторону. Уже получен ярлык на половину княжения, и... ничего нельзя остановить.

— Отче! — позвал он не то отца, не то митрополита Кирилла.— Отче, прости меня!

Утром Андрей известил духовника, что едет к митрополиту. По осторожному блеску в глазах отца Онисима догадался, что тот ждал этого решения и доволен. Велел позвать к себе братнего гонца, что вот уже второй месяц околачивался в Городце, ожидая ответа Андрея на новгородские грамоты Дмитрия. Велел передать, что не вмешивается в дела брата и мешать ему не станет.

«Где он таких берет?» — думал Андрей, оглядывая гонца. Молодой светлобородый парень с умным худоватым лицом и жадно блестящими глазами, видимо правдолюбец и законник, как сам Дмитрий... Он поставил рядом с ним, мысленно, Ивана Жеребца и вновь содрогнулся. Неужели же в них, в исполнителях господской воли, отражается характер князя?! Каков глава, таковы и они! (Как это может быть? А вот может!) Он отослал грамоту в Новгород брату со своим гонцом, сам не понимая, зачем это сделал... Гонец, однако, еще не доскакал до места, когда принесли злую (и еще бы немного дней назад радостную) весть: Дмитрий, не дождавшись ответа на свое письмо, сместил в Новгороде посадника, престарелого Михаила Мишинича, всеми уважаемого мужа, и посадил своею волей Смена Михайловича, ладожского посадника, боярина со Славны. Самоуправство Дмитрия возмутило весь город, и теперь там только и ждут Андрея. Посланник сообщал, что и Смен Михайлов ждет решения города и, ежели что, за князя Дмитрия не вступится.

Стоял август. Хлеб уже созревал. Андрей послал гонца с новгородскими вестями к Семену в Орду и выехал во Владимир для разговора с митрополитом Кириллом.

ГЛАВА 47

Мелкие, хотя и важные, заботы одолевали митрополита Кирилла, не давали сосредоточить силы на одном, на главном. Обнаружились множицею нестроения в службе, в церковном чине, иное, о чем было постановлено, оказалось так и не исполнено доднесь. Не были исправляемы суды церковные в Ростовской земле, и только ныне, ходатайствуя за опального епископа, Дмитрий Борисович обещал и соглашался утвердить повсеместно новые, соборно постановленные шесть лет назад правила. Постоянное преткновение вятших встречали

статьи церковного уложения, на неукоснительном соблюдении коих особенно настаивал митрополит Кирилл. Эти статьи были: об освобождении на волю раба или рабы за увечье, господином своим нанесенное; такожде об освобождении на волю рабы, в прелюбодеяние господином своим склоненной, и равно об освобождении на волю прижитого ею от господина ребенка; и, наконец, статья, запрещающая продажу иноземцу — жидовину или еретику — крестьянина-челядина, ибо недостойно есть христианскую душу роботити нехристем.

Возражающие сему лукаво ссылались на византийский «Номоканон», в коем не было означенных статей, а за увечье или совращение рабы полагалось одно лишь церковное покаяние. Митрополит Кирилл, разыскавший нужные статьи в некиих древних установлениях, отвечал с гневом, ссылаясь не на эти статьи, а на русское летописание божественного Нестора:

— Что же, по лукавству вашему, тогда и святого князя Владимира, крестителя Руси, прижитого Святославом от ключницы и рабы Ольгиной, Малуши, такожде надлежало в работу творити?!

Спорщики умолкали, не зная, как возразить.

Намедни прибегал к нему сельский попик, вступившийся за понасиленную рабу по слову митрополита и изобиженный своим боярином. Попик был не только изобижен, но и избит зело, с синяками и ссадинами на лице и по всему телу. Сраму ради он не стал показывать Кириллу струпья на седалищных местах, но видно было, что уже и духом изнемог, и готов смириться. В поучение ему Кирилл напомнил попику сказание о сорока двух аморейских мучениках, из коих все, кроме одного, устояли перед тираном и сподобились блаженной кончины и посмертного райского жития.

— Такожде и твой мучитель, ежели увидит тебя согбенна и унижена пред собою, станет ли почитать в тебе духовного своего отца? Приклонит ли ухо к глаголу уст твоих? Помыслит ли о сем! Не лучше ли во сто крат прияти мученическ венец, но остаться с Господом, а не с тираном?

Кирилл вновь оглядел попика, его тщедушное сложение, малый рост, синяки на лице (и за бороду его драли, видать!) и еще рассказал, теперь уже из хронографии Феофановой, про лжепатриарха Константина, некогда погубленного царем-иконоборцем. Рассказал

для вящего вразумления, чтобы не подумал попик, в сирости своей, что вот, мол, легко митрополиту всея Руси советовать мученического конца приятие, его-де самого не коснется длань врага. Может коснуться и меня, ежели царь самого патриарха заушал и мучил и принудил его, в монашеском сане сущего, обвенчаться, есть мясо и слушать песни за царским столом...

Попик, видимо, никогда не читал и не знал сочинения Феофана. Он поднял глаза на митрополита Кирилла и слушал смятенно, по временам трудно сглатывая слюну. Кирилл пересказывал жестко, ничего не смягчая. Как заушали и закидывали грязью патриарха, как срамили и волочили по городу...

— Так поступил царь. А ведь Константин крестил двух его детей и во всем ему потакал и мирволил!

— И я крестил... детей его...— растерянно пробормотал попик, во все глаза глядя на митрополита.

— Видишь? — сказал Кирилл, мягко улыбнувшись попику.— Чего достиг сей патриарх пресмыкательством пред царем? Тоя же срамныя и лютыя смерти. Но ежели праведники, приняв муку от гонителей своих, идут ко Господу, в выси горние, то помысли, куда ушел лжепатриарх, согласясь со скверной?

Попик вдруг кивнул и теперь почти уже радостно внимал митрополиту.

— И вот,— с твердостью докончил Кирилл,— зри! Обличали, уничтожали иконы, замазывали лики святых, и где они все, обличители? Где царь-гонитель, где слуги и присные его? В геенне огненной! А лики — вот, сияют! И только уничтожено многое, и многие прияли мученическ венец, многое, увы, изгибло, вещественное и рукотворное, но нерукотворное, духовное — сохранено! Ими, праведниками, в муках опочившими, сохранено! Помни!

Укрепив и отпустив попика, Кирилл велел ему впредь не хоронить, не венчать и не причащать никого в семье боярской, донеле же тот не покается в злодействах своих.

— Христос тоже терпел заушения. Наш труд — самый тяжкий: одоление плоти, а плоть сильна! — присовокупил он, провожая служителя до порога.

За попиком вскоре приехал и сам господин. Гора мяса, маленькие глазки, большое толстое красное лицо, коротколап, медвежеват. К Кириллу вломился чуть не с криком.

— Я боярин! Несудимая грамота у меня! Волен во холопах!

«Как им далеко до христианства!» — думал Кирилл, глядя на дерзкого боярина с жалостью и отвращением.

Боярин, при всем своем непотребстве, был не глуп. Права свои по «Русской Правде» помнил наизусть: «Аще огрешится господин, убьет раба своего, нет ему виры». Пришлось напомнить и о тех статьях, которые боярин похотел забыть, и про то, что было в соборных правилах постановлено. Таким вот и нужны правила, без правил им удержу не будет. Правила не нужны тем, кто принял целиком завет Христа: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В жизни, увы, не на все можно установить правила! Этот испуганный священнослужитель. Видимо, глухая деревенька. Боярин — царь и бог, все позволено, «отец родной». За попрек ночью священнику кинут камень в окно, пихнут в темноте в канаву, а то и подожгут. Закон... Как может он жить без духовного наставления?! Эти свиные — медвежьи ли, неглупые глазки, эта плоть, которая считает, что в ней, в плоти, весь смысл жизни... В бытии, в том, чтобы жрать, пить, чтобы давить и тискать, животно наслаждаясь судорогой живого под лапами, под сапогом, под «законом», данным ему несудимою грамотой... Как же, он природный боярин!

Кирилла слегка замутило от этой громогласной туши, от этого отсутствия всякого стыда, от животного дыхания... Он прошел во внутренние покои. Походя сказал эконому, дабы предупредили всех священников: кто примет от рекомого боярина причастие ли, отпоет ли покойника у него в дому (у боярина как раз кто-то умер) — потеряет сан.

Боярин вновь попался ему встречу на выходе на третий или четвертый день. Его жирное лицо как-то обвисло и пошло пятнами, глаза расширились и забегали. Он неуклюже повалился в пыль. Кирилл даже не сразу узнал в нем давешнего грозного самовластца. Но вдруг понял: ну да, неотпетый мертвец, лето же! Мысленно похвалил священника за строгость, вместе с тем подумал, что попик проявил смелость от озлобления, что тоже было нехорошо. Усопшего следовало похоронить... Мысли перекинулись к Игнатию. Дмитрию Борисовичу он до сих пор не ответил ни да ни нет.

Боярин приходил с отпускною грамотой на рабу,

из-за которой поссорился со священнослужителем. Кирилл велел ему явиться к исповеди к своему священнику и принять епитимью. Отпущенную рабу он приказал отправить пока в Княгинин монастырь. Женщине нужно было просто отдохнуть, прийти в себя, избыть вечный страх, почувствовать себя в безопасности за толстыми стенами монастыря. А там уже решит сама, как ей лучше. Может — выпустить в мир, ежели найдется добрый человек, а так — ни кола ни двора — лучше уж при монастырской работе в женском княжеском монастыре: и корм, и тепло, и сряда какая ни то... Горько подумалось: как еще в иных монастырях приходит трудникам? Келарь да эконом не морят ли гладом работающих на братию? Как еще и о той же рабе, днесь отпущенной неволею ее господином, скажут, что-де для монастырских дел отобрали ее у боярина! А подумать смогут ли, что будет делать мать с дитятею на «воле», где ни дома, ни угла, ни иного пристанища?

Грешны люди! Ленивы и лукавы. Ладят меньшим откупиться от большего. Поставят свечу в чаянии лихвы, отслужат молебен за спасение, чтобы самому не заботиться о спасителях своих... В монастырях нет холопов. Русская церковь отказалась от труда рабского. И тут — скажут завистливые и лукавствующие — потому-де церковники противу рабства, что у самих нет рабов! И не воспомянут, что по слову Христову о братьях совершено сие: как же можно брата своего работить? Ибо кто же мешал бы и церкви иметь холопов на землях своих, ежели сильные мира держат холопов и дарят церкви по душе за собою деревни, подчас с теми же холопами? И сколько трудов нужно было приложить, дабы воспретить всеконечно рабство церковное! Дабы и господ, и вельмож, и князей нужею заставлять хотя бы и перед смертью, но отпускать на волю холопов своих!

Да, нужны и терпение, и воля, и непрестанные усилия, без отдыха, не сожидая покоя и скорых плодов... И что паче всего? Паче всего нужно поставить священнослужителя истинного, да не престанет в трудах и в борении не ослабнет! Вся жизнь, и крестный конец ее, Иисуса, сына божия, не есть ли перст, указующий всякой жизни: будь такожде! И не скажут лукаво, яко фарисеи: он пострадал за нас, и тем мы уже спасены и безгрешны. Разве же не ясно, затем и страдал, затем и молил: «да минет меня чаша сия!» Ибо так

вот может и должен каждый: и страдать, и устрашаться в нищете плоти своея, и молить: «да минет», и — не отрекаться креста и муки крестной, если крест придет и мука постигнет. И не в высоте, не во власти! Ибо скажут опять лукавые: мал есмь, и не мне надлежит исполнить подвиг, а на́большему меня! Почто Исус отверг корону царя? Почто, искушаемый, не захотел приять все царства мира и славу их, но возразил: «Отойди, сатана!» Затем, что не в пример, и не в поучение, и не во спасение даже стала бы жизнь Спасителя, ибо каждый из малых сих мог бы сказать тогда: «Ему было легко, он царь!» В самом деле! Ему, митрополиту, сделать мановение — и этот боярин лежит в пыли, у ног, и молит о прощении, а князю — тем паче. А каково крест нести рабе той, под господином сущей? Каково ей не извериться в благости божией? И ведь для них, а не для избранных, для простецов, а не для вельмож прошел Исус свой тернистый, свой земной путь...

Получив известия, что Андрей выехал во Владимир, митрополит Кирилл вызвал к себе ростовского князя Дмитрия Борисовича и опального епископа Игнатия. Князю он сделал внушение о делах церковных, судах и исправах, а Игнатия наконец простил, наложив, впрочем, строгую епитимью.

Игнатий пришел к митрополиту, уже вызнав от князя о прощении. Все эти дни он изводился от вопросов-угадываний, ходил в жалком образе ходатая по всем власть имущим, за него просили епископы и князь и не могли допроситься. Патриарх был далеко, да и поможет ли патриарх? Ему казалось уже, что Дмитрий Борисович, наскуча хлопотами, начинает охладевать к нему, уже носились слухи о замене Игнатия на владычном столе новым епископом, и тут явилось прощение. Игнатий, ступив в покой митрополита Кирилла, повалился в ноги и зарыдал.

«Понял ли? Устыдился ли деяния своего? Или страждет только от страха утерять блага и почести сана своего?» — опустошенно думал Кирилл. Как будто бы он все сделал правильно — и наказал и простил. Однако тревожное, словно легкая тень, сомнение не покидало его. «Быть может, я поспешил?» — думал митрополит.

— Брате, сыну возлюбленный,— сказал он на прощание Игнатию,— плачься о сем и кайся об этом грехе до самой смерти, ибо осудил мертвеца преже суда

божия, а жива стыдяся его, и дары от него принимал, и ел и пил с ним. Моли Бога, дабы отдал тебе грех сей!

А тень сомнения осталась все равно, не исчезла в душе.

Игнатий, получив прощение, вдруг оробел. Вместо того чтобы возвратиться в Ростов, запинаясь, попросил Кирилла:

— Дозволь, отче, еще побыть с тобою!

— Побудь, чадо! — разрешил Кирилл, поняв состояние Игнатия.

И все-таки оставалась тень. Что-то он совершил не так.

ГЛАВА 48

Андрей во Владимир ехал верхом. В возке по летней дороге — обобьешь все бока. Уже начинали жать хлеба, и он с затаенной жаждой будущего хозяина оглядывал богатые поля, скирды, ряды стогов на заливных лугах... В Новгороде уже началось! Опоздал митрополит! А Семен молодец, добился! С митрополитом теперь только докука лишняя. Ничего, минуется! Он иногда встряхивал головой: как давно это было уже, и митрополит, и Владимирский съезд, и проповеди! Конь тоже встряхивал головой. Слепни-потыкухи донимали вовсю. Андрей с шага переходил на рысь, проскакивая сырые низинки, но и на открытых местах крылатая нечисть не отставала. Он пожимал плечами. Что может сделать Кирилл? Все уже началось! Ярлык получен! Теперь... (Нет, не думать, не думать о дяде Андрее!) В конце концов он поступает не как дядя Андрей, а как отец, выгнавший дядю с владимирского стола и из Переяславля...

И все же, подъезжая к Владимиру, Андрей становился серьезнее. На последнем ночлеге думал о встрече с митрополитом уже без глумления, а с робостью. И очень обрадовался своему дворскому, что поспел из Владимира встречу Андрею со свежими вестями. Вести были о спорных селах, о брате Дмитрии, что тоже прибывал во Владимир, и главная: митрополит простил епископа Игнатия по неотступным мольбам ростовского князя Дмитрия Борисовича. Андрей долго глядел в глаза дворскому. Попросил повторить подробно.

— Хорошо, иди!

Оставшись один, усмехнулся. Еще усмехнулся. Усмехнулся, когда лег спать в высоком сарае, на самом верху, куда в открытые продухи проникал ветер и не подымалась крылатая гнусь. На сене, на попонах, повалился, распоясавшись, скинув сапоги и ферязь. И не спал, усмехался. Ничем кончилось! Поворочался еще, уминая сено, уснул.

Многошумный Владимир, в венце драгоценных соборов над кручею Клязьмы, над мощными валами, что опоясывали и перепоясывали город, деля его на три части: средний, княжой, или Печерний город, западный — Новый город, с Золотыми воротами, и восточный — Ветчанной город, через Серебряные ворота которого сейчас въезжал Андрей с дружиною, встречал городецкого князя привычной суетой улиц и многолюдьем ремесленной и посадской толпы. Ему кланялись встречные бояре и посадские — кто узнавал, и он опять подумал, что, одолев брата, заставит их узнавать и кланяться всех, и здесь, и в других градах и весях.

Андрей Александрович к тридцати годам своей жизни заматерел. Раздался вширь. Появилась спокойная уверенность в движениях. Лицо стало и глаже и жестче, гуще вьющийся каштановый волос бороды, что по углам рта, где усы переходят в бороду, завивалась крутыми языками. И когда у князя замерзали глаза и начинали вздрагивать эти крутые завитки над краями губ, у холопов и слуг душа уходила в пятки, так уж и знали: надвигается гроза.

То, чему он когда-то безуспешно учился сперва у Жеребца, а потом у Дмитрия Борисовича Ростовского,— вельможность взгляда, посадки и поступи,— появилось как-то само собой, когда перестал думать о том. Может, потому и появилось, что, садясь на коня ли, сходя по ступеням терема, приказывая что-либо, думал уже не о себе, не о том, как на него глядят, а о своем, сжигавшем его ум замысле, перед которым все это — люди, дела ежедневные, споры бояр и отчеты ключников — казалось, да и было, комариной мелочью, которую надо было сделать и перестать думать о ней. Жадный горячий взгляд появлялся у Андрея лишь наедине с Семеном, когда решали о будущей власти, и князь, возвышая голос, требовал: «Скорей! Скорей!», или смолкал, замирая, леденя глаза, или срывался, бегая по горнице. Таким, и то лишь изредка, его видала еще одна только Феодора. Рождение сына и смерть его

от моровой болезни как-то сблизили их между собой. Андрей смутно ощущал некую свою вину — хоть и не понимал в чем — за гибель сына. (Сестра Феодоры, Олимпиада, жена Константина Ростовского, уже дважды родила и, слышно, опять была на сносях.) Да к тому же именно теперь, когда замыслы были близки к осуществлению, Андрей, украдкой оглядывая жену, все более понимал, что только Феодора, с ее царственной статью, как никто иной годится на место жены великого князя владимирского, и лучше ее никого уже не найти. Она после родов было раздалась, но нынче опять похудела и как бы слегка подсохла, но еще прямее стали высокие плечи, иконописнее лик — такими изображают византийских цариц и царевен на иконах и в древних рукописях.

Феодору, лишенную услад материнства, так же как и Андрея, и еще более, сжигала жажда власти. Она ревниво переносила на Дмитрия свои неудачи и зависть к его невидной, как серая утица, княгине, которая, однако, рожала и рожала: вот уже второй сын растет, и, говорят, боек, здоров, смышлен. Все это как-то окончательно отодвигало братьев друг от друга...

Что ж! Митрополит стар, и уже пришел в движение Новгород, и готова Орда... И все же тут, во Владимире, остановясь на княжом подворье, близ митрополичьих палат, Андрей снова заколебался. С детства, с молоком матери всосанное почтение к духовному владыке страны властно заговорило в нем. Андрей, решив пересилить себя, постарался встретиться с митрополитом Кириллом раньше, чем с братом. Злая мысль зрела в нем, что так же, как четверть века назад, Кирилл благословил отца после Неврюевой рати и разоренья земли, так же должен будет благословить и его, когда он вступит победителем, под звон колоколов, в стольный Владимир. И прочесть это во взоре митрополита, прочесть самому согласие духовной силы с грубою силой власти хотелось ему сейчас прежде всего. Он ожидал, что Кирилл постарел, но той перемене, которая произошла в облике митрополита за эти шесть лет, поразился. Андрей был потрясен, как необычайно утончился Кирилл, как-то поголубел даже, и, вместе, в облике его ощутимо проглядывал какой-то уже нездешний свет. Казалось, сияние исходит от бескровной головы архипастыря. Или это солнце, непрошено протянувшееся в узкие окна митрополичьих покоев? Он представил, что уже двинуты

рати и татарская конница потекла по дорогам Руси, и понял, что, пока перед ним этот почти бесплотный старец, он ничего не двинет, не сможет переступить. И ежели бы Кирилл сейчас, ничего не вымолвив, подждал еще или вдруг сказал бы: «Сыне мой! Иди с миром и не греши больше!» — Андрей повалился бы в ноги с рыданием, и признался во всем, и ото всего отказался...

Но митрополит начал говорить, и наваждение рассеялось. Кирилл не был в ударе, рек долго и витиевато, с подходами и украсами. Недавняя беседа с Игнатием утомила его больше, чем он сам мог предположить, и сейчас он чувствовал с горем, что для состязания с сыном Александра у него недостает сил. И так, вместо духовной располагающей беседы, вместо исповеди и покаяния, когда доброта просыпается и перевешивает зло, начался торг.

И только когда измученный увертливыми недомолвками митрополит откинулся в изнеможении на спинку кресла и сказал, взглянув вдруг прямо в душу Андрею полными муки глазами: «Господи! Разве мала вам земля?! Сыне мой, не дай ми благословити котору братню!» — в душе Андрея что-то перевернулось и подумалось вдруг, что власть — не только похоть и желание, но есть и долг, и бремя власти, и что воля может сказаться не только в праве на власть, но и в отречении от нее...

С этою чуждой, мешавшей ему, как заноза, мыслью готовился Андрей к встрече с братом.

Отречение! Но ради кого? — вопрошал он, подогревая себя вновь и вновь. Однако, не лукавя, не мог сказать, что Дмитрий менее достоин стола великокняжеского. За ним, Андреем, стояло одно — Орда. Однако... Не хочет ли Менгу-Тимур просто ослабить их, чтобы вернее держать в подчинении? Война на юге велась вяло. Иранские Хулагиды все крепче привязывали к себе Кавказ и области, что были за хребтом: Армению, Имеретию, Карталинию... На западе, в степи, Ногай забирает все большую власть... Не оказалось бы, что ордынская колесница, к которой привязал его Семен, увязнет где-то в Черных песках и утянет его за собою! Быть может, тогда Дмитрий и прав? С другой стороны, сарский владыка уже трижды ходил в Царьград, к Палеологу, послом Менгу-Тимура, на советах ордынских также русский епископ судит вместе с ханом

Менгу-Тимуром... Нет, Семен прав: православие победит в Орде! И Дмитрий, цепляющийся за заграничную торговлю, за Новгород, смешон. Ему (ему, а не мне!), как дяде Андрею, бежать за море, в Свейскую землю. И тогда он, Андрей, примет и простит Дмитрия, и власть будет у него в руках, и завет митрополита — не пролить братней крови — исполнится... И все-таки не получалось. Какие-то концы не сходились с концами. Ветхий митрополит на паутинной ниточке своей жизни держал готовящийся рухнуть мир.

...Дмитрий первый шагнул и раскрыл объятия. Они холодно поцеловались.

— Андрей... (Хотел сказать как в прошлом: Андрейка — язык не повернулся.)

— Будешь попрекать?

— Попрекать следовало бы не тебя, а Семена, у коего ты в руках. Что там, в Орде?

— Великий князь владимирский должен был бы знать это лучше меня!

— Менгу-Тимур еще не думает принимать христианскую веру? — бледно усмехнулся брат. (Дмитрий знал много больше, видимо, чем предполагал Андрей.) — Впрочем, что *думал* Менгу-Тимур, теперь уже безразлично! — продолжал он с расстановкою.

Андрей тревожно вскинул глаза, не понимая.

— Менгу-Тимур умер в конце июля от нарыва в горле,— сказал Дмитрий и, перемолчав, добавил: — Неужели тебе Семен и этого не доложил?!

У Андрея шумело в голове. Он старался унять биение сердца и сообразить — что же теперь? На миг остро вспыхнуло подозрение об измене Семена. Но он тут же отогнал нелепую мысль. Видимо, уезжая из Городца, он попросту разминулся с гонцом... В голосе Дмитрия, впрочем, не слышалось торжества, как успел заметить, опоминаясь, Андрей.

— Кто теперь? — хрипло спросил Андрей, пряча глаза.

— Кто теперь? — повторил Дмитрий.— Туданменгу. Дервиш. Защитник бесерменской веры. И он не допустит крещения Орды. А делами правит сейчас его мать, Джиджекхатунь со своим эмиром, Байтаром. Вот так-то, Андрей! Оба мы проиграли с тобою, и лучше уж нам не ворошить взаимных обид, а попытаться жить в мире.

Он еще перемолчал. Спросил:

— А как Феодора? Дома?

— Оставь! Ты знаешь не хуже меня! — почти выкрикнул Андрей. Он все еще не мог охватить и обмыслить вести о смерти хана. Джиджекхатунь была, кажется, на их стороне, по словам Семена... Может быть, еще ничего и не потеряно? Может быть, смерть Менгу-Тимура даже и развяжет им руки?! Но бесерменская вера... Но митрополит Кирилл...

Ясно было одно: сейчас, до новых известий из Орды, приходилось ждать. И ждать, быть может, долго. Он украдкой, остывая, оглядел старшего брата.

Дмитрий (в нем сейчас, как в зеркале, Андрей видел себя) внешне почти не постарел. Но что-то новое, требовательно-тревожное и порою усталое то и дело проглядывало в нем. Андрей подумал вдруг, что брату несладок Новгород, хотел задать вопрос, заколебался. И, будто поняв неспрошенное, Дмитрий начал рассказывать сам.

— Требуют передать в руки веча печати князей на грамотах. Суд — только наместнику с посадником вкупе. А паче того, воротить им все земли, которые получил отец. Ежели уступить, мы потеряем Новгород.

Андрей поразился этому «мы». Он пытливо поглядел на брата. После всего, что он сделал, подкапываясь под власть Дмитрия, ему дико было подумать и поверить, что брат заботится не об одном себе, а о них обоих вместе, как о семье. Вспомнилось, как недавно (и как давно!) покойная мать все хлопотала о них о всех. Каким ветром раскидывало их семью? Почему, брошенный всеми, погиб Василий, так и не получив удела? Давно стала чужой сестра Евдокия... Почему они сейчас сидят и не верят один другому?! Однако в чем-то Дмитрий, видимо, прав. Андрей впервые подумал о Новгороде с тревогою. Как-то и здесь Дмитрий оказался дальновиднее. У новгородских бояр есть еще и свои думы, и какие-то замыслы, при коих ни он, ни Дмитрий, возможно, им и не нужны. И тут — ослабить друг друга? Но тогда их спасение — единство! Но почему Дмитрий, а не он? Мысль, обежав по кругу, воротилась туда же, откуда и началась.

Все-таки в этот раз снова пересилил старший. Андрей обещал Дмитрию по́мочь на Новгород. Как и следовало ждать, новгородцы, узнав о переговорах братьев Александровичей, порешили уладить дело миром и послали архиепископа Климента, который прибыл во

Владимир уже перед самою осеннею распутой, когда кончали убирать огороды. Митрополит Кирилл был посредником в переговорах Климента с Дмитрием. И непрочный мир, готовый распасться каждое мгновение, установился вновь.

ГЛАВА 49

Федор воротился в Переяславль к осенней страде. Дома мать с надрывом кричала на Проську:

— И што ты така поперечная! Мать тебе слово, а ты десять! Помолчи, помолчи, говорю! Всеми ангелами, помолчи!

Федор постоял за порогом, усмехнулся. Отвык от материна крика. Толкнул дверь:

— Здравствуй, хозяева!

Мать заплакала. Федор расцеловался с Проськой, слегка тронул ее по затылку. Взрослая уже, и за нос не потянешь теперь!

Собрали паужин. Мать, радостная, но все еще дуясь, вытащила мозговую кость, бросила перед ним на стол:

— Погрызи, зубы те молодые!

— Грикша дома ли? — спросил Федор.

— Где дома! Оба в нетях! И рожь не убрана...

— Ладно, мать,— остановил он ее,— я-то здесь, уберем!

Назавтра, не отгуляв, не перевидав родных, он влег в работу. Скоро приехал и брат, вдвоем дело пошло резвее. Оба ворчали на следы весенних огрехов,— пахали и сеяли опять чужие люди,— но, в общем, хлеб родился добрый. Работали дотемна, уставали дочерна, кони ходили, запаленно поводя боками. Пока убирали и обмолачивали рожь, Федор все откладывал тяжелый разговор с братом об отцовой броне. Кольчатая бронь стоила дороже всего их хозяйства и по праву полагалась старшему сыну. Однако Грикше, пошедшему по монастырскому делу, бронь была без надобности, а Федору с броней открывался прямой путь в княжескую дружину. Федор наконец улучил время для разговора, но брат только покряхтел, отводя глаза.

— Тебе ить не нынче она нужна? Подумал бы лучше, как сестру приданым наделить. Остареет в девках, нам с тобою сором на весь белый свет!

Федор после того оглядел внимательнее сестру, понял, что Грикша прав, Просинью надо было выдавать замуж. (Но не продавать же броны!) У него было серебро, у Грикши, кажется, тоже. Они уселись вечером вчетвером. Мать как-то с робостью поглядывала на сыновей: уже взрослые мужики! Просинья сидела надувшись, не глядя ни на кого.

Федору бы сразу подумать о сестре, но он все эти дни был малость не в себе. Прежняя любовь опять захватила все его помыслы. Они не могли, конечно, не встретиться. Хоть Федор уже знал, что у нее муж, ребенок. Тут столкнулись на полевой дорожке, заговорили. Она похвастала малышом. Федору вдруг кровь ударила в голову, схватил за плечи...

— Пусти!

Она сильно ударила Федора по лицу. Отирая кровь из подбитого носа, он стоял и смотрел ей вслед, и все было опять как и прежде...

Сухая колкая солома. Снопы, снопы, снопы. Пыль. Молотьба. Возы с хлебом, кули с зерном. Пока погода, пока можно молотить без овина, пока, за работой, можно забыть, забыть...

Вечер. Они идут рядом. Поля, кусты, и никого нет, можно не бояться чужих глаз. Она жевала колосок. Он молчал.

— Ты прости, Федя. Осерчала я тогда.

— Ничё!

Свернули, сели под скирдой. Она постелила платок. Привлек к себе. Плакала, целовал мокрое от слез лицо и чуял, как у обоих начинает кружиться голова.

— Как теперя мужу в глаза погляжу?! Федя мой! Что ж не женился, мне, кабыть, легче было бы! Все скачешь, поди уж всюду побывал...

Она гладила и ворошила его волосы, наматывая на пальцы, а он... Он старался ни о чем не думать, так было легче.

— Знал кого окроме меня?

Федор кивнул молча.

— Что ж...

— Лучше тебя все одно нет!

— А не взял. Молила тогда.

— Мать не велела.

— Ты мне не баял того...

— Чаял, уговорю.

— Что ж, плоха ей показалась?

— Не... (Чтобы выгородить мать, соврал.) Старшего женить сперва похотела, да так и...

— Ладно уж! И я, вишь, не стала ждать. Да и батюшка неволил: слава идет, а жених добрый.

— А какой...

— Не прошай! Вишь, здеся сижу.

Они расстались, не дав обещания встретиться вновь. Слишком горько да и трудно: где в деревне убережешься от любопытных глаз? Федор понимал, что мужик убьет ее, ежели только о чем прослышит.

И все это ворошилось в нем, не давая думать ни о чем больше. Пока сидели вчетвером, он снова вспомнил о ней и, когда Грикша начал прямой разговор, даже вздрогнул, не сразу опомнясь.

Сестра, густо заалев лицом, вышла из-за стола и из избы, хлопнув дверью.

— А есь ли кто на примете? — спросил Федор, окончательно очнувшись.

— То-то и горе, что есь! Купчик, с Углича... Ему в придано серебро нать! Вот, а ты говоришь, бронь...

— Бронь жалко! — ответил Федор.

— И с чего ты взял, что тебя возьмут? Князь еще во Владимире!

— А мне обещал Терентий Мишинич.

— В дружину хочешь?

— От своей доли откажусь в земле, серебро отдам все, что скопил! — глухо отозвался Федор.— Только бронь нужна.

— Я-то думал бронь продать,— возразил Грикша,— либо вообще оставить Просинье.

— Кто таков жених? — снова спросил Федор.

— Баял уже, купчик. Дело у его торговое, серебро нать.

— Две гривны сейчас дам. Гривну еще достану. Неуж не соберем?

— Ладно,— уступил Грикша.— Обмозгуем ужо. Митрополит по зиме будет в Переяславли, може, что и мне тогда перепадет... Слыхал, что он ростовского епископа Игнатия отлучал?

— Простил?

— Князь умолил. В Ростове князья всё волости поделить не могут!

— А кто может... (мы с тобой отцову бронь не поделим!) — А вслух: — Мне в Юрьеве старец один

сказывал о Святославе, мол, оттого, уступил стол Невскому, что не похотел резни на Руси...

— Не потому, а потому, что усидеть не смог... Да, да! — разгорячился Грикша.— Они добрые, хорошие, как и ростовские князи, а — не живут! Не держатся за жизнь, так-то вот!

Федор еще через неделю попытался подобраться к брату через мать:

— Мама, уломай ты Грикшу, пусть отдаст мне бронь!

— Не смею, он теперь старшой,— отмолвила она.

Они вернулись к этому разговору спустя время, уже перед самыми заморозками. Поехали в челноке на рыбалку. Ночи уже были темные, глаз выколи. Пристав к берегу, развели костер и, лежа в шатре, прислушиваясь к шорохам ночного леса и плеску рыбы, вполголоса завели спор о возможности чего-то добиться в жизни. Грикша доказывал, что все предначертано Богом, и доброе, и худое. Еще заранее, до того, как человек родится. И даже еще раньше, с той поры, как был сотворен мир. Федор горячился:

— Неуж я не могу сам сделать ничего! Да в кажном дели усилишься — и сделаешь, а не усилишься — и ничо не выйдет! Я могу так, могу и эдак. Могу сиднем просидеть, все буду ждать, что от Бога мне в рот манны небесной накладут! А захочу — заставлю себя, вот, усилием, разумом своим, и сделаю что ни то, и от меня жизнь хоть маленько, да сдвинется!

— Что ты сделаешь, Федор, то так и предназначено тебе. Ты шевелись, делай, старайся! Так тебе и нужно! А другой не будет, не сумеет, оно и уравняется.

— И татары, скажешь, предназначены были?

— И татары. Заслужили мы татар. Не они, дак другие были бы все равно.

— Тебя послушать — ложись и умирай.

— И умрешь в свой час. Все помрем.

— Бог дал зачем-то нам свободну волю!

— Нет у нас никакой свободной воли. Все предназначено, все. «Ни единый волос не упадет с головы без воли Его!» Это что значит?

— Но зачем же тогда всё? И мы, и вот!

Он мотнул головой в сторону костра и леса, где что-то гулко ухнуло и прокатилось, замирая в тишине, и снова стал слышен только тихий треск костра, шорох воды да редкие всплески рыбы.

— Видишь, Федор, ето не просто объяснить. Человек, ну словом, как мир. И в нем все то же, что в большом мире. А порядок мира — согласие. Словно в пении церковном. Голоса разны, а поют согласно. И коли на струнах играет игрец какой — струны разны, и звуки не в одно. И кабы все звуки одинаковы были, не стало бы и музыки. А музыка — ето согласие. Так и в мире все и разно, а согласно одно с другим. Ты вот мятешься, бабы тебе там нужны, иное что, а ты возвысься умом и тогда поймешь гармонию мира. Надо все забыть и отбросить. И тогда услышишь, как небеса поют о славе Бога. Из разного слагается одно, единое, сущее. Ты баешь, хочешь досягнуть чего, а иной будет сидеть, и ему тó предназначено, а тебе — твое. Покой и движение разны, а в природе смешаны, и не может быть покоя без движения и движения без покоя. Вот звезды: вечно движутся, а с мест не сойдут! Взгляни! И у людей, у зверей, у травы, у всего свой срок и предел. И всё вместе! Все связано и все предназначено от начала начал. Так вот мудрецы глаголют!

Грикша одолевал его в споре, но Федор все одно не мог принять братниных слов.

— Ну все равно! Скажем, мироздание, это... И звезды, и травы... Но человек! Вот если бы я не отвез князю грамоты...

— Другого пошлют! Тут-то ты вообще никто!

— Ну пусть. Пусть я еще никто. Но вот митрополит Кирилл. Он может приказать даже князьям, отлучить кого от церкви. Вон владыку ростовского Игнатия чуть сана не лишил! От его воли много зависит!

— И ему тоже от Бога дан предел... Молод ты еще, Федор!

В лесу снова ухнуло.

— Филин, должно! — сказал Федор, подымаясь.— Пойти мережи поглядеть.

Возвращаясь, он все думал над словами брата. И все-таки в голове не умещалось. Вот небо, звезды и все божьи ангелы там, все нерушимо, все стройно... И зачем же тогда мы? И рождены, и брошены в мир?

— А вот когда поймешь,— отозвался брат,— станешь спокойнее. Научишься все принимать, как есть.

Они вдвоем нанизали рыбу на кукан и вновь улеглись. Свод небес медленно поворачивался. Звезды передвинулись. Крупная звезда вдруг сорвалась и упала, прочертив мгновенный голубой след. Федор не поспел

задумать желание. Пора было возвращаться. Они загасили остатки костра, собрали мережи и рыбу. Вода у бортов глухо булькала.

— А в Новгороде на таких челнах и не выходят! — сказал Федор.— Перевернет!

Когда они, привязав лодку, уже подымались от причалов в гору, Грикша вымолвил:

— Ладно, ежели точно примут тебя в дружину, бронь возьмешь. Но чтобы никуда боле не девать! В нашей семье чтоб!

Просиньин купчик скоро появился сам. О приданом уже урядили без Федора. И Федор просто посидел с будущим свояком за корчагою пива. Поговорили о конях, о том о сем. Чужой был мужик. За что-то любит сестра? Или просто кто-то нужен? Договорились ждать Святок. Федор как чувствовал, что на свадьбе сестры ему не гулять.

ГЛАВА 50

Митрополит Кирилл прибыл в Переяславль вместе с великим князем Дмитрием, ростовским епископом Игнатием, владимирским епископом Феодором и новгородским архиепископом Климентом. Здесь, в Переяславле, митрополит киевский и всея Руси начал изнемогать. Он устал, устал не столько плотью, сколько духом. Едучи из Киева в Суздальскую Русь, думал отдохнуть, вкусить плоды посеянного и застал землю в борении и скорбях. Продлится ли жизнь духа здесь, на этой тверди? Не потухнет ли слабый огонек веры под бурями зла и жестокости, что облегли владимирские грады и души людей, сущих окрест?

В конце концов он свершил все, что мог и что было предназначено ему свершить свыше. Укрепил значение церкви здесь и в Орде, перед ханом. Защитил ее от гибели в самые мрачные годы безвременья и утвердил ясные правила на грядущие времена. Смирял князей, миловал, побеждал низкие страсти корысти и себялюбия, учил и наставлял, не уставая. Его трудами спасено то, что, как далекий огонь в ночи, указует путь заблудшему путнику. И он наконец изнемог.

Серо-лиловое небо порошило снегом. Теперь ему до боли хотелось еще раз увидать голубые небеса и серебряную россыпь снегов далекой волынской родины, мяг-

кие увалы Карпат, расписные платки и розовые лица тамошних селянок. Он велел увезти тело свое в Киев и похоронить там. Распорядился добром, сделал последние внушения епископам и причту. Приходя в сознание, вновь призывал к себе князя Дмитрия, наказывал ему: «Ты глава!» Но долго говорить уже не мог. Он даже не был сильно болен, видимо, простыл, а главное — устал. Уже не мог объяснить вразумительно последних своих заветов архиепископу Клименту и князю Дмитрию, которых вызвал к себе перед смертью, и долго молча глядел на них, переводя взгляд с одного на другого. Смежил глаза. Услышал осторожный шепот:

— Нет, еще дышит!

Приоткрыл глаза, веки уже плохо слушались, открывались с трудом, сделал отпускающий знак...

Прошло еще несколько часов. У постели Кирилла бодрствовал его духовник. Внизу ждали, не расходясь, все три епископа: Игнатий и Феодор с Климентом, готовились отпевать. Служка появлялся время от времени на верху лестницы, молча отрицательно крутил головой, скрывался. Но вот, появившись в очередной раз, молча остановился и медленно осенил себя крестным знамением. Произнес, уже не сдерживая голоса:

— Упокоился!

По собравшимся внизу прошло движение.

Так умер митрополит киевский и всея Руси Кирилл.

С ним умерла эпоха, перевернулась страница времени, сломались скрижали, писанные нечеловеческою рукой.

Снег падал все гуще и гуще, неслышно возникая из серо-лиловой облачной пелены, и пушистою невесомою ризой укрывал холодную осиротелую землю.

ГЛАВА 51

Над западной стороной неба поднялось огненное облако. Из него на землю лились холодные искры — безмолвный огненный дождь. И от безмолвия летящих огней было еще страшнее. «К мору, к войне ли! — говорили, покачивая головами, старики.— Уж к худу, к хорошему такого не биват!»

...Она и Федор стояли, тесно прижавшись друг к другу, за стволами дерев и смотрели на горний пожар. Облако, багровое, громоздилось, пухло, крутилось, вы-

брасывая изнутри снопы холодного небесного огня. Алые и зеленые волны прокатывались по черному небу. Выше, выше, вот они стали меркнуть, тускнеть; облако редело, распадалось на отдельные столбы света, от него откатывались вертящиеся разноцветные колеса, вот оно стало тонко-прозрачным и погибло. И тьма сомкнулась разом, глухая, непроглядная. Только уж спустя минуты начали просвечивать в ослепленных глазах холодные капли звезд.

Промороженный воздух обжигал нос и щеки. Потрескивали стволы.

— Не могу я без тебя! — вымолвил он с безнадежным отчаянием.

— И я, Федюша. Я все тебе простила. Бог с тобой! И мужу я нарушила. Ты жанись, Федюша! Мне сердцу спокойнее будет.

— Брат с матерью и то нудят женитьце,— нехотя признался Федор.

Недавно он встретил ее мужика. Тот зло поглядел на Федора. Бьет, не бьет? И бьет, так она не скажет!

— Ну, прощай, Федюша! И не полюбились с тобой напоследях-то...

Она огладила его по лицу, запоминая, туже замотала плат и побежала по скрипучему снегу в темноту. А он еще долго стоял, глядя ей вслед, и не чуял холода, забиравшегося за воротник.

Переяславские дружины уходили в поход на Новгород. Скрипели по снегу полозья саней, розвальни одни за другими, скатываясь с горы, вытягивались по дороге на Купань и дальше по Нерли к Волге, прямым путем через Тверь и Торжок. Федора взяли в дружину, но сейчас он снова был послан гонцом в Москву торопить Данилу Лексаныча. Он скакал день и ночь, меняя коней. В Москве свидеться с Данилой (чего он втайне хотел) не удалось. Данила с дружиной уже ушел к Дмитрову. Федора встретил давешний боярин, Протасий-Веньямин:

— Скажи великому князю, что выступаем! Не умедлим ужо.

Тут все было в шевелении. Сотни саней грудились в крепости и у стен. Гомон гомонился. На разъезженном, рыжем от конской мочи снегу хлюпали копыта, проносились легкие боярские рысаки и тяжело

скакали рабочие упряжные кони. Грузили и увязывали припас — москвичи собирались домовито. Пока Федор путался по Москве, на его глазах две рати с обозами ушли по Волоколамской дороге, на Ржеву и Серегерский путь, а третий обоз — по Дмитровской, вдогон князю.

— Ты тоже скачи через Дмитров, догонишь князя дорогой! — посоветовал боярин, и Федор, убедясь, что московская рать уже выступила, поскакал.

Его бродячая верхоконная служба порядком надоела ему. Минуло то время, когда Федор с жадным любопытством подъезжал к незнакомому городу, теперь все казалось уже одинаково, и, прикидывая, что Митрий Саныч с ратью уже подходит к Твери и там, в Твери, ему и нужно ловить свой полк, Федор беспокоился лишь об одном: не отобрал бы кто из бояр дорогую отцову бронь, что была оставлена им в обозе.

Он не успел, как чаял, в один день доскакать до Дмитрова, задерживали идущие той же дорогою московские ратные обозы, и когда прибыл в Дмитров, Данила Лексаныч с дружиной уже ушел оттуда, и Федор, мало передохнув и покормив коня, поскакал дальше, в сугон за князем, к Твери, хотя ясно было, что торопить Данилу уже теперь незачем, поскольку Дмитрий встретит брата прежде, чем его догонит грамота, которую везет Федор.

Была смутная надежда поговорить с Данилой Лексанычем о войне и «обо всем об этом» — и, разумеется, тщетная. Он только мельком видел Данилу, закованного в броню, под шубой и в шлеме с низко надвинутым налобником. Князь проверял строй дружины, и все были тоже в бронях. «Учит!» — понял Федор, потому что никаких новгородцев под Тверью быть не могло. К Даниле, конечно, оказалось не подступиться.

Уже поколесив по Твери, огромной, растянувшейся, строящейся, Федор ощутил глухую тревогу. Обилие лабазов, лавок, ряды торговых клетей, неохватные скопища амбаров, житниц, гостиные дворы, пристани — все уже виденное, но как-то впервые осознанное — являло растущую силу Твери. И в том грозном розмирье, когда и Ростов колебался, и волжские города Андрея готовы были отпасть, и Новгород уже встал на дыбы, это спокойствие великого города казалось каким-то недобрым и неправдашным. Федор знал, что

Святослав Тверской не ладит с мачехой, Ксенией Юрьевной, и что всю семью Святослава унес недавний мор, а Ксения растит двух Ярославовых дочерей и младшего, родного ей, сына Михаила... Кто тут у них на́больший? Князей, слышно, чествовала Ксения... Пока о Твери, впрочем, всего больше говорили не в Переяславле, а в Новгороде. Тверь перехватывала новгородскую торговлю с Низом, и тверской гость в Новгороде вызывал раздражение.

Федор догнал свой полк под Торжком. Ратная служба оказалась тяжелее должности гонца, как он убедился сразу же. Там Федор был сам себе господин, здесь же навалилось забот, что в обозе, с утра до вечера, да еще ратные ученья. Приходилось скакать в строю, вздев отцову бронь, с непривычной скользящей тяжестью на плечах. По неумению он плохо подвязывал кольчугу и первые дни, пока не объяснили старшие ратники, мучался от того, что скользкая железная рубаха елозила по телу, при наклонах перевешивая Федора, так что он едва удерживался в седле. Зато на привалах, по вечерам, когда заходила речь о войне и спорах княжеских, Федор, навидавшийся всякого, брал верх, и его объяснения даже бывалые ратники слушали, раскрыв рты.

Мало кто знал, оказывается, что спор с Новгородом у князя Дмитрия начался из-за посадничьих прав и суда (ратники думали, что из-за ордынской дани). Новгородские бояре требовали посадничьей печати на судебных грамотах и независимо от княжеского тиуна торгового суда. А это уже ударяло по великокняжеским доходам и самой власти Дмитрия. Сверх того, совет старейших бояр от пяти концов добивался права выбирать посадника самим, без воли князя. С этим вместе решался и вопрос о землях низовцев на Новгородчине.

Споры вспыхнули с особою силой недавно, когда новгородцы прослышали о ханском ярлыке Андрею (об этом, впрочем, даже и Федор еще ничего не знал). Тут уже Дмитрий не стерпел и своею волей сместил посадника Михайлу Мишинича, вызвав возмущение всего города, и отшатнул от себя Славенский конец, который до сих пор поддерживал князя против бояр Прусской улицы и Загородья. И не помогло делу то, что новый посадник, Смен Михайлов, с которым князь Дмитрий тесно сдружился в Ладоге, тоже был со

Славны. Смен, когда Дмитрий того меньше всего ожидал, перекинулся к восставшим. Посольство архиепископа тоже не помогло, да и мало годился новгородский архиепископ на роль миротворца, ибо ему передавались по новым уложеньям многие земли по Ваге и Двине и доходы с владычного суда по всему Северу. Как только умер митрополит Кирилл, смирять страсти и вовсе стало некому. Возможно, переговоры с архиепископом Климентом еще и привели бы к какому-нибудь соглашению, но тут новгородские бояре Дмитрия уже сами потребовали войны. Поземельные решения Новгорода задевали и их тоже. Новгород налагал руку на все вотчины отъехавших ко князю бояр, а у Гаврилы, у Миши Прушанина и у иных прочих имелись свои земли под Новгородом. И война возгорелась.

Морозы лютели. Железо — не тронь, намертво прилипало к рукам. Белый пар подымался от дыханий. Морды лошадей, усы и бороды ратников — все было в белом инее. Ременная упряжь лубенела на морозе. Чтобы затянуть супонь, ее прежде отогревали в руках. На ночлегах, кто не попадал в избы, всю ночь жгли костры. Высокое небо в неправдоподобно больших звездах, черно-серебряный снег и гулкие выстрелы трескающихся на морозе дерев.

Дмитрий медлил, боясь измены Андрея, но наконец подошла и городецкая рать, правда, в меньшем числе, чем было обещано братом. Псковский воевода, князь Довмонт, зять Дмитрия, тоже обещал помочь, хоть псковичи и уперлись, не желая идти войной на «старшего брата». На всякий случай Дмитрий остановил рать на Шелони, перекрывая псковскую дорогу, и разослал отряды в зажитье для грабежа Новгородской волости.

Вскоре прибыло посольство от новгородцев во главе с архиепископом. Новгородцы уступали князю, просили только торгового суда. Выгадывала, в общем, Торговая сторона со Славной во главе и славенские бояре. Дмитрий поупирался еще, в чем-то уступил, в чем-то уступили новгородцы, которым тоже нужна была низовская торговля, и наконец поладили. Часть ратей возвращалась назад, грабежи были прекращены, Новгород открыл ворота братьям-князьям, и Данила, который все уговаривал брата помириться, главным образом потому, что хотел поглядеть Новгород, наконец-то добился своей давней мечты, увидел великий город.

Андрей Городецкий к заключению мира прискакал тоже, хоть теперь и не был нужен Дмитрию. Андрею не терпелось поглядеть на тех, с кем он до сих пор только втайне пересылался. Он сразу оценил Новгород и как-то тут больше понял брата, цепляющегося за эту северную землю.

Данил просто был счастлив. Соборы были — те самые! Терема — точь-в-точь как по сказанному, и иконы новгородского письма, и звон колокольный, и торг, и люди... Пока Дмитрий улаживал свои права, получал неполученные дани, собирал ордынский выход и черный бор, пока Андрей, таясь от Дмитрия, на пирах и в беседах знакомился с боярами, вел разговоры из недомолвок и обещал, обещал, обещал, Данил, утонув в изобилии торга, бегал по мастерским, искал иконного мастера, кто бы согласился к нему, на Москву, мастера не нашел, но заказал переписать новгородскую летопись для себя, для Москвы, покупал сосуды и иконы в свой монастырь, Даниловꙋ, покупал красное сукно молодой жене, шелк и северный жемчуг, шкатулку рыбьего зуба и приглашал весною купцов к себе, на Москву, обещая выгодный хлеб, и шкуры, и лен.

...Они сидели за трапезой в тесном тереме на Городке. Впервые наконец без бояр, одни, три брата. Дмитрий с Андреем уже встретились, когда вошел запоздавший Данил и сел прямь старших братьев. Все рослые, крепкие, красивые. Дмитрий — выпрямившись, сведя гнутые, как татарский лук, брови. Он принимал и чествовал сегодня как хозяин, как победитель, как старший брат и великий князь. Андрей — быстро взглядывая на брата, слегка раздувая ноздри, он разрешал брату быть господином сегодня, сейчас... И сияющий, как жених на свадьбе, еще худоватый, горбоносый Данила. Слуги вносили фряжское вино и мед, закуски и тотчас скрывались.

— Зимой Новгород не тот... А вот когда корабли, весной! — сказал Дмитрий, и осуровевшее лицо его осветилось скупой, как северное солнце, улыбкой.

Андрей вспыхнул, подумал: «Уколоть меня хочет?!»

— А у меня сын народился! — сказал Данила, улыбаясь во весь рот. Андрей кинул холодный резкий взгляд, щека дернулась, и вздрогнул завиток бороды. Дмитрий усмехнулся покровительственно.

— Мы решили назвать Юрием, ежель сын,— сму-

щаясь, сказал Данила.— Счас мне передали. Гонец прискакал с Москвы!

Дмитрий разлил вино:

— За новорожденного! Пусть растет умней нас али хоть удачливее!

Андрей промолчал, опустив глаза.

Выпили.

ГЛАВА 52

Летом разразилась, наконец, давно ожиданная ссора в Ростове Великом. Дмитрий Борисович опалился на младшего брата Константина. Что там произошло — неясно, но, видимо, старший ростовский князь решил стать самовластцем в своей земле. Копилось постепенно, а тут Константин не выдержал и уехал во Владимир, к великому князю Дмитрию.

Дмитрий Борисович стал собирать рать и укреплять город. В Ростове началась великая замятня. Епископ Игнатий, не сумев помирить братьев, кинулся вслед за Константином во Владимир, молил Дмитрия Александровича вмешаться. Дмитрий поехал в Ростов с боярами. Долго судили и рядили, улаживая споры и которы ростовских князей, кои в конце концов не без труда удалось «свести в любовь».

Дмитрий возвращался довольный. Тяжелый, начавшийся грозным небесным знамением год, кажется, минет без вреда. Уладилось с Новгородом. Удалось уладить дела ростовские. Все было тяжело, все долило, почасту не хватало сил, денег, ратей... Или так казалось со стороны, что отцу все дается легко и просто?

Он лишь порою хмурился, вспоминая упрек в единодержавии, брошенный ему ростовским князем. Веско ответить ему Дмитрий так и не сумел и теперь досадовал на себя. Ответить было бы нужно. Очень нужно! Но как?

Снова созревали хлеба, лето перевалило на вторую половину. В листве, тяжелой и пышной, уже не было весенней яркости, и хоть нигде не проглядывало еще ни одного желтого листа, но уже их предвестье чуялось в дремлющих кронах дерев, в жаркой истоме полей, вянущих травах и пыльном, словно выцветающем, небе.

Во Владимире он узнал от великого баскака, что Андрей получил у нового хана, Туданменгу, ярлык на все великое княжение и уже отбыл в Орду за помочью. Татарин глядел на князя глумливо. Дмитрий смолчал. Сдержался. Пройдя к себе, потребовал городового боярина. Боярин отсутствовал. Слуги, как тараканы, попрятались по углам.

Мир рухнул.

Дмитрий сжал кулаки: «Эх, Андрей!» К сердцу подступила боль. Быть может, я виноват? Вспомнил, как сидели в Новгороде... Лицо Андрея... Горячий гнев вытеснил растерянность и страх! Нет, он еще поборется! Власти просто так не отдаст! Собрать всех! Вооружить город! (Но кого? И как собрать?! Где бояре?! Владимирцы разбегаются, как мыши... И нет митрополита!)

Владимирцы, и верно, разбежались все. Охрана осталась только своя, переяславская. Его встретил Окинф, сын Гаврилы Олексича.

— Ты не убежал? — спросил, не сдержавшись, Дмитрий.

— Нам, переяславцам, куды бежать? — ответил Окинф, не обижаясь.— Обороним, коли заможем...

Ратники, брякая оружием, собирались к своему князю. Иные были в крови, наспех перевязаны.

— Татары хотели забрать казну, да наши не дали. Тута маленько сшибка вышла! — объяснил Окинф. Прибавил помолчав: — Баскак отряд послал в Переяславль, упредить бы!

— Когда? Что ж не сказали! (Собрать всех, кого можно. Скакать. Догнать. Укреплять Переяславль.) — Он уже понял, что тут, во Владимире, не удержаться.

— Как батюшка?

— Батюшка здрав. Переяславль стережет, да вот от татар худа не стало б...

Дмитрий обозрел напряженные, повернутые к нему лица и приказал негромко, но твердо:

— Скакать в ночь!

Светлое солнце, не покраснев, опустилось за рожь, оставив на краю неба золотистую, быстро тускнеющую пелену. Федор поднял голову. Выше облачной дымки лежала спокойная светлая голубизна. Размазанные по окоему сиреневые полосы облаков темнели. Это небо! И эта тихая, еще ничего не знающая о своей участи, с налитыми хлебами, готовая родить, земля.

Литое колесо солнца, на которое было не больно смотреть глазам... Тишина, проломанная коваными копытами. Бешеный скок коней.

Мчались, пересаживаясь с коня нá конь. У кого-то захрапела и пала лошадь. Ратник отстал, снимая седло. Ждать не стали. Привал сделали перед утром. Вываживали коней, не пуская сразу к воде. Ноги плохо слушались после седла. Хотелось все бросить и повалиться наземь.

Серая мга съедала звезды.

— И ласточка низом! — сказал чей-то голос из темноты.— К дождю!

Другой поддержал:

— Как польет, тут те, и по мокрому-то, вборзе не поскачешь!

Федя, шатаясь, подымался от ручья. Князь с боярином Окинфом стояли на бровке, оба слегка расставив ноги, рисуясь крепкими черными тенями на рассветном небе, и он невольно подивился выдержке воевод.

— Татары беспременно возьмут на Юрьев,— говорил Окинф.— А мы лесной дорогой. Должны упредить... Кони у их! — Окинф присвистнул.

— Не стали бы казну отбивать в Юрьеве!

— Казну Морхиня довезет, люди есть. Да нет, татары сами тоже не начнут, сколько их тута? Горсть! Во Владимире не взяли! Юрьевский князь не даст...

Они прошли. Федор, дойдя до своих и без вкуса пожевав хлеба, повалился на попону...

Разбудил мелкий теплый дождик. В тумане шевелилась рать.

— Седла-ай!

Небо серело.

— Обложной! Ну, ветерок бы хоть! — толковали, подтягивая подпруги и взнуздывая коней, ратники.

— Кажись, задувает...

— Дай бог!

Дорога раскисла враз. Со скока скоро перешли на рысь, дальше ехали шагом.

Небо осветлело. Поднялся ветер, и пошел крупный дождь. Вымокли до нитки, зато скоро тучу свалило и стало проглядывать солнце. Густой пар стоял над прудами. Подсиненное облачное молоко рыхло волочилось, таяло, открывая синие размытые проталины. Белой порошею цвела на паровых полях свинка. Редко-редко доносился со стороны крик ратая да да-

лекое конское ржанье, и снова только глухой чавкающий топот сотен копыт, шумное дыхание людей и лошадей, стук или звяк стремени да по временам резкий окрик старшого. Казалось, неоглядная тишина волнами расступалась и снова смыкалась позади проходящей рати, гася все звуки. В тишине наливались рожь и яровые, светло колосился овес. А небо намокало лиловою влагой, от земли, от травы парило, солнце грело сквозь прозрачную облачную пелену, и ветер сушил землю, начинавшую ошметьями отлипать от копыт коня. И сквозь волглый зипун Федору уже начинало парить плечи и спину.

Уже показались сосны. Твердая лесная земля обрадовала всех. Кони перешли с рыси на скок. Вытягиваясь длинной змеей, ратники исчезали под влажной крышей бора.

«Успеть, успеть, успеть!» Уже ярость скачки захватила и людей и животных. Еще кто-то, захрапев, сполз с седла, еще чей-то конь, шатнувшись, сбился и стал заваливаться. Мокрые сосновые ветви хлестали по лицу.

Стало жарко. Солнце высушивало ветви. Густо парило, обдавая горячим лесным духом хвои, муравьиных куч, черничника и болотной травы. Почти не останавливаясь, пересаживались опять на поводных коней. Скакали. К вечеру небосклон опять облегла нешуточная туча, похоже, к большому дождю.

— Уже близко! — пронеслось по рядам. Кого-то услали вперед, хотя казалось, что быстрее скакать уже нельзя, и Федор потрогал в тороках увязанную бронь.

Пахну́ло холодом. Быстро темнело. Туча, густо-синяя, сизая, цвета голубиного крыла, закрыла уже треть неба. Вечернее солнце вдруг вырвалось из-за дальнего края ее, и Федор, оборотясь в огненное пыланье лучей, на миг ослеп, только радужные круги пошли перед глазами. Солнце легло на дальний лес, зажгло красными свечами стволы сосен, закрапал дождь, и над лесом, над пронзительно зеленой хвоей багряных сосен встала высокая радуга. И туда, под арку радуги, спешили, переходя с рыси на скок, князь с дружиной, чая уйти от дождя и опередить татар.

Выскакав из лесу, они сгрудились на холме вокруг князя. С угора открывалось широко вперед, туда, к Переяславлю, еще не видному за холмами.

— Рать турит!

— Наши!

— Татарва!

— Наши! По шапкам видать!

— Успели, кажись!

— Ну, Митрий Саныч, — выкрикнул кто-то весело,— век не позабыть, как скакали нонеча!

И Федор, поднеся трясущуюся руку с плетью к глазам, бурно дыша и ногами ощущая, как тяжело дышит, раздувая бока, конь, тоже запомнил навсегда отсюда, с холмов, сбегающую вниз дорогу, развороченное, дымно-кровавое небо и внизу тусклые, блекло-рыжие кровли соломенных деревень.

От Переяславля им встречу скакали, размахивая шапками, верхоконные.

Татар они не опередили, но поспели все-таки вовремя. Престарелый Гаврило Олексич уже третий час спорил с начальником татарского отряда, с трудом отстаивая княжой терем и входы на башни. Меж тем уже начиналась драка. Татары брались за плети, с плеча хлестали, норовя по глазам, ратных Гаврилы, а те, оборотив копья, отбивались древками. Свалка грозила перерасти в побоище, тем паче что кое-кто из татар уже отъезжал подалее и доставал луки.

Гаврила оборотил к Дмитрию гневно-беспомощное лицо. Вспыхнув радостью, увидел сына, Окинфа. Дмитрий в опор, пустив коня, врезался в татарский строй, и за ним его дружинники, ополоумевшие от скачки, грязные, с напряженными скулами, на запаленных конях, готовые ринуться в клинки.

Дмитрий гневно, не трогая меча, оборотился к татарскому мурзе. Татарин, скаля зубы, вложил до половины вытащенную кривую саблю.

— Без ханского ярлыка не пущу!

— Ярлык будет.

— Когда будет, тогда и перемолвим. А тут — я князь. Тут вотчина моя!

В ворота въезжали новые ратные. То был второй Гаврила, с сыном Андрейшей, с дружиной усольцев и кубричан. Татарский воевода вдруг перестал разговаривать и издал дикий горловой крик. Татары разом заворотили коней и конным ливнем ринулись вон из крепости. Кто-то на дороге схватил арканом высунувшуюся бабу, поволок и почти на скаку подхватил на седло. Несколько стрел, пущенных через плечо,

вполоборота, просвистели в воздухе, кто-то охнул, схватившись за руку, другой скорчился: стрела попала в живот.

— Ну и бьют, гады!

— Догнать! — бросил Дмитрий, но измотанные кони уже не годились для этого. Татарский отряд легко уходил на рысях.

— Скачи вслед! Не то деревни пограбят! — приказал Дмитрий второму Гавриле.

Все это произошло так быстро, что Федор опомниться не успел. Оглянувшись, он увидел, что переяславский баскак стоит как ни в чем не бывало на крыльце ордынского двора. Дмитрий смерил его взглядом, тяжело спешился и полез на крыльцо. За ним — несколько человек бояр. Ратники, и местные, и те, что прискакали, не слезая с седел, ждали, что будет. Но вот князь вышел, и за ним, гремя оружием, показались бояре. Он дал знак, и у крыльца ордынского двора стали ратники, опершись на копья. Прочие начали спешиваться и выводить коней.

Сшибка в Переяславле и слухи породили общий переполох. Жители побежали кто куда, спасаться. Пришлось останавливать, ворочать, объяснять. Баскак, задержанный князем, слал грамоты в Орду, Дмитрий тоже. Бояре разъезжали по деревням, объясняли, что осенью, в распуту, татары уже не пойдут. Жители с оглядкой ворочались жать хлеб.

Осень стояла переменчивая: то дождь, то солнце. Неуверенность была и в людях. Работали и не спали ночами, сожидали татар. Разъезды стерегли все дороги. Спешно закупая товар, торопились убраться подобру-поздорову новгородские купцы. Бояре увозили семьи в дальние лесные деревни. Князь Дмитрий уперся. Отослав жену с дочерьми в Новгород, укреплял город. Оба сына, Иван и десятилетний Александр, оставались при нем. Передавали, что хан вызывал Дмитрия в Орду, но князь не поехал. Кто и подумывал, что еще обойдется. Сбежавшие в первые дни потихоньку возвращались домой.

ГЛАВА 53

Федор, выпросившийся у боярина, с Грикшей были заняты уборкой хлеба. Кончили, и Грикша предложил зарыть хлеб в яму (береглись уже и от соседей).

Яму рыли скрытно, в сарае. Обложили берестой, просмоленным рядном. Тщательно заровняли, чтоб не найти. Грикша задышался, распрямляя спину, вымолвил зло:

— Вот! Гляди и думай! Мы с тобой верим? Не верим! А то бы не рыли.

Он устроил мать в отъезд, в Москву, но мать неожиданно заупрямилась:

— Из родного дома куды я? А хоть и татары, кому я, старая, нужна!

Оба уговаривали ее — бесполезно. Один был ответ:

— Как все, так и я!

Меж тем хлынули затяжные дожди, на время перекрыв все дороги надежнее всякой засады. Великий князь Дмитрий спешил, рассылая повсюду послов, как-то собрать колеблющихся князей, созывал рати. Посланные в Новгород бояре укрепляли Копорье.

Дожди прошли. Небо расчистилось. Ледяной ветер высушил землю. Завеял снег и скоро пушистою шубою укрыл поля и холмы. Снег лег как-то сразу, плотно и уже не таял. Ратники несли сторожу по дорогам. Федор изредка, сменяясь, заглядывал домой. Приехал Терентий, Федора с прочими отправляли в Новгород, где было неспокойно. Спорить не приходилось. Он напоследях побывал дома. Опять оба беседовали с матерью, стараясь уговорить уехать.

— Куда?! Скот, курицы... Коня, пущай, увести можно, а корову куды? Резать? Татары придут — уйду в лес! И туда не хочу... В Москву! Ближний свет! Там только таких старух и не хватат!

Федор уехал с тяжелым сердцем, оставляя мать на брата. Он, как и прочие, еще не знал, придут ли татары или нет. И так хотелось верить, что князья как-то договорятся, как-то поладят миром.

Почти с Покрова завернули морозы, такого еще никогда не бывало. Мужики сидели по избам, кто и думал податься в лес, отлагал. Слишком давно был последний татарский погром. Четверть века прошло с Неврюевой рати, успели вырасти молодые, а старые подзабыли, и все как-то надеялись, авось и минует еще...

Дмитрий сам и верил и не верил. Он объезжал заставы и как раз воротился в Переяславль, когда из Владимира примчал мохнатый от инея ратник с вестью: Андрей с татарской ратью подошел к Мурому! Рать

великая, ведут Кавгадый и Алчедай, татары все грабят по пути, а князь Андреевы воеводы с ними — Семен Топильич и Олфер Жеребец.

Дмитрий велел забивать народ в осадные дворы, усилить засеки по дорогам. Валы и кровли Переяславля полили водой — от огненных стрел татарских.

Вести стали приходить одна за другой. Спасая свой удел, к Андрею присоединился стародубский князь Михаил Иванович. Старика и обвинять было трудно. Беззащитное стародубское княжество лежало как раз на пути татарских ратей и, в противном случае, было бы разгромлено полностью. Федор Ростиславич из Ярославля шел с ратью также на помощь Андрею. Когда дошла весть, что и Константин Борисович Ростовский, которому Дмитрий недавно помогал уладиться с братом, присоединился к Андрею, Дмитрий закусил губу. Хуже всего было, однако, то, что другие, кто и не перебежал к татарам, не спешили на помочь. Дмитрий Борисович Ростовский пережидал, дмитровский князь пережидал тоже, не спешил на подмогу и углицкий князь Роман, суздальские полки вообще не собирались выступать. Подошли только тверская и московская рати.

Дмитрий сам объезжал разоставленные по дорогам войска и заметил ушедший украдом отряд. Оказывается, ночью снялись. В ближайшие дни ушли еще две рати. Войско таяло на глазах. Поколебавшись, ушла наконец и тверская помочь. Начали сниматься и уходили боярские дружины. Переяславцы украдом тоже покидали город.

В один из дней не выдержал и Гаврило Олексич:

— Не выстоять нам, княже! Бегут! Уходи и ты! Лучше дружину сохранить. В Копорье, Бог даст, отсидимся!

Дмитрий поднял на него тяжелые глаза:

— От Берендеева ты приказал отступить?

— И оттоль ушли?

— Ушли. И Феофан с дружиной ушел. Почитай, все разбежались...— Князь с воеводой молча переглянулись, не в силах вымолвить того, что уже стало явью.

Татары опустошили Муром и окрестности, разоряя все по пути, подошли к Владимиру. Уже и у Юрьева, брошенного защитниками, появились их передовые разъезды. Вал докатился до Суздаля, захлестнув

и Ростовскую землю. Суздальский князь и Дмитрий Борисович Ростовский расплачивались за невмешательство. Впрочем, союзные волости Андрея татары тоже щадили не очень. Вести ползли и ползли. Таяли рати.

Отослав московский отряд, Дмитрий велел снимать заставы и готовиться к отступлению. Грузили припас, иное прятали. В монастырях спешно зарывали в землю добро. Как только дружина Дмитрия выступила из Переяславля, началось повальное бегство.

ГЛАВА 54

Грикша пригнал в Княжево еще в потемнях. Мать завыла в голос, поняла, бестолково засуетилась.

— Скорей!

Уже поздно было что-нибудь собирать.

— Прохора предупредить нать, Олену... Дарью...

— Уже!

Схватив вторую лошадь, Грикша ввалился к матери в сани. Брошенная корова жалобно замычала вслед со двора. Выехали. Соседка, Оксинья, выскочила на улицу.

— Бегите, татары! — крикнул Грикша, нахлестывая коня.

Хлопали калитки, отворялись двери домов, ржали лошади, мычала и блеяла скотина. Прохор, окриками погоняя замешкавшихся, уже выезжал на двух санях.

— Скорей, ждать не станем!

Оксинья, с расширенными от ужаса глазами, уродуя губы, кидала узлы в сани, дети ревели в голос. Мужик, Пахом, отчаянно глядя на побелевшее лицо жены, бестолково дергал вожжи, осаживая тоже перепуганную, прядающую ушами, низкорослую, татарских кровей лошаденку. Старуха, Пахомова матка, закусив беззубым ртом, отчего подбородок придвинулся к самому носу, молча выносила иконы. По улице опрометью промчался верховой. Пахом потянулся к нему всей шеей.

— Близко! — прокричал тот, не оборачиваясь.— В Красном Бору уже.

Соседские сани, тяжело нагруженные, вывернулись из-за угла. Степан, с развихренной бородой, стоя, полосовал лошадь. Степановы ребятишки, вцепившись

друг в друга и в разводья саней, дружно мотались из стороны в сторону.

— Запалить, что ль? — жалобно спросил Пахом.

— Без тебя запалят! — бросила, заматывая сбившийся платок, уже опомнившаяся несколько Оксинья.— Трогай!

— К Купани?

— Дурак! На Манькино займище давай, там авось ухоронимся! Мотри, сторожко езжай! Углядит кто, не ровен час, донесут татарам, свою бы беду на чужих свалить!

— А-а-а-а! — донесся издали высокий татарский визг над опустевшей деревней, и вот вдали показались верховые. Чьи-то остановленные сани свернуты в снег. Всадники рвут друг у друга добычу, потрошат узлы. Ребенка хватают на седло, мать бьется в чьих-то руках, лошадь уводят, обрубив постромки... На дороге — зарубленная старуха. И ворона, проследив черным глазом умчавшихся верхоконных, сторожко подлетает, поворачивая голову. Ближе и ближе, уже с плетня, с жадным любопытством глядит на мертвое тело: не шевельнется ли? Кровь постепенно темнеет на снегу...

Татары, в погоне за дружиной Дмитрия, ринулись на земли Тверского княжества, опустошили села под Тверью и вокруг Торжка. Спеша дорваться до добычи, они плохо слушали своих воевод, а уж Андреевых и подавно. Да похоже, татарские мурзы и не спешили останавливать своих ратных, давали ополониться досыти.

Никто нигде не сопротивлялся. Жители разбегались, забивались в леса, мерзли и гибли. Рати уходили, бросая города. Только в княжеских столицах, таких, как Ростов, Тверь, Суздаль, был какой-то порядок. Тут князья сами вооружали ратников, обходили стены, да и баскаки удельных городов не дозволяли своим врываться и грабить. На всей остальной земле власти больше не было. Кое-кто и сам пускался в разбой (спишут на татар!), били скот, очищали брошенные хоромы. Каждый спасался как мог. Иные, с ребятишками, бестолково мотались по дорогам, некормленые кони лезли в огорожи, раздергивая стога сена, а хозяева с вилами в руках обороняли свое добро. И не в редкость было видеть там — пропоротого насмерть мужика у остожья, здесь — убитых вилами

коней. Там и сям подымались дымы пожаров. Мороз крепчал. По ночам звезды голубым холодом обжигали серебряную землю, и жизнь, бесприютная, медленно гасла под высоким небом, в изножиях строгих, в снежных саванах, елей.

Олфер Жеребец с ратью вступил в Переяславль сразу после татар. Ратным велел тушить пожары (ждали самого князя Андрея), поставил сторожу у княжого терема и разрешил три дня грабить город. Грабить, впрочем, после татар оставалось мало что. Ратники, ругаясь, разбивали клети, шарили по погребам. Хмурясь, отводили глаза от детей и плачущих женок — кто не убежал или не был уведен татарами. Сплевывая, выходили, нарочито не закрывая за собою дверей. Густой мат висел в воздухе.

Татары — это еще от Бога, но свои своих — это было ужаснее всего. Монахи разоренных татарами монастырей, низя глаза, хлопотливо собирали порванные книги (из книг выдирали дорогие серебряные переплеты), подымали частью разбитые иконы (с икон срывали оклады, выламывали драгие каменья из оправ). Сосуды, утварь — все было порушено и растащено.

Олфер Жеребец злобился. Он хоть и привык ко всякому, и все-таки мерзко было видеть расхристанным, разоренным не мордовскую деревню какую, а Переяславль, как-никак стольный город самого Александра Невского! В поместья Гаврилы Олексича он съездил сам. Вывез порты, утварь, угнал, что осталось, скота. Запасы немолотого хлеба и сена сжег. Сжег и хоромы Гаврилы Олексича. Челядь, что не разбежалась еще, кого забрал себе, кого порубили тут же. Озирая дымящиеся головни, истоптанный снег и трупы, Олфер удовлетворенно подумал: «Ну, Олексич! Сквитались! Ладно, не встретились еще, утек ты от меня! Ежель и воротишься сюда, не скоро восстановишь!»

Андрей заглянул в Переяславль накоротко и скоро отбыл во Владимир. Олфер постоял в Переяславле еще, пока не пришла весть от князя, тогда, разорив город и окрестные села вконец, ополонившись, он двинулся назад. Мычание и блеяние угоняемых стад, разноголосый гомон и плач челяди, угоняемой с родных мест, сопровождали движение рати.

На снегу оставались туши павших животных и трупы. Ночами осторожные волки, озираясь, выходили

на дороги, нюхали и, обойдя кругом, начинали жрать падаль. Поедали трупы и, от вкуса человечины наглея, начинали нападать на одиноких путников, беженцев и даже на отдельных, отставших от своего полка ратных.

И лишь тогда, когда ушли последние городецкие войска и прокатилась, обратной волной, татарская конница, начали выползать из лесов уцелевшие обмороженные, оголодавшие люди. Собирали уцелевших лошадей, уцелевших коров, уцелевших детей. Ночами заползали в клети, еще не рискуя днем оставаться в деревнях.

...Первый отрытый, занесенный снегом труп. Первое голошение по покойнику: «Матенка моя родная, не пожила ты да не погóстила!..» Первый вопль понесся, срываясь на верхних горестных звуках, под серебряной мертвой луной, рождая неуверенное движение, как первый крик новорожденного младенца, происходящий от соприкосновения с этой жизнью, где каждому суждены и крест, и мука крестная.

Андрей, воротясь из Переяславля (была вторая половина декабря), вступил в устрашенный Владимир и остался там с малом дружины, разослав прочих по волости. Он устроил роскошный пир для Кавгадыя и Алчедая и богато одарил всех татарских воевод. Семен и Жеребец оба были еще в походе. На душе у Андрея было смутно. Город молчал, присмирев, будто загнанные морозом внутрь жители ожидали скорого конца. Бояре кланялись, был молебен в соборе. Епископ Федор славил нового великого князя. Все было как следовало быть, и все же радости не было. Радость должен был испытывать он сам, а не ждать ее от владимирцев, что в ужасе ждали резни и пожаров — какая уж тут радость! И Семена не было рядом...

Тогда, осенью, начиналось все не так. Семен Тонильич воротился из Орды радостный, словно даже помолодевший, загорелый до черноты: «Сейчас или никогда!» И под бурным натиском Семена с Андрея враз слетели все сомнения, и речи покойного митрополита, и сиденье в Новгороде с братом, и он ответил: «Сейчас!» Семен узнал о готовности новгородских бояр, выслушал, чего просили новгородцы,— суда торгового и посадничья, архиепископских сел и даней,— кивнул головой: «На все соглашайся! Там наше дело будет: дать

или не дать!» И тотчас заговорил о рати: как удалось сговорить Туданменгу, кому и сколько дано, кто был против и сколько придет татарских туменов; и Андрей, который все еще в душе страшился войны с братом, решился. Такой ясной силой веяло от лица, от светлых, повелительных глаз и этой, на загаре очень видной, седины Семена, сейчас словно совсем и не старившей его, от этих новых, волевых и резких складок на переносье... И ведь ему, Андрею, уже тридцать! Годы, когда надо торопиться, ибо потом уже наступает стариковское «никогда», и он принял, поверил, уверовал и повторил: «Сейчас!»

Дальше все шло как во сне. Когда на его глазах татары разносили ни в чем не повинный Муром, он еще спокойно взирал на первые трупы на дорогах. И все было ничего. Приходили князья, кланялись, приводили рати, угодливо улыбались. Откровенное искательство Федора Ярославского сильнее всего показало ему, что сила тут, на его стороне.

Но потом то же бегство, трупы, грабежи и под Владимиром, и разгромленный Переяславль, и вдруг он понял, какой сейчас разор по всей стране! А давеча еще этот, вдруг потрясший его, рассказ о лошадях...

Как раз прибыли гонцы из Новгорода. Он вошел в трапезную, где пировала старшая дружина, и остановился. Гомона, обычного в застолье, не было, и это заставило его приодержаться. Что-то рассказывали, он притворил двери и стоял, слушая. Поскольку все слушали, князя заметили не вдруг.

— Дак вот, мужик замерз; видно, от татар бежали да заблудились, и женка с им. И детей двое, трое ли — уж волки объели — не видать. А кони тут и ходили, по ложбине. Дерево там, наверху, и тут тоже обгрызено до ствола. Пройдут — и назад. И опять. И сдохли, тоже с голоду. Вот ты мне скажи теперича, поведай, почто кони не ушли?! Ну, в упряжи были, дак оторвались от саней, однаково! Как кто водил!

— Конь! Он хозяина не оставит. Иной конь, что пес, сдохнет тут...

— И сдохли! Всю кору изъели! Страшно было и поглядеть! Так вот на дереве зубы办 конски видать было!

Андрей слушал с багровым лицом. К нему обернулись, он оглядел дикими глазами застолье.

— Пьем вот, с победой! — отмолвили из-за стола.

Андрей дернулся. Чуть не закричал. Поборол себя... Нет, ни в Переяславль и никуда больше, где все это было, он не поедет. В Новгород, да побыстрей!

Он вышел.

— Гневается! — произнес кто-то из ратных.

— Да, татарам много платить пришлось! Они и ополонились, дак все одно для князей ихних сговоренное подавай! С Костромы опять новый налог выколачивали!

— Людишки в сумнении, ето верно...

— С Новгорода возьмем!

— С их теперя тоже не возьмешь, ряд хотят заключить, на своих правах...

— Села-ти дают Митревы!

Никто так и не понял, что ужаснули Андрея эти кони, что не ушли от мертвого хозяина, и то еще, что рассказ о мертвяках был как о привычном, на что и смотреть не стоило... Это что ж, вся земля?! И Семен снова скажет, что сильному позволено все, и, наверно, так, наверно, так, и не иначе! (Что я стал бы делать без Семена!) Скорее в Новгород! Скорее туда, где ждут, куда просят, скорее в неразоренное, в неустрашенное человеческое тепло!

ГЛАВА 55

Дмитрий, уходя от преследования, собирал по дороге все встречные дружины и к Новгороду подходил уже с немалою силою. Он еще верил, что все можно повернуть. Но на льду Ильменя его встретила новгородская рать и преградила путь.

Мело. Колкий снег безжалостно сек лица и морды лошадей. Новгородский полк был в бронях под шубами. Посверкивало железо. Щетинились копья. На глаз их было и то больше, чем ратных Дмитрия, а ведь это только передовой полк!

Новгородцы через послов потребовали очистить Копорье и запрещали князю вступать на землю Новгорода. Это уже был конец. Он вспомнил холодные волны Балтики. Неужели бежать за море, к свейскому королю? Дмитрий впервые пал духом. Он вспятил дружину на Сытино, к Куньей Горе, и стал держать совет Бежать, бросить дружину? Всех за море не уведешь! Казна — в Ладоге. Жена с дочерьми — в Нов-

городе. Старший сын Иван лежит трясовицей под шубами в соседней избе... Сдаться?

Дверь открылась, впустив облако морозного пара, вздрогнули огоньки свечей.

— Кто там?!

Обмороженный, полуживой ратник стоял перед князем.

— Из Копорья... От Довмонта... Казну забрали из Ладоги всю... Сожидают...

Ратник шатнулся, но тут Дмитрий сам кинулся к гонцу.

— Щеки разотри! Живо!

И вдруг сгреб его в объятия и зарыдал.

Уже накормленный и напоенный, намазанный гусиным салом, с жарко горящим лицом, Федор сказывал, как было дело. Князь и бояре тесно сгрудились вокруг стола, не разбирая чинов, навалясь, кто ударял кулаком по столешнице, кто восклицал, взвизгивая. Наконец-то у них (а кто уже и думал втайне бежать, предавая своего князя!) нашелся друг! И уже беда не беда, и уже неважно, придется или нет отдавать крепость, с казною все легче! Слушали.

Довмонт прибыл в Копорье, как только узнал о бегстве Дмитрия. Утúшил всеобщую растерянность, расставил дозоры по дорогам. В ответ на требование Новгорода очистить крепость попросту задержал гонца. К нему были вести из города, и он рассчитал правильно, решив напасть на Ладогу первого генваря, в тот день, когда новгородская рать всею силою вышла на лед Ильменя перенимать Дмитрия. Довмонт в ночь на первое стремительно прискакал к Ладоге, забирая по пути всех встречных, чтоб не было вести, тут приказал спешиться, скрыть оружие и поодиночке идти к воротам, а сам, отдав стремянному копье, поехал шагом вперед, в крепость. Федор, когда подошел, увидел толпу ратных и уже хотел было бежать, но спокойствие князя его остановило. Довмонт, спешившись, беседовал с ратными и даже расхохотался чему-то.

— А ты куда?! — остановили Федора в воротах.

— Со мной, с посада купец! — ответил Довмонт за него, и Федор, веря и не веря, вступил под арку ворот, ощупывая спрятанный под овчиной клевец. Довмонт еще что-то сказал и вдруг, возвысив голос, потребовал:

— Где воевода?!

Тот как раз въезжал в крепость следом за Федором и тоже, как и Довмонт, слез с коня. Довмонт не торопясь отдал поводья своего скакуна какому-то новгородцу и подошел к воеводе.

— Руки! — крикнул он страшно и вырвал меч. Тут пробравшиеся уже в крепость копорские ратники, вместе с Федором, все обнажили оружие и взяли воеводу в кольцо.

— Руки! — еще раз повелительно крикнул князь Довмонт, и Федор с другим ратником схватили воеводу, завернув ему руки за спину.

— Вязать! — приказал Довмонт, не давая новгородцу открыть рот.

— Ответишь, князь! — прошипел новгородец, когда ему уже скрутили руки ремнем, а вбежавшие новые Довмонтовы ратники обезоруживали растерянных новгородцев. Ворота и башни уже были заняты. Кто-то бежал, кто-то с криком рвался наружу. На посаде нерешительно начал бить колокол.

— Тиуна! Бояр! Всех! — требовал меж тем Довмонт, вбросив меч в ножны.— Именем великого князя Дмитрия!

И новгородцы, ошалев, уже сами бросались исполнять его приказы. Скоро засадная рать заняла и посад.

— Без крови?! — ликовали слушатели.

— Без крови обошлось! — отвечал Федор.— Ну, тут и товар весь взяли, какой наш, и казну княжеву, и лошадей забрали, и возы...

Ладожского посадника и бояр Довмонт забрал с собой и отпустил с полдороги, когда уже можно было не бояться преследования. Федора Довмонт отослал ко князю Дмитрию с приказом не останавливаться нигде и скакать изо всех сил.

Новгородские послы, злые, но сбавившие спеси, приехали на Сытино к вечеру. Они пеняли, что Довмонт в Ладоге взял не один Дмитриев товар, но «задрал и ладожское». Взамен упущенной казны они задержали двух дочерей Дмитрия и бояр, что были на Городище, и требовали в обмен очистить Копорье. С Новгородом спорить не приходилось. Да к тому же, спасая себя, бояре сейчас спасали и весь город от возможной татарской расправы. И, кроме того, Андрей уже прислал заверения, что на все требования Великого Новгорода он согласен без спору. Но с казной в руках можно было и выждать, и прокормить дружину. Да и было теперь пристанище,

где пересидеть. Северное море тише шумело в ушах. Свейский король еще подождет Дмитрия! Тронули во Псков.

Князь Андрей прибыл в Новгород и сел на столе в начале февраля, последнего месяца старого года. Подписал ряд с новгородцами и послал своих тиунов в великокняжеские села. Дмитриевы бояре к тому времени уже освободили Копорье, и новгородская рать с мастерами-каменщиками ушла туда, чтобы до весны разломать и развести крепость до самого основания. Софийские бояре не хотели оставлять князю никакой зацепки на новгородской земле. Дымом обращались заморские торговые замыслы Дмитрия. И серебро, и воля, и ветер, и власть. Уходили вновь в далекие века грядущих российских свершений.

ГЛАВА 56

Меж тем вал беглецов, растекаясь по дорогам, достиг Москвы. Князь Данил, забросив всякое прочее дело, принимал и принимал обмороженных, трясущихся мужиков и баб на заморенных конях, с тощими, потерявшими молоко коровами. Их разводили по избам посада и ближних деревень. Сразу раздавали горячую еду, ломти и целые караваи печеного хлеба. На поварнях пекли и варили день и ночь. Овдотья от ребенка бегала, сама заразившись мужевой заботою, раздавала одежонку и сласти маленьким. За обедом только и разговору было:

— Еще семьдесят душ! Коней уже с триста здесь да на посаде полторы тыщи. Ставить некуда! В Звенигород придет слать да в Рузу...

Бояре, стойно своему князю, бегали тоже, разводили тех, кто посправнее, в дальние деревни, раздавали на прожиток муку, рыбу, сено и ячмень.

Данил, едва поев, снова скакал, суетился, распоряжался, расспрашивал, жадно оглядывая людей. Кто был — переждать беду, а кто и навовсе просился. Этих князь привечал особо:

— Ростовские? Огородники?

— На том выросли!

Помочь надо было всем, но люди шли и шли, и уже хмуро подсчитывалось, хватит ли запаса? Зато узнав, что насовсем и добрые работники, Данил не жалел

ничего. В голове само уже складывалось, куда, когда и к какой работе можно будет приставить, маленько подкормив, мастера. Одного мужика с семьей он привел даже прямо к Протасию в терем. Овдотья заругалась:

— Куда в боярские хоромы! Вшей напустит тут!

— Ничего, Протасий не осудит,— возразил Данил.— Дети! — И прибавил погодя с гордостью: — Литейный мастер! Колокола станет лить!

Овдотья глядела на разгоряченное заботливое лицо Данилы. Его нос раздувался, пока ел. Откидываясь, жадно доглатывая, бросал:

— Весной ставить кузни на Яузе! Сваи бить сейчас! И мельницу ту тоже!

— Еще татары бы не пришли!

— Не придут. Протасий доносит, что уходят. Да у нас засеки на дорогах поделаны, и баскак обещал. Дарить пришлось...

Он сидел, отвалясь к стене, полузакрыв глаза. Овдотья любовалась, ощущая прилив бабьей нежности к нему и к сыну (груди распирало от молока). Обоих охватить, зацеловать и того и другого! Князь мой, князь ненаглядный!

Овдотья вдруг заплакала:

— Муром разорили! Батюшка жив ли?

— Жив, узнали уже! — отрывисто отозвался Данил. Встал, качнувшись.

— Не отдохнешь?

— Не! Люди тамо!

Овдотья на миг приникла к нему, закрыв глаза:

— Ну иди! Я тоже покормлю и выбегу.

— Ты не очень! Себя побереги! — уже на ходу прокричал ей Данил.— Морозно!

Самому Даниле мороз был не в мороз. Горели костры. Ржали кони. Люди текли и текли, и всех надо было размещать, кормить. Хватит ли запаса? Запас был тройной, но народу прибывало впятеро. И тех, что воротятся, и жаль бы кормить... Он потянул носом, поморщился, отмахиваясь от худой мысли. Мельком подумал, что теперь надо ехать к Андрею, кланяться, и еще одно, что теперь Митин наместник не у дел. Отослать? Куда?! Пусть воротится брат... С наместником было все хуже и хуже, вот и сейчас едва настоял, чтобы тот передал рать Протасию...

Ночью они толковали в постели:

— Как, Даньша, думашь, Андрей воротит Мите Переяславль? Ведь братья родные!

— Как я думаю? Никак! Меня не спросят. Ни Андрей, ни Дмитрий. А мне тот и другой старшие братья, в отца место. Митя тыкал, Андрей будет тыкать теперича.

— А ежели прикажет идти на брата?

— И пойду... Как на Новгород... Можно и ходить, да не ратиться! Татар не надо звать. Они все забыть не могут киевские времена, а пора забыть! Тогда половцев водили сами, а сегодня татары нас водят. Андрей и того понять не может! Землю запустошит, куда она ему? Может, и верно, что последние времена. Встал брат на брата. Тогда уж один конец... Спи!

Дуня, улыбаясь в темноте, осторожно погладила мужа по плечу. Данил помолчал, посопел.

— Нам вон три мельницы надо ставить нынче! На Неглинной, повыше тех, что на Яузе и в Заречье, за Даниловым, я присмотрел... Сами чли по летописям: «Отцы наши распасли землю русскую!» Это чтобы бабы детей рожали!

Он положил руку, хотел огладить жену, Овдотья поймала его ладонь и потерлась щекой, потом укусила легонько за палец, прошептала:

— Уж котору ночь маюсь!

Данил поглядел скоса в полутьме. Овдотья была горячая. От нее пахло молоком. Он вздохнул, снова подумал о братьях. Пробурчал:

— А о том, что надо строить... Не будет ни правых, ни виноватых, одни волки по дорогам... Торговать надо... Дать людям дышать...

— А меня ты совсем забыл! — с упреком перебила Овдотья и решительно прижалась к супругу.

ГЛАВА 57

Федор возвращался в Княжево с сильно бьющимся сердцем. Уже от Торжка началась разоренная земля. По дорогам пробирались люди, творилась бестолковая суетня растерянных беженцев. Спрашивали о своих. По деревням стоял вой. Там мужик с угрюмо-виноватым лицом, видно ратник, искал уведенную в полон женку, в ином месте жена, узнавшая наконец

о гибели супруга, голосила у огорожи деревенского кладбища. Редко еще можно было встретить мужика, везущего бревна, да и тот глядел дикими глазами, не зная, не свалить ли воз, обрубив веревки, да не дернуть ли в лес, следя глазами одинокого ратника: чей — Дмитриев, Андреев ли?

Снег таял. Мокрая насквозь одежа после коротких ночлегов в поле или в дымных холодных избах на полу не просыхала. Где-то на Нерли он сумел отдохнуть. Баба все кормила Федора, высушила его одежду. Он выпросился ночевать в клеть, благо мороз спал. Хозяйка принесла ему шубу и в темноте все сказывала, как пропал мужик, как убегали, как, по счастью, осталась она и еще трое соседок, что унесли и кого увели у них ратные... Потом укрывала его и все шарила по постели, и Федор, жалея, привлек ее к себе, чувствуя, что баба истосковалась даже не телом, душой бесприютна. Что он мог дать ей, кроме случайной дорожной ласки, после которой еще тоскливее, еще холоднее одинокая постель?! Да еще — он уже знал это — проведают соседки, пустят славу: гулена! А уж какая гульба тут, от мужика до мужика забудешь, как и спать. И ему тоже не то что баба нужна, а от страха, от разоренности, от того, что не чаял найти своих, и, обнимая судорожно ласкавшую его женщину, он думал о той, другой... Спаслась? Увели ли?

А теперь еще этот монах все не выходил из головы. На ночлеге, под Усольем, встреченный. Отказался от щей, пил только воду и сосал сухарь. И не был даже особо изможден. Шел, видно, пеш, посох, липовые лапти. И помолился он не ложно, не для других, для себя. Пошептал сосредоточенно, уйдя весь в молитву. Федор разобрал сказанное шепотом: «И хозяев сущих» — верно, в молитве всегда поминал приютивших его. Кончив, осенил себя крестом. Глаза у монаха были как прозрачные камни. У других лишь поблескивают, а тут — словно из родника. Федор знал такие вот глаза, что бывают только от большой веры, постов и книжного научения глубокого.

— Бог видит ли скорби наши? — сказал сердито один из дорожных, метя в монаха.

— Бог видит,— отмолвил тот спокойно.— За грехи наказует Господь.

— Богатым, тем бы и казал! А нас, бедняков, почто тиранит?!

— Господь по душе смотрит, а не по платью. Ему все одно, кто богат, кто беден. Ты и беден, а жаден. Дай тебе богатство, не откажешься! И ныне завидуешь ближнему своему в сердце своем.

Мужик покосился на монаха, посопел.

— А ты откажешься? — буркнул, оглядев монаха, спокойно сосущего сухарь.— Бог богатым мирволит! Им и горе вполгоря!

— Неверно,— возразил монах,— кто богат, тому хуже в горестях. Больше терять — больнее. Что ты потерял ныне?

— Коня! — веско ответил мужик.

— И ропщешь! А кабы стада коней, и утвари многоценныя, и хоромы, и слуг, и здоровье, как Иов?

— Ты дай мне сначала хоромы те да стада коней. А я уж погляжу опосле, може, и не потеряю! — вымолвил, отворачиваясь, мужик, и тряхнул головой, и посмеялся недобрым натужным смехом. Монах промолчал.

Ночью Федор проснулся. Монах, почуялось, все сидел. В темноте храпели дорожные.

— Не спишь, чадо? — добрым голосом спросил монах.

— Вот ты сказал, отче, о богатых...— несмело начал Федор.— Я про князь Митрия... Значит, он больше всех нас потерял, выходит-то?

— Князь Митрий Саныч еще ничего не потерял и все воротит,— отозвался монах.— Да и не о том слово святительское, не о вещественном, суедневном, а о всей жизни, и ее переменах, и о том муже, с конем его, и о князьях великих, и об умерших уже, и еще не рожденных...

— Воротит? — переспросил Федор, как-то сразу поверив, что монах прав.— А как он кончит тогда?

— Молить надо Господа о нем! Нынешние люди все плохо кончат. Их земное стяжание губит, жажда ненасытимая! О земном мятутся они, а не ведают, что жизнь истинная в духе, а не во плоти. Плоть лишь того требует, чтобы не заботиться ею. Вот мое пропитание. Думают, пощусь, плоть истязаю, а мне и не нужно более! Я сыт.

— И не тяжело?

— Нет! Тело очищается. От объядения тяжесть чрева и крови смущение. Я ведь сосу помаленьку, мне сухарь-то заместо целой трапезы! И мыслей греховных

нет во мне, и бодр. Ты на кони сколь проезжашь от зарания до вечера?

— Гонцом когда, шестьдесят верст, пожалуй!

— И я столько прохожу в день. Про мнихов глаголют: умерщвление плоти. Нет! Это не так! И кто умерщвляет плоть, то пагуба и гордыня ума! Не воплотился бы во плоти Иисус Христос, горний учитель наш, кабы была плоть столь греховна! Плоти потребно не умерщвление, а направление к духовному. Ты любострастен?

Федор покраснел в темноте.

— А помысли, сколь надо, дабы родить дитя?.. А воспитать его? И дитя от трезвых родителей и от жития умеренного свершеннее бывает, и возрастом и умом, то тоже помысли! К излишествам телесным прибегая, мы тело свое вернее губим, воюя за власть — власти лишаемся. Кто бо отнимет у Христа корону светлую? Ни вельможи, ни цари, ни сам князь мрака не возможет сие! Зри! Власть мужа, духовного подвигом, она и в затворе, и в узище сияет. А отними у вельмож силу и славу их, ввергни в узилище, и что же бысть? Лишь то ценно в жизни сей, что ни отнять, ни купить нельзя!

Жаль мне и мужа того, темен он разумом, жаль и вдовицу, и отроча безутешна, а всего жальче вельмож наших! Темен ум их и ожесточилось сердце. Не ведают сущего и духа божия лишены суть!

Монах замолчал Федор слушал, затаив дыхание. Хотел вопросить еще, но монах двинулся и заговорил снова:

— Я вот ищу тишины, хощу основати пустынь благолепную. Нынче ходил в Углич, был у князя Романа, толковал с ним. И он страждет, и у него заботы велии! Теперь бреду в мир. К ним я ходил, к вам я вернулся, чтобы буря не разыгрывалась. К ним я отправлялся, чтобы избавить их от горя, к вам возвратился, чтобы не объяла вас печаль. Не только о стоящих потребно попечение, но и о падших, и опять не о падших только, но и о стоящих твердо. Об одних, чтобы воспрянули, о других, чтобы не падали, о первых, чтобы избавлены были от обступивших их бед, о вторых, чтобы не подпали грядущим печалям. Ибо нет прочного, нет незыблемого в делах человеческих. Беснующемуся морю они подобны, и всякий день приносит новые тяжкие крушения.

Все ныне исполнено волнений и смут, всюду страхи,

подозрения, ужасы и тревоги. Смелости нет ни у кого, всякий боится ближнего. Вот уже настало время по слову пророчьему: «Не верьте друзьям, не надейтесь на вождей, удаляйся всякий своего ближнего, опасайся доверять сожительнице твоей...» И друг уже не верен, и брат уже не надежен. Исторгнуто благо любви. Междоусобная война проникла всюду. Повсюду множество овечьих шкур, тысячи личин, бесчисленны скрывающиеся всюду волки. Среди самих врагов жить безопаснее, чем среди этих мнимых друзей. Вчерашние ласкатели, льстецы, целовавшие руки, все они враждебны теперь и, сбросив личины, стали злее всех обвинителей, клевеща и браня тех, кому доселе возносили благодарность...

Федор слушал, не шевелясь, и оттого, что монах сдерживал голос, почти шептал, журчание его речи еще сильней проникало в душу.

— Это неисцельная болезнь, пламя неугасимое, насилие, простершееся по всей земле! Вот этот мужик, и Митрий Саныч, и Андрей Саныч... Но разве не для них изречено слово пророческое: богатство — это беглый холоп, перебегающий от одного к другому? О, если бы оно только перебегало, а не убивало! Ныне же оно отказывает в своей защите, и предает мечу, и влечет в бездну: безжалостный предатель, враждебный особенно тем, кто его любит!

Но не такова бедность, все в ней наоборот. Она — место убежища, тихая гавань, она — несокрушимая защита, довольство, жизнь безмятежная. Ради чего вы убегаете от нее и гоняетесь за врагом, человекоубийцей, лютейшим всякого зверя? Ибо таково богатство. Зачем живешь все время с вечным врагом? Мнишь ли, что он станет ручным? Как зверь перестанет быть зверем? Как же сможет он сбросить с себя свое зверство? Как укротить его? Токмо по слову святителя! Как зверь свирепеет в затворе, так и богатство запертое рычит сильнее льва. Но выведи его из мрака и развеешь по желудкам нищих — то зверь станет овцой. И лодьи тонут, преизлиха нагруженные и многоценная, корабельщикам на пагубу!

И в домах наших то же самое. Когда сверх нужного копишь сребро, то легкий напор ветра и внезапный случай тянут ко дну корабль вместе с людьми. Если же удержишь лишь то, что тебе нужно, то легко пройдешь через волны, хотя бы налетал вихрь. Не желай очень

многого, чтобы не остаться без всего. Не собирай лишнего, чтобы не лишиться тебе нужного на потребу. Не преступай положенных пределов, чтобы не отнято было от тебя все имение. Отсеки лишнее, чтобы богатым быть в нужде. Когда стоит затишье — предугадай бурю, когда здоров — жди болезни, когда богат — дожидайся нищеты и бедности. Ибо сказано: «Помни время голода во время сытости, нищету и убожество — в день богатства». Тогда с великим благоразумием управишь свое богатство и мужественно встретишь бедность. Ибо внезапное нападение вселяет смущение и ужас, ожидаемое же — смущает мало. В этом двойное благо для тебя: в дни благополучия не будешь пьянствовать и бесчинствовать, в дни перемен не станешь смущаться и трепетать, ибо будешь ждать противоположного. Здесь ожидание заменит опыт. Человек, готовый встретить бедность, не возносится, когда он богат, не надмевается, не разнеживается, не домогается чужого. Это ожидание, как бы некий наставник, вразумляет и исправляет ум.

Ты приобретешь чрез то еще и другую пользу. Ожидание предварит тяготы, чтобы скорбь не наступила. Скорбь бывает тогда, когда приходит внезапно. Но если человек во власти ожидания, то скорбь его невелика. Имей перед взором всегда природу дел человеческих: она подобна потокам речным, она быстролетнее дыма, расплывшегося в воздухе, она ничтожнее бегущей тени. Не отступай от этой мысли! Если приучишь ум свой ждать превратностей, то превратности не скоро придут к тебе, а если и наступят, то не сильно заденут тебя.

— Что это, дедушка? — с трепетом спросил Федор.

— Иоанна Златоустого слово о сребролюбии,— ответил монах.

Федора вдруг как-то разом отпустило напряжение последних дней, он, уже задремывая, только прошептал: «Спасибо, дедушка!» И тут же уснул. А когда проснулся, мужики храпели еще, а монаха уже не было, ушел. И даже подумалось: «Был ли он или только приснился вчерашним вечером?»

Федор вышел, издрогнув, во двор, проверил коня. Небо серело, светало, пора было в путь. К вечеру он уже подъезжал к Княжеву.

Еще в Купани Федору сказали, что матка его жива, а про кухмерьских не знали толком. И про сестру

с зятем он тоже не дознался. Княжевский дом был цел, сгорел только сарай, тот самый, под которым они зарывали хлеб. Грикша приехал к вечеру. Сидели, перебирали родню-породу и знакомых. Просинья была цела, отсиделась в Угличе. А у деда Никанора погибли два сына, сноха. Олена с сыном спаслись, но у нее погинула невестка, а внучку заморозили в лесах, днями померла...

Дядя Прохор остался жив. Пришел. Такой же прямой, только седины прибыло:

— Ну, как там? Не приняли вас новгородцы!

Сказал, усмехнулся, как и прежде, лишь чуть задумчивей. Примолвил:

— Да, с има тут Лександр, покойник, справлялся, а боле никто!

Прохор как вспыхнул, так и погас. Посидел, понурился. У него погиб сын, Павел, Пашка Прохорчонок.

— Помнишь, Федюха, Павла-то?! — спросил он погодя.— Играли вы с ним...

— Помню... И Козла нет...

— Из вас троих ты, Федор, теперича за всех один остался!

— А Фрося?

— И Фроси нет тоже. Царство ей небесное! А Митрий Лексаныч ворочается? — спросил еще дядя Прохор.— На князя Андрея зол народ.

Мать сказывала:

— Отсиделись в Москве, у нашего «московского князя». Всех принимал. Он да углицкий князь. Ну, тот уж святой! Настроил домов, бают, и для больных, и для странных...

Когда Прохор ушел, мать сказала, не оборачиваясь от печки:

— Твоя-то жива! И мужик ейный жив. Ты только ее не тревожь! Уж как не похотел тогда...

Федор едва не напомнил матери, что не он тому причина, да промолчал.

Вдвоем с братом они вырыли хлеб. Сверху где подпеклось, где и промокло, а все же рожь не погибла. Хватит и посеять и дожить до новины. Трудно будет без коровы. Впрочем, мать уже ладилась в Вески, хоть телку добыть.

ГЛАВА 58

Дмитрий Александрович воротился в Переяславль весной и тотчас начал собирать полки. К нему охотно шли, разоренная и брошенная земля взывала к отмщению, и Андрей чем дольше сидел в Новгороде, тем больше лишался права на престол. Потому что власть — это прежде всего порядок и закон в стране. Власть только непосвященным кажется простым насилием. И дело власти — поддержание порядка. А тот, кто думает, что власть — это пиры и веселья, да пышные выходы и приемы послов, тот (ежели за него не делают дела другие) платит за эту ошибку чаще всего собственною головой и должен благодарить Бога, ежели потеряет только престол и родину.

Когда Александр Невский после Неврюевой рати явился на Русь, он прежде всего начал устраивать землю и стал спасителем. Андрей Городецкий, бросив землю, уехал в Новгород и превратился в насильника и врага.

Тем паче что и в Орде не было доброго порядку. Туданменгу все время проводил с дервишами да молился. Правила мать хана. Угодные ей вельможи делали что хотели. И уже старые монгольские нойоны, сохранившие веру отцов, начинали роптать. А на западе, в половецких степях, все больше и больше забирал власть темник Ногай. С ним, как с самостоятельным правителем, начинали сноситься иноземные владетельные государи. И уже становилось неясно: кто же истинный хозяин в Сарае? А потому и на Руси приходилось — да и можно было — думать самим и рассчитывать больше на свои собственные силы.

Пока еще опоминалась земля, пока подымали пашню и сеяли, Андрей мог сидеть спокойно. Но как только отвели покос, началось подобное току талой воды движение.

Гаврило Олексич, воротясь на пепелище, долго стоял, смотрел, ковырял носком сапога. Молчал. Только спросил: «Кто?» Узнав, что Олфер, молча покивал головой. Сыновьям, Окинфу и Ивану Морхине, велел собирать ратных людей. Что отец не шутит, Окинф понял, увидя вытаращенные, с красными прожилками глаза старика.

— Драться надо! — сказал Гаврило и, сгорбясь, пошел прочь от пожара.

Растревоженные бояре и ратники все судили и рядили, и все сходились на одном: что не Андрей, наведший татарскую рать и ускакавший в Новгород, а Дмитрий и по праву, и по всему должен быть великим князем. И, посудив, порядив, поохав, доставали брони, опробовали клинки, задумчиво жуя бороду, оглядывали сдавших с тела за пахоту коней. Жене бросали, не глядя:

— Ванюху нонече с собой беру, подрос!

И Ванюха, покраснев, тужился, надевал кояр, примерял шелом. А жена строго:

— Порубают вас тамо!

— Ничего, выдюжим!

— Парня-то береги! — сурово напутствовала жена.

И вот они ехали, старик и ражий краснорожий малый. Брони везли в тороках. Сзади холоп с возом. В возу — снедное, лопоть, запасная справа.

И сельский ратник, рядович, отмахав покос и закинув горбушу в клеть, доставал колчан, принимался, посвистывая, подтачивать кончики стрел. И женка, по острым, сведенным в одно глазам мужа догадав, что лучше смолчать, только сморкалась в подол да терла глаза:

— Одной рати мало ироду!

Мужик сложил дом. Эти страшные руки в узластых венах, эти бугристые ладони — одна сплошная мозоль, и стертые в работе плечи, и хрип коня, когда сам припрягался, вытягивая угрязшие возы, и темно-блестящие рукояти сохи, и тын, и клеть, и стая во дворе — и все это дымом, и проскакавший — только проскакавший! — недруг кидает клок огня, и занимается полымем соломенная кровля, и шарят по ларям, волокут скот, уводят жену... Какое уж тут хозяйство! Самый первый вопрос, самое заглавное дело — власть! Власть, хоть того тяжельше, да могла бы оборонить, оберечь, не попустить зря погинуть добру... Да чтобы была своя, заветная, от отцов, дедов, прадедов. Митрий князь в отца место, Ляксандры самого, а тот Ярослава Всеволодича старшой сынок. Все по праву, по закону! Ну, Ляксандр-покойник с братцем не поладили, дак он же старшой! Тот-то не по праву сел: брату младшему старший, после отца, глава, не моги перечить! А тут что же? Андрей-то уж... следоват... Да эко! Татар навалило с им! И сам глаз не кажет, в Новгород уехал, и на поди! Вздыхая, говорили: «Надо помочь Митрию,

мать! За князем и мы в спокое!» Острили рогатины. Пересаживали на длинные рукояти топоры.

Судили-рядили и в теремах великих бояр, где тоже ругали Андрея, жалели Митрия, и тоже доставалась дорогая бронь, с зерцалом и локотниками, шелом с панцирным ожерельем, бахтерцы, колонтари, восточные, добытые в бою или меной, клинки, клевцы и шестоперы, отделанные серебром рогатины. И тут же скликались молодшие, и сидели с дружиною, думали. И гостили друг у друга и после толков о хлебе, о пожнях, о недавнем разоре и проданной ржи решали:

— Митрию князю надоть помочь!

И дворский,— похолопленный бедный вотчинник: давеча продал последнюю деревеньку и взял на себя обельную грамоту, теперь ведет хозяйство у боярина, в драке — впереди, в бою — рядом, при смерти получит от господина вольную да полдеревни в придачу, служит пото не за страх, за совесть,— и дворский, решив сам про себя, уже упредил боярский наказ, оповестил народ по селам. И холопы, и мужики, что зимой разбегались, прятались по лесам, теперь сряжаются на рать — мужики же они!

И вот выезжает со двора дружина. Ратники, приторочив копья, подрагивают в седлах. Качаются груженые возы. Боярин едет не в возке, верхом. Не в гости, на рать едет! За ним и перед ним — молодшие, свои-ближники, захудалая родня, дружинники, холопы, люди... И вот уж где семьдесят, где сто, двести, где и четыреста душ, дружина в бронях, остальные в тегилеях: от стрел татарских нашили толстые войлочные пансыри. На коне в таком сидишь, как бочка, да зато стрела не пробьет! Новинка, раньше не было такого. Кто в бронях, кто в своей коже шел. И сабли кривые, татарские, нынче, почитай, у каждого. Выучились. Особо те, кто бывал в Орде. Такою достанешь, да с перетягом ежели, человека от плеча вкось на́полы развалить можно. Ясы, те учатся рубить: воду льют из кувшина и рубят — чтоб не брызнула вода под саблей. Значит, ровно прошел клинок. Тоже насмотрелись, кто и перенял. Народ глазастый, башки не соломой же набиты и у нас! Татарва башкой голову называет... Тоже переняли.

Ручейки, ручьи, реки. И вот уже в Переяславле гомон гомонится, во граде, и в монастырях непорушенных, и прямо в шатрах, в поле, стоит готовая рать.

И уже уходят полки на устье Нерли, уже и до Юрьева — разъезды. И уже князь решает с боярами, куда прежде кинуться: идти ли на Владимир или к Новгороду Великому опять?

ГЛАВА 59

Дмитрий смотрел, как жена, переваливаясь по-утиному, шла по двору. Нет, не похожа она на великую княгиню! Здесь, в разоренном Переяславле, глядя в спину жене, сильно расползшейся, как перестала рожать, он вспомнил почему-то мать и подумал, что и матери он немножко стыдился на людях в последние годы. Экую клушу ему подобрала! Жену он не любил. Когда-то, не признаваясь в этом самому себе, тосковал, придирался, злобился. Потом понял и себя и ее, притерпелся. Подолгу бывал в разлуках и с облегчением расставался вновь. Не радовала. И помочь не могла. Тенью за ним следом, а для дела и нет. Клуша! Досидела тогда с дочерьми в Новгороде до нятья! Другая бы в ночи, верхом, а ускакала... К тому же Довмонту — не чужой, зять! Не из-за нее ли лишиться Копорья пришлось? Обменяли ему город на пленную княгиню с дочерьми да на бояр его полоненных. Вот и Копорья нет, раскопали, по камню развезли. Все труды даром! За город, за мечты, за замыслы дерзкие, далекие — нелюбимую, рано остаревшую женщину... Когда-то в глаза глядела, наглядеться не могла, трепетала, а теперь тоже обдержалась... Вот сейчас будет хлопотать, устраивать дом. Разойдись полки, покинь его все и вся, и также будет хлопотать...

Он жесточел от этого. Не замечая сам, делался с годами преизлиха крут в делах и на расправы скор. И тут: ордынскую морду увидел, старопрежнюю — город разбежался, баскак сидит! Едва сдержал себя. В глазах, чуял, полыхало бешенство. И слова не вымолви, не с Ордой ведь воюешь, с братом! Русские князья для них что комарье... А ратные люди идут и идут! Теперь, пожалуй, Андреевым боярам и из Владимира будет носа не высунуть! Что ж, он пока в своем праве, в вотчине своей. Надо ордынцам помене полки казать.

Сашка, десятилетний сорванец, бутуз, любимец отца, мало не испугав, кинулся сзади, с маху повис на

руке. Дмитрий, натужась, подкинул его одной рукой вверх, тот завизжал испуганно-радостно. Дмитрий поймал его за рубаху и, играя силой, опять подкинул одной рукой, но тут малость прогадал, пришлось подхватить другою, чтобы не уронить сына. Прижал было к себе, но Сашка, бес, не сидит, затрепыхался, заизвивался в руках:

— Тять, пусти, пусти, тять! На коня хочу!

Вырвавшись, он подбежал к отцову, крытому попоной, рослому, золотой масти жеребцу. Вцепился в седло и в стремя. Конь мотанул головой, храпя, заперебирал ногами, косясь на княжича. Коновод, сбычась, с трудом удержал его под уздцы. Сашка уже был в седле и, радостно болтая ногами, кричал:

— Но! Но! Пошел! Пусти!

Дмитрий соступил с крыльца:

— Слезай, ну-ко!

— Тятя-а! — захныкал пострел, стараясь разжалобить отца. Дмитрий не без труда сволок сына с седла, дал тумака несильно, для острастки:

— Брысь!

Конюх, с преувеличенной радостью на лице, подольстил:

— Растет сынок-то!

— Растет! (Хоть этого родила бодрого.)

Старший, Иван, рос, а не радовал. Такому княжеских поводий в руках не удержать. В монахи бы уж шел! (Грешным делом подумалось.) Дело еще долгое, может, головой возьмет. Учителя хвалят, прилежен. Давеча притащил какую-то рукопись, Даниила-заточника послание, и толковал складно про корыстолюбие, про старые времена.

Дмитрий вздохнул, с крыльца еще осмотрел Красную площадь, обугленные домишки, тощий торг. И людишки, кто живы, сбежали. Большинство ждет, как куда повернет. Кто и вовсе раздумал ворочаться. К брату Данилу много, сказывали, народу подалось... Конюшни и то порушены. Тьфу! Как терем-то уцелел!

На башне стал бить колокол. Колокол тоже уцелел. Прежний. Голос знакомый, от этого несколько потеплело на душе. А все же попадись нынче Андрей ему в руки! Не знай, что и содеял бы...

Ввечеру сидели с боярами. Идти на Владимир, отбивать? Силы хватило бы, да тогда татарский хан беспременно свою рать пошлет.

— Опять по болотам набегаемси! — сказал кто-то из бояр, и Дмитрий только дрогнул щекой, не оборвал, не окоро́тил.

— Новгород воротить нать! — сказал Гаврило Олексич.— Тогда и владимирцы сами ся передадут.

Дмитрий смотрел на Гаврилу, медленно соображая. Руки плотно вцепились в подлокотники, спина напряженно прямая, брови хмуры, взгляд остр. Княжеская шапка на голове. Бояре по лавкам. Тоже в шапках. Кто в колени упер руки, склонив голову да взглядывая изредка на князя, кто на посохе сложив, кто на груди. День смерк. В высоких стоянцах потрескивают свечи. В очередь теперь говорить Мише Прушанину:

— Торговлю ежели... обозы...

Князь перевел очи, разомкнул уста:

— Хлеб не пускать?!

Сказал, как велел. Задвигались на лавках. Давно, с дедов, с тех еще времен, что до Батыя, не делали этого. И торговля нужна была новгородская, ордынское серебро шло оттуда, и так как-то... Голодом ставить на колени...

Заспорили было, но сам Дмитрий не колебался. Новгород стал чужим, далеким. Там Андрей, брат и враг кровный, с которым сейчас не то что пить, в глаза бы глядеть не мог, с души во́ротит! Брат! С главным прихвостнем своим, с Семеном Тонильичем. Тот-то и есть всех зол причина! Там был его город, его Копорье. Города нет. Все, что любил, обернулось злом и требовало мести.

Дмитрий не подумал о том, что голод прежде всего ударит не по боярам, а по простой чади, что от него может отворотиться и Торговая сторона, а не только Прусская улица. Душа ожесточела и требовала за зло отплатить злом. Заморить, подчинить, заставить! Так, как заставлял он себя любить нелюбимую жену. Он послал в Суздаль, где на Андрея злобились давно, веля, чтобы и они тоже придержали хлеб. Того же потребовал от юрьевского князя и других. По дорогам и волокам были поставлены заставы, и в Новгороде уже начали расти цены на зерно.

Но тут заупрямилась Тверь. Святослав Тверской без новгородского серебра нынче не чаял заплатить ордынского выхода и потому совсем не хотел рушить новгородскую хлебную торговлю. Дмитрий рвал и ме-

тал, хотел уже и полки двинуть на Святослава Тверского, но тут вмешалась новая сила, о которой он и подумать не мог. Ему не подчинился младший брат, Данил Московский.

ГЛАВА 60

Андрей вошел один в княжеский городищенский терем, сел на лавку. Положил на стол беспокойные сильные руки. Как легко все-таки подписал он эту грамоту, что просили у него от лица всего города новгородские бояре! Дмитрий им этой грамоты не давал. Дмитрий хотел быть господином во всей земле. Но будет ли он-то господином, ежели княжья печать на грамотах без печати новгородского посадника не станет ничего значить? Ежели торговый суд учнут править без него, князя, по слову тысяцкого? Ежели ему и его боярам запретят покупать села в Новгородской земле?

Не разрешить всего этого он не мог. Дмитрий не одолен и уже воротился в Переяславль. И все же сейчас, наедине с собою, он изумился той легкости, с какой пошел на это, на то, чтобы... Да, так и надо сказать: на отказ от власти! Что же ему нужно тогда? Зачем всё?!

И что его больше всего долит, больше всего страшит теперь, когда он дал новгородцам эти ихние права и грамоты? Своя потеря? Нет! Только то, что Дмитрий на это бы не пошел. (Не пошел, однако, и потерял Новгород!) Противное подозрение, что его все время сравнивают с Дмитрием, вот что не давало жить, вот что долило паче всего! А старики, те еще и отца помнят, Александра Невского, победителя, и с отцом сравнивают, и еще кто скажет, поди, как тогда покойный Василий: «Дмитрий поболе на отца похож, чем ты!» И еще кричал ему Василий тогда: «Бери Новгород!» Вот он взял. И что дальше?

Все эти празднества, пиры у бояр, венчание на новгородский стол в соборе, все это было как багряное фряжское вино, как кровь, что тоже ударяет в голову. И вот — отрезвление.

Вот здесь, за этим столом, сидели они тогда втроем. Он сидел там, напротив, на перекидной скамье. Дмитрий — здесь. Андрей, и не думая, сел сейчас, оказывается на место братне. И опять покоробило. Хорошо Даниле, занят в своей мурье... Сын народился!

Семен говорит: «Мне не нужно, я для тебя, для князя». А он, князь, для кого? Сына и того нет. Феодора скоро приедет. Феодора еще молода, должна родить. Не наказан ли он бесплодием? Кем? И за что? (Каин и Авель!) Не убивал я брата своего! А кони всё ходили взад-вперед, и кору грызли... и не ушли. (Господи, сжалься надо мной!) Так что же мне все-таки нужно?! Власть? Я сегодня отрекся от нее, подписав ряд с Новгородом. Одолеть брата? Я одолел его. Земля моя — и не его. А можно ли подчинить землю, ежели не хочет того земля?

Завоевать, сломать, залить кровью — это можно. А подчинить, сделать своей, чтобы дрожали, но и любили, чтобы гордились тобою, чтобы не оглядываться и не думать,— как смотрят, не усмехаются ли вслед? Чтобы смотрели и вслед подобострастно!

Строить каменные терема с золочеными кровлями, везти мрамор из замория, чтобы сотни слуг, опахала, вельмож раболепие? Чтобы Феодора в византийской парче, с индийскими жемчугами в ушах проплывала видением, надменно приподняв писаные брови и слегка опустив рисованные, удлиненные глаза... Для сего надобно быть императором, кесарем, господином в земле и в роде своем. (А истинный кесарь там, в расписных, в огромных, в неправдоподобно легких, готовых улететь шатрах, на зеленой траве, где дремлют чуткие кони и острия татарских копий да дымы только и прочерчивают затухающий вечерний лик красно-зеленой степной зари.) Да и где строить? В Городце, в смешном маленьком его городке волжском... Во Владимире, что вечно переходит от одного к другому? (Так для кого и строить?!) Здесь, в Новгороде, где ему оставили одно только имя княжое? Нет земли для дворцов и палат, земли прочной, своей, неотторжимой. Нет для него на Руси такой земли! Нет дома, ничего нет... Так что же он, победив, поражен? С кем же драться теперь? Кого же еще нужно победить, и зачем, и где, чтобы добиться наконец, чтобы стать тем сильным и властным, тем бестрепетно-великим, какого из него хочет сделать Семен — друг, слуга или змей-искуситель? Кого еще надо задавить, расточить, рассеять, чтобы наконец ощутить ее, эту власть, власть силы, власть, никому не дающую отчета ни в чем и ни в ком, от Бога ли или дьявола данную, самим ли взятую, но безмерную, в которой только

и можно, верно, найти покой и забыть про себя самого!

Семен Тонильич должен сейчас войти. На днях прибывает Феодора. Он поведет ее за руку по ковровой дорожке от пристани сюда, к Городцу, к терему княжому. Будут тесниться глядельщики, будут толковать, сколь прекрасна княгиня Андреева, ахать, умиляться, шептать: «Из писаных писаная!» И сам он будет любоваться ею, как всегда, больше на людях, чем дома, в своем терему,— словно чужое стороннее обожание возвышало Феодору в его глазах... А может, так и есть? И она войдет сюда — высокие плечи — и скажет: «Здравствуй, князь!» И взглядом спросит о дворцах, о мраморах и яшмах разноличных, о пышности кесарския земли... У нее тоже ничего нет, кроме этого. Нет сына, что успокоил бы женщину, нет прочного дома. Одна только власть и жажда власти, что сжигает, сушит ее тело, ставшее уже чужим и жестким в постели, что сжигает ум и душу. Когда-то Семен намекал, теперь и она первая сказала ему, что он глуп, ибо упустил Дмитрия, что брата следовало казнить, только тогда станет безопасен престол. Сказала и не ужаснулась ни душой, ни видом. Сказала и скажет вновь... Что же не идет Семен?!

Семен входит. Андрей выпрямляется за столом, руки, пошевелясь, чтобы сжаться в кулаки, разжались. Сжатые кулаки неприличны князю. (О, он научился, и они доиграют эту игру до конца!) Семен входит. Он в дорогом и долгом платье, оплечье в виноцветных лалах, лицо озабочено.

— Беда, князь! Дмитрий перекрывает пути. А у нас во Владимире — только город оборонить, с Костромы и Нижнего не снимешь, чернь забунтует. Федор Чермный в Сарае. Без него ярославцы не вступятся. Сами — одни не управим. Надо опять в Орду.

...Предстояло прежде всего добраться до Владимира. Дмитриевы заставы стояли по всем дорогам. Андрей, мало надеясь на крестное целование, забрал с собою старейших новгородских бояр с их дружинами (и для защиты в пути, и как залог, чтобы не перекинулись к брату). Посадника, Смена Михайловича, с ратью отправил в Торжок встречать и переправлять в Новгород хлебные обозы, что не сумел задержать Дмитрий. Прочих бояр Андрей отпустил назад, лишь дойдя до Владимира, откуда сам через Городец уехал в Орду.

ГЛАВА 61

Пять лет назад Тверь сгорела целиком. Хороводы хором, лабазы, пристани, княжой двор — все огонь взял без утечи. Осталась единая каменная церковь Козьмы и Демьяна да груды дымящихся бревен, среди которых суетливо рылись уцелевшие жители. Теперь только случайные осыпи золы на обрывах оврагов напоминали о том пожаре. Вновь по Волге тянулись амбары и клети, восходя вверх по берегу, толпясь, поражая бревенчатым изобилием опор и подрубов, вздымались по склонам, обжимая даже княжой двор, утесненный постройками горожан. И всё строились, строились, строились, выкидывая слободы за Волгу, туда, на устье Тверцы, где город был когда-то, еще до Ярослава Всеволодича. Перенесенный на правый берег, он теперь снова лез туда, ближе к новгородским пределам, к несносному, вечно враждебному Торжку, передовой заставе Великого Новгорода. Здесь, в стыке путей торговых, шла постоянная, хоть и не объявленная, купеческая война. Но уж вверх и вниз по Волге город рос без удержу, выкидываясь пригородами, торговыми рядками, и княжество росло точно так же: протягиваясь сильно вверх, до Зубцова и Ржевы, до литовского рубежа, и вниз, до Кашина, и за Кашин еще. И только ростовский Углич становился преградой этому суетливо-деловому, буйному и напористому движению Твери и тверичей. Но зато в городах и княжествах и вниз по Волге, аж до самого Сарая, спроси в любом рядке торговом: самый частый — тверской гость. Гость деловитый, разбитной, настырный и богатый, гость тороватый и гордый собой, своим княжеством. Князь у тверского гостя свой. В тереме княжом и Святослав Ярославич, покойного князя сынок, и вдова, мачеха Святослава, Ксения. (Даром что новгородская боярыня, давно уже стала своя, тверская. Сынка ростит, Михайлу, резов растет сынок, и статен, красовит, и в наученье книжном скор-толков... Охо-хо, не схлестнуться бы им со Святославом на матерых-то годах!) И Ксения примет гостя тверского, и обласкает, и расспросит о землях заморских, ордынских и дальних, Бухаре, Персии, Железных воротах, про ясов-касогов, про Кафу тороватую, про Царьград. Вызнает и новгородские тайности, и ганзейские новости, и смоленские, литовские ли дела. Паче послов купец — гость торговый — в

княжом терему! Он и книжник в Твери, он и строитель, и храмоздатель, торговый человек, гость!

С мыта, с торговых пошлин богатых растет сила Твери, копятся рати, тучнеют боярские и княжеские стада. И мужик в лесах да на лугах, крепкий сидит мужик, деловой, расторопный; на праздниках — дракун и ёрник, в бою — не уступчив и яр, с таким мужиком, да как не выстать на переды́ с им!

Стольным своим городом сделал Тверь Ярослав Всеволодич, великий князь владимирский, дед нынешнего Дмитрия, отец Александра. Великим князем был, в очередь свою, и сын его, тверской князь Ярослав Ярославич, что сидел на Твери, и на Новом Городе, и на владимирском золотом столе. Со смерти Ярослава прошел едва какой десяток лет, не забыли тверичи, ни бояре, ни горожане, ни купцы — гости торговые давешней чести.

Тверь город молодой, легкой. Да и мужик валом валит в тверские пределы, за Волгу, на Медведицу, на Пудицу... Идут и идут. Дале-то куды бежать? Там уж север, новгородские места, а туды еще, к Белозеру, Вологде,— не ближний свет, без князя не досягнешь. Да и к родным местам здесь словно бы ближе. И густела Тверь. Строилась. Богатела, сильнела. Ждала.

А князь, что князь? Князь у Твери свой, сынок Ярославов! Князю мы и подсказать можем. Чинно, без этого крику да шуму, что в Новгороде Великом! У них там бояре не поладят — кажен год Торговую сторону водят на Софийску али наоборот да бьютце на Великом мосту. В Твери не так! Все-то по братствам, да по улицам, да по ремеслу. Старшие мастеры есть, купецкая старшина. Поговорят тихо, любовно, сами промеж себя. Ко князю чинно придут, сядут, бороды огладят: так и так, скажут, князь-государь, сударь-батюшка! Холопы мы тебе верные, а только с Новым Городом нонче торг прервать — всяко дело подорвать. Ты уж помилуй, посуди, с боярами посиди, а торговли нас не лишай, на казну свою, княжеску, руки не подымай. Митрий Саныч сам по себе, с братцем урядят, нет ли, а мы сами по себе, нас лонись112 пограбили, ноне опять того не хотим! Да и за старое добро еще не всё собрали серебро. А хлеб ноне дорог в Новгородской земле, тверскому гостю рады, привечают, дак примечай, зазывают — не зевай! Так-то, князь!

Святослав Ярославич сам едва ли бы решился

ослушаться Дмитрия, хоть и говорили, и намекали, и с поклонами ходили уже к нему... Но решила все баба матерая, Ярославова вдова, Ксения Юрьевна. Хоть не кажной-то знает, а решила она. Верное дело! Посуди сам: к ней бояра новгороцки ездили? Ездили! Кланялися? Кланялися! Дары дарили? А кто был-то? Из пруссов, из бояр софийских, батюшка ейный, Юрий Михаилыч! Почто приезжал? Не с има?! Да ты слушай! Не с има! С има! Заодно ж! В таку пору да в годах своих престарелых дочку задумал поглядеть, княгиню великую? Не поверю, что просто так! Были речи там, всякие были речи! Нам-то с того что, нам любота, торгуем! А только она, баба, всему тому причина. И рать Святослав повел на Митрия с ейного совету! Она с норовом, баба-то, матера, матеруща, така — не подступи! Ей бы сынка-то повозрастее, дак и пасынка свово, князя бы Святослава подобрала под себя! Ета женка всем княгиням княгиня! Дочку-то старшую за волынского князя Юрья выдает! Ну! Сваты уж приезжали. По рукам ударено. Волынь — не ближний свет... То-то! Теперь, коли и Литва навалится, вместях ее бить: мы отселе, они оттоль. Думашь, не затем? Затем не затем, а и затем тоже! Туда бояр посылывала, знаем, сами помогали. Тоже и наш гость там не последний человек!

— Дак все ж, как теперь... Что ж — воевать с великим князем Митрием, что ли? Робко как-то словно!

— Да не одни! Новгородская рать уже у Торжка, и москвичи с нами.

— Москвичи? Это кто ж тамо, Данил Лексаныч, братец Митрия? Неужто и он с нами, чудеса!

— А бывал ты на Москвы?

— Как не бывать! Мал городок, а земля богата у их, и народ бежит и бежит туда с Рязани. Селы густо стоят окрест города, и торговля крепка, не обманчива. Есть что продать, есть на что и купить. Бобра бьют да соболя еще под самой Москвой! А и хлебом Бог не обидел, и лен, и шерсть — знай торгуй.

— Как же все ж таки уломали его наши-то?

— А великая княгиня и тут! Боле некому! Она, верно, посылывала и к нему тоже!

— И новгородцы ходили, поди?

— А поди знай, ходили ай нет? Ходили, конечно, как не ходить! Им теперича промеж Митрия с Андреем круто надо поворачиваться!

ГЛАВА 62

Новгородское посольство поначалу смутило Данилу. Послы просили свести в любовь, поминали Даниле его бытье новгородское и то, что в прошлое розмирье с великим князем обошлось-таки без крови... Амбары и княжеский житный двор ломились от хлеба, льна, кож, скóры. Ключники и посельские жалобились, что без новгородских гостей все погниет да попортит иное моль, иное мышь поест, да и куда новину ту девать? Он сам не чаял дождаться купеческих обозов. На переяславских беглецов, что нынче ворочались к брату, много издержано, и ведь не себе, не в свой кошель! Не пито, не едено, а из сумы вынуто... И опять же цены дают новгородцы нонече — лучше не нать!

Он уж и с боярами сидел, и грамотку Ксении Юрьевны, тверской великой княгини, читал-перечитывал, и с купцами толковал московскими. (При нем сильно поднялся уже московский гость. Стал порядок в княжестве, и заездили, заторговáли, начали рубить амбары да лавки на Москве.) Тут, не ровен час, новая замятня с Ордой, и до Москвы доберутся! (И об этом думано, хоть и неловко так думать, вроде торговли, мол, не обманешь — не продашь.) И с архимандритом со своим советовано, а что архимандрит? Митрополита нет на Руси, без него нестроение, некому укорить, некому помирить князей, а так, по человечеству... И то было тоже: насмотрелся тут на мерзлых да голодных! А что ж Дмитрий хочет народ в Новом Городе голодом морить? Уж как там ни раскоторовались, а и это все ж таки не дело... И не вмешаться бы! Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых и не сидит в собрании неправедных... Блажен! И как тут? Родные братья. Старейшие. Что Митрий, что Андрей — в отца место ему... Сидели все трое вместе в Новом Городе, в княжой горнице, за одним столом белодубовым... И тут, сейчас... хлеб не пускать в Новгород! Простую чадь в Новгороде голодом поморить, себя разорить, с Ордой себя поссорить и Андрея ожесточить. О сю пору был как-то меж братьями, вроде бы и с тем и с другим ладил! Овдотья уж тоже (Данил не спал, ворочался ночью):

— А коли князь Андрей опять рать приведет новую? Батюшку разорили, совсем заболел с того! А нам что будет, Данилушка, страшно ведь подумать!

Не к делу, не ко времени затеял все это Дмитрий!

Как ни прикинь, не к делу выходило! Да что он хочет один против Орды с Андреем да и Новгорода тож?! Мало лонись зорили нашу землю!

И как-то так выходило, что и в стороне в этот раз остаться нельзя. Сам Дмитрий так поставил. Да еще наместник братнин (до сих пор на шее сидит!) круто поворотил: стал своею волей хватать новгородских гостей в Рузе. Данило вскипел, губы задергались (губы потемнели чуток — повзрослел уже). Протасию: «Бери дружину!» Своей волей поставил тысяцким наконец. Протасий, как ни сдержан, а на сей раз расхмылился: «Данил Лексаныч!» И не нашелся что сказать. Об том только и мечтал всегда, чтобы не с посельскими да не кожи считать, а ратное дело править. С дружиной поскакал в Рузу, дня не переждал. Купцов ослобонили, наместничьих ратных изымали, взяли под стражу. Сказывали, Протасий в Рузе и баять не стал, те когда уперлись было, за саблю, клинок наголо и — «Вяжи!». Сшибка вышла-таки, потом битых, перевязанных считали. От мертвого тела только Господь и спас.

Ну а там само одно за одно поволоклось. Наместника изымали — значит полки снаряжать. Полки снаряжать — значит с братом Митрием воевать... Воевать не воевать, а выступили в поход, к Дмитрову. Туда же Святослав Тверской с новгородской помочью, туда же Дмитрий князь с переяславской ратью.

Дмитрий пришел первый, занял Дмитров, стал станом, обрылся, дороги загородил. Тверичи и москвичи за пять верст от города остановились. Начали пересылаться послами. Ратиться Данил не хотел, Святослав опасался, новгородцы тоже не жаждали, да и что они одни! Дмитрий, чая Андрееву грозу, тоже не рвался в бой.

Лето на излете пахло горячей хвоей; пахло медом с лугов, пахло суховатым, чуть терпким духом созревающего хлеба. Пауты-потыкухи изводили коней. Полки стояли по лескам, в шатрах, да по деревням. Москвичи и обоза большого не брали, до дому два перехода! Травить хлеб Данил строго-настрого запретил и сам проверял, объезжая стан. Дмитровскому князю разору делать нечего! Худа от него век не видали, гостей, послов, дорожных всех, кто на Москву али с Москвы, привечает, кормит, а мы? Коней пасли на луговой отаве. Даже стогов, поставленных дмитровцами, не трогали: князь запретил.

Стояли, пересылались. Ратные, кто не в наряде, объедались черникой да малиной. В лесу ягоды родилось! Иной, развалясь,— уж и встать лень,— елозит спиной по сухому колючему дерну, губами с кустов ягоды обирает, весь в чернике, и зипун, и рожа. Зубы вычернило у всех. Постояли так день, два, третий — уже и всем ратиться расхотелось. Лето на излет, скоро и хлеб убирать!

От послов к переговорам. Данил, оставя Протасия воеводой, сам поехал в Дмитров к старшему брату. Дмитрий не чаял, что Данило лично приедет, даже выглянул со сеней. Данил на дворе слезал с коня, его дружинники тоже спешивались, отдавали коней коноводам.

— Данил Лексаныча счас и задержать мочно! — с смешком обронил кто-то из бояр за спиной. И осекся. Дмитрий повел бровью. Поглядел. Тяжело пошел встречать князя московского. Давно ли мальчишкой — слезы на глазах — стоял перед ним, кусая губы, худой, горбоносый, смешной. А нынче — рать привел, наместника, слышно, в нятьи держит. Второй Андрей растет! Вспомнилось почему-то, как когда-то, когда еще только брал власть, приезжал к Андрею на Городец. И так же вот спешивался во дворе, и подымался по ступеням, и мысли не было, чтобы задержать брату брата, и из бояр того никто бы не сказал!

Данилка шел к нему, широко улыбаясь. (Вспомнилось: «А у меня сын народился!» И такая же улыбка — рот до ушей.) Обнялись. Данила заматерел, чуялось, плотнее стал, уже не парень, мужик. Поцеловались в губы, и что-то надломилось в Дмитрии. Какая уж тут рать, какие бои!

Потом и ругались, и кричали, и с боярами, и с глазу на глаз. Потом, сердитые, ели, сидя бок о бок. Дмитрий угощал, и слуги молча подавали блюда. Ели, запивали кваском, горячим сбитнем. Ночевать Данила воротился в свой стан. Рано утром приехал опять. Опять сидели и спорили. Потом принимали тверичей и новгородцев. Дмитрию пришлось уступить. Рассыпалось, и, может, к лучшему даже. Что-то отпустило, что-то отошло в душе.

Новгородцы обещали блюсти мир, ежели Андрей приведет иную татарскую рать. Святослав с Данилой ручались и подтвердили договор.

— Чего тебе еще? — хмуро спросил Дмитрий на расставанье.

— Наместника забери. Не могу я с им. И иного не ставь. Мне под наместником во своей земле править не мочно. Я товар ворочу, и все, что задержал, и челядь, что своя у него, ворочу.

Дмитрий долго думал, глядя на брата, что округлился, пополнел лицом (и нос не так нынче лез вперед у него, как прежде). И губы тверже стали. Тверже и темней. Что ж! Когда-то и сын (сыном Дмитрий считал меньшого, Александра) так же вот скажет что-то, чего отец от него и не ждал никогда, и надо будет уже и разрешить, и позволить, чего бы ране и подумать позволить не смог, как теперь вот младшему брату.

— Тысяцким Веньямина ставишь, Протасия? Федора Юрьича сына?

— Его.

— Рати-то хоть умеет водить?

— Приезжай в мой стан, погляди!

— Да уж так верю... В заложниках у тебя не хочу быть...

Данил побледнел, потом покраснел:

— Я к тебе приехал! Вот!

— Ладно! — Дмитрий положил ему руку на рукав, успокаивая. Сам налил из поливного тяжелого кувшина летнего кисловатого меду себе и брату.

— Ладно. Не поеду я к тебе. Так верю. Присылай наместника. Дружину наместнику покалечил, говорят?

— Живы все, слава Богу.

— Пиши в Орду, что поладили, может, хан рать отворотит!— сурово сказал Дмитрий.— Сегодня ж!

Данил, пересердясь про себя, снова улыбнулся широко:

— С этим не умедлю! А ты, Митя, обозы не держи, у меня хлеб по Дмитровской дороге идет.

— Что ж, вези,— сказал без особой радости в голосе, слегка двинув плечами, Дмитрий.— Боярам своим накажу.

Он поднял чару, смотря прямо перед собой, пригорбясь широкими тяжелыми плечами. И Данил поднял свою. Кисло было. Кислым и запили.

ГЛАВА 63

Что деялось в Орде, никто не знал толком. Передавали, что Туданменгу задумал отречься от престола и в Сарае уже начинается замятня, ссоры за власть. А когда такое начинается в Орде, лучше не лезь. Князь не князь, купец не купец — обчистят, догола разденут, не те, так другие.

Семен Тонильич, однако, сумел и опять добыть в Орде татарскую рать для Андрея. Привел Тураитемиря и Алына с ратными и сам при них пришел воеводою на Русь. Притихшая земля готовилась к новому погрому. Ни ростовские, ни другие какие князья не вступились, выжидали. Жители затворялись в городах или, зарыв хлеб, убегали в леса. Вновь по дорогам потянулись испуганные караваны беженцев. Горько шутили: «Так и обыкнем кажну осень в бегах!»

Дмитрий стянул рати, став на Переяславской дороге и вспятясь от Владимира. Город тотчас разбежался, едва ли не весь. Впрочем, Семен Тонильич не повел татар на Переяславль, а стал разорять Суздальскую землю.

Где-то, не доезжая Юрьева, сталкивались разъезды, перестреливались, уходили в леса.

Федор оказался в сторожевом отряде. Ему наконец-то впервые довелось надеть отцову кольчугу для дела. Впрочем, они только передвигались, и непонятно было, чего хотят воеводы. То ли загородить путь татарам, то ли увернуться от боя. В конце концов они совсем оторвались от своих. Сторóжа была невеликая, с тридцать мужиков-ратников. Брони были только у четверых. Медленно, петляя по проселкам, отряд отодвигался к Переяславлю.

Потеплело. Над уже замерзшей осенней порыжелой землей с растоптанными и снова протаявшими дорогами висел серый туман-мóрок. Ратники издрогли, костра зажигать было не велено. Жрали сухомятью уже четвертый день. Деревенский народ попрятался, не у кого было спросить и дороги. Татар видали раза три. Напоследях огрешились с татарским разъездом. Напоролись в тумане, те заметили первые. Федор только поспел услышать короткий свист. Оперенная стрела тонко дрожала, впившись в горло передового. Ратник, с недоуменным выражением лица, скрюченными слабеющими пальцами царапая дужку стрелы, боком валился

с коня. Не подумав еще ничего, не сумев понять даже, Федор рванул повода. Конь прыжком прянул в сторону, и вся сторожа бестолково ударила в бег. Проскакав с полверсты, остановились в леске. Было стыдно друг друга, мужики отводили глаза, судорожно-громко переговаривались:

— Да, на них бы что-то едако, камни швырять в них!

— Или смолой их поливать горячей, издаля чтоб!

— Вроде греческого огня!— буркнул боярин.

У всех были белые лица, смущенные, бегающие глаза.

— Да, либо свинцом!

— У немцев каки-то есть, огнем пуляют, пыхалки. Грому, бают, от их!

— И нам бы такие завести нать!

— Либо стрелять научиться, как они! — громко сказал Васюк Ноздря, подъезжая к отряду, и сплюнул.— Кинули мужика, мать вашу!

Федор тут только увидел у Васюка на ременном аркане оседланного коня.

— Вы все поскакали, а я пождал в ложке́, вижу — конь бежит. Ну, нос высунул: не видать татарвы, коня к кусту, а сам... Саблю снял да колпак. А не дышит уже! Сюда вот, наповал! Нать бы, как отемняет, съездить за им, похоронить хоть...

— Ужотко стемняет!— отозвались излишне скоро мужики. Всем сейчас смерть не хотелось ворочаться.

Озревшись, выехали из леска.

— Да, по-ихнему бы стрелять выучиться, ето любо!

— Ты, Никита, татарский лук видал? Его с непривычки и натянуть некак, а не то что... А они с коня на скаку в птицу попадают.

— А еще нигде им отпору не дали! Что хотят, то и творят!

К вечеру туман просел, стало подмораживать. Остановились за пустой деревней. Нашли сарай с сеном, туда и забились всею дружиной. Лошадей, стреножив, загнали в ложок, выставили сторожу. Двоих послали обшарить деревню, есть ли какой жив человек. Уставшие, в мокрой сряде мужики жались друг к другу, как куры:

— Што мы, робята, ей-ей, словно убеглые отколь!

— Будешь тут убеглым!

Снаружи как-то примолкло и осветлело, мягко, чуть слышно шуршало.

— Снег, что ли, пошел?

— Крупа какая-то!

— Кто у коней? — спросил боярин.

— Щерба с Петюхой!

Вновь все замолкли, посапывая.

Боярин начал выбираться наружу. Созвал двоих, и те, ежась, полезли за ним. Все прочие молча обрадовались, что не им сейчас в ночную стыдь. Боярин вышел, в двери сарая пахнуло холодом и промаячил белый прямоугольник прикрытой снегом земли.

Трое, взнуздав коней, ускакали в дозор.

— Не погибнут наши-то мужики?

— Евсеич, бают, не дурак, выведет!— успокоили из угла. Опять надолго замолкли.

— Порушили нам нехристи всюю землю.

— Свой привел!

— А тут и в дому, коли старшого не заслушают, и все пойдет врозь! Так и в земле.

— Мне батька сказывал, бесермены когда сидели по городам, дак на улицах хватали кого попадя...

— Чего батька твой! Я сам видел!— хрипло отмолвил пожилой ратник.— Детей уводили, да и нищих, кто по дворам сбират, всех угоняли тоже.

— Разорят сами, а после не моги и хлеба просить!

— А много наших в Орды! Русского полону невестимо сколь!

— А все ж бесермены, те всех хуже! Татары у себя ничего, добры...

— Бесермены лютовали хуже татар, верно!— вновь подал голос пожилой.— Жидовин у нас сидел, живодер сущий! Тогда еще, при Ляксандре...

— А татары их и наставили в те поры!

— Мы и сами хороши. Вот я скажу, в Ярославле дело было,— зарассказывал пожилой ратник.— Зосима был, монах... Он в бесерменскую веру перешел. Ну, ты, хоть и веру сменил, а своих-то пожалей! Ан нет, он вопьетце — доколь всей крови не выпьет, не слезет. Кого и татарин не ободрал, и бесермен пожалел, а он — никаких! С иконами вот! Чего надумал: иконы колоть топором! Колет и смеется, собака: «Я теперь иного бога, мне ничо не будет. А вы — вошь, вас теперя, соленых, и в торгу не берут»... Да!

— Иконы топором! Монах был?

— Монах! И все он делал: и пил, ёрничал, и бабы енти, понимашь...

— Ну, до баб кто не лаком!

— Мне сейчас, мужики, и бабу не нать. На полати бы только затенутце да щей добрых, горячих. Руки сперва о латку погреть, там сольцы поболе да хлеба ломоть горячего...

— Не томи душу!

— Не тяни! Мы не железные!

— А ничо! Наелси бы своих щей, отогрелся и — кукареку? Без бабы, брат, не жись!

— Нет, ты о Зосиме етом. Ну, и чем дальше, кончил-то как?

— Порешили его. Еще мужики горевали, что погорячились, враз порешили. Говорят, помучить его нать было.

— Да, у нас народ и зол, да отходчив. Так вот жилы тянуть не станут.

— А что, татары порют людей кнутом?

— Очень даже свободно!

— Гляди, и наши скоро переймут! Чего бы доброго...

— Дак все ж ты мне скажи, татар скинуть, и бесермен не будет? Ясащик тот утек?

— Не будет, коли бояре сами не заворуют. Это уж кака власть!

— Хозяин нужен земле!

— Митрий Саныч, он и стараетце, и всё, а силов мало у его!

— Силов не хватат. Александр, батюшка, тот держал!

— Дак... Дальше-то так и будем, как ныне?

— Ежели бы татары приняли веру нашу да стали беречь землю, как хозяева! А то, что осень, то набег. Тут ты дом срубил, тут опять на дым спустили.

— Рязанщину всю разорили, почитай!

— Ну, ето ты загнул, чтобы власть татарская! Власть должна своя, от Бога чтоб, от прадедов, по закону, по ряду...

— А и неважно, как взята власть, важно, как после себя ведут!

— Как так?

— А вот и так! Что Андрей, что Митрий! А коли взял, то и твое, и беречи должóн! Ты вон коня купил, тоже не твой был конь, а нонеча пылинки с его сдувашь!

— Дак то купи-ил! Я серебро дал! То и берегу.

— А и на бою взял, тоже беречи будешь! Корысть уж свою соблюдешь всяко.

— То конь, а то человек. Людям-то поболе нать...

— Будет брехать, мужики! Сворованно кто станет беречи! Дуром пришло, дуром и уйдет!

— Кабы чужой... Ты сам гришь, по вере... Коли вера своя. Зосима, тот, вишь, веру сменил! У них, у татар, вера своя, дак промеж себя и дружны.

— Кажен народ сам собою. У немцев тоже во Христа веруют, а, гляди, все инакое!

— Ну, у их какая вера!

— А что, митрополита нам из Грецкой земли шлют, и ничо!

— То митрополит, а то царь! Царя чужого посади, тот своих будет беречь преже наших. Не успеешь оглянуться, всюду — у мыта, у торговли, у приказного дела — насадят чужих, тебе уж и ходу никуда!

— То и воюем всякой год язык на язык, и спокою нету! А чтобы едино все устроить!

— Как едино?

— Ну, все! Вместях! Все земли, все языки!

— И ничо не получится! Ну, сам посуди: они вон скот пасут, тут ты пахать затеял. Ему скота уже не выгнать. Или там торговое дело. Тверь с Новым Городом и то промеж себя не сговорят!

— Земли кругом много!

— Много, а мало! Вон деремся, стало, не хватат!

— Мы тут гуторим, братцы, а он тамо лежит, поди, волки уж объели...

— Волк осенний не злой!

— Жаль мужика.

— Вестимо, жаль. А кажному свой черед. Все под Богом ходим!

Воротились очередные от коней. Мужики стучали зубами.

— Издрогли!

— Попляши!

— Пусти в середку, падло!

— О чем гуторили без нас?

— Да все про татар! Кто бает, добрые они, кто перебить грозится.

— Перебить можно. Что делать потом? Мы бы счас и без татар с князь Андреевыми ратились, а то с Новым Городом.

— Хозяин нужен.

— Добрый хозяин нужен!

— Где его взять, доброго. Да и доброго-то особо с нами, дураками, нельзя, на шею сядем!

— Чтобы хозяин! Чтобы свое и берег. А уж кто добро бережет, худа не сделает. За хозяином и мужику способнее жить.

— За хозяином мы бы счас по домам щи хлебали!

— А что! И то верно!

— Счас бы бабу под бок... Уснуть бы... С бабой и сон слаще. Угрелся, тово! Тут, под рукой, тепло да мягко, ты ее, понимашь...

— Ну, Парфен, тебя сколь дён не кормить нужно, чтобы ты о бабах забыл?

— А я помру, братцы, а все одно скажу: без бабы не жись!

— Жалко мужика. Мы тут языки чешем, а его, може, и замело снегом-то.

— Оставь...

— Как думашь, усидит Митрий Саныч на столе?

— Боярина спроси. Я что! Только спрашивать будешь, под праву руку не ставай, левой он не так дюж драться, а правой враз сопатку на сторону своротит!

— Спите, мужики, рассвет скоро!

— Поспишь тут, с покойником...

— Кажется, снег пошел. Что боярина-то нет долго? Его бы не потерять, мужики!

— Федюха, спишь? Тогды тебе нас вести, ты грамотной!

— Тут грамота ни при чем,— нехотя отозвался Федор.— Вон Васюк Ноздря поведет! Он один не перепался, коня привел, а мы все дернули...

Федор еще полежал, чувствуя, как не хочется ему делать то, что нужно было сейчас сделать. Потом сел и сказал решительно:

— Вот что, други. Надо съездить, схоронить хотя, а не воронам кидать!

Он встал и под молчание ратных начал натягивать кольчугу. Уже ступив к выходу, сказал негромко:

— Двоих надо еще. Кто пойдет?

Ратники зашевелились. Поднялся Ноздря, сам уже окликнул Парфена:

— Иди! Неча тут о бабах!

Прочие облегченно засмеялись.

Вышли, разом издрогнув, в темень. Подстыло крепко.

— Куда тут? Глаз выколи!

На тихий свист скоро отозвались из лощинки. Обратав, повели коней.

— И коней сколь дён не расседлывам! — пожалел Парфен.— Тоже и животина мается из-за нас!

Кони тихо ржали, толкались теплыми губами в ладони. Поехали.

— Кажи дорогу! — приказал Федор Васюку. Ноздря поехал напереди. Федор сперва не понимал, где они, откуда и куда едут, но вот миновали лесок, и сразу узналось место, выбеленное теперь молодым снегом. В лощинке остановили. Спешились.

— Вот что! Ты, Васюк, пожди тута,— решил Федор.— А... коли что, подмоги... Давай, Парфен!

Они пошли, сгибаясь, выбрались на подстылое поле. Издали долетел не то свист, не то клекот. Оба, не сговариваясь, кинулись наземь. Полежав,— от стылой земли леденели руки,— Федор шепнул:

— Поползли!

Они поползли чуток, потом привстали, побежали, согнувшись.

— Где-ка его тута найти!

— Найдем!

Смутная тень, не то собаки, не то волка, шарахнулась в темноте.

— Вона!

Мужики подошли к белеющему пятну.

— Татары уже побывали... Ободрали донага!

Труп застыл. Федор подвигал мертвеца за плечи.

— Понесли!

— Давай мне,— сказал Парфен. Взвалил на спину и понес, рысью побежал, уйти скорее с проклятого места. Потом настал черед Федора. Он принял холодную страшную тяжесть себе на спину и, сцепив зубы, побежал. Доволокли до коней.

— Снежок вроде! — говорил Парфен, поглядывая вверх.— Следы заметет. Тута зароем?

— Не, отвезем! — возразил Федор. Васюк молча начал помогать. Тело обернули попоной и перевязали татарским арканом, что был у Васюка. Лошадь захрапела, почуяв мертвеца.

— Ничего, ничего! — успокаивал Парфен, оглаживая морду лошади.

— Трогай!

Уже было думали, обошлось, когда невдали опять пронесся словно орлиный клекот.

— Татары!

Мужики замерли.

— Бросим?

— Трогай!

«Лишь бы не заржал конь»,— думал Федор, пока они выбирались из ложка и миновали рощицу. Проехав кусты, вновь остановились. Мутный свет луны пробился сквозь бегущие облака, что-то как словно шевелилось на поле.

— Коли увидят, не уйдем! — прошептал Парфен. Федор не ответил. У него самого мурашки пошли по телу, кольчуга на миг показалась ледяной. Он оглянулся, приметив в стороне кусты, тронул туда, хоронясь в тени крайних дерев. Мужики молча и кучно трусили за ним. Клекот еще раз долетел, уже удаляясь. Пронесло!

Боярин все еще не воротился, и Федор, неволею взявший на себя началованье, велел хоронить. Ратники стали рыть яму. Лопаты не нашлось, в ход пошли топоры и мечи. Выгребали руками и шеломами. Рыли молча, сопя. Наконец углубили подходяще.

— Попону, что ли... Нехорошо нагова хоронить!

Федор уже хотел доставать свою рубаху, когда сзади кто-то сказал:

— Тута рогожи есть! В рогожу свертим, сенца... Сенцо завсегда покойнику кладут.

— Крест-то на ем?

— На ем.

— Дивно, татары креста не тронули!

— А чего им! Медь, не серебро дак.

— Ну! — Федор снял шелом, и все обнажили головы. Он поднял глаза горе́ и, сурово глядя в темноту, прочел «Богородицу». Потом начал «Со святыми упокой». И тихо, не подымая голосов, вполгласа, мужики подхватили молитву. Кончив, Федор перекрестился, и все перекрестились. Он хотел что-то еще сказать, не нашел слов, вымолвил только:

— Прощай!

Тело, обернутое в рогожу, опустили в яму, на сено. Федор, уже взявшись до конца руководить, первый бросил горсть мерзлого песку. За ним стали кидать все. Перемешанная со снегом земля посыпалась с глухим шорохом. Скоро яму наполнили. Уже тюкал топор —

это Васюк, отойдя к деревцам, мастерил сосновый крест. Крест водрузили, притоптали, обровняли могилу и пошли гурьбой обратно в сарай.

— Вот и схоронили мужика! — удовлетворенно переговаривались ратники.— Все не воронам на расхыстанье!

— А боярин все не едет. Ну, Федор, не воротится, будешь у нас старшой!

ГЛАВА 64

Шел снег. Дмитрий подскакал к терему, спешился, отдал коня. Долго околачивал себя на крыльце. Полез внутрь. Обожженное стужей лицо горело. В терему ждал Гаврило с вестями из Орды.

— Что ж делать-то, Олексич? — спросил князь, сваливаясь на лавку и тяжело уронив руки. Старый боярин прокашлялся:

— Кажись, уходят. Ополонились. Сюда все ж таки не полезли, гляди!

— Я не о том... А так и станет Андрей на нас татар водить кажен год? Что же делать-то!

— Слух есть, что Телебуга, сынок Менгу-Темерев, ладит на место хана.

— Слышал уже. Говорят, верно. Мне и брат из Москвы весточку прислал.

— Нынче в Орде Ногай всема правит! У них тоже, что и у нас! А Ногай против Телебуги. Ногай хочет все под себя забрать. Туданменгу бесерменской веры, Ногай, слушок есть, тоже, да скрывает ото своих. Дак ежели Ногай укрепится в Орде...

— Что ж мы, бесерменам руку протянем?

— Какой он там веры, нам не разбирать. Телебуга тоже не православный, а только случай дорогой. Ногай сейчас не осильнел, ему руку протяни, рад будет. Опять же законного князя ему поддержать прямая выгода. А опоздаем, Андреевы бояре туда кинутся.

— Что ж они до сих-то пор думали?! — хмуро спросил Дмитрий.

— Семен увяз в Орде. Промашку сделал. Все ходил вокруг Менгу-Темеря сперва, и сын у его там, в Сарае. А с Ногаем-то поврозь! А Ногай силу забрал, так вот, и Семена под ноготь можно...

Дмитрий забрал лицо в руки. Эх, не этого он хотел, не о том мечтал! И не отступишь уже! Он поглядел на Гаврилу красными от недосыпу тяжелыми глазами:

— Что ж! Тут под Ордой, и там... Может, с Ногаем-то и одолеем.

— Он, слышь, на Киеве, да на Чернигове, да на волынских и галицких градах сидит,— подхватил Гаврило.— Ксения Юрьевна Тверская дочь на Волынь выдала. Мыслю, и они с Ногаем дружбу затевают. Окружают нас со всех сторон!

— Что ж, Гаврило, таки и послушаю тебя! Умней все одно никто не скажет! Вели собирать дружину, серебро, рухлядь, порты. В Орде дарить — много нужно! Еду сам! Сына на тебя оставляю, меньшого. Сбереги. Ивана возьму с собой. Пусть поглядит... Ежели воротимся с им!

Снег шел густой, сухой и ложился плотно. За день мороз подскочил еще. Солнце вставало в оранжевом круге, промороженное. Зима наступила всерьез.

ГЛАВА 65

Дмитрий воротился из Орды весной, с новым ярлыком на великое княжение, подтвержденным Ногаем. Еще прежде того дошли вести, что на Русь поставлен в Царьграде новый митрополит, родом гречин, Максим [1]. Митрополит, слышно, едет в Киев и тоже собирается прежде в Орду, к Ногаю, за ярлыком, а в Суздальской земле ждать его надо не скоро.

Андрей, прослышав об Дмитриевом возвращении, кинулся к Новгороду. Дойдя до Торжка, вызвал в Торжок посадника, Смена Михайлова, и старейших бояр, заключил с ними ряд: «Яко стати всем заедино, ему, Андрею, не соступатися Новгорода, а новгородцам не искати иного князя, но быти всем вместе, в добре и во зле». Отпустив новгородцев, он устремился в Суздальскую землю собирать рать, но рать собирать было не из кого. Узнав о ханском ярлыке, все отворотились от Андрея. Земля устала от разоренья и татарских грабежей, земля хотела мира и законного главы.

---

[1] Дмитрий воротился весной 1284 г. Митрополит Максим рукоположен в 1283 г., но сперва отправился в Орду и лишь потом в Киев, куда уже в 1284 г. вызывал русских епископов.

Дмитрий, выждав время и дав Андрею самому убедиться в том, что все против него, вызвал брата в Переяславль. Спорить Андрею уже не приходилось. Оставя Семена в Костроме, а Олфера в Нижнем, он с малою дружиной и с тестем Давыдом Явидовичем поехал к Дмитрию мириться и соступаться новгородского стола.

И вот они сидят вдвоем, одни, два уже стареющих человека, родные братья. В том доме, где они оба родились и выросли. Потемневшие бревна кое-где заменены новыми, кое-что перестроено, иное снесено, но все ж это тот же дом, тот же терем, те же хоромы, строенные отцом Александром Ярославичем Невским. И тень их матери, Александры, еще витает здесь, меж горниц, клетей и повалуш. Дмитрий (ему осторожно советовали это сделать) может и задержать брата у себя. Переменить его бояр, всех или некоторых,— и не хочет этого делать. Устала земля, и он сам слегка устал.

— Здравствуй, Андрей! — сказал он ему просто в ответ на уставной, затрудненно вежливый поклон брата. (И Андрей знает, что его или кого из бояр могут тут задержать, не пустить назад, и что все это еще может произойти, пока идут переговоры.)

Слуги вносят подносы, ендовы и чаши. Слуги подают с поклонами, молча. Неслышно входят и выходят. Дмитрий не хочет сейчас чрезмерной близости с братом. Хотя в свои годы он уже многое понимает, чего не понимал раньше, и многое может простить, чего бы раньше никогда не простил. Дмитрий уже знает, что Андрей укреплялся с упрямым Новгородом взаимною клятвою, и клятву эту Андрей обязан забыть и должен, ежели новгородцы проявят строптивость, вместе с ним идти в поход на Новгород. И об этом сейчас толкуют бояра Андреевы с его, Дмитриевыми, великокняжескими боярами в малой думной палате... И не об этом речь, хотя это очень и очень важно, и через это, через подчинение великого города вновь объединится земля. Но не для того, не для тех речей зван Андрей на беседу с глазу на глаз со старшим братом. А главное сейчас вот что. Главное, что Андрей — брат. Родной. Как же мог, как же посмел он, как же покусился на такое? «Когда восстанет брат на брата» — не сказано ли в святых книгах, что то случится, когда придут последние времена? Или они уже наступили? А мы только не видим, едим и пьем, носим цветное платье, величаемся,

ратимся и миримся, а времена последние, времена распада, разлада и гибели, когда уже и родные не в родство, и ни детям отцы не нужны, ни братья, ни сестры друг другу, когда все и всё — как песок, как прах и тлен,— может, эти времена уже и пришли? Может, уже скачет всадник на бледном коне, истребить четвертую часть земли?!

— Помнишь наши клятвы, Андрей? Как ты мог?! Мы оба были готовы грех Каинов взять на души своя. Не вспомнил ты слов: «Разве я сторож брату моему?» И что тогда ответил Господь? Да! Клялся! Святым Евангелием! На книге этой, ю же сочинил Христос! Ему сулили царство надо всей землей: «и поклонятся цари земные!» И что ответил он? «Отыди, сатана!»

Взгляни, Андрей, на круги планет, на творение божие, в хоре светил, в хорах ангельских, и земля, и все произрастание земное: сколь чудно видом и стройности полно, и до малой травинки, что лечит недуги. Божий мир! И всякое дыхание в нем славит Господа! А мы? А наша земная жизнь? Погляди, как мал век! И в летописце некоем разогни листы и виждь: родился, ходил походом на касогов, созиждил храм, успе... И тут вся жизнь! И это о князе! Мы избраны. А прочие? О коих и слова нет? Миг один — наша жизнь! А живет народ. В тех, в безвестных жизнях! Зрел ты трупы пахарей на дорогах? Внял плачу жен и детей стенанию? Почто створилось сие?

Власть должна быть обязанностью, а в тебе — похоть власти. Власть должна быть отречением, Андрей, я уже говорил тебе. Как в церкви: священник, простой иерей, пребывает в браке, но архиерей обязан безбрачием. И вся власть высшая, и митрополиты, и патриархи — мнихами пребывают! Хотя и несть греха в жизни брачной, хоть и великое благо видеть детей у ног своих...

— Я лишен этого блага, Дмитрий.

— Ты опять не понял. Ты лишен детей судьбой, несчастьем твоим. Но как князь, в отличие от епископа, ты не лишен этого блага отнюдь!

— Не я, так другой, хочешь сказать!

— Да. Живет не «я» и не «ты», а «мы». Живет народ, и надо только так и судить себя, вкупе с прочими! Зри в поучениях: князь напитал или спас, обогрел или инако упокоил вдовицу убогую. Что за князь? Какой земли, языка и орды? Индии ли богатой, Грец-

кия ли земли, Ниневии, Антиохии? В Сирийской ли пустыне, в Ефиопии, в горах ли Таврийских? И что за вдовица? Вдовица всегда безымянна. Должен приветить любой и всякий князь и всякую вдовицу! Чти слово о Тифоне и Озирисе, царях египетских! Милость к меньшим — опора царя! Власть стоит правдою. Князь всегда в ответе перед землей! Мало крикнуть: я могу и хочу взять власть! Я не устрашусь обязанностей, ибо не думаю о них вовсе... Погоди, Андрей! Я знаю все, что ты хочешь сказать и помыслишь. Ты втайне будешь думать, что потом, захватив престол, сделаешь всех счастливыми, что все сложится как-нибудь... Не важно как! Ты даже можешь хотеть добра, быть может, ты и хочешь его, но взвесил ли ты все грядущее на весах совести своей? Убедился ли, что достойнее меня? Знаешь ли это? И даже, ежели так, ежели уверен, что знаешь и сможешь, подумал о том, Андрей, стоит ли слеза матери над трупом дитяти всего твоего княжения? Или полагаешь, погубив одного, осчастливить десять?! Чем? И как? И потом, ежели можно одного за десять, почему нельзя и двоих, и троих, и пятерых... Стоит только начать! Почему нельзя вырезать шесть городов ради семи прочих?

А о том ты не подумал, что достойные власти могут быть не только князья? И почему, однако, все решили, что только князья? Что и среди прочих — бояр, ратников, даже смердов — достойных можно отыскать сколько угодно! Но ежели начать выбирать каждого достойного, да еще с помощью татар, то и все останние друг друга перережут! Ты о себе подумал, а о каждом, кто может сказать: «я тоже достоин!», подумал ли?

И как и чем привлечешь ты к себе народ? Будешь наводить татар или льстить черни, крича о свободе? Вот сейчас нужно усмирять Новгород. Опять кровь! Добром они не уступят. Кто виноват? Я или ты, наобещавший того, что не можешь дать или что даешь за чужой счет, отобрав у кого-то! А подумал, что без новгородского серебра великому княжению не стоять? Новгород — это ворота Руси!

Я мыслил опереться о море, о торговлю; быть может, мыслил неверно. Но твоя Орда... Эти овцы, стада коней... Да, они храбры, да, быть может, и примут когда-нибудь нашу веру. Но с ними Русь отступит назад. Когда-то — чти летопись — и наши князья ели

конину, не мылись, ночевали в поле да пили из вражеских черепов. Но уже триста лет, как над нашей землею воссиял свет Христа. И вот: терема и храмы, и не в поту и в пыли, а в цареградской парче, на столе золотом восславлен русский князь!

— И восславились. И погубили Русь! — глухо, не подымая головы, отмолвил Андрей.— Что эти смерти! Объединение нужно паче всего. Ты сам так сказал! И будешь проливать кровь в Новгородской земле!

— Да. И все-таки ты не прав. Духу надлежит ныне подняться на Руси. Не в силе, не в наших княжеских трудах, а в духе, в духовном судьба страны. Без духовного возрождения Русь спасена не будет. Борьба нас, князей, за власть лишь усиливает недуг и усугубляет язвы земли. Не ты и я, не Восток и Запад, не Орда и Новгород, а — будет ли свет веры Христовой на Руси, воссияет ли вновь? Вот то, что нас спасет или погубит!

— Тогда углицкий князь Роман лучше нас с тобой, и меня и тебя!

— Может быть, и так, Андрей. Мы темные с тобой. И ты, и я. Нам еще, может, и не узреть земли обетованной... И еще вспомни покойного митрополита Кирилла! И еще Серапиона вспомни! И еще вспомни «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, первого законоучителя русского. И вспомни святых князей, Бориса и Глеба.

— Да! И как вынимали очи Васильку Теребовльскому, и как резались дети Ярослава! Я тоже читал Нестора!

— Но над ними двое святых, единая мысль, единая доблесть коих — не поднять руки на брата своего! И найди, где еще, в каких землях, у каких народов и государей есть такие святые?! Святые братья-князья, не возжелавшие розни братоубийственной до того, что сами предпочли смерть! И будем в крови, и в смраде, и во всяческой скверне, но сияет паче звезд, паче светлых лучей над ними их двуединое горнее торжество! Я ведь чуть не восхотел убить тебя, Андрей! Вот что содеяли советчики твои — их же пригрел ты на груди своей.

— Советчики всегда плохи, когда не удаются их замыслы, и всегда хороши, когда добиваются своего. Тебе тоже кто-то посоветовал пойти к Ногаю!

— Жаль мне тебя, Андрей. Ты не можешь отре-

шиться от прежних обид... Я часто думал: почему погибла Русь? Юрий Всеволодич не помог Рязани, наш дед не помог Юрию... Всё не то! Почему не сумели помочь?

Они все стали поврозь. Каждый сам по себе. Каждый кричал: я! В них свое затмило общее. Ну, были и герои! Евпатий Коловрат, Василько Ростовский... А нужно, чтобы соборно, весь народ!

— У меня сын растет, Иван. Не бойся, он не соперник тебе, в нем нет...— Дмитрий, не договорив, сжал и разжал кулак.— Он откопал рукописание одно, от тех времен. Написано велелепно и яро. Ко князю владимирскому послание заточника некоего. Был сослан сюда, в Переяславль... Сослан! Переяславль казался уже заточением от двора, от пышности, от пиров, от владимирского многолюдства градского. И вот и лепота, и ум остр, и красно украшенная речь, а надо всем: «Дай! Дай! Дай!» Дай, княже, серебра, дай место при себе, при дворе, дай милостей, дай сокровищ... И вот — разнесли, разорвали, выжрали, не оставя ничего на трудный год. Похоть власти, жизнь чрева. Давай! Давай! Жирно едя и пия, в красных сапогах ходючи... И все совокуплено, и сила большая, и жирен пирог — до часу. А час пришел — где пирог? И уже тут будут у кого угодно и как угодно просить: дай! Зосима, этот, мних, что в Ярославле первый принял веру Мехметову и начал ругатися иконам, чего и татары не делали! Иные многие... И Федор твой, Чермный, Ярославский, с племени.

— Он такой же мой, как и твой!

— Ну наш... Он в Орде? Не женился еще на Менгу-Темеря дочке при живой жене?!

— Женится?!

— Так-то, Андрей! Вот куда приводит корысть. Татарам мочно по семи жен держать, а мы — христиане. Виждь, Иеремия пророк глаголет: «Пойдите и разведайте в землях иных: было ли там что-нибудь подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих; хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что ему не помогает! Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь! Ибо два зла сделал народ мой: меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве народ мой раб? Или он слаб и робок? Почему он сделался добычею?» Так глаголет Иеремия, пророк израилев.

Над нами ночь. Но ночью виднее звезды и дух свободней устремляется в небеса. Я много передумал за это время, Андрей. Я буду держать землю, и я не выпущу бразды из рук. Это мой путь и мой крест. Я уже не могу иначе и не вижу иного пути. По крайней мере, я спасу Русь от распада. Пусть, кто может, делает другое...

Он смолк, и они долго сидели, не глядя один на другого. Андрей — с прежней упрямой складкой у губ, Дмитрий — с первыми морщинами горечи на лице.

Сказать бы тут об облегчающих душу слезах, об объятии братьев, о том, что нелюбие их прорвалось и вытекло гноем из заживленной язвы. Нет, не прорвалась язва, не вытекло зло, и не было братних объятий и слез. Было тяжелое молчание победителя, уставшего побеждать, и побежденного, озлобленного поражением. Был новый ряд, договорные грамоты, что писали Давыд Явидович с Гаврилой Олексичем и Феофаном, о ратях на Новгород, об ордынском выходе, о кормлениях, вирах и данях...

Семен Тонильич хмуро выслушал речь Андрея, когда тот воротился в Городец, возвел глаза, увидел то, что и хотел увидеть:

— Вот видишь, что значит власть?! И учить, и миловать, и говорить о добре можно только с престола. Жалок был бы он, говорящий о Христе, в ногах твоих валяясь, Андрей! Жалок был бы и ты с его речами в устах. Князь не священник, не отречен от мира. Он миру глава... В Орде плохо сейчас. Пока Ногай у власти, приходится ждать. Сильный всегда прав!

ГЛАВА 66

Зимой соединенные рати Дмитрия и Андрея с татарской, посланной Ногаем, помочью подошли к Новгороду, стали на Коричках и начали разорять волость. Только тогда новгородские бояре согласились на требование Дмитрия расторгнуть ряд, заключенный с Андреем, и принять к себе Дмитрия на прежних великокняжеских правах. Заключили мир. Дмитрий отвел войска, въехал в Новгород и снова сел на столе своем. Вопроса о Копорье он пока не подымал. Что-то надломилось в душе, да и слишком неверно было владение мятежным городом. Следовало прежде сплотить и под-

чинить себе всю землю, заставить князей, что отсиживались по углам, ходить в его воле, как это делал отец, и потом уже ставить новые условия Новгороду. А тут подоспели дела церковные. Новый митрополит Максим, воротясь от Ногая, вызывал к себе в Киев русских епископов, и следовало подготовить и отправить обозы с поминками и митрополичьей данью. Держали и насущные новгородские дела: уряжались с землями, данями, черным бором (многим прежним все-таки пришлось поступиться). Подоспело и семейное торжество — свадьба второй дочери.

В это время в Орде вновь начались раздоры. Туданменгу вовсе не правил, царевичи ссорились между собой, Ногай вел себя как хан, и Орда уже грозила распасться надвое. Приставленные к брату соглядатаи донесли, что Семен Тонильич начал подготавливать Андрея к новому мятежу. Федор Ярославский, слышно, сидел в Орде безвылазно и помогал заговору оттуда.

Дмитрий, бросив новгородские дела, прискакал в Переяславль. В нем проснулось молодое нерассуждающее бешенство. С этим было пора кончать!

Собрали думу. Все, о чем толковали и рядили, сводилось к одному: Семен! Пока не будет покончено с Семеном Тонильичем, смуте не утихнуть.

Дмитрий приказал скакать в Кострому, изымать Семена, выведать все его новые замыслы, с кем и как он сговаривается в Орде, и... скорее убить, чем упустить.

Онтон и Феофан, оба переяславских боярина, назначенных на это дело, очень запомнили последнее наставление князя. Гаврило Олексич, тот сам от поручения увильнул и сына Окинфа отвел, хоть и ратовал за расправу с Семеном паче прочих. Миша Прушанин и тут похотел смягчить, напомнил ответ Христа на вопрос: «Не до семи ли раз миловать согрешившего?» — «Не говорю до семи, но до седьмижды семи раз». Однако Мише не вняли, тут же найдя подходящие к случаю слова: «Аще не хощете послушать меня, погубит вас меч». Бояре, по лицу князя догадав, что́ ему любо, дружно требовали разделаться с Семеном, и Дмитрий решился на кровь.

ГЛАВА 67

Волга разлилась, и Кострому подтапливало половодьем. Маленькие издали, на берегу суетились людишки — купцы спасали свое добро. От просыхающего дерева пахло свежестью. Свежестью, запахом весенней воды был полон воздух. Терпко и тонко сочился снизу из сада аромат распускающихся почек. С гульбища, устроенного на восточный образец, с обширным навесом и тонкими резными столбиками, была видна как на ладони синяя Волга. Последние редкие льдины проплывали, ныряя в волнах, и какие-то лодьи торопились с того берега. В лодьях грудилось много оружного народу, яркими точками на синей воде цвели дорогие одежды. Послы? Или новая дружина Дмитриева? Вот уже пристают, выводят коней. Солнце на волне дробилось во множество сверкающих солнц, мешало видеть...

Весна! И все можно начать сначала! Не беда, что в Костроме нынче великокняжеские рати. Переменится в Орде, и они уйдут и из Костромы, и из Владимира.

Семен усмехнулся, вдохнул влажный воздух. Вести из Сарая были хороши, отменно хороши! Ежели Андрей не воспользуется ими, значит, он обманулся в Андрее и обманывал себя с самого начала. А тогда на Руси — никого. Ростовский князь увяз в семейной грызне. Федор Ярославский? Семен поморщился. Чем-то он был отвратителен ему. Служить Федору не хотелось. Такому дай мешок золота, он будет жалеть, что не получил еще и кожаную завязку от мешка. Много их таких было и будет во все времена! Андрей... Ему жесточе надо быть. Жаль, Давыдова дочь оплошала с наследником! Он накапал из стеклянной круглой бутыли в серебряную чарку целебного зелья, приготовленного лекарем-армянином, выпил, запил терпкую горечь разведенным медом. Кажется, легчает. Какой-то привкус все еще оставался во рту, особенно по утрам. Семен прихварывал всю эту зиму, но сегодня он чувствовал себя лучше, много лучше! Весна! Степь цветет! Там почему-то и годы не так напоминают о себе. Там воин всегда воин, пока сидит в седле и руки держат клинок. Там нет старости у мужа. Есть только смерть.

Что-то было, верно, у него в крови, почему он так любит степи, дым кизячного костра, медленный разговор и бешеную скачку коней, что-то подмешалось в древнюю кровь киевских великих бояр — прадедов, не

была ли чья-нибудь жена дочерью половецкого князя, какого-нибудь Аепы или Боняка?! Семен неслышным тигриным шагом прошел внутрь терема, чувствуя себя всего сейчас свежим и словно промытым весной. Восточный халат переливчато струился, развеваясь у колен.

В конце концов пусть все так и совершается, и даже к лучшему! Новгород вновь почувствует тяжелую руку Дмитрия и тем сильнее захочет Андрея. Телебуга молод, но он ненавидит Ногая. Федор Чермный пусть помогает, пускай гордится свойством с ханом и мечтает о престоле. Пускай надеется до поры! Федор мелок. Ежели не продаст, стоит ему подарить завязку к мешку, а весь мешок можно и отобрать потом! Семен усмехнулся, представив, какое лицо будет у Федора Чермного, когда он узнает, что ему кроме Ярославля не причитается ни одного города...

Мелкие люди не должны хвататься за власть. Власть крупна. Власть не для таких, как Федор. Они-то всё и пачкают. После них всякий смерд поверит, что и он гож для власти!

Надо заставить Андрея начать действовать! И ему хватит прохлаждаться и медлить. Отдохнул! Надо плыть в Орду. Немедленно. Теперь. В конце концов, это даже и опасно, что в Костроме стоят великокняжеские войска. Дмитрий не подумает — подскажут бояре. Семен улыбнулся. Сколько раз он уходил от смерти и плена! Такова жизнь. И снова оказывался в седле. Снова сорил серебром, снова кланялись подобострастно, снова ехал на коне во главе гордой дружины по тому же Владимиру, предводительствовал в княжеских ловитвах... Нынче огрузнел. Подходит старость. Как обидно коротка жизнь!

Он прошел в свой покой и, притворив дверь, вдруг нахмурился. Что-то смущало, как забытое нужное дело. Что-то вплелось нехорошее в этот беспечно-радостный день... Да, что же? Синий простор... Белый последний лед... Ах, да! Лодьи! Надо послать узнать, кто это прибыл! Он ударил в серебряный диск у дверей. Вбежал ордынец, преданно глядя в глаза. Слуг он умел подбирать! Скажи этому — в огонь,— кинется, не вздохнет!

— Возьми коня, скачи к пристани. Узнай, кто приехал и зачем.

— Скачу.

— Да, ежели от князь Андрея или он сам... Вот, покажешь мой перстень. Он знает!

Семен снял золотой перстень с яшмой из далекого Чина (Китая),— прошедший сотни рук, не раз оплаченный кровью, прежде чем он попал от последнего хозяина, хитрого хорезмийца, к Семену,— который для них с Андреем был условным знаком. Если Семен посылал князю свой перстень, значит, дело было самое важное. Значит, Андрей, бросая все, должен скакать к Семену.

Татарин исчез. Семен откинулся, развалясь, на пестроцветные подушки, взял в руки дорогую индийскую раковину, приложил к уху, отбросил. Ощущение беды не проходило, однако. Семен подумал, хлопнул в ладони — лень было тянуться за бронзовой колотушкой — и вдруг поднялся и сел. «Вызвать дворского!» — сложилось в уме. Предчувствия никогда не обманывали его до сих пор. И он просто разленился им верить. Слишком много успехов было за эти годы, слишком много! Он всегда недооценивал Дмитрия. Всегда. Так и с Ногаем: почему не предвидел раньше?

Семен скинул халат. Слуга-костромич уже стоял с летнею ферязью. Бабьей прислуги при себе Семен не любил и не держал. Даже и любовь он предпочитал без них. Любовь воина к воину, когда мужское дыхание у костра, и степь, и пахучий емшан. В любви тоже чувствовать силу, силу мальчика, силу мужа, кус плоти, и бешеную удаль летящих коней, и томительный горловой напев...

— Позови дворского! — приказал он слуге.

Дворский не шел что-то долго. Семен прислушался. Кони — откуда кони? Кони глухо топотали за оградой. Где-то внизу хлопнула дверь, кто-то закричал, что-то покатилось со звоном, и тотчас топот многих ног наполнил хоромы. Он сорвал со стены дорогой кубачинский клинок, кинулся к окну, потом к выходу на гульбище. Бежать было поздно. Семен бросил клинок на тахту и скрестил руки. И тотчас с хрястом растворилась дверь, и в покой полезли с саблями наголо. Семен усмехнулся презрительно. Ратные, помявшись, вбросили сабли в ножны. Вошли двое переяславских бояр, не известных ему по именам, которых он как-то прежде встречал во Владимире. Впрочем, одного из них, кажется, звали тогда Феофаном...

Один из ратных все поглядывал с беспокойством на брошенный клинок. Боярин кивнул, ратник поднял кли-

нок, подержал, жалея выпустить из рук, и повесил на стену.

Семен поймал себя на том, что ему жалко своего собрания оружия — амхарских и румийских булатов, клинков из Мавераннахра и тонкой работы кубачинских мастеров,— жаль того, что все эти бесценные сокровища расхватают не ведающие ни толка, ни дела невежды, не будут знать потом, что и откуда, не будут беречь и ценить, как берег и ценил их он сам. Он усмехнулся этой мысли. Феофан, заметив усмешку Семена и превратно истолковав ее, недовольно вскинул бровь.

Ему было любопытно, как они начнут, и он не хотел им помогать. Прокашлявшись, Феофан начал было речь, но Семен перебил его.

— Разрешите, хоть и незваные, гости, я сяду?

Он опустился на тахту. Боярин поперхнулся, выкатив глаза, вдруг заорал:

— Встать!

Семен медленно раздвинул сведенные судорогой щеки и показал зубы:

— Пошли вон!

Оба боярина встали, ратники схватились за оружие. Казалось, они сейчас кинутся на него или опрометью выбегут из покоя.

— Вон! — рявкнул Семен.

У Феофана заходила борода:

— Ты... Меня... Я воевода княжеский!

Трясущейся от ярости рукой он шарил по поясу, не находя рукояти сабли. Тут вдруг вмешался второй боярин:

— Не кричи, Семен! Ты поиман нами по слову великого князя владимирского и сейчас дашь ответ в делах своих и помышлениях противу князя Дмитрия, и о чем ты в Орде воровские тайные речи вел опять, и с кем, и на что наводил брата великого князя Дмитрия, городецкого князя Андрея.

Семен смотрел на него и молчал. Бояре переглянулись. Феофан кивнул, ратные, теснясь, вышли из покоя.

— Где грамота? — спросил Семен, помедлив.

— Посыланы без грамоты, по слову великого князя!

— Без грамоты посылают только с одним делом: убить. И то, когда хотят после избавиться и от убийц тоже.

Бояре переглянулись обеспокоенно.

— Убить тебя мы еще успеем! — сказал Феофан.— А за князем Митрием служба наша не пропадет!

Семен опять усмехнулся. Ну вот и начали! Что же они станут делать? Он холодно прикидывал теперь: вот он поступит так, они — так... Вдруг ему стало ясно, что ведь это конец. Эти смешные чванные переяславцы прибыли, в общем, с единою целью — убить его, Семена. И от этой мысли в нем родилось великое презрение к этим тупым исполнителям. Значит, он говорил с палачами! Но с палачами не говорят...

Второй боярин повторил свой вопрос о коромолах и лести. Семен пожал плечами. Он так и не встал и сидел, откинувшись на тахту, перебирая пышные кисти пояса.

— Прости, с кем говорю — не знаю. Всех переяславских бояр запомнить невмочь! Встречал Гаврилу в Орде...

— Онтон! — представился первый боярин.

— Феофан! — буркнул второй.

Склонением головы Семен показал, что удовлетворен ответом.

— Старший из вас, видимо, Феофан? Вот ежели я предложу тебе, Феофан, сейчас изменить князю Дмитрию и перейти на службу к моему князю?

Бояре молчали. Семен, поодержавшись, продолжил:

— Ты назвал меня сейчас коромольником. Льстивым коромольником! — Семен кивнул на Онтона.— Коромола, насколько я понимаю, измена своему князю. Ты же велишь мне поведать о делах моего князя в Орде. Коромолой с моей стороны как раз и будет, ежели я выдам вам тайны господина моего.

Он перевел взгляд на первого боярина:

— Ты не ответил мне на мой вопрос, Феофан!

— Я не переветник! — сердито отозвался боярин.

— Я тоже...— просто ответил Семен.— Дмитрий Лексаныч и мой князь Андрей братья. Их брани они меж собой ведают. И я, Феофан, служу своему господину ото всего сердца. Заметь, так же, как и ты своему!

— Слышно в Орде, что ты переветничал, сговаривал тамо противу Ногая, а тут противу князя великого! Мало ты наводил татар на русскую землю?

Семен поднял руку, останавливая поток Феофановой речи, и дождался тишины.

— У наших с тобою господ, Феофан, мир и любовь.

Мнишь ли ты или твой князь мнит, что кровь моя не ляжет между великим князем и Андреем? Или у наших господ нет голов на плечах, или не они решают дела княжеские? Да, я служил князю Андрею и водил рати. Я воевода, Феофан, и был воеводой еще у великого князя Василия. Ты, верно, забыл это? А ныне рать татарскую на Новгород вели переяславские воеводы, и как знать, Феофан, не спросят ли тебя когда-нибудь, как смел ты сам послушать господина своего? Ваше дело суетно, други, и служба эта вам может оказаться не в честь! Почто не приехал мой знакомец, Гаврило Олексич, ни сына своего не послал?

Феофан засопел. Темная кровь прилила к лицу. Он ненавидел Семена, но не мог не согласиться, что Гаврило вел себя подозрительно.

— Нам ведомы твои дела ордынские! Теперь мир меж господами нашими, а твои дела миру тому помеха. «Мужа кровей и льстива гнушается Господь!» Скажи истину: кто снова мутит в Орде и с кем совет ведет, какие у вас промеж себя тайности, и кто из князей ли, воевод ордынских против хана Ногая замышляет, и с кем из князей мыслишь ты опять пойти на Русь?

— Я все сказал тебе, Феофан,— ответил Семен, помедлив.— И лучше, чтобы ты оставил господам господское и не мешался в их княжеские дела!

— Не будешь говорить?

— Нет.

— Заставим!

Феофан стукнул ножнами сабли в пол, стражники вновь полезли в дверь.

Семен медленно встал, чувствуя, как кровь отливает от лица. Его грубо схватили. Он рванулся бешено, оскалив зубы. В лицо Феофану:

— Смерд!

Ему скрутили руки. Тяжело дыша, Семен остановился. Борьба с мужичьем отняла силы. Он мог бы сейчас закричать, взвыть, а этого он не хотел. Будут пытать! В голове еще лихорадочно складывалось: кто и что может сделать, кто вмешаться... Захарий Зерно! Вот кого! Хрипло он потребовал в понятые Захарию. Феофан, сощурясь, покачал головой:

— Нет, Семен! Ни Зерно и никто тут ни при чем. И слуги твои повязаны, и заставы загорожены, и никто не поможет тебе. Говори!

— Не буду.

— Говори!

Боль на минуту затмила сознание, потом отпустила. Семен иногда прежде думал об этом, наблюдая расправы в Орде, и даже примерял к себе. Однако это оказалось хуже, чем он полагал. В какой-то миг Семен подумал, что не выдержит. Он скрипел зубами, коротко постанывая. Сознание опять замглилось. Перестарались. Сквозь мутную пелену показалось, что он уже не чувствует боли.

— Говори! Говори!

Семен, щурясь, только мотал головой и молчал.

Наконец каты утомились. Семена, не державшегося на ногах, прислонили к стене. Он медленно опадал, сползая до полу. Открыл глаза. Что-то ему говорили. Брызжа слюной, наступая и топая, перед ним бесновался Феофан. Семен глядел полуприкрытыми глазами. Боль, пронизавшая все тело, уже как-то отделилась от него. Тело стало отдельно и боль отдельно. И снова ему повеял, как утром, запах степи, томительный аромат цветущего емшана. Он уже не слышал, что говорил, что орал, чего требовал от него Феофан. Устав, прикрыл глаза.

Его подняли, но тут Семен потерял сознание. От мокрого придя в себя, долго не понимал: где он, что с ним? Видимо от удара в ухо, он плохо слышал, и кривляющиеся лица, булькающие, словно через воду, звуки из разинутых ртов казались где-то далеко-далеко.

— Станешь со мной перед Господом,— прошептал он.— Скоморох!

В конце концов умирать было и не так страшно, как казалось сразу. Тело просто отделялось, переставало служить.

Оба боярина стояли над простертым Семеном.

— Убить?

— Теперь уж беспременно убить надоть. Кровищи-то! — вдруг ужаснувшись тому, что наделали, вымолвил Онтон. Феофан кивнул ратнику, и тот, замахнувшись, трижды погрузил лезвие короткой широкой рогатины в тело Семена. От первого удара Семен вздрогнул, его стало корчить, он словно начинал подыматься с пола, от второго — замер и дернулся, вытягиваясь. Третий удар уже пришел не по живому.

— ...Не дышит! Все.

Онтон с Феофаном медленнс переглянулись и, сняв шапки, перекрестили лбы.

— Священника, что ли, позвать?

— Не здеся! Подымай!

Андрей узнал о гибели Семена Тонильича у себя в Городце через два дня. Сперва он даже и не поверил, разбранив холопов за ложный слух. Но тут прибыл знакомый Семенов татарин, и, еще только увидев его издали, жалкого, понурого, Андрей понял, что это правда.

Татарин стоял перед ним и плакал. Некрасивое, в оспинах, лицо его кривилось, и мелкие слезы лились не переставая.

— ...Послала меня, сама послала, ай, ай! Я не могла ничего. Весь терема окружила, я хотела к нему... Ночью узнала, господин мертвай, смотрела его церковь, совсим, совсим мертвай! Я скакал к тебе. Вота, моя кольцо давай, для тебя давай! Теперь его нету, и мой голова пропадай совсим...

Он протягивал на ладони золотое кольцо с яшмой. Андрей взял его и задрожал. Это было то самое кольцо, тот, знакомый, их перстень. Значит, он знал или почуял и звал, звал меня! А я не понял, не слышал, не прискакал, не спас! Сидел здесь... Яшма ветвилась знакомым змеиным узором. Последний дар! Ну, Дмитрий! Так вот твои слова о праве, о Боге, о любви! Но вспомнишь и ты слова псалма Давидова, что вместе учили с тобою: «Мужа кровей и льстива гнушается Господь!» Сам не ведая, он точно повторил то, что сказали давеча убийцы Семену.

Татарин между тем рассказывал:

— Моя так понимай, Орда вести получал, хороший вести, довольный бывай. Моя видит всегда.

— Оставайся у меня! — предложил ему Андрей. Но татарин испуганно замотал головой:

— Пусти, господина! Степ уйду. Моя тут не житье. Сына у него там.

— Хорошо,— медленно сказал Андрей.— Послужи тогда последнюю службу. Мне очень нужно знать, какие вести пришли господину из Орды, кто их прислал и о чем? Очень! Понимаешь? От кого и о чем?!

— Моя все понимай. Моя кому надо говори. Твоя приезжай Орда, моя встречай.

— Постой! Прими! — сказал Андрей, протягивая тяжелый кошель с серебром.

— Не нада! Не нада! — попятился, отталкивая кошель, татарин.— Моя так делай! Для него делай!

На прощанье татарин поцеловал ему руку и, даже не похотев заночевать, уехал. Некрасивый косоногий татарин, с глазами, мокрыми от слез.

Андрей долго смотрел ему вслед.

— Нет, Дмитрий, не будет мира у нас! Кровь между нами отныне. Кровь друга моего. А ты, Семен, слышишь ты меня там? Может, живого тебя и не послушал бы, а мертвого послушаю. Кольцо твое со мною теперь!

ГЛАВА 68

Данил Московский всю эту зиму строил мельницы на Москве. В походе братьев на Новгород он не участвовал, хотя и посылал полк, затребованный Дмитрием, как и прочие князья, но сам проводил рать только до Волока, наказав воеводам пуще всего беречь людей и не соваться вперед без нужды. Впрочем, полагал он, до боя и не дойдет, не дураки же новгородцы в конце концов! Уж ярлык у Дмитрия, так спорить нечего!

Маленький Юрий учился ходить, и Дуня не могла налюбоваться первенцем. После родов она пополнела, на белых руках сделались перевязочки. Все больше становилась такой, какие Даниле раньше нравились: холеной, крупитчатой, пышной. Он с удовольствием вспоминал о ней днем между работой, представлял, как встретит, как обнимет ее вечером. И дитенок был славный, бойкой, весь такой мягко-упругий, любо в руки взять.

От гулких ударов всхрапывал и прижимал уши княжеский конь. Осклизаясь на буграх, объезжая навалы леса, поминутно спешиваясь, Данил проверял работу.

— Ничо, князь, не подгадим! — кричали ему древодели-плотники. Стучали топоры. Рослый владимирец, сидя на самом верху костра, ругал рязанских пришлых мужиков:

— Нагнали полоротых! «Тапары»!

Кремник по его приказу раздвигали подальше. Весной, как провянет земля, станут рыть ров и ставить городню. Пока начерно слагали венцы. Данил поглядел, задирая голову. Мастерам платили серебром, мастера старались на совесть. Успокоенный, он шагом проехал вдоль Неглинной. Под стеной отдыхала сменная дружи-

на, толковали о своем. Кто-то жалился на ломотье в пояснице, ему советовали прикладывать медь:

— Вон енти, в Орде, носят чего ни то завсегда медное, у их пояс да бляхи разные, и никогда не болит!

— Каку медь, красну или желту? — спрашивал мужик.

Завидя князя, заулыбались:

— Каково работаем?

— Добро! — Данил, щурясь, поглядел вверх.

— К весны складем! — сказал один, по говору — новгородец.

— Кто там у вас мастера обижат?

— А, Рязань-матушка! Как работают? Да грех ругать, не хуже наших! А что бранитце, дак на то он и мастер, строжит!

Он проехал до Яузы, где забивали сваи. Издали видно было, как мужики размашисто опускали «бабу», а потом поднимали, и лишь тут, с запозданьем, когда между бабой и сваей показывался ослепительно белый просвет, долетал сухой гулкий щелк, так что казалось, что мужики не бьют, а с треском отрывают каждый раз прилипающую к свае бабу и та щелкает, отлепляясь от могутного торчкового бревна. Данил подъехал ближе. По всему берегу копошились, как мураши, серые, коричневые и грязно-белые овчины. Бревна проплывали по воздуху одно за другим. Подъехав совсем вплоть, он увидел подносчиков. Валенки и лапти дружно топали по снегу, и, в лад шагам, бревно мерно ерзало по плечам. Он остановился около мастера.

— Не сорвет весной паводком?

— Головой отвечу, княже. Эй! Эй!.. Как ставишь, ставишь как! Кривишь, туды-т!

Мастер, ругаясь, косолапо переваливаясь, побежал, бросив князя. Данил дождался, когда выровняли бревно и мастер, отбрасывая пот со лба, воротился на глядень. С неба на неяркую белую землю, редко кружась, летели снежинки. Курились ды́мы. Скоро будут кормить. Кормили посменно, и работа не прерывалась даже на обед, так и бухало и гремело от темна до темна. Боярыни иногда жаловались, что спокою нет: стучат и стучат из утра до вечера.

Данил взъехал на высокий обрыв над Яузой и издали поглядел на свой Кремник, на копошащуюся суету приречной слободы. Там тоже строили, и тоже били сваи, мастерили новые причалы для весенних новгород-

ских лодей. Стучали и с той стороны, на Неглинной, крепили берег, чтобы не подмывало весенней водой.

Люди были расставлены хорошо, нигде не грудились зря, не мешали друг другу. Мужики были из деревень, отрабатывали княжое городовое дело. Отродясь приезжали со своим снедным припасом. Кормить всех и варить на всех разом придумал Данило — и работа пошла втрое быстрей, так что и тут не прогадали.

Давеча приезжали двое рязанских бояр, просили принять. Под Коломной села у их. Принять — обидеть рязанского князя. А Коломна нужна, ох, как нужна! Стоит на устье Москвы, там бы и мыт свой поставить, и амбары, и торг завести. (Уже и ставлено, и завожено, а все — не у себя под рукой. Повозное, лодейное идут рязанскому князю. И протори, и убытки, и обиды... А все одно не доходят у рязанского князя руки до Коломны!)

Послав слугу сказать, чтобы не ждали к обеду, поскакал в Данилов монастырь. «Там и пообедаю!» — решил. В монастыре тоже строили, и тоже следовало поглядеть и поговорить с экономом. За одним разом надумал проскакать и до Воробьевых гор, до княжеских сел. Оттуда должны были гнать скот на убой, на прокорм градоделей, и требовалось проследить, чтобы не забивали хороших молочных коров, как случилось давеча. Села были бывшие наместничьи, к Даниле еще не привыкли. Он уже переменил одного посельского и двух сырных мастеров новых поставил у дела. (Они-то и пожаловались на забой молочных коров.)

Вечером, уже на своем княжом дворе, он сперва еще заглянул в медовушу, где стояли бочки сырого и вареного меда и доходил недавний сыченый мед. Попробовал малость. На пустой желудок горячо ударило в голову — проездившись, Данил сильно оголодал. На посаде уже замолкали топоры. Замерли одна за другою дубовые бабы. Сиреневая, синяя ночь опускалась на город. Он отдал коня, кивком отпустил слуг, что сопровождали его в пути, и сам, пошатываясь и разминая ноги, пеш, пошел по двору к себе, в терем, к сыну, к сытному ужину, к приятно округлившейся Овдотье. («Чего они все на «а» гуторят?» — подумал скользом, услыхав толковню двух баб-портомойниц.)

В тереме было тепло, даже жарко. Печи топили еще по-черному, но топки были там, за стеною, где суетились холопы, а сюда, в горницы, шло только приятное

горячее тепло. Давеча ценинный мастер сделал в тереме муравленую зеленую печь. По гладким, скользким поливным изразцам, нагретым изнутри, было приятно проводить рукой.

Княгиня с сенными боярынями и дворовыми своими сидела за работой, те пряли, сама вышивала серебром и золотом пелену в Данилов монастырь. С утра сказывали сказки, а ныне занялись чтением. Из Мурома привезли списанное на грамоту сказание про князя Петра и деву Февронию. Данил остановился, невидимый, у приоткрытых дверей, посмеиваясь про себя. Вот уж бабье чтение! Впрочем, было похоже на житие. Про князя и его жену, видимо, была из простых, начала Данил не слышал. Читали, как изгнанные князь с княгиней плыли по Оке и некий боярин восхоте княгиню, разожжен от красы лица ее. И княгиня, поняв это, наклонилась и зачерпнула воды с той и другой стороны лодьи. Данил повел головой и рукою остановил сунувшуюся было прислугу:

— Не мешай!

Хотелось так же вот, невидимо, дослушать рассказ до конца.

Вдруг стало тихо. Это Неонила остановила бесконечное вращение веретена и, уронив руки на колени, вперила взгляд прямо перед собою, лишь губы беззвучно шевелились, что-то произнося, не слышное никому.

— «Испей!» — говорила княгиня Феврония боярину.— «А теперь с этой стороны. Откуда слаще?» — Разом вздохнули Нюшка с Машей, сенные девки Дунины. Маша прижмурилась и повела головой, отгоняя видение: красивый всадник, ездец, на чалом жеребце, что снова приснился давеча перед утром. Сама Окулина Никитьевна, сенная боярыня, преисполнясь тихим восторгом, читала все истовей и проникновеннее, медленно складывая слова, простые и прекрасные, как прозрачные индийские камни.

— «Уже изнемогаю!» — звал князь.— «Потерпи!» — уговаривала его Феврония, спеша дошить воздух, и уже когда пришли от Петра в третий раз, передав его слова: «Уже хочу умереть и не жду больше»,— сказала: «Иду!» Вколола иглу в недоконченную работу и умерла вместе с ним.

Окулина дочла и медленно откинулась. Маша вдруг заревела навсхлип, зажимая лицо руками, и княгиня неожиданно добрым движением привлекла к себе ее сотрясаемые рыданием плечи:

— Полно, ластушка, приедет твой ездец, уж коли любит, так приедет!

Вошел князь, Овдотья, бросив девушку, что перестала рыдать, встала и пошла ему навстречу. Улыбаясь, Данил оглядел горницу. В стоянцах светло горели желтые ярого воску свечи. Девки вскочили, боярыни склонили головы. Данил махнул им рукой — сидеть. Улыбаясь Дуне, погладил тепло-гладкую изразцовую печь. Поглядел на воздух в больших пялах, что шила Овдотья. Пошутил:

— Иглу-то не забыла воткнуть?

— А ты и подслушивал, какой! Голоден, конечно!

— Как зверь!

— Счас накажу!

Проходя мимо него, нарочно коснулась плечом, погладила по руке, оттого стало еще теплее. Скоро Данил, переменивший платье и сапоги, омывший руки под медным рукомоем, сидел за столом и ел тройную уху, а Овдотья глядела, как голодно ходят у него скулы, как поблескивают глаза. Привставая, сама подливала того и другого. По случаю начала поста уха была рыбная. От меда Данил отрекся, помотав головой:

— Квасу! Меду счас на поварне выпил. Доспевает. Добрый будет мед. Ты-то ела? Поешь со мной!

— Я вот чего возьму: грибов,— отмолвила Овдотья,— и соленого чесноку.

— Опять на соленое потянуло? — спросил Данил весело. Овдотья залилась алым румянцем, поглядела из-под ресниц, отрицательно покачала головой. Данил, отвалясь, шелушил чесночину.

— Добрый чеснок! Нынче не загниет, сказал я им: он прохладу любит, лучше лежит!

— Ты у меня хозяин! — ласково-лукаво отозвалась Овдотья.

— А что?

— А кто лонись осетров загубил?

— Коптильню нужно нову!

— Ну дак и не докоптили-то, по твоему же слову делали, как быстрей! Испортили никак с двести пудов!

— Все одно не пропала!

— Не пропала, а уж купцам не пошла, скормить пришлось.

Сытый Данил только рукой отмахнул. Будет поминать теперь до весны! Работники ели — нахваливали! Спросил про сына:

— Спит?

— Спит уже. Тихо так спит, наигрался. Тебя боярин прошал какой-то.

— Что ж не сказала враз?

— А хоть поел в спокое!

— Ну, и пожар случись, тоже вперед кормить станешь?

— Сыт?!

— Боле некуда! Что ж, зови боярина-то!

— Я посижу?

— Смотря с каким делом он ко мне!

Боярин, наклонясь в дверях, пролез в горницу, и тотчас по его лицу в тенях и отблесках заколебавшихся свечей стало ясно, что вести были недобрые. И когда боярин, косясь на княгиню, начал сказывать, Данил махнул рукой Овдотье:

— Выдь, про смерть не тебе слушать!

Зло совершилось в Курском княжении, но касалось всех, потому что могло откликнуться не тем, то другим. И сразу как-то словно даже холодом повеяло по Кремнику от того места, где стоял ордынский двор и сидел баскак московский. Правда, Данил ладил с баскаком неплохо. Татары подторговывали, и торговля эта — так уж он сумел устроить — шла тоже через князя и была не безвыгодна Данилу. Теперь же, с переменами в Орде и нелюбием между Ногаем и Телебугой, приходилось держать ухо востро.

В Курской земле произошло вот что. Баскачество в Курске держал бесермен Ахмат, откупивший у татар сбор даней. (Слава Богу, у них здесь с Александровых времен дани собирали сами и уже сами передавали баскаку!) Ахмат, кроме того, что немилосердно обирал княжество, устроил две своих слободы в отчине Олега, князя Рыльского и Воргольского. Ахматовы слобожане не платили мыта, ни выхода ордынского, и потому слободы скоро наполнились народом, а села близ Курска и Воргола опустели. Сверх того, слобожане, поощряемые Ахматом, сами грабили окрестных крестьян.

Князь Олег со сродником своим Святославом Липовецким, как только в Орде сел Телебуга, отправились к нему с жалобою. Ахмат не имел права заводить слободы на княжеской земле и переманивать людей, от чего, кстати, страдала ханская казна. Телебуга тотчас дал князьям приставов и велел забрать из слобод своих людей, а слободы разогнать. Олег и Святослав

воротились с татарским отрядом, ратникам повелели пограбить обе слободы и, поковав, забрать и вывести своих людей из слобод, что и было сделано.

Ахмат в ту пору был у Ногая и, узнав о разграблении слобод, тотчас оклеветал Олега со Святославом перед Ногаем: мол, Олег со Святославом не князи, а разбойники и твои, великого царя, супротивники. Аще хощеши испытати, то пошли к Ольгу сокольников своих. Есть ведь у него в княжении ловища лебединые, ежели будет ловить с твоими сокольники и придет к тебе, тогда не ратен есть.

Олег не посмел ехать, потому что Святослав Липовецкий, полагаясь на разрешение Телебуги, без ведома Олега ночью ударил разбоем на слободу, а тут, как ни поверни, разбой — разбой и есть. Сокольникы пришли, звали Олега, вызнали все и донесли Ногаю, что Олег и вправду разбойник и враг Ногая. Тут-то Ногай и показал, чего стоят в его глазах Телебуговы повеленья. Тринадцатого генваря, как о том уже доносили Даниле, под Ворголом появилась татарская рать, посланная Ногаем. Олег бежал к Телебуге, а Святослав укрылся в воронежских лесах. Татары опустошили всю округу, гнались за князьями, захватили тринадцать человек Ольговых и Святославовых старейших бояр и, поковав их в немецкие железа, отдали Ахмату на расправу.

Теперь татарская рать разоряла Воргольские, Рыльские и Липовецкие земли и забирала полон, а Ахмат снова собирал свои слободы, сгоняя людей, скот и своя добро. А бояре те уже, сказывают, казнены и развешаны по деревьям. Их видали с отсеченными правыми руками и головами...

Данил слушал, схватясь за голову.

— Люди бегут, к нам уже прибились иные. Принимать ли? — спрашивал боярин.

— Принимай! — глухо отозвался Данил.— Сюда не веди, нать, чтобы баскак не знал.

— Гостей там тоже позабирали немецких и цареградских, но разобрались, выпустили и товар воротили им. Гости тоже напуганы, конечно...

— Понимаешь, чем пахнет тута?

— Как не понять, Данил Лексаныч, батюшка! Теперича кто ни будет ратиться, всяк то к Ногаю, то к Телебуге за помочью, и всю землю испустошат! Олег, сказывают, пенял Святославу, мол, жаловаться нужно было, мы бы передолили его в Орде-то, а Святослав

в ответ: «То вороги мои и Руси смертные, не человека обидел, но зверя!» Теперь и Олег со Святославом поврозь...

Данил молча кивнул и тотчас подумал о братьях. Ох, не удержится Андрей, снова начнет свои петли плести! А коли Ногай рать поведет теперича на Митю, могут и через Москву повалить! Он, прикрыв глаза, вживе представил в Москве рать татарскую, только помотал головой. Боярин тоже представил безголовые однорукие трупы курских бояр по деревьям и тоже покрутил головой. Самому стало холодно, даром что в шубе сидел. Быстро у их! А людей-то в полон угонят, а сел-то пожгут! Осподи!

— Сторожи послать! — приказал Данил, подымаясь.— За Коломну, для всякого случая. (Сам подумал: «К Мите — гонца. Может, уж и знает, а все одно!») Что еще? Да, пущай стерегут татар, куда те поворотят? Станут уходить, тоже гонца шли!

Мир опять рушился. Только бы не Москву! Только бы не через Москву! Ну, а родной дом, Переяславль на дым пустят — лучше? По закону нать. Дак у кого из них, у Ногая или у Телебуги, закон?

Ночью Овдотья выспросила-таки у него всю историю, задумалась.

— А сюда не придут?

— Ежели Андрей не созовет опять...— отозвался Данил. Он обнял жену. В темноте изложницы чуть похрапывала сенная девка, держали с собой при малыше. Из-за полога едва пробивался свет лампадки, колыхалась тень, и казалось то ли дует по ногам, то ли и весь полог несет по темным волнам. А там где-то, в черной степи, идут многочисленные конные рати, движется Орда, сталкиваются царства и миры. И такие игрушечные перед этой враждебною силой деревянные городни Москвы, и так мал его Кремник, как лампадный огонек во тьме. И будто в малой лодке плывут они по темному морю, а справа и слева вода...

— А мне не стыдно, что я хочу спастись, уцелеть! Им всем нужен мир, от Новгорода до Кавказа, до Железных ворот, в Болгарию посылают рати, шлют послов в Царьград, помогают волынскому князю, дружатся с франками, цепляются за Киев — все еще! Свея, датчане, немцы, Рим... И всем помогаем, и всюду надо соваться! Может быть, и они, бояре московские, Протасий с прочими, тоже того хотят, может быть, и сами

москвичи хотят, но я видел уже, чем все это кончалось! Внутри у себя устроить нужно прежде всего! У нас есть земля на Севере! Ее обиходь! Смерды умнее нас, бегут и бегут за Волгу да во Тверское княжество. Тверичи вон кажен год новые слободы ставят! И к нам бегут только спокоя ради! Отсидеться нать, пусть хоть подрастут люди. Нать откормить народ! Пущай смеются, а мои мельницы важнее Андреевых затей! Сделаю... Забудут, на могилу наплюют... Помнят тех, кто больше крови прольет!.. Ты-то хоть любишь меня, Дунюшка?

— Люблю, Данилушка мой!

ГЛАВА 69

Были бабы дорожные и всякие, даже сударушка во Владимире, и была одна, первая, единственная — она. И бросал, и возвращался, и уезжал, и расставались уже «навсегда», и от мужа бегала к нему, и все не кончалось доднесь. И еще весною ехал по волглому, в весенних голубых тенях снегу опять к ней и не чаял, не гадал, что во последний раз, во останешний. Знал, что родила, а все виделось: как войдет, как она бросит все для него.

И — прямо в деревню. В Кухмерь. Очертя голову. Впрочем, знал, что об эту пору мужик скорее где в извозе, а не в избе, да ведь соседки, кумушки... Все одно!

Коня, воровато озрясь, завел за огорожу. Хозяйского во дворе не было — от сердца отлегло. Толкнул дверь.

— Ой, кто тамо?!

Не сразу узнала, и он не сразу рассмотрел с уличного солнца в скудном свете избы. Сидела у зыбки, качала, в одной рубахе была. И единого взгляда хватило, чтобы понять — кончено. Эх, меря, чудь курносая!

Она так и продолжала качать ребенка, приговаривала:

— С носом боярин, без носу кошка!

Плат бережно развернула, усмехнулась, прищурясь:

— Любила — эких не даривал! Возьми, женишься — пожалеешь. А меня за его мужик прибьет.

Федор чувствовал все ее тело под рубахой, и душно становилось от того.

— Уходи, мужик скоро придет. И так соседи невесть чего наговорят!

— Жалеешь мужика свово?

— Привыкла. Я, как кошка, привыкаю. Ты поди... Поди...

— Думал, сожидашь. К тебе ить скакал.

— Стал быть, не доля. Не трожь, не нать! Только хуже будет.

— Мерянка ты...

— Мерянка и есть.

— Коротконосая моя...

— Не твоя уж. Поди, поди! Дитя испугашь.

— Любила ить...

— По году не бывашь. Поди, и там бабы не обижают! Я тоже не из чурки сделана. Не судьба нам. Ступай. Мужик узнает, убьет. Того хошь?

Вышел пьяный, в глазах все качалось. Хотелось пасть с крыльца плашью в снег и в голос завыть. Непослушными пальцами отмотал повод. Конь тепло дохнул в лицо, потянулся губами. На миг припал, теряя силы, к морде коня, нащупал луку седла, взвалился в седло, трудно ловя стремя. Серый пошел сразу крупной рысью, разбрызгивая талый снег. И хорошо было, что никто не видит его лица, не видит, как взрослый бородатый мужик по-детски уродует губы и трясется, сутуля плечи, не в лад конскому скоку.

Отвергнутый плат он было кинул в кусты, потом опомнился, поворотил коня. Плат, развернувшись, ярко горел на снегу. «Сестре подарю!» — подумал Федор, подбирая дорогую покупку...

Было это весной, а сейчас дело шло к осени, под жаркими лучами густо колосились наливистые тяжелые хлеба, и мать, в новом темно-синем саяне, сердито суча нить, выговаривала.

— Женись! Вас ни того, ни другого нету. Все я одна-одинака! Грикше уж така доля, он, может, чернецом станет...

И Грикша, как-то рано постаревший,— морщины уже не покидали лба и голова начинала лысеть,— сидел и тоже пилил, поддакивал матери. Невесту высмотрел Грикша, и не столько невесту, сколько отца, хорошего рода (и не очень богатого — родичи не будут величаться) из Берендеева. Федор вяло отпирался, кивая на брата.

— Брат по монастырскому делу, ты на него не гляди! Твоя-то уж, гля-ко, детей носит, пора и отстать...

— Я и отстал,— устало сказал Федор.

— Пора и отстать! — возвысила голос мать.- Руки отпали!

— Девчонку какую возьми...

— Сноху приведи! Вот что!

— Семья добрая.

— Невеста пересидела немного, девятнадцатый, дак зато ума боле. Пятнадцатигодовалые-ти — ветер в голове, в куклы играть да на беседы бегать.

— Ты хоть сам-то видал невесту ту? — спросил Федор, не глядя на брата.— Поди, рябая да косая какая-нибудь.

— С лица не воду пить. По роду гляди. Род завсегда скажется.

— Род хороший. Добрый род.

— Берендеи.

— Каки уж берендеи! Обрусели давно.

Пусто было на душе у Федора. Пусто и холодно. Да и то сказать, надоскучила неприютная дорожная жизнь. Никто не ждет, кроме матери родной. Плат подарить и то некому!

Делали все без него и за него. Ездили без жениха, сватали. Потом невестины глядели двор и хозяйство. Будущий тесть был невысок, плотен, с маленькими, чуть раскосыми глазами на каком-то красно-сизом бугристом лице. На жениха глядел с недоверием, однако про михалкинский дом баяли только доброе.

Тысяцким у Феди был Прохор. И закружилось торжество. На смотрины в Берендеево поехали все вместе. Невеста была рослая, а рябоватая и чуток вроде бы и косила. Федор зло порадовался про себя: как угадал! Казала сряду — стояла и ходила как чурка липова. Лицо застыло, не улыбнется. Потом уж, поглядев в глаза получше, понял: еле жива со страху, видно. А засиделась в девках, поди, и замуж страшно, и, что не возьмут, боится. Когда вышли с матерью на двор и мать спросила с проскволившей робостью: «Как тебе невеста кажет?», Федор помолчал, сплюнул, опершись об огорожу овчарни, глядя в вечернюю темноту, представил себе деревянное застывшее лицо некрасивой девушки, перевел плечами и ответил глухо:

— Сватайте! Что уж тут... Не срамить девку...

Словом:

Женили молодца неволею,
Неволею да неохотою.
Приданого много — человек худой.

Приданое висит в клети на грядочке,
Худа молода жена на ручке лежит,
На ручке лежит, целовать велит.
Целовать-то мне ее, братцы, не хочется...

ГЛАВА 70

Сестра Параська с мужем приехала на свадьбу из Углича. Федор приглядывался к сестре: раздалась как-то вширь. Муж, щеголеватый, смазливый,— нынче подторговывал щепетинным товаром,— по-прежнему не понравился Федору. Как-то все балясничал, сыпал купеческим говорком, разваливаясь на лавке, хвалился сапогами зеленого булгарского сафьяна. Впрочем, видно было, что не так-то легко и у них. В Угличе после смерти князя Романа все переменилось. «Были за ним как у Христа за пазухой!» — вздыхал шурин, и Параська вторила, будто век прожила в Угличе. У Романа не было наследников, и Углич взяли себе назад ростовские князья. Дмитрий уступил. По родству так приходилось. Да, видно, великий князь и не хотел ссориться с ростовскими князьями. Угличане уже платили новый налог с мыта ростовскому князю и уже недовольничали. Дмитрий Борисович с Константином делились по жребию, кому Ростов, кому Углич, и не прошали горожан. Шурин поругивал князь-романовых бояр, хвалился вечевым уложеньем, а видно было, трусил и, подсаживаясь к Грикше, выпытывал: нельзя ли податься назад в Переяславль? Грикша не отвечал ему ни да ни нет. Федор отчужденно слушал, кивал сестре.

Скоро отшумели гости, да и некогда было особенно гулять, поспевал хлеб. Праздник как-то на диво быстро сменился буднями. Молодая не умела прибирать ни в клети, ни в избе, плохо стряпала. В Берендееве все больше возились со скотом, хлеба сеяли чуть. Феня хорошо обихаживала скот, лошади ходили за ней, как собаки, а за собой следила не очень. Мать с братом ругали ее неряхой. Мать кричала:

— Служанок нет, нать самой поворачиваться!

Феня неряшливо повязывала повойник, волосы вечно лезли из-под него, со двора приходила мокрая, подол в навозе, пахло от нее как от лошади. Грикша кривился:

— Грязная она!

Федор темнел лицом:

— Сами сватали!

— А ты учи! — не отступая, зудил брат.

Наконец свалили страду. Как прежде, как всегда, молотили с Прохоровыми, только уже не в четыре, а в восемь цепов. (Прохор ныне женил уже и третьего сына.) Убрали огороды, отмылись.

По тронутому темным золотом дубняку и ярким свечам берез пробегал холодный осенний ветер. Волоклись рыхлые облака — предвестие ненастных дней. Федор впервые выбрался с молодой женой по грибы. Поехали в челноке на Семино.

— Дай мне! — попросила Феня. Федор пересел к рулю. Она разгорелась, гребла сильно, хоть и неровно, смотрела на Федора ясно. Он вдруг подумал, что ведь любит: как-то быстро и привыкла к нему. Он глядел в задумчивости на дальний берег, слушал скрип уключин и плеск воды...

Ходили по лесу, аукались. Вдруг она пропала — и захолонуло сердце. Но скоро нашлась, ходила в западинке, вот и не слыхала Федора. Грибы уродились. Вечером они несли к лодке полные корзины груздей и волжанок. На берегу Федор предложил: «Искупаемся!» Феня разделась, робея: «Не гляди!» Плавала она хорошо, Федор даже подивился: где выучилась?

Дома стало тише. Грикша уехал с обозом, что отправляли новому митрополиту Максиму в Киев. Перед отъездом брата они побывали у него в Переяславле. (Грикша недавно купил себе хоромину в городе.) Феня, приоткрыв рот, оглядывала городское жило. А нынче, когда укладывались спать у себя, в клети, спросила:

— А мы себе не будем класти хоромы?

Федор усмехнулся задумчиво:

— Нынче не одюжить. Преже поправиться нать! Може, пошлют куда, обещал боярин.— Он усмехнулся опять: поди, и не помнит обещанья того! Накинул руку, Феня сразу вся прижалась к нему.

— Уедешь, а я?

— А ты с мамой.

— Я боюсь... Я, Федя, кажись, затяжелела! — робко призналась она. Помедлив, Федор ответил:

— Дите родим — мать помягчеет...

А сам лежал, застыв. Сказала — и как-то кольнуло

враз, вспомнил последнюю встречу, ее с ребенком на руках... «С носом боярин, без носу кошка»... Эх, Феня, Феня!

— Ты чего-то кручинен, Федя?

— Спи!

Как давно было... Ладно ли сделал, что ушел из гонцов? Может, теперь уж и посольское дело правил бы... Теперь с князем не погуторишь... Боярина и то поди досягни... Что-то поделывает московский князь Данил? Данилка... Данил Лексаныч! Строится все! А он тут, в деревне... Захотелось вылезти из этого навоза, из мужицкого хомута своего, куда-то туда, вверх, на волю... Жена — и всё... Засосет ведь!

ГЛАВА 71

В Орде нынче творились дела нехорошие. Голод и смута опустошали степь. Прошлогодний джут побил стада, измерли и овцы, и кони. Тудан-Менгу «стал безумен» и отрекся от власти. Телебуга, ставший ханом, с братом Алгуем злобились на Ногая. Телебуга не мог простить неудачного похода на угров, когда все его войско погибло в горах, и подозревал Ногая в измене. Дело почти уже дошло до открытой войны.

Зимой Андрей привел из Орды царевича с ратью. Но Дмитрий, предупрежденный Ногаем, уже ждал. Собрал владимирские полки, татарскую конницу, а переяславцев стянул и вооружил еще до всякого известия.

Раннее утро. Сереет. Феня вывела коня.

— Полюбил тебя!

Конь, Серко, третий по счету после того, отцова коня, тихо ржал и трогал Феню за плечо. Федор наложил тяжелые торока. Нать бы заводного коня! Дом тоже без лошади не оставишь. Третий конь был Грикшин.

— Зовут, стало, нать! — отвечает Федор на немой Фенин вопрос.— А мыслю, Андрей Лексаныч не снова ли татар подымает? За Семена гневается на князь Митрия.

Феня вся вздрогнула.

— Не боись, не убьют! Мне еще долго жить...

Мать, она тоже вышла, поеживается на холоде:

— Сюда бы татар не допустили! Ни хлеб не зарыт, ничо...

— Може, и не война вовсе.

Мать пожевала сморщенным ртом, покачала головой.

— Зря не созовут!

— Ну, Фень, прощай, слушайся матушку!

Просохшая под осенними холодными ветрами земля далеко разносит топот копыт. Косяки птиц в бледном небе тянутся к югу. По дороге — кучи ботвы убранных огородов, курящиеся дымом соломенные кровли деревень.

Снова привычное Владимирское ополье. Они стояли под Юрьевом. Дважды приезжал сам Гаврило Олексич. Его сын, Окинф, что уже прозывался Великим, объезжал полк. Стояли так несколько дней, жгли костры. Порошило сухим колючим снегом. Любители слухов уже поговаривали, что воротят по домам. Вдруг полк подняли враз. Начались скачки, передвижения. Сперва к Суздалю, не дойдя — поворотили по Владимирской дороге назад. Измотанные кони плохо слушались, ратники ворчали. Чуть не пополошились: «Татары!» Татары оказались свои, от Ногая-царя посланные в помочь Дмитрию. Они шли мимо, и Федор с завистью смотрел на ровный ход мелких и словно двужильных степных коней. Татары оглядывали сгрудившихся, потерявших строй переяславских ратников, выкрикивали что-то по-татарски. Один прокричал по-русски, коверкая слова, дразня белым оскалом зубов:

— Варон лави!

Федор густо сбрусвянел, зло стал распихивать своих людей по местам.

Еще раз столкнулись с татарами, когда те хотели зорить деревню. Окинф ругался с воеводой татарского отряда. Издали показались кони под шелковыми попонами, посверкивающее дорогое оружие. Сам князь Митрий подскакал. Долго о чем-то толковали с татарами. Потом татарский отряд с гомоном двинулся дальше, уходя за холмы.

В эту ночь не спали и не расседлывали коней. Где-то справа, далеко, шел бой, но их не двигали. Подскакал боярин:

— Что за полк? Переяславцы? Почто стоите?

— Не велено!

Боярин пожал плечами, ускакал.

Перед утром их подняли в седла и повели. Люди

уже третий день не ели горячего, все были злы и на пределе. Когда показалась татарская рать, полк развернулся лавою. Скакали по стерне, чуть прикрытой снегом, все быстрей и быстрей. Кони уже шли наметом. Сжав зубы, Федор твердил про себя: доскакать, доскакать, доскакать! Посвистывали одинокие стрелы татарских богатуров. Кто-то — не то сражен стрелой, не то споткнулся конь — полетел с седла. Федор усмотрел краем глаза, не поворачиваясь. Татары, подпустив русичей поближе, встретили полк ливнем стрел. Строй смешался, иные закружились на месте, лава остановилась, готовая отхлынуть. Федор, зверея, вырвал клинок, заплясавшего коня — в кровь стременами, конь, с храпом, вылетел вперед. За ним, нарастая, ширилось: «А-ааа!» Татары поворачивали коней, не приняв боя, уходили, пуская с оборота меткие стрелы в неровную череду скачущих русских дружинников. С холма открылось, как вдали на уходивших боковым ударом налетели Ногаевы, свои, татары. Окинф с вытаращенными глазами, рот кругло открыт, крича что-то, с шестопером в руке скакал к ним по полю и, махая шестопером, указывал в сторону. Подскакивали отставшие. Кони заполошно поводили боками. Снова тронулись. Окинф, не поворачиваясь, мчался впереди. Проскакав кустарник, узрели вспятившийся полк Андрея Городецкого. И опять клинки, как зыбкие колосья, покачивались, сверкая, над головами скачущих ратников, и опять не дошло до прямой сечи. Андреевы начинали поворачивать, строй распадался на глазах, кое-где сшибались, но уже уходили, а из-за холмов выкатывалась новая рать. Дмитриев стяг выплыл и стал на вершине холма. Федор понесся вперед. Справа и слева скакали, рассыпаясь по полю. Он нагонял, подскакивая, ратника в бумажном кояре, из простых. Тот оглянулся на Федора потерянными, побелевшими от ярости и страха глазами. И Федор, сплеча, вкось, рубанул. Тот охнул, скривясь, и начал заваливаться, а Федор уже проскакал и, не оглядываясь, гнал дальше, боясь обернуться, увидеть глаза этого зарубленного им русского ратника. Впереди, в кучке дерущихся, мелькали клинки, кони плясали, крик, перекатываясь по полю, густел, ржали кони, там и тут звенело железо. В толпе посверкивал шелом знатного боярина. Когда Федор подскакал, под боярином грянулся конь, а второй боярин, молодой, отступал, отбиваясь. Конь мотал головой, хромал. Федор пробил-

ся вперед, клинки скрестились, и он увидел близко гневные, с сумасшединкой, глаза и почуял нешуточную силу удара, и вновь, и вновь... Но боярин в чем-то оплошал. Вспятя коня, запнулся, конь повалился, сронив седока, и Федор, спрыгнув с седла, выбил саблю из рук боярина и приставил свое оружие к его горлу. Кто-то из ратников начал вязать арканом руки пленному, и Федор вдруг узнал своего ратника и удивился — думал, что растерял всех. Бой затихал. По полю, скликая своих, рысили воеводы. Серело. День кончался. Федор, озирая изузоренный, с драгим камением воеводский топорик, что снял с боярина, ехал шагом, ведя пленного в поводу перед собой.

У костра Федор напоил боярина, не разматывая тому рук, поискал, чего бы еще взять,— добыча по праву принадлежала победителю,— отстегнул калиту от пояса, несколько серебряных колец дал ратным, остальное сунул себе за пазуху. Доспехи снять он сообразил поздно и не успел. Подъехал сам Гаврило Олексич. Вперяясь глазом, долго разглядывал пленника. Тут только Федор узнал, что полонил самого сына Олферова, Ивана Жеребца, а старый боярин, сбитый с коня, и был Олфер. Иван, с ненавистью глядя в лицо Гавриле Олексичу, спросил:

— Батюшка жив?!

Гаврило дернул бородой, не ответив. Пока с пленного сдирали бронь и шелом, Гаврило, внимательно поглядев, кивнул, протянул руку, и Федор закусив губу, отдал дорогой топорик.

— Не забудь, Гаврило Олексич, кто его полонил!

Боярин кивнул головой, помявшись, примолвил:

— Коня получишь из добычи!

Федор со злой обидой бессилия провожал глазами ограбившего его боярина. Оружие, добытое в бою, принадлежит воину, и конь, обещанный Гаврилой, тому не замена. На такой топорик четырех коней купить можно. Вспоминая рукоять, усаженную красными каменьями, большой изумруд в навершии, золотое и серебряное письмо на гнутом лезвии топора, он чуть не плакал с досады. Ратники поглядывали на Федора сочувственно.

Полоненный разом стал ему неинтересен. Они сидели у костра, боярину развязали руки. Он был ранен и терял силы. Переглядывались молча. Вдруг Федор увидел, что по лицу боярина бегут слезы.

— Батюшка убит!

— Може, жив! — отозвался Федор. Тот поднялся, понурясь, сказал тихо:

— А уж Гаврило его не помилует!

Федор промолчал. Он, как и все, знал о старой злобе меж Гаврилой и Олфером и подумал, что теперь Олферу, и верно, наверняка не жить...

Перед утром за Иваном Жеребцом приехали. От боярина Федору привели заводного коня из захваченных. Конь был слегка ранен, и Федор ругнулся про себя, принимая повод. За великого боярина было до обидного мало! Впрочем, Гаврило Олексич обещал его не позабыть, на что только и оставалось надеяться.

Про кончину Олфера князь Дмитрий не спрашивал. Сказали — убит на рати. Прочих полоненных Андреевых бояр пока посадили в железа. Андрею, прошавшему о судьбе своего воеводы, отмолвили то же: на рати убит. Конец Олфера знал и видел только один человек, Гаврило Олексич, старый Олферов местник.

Раненого Олфера тогда, в ночь после битвы, принесли к нему в шатер. Олфер тяжело мотал головой. Гаврило зажег свечи, сел на походный складной столец. Олфер утвердил глаза, разглядел Гаврилу, криво усмехнулся.

— Постарел ты, Олфер! — сказал Гаврило без выражения.

— Пить дай! — прохрипел Олфер. Гаврило налил, подержал чару, потом уронил руку, влага пролилась на землю.

— Ты почто, Олфер, терем мой сжег? — спросил он глухо. Олфер кровавым глазом проводил пролитую на землю чару, потянулся — сыромятные ремни впились в руки. Хрипло молвил:

— Убьешь? Как бы не прогадать тебе, Гаврило! Андрей Лексаныч того не простит!

Гаврило горбился, не отвечая. Медленно налил и медленно выпил, глядя в огонь.

— Дай пить, Олексич! — вновь попросил Олфер. Гаврило задумчиво перевел глаза на Жеребца, сильное тело которого вздрагивало, дергаясь.

— Ты мне не гость, Олфер,— ответил он, помедлив,— нет, не гость!

Он вынул клинок, подержал, положил рядом.

— Ладно, Олексич! Все одно сын... отомстит...

— Вот смотри! — Гаврило поднял изузоренный

топор.— Узнаешь? Убит твой Иван! На бою убит. Некому мстить за тебя, Олфер!

Олфер следил за топориком в руках Гаврилы, приоткрыв рот.

— Врешь!

Он бешено стал рваться, извиваясь, вдруг у него заклокотало в горле. Олфер затих и, отдышавшись, повторил:

— Брешешь, пес!

Он снова начал биться и завыл. Гаврило Олексич подошел к завесе шатра. Слушая стоны Олфера Жеребца, со злым торжеством, не оборачиваясь, повторил:

— Убит твой Иван. Мои ж люди и прирезали у меня на глазах,— сказал и почуял, что лишнее. Олфер затих, только дышал хрипло.

— Ан врешь!

В голосе Олфера отчаяние перемежалось с надеждой. Гаврило забыл о нем, слушал глухие топоты. Вдруг испугался, что сейчас прискачут от Дмитрия и придется отдавать пленника. «Сам же он посылал убить Семена! — возразил себе Гаврило.— Ну, а он мог, и я тоже могу».

— Тоже могу! — повторил он и медленно поворотился... Тянуть все же не стоило.

— Ладно, Олфер, напою я тебя! — сказал он, взбалтывая нечто в темной стклянице и — спиной к пленнику — наливая в чашу с медом. Олфер, все так же трудно дыша, следил за Гаврилой. Оскалясь, потряс головой. Гаврило пожал плечами, налил из кувшина в другую чару:

— Гляди! — Выпил сам, потом поднес первую Олферу. Тот водил глазами по лицу Гаврилы.

— Соврал ты мне, а? Олексич? — с надеждой выдохнул Олфер.

— Испей! — строго сказал Гаврило и, приподняв голову Жеребца, поднес ему чашу. Олфер замычал, потом стал пить, крупно глотая. По мере того, как опоражнивалась чаша, запрокидывал голову, наконец отвалился.

— Спасибо тебе, Олексич, спаси тя Христос, так же бы и тебе от Господа, как ты мне — сейчас... А сын жив. Жив!!! — выкрикнул он в голос и вновь забился в веревках. Затих. Гаврило сидел сгорбясь, глядел на огонь свечи.

— Думаешь, не знаю, чем ты меня напоил, Олексич?! — трудно сказал Олфер. Гаврило поднял глаза, твердо упершись в очи Жеребцу, пожевал губами.

Олфер начал метаться, крупный пот каплями стекал по лицу.

— Зарезал бы ты меня лучше! — простонал он и начал громко икать.

— Ничо, и так помрешь,— вымолвил Гаврило вполголоса, в задумчивости глядя на клинок.

— Сын, Гаврило, скажи про сына! — хрипел уже неразборчиво Олфер. Гаврило все так же молча глядел мимо него. Олфер затих и вновь забился, ослабевая. Гаврило встал, наклонился над ним. Олфер бормотал:

— Все... прощу... Олексич... скажи... сына... скажи.

Гаврило ловил слова. Олфер страшно захрапел, вытянулся, изогнулся, дрожь с перерывами била его, глаза закатывались, но вот судороги пошли реже, реже, наконец тело ослабло, обмякло и начало холодеть.

Гаврило медленно поднял отяжелевшую руку, перекрестился. Помедлил еще.

— А сын жив у тебя, Олфер,— сказал он мертвому. И вдруг, судорожно схватив порожнюю чашу, изо всех сил ударил ею о землю. Чаша отлетела со звоном, ударившись о столб шатра. Вбежали слуги.

— Прибери! — придушенно-хрипло вымолвил Гаврило.— Умер. От раны умер... Путы разрежь...

ГЛАВА 72

На этот раз Дмитрий поступил с братом жестко. Отобрал владимирские села, посадив своих кормлеников, бояр воротил не сразу и за большой выкуп, обязав клятвою не подымать руки на себя.

Тут и выпала удача Федору. Гаврило Олексич вспомнил его, и Федора послали кормлеником в одно из бывших жеребцовских сел. Он едва побывал в Княжеве, перемолвил с матерью, от Грикши была весть — ворочался уже. Феня бегала с округлившимся животом. Он переспал дома две ночи и вновь уезжал. На просьбы Фени взять с собою покрутил головой:

— Тамо устроюсь... А зараз как еще! Села-ти Олферовы, чем и встретят! — сам под усмешкой скрывая робость.

Федор еще прежде читал «Мерило праведное», да

и так, в разговорах, хорошо знал, что с кого и сколько надлежит получать князю, сколько идет корму боярину, сколько тиуну, то есть ему, Федору, ибо ехал он, конечно, не наместничать, куда там! Посылали Окинфа Великого, старшего сына Гаврилы Олексича. Федор же будет при нем, как и другие, такие же послужильцы, сидеть в указанном селе и выколачивать княжую дань, кормы боярину и себе, мытное, весчее, конское пятно, тамгу и прочие многие поборы, наряжать мужиков на работы и что там еще. Знал он и то, что разом по приезде ему надо собирать самый большой рождественский корм, и ежели он его не соберет... Без «ежели». Собрать было нужно.

Заводную лошадь, переменяв добытую на свою, домашнюю, Федор взял с собою, простился со всеми и в сером зимнем рассвете выехал со двора. Боярин Окинф должен был ждать с дружиной в Переяславле, на княжом дворе.

Переяславль шумел. После победы над Андреем прибавилось народу. Из стольного, постоянно опасного Владимира люди перебирались под крыло великого князя. Сани обозных стояли на площади перед теремами. Кони жевали сено. Федор от коновязей, не спрашивая, прошел в молодечную. Среди ратников двое оказалось знакомых. Ему налили щей. (Когда-то так бы и просидел голодный на дворе, с тех пор многому выучился.) Окинф вышел, оглядел обоз. Позвал Федора за собой.

— «Мерило» читал, говоришь? Ну-ну! Ты смотри там, они скот, быват, прячут в лесе, дак будут плакаться, не взирай! Не доберешь — свое докладать придется!

Проверив еще немного и оглядев справу, Окинф дал несколько советов, как себя вести, и отпустил Федора.

— Бронь хошь и не бери, все одно: один всех не одюжишь, а саблю для всякого случая! — лениво посоветовал боярин.

Протолклись до полдня, наконец выехали. Возок боярина, обоз, кони и череда ратных, тоже в санях, да вершники впереди.

Во Владимире Окинф захватил жеребцовского наместника, что сидел в городе, ожидаючи вестей, и не без брани и перекоров повез с собою. Впрочем, бояре Андрея сидели пока в железах в Переяславле, и спорить их холопам много не приходилось. Дальше шло

так. Приезжая в село, останавливались у старосты, сбивали мужиков на сход и не без покоров-перекоров объявляли волю великого князя. Наместник и волостели Андреевых бояр сумрачно подтверждали слова Окинфа. Тут же чли князеву грамоту, после чего мужики обалдело молчали, потом начинали переминаться, пошумливать, а после и вовсе возвышали голос:

— Как же теперича? Дани давать князь Митрию?

— Ему!

— А Андрею Лексанычу как же?

— Не давать!

— А коли наедут? — выкликал кто-то ехидно из-за спин.

— Ко мне посылай! — приосанясь, бросал Окинф.

— А коли ратны?

— Ратны не наедут! — обещал Окинф.

— Ну, етто так. А кормы кому давать?

— Вот! — Окинф выталкивал очередного из своих послужильцев.— Ему!

— Опеть же, коли приедут наши бояра, не принять-то тоже грех...

Окинф терял терпение:

— В железах ваши бояре, у великого князя!

— А коли Андрей Лексаныч татар приведет?

— Привел, не видели?!

Мужики качали головами, спорили, порою яро. Кто подступал ближе, всматривался, запоминая, вздынув руку. Валенки и лапти топтали снег. Пар от дыхания лошадей курился в воздухе. Избы, тоже словно пригнувшись, ожидали недоверчиво из-под шапок снега. Слепые, оплетенные соломой стены враждебно отгораживались от наезжего лиха. И Федор кожей чуял это недоверие и злой испуг. Словно бы к ним, в Княжево, вместо всегдашних, исстари, из лет, тех же самых переяславских бояр пожаловали иншие — костромские хоть или тверичи... Федор поглядывал на холеное, молодо-заносчивое лицо Окинфа, вспоминал диковатый — у костра — взгляд пленного Ивана Жеребца. А кабы тот... у нас? И как, правда, мужикам не принять своего боярина, коли наедет? Не век же будут держать их в яме, и выпустят когда!

А села тут были ухоженные, хоть и потрепали их ратной порой: где куча головешек вместо избы, где огорожи еще не поставлены, там память о боярском дворе, там — разоренная скирда хлеба... Он уже тут,

не доехав до своего села, начал понимать, как не просто будет собрать ему сейчас, под Рождество, главную дань и главные кормы себе и боярину.

«Свое» село Федор как-то и узнал сразу, издали. Все оно, с деревнями, уместилось в западине меж холмов, вдоль вьющейся, сейчас замерзшей и переметенной снегами речки. Лесок, вытекая отдельными мысами, сбегал и вновь отступал, отрезая отдельные деревеньки, тянущие к селу. Окинф остановился на взгорье. Кивнул:

— Вона, Федюха, твое!

— Дворов полсотни тута?

— Шестьдесят семь. Тридцать деревень да село. Самого Семена было угодье... Потом Олферово...

По укатанной, прибитой конями и утрушенной навозом и сеном дороге вереница верхоконных стала спускаться с бугра. Они шагом ехали мимо крайних изб, потом к часовне и боярскому дому, и Федор вдруг до холодного пота перепугался, и таким близким показался ему щеголеватый боярин Окинф... А тут — одному, без ратных! Но уже трусить не приходилось. Подходил его черед.

Дальше все шло, как и в других селах. Ели, кормили коней. Староста от мужицкого мира и волостель принимали ратных гостей. Староста, рыжебородый неулыбчивый мужик, глядел сурово, а волостель, напротив, улыбался как-то скверновато, и Федор заранее наливался злобой к нему. Выждав время, он прямо спросил боярина о волостеле.

— Двор его тута! — неохотно ответил Окинф и сплюнул. (Стояли на крыльце господского дома, сожидая, когда соберут сход.) — Ты уж сам построжи когда... И его, и всех! — чуть рассеянно отвечал боярин, и Федор понял, что Окинф мыслями уже в следующей волостке, а тут для него дело решенное.

Пока шумел сход, Федор повторял про себя: дань ордынская по полугривне; дань княжая; рождественский корм: мясо, хлеб, овес и сено. С двадцати пяти обеж один корм: шесть возов сена, шесть коробей ячменя и овса. Всего тута три корма, значит, восемнадцать коробей зерна да восемнадцать возов сена. Одних кормов! Да хлеб, да мясо, дани княжеские, тоже хлеб... Класти куда?!

Староста зазывал Федора к себе, но от смущения и опаски, как бы не «обвели» потом, Федор выбрал вдо-

виную избу и сразу ошибся. Нать было становиться к старосте. Хозяйка варила ему пустые щи, кормов еще не поступало, так что и мяса на столе не было. Федор начал объезжать деревни. Его словно не понимали.

— Везти? Етто куда? Дани-то? Дак тут каки дани...

Скота не было. Хлеб собирали с трудом. Мешки скоро не завлезали в убогую вдовиную клеть. Кому возить, тоже было неясно. Мужики, ссылаясь, что нет лошадей — позабирали-де ратные,— спирали друг на друга. Федор решил, по совету Окинфа, пошарить по лесам. И, в самом деле, наткнулся на следы скота и на полянке в лесу обнаружил большое стадо. Подбежал пастух.

— Что за скот? Гони в село, а ну!

У Федора, как на грех, не было с собой сабли (глупо казалось ездить при сабле по селу), пастух же, вместо того чтобы послушать, взялся за кнут. Подбежали собаки, показался второй пастух, и Федору пришлось самому отбиваться от разъяренных пастухов и животных и с соромом отступить.

Усталый, он воротился на село. Второго коня не было.

— Где конь?— накинулся он на старуху.

— Плохая огорожа... Ушел...

Старуха тряслась, несла явную околесицу, что волки, должно, заели... Федор обшарил все кусты вокруг — коня не было.

Староста прислал ему в этот день тощего барана. Федор решил сходить к старосте. Тот усадил Федора за стол, расспрашивал о коне, отводя глаза, осторожно намекал на волостеля. Посоветовал складывать оброчный хлеб и прочее в господском доме. Волостель встретил с улыбочками, ахал о пропаже лошади, растворил двери, нарядил слуг перевезти хлеб из старухиной клети. Но когда последние кули были уложены и Федор пришел на другой день, все оказалось закрыто, и холопы не желали отворять. Федор кинулся к волостелю, тот разахался, начал искать ключи, зазвал Федора к себе. Коня завели за огорожу, и Федор, почти неволею, оказался у волостеля за столом. Приголадывая у старухи, Федор не мог удержаться — ел и пил много, и от сытной еды, и от стоялого меду его начинало развозить. Тут — он сам не понял, как к тому подошло,— поднялся какой-то спор, волостель почему-то закричал

высоким голосом, холопы вбежали в горницу и кинулись в кулаки. Федор, отбиваясь, лез из-за стола. Волостель бестолково метался, вроде бы останавливая расправу, а на деле путаясь в ногах у Федора. Все же он оказался не настолько пьян, как полагали хозяева, да и озлился. Скинул с плеч двоих, третьему раскроил лоб глиняным кувшином и, пихнув волостеля, вывалился через какую-то дверь на задний двор. Без коня, раскровенелый, с подбитым глазом, Федор кое-как добрался до своего двора. Это был конец.

Он еще лежал утром на полатях, весь разбитый и избитый со вчерашнего, а старуха, уже не скрывая раздражения (кормить его она и не собиралась), выговаривала в сердцах:

— Ушел бы куда от меня, подожгут!

Федор оболокся, забрал саблю, единственное свое имущество, и вышел на дорогу. С холма рысили знакомые всадники. Один из холопов, едва ли не вчерашних, звал его на господский двор. Федор подошел, ощущая жгучий стыд. Во дворе ржали кони. Возы скатывались с угора. Окинф с дружинниками, верхами, стоял уже во дворе. Волостель угодливо мял шапку.

— Поди, поди! — позвал, завидя его, Окинф.

Федор тяжело вошел во двор и, минуя боярина, даже не поглядев на него, пошел на волостеля, что сожидал его с кривоватой усмешкой, слегка побледнев. Боярин, видимо, что-то спросил. Федор не слышал, он шел и, дойдя, поднял саблю и, не вынимая ее из ножен, плашью ударил изо всех сил волостеля по лицу. Тот пал навзничь, и Федор, переступив через него (в ушах звенело, и он по-прежнему не слышал ничего), пошел на волостелевых холопов, привынимая саблю из ножен. Те вдруг кинулись россыпью, а главный, раскинув руки,— к остоявшемуся Федору. Из хлева уже торопливо выводили его коня, седлали, и пока все творилось, Федор стоял спиной к Окинфу. И уже вбросив в ножны клинок, вскочил в седло и, оборотясь, наконец подъехал к боярину. Волостель, вставши, покачивался на ногах. Кивнув на него, Федор сказал, глядя прямо в глаза боярину:

— Скот отгонял, холопов научил: коня свели в ночь, хотели убить. Вина на мне, боярин! А только не стоило его тут оставлять. Боярское бережет и мужикам не дает, сбивает. С горем чего собрал.

Окинф наехал конем, насунулся на Федора:

— Раззява! Гляди! — высоким голосом выкрикнул: — К утру чтоб!

— А ты! — Он поднял плеть и перетянул волостеля вдругорядь прямо по лицу. Брызнула кровь, тот, согнувшись, побежал косо куда-то по двору.

— К утру соберу! — бросил Федор и кивнул холопам. Те, только час назад готовые порешить Федора, кинулись за ним. Федор шел, круша заворы. Сводили скот, бабы кидались от него по углам. Волостелевы хлева очистили полностью, вскрывали сундуки, доставали серебро. Мужики ходили за ним, помогали, подавали, перетаскивали. К вечеру сами уже гнали скот из лесу. Волостель пробовал соваться, забегал напереды, жалко маячило его кривое, потерявшее улыбочку лицо. Где-то у погребов Федор взял волостеля за грудки и молча откинул на руки мужиков...

Ночью ругались, не спали, староста бегал по деревне. К утру обоз был сбит. Усталый Федор (теперь только почуял, что качало на ногах) пересчитывал кули и головы скота. Окинф обозрел собранное веселым оком.

— Кормы дошлю! — сказал Федор.

Обоз тронулся. Федор, уже без дела, шел по улице. Староста снова стоял у ворот, зазывая к себе. Федор думал было пройти мимо, одержался, зашел. Хлебал, пил пиво.

— Как же с волостелем-то? — подмигивая, вопрошал староста. Федор жевал, думал. Поднял голову, прищурясь:

— Скажи дураку, воду на ем возить буду, коли...— Не договорил. Тут же повалился на лавку, уснул. Было уже все одно и не страшно.

Проснувшись, Федор опять слегка оробел. Он думал, против него теперь затеется война. Но мужики встречали Федора усмехаясь, снимали шапки. Он не мог понять почему, потом домекался: любо стало, что начал с волостелевых животов и не побоялся раздеть того донага.

Волостель пришел на третий или четвертый день мириться.

— Езжай в Городец! — сказал ему Федор, бычась. (Возы с сеном и овсом, не добранными давеча, уже скрипели по дороге, в сугон Окинфу.) — Конь где?!

— Стоит.

Федор выглянул. Его заводной стоял у крыльца целехонек. Вот те и волки! Федор сошел во двор, ощупал, осмотрел Серого. Хотелось обнять и расплакаться,

но он только едва приложился щекой к морде коня.

— У меня свой господин, у тя свой, а слышно, отпустили Ивана-то Олферыча! Дак того...— толковал волостель.

— Дак пущай с моим боярином и дела ведут. А мне на боярина твово... Я его, может, на рати ял! Ладно, ступай. Не гоню. А только помни: вдругорядь, крестом клянусь, голову сыму напрочь! — мрачно пообещал Федор.

Ему, конечно, повезло. Иван Жеребец и вправду приехал, но как-то и Окинф, объезжая волостку, поспел к тому же времени. Окинф принял Ивана в его же доме, и когда Федор подходил к крыльцу, Иван Жеребец садился на коня, веселый. Видать, два молодые великие боярина не переняли отцовой злобы, или Окинф готовил себе путь какой, словом — проехало. Впрочем, было это позже, о Пасху.

Старуха умильно зазывала Федора назад, но Федор перебрался в другой дом, по совету старосты, к достаточным и хлебосольным хозяевам. Как-то налаживалось. Подкатили Святки, и Федора стали водить из избы в избу, село гуляло, гуляли деревни. Эх! Подпившие мужики орали песню, шли плясом. Облапив Федора, староста лез бородой:

— А ты храбор! Любо! Женку вези, чего там!

— Брюхата.

— Али вдовушку каку найдем! Чего со старухами тут...

Ночью Федор — в голове шумело,— празднично распахнув овчинный армяк, шел по темной улице к себе. У плетня стояли мужики, тренькала балалайка. Один отлепился, пошел наперейму. Федор подступил, взялись за плечи. Тот рванул — не сдернул.

— А ты силен!

— А не слабже тя!

Пошли кру́гом, взрывая снег.

— Будя, мужики!

Он стал, запыхавшись, потом, испытывая злую радость, сгреб за шеи еще двух мужиков. Эх!

— Постой, скажи...

Не враз понял, что прошали взаболь.

— Князь Митрий Лексаныч навовсе нас забрал али как?

— Того не ведаю, мужики,— сказал Федор с пья-

ной настойчивостью.— Того не ведаю! Нет, не ведаю! И все!

Он обвел хмельным взором, потряс головой, потом начал перечислять:

— Мне: корм, княжую дань! Хлеб — раз, ячмень — два, ярицу опять, мясо, баранов...

— Гусей! — подсказали мужики.

— И гусей! И гусей возьму, коли нать! Масло, сыры и портна. И еще мосты мостить.

— Где?

— А вот, где будут мосты, мостить! — с пьяным упорством повторил Федор.— И хоромы не огнаивали чтоб! У какой вдовицы там... Вобче, чтоб не огнаивали! А так уж... как всем надо помочь. И вдовице какой! — повторил, кивая головой, Федор.— Всем миром. И будет. Так.

— Нонеча возить лес? — спросили мужики.

— И да. И нынче.

От воздуха у него прояснилось несколько в голове.

— А ты, видать, простой, а? — сильно хлопнув Федора по плечу, сказал один.

— А не проще тебя! — возразил, отдавая удар, Федор.

Со вторыми кормами, на Велик день, дело у него шло ровнее. Перезнакомясь, он уже знал, у кого что, приметил скот. В людях, правда, случалось еще и ошибаться. Обидное получилось с одним мужиком, что уже вроде и подружился с Федором, уже и толковали, и пили вместях. А тут он выпросил подождать до Рождества, мол, нету баранов. И обманул Федора, скот, оказывается, попросту прятал у свояка во дворе. Сам же и посмеялся с мужиками потом над Федором. В гневе и стыде за подлый обман Федор явился к нему на двор, хотел объясниться, мужик же стал вытеснять Федора со двора. Тут Федор сорвался, обнажил саблю, с саблей пошел на хозяина. Когда уже баба кинулась с воем в ноги, опомнился, вложил клинок. Молча отворил стаю, выгнал злосчастного барана и за рога уволок со двора.

После мужики долго пеняли Федору, что не стоило так, и староста корил:

— Ты, Федорша, хошь и по правде поступашь, а только и понимать надо. Ни за что осрамил мужика. Сам же с им и пил! Нехорошо. Саблю вынул, эко! Саблю не труд здымать, а уж коли добром, дак тута

сабля ни к чему. Меня бы созвал. Миром решить завсегда мочно!

Пасхой Федор должен был отвозить в Переяславль дани, заодно наладил и домой два воза с овсом, хлебом, мороженым мясом — то, что полагалось ему в кормы. Еще и живая овца, связанная, тряслась на возу. Зима задержалась, и дорога была плотной, но надо было торопиться.

Дома собрались ближние. Прохор заглянул, спросил усмехаясь:

— Грабишь мужиков?

У него прибавилось морщин, кирпичный румянец на скулах стал глуше. Он ерошил бороду, поглядывал выжидательно.

— Нет, только что положено беру,— ответил Федор.

Феня ходила вот-вот. Решили, что уж родит дома, а летом, как отсеются, приедет к нему.

Федор со стеснением отвечал на любопытные вопросы, и гордился радостью матери, что хлопотливо принимала добро, и слегка стыдился: ведь дядя Прохор нынче крестьянствовал и так же, он думал, мог бы и на него пойти с саблей, и даже сморщился и помотал головой. Тут, дома, его дело совсем не казалось столь просто.

По уходе Прохора они долго сидели с Грикшей в избе, пили пиво, говорили и спорили. Федор с болью «выкладывался», а брат, усмехаясь, утешал и корил:

— То не горе, что берут! И всякая власть будет брать. Не в соби дело: сколько там добра, каки кони, чем пашут и кто, деревянна у его лопата али с железной оковкой... Самое главное для хозяйства — это право и власть! Важно, кто твою собь защитит! Не добро само по себе, не животы крестьянские, а защита добра! Этим и княжества стоят, и князи потому хороши ли, плохи, как право блюдут да есь ли сила оборонить землю. Како хозяйство у татар! Ужель лучше нашего?! Да скот пасти в степи дурак заможет! Сена и того не косят. А забрали полмира! Эко! Почто? Власть!

А добро... Ежели наработано, да легко отобрать, считай, его и нету у тебя! Собина ета пото и существует, коли законом защищено и силой власти огорожено. Кто сумеет лучше защитить добро? Вот о чем у крестьянина печаль. Иногда и в холопы полезешь, лишь бы добро оборонить. Так-то!

Думашь, они не понимают? Понимают! Все понимают! То бы ты один там и собирал дани! Да убили бы в перву же ночь! Ну, а волостель, тот своему боярину радеет, как и ты...

— Но как я саблей! На мужика! Грикша, ну почто он меня обманул?!

— Ты хочешь и с ними, и над ними! Гляди, купец и тот николи не пьет с подручными! На стороне где разве...

Ты, Федя, только нынче то постигаешь, а я давно знаю: нельзя! Съедят! А уж внизу, так внизу. Тогда и сиди, носа не высовывай. И еще одно скажу: не хвались! Настоящего купца не увидишь с кунами в руках. Это не купец, кто без дела серебро мечет. Умные мужики, деловые, не видны на миру, но они не с миром, они выше стоят. Мне, по твоему разговору, староста твой лоб. Вот умный мужик! И гляди, его выбрали, не другого! А своему тому приятелю ты набахвалил, видно, да и пил с им. Ну, он и решил тебя нагреть... А как же! И всегда надо преже думать, а потом делать, а не как мы любим: после скобеля да топором!

Боярина возьми, хошь самого набольшего, он и гордится, и все, а настолько — насколько допускает и понимает народ. Нужно, чтобы в одно было. А когда понимать не станут, и уважать перестанут тоже. Может, при Батые пото и погибли, что с мужиками стали поврозь. Уже не свои! Власть должна быть нужна.

Так что, с одной-то стороны, нельзя отходить, должна быть общая жисть, с другой — надо быть господином, себя не ронять. Я вот тоже, когда начинал при монастыре. Там ить всякой народ! И свои, и пришлые, кого наймуют. Ентим что! Понес на меня один, по-матерну, при народе. Крой! Я ему, думашь, слово отмолвил? А потом: хочешь работать? Вместо серебра овсом заплатил ему. На серебро не рядились, был в своем праве. А тому дураку ордынский выход надо давать. Ходил тише мыши, бегал, на брюхе ползал. Так вот, пущай меня материт!

Шурьяк тут опять наезжал. В Угличе у их колгота. А почто? Борисовичи, князья, себя потеряли. Перед народом ссорятся, разве мочно? Вот уже и разрыв. Случись что, не поддержат их мужики! Еще тут без тебя дело было: Литва воевала тверскую владычную волость. Олешку. Так били ее вместях дмитровцы,

тверичи, зубчане, волочане. Князя ихнего, Доманта, забрали...

— Мне бы холопа добыть! — вздохнул Федор.

— То-то, холопа! А с мужиками пьешь!

ГЛАВА 73

Проголубело, копыта осклизались на раскисшей и за ночь подмороженной дороге, снег на солнечной стороне был ноздреват, в столбиках, словно крупная соль. Дышалось легко, и, полуразвалясь в санях, Федор иногда лишь лениво нахлестывал. Порожние кони бежали легко, и сани мотались из стороны в сторону. В западинке стоял тонкий серебряный звон: звенел ручей под снегом. Кучи облаков сваливались, и Федор, разнежившись, нет-нет да и гадал — доехать бы!

Солнце вышло и враз простерло на все свои горячие лучи, и мир ожил. Чирикало и пищало в кустах, покрасневших в предведенье весны, набухшие почки, казалось, пили свет, и все помнилась глупая девка там, у себя, куда ехал: «Ты парень работящий, я тоже, ты оставь свою бабу, зачем она тебе, а меня возьми!» Глупая девка, рослая, четырнадцать лет всего, ох, и глупая! Не захотел перед мужиками позориться... Он сплюнул на дорогу. Встречь бежали кони. «Куды!» Кнут взвился в воздухе. Федор чуть не выпал из саней, ругнулся, схватясь за саблю. «Блажно-о-ой!» — летело вслед. И чего подумал вдруг про разбой? Попритчилось. Он медленно успокаивался, уже со стыдом вспоминая, как дуром схватился за саблю. «Одичаешь!» — оправдывал себя. Тянулись возы с сеном. Обгоняя, скакали верховые. Уже лужи расползались вширь, у коней заметно потемнели спины, уже с тревогою думалось о том, как все же доехать до места? Близился Юрьев.

К вечеру вовсе раскисло, и ночь не обещала мороза. Федор запряг в потемнях. Сосульки опадали с крыш. Сани на выезде проволочились уже по земле. «Добраться бы до Владимира!» — гадал Федор, с трудом подымаясь на гору. Застоявшаяся зима разом рушилась, и семьдесят верст до Владимира превратились в му́ку. Его уговаривали задержаться во Владимире, Клязьма уже вскрывалась, но Федора словно бес гнал.

— Эгей! Переславьской, пропадешь! — кричали с берега, когда он отчаянно перебирался через лед. Искупав лошадей и сани, Федор все же выбрался на ту сторону, и тотчас, с гулом, за его спиной тронулся лед. Через Судогду опять перебирался по ледяным заторам. Подрагивало и трещало, сердитая вода шла верхом. Разноголосо звенели ручьи, снег оседал на глазах. В промокшей сряде, на измочаленных, взъерошенных конях, в очередную чуть не утонув, Федор упрямо пробирался все дальше. Дышать не надышаться! Ведь он молодой, ведь он все может, ведь жизнь еще впереди! Остервенело кричали галки, в небе тянулись птичьи стада. Волк, тоже поджарый, вышел и, поводя боками, уставился на шального ездока. Федор и ему улыбнулся: ишь, горюн, зиму пережил, теперь оклемаешься!

Он таки добрался до села. Засиверило и чуток скрепило пути. Федор последним пробился в село, уж и не ждали. В ночь рухнул лед, и село оказалось на острове.

Потоки воды подмывали изгороди и стога сена. Федор трясся под шубами, прогреваясь, парился в бане, отходил. Отходили и кони после тяжкого пути. А кругом звенело и пело, птичий грай и гомон стоял над деревней, ручьи лопались с треском, выбрасывая на огороды ледяные вороха. Шла весна.

Никогда бы не подумал Федор, что, сидя на кормлении, ему придется работать руками больше, чем дома. Началось с починки вдовьих хоромин, которую Федор, затеяв, упрямо решил довести до конца. Чтобы перед самым севом сдвинуть мужиков с места, ему самому пришлось взяться за топор и работать, не щадя сил, от темна до темна. Дело шло. Подрубили три клети, сложили начерно избу, поправили тем же часом боярский великий двор. Тут Федор не выкладывался уже; распоряжался сам волостель и староста, а мужики вышли дружно. Хоть, конечно, ежели каждого спросить, кому — вдовам или отсутствующему боярину — нужнее помочь, не задумываясь сказал бы: вдовам, и все-таки на боярскую работу вышли все. Опять оказывалось, что Грикша прав. Решали не нужда, не богатство даже, а власть, сила. Боярин воротится, станет на крыльцо, вызовет волостеля и будет править суд, казнить и миловать, и забудут мужики, что где-то есть еще великий князь Дмитрий и прочие власти.

По тому, как чинили хоромы, он думал было, что и на пашню боярскую, что должны были подымать «взгоном», пойдут так же дружно. Не тут-то было! Федо́р понял позднее, что хлеб этот, что пойдет Окинфу и князю Дмитрию, их не интересовал, не нужен он был и волостелю. Того даже и похвалят, что не порадел наезжим кормленикам. Лишь крайним напряжением сил (тут помогло и то, что Федор починял усадьбы вдовам, да к тому же и сам пахал, и опять от темна до темна) удалось поднять и засеять господскую пашню без больших огрехов. Чтоб не пришлось самому и косить, Федор, по совету старосты, роздал боярские покосы исполу: ставишь два стога — один бери себе.

Федор узнал, что очищенные им о Рождестве волостелевы хлева снова наполнились, и, проследив, обнаружил, что скот отдавали волостелю сами мужики, причем кто победнее — в первую очередь. Так что княжеские дани и кормы, круто взысканные Федором с волостеля, потихоньку оказались переложены на плечи беднейших крестьян. Выходило то же, как ежели бы он брал сразу крестьянское. Однако отношение к Федору не изменилось. Верно, что было тут две правды: одна — правда по совести, а другая — не спорить с тою властью, что будет тут и потом. Один так и сказал ему:

— Ты побыл — и нет тебя, а мне с им всюю жисть жить!

И Федор отступился, пригрозив, однако, волостелю, что покос и жнитво на его совести.

Феня приехала с попутными. Издали не узнал; замотанная в какой-то долгий балахон, не то попону, она сидела на телеге со свертком в руках.

— Женка твоя! — прокричали из-за плетня. Бегом, бросив недолатанную сбрую, Федор выскочил встречь. Любопытные бабы уже вылазили из-за огорож. Скорее проводить до дому! Феня замучилась, пересмягла в дорогах, да еще дите! Пропотела насквозь и уж такая невидная, такая мухортая показалась... Однако после бани, сытного обеда (Федору уступили отдельную клеть, но трапезовал он, по холостому положению, до сих пор у хозяев), переоболокшись в чистое, Феня стала приходить в себя. Гуси, о которых когда-то в шутку толковали мужики, теперь неожиданно оказались при деле. Гуси ходили через дорогу к речке, важно, друг за другом, доднесь не тревожимые Фе-

дором. А тут и на столе оказался гусь. Это была первая Фенина стряпня, а он уж не стал спрашивать, откуда. Мелкие подношения, что Федор до сих пор отвергал, теперь пошли в ход. Они стали лучше есть. Феня бегала и не ленилась, как порою дома, собирала сама яйца, мед, молоко. «Где и научилась?» — дивился Федор, вваливаясь вечером и обнаруживая на столе новые благостыни.

Подошли Петровки, а с ними и петровский корм, что полагался Федору по закону. Он собирал строго по пошлине и видел, что через Феню ему добавляют лишку, но молчал. В конце концов, не давали бы, и Феня не брала. Не обеднеют! («С того все и начинается!» — сердито прервал он себя.)

Впрочем, староста его успокоил:

— Ты, Федор, тем не журись. Иной бы на твоем месте тут с зубов кожу драл, не свои дак! Мы-то очень понимаем, а кормить тебя нам не в труд. Да иной бы и спервоначалу всю семью навез, а ты один вон! Кормить-то одного али десять ртов тоже разница! Так что и женку не унимай, она во своем праве. Ежель и на тот год тебя оставят, хлеб да соль!

После разговора совесть у Федора более или менее успокоилась, хоть он и поварчивал порою. Феня, однако, возражала:

— Дак сами дают! Зиму не была, не пила, не ела, дак ихнего не убудет! — в точности повторяя слова старосты. «В сговоре они, что ль?» — думал Федор. А когда он вздумал было вернуть приведенную ярку, Феня едва не разревелась:

— Нам надоть дом строить! С дитем куды я тамо... С матерью пихаться... и Грикша, все вместях!

И Федор смолчал в ответ. Строиться и он хотел непременно и даже мечтал не о простой клети, а о хоромах, на вид боярского житья.

Оправдывая себя, он въелся в покос, как давеча в весеннюю страду. Между делом еще пришлось наряжать четверых возчиков во Владимир, по раскладке, на починку городни. Еще починяли плотину у мельничного пруда, еще рубили новый овин с пелетью при господской усадьбе. Федор объезжал все тридцать деревень, зачастую и обедал в ином месте, и дома только спал, улаживал простые судные дела, даже и крестным отцом пришлось побывать.

Оставят ли его еще на год — на то Окинф, наез-

жая, не говорил ни да ни нет. Федор ладился осенью вырваться на побывку, дома ради. Пото, когда поспел хлеб, устроил так, что начали с боярской нивы. И когда уже хлеб был сжат и стоял в бабках, разрешил себе отдых, остальное переложив на старосту (сгноить сжатый хлеб тому тоже было невыгодно, могли заставить отдать из крестьянского). И Федор помчался домой.

Вновь струилась и бежала дорога, вновь груженые возы тарахтели по разъезженным колеям. Спрямляя, он миновал Владимир. Всюду убирали хлеб, где и кончали уже. В одном месте ехали с поля с последним снопом и женки пели — славили, «завивали бороду». Так же вот и они в детстве — почему-то потом все складывалось не так, не по-праздничному,— тоже везли с поля последний сноп и их славили, а Олена высоким голосом заводила:

Уж мы вьем, вьем бороду
Да у Михалка на поли,
Завиваем бороду
На ниве великой
Да на полосе широкой!
Уж мы вьем, вьем бороду
Да у Веры на поли,
Завиваем бороду
Да на ниве великой,
Да на полосе широкой...

И они нагружали сноп, а раскрасневшаяся, горячая от работы, солнца и хлеба мать, улыбаясь, укладывала и сажала его на самый верх, и даже отец тогда раздвигал угрюмые литые складки лица, кивал бабам, благодаря за песню...

Сейчас, до дождей, была самая пора рубить дом, ежели уж не отлагать до другого лета. Лес Федор купил заранее, и Грикша даже вывез его перед весной.

ГЛАВА 74

Как строят дом? Дом, клеть, избу ли, хоромы или иное что, ежели это только не редкое на Руси каменное строение, не строят, а рубят. «Срубить град» значит обвести его бревенчатой, по земляному насыпу городьбой.

Чтобы срубить дом, мужики обычно собирают толóку (помочь) — родных своих, огнищан, суседей,

сябров. Хозяева достают лес, кормят мастеров. Платы за труд не полагается. Завтра сегодняшний хозяин пойдет на толоку к соседу, послезавтра они оба помогут рубить дом третьему. Каждый знает, что одному добрую клеть, избу ли не срубить, не одюжить, и потому дело это обчее, и платы за труд не берут. Так ставят рядовое жило.

Боярам, монастырю ли, князю — возят лес и рубят по оброку, по обычаю, по старым уряженьям, что вышли из глуби времен. Миром ставят и церковное строение, и городские, с кострами и заборолами, прясла стен. Прясло, кусок стены от костра до костра (от башни до башни), рубится как ряд клетей с поперечными перерубами и изнутри засыпается землей. Но тут уже нужен и мастер, градоделя. Мастер нужен и тому, кто хочет возвести себе не простое жило, а сложные, составленные из нескольких клетей, связанные переходами хоромы. Тут уж зовут мастеров.

Доброго плотника тоже не вдруг найти. Скольких переберут прежде: «Петро? Ну, Петро может, дак тоже не силен горазд! Сыча надо звать». От Сыча укажут набольшего: Федюху или Проху Дрозда, а там уж отыщется самый главный. Тот будет скрести в бороде, думать. «А Федька-то! — говорит он про того, что был набольшим для Сыча, покряхтит: — Ну, он может, малешенько топор держит в руках... И Сенька, его позови! А преже Прова Кузьмича, без того не нать и заводиться!»

Хорошие дома зато потом и вспоминают, и через десятки лет назовут имя мастера, кто срубил, кто поставил.

Когда зовут мастеров, тут и плата идет по обычаю али по совету. Мастер знает рубить хитрые потайные углы, поставит крыльцо на стояке в боярских хоромах, выведет гульбище на выпусках по верхнему покою, подымет верх над повалушею, чтобы знатье было далеко окрест, поставит вырезные сени, шатер с повалами, терем и горницы. И когда мастер кончит работу, то идет по коню, по коньковому верхнему бревну, над громадой новотесаных хором, на высоте, еще не закрытой кровлею, над провалом. Идет, цепко ставя кривоватые ноги, и снизу смотрят, разевая рты, задирая бороды,— мастер окончил труд! По обычаю ему, главному мастеру, сверх расчета дарят на красную рубаху, и всех вообще, кто рубил, поят пивом и

медом от души. Поят в третий и последний раз. Первый — как положат нижние венцы, второй — когда доведут до потеряй-угла. И уже когда положат коня — тут все. Кровлю кроют сами хозяева или уж другие кто — мастер свое окончил, прошел по коню.

А кроют соломой по спицам, а богаче да в городе — драныо и корой, когда и тесом или чешуею. Ну, а коли совсем просто или где в северной стороне, низкую кровлю устилают дерном в три-четыре слоя, чтоб прочно, чтоб срослось, чтоб вода сбегала, как по травяному склону.

Так вот! Ну, что тут еще сказать, как рубят-то? А то уж кто рубит — знает, обычное дело, мастера! Топором рубят, все делают топором. И на доски топором да клином, коли такая нужда. Из бревна доска да два горбыля выходит. Тут потешешь до соленого поту!

А так-то еще по зиме лес метят, отбирают, иной лес мяндач, молодой, мягкой али с пиндой, серая такая, тот быстро сгниет. Лес нужен боровой, а на нижний венец дак и того пуще, осмол клади! Потом свалят, обрубят, ошкурят да выволокут. Иногды там, в лесе, и сложат начерно, без дверей без окон. Подгонят венцы, переметят тем же топором, прорубят пазы, углы в обло. По углу сразу видать, хорош ли мастер. У иного угол что чаша, а у другого кое-как, на мох вся надежа (на то и пословица: «Не клин да не мох, так и плотник сдох»).

Ну, а вывозить бревна надо по снегу. На дровнях, на санках с подсанками. Кака дорога, какой конь, какое бревно! Иное клади одно, бревно выволокешь — и все. Ну и два, и три. А у Митрохи был конь, Чубарый, дак ён пять дерёв брал. Вота конь! А по чащобе, волокушей, и одно-то забедно тянуть. Еще как близко, две-то ездки навряд, клади одну, коли не в лесу живешь. Одну за день, да. А коли венцов, ну, двадцать... Уж хоть избу, хоть клеть рубят повыше. В избе чтоб хозяйке разогнуться под дымом-то, да и скотина в дыму не устоит, так повыше надоть, двадцать, а то и двадцать пять венцов, на четыре стены сотню дерев клади, да на переводины, на кровлю, да на самцы... Словом, полтораста дерев. А клеть, ту тоже кладешь в два житья: внизу — там хлеб, сусеки, вверху — спать чтоб. Дак тоже дерев полтораста, не мене. Ну уж, а коли попросторней, дак и триста, и четыреста дерев.— Дак триста ездок?! — Дак то и смекай сам! Какой

конь, как далече,— по тому смотря. Одним конем в зиму и то навряд навозишь, а тут еще ить дровы, сено, извоз... С одним конем делать неча. Тут без дружины да без полудюжины коней хошь и не берись!.. Ну, а там, когда рубят, подмости делают, ходют, как по полу. Лес кладут так: одно бревно с комля, другое с вершины, внахлест. Да и глядишь по дереву, ежель паз понизу вырубать. (Старики еще сверху рубили, дак то быстро гниет, а мы-то так, с оборотом.) Залапки сделашь. Потом крюком воротишь его. Прорубишь паз. Потом заструги, шею. Потом опять на тот бок воротишь. Черта ета, ею процарапывашь... После уж, как уложил сразу тут на мох, уж боле его воротить не нать. Ну, хороши мастеры за день венец срубят вдвоем, а коли пяти- али там шестистенок, вчетвером надо. Да уж четверых-то нать всяко! Бревна поворочаешь! Наверх-то заволакивать! Иное смолевое бревно и четверым только-только! Хозяин уж мастерам баранов режет либо нетель там, бычка. Без мяса тут неча делать у етого дела, у хоромного строенья.

Какую хибарку там, клетушку, али заимку в бору охотничью, или там какой задворенке бобыльскую избенку можно и одному складь, была бы сила. Ну, тут уж трехсаженного бревна не бери, дай бог полторы сажени, келейку махоньку. То можно и одному срубить. Это редкой мужик одюжит бревно в одиночку. Есь таки медведи, как не быть! Есь всякого чуда на Руси! Да и с вагой, да не торопясь, доброму-то мастеру можно складти. Но без подручного все одно тяжело. Женку запрячь да кобылу... Бабе тоже, не ейная, значит, работа. Бабе живот надорвать, дак детей не видать опосле, ето тоже не дело... Да, так вот, ежели со знающим-понимающим поговорить, не простое ето дело — срубить дом!

Ну, а когда строят дом? Когда нужен?! Не скажи! И нужен, да невмочь. Да и когда нужен дом? Дом ить не запряжешь, не увезешь. Дом — когда семья, земля. Когда своя земля, когда своя семья и уж знаешь, веришь, что своя и навек.

Строить дом — значит, верить, что женка будет с тобой, что в дом не придут враги, что не отберут землю, не сведут коня, не зарежут корову и не выгребут хлеб. Что князь и боярин княжев защитят, дадут правый суд и не утеснят налогом так, что захочешь все бросить и подаваться куда ни то на вольные

земли, на Север, за Волгу, на Двину али просто в иное княжество.

Строить дом — значит, верить. Когда нет этой веры, ютятся кое-как, набиваются во временные хибары, бросив гнилой соломы, какие тряпки, что шевелятся от вшей, али в господское временное, на время данное жилье, когда у самого ни кола ни двора, а только руки да меч. Так в молодечной живет молодший дружинник до часу, до времени, когда появляется знатьё, что есть земля и можно осесть и завести бабу, не на ночь, а свою, постоянную, и пискунов, что будут тягать потом отца за бороду да требовать каши и щей. И что такое власть, в чем и для чего она есть, как не затем, чтобы у человека, у простого смерда, купца, дружинника, чтобы был у него дом и чтобы дом тот стоял прочен и безопасен от лихих людей, от воров, а порою и от жадного боярина — кормленика...

Конечно, сказать, какие дома там у самояди да лопи дикой! Или у кочевых половцев. Кибитка на колесах, стадо... А у тех, у звероядцев, чум, да еще из снега слепят, и тоже живут! Живут, да не так! От той жизни и нет ни хором, ни князей, ни храмов, ни пашни нет, ни запасу на год вперед — да и где бы сложить тот запас? Татары хоть и покорили мир, а джут этот придет, гололед по-нашему, и вымирают стада ихние... Все одно не так они живут! Когда-то и завоевать мочно, наши князья меж собой спорят, дак не хитро их было окоротить, а без нас и им не выжить, татарам-то, выход от нас идет? Нет, чтобы обиходить землю, чтобы растить хлеб, нужен и нужен дом. Без дома нет ничего.

И пусть никто не скажет, что много, мол, людей, дак нет жилья, трудно всем обеспечить. Строить легче миром. Когда много людей, много и рук мужицких. Очень трудно, труднее всего — рубить дом одному. Это уже не потому бывает тесно в городи, что много народу, а то места мало, всяк ладит за стеной за градскою уместиться, для всякого ратного случая, да еще постоя не любят городски-то, ну и не залюбишь! Дак того ради тесно живут. И от неуверенности, от боязни, когда не своя земля и непрочен дом — тогда живут тесно, ютятся. Плохой дом, тесное жило — значит, плохая власть, плохой князь, плохие бояра,— все плохо и худо, когда худой дом! Когда у смерда житья нет — и веры нет князю, ничему уже нет веры.

Ибо еще сказать: что такое дом? Ежели дом лишь место, где есть и спать, да хранить утварь, да лопоть, да запас на зиму — это еще не дом! Дом там и жизнь там, где от покойной бабки веретено, и кожух отцов, и зарубка, что сделал покойный брат, уходя на войну (да и не воротился с поля). И детство, и сказки, и домовой, что незримо охраняет очаг. Потому на охлупне дома — крутошеий конь. Потому узорно резанные курицы держат кровлю. Потому в новый дом провожают с хлебом-солью, выживают нечисть (на кошку-горюшку, ей первой достается в жило зайти, потом уж с приговором сами ступят).

Тут пойдут и посидки, и пиры, и свадьбы, тут и зыбка висит, тут долгими вечерами прядут и раздается стук набилок, тут пелось и сказывалось, тут умирают старики на полатях и воют плачеи. Что такое дом? Вся жизнь, труды, радости, воспоминания. Поэтому красота, поэтому на воротах резь, и узорные перила по верхнему гульбищу и клети, и резные столбы, и кованые узорные кольца во дворе — привязывать коней, и узорные сани под навесом. Дом — жило, жизнь. Вот что такое дом!

И все-таки, зная все это и поняв, ты еще не знаешь, что значит сложить, срубить, построить себе дом! Все знать, а вот когда нужно приподнять за конец литое, трехсаженное, двенадцативершковое в обрубе бревно — только приподнять! — и звездочки в потемневших глазах, и что-то как рвется внутри, ибо свыше силы, свыше, а — надо. Конечно, вагами! Добрый мастер дуром не потратит сил. Но где-то, как-то, или подвести веревку, или на сани признынуть,— где-то приходит приподнять сырое, словно литое из красной меди, двенадцативершковое в обрубе, трехсаженное бревно. И тут тогда (и не одно, а каждое из трехсот, и не по разу!) и не веришь, что не порвалось там, внутри, и конь, вытаращив глаза, весь натягивается в постромках, весь — в мускулах, и ржет, и пена падает с губ, и начинает плясать в поводьях, и тогда — кнутом! И тогда сам плечом! И тогда страшный мат с губ, закушенных тоже, как у коня, и — пошло, пошла, пошла, и-и-эх, родимые! А конь дрожит кожей, и поводит боками, и тяжко храпит, и дивно, что выдержал и конь! И мужик делит с конем береженую краюху пахучего ржаного хлеба... А их полтораста, а то и триста! Вот только испытав, и

подняв (какие ни будь силы твои, а подняв!), и каждое перенянчив топором, и взволочив по слегам наверх, и дважды, а то и трижды перевернув, и, наконец, уложив на мох али на паклю, только проделав это с каждым бревном, триста раз, только тогда можно понять, что значит срубить, сложить, сработать или построить дом.

А дальше сказать: потому и есть боярин, князь, город, власть, купцы, монастыри, соборы, рати, царства, налоги, дани — ибо есть дом, срубленный руками смерда. Есть пристанище жизни. Есть якорь и корень, пущенный в землю, и из корня этого растет (а без него не растет и не стоит) все: от даней и кормов до гордых собраний книг, красно украшенных проповедей, красоты и добра и до государственной власти. И самое слово Родина, за которое идут на смерть, начинается здесь, в избе. И дань берут с дома, «с дыма» — с дома, в котором топится печь. Все из этого корня, от дома. Своего. Отцова. Прадеднего. Сработанного своими руками. На своей земле. В своей (и только тогда и своей!) стране, волости, княжестве, государстве.

Федор, приехав домой, увидел, что все было поздно и не вовремя. Лес вывезен, но навален без толку. Да и не диво: без хозяйского глаза и друг путем не сделает. К тому же, как на грех, все ближники были в нетях. Дядя Прохор сильно порезался горбушей и лежал, сыновья были в разгоне, дед Никанор «устарел», как он сам сказал, а сын его — плотник каких мало — подрядился на княжую работу в Переяславль. Так что, хоть осень и стояла сухая на диво, надо бы было отложить на год. Но Федору как шлея под хвост попала:

— Мне к зимы нать уезжать, а там поход придет али еще что, тут все погниет той поры!

— Дак рубить, как у всех, и не дури! — кричал Грикша.— Княжой терем ему нать!

Дед Никанор скреб в затылке:

— Вот бы тебе, Федюха, покойный Гавря Сухой, царство ему небесное, помог! Жаль, не застал ты его. А помнишь, може? Хромал еще? Тот бы тебе и срубил, лучше не нать, а отделывал! Мастер добрый. Пьяница! Ну уж отделает — работа! На Клещине знашь Павшины хоромы? Его работа!

У Фени при слове «терем» глаза — как свечки.

Сын посапывал. Федор походя совал ему палец. Ухватывал уже крепко. Что там ни говорил брат, Федор уперся:

— Терем и поставлю!

Приходилось искать стариков. Через людей указали мастера: Петра с Мелетова.

— А, Пеша! — толковали у Никанора.— Пеша-то, ну, он может...

При имени Пеши улыбались, качали головами.

— Почто Пешей зовут? — спрашивал Федор.

— А не заслужил он, Петром-то, Ивановым чтоб! — отвечала Никанориха.— Был когды-то в силе, почище Прохора, а на руку оказался не чист. Пеша, он Пеша и есть! Гляди только, пить ему не давай, Пеше-то!

У Прохора говорили то же самое.

Наконец Пеша явился. Осмотрел лес, похвалил. Сидели в избе. У него было твердое, в мелких морщинках лицо, руки крепкие — еще в силе мужик. Пеша хлебал уху, сказывал. Сказывать он умел интересно. Как был с покойным Олфером Жеребцом, как не сошелся с Гаврилой Олексичем. Федор припомнил, что во время костромского взятия как-то упоминалось Пешино имя и позже опять, когда наезжал Олфер.

— Было, как же! — охотно отозвался Пеша.— Позвал он меня! Да я решил: и без Олфера проживу! Не надо мне! — Он засмеялся мелким неприятным смешком, зубы поблескивали. Чего-то Пеша не договаривал, темнил, и Федор, слушая его, все думал: в чем и как Пеша его обманет? А что обманет, подведет в чем, было ясно сразу. Но куда денешься? Ударили по рукам. Пеша ушел собирать дружину и пропадал вместо двух дней целых три. Федор с Грикшей пока раздергивали конем бревна. Серый, всполошившись, дернул вбок, вдоль огорожи. Дикая боль в зажатой меж бревен ноге заставила Федора взреветь. Конь спас, стал как вкопанный. Грикша замер столбом, а Феня стремглав вылетела из избы и с неженской силой приздынула бревно. Хромая, сцепив зубы, Федор довозил-таки до конца.

Наконец явился Пеша с дружиной, привел двух стариков: мелетовского «новогородча» и мерянского древоделю, по прозвищу Шадра. Этот был худой, неопрятный, жадный на еду старик, когда-то, видимо, мастер изрядный, да уже вышел из сил и из летов.

Явились и два молодых мужика: узкоглазый, высокий, на диво сильный плотник с Купани, Ватута, и низковатый, широкий в плечах, молчаливый Сашко. Степку, младшего Прохорчонка, Федор пригласил сам. На такой дом, что задумал Федор, было только-только, да и старики, кроме самого Пеши, внушали опасение.

Пеша долго придирался (клетку под один угол Федор сам срубил заново), долго выбирал бревна для нижних венцов, прикидывал, мерил — не накривить бы углы. Дом рубился со связью: изба и клеть с повалушей в одно, на подклете и с верхними галереями. Федор, и верно, затеял себе боярские хоромы. Насмотрелся в Новгороде и иных городах.

Наконец уложили первый венец, и сразу означились размах и мощь постройки. Федор, предупрежденный о Пешиной слабости, угостил пивом скупо. Пообещал: довершим, залью по глаза, а сейчас долго гулять нельзя, некогда. Пеша прихмурился, но перечить не стал. Он только на другой день слишком долго выбирал дерева и придирался к каждому стволу. Ну, хоть начали!

Мать и ворчала, а как уложили первый венец, поджав губы, долго оглядывала, тут только взяла в толк:

— Да ты, Федя, боярский двор затевашь?

Грикша, уже не ругаясь, озабоченно гадал, сколько он сможет помочь,— монастырские дела не ждали,— и все предупреждал:

— Ты гляди за этим Пешей своим, сблодит, опосле не поправишь!

Феня, разрываясь меж стряпней и дитем, успевала еще и помогать в деле. Федор с утра, чуть свет, хромая, уже ворочал бревна. Мужики подымались, брались за ваги и топоры. Жрали, тесно сидя вокруг большой деревянной посудины, дымящееся мясное варево да черную гречневую кашу. Федор — со всеми, чувствуя потные плечи мужиков. Феня сперва хотела кормить его отдельно: хозяин! Отмахнулся. Сам плотничал наравне с прочими. В дымной, заплеванной и загаженной избе было порой не продохнуть, в углу жалобно мычало и блеяло, висел гомон, стариковский кислый дух и запах мужицкого пота шибал в нос, но дом подымался. Клали третий венец.

По вечерам Пеша занимал рассказами. Спорили. Старики вспоминали Александра, Неврюеву рать. Од-

нажды вынырнуло,— верно, давненько думали про это,— прав ли был покойный князь Лександр, что пошел против Андрея? Спорили, метя в нынешнего великого князя Дмитрия. Старики толковали о покойном Андрее Ярославиче. Ватута, развалясь, срыгивал, поддразнивал Пешу:

— А чего! То бы татары нас забрали, одну бы дань и давали, татарам! А так две дани с рыла: и им и своим князьям!

Федор с удивлением слушал Ватуту, ему как-то не приходило такое в голову. Он осторожно возразил:

— Отатарились бы все... Своя земля все же...

— А чего! Церквы бы так и остались! А нас много. Вон в Орде, уже по-мунгальски не гуторют, всё на половецкий лад, хошь и зовутся татары! Дак и тут бы по-русски выучились. Бабы наши их живо бы переучили!

Пеша лез в спор, но Ватута тут же перебивал его.

— Брось, Пеша! Ты с Олфером тута почудил, знаем! Дак все одно кому грабить: тебе али татарскому мурзе какому!

— Я своим трудом живу! — ярился, густо краснея, Пеша.

— Прогнали Андрея Лексаныча, дак и своим! — не уступал Ватута.— А сидел бы Олфер по-прежнему, и ты бы при ем дани собирал! Ты-ка, хозяин, как думашь?

Федор пожал плечами:

— Под татарским царем я бы не хотел жить! — сказал он.

Ватута помедлил:

— Ну, там оно... глядишь... татар-то бы мы как ни то и выгнали.

— Ну и опять князь надобен! Безо власти вон и дома не складти!

От работы гудели плечи и спина, пальцы плохо гнулись, но дом рос, и ночью, выходя по нужде, Федор останавливался и смотрел. Луна плыла, и белые облака холодною снежной завесой покрывали небо. Стена в девять венцов уже поднялась выше роста, слепая, безоконная, и отчужденно, как крепость, перегораживала двор.

Теперь уже бревна здымали по слегам, веревками, и требовались подмости мастерам. Скоро Федор понял нехитрую Пешину уловку. Он, рядясь с мужиками, их

обманул, положив себе и двум старикам больше, чем Ватуте с Сашком, а работу сваливал на них. Ватута, Сашок и Степка Прохорчонок в конце концов возмутились. Масла в огонь плеснула Феня:

— Рядились со свету до свету, зачем было и говорить! А свету еще вона сколь, уже и топоры долой!

Пеша потемнел лицом, как осенняя ночь. «Вот такой он с Олфером тут и жег!» — подумал Федор. Он попытался как-то поправить дело, замять, но вечером мужики переругались вконец. Федор наедине стал корить Феню, но она, вытягивая шею, раскричалась:

— Я тута рвусь, а ты, хозяин, пристрожить не можешь! Дал Пеше потачку! А им все мало! Каку говядину давать, замучалась! Етот старик ихний только и жрет, зачем такого!

— Товарищ, подкормить решили...

— Дак за твой счет!

Что верно, то верно. Старик Шадра совсем не тянул и был попросту лишним ртом. Федор шумно вздохнул.

— Матушка заболела от их! — добавила Феня. (Мать, верно, простыла и теперь отлеживалась у брата, в Переяславле.) — Всё меня бранила, а я теперь стала считать кажный кусок. Хватит! Дитя растет!

И все-таки дом подымался. Уже клали переводины для потолков. Как на беду, подкатил мелетовский престол. Пеша, выпросив часть уряженной платы, со вторым стариком ушли, как сказали, «только в бане выпариться» и пропадали целую неделю. Пеша запил, и Федор крыл себя последними словами за то, что не приодержался с платою. Все ж дело свое Пеша знал. Ни Ватута, ни Сашко не могли за него сработать. Подошла как раз сложная рубка, и без Пеши все застряло. А с неба начало моросить, и уже похолодало. Вот-вот польют сплошные, осенние дожди. Наконец Пеша появился, помятый, с трясущимися руками. Заявил было, что в этот день ему надо «поправиться», но тут уже Федор озверел, и вместо опохмелки Пеша весь день кряхтел над бревнами. Распоряжался и покрикивал Ватута. Сложили еще один венец. Теперь нужно было рубить пазы под выпуски для гульбища, класть простенки меж косящатыми окнами, связывать, врубать хитрые углы. Пеша вилял, явно затягивая работу. Жаловался на годы. Засиверило, и уже грозно

обозначилось, что дом, не законченный к зиме, будет стоять раскрытым. Феня ругалась. Федор наконец решился. Отозвав Ватуту, поговорил с ним, обещав платить вперед то же, что и старикам мастерам, только чтобы кончить в срок. Пешина хитрость с расчетом тут и обернулась против него. Ватута на другой день стал на низ цеплять бревна и принялся подавать без передыху, то и дело покрикивая:

— Давай, давай!

В этот день он загнал стариков до полусмерти. Старики только жалобно кряхтели наверху. Ватута был беспощаден:

— А чего! Одна дружина, дак! Жрать-то не разучились!

— Доживи до наших летов!

— А я ране голову сложу, чего такому-то небо коптить! Эй, Сашок, твой конец!

В этот день уложили два венца.

Разъяснило. В воздухе после нескольких дней непрестанного мелкого дождя полетели первые белые мухи.

А дом рос. Подходил уже к двадцати восьмому венцу.

Охолодало. Пеша со стариками ночевали в избе на полатях. Прочие — в старой клети. Заливистый храп, ворчание сонных мужиков. Тело свербило от грязи, от сырой, плохо просушенной одежи. Руки отваливались от плеч. Феня пробралась под бок:

— Ох, не побыть, не полежать путем, изба народу полна!

— Не мылись, грязный я...— стыдясь, пробормотал Федор.

— Да хоть такой! — выдохнула она.— Что ж, Федюша, сколь еще работы-то?

— Кончим. Должны!

— Давеча слышала, Пеша с ентим сговаривались уходить... На днях когда-то...

— Скотина! — выругался Федор.— Знал, что чего ни то сблодит!

Верно, теперь, когда за дело взялся Ватута, Пеше уже одно оставалось. Доведя до потеряй-угла, он потребовал расчет. Федор (ему стало противно и все равно) не удерживал. Еще поругались на прощанье. Пеша требовал все уряженное, говоря, что о самцах и стропилах речи не было, однако Федор уперся, и Пеша, поняв,

что зарвался, отступил. Назавтра трое стариков ушли. Стал собираться и молчаливый Сашко, впервые раскрывши рот.

— А что мы? Без мастера самцов не поставим все одно!

Сашко ушел, и Ватута, помявшись, тоже. Пошел снег, и вдобавок запил Степка Прохорчонок. Грикши давно уже не было, уехал по делам. Федор сказал:

— Ну что ж! Будем класть вдвоем.

Ночью Феня плакала:

— Я тоже не могу больше с твоими бревнами. Живот отрывается. Даве кабан чуть ребенка не сожрал!

Федор молчал. Отмолвил глухо:

— Хоть бревно в день, а положить!

Три дня они возились одни. Молча пришел хромающий дядя Прохор с Офоней, вторым соседом. Помогли поднять тяжелые дерева, вырубили косые пазы и с помощью рогатки подняли и утвердили стропила.

Подходил их, деревенский, княжевский престол, и на толоку в праздники нечего было надеяться. Федор один отесывал самцовые бревна, проходил пазы, долбил отверстия для шипов.

На второй день престольной гульбы он пошел к Никанору. К деду как раз приехал сын-плотник, зятевья, гостей набралась полнехонька изба. С праздника все были горячие, вполпьяна. Его усадили, захлопали по плечам, влили ему в рот чашку пива:

— Ну, взвеселись, Федюха!

Федор, выпив, вдруг заплакал:

— Не кончу, огною дом, мужики!

— А что? А то! Пешу не знаешь! Давай! Подмогнем! А ну!

Всей дружиной повалили к Федору. Дед Никанор полез первый.

— Эх, где годы от юности моея! — завопил он, сдвинув шапку на ухо.

— Ну, где твои подстропилья, давай! Цепляй, ну! Самцы? Самцы давай! Лоб складем и подстропилья кинем!

Федор скатился опрометью налажать дерева. Феня, без платка, выбежала во двор, завертелась, кинулась в клеть доставать угощение. Федор цеплял, не чуя веса намокших бревен.

— Наладил?! Давай! Идет, идет, идет!

Скользкие бревна грозно колебались на слегах. Наверху приговаривали:

— Есть! Наше! Наше, мужики! Охолонь!

Неподъемное бревно село на шипы. Пристукнули. Обуха отлетали.

— Сидит! Второе давай!

Четвертое не то пятое, заскользив, съехало, вырвавшись из рук, но ударилось, к счастью, о переводину. Пятеро мужиков полетели кубарем.

— Живы?!

— Ничо! Однова задело малость!

Но и тот не ушел.

Уже озлились в работе:

— Даешь! Давай, давай! Эх, го-го-го-го-го! Ээ-э-х! Наше! Наше, мужики! Охолонь! Так, легче! Третье подстропилье давай!

Дед Никанор орал, орали, вцепляясь с веселой яростью в очередное бревно, мужики.

— Коня давай!

Коня положили как-то неожиданно легко. Никанор порывался пройти по коню, его держали за руки. Потом все гуртом сошли в избу. Феня металась, подавая на стол. Никанор, пьяно покачиваясь, подымал на руки малыша:

— В тереме жить будет!

Федор волочил корчагу береженого меда. Пили, пели, Федор обнимался с мужиками, целовал всех подряд, его трескали по спине:

— Ну, видал? А ты реветь! С нами не пропадешь!

Он пустился по избе плясом.

Потом под руки вели домой совсем упившегося старика.

Утром Федор с тяжелой головой выполз во двор. Густой снег, выпавший за ночь, лежал на бревнах. Феня уже стояла наверху, обметала веником. Федор, опохмелясь, полез на дом.

Бабы приходили смотреть, останавливались, толковали, задирая головы:

— Высокий терем, красивый!

Руки стыли. Федор дул в пальцы. В рукавицах какая работа! В полдни он забежал к Никанору, проведать старика. Дед лежал, уходясь со вчерашнего. Никанориха парила ему ноги и ругмя ругала и его и Федора. Он поскорее утёк. И все-таки дом рос и был уже почти что готов!

Прохор, поднявшийся наконец, помог вытесать недостающие стойки и укосины, поправил стесы самцов. Как раз отпустило, снег стаял и повеяло коротким теплом. Дед Никанор, оклемавшись, помог уровнять и подогнать курицы. Воротился Прохорчонок. Так же вдвоем стали крыть кровлю заготовленной с лета крупной дранью. На счастье, подоспели еще двое мужиков, так что и с кровлей справились. Осталось поднять охлупень. Федор съездил в Купань за Ватутой, не отпуская от себя, привез домой. Вечером пили, ночью Ватута лазал пьяный по клети, блевал и не давал никому спать. Утром опохмелялись, скликали народ и соборно начали здымать охлупень. Упрямое бревно медленно, со скрипом оторвалось от земли. Слеги прогибались и дрожали. Бревно, под крики мужиков, лезло вверх и наконец село на свое место. Все.

Даже радости не было. Сидя верхом на кровле, Федор озирал в обе стороны пугающую, уходящую вниз крутизну. Серое небо. Ветер. Кровля. Далеко — озеро. Все видать! И гулом в жилах, в крови отступающая усталость и начинающее приливать счастье. Все не верил. Не верил ведь! До последнего! Уже и дня лишнего нельзя было больше оставаться в дому. Свершил. Вот!

Вечером пили с Ватутой и Степкой, ночь не спали, дурили, орали песни. Мать (недавно воротилась домой), не ругая, подавала на стол. Утром собирала в дорогу.

Еще работы было по уши. Еще доделывать — не переделать. Зашивать гульбище, стелить полы, ставить двери и окна с рыбьим пузырем, еще тесать стены, еще... еще... еще... Еще узорить и украшать. Потому что красота, она — к труду. Ежели бы легко строилось, не было бы и красоты. Красота: резные балясины, опушки, узорные столбы — это щедрость мастера, утеха, игра после тяжкого труда. Последний мазок, печать мастерства, тамга на товаре, мол — и так хорошо, а я эвон еще как могу!

Но все это потом, после. Это уже и самому не в труд, и даже в удовольствие сделать.

Пьяный Степка провожал его до Маурина. Федор, нахлестывая коня, все оглядывался назад: дом стоял готовый, свершенный. Кровля подымалась выше всех княжевецких кровель, выше дерев, и далеко еще виднелась, и все не пропадала из глаз. Его дом. Его место, его корень на этой земле!

ГЛАВА 75

Федор не зря торопился возвести свои хоромы. Второго году досидеть на кормлении ему уже не удалось. Князь Митрий, в который раз снова мирясь с братом, возвращал отобранные села Андрею и боярам его.

Волостель, пересидевший-таки Федора, мог радоваться. С возвращением господина он снова становился хозяином волостки, и уж верно,— думал Федор, покидая Олферово село,— теперь мужикам, державшим руку Федора, придется расплачиваться. Эх! Не зря прошали его: надолго ли князь забрал деревни себе!

Родной очаг показался нынче особенно убогим. Мать болела и ругала Феню. Феня, несчастная от постоянной грызни, срывала сердце на Федоре. Он, глядя на нее, думал: «Почто красивые достаются важным господам, а ему такая вот?» (И был не прав, и сам знал, что не прав.) Сын бессмысленно таращил глаза. От него вечно несло кислым духом, тряпки, в которые заворачивали малыша, чаще просушивали, а не полоскали... Отделка дома шла медленно, и они все еще не перебрались в новое жило. Чтобы выбраться из полунищеты, постоянных нехваток того и другого, следовало, уж коли не бросать земли, добывать холопа. Хозяйство с постоянными отлучками шло кое-как. Грикша почти не помогал, и винить его тоже нельзя было.

На зиму опять стали собирать рати. Великий князь опалился на Михайлу Тверского. Толковали, что Тверь не хочет платить ордынского выхода, но в это уже както не верилось: с кем ни начинали воевать, все ссылались на ордынский выход! Что-то было еще промеж князей, промеж великого князя Дмитрия и Тверью.

Полки от Переяславля спускались дорогою вдоль Волжской Нерли на Кснятин. Опять стояли — дожидались городецких, ростовских и московских ратей. Кснятин брали приступом. Федору внове было лезть на скользкий от льда и облитого водой, заледенелого снега вал. Лезть под зловещий посвист стрел, что летели с заборол. Он все же долез (рядом убили мужика, и он видел, как ставшее мягким тело спадает, съезжает вниз по склону). Под стеною, укрывшись от стрел, Федор отстоялся, сжимая клинок, не понимая, что делать дальше. Впрочем, уже волокли лестницы. От ворот доносились гулкие удары, там стеноломом выбивали створы. Лестницу долго и бестолково ставили, крича и ру-

гаясь. Стреляли с той и другой стороны, раненые отползали назад. Наконец поставили, и какой-то черный, малорослый, широкий, точно клещ, ратник, быстро побежал вверх по качающимся ступенькам. Скоро вся лестница шевелилась, потрескивая, облепленная мужиками. В это время у ворот поднялся крик, видимо, вломились. И Федор, прикрываясь щитом, побежал вдоль городни туда. Город был взят. Где-то в улицах еще продолжали биться, но здесь уже начинали грабить. Федор, растеряв своих, шел, озираясь, вдоль теремов и клетей. Там и тут что-то трещало, с отчаянным кудахтаньем летела через тын черная курица, слышались визг и вой. Какие-то бабы бежали, спотыкаясь, по улице, ратник гнал их, угрожая копьем. Четверо переяславцев крушили ворота богатого терема. У церковных врат стоял, без шапки, священник и, подымая крест, раздирая рот, кричал, отпихивая ратных, что рвались внутрь церкви. Священника дергали за ризу, он цеплялся, замахиваясь крестом, глядя ошалевшими, в кровавой паутине глазами, брызги слюны летели изо рта. Федор уже хотел вмешаться, но кто-то крикнул: «Сюда, братва!» — и ратники кинулись, оставя священника и церковь. По улице шагом ехал боярин в шишаке и броне под распахнутой шубой, сжимая саблю в опущенной руке. С клинка медленно капала кровь. Над ближними кровлями уже подымался дым пожара.

В торговых рядах, пролезши среди осатанелых мужиков, Федор добрался до лабазов и, отпихнув каких-то перепуганных, вынес постав дорогого сукна. Постав был тяжелый, и Федор, стыдясь самого себя, шел, покачиваясь, закинув щит за спину, с ношею на плече. Сабля путалась в ногах, мешала ступать. Гнали полон, и он старался не смотреть на жалкие лица мужиков, баб с ребятишками, старух, что мелко трусили впереди охраны.

С трудом выбравшись из города, он наконец нашел своих. Ратники ополонились все, и все, хвастаясь приобретеньем, глядели косо, мимо глаз.

— А я знашь кого встретил! Шурыгу! Наш, купаньской! Гляжу — андел божий! Говорю: бяжи! Он мне в ноги, спаси, мол...

— Тута много наших, кто подался. И переславськи есь!

— Ничо, нас также костромичи зорили...

— С городецкими счас заодно, а тоже и они!..

Ночью багровые отсветы полыхали над городом. Птицы, чьи гнезда сгорали вместе с жильем, вились в воздухе, падали в огонь.

Соединенные рати четырех князей — великого князя Дмитрия, Андрея Городецкого, Дмитрия Борисовича Ростовского и Данилы Московского — от Кснятина подступили к Кашину и стали зорить округу. Князья торопились друг перед другом набрать полону, подкормить ратников. Тверская рать меж тем выступила на помочь кашинцам и, сказывали, потеснила москвичей. На девятый день стали пересылаться и замирились. Михаил, семнадцатилетний мальчик, сам приезжал в стан к Дмитрию. Тверь уступила, силы были слишком неравны [1].

Дмитрий воротился из-под Кашина усталый. Радости от победы не было, была горечь. Сожженный Кснятин камнем лег на душу. Город запирал устье Нерли, перехватывал переяславскую торговлю. Сжечь надо было. Этого требовали все. Полон,— кто был из своих, переяславских,— Дмитрий поселил в городе и по селам, дав лес на первое обзаведение, а тверских выкупил у него Михаил. Но по большому счету он поступил с Кснятином не как великий, а как удельный князь, отстаивая свои, переяславские интересы. Так, год за годом, изгибало наследие Всеволода Великого — единая Владимирская земля! Дмитрий привел к послушанию братьев, ростовского князя. Нынче подчинил Михайлу Тверского. Однако достигнутое было так обманчиво! Елортай ордынский, Темирев сын, громил Рязань, мордву и Муром. Татарская волна прошла стороной, но могла и дохлестнуть до Владимира. В Орде попрежнему шли нестроения Ногая с Телебугой, и что будет, ежели не удержится Ногай? Земля разваливалась. Мелкие князья отсиживались, как мыши, в своих уделах. Стародубский, дмитровский, юрьевский — старались ни во что не вступаться. Муром, испустошенный вконец, погибал. Суздальский князь злобился на Андрея и тоже выжидал. Чтобы собрать рать на Тверь, ему пришлось нынче опять закрыть глаза на братнины затеи. Дмитрий яростно поморщился. Не приятели? Теперь с Федором Ярославским, Чермным заодно! Федор Чермный вызывал в нем омерзение. Татарский

---

[1] Взятие Кснятина и поход на Кашин были в 1288 г.

прихвостень, выскочка, без чести и совести. Переселился в Орду, при живой жене женился в Орде на татарке. Ну, татары о том не заботны, у них по многу жен, но Федор-то не татарин! Сказывали, еще при батюшке кумился с Зосимой, что принял бесерменскую веру, не сам ли хотел обесермениться? Правильно, три года назад Ксения не пустила его в Ярославль! Затворила городские ворота. С заборол ответили, что князем в городе — его сын Михаил. Весь город встал против Федора! Маша умерла, он и явился... Дмитрий тогда не поддержал его ничем, Федор покрутился, съездил в Смоленск, оставил племянника княжить, а сам воротился в Орду. В Орде у него уже двое сыновей, татарчат. Нынче же, по смерти Ксении, пришлось ярославцам уступить. Вмешался Андрей, опять Андрей! Своей дружиною занял Ярославль, и Федор пожаловал победителем. Дмитрий посылал бояр, хотел взять маленького Михаила до возраста к себе, в Переяславль. Без бабки, при живом отце да ордынке мачехе худо будет ярославскому княжичу! На его посольство ответили ни да ни нет, а нынче объявили, что Михаил умер. С ним кончилась Ярославская ветвь Всеволодичей, потомков Константина Ростовского. Дочек от Маши Федор выпихнул замуж — как кукушонок в чужом гнезде. И теперь сын. Последняя кровь. Умер? Умер ли?! Дмитрию стало горячо, он даже взмок от страшного подозрения. Неужели смог? Своего сына! Хотя? Стоял же он под забороламн отвергнутый три года назад! И ему говорили, что Михаил — законный князь. Запомнил, ребенку... И он, он, великий князь Дмитрий, смотрит, как такие, как Федор, раздергивают страну, жадно, из татарских рук клюют и пачкают кровью землю и честь!

Дмитрий тяжело расхаживал по столовому покою. Холопы, заглядывая и видя гневные, сведенные брови князя, прятались. На улице гомонили ратники. В открытое окошко врывался недальний шум торга. Конь заржал пронзительно под окном. И так же, как и прежде, сидел баскак на ордынском дворе, хоть и другой, Ногаев. Верил ли ему Ногай? Верит ли сам он Ногаю? Верит ли Гавриле Олексичу? Ну, тот, после смерти Олфера, его не предаст. Смерти ли? Или убийства? Сказывали, умер от ран в шатре у Гаврилы. Могли и помочь умереть...

Узорчатые мягкие сапоги скрипели. Только тяжело вздрагивали половицы. Он отяжелел с годами. Еще

больше стал похож на отца. Старые слуги говорили о том в очи и позаочью.

Сенная боярышня зашла — великая княгиня прошала: будет ли обедать с нею или с дружиной? — Дмитрий взглянул, пожал плечами и ничего не отмолвил. Боярышня, оробев, скрылась.

Следовало принять ключника и дворского. Следовало нарядить, кому размещать полон. Следовало послать в Москву и Ростов. Следовало отпустить новгородских бояр (новгородская рать с посадником Андреем тоже подходила к Твери). Сейчас сидят, добиваются, чтобы разрешил им в отплату за помочь свой посадничий совет! Он бросил всех, кого мог, на Тверь. Но семнадцатилетний Михаил и вдова дяди, Ксения Юрьевна, не струсили. Он с невольным уважением подумал о ней: как твердо ведет, как держит удел! Сына вырастила! Михаил или бояре его? Таки себя показали! Рати были расставлены как надо. Еще две-три войны — и с Михаилом будет вовсе не совладать! Понимают ли это новгородцы? Впрочем, с Новгородом и отцу было трудно. Все же он им не разрешит взять и торговый суд, и суд посаднич в свои руки (как они ему не разрешили построить Копорье!). Земля должна быть едина! В этом, и только в этом, спасение ее!

Он все делал так, как надо, и все было не так, получалось не так. Почему под отцом они были покорны?!

Ростовчане тоже хороши! Капризно, по жребию, делили Ростов с Угличем. Разве жеребьем решается власть? Она от предания, обычая, заветов. Как хочет земля! Ну и досталось: Константину Ростов, а Дмитрию, старшему, Углич. Дмитрий Борисович ныне вновь воротился в Ростов — и в Угличе не усидел, и распустил ростовчан. Татар назвал. Татар ограбили и выгнали вечем. Теперь Орда в гневе, и Дмитрия Борисовича с Константином зовут туда. Ежели бы не споры в Орде — дождались похода! А то с землей, как хотят, словно порты и рухлядь делят, а после на брюхе к татарам. Ежели люди не уважают своего князя, какой ты князь! У него, в Переяславле, татары не грабят горожан и свои не бунтуют.

Но почему, почему ничего не выходит, не ладится толком?! У Андрея, сказывали, опасно больна жена. К хорошу или худу — он уже перестал понимать. Болеет княгиня, братня жена, вроде должно быть к худу, почему же думается, что к хорошему? Давыд Явидович,

старый лис, поотстанет от Андрея... Или станет еще хуже? А умрет она, и брат женится в Орде, как Федор Ярославский?! И сделает!

Дмитрий зло задышал, отшвырнул сапогом тяжелое резное кресло, зашиб ногу и еще больше взъярился. Дорогой зипун лиловой цареградской камки чуть не треснул от бешеного движения руки, золоченая, сканой работы, украшенная яхонтом пуговица, отскочив, со звоном покатилась по полу. На шум вбежал слуга, углядев, кинулся за пуговицей, поймал, поднял кресло, исчез.

Дмитрий подошел к отодвинутому окошку. Влажный, уже весенний дух, струящаяся волна холодного воздуха остудила лицо.

Где-то сейчас, в заснеженной степи, кони копытами выбивают корм. Где-то там, за лесами, горят деревни, татары пустошат Рязань. Волынские и галицкие князья ходят в походы на Литву, по воле татарской. Поход на ляхов, однако, был неудачен, и опять не понять, надо ли радоваться или сожалеть ослаблению Ногая? Он не хотел верить, что Ногай тайно принял бесерменскую веру. Но говорили о том упорно. Что, ежели так и Ногай отворотится от Руси? Слабеющая Византия кумилась и заигрывала с Ордой. Митрополит Максим недаром сперва отправился к Ногаю, а уже спустя год — к нему!

Паутинной дрожью отдавались на Руси дела и заботы далеких стран. Где-то в Персии начиналась война — и подскакивали цены на торгу, и торопились цареградские, фряжские и ганзейские гости со своими товарами, и начинало не хватать серебра для Орды. Кто-то с кем-то дрался в мунгальских степях, куда и скакать-то многие месяцы,— и Орда становилась сговорчивее, не так давила за горло. Византия сносилась с Римом — в чехах и ляхах тотчас начиналось шевеление и через Волынь доходило до Твери. Тверская великая княгиня шлет посольство в Киев — и надо смотреть, не отзовется ли это в Ногаевой степи? Половцы и аланы заволновались — что будет делать Телебуга, не пойдет ли войной на Ногая? Все, что происходит во владениях Ливонского ордена, и даже в самой немецкой земле, и в земле свеев, и в Дании, и у далеких франков, фрягов, веницейцев,— все тотчас отзывается на торговле Великого Новгорода, а через нее — на нем, Дмитрии, на его успехах или уронах, и опять на проклятой, не-

минучей ордынской дани, на пресловутом ордынском выходе, серебро для коего течет оттуда, с севера и запада, через новгородские ворота Руси!

Данил у себя в Москве уединяется, все что-то строит. Нынче построжел, повзрослел, о делах своих не сказывает. Да и почему он решил, что Данил должен его так уж любить? Как долго не давал он ему воли, держал за наместником, надо ли было так? А как? Как удержать, как не уронить все это шевелящееся, ползущее людское море? Дом отцов становился непрочен. Ветер времени продувал его насквозь. Где взять силы? На Тверь едва хватило, а он ведь поднял всех! Татар было привести? Батюшка на дядю Андрея посылал. В те поры было можно, сейчас нельзя. Да и... Тогда уж прощай гордые замыслы и отсвет древнего величия! Тогда уж кланяйся Орде, стойно Федору Ярославскому. И все расползаются врозь! Временами охватывает отчаянье... Княжич Иван нынче встретил его опять с какими-то харатьями — книжник! В монахи ему идти, а не править землей. Да и сам того хочет. Все же в чем-то перед старшим сыном он виноват...

Дмитрий отошел от окна, уже кожей ощущая, как затягивает его колесо ежедневных обязанностей, как час раздумий словно плотиною перегородил течение дел. Ждут новгородцы, ждет Терентий с Онтоном, ждет ключник с исчислением, чего стоили две недели похода... Ну, хорошо, скажем, когда-то и я умру (сердце порою наливалось тяжестью). Ты, Андрей, возможешь ли поднять и не растерять этот груз? Ведь и ты сын нашего отца, ведь на нас, на нас с тобою возложена судьба земли! Ведь не Даниле же, что ставит мельницы и сам ходит по торгу, по плечу этот груз власти!

Дверь широко распахнулась. Пронизанный солнцем, с васильковыми сияющими глазами, семнадцатилетний сын Александр, Саша, Сашок, ровесник Михайлы Тверского, стоял на пороге. Одна радость и одна надежда. Нет, надо жить — для него, для этих сияющих глаз, грядущей надежды своей!

— Батюшка, тебя ко столу кличут! — звонко, без тени смущения возгласил Александр. Младший сын один не боялся его в такие, как эти, часы. И улыбка, рвущаяся с губ, победная (ну улыбнись, улыбнись же ему и ты!). Тверь все-таки укрощена, Ногай будет сговорчивее, боясь Телебуги. Все еще можно устроить, и жить стоило. Этот пронизанный солнцем отрок

возвращал ему веру и мечты прежних лет. Дмитрий обнял сына за еще неширокие плечи. На миг притянул к себе — почуять свежее дыхание юноши, горячее тело любимого сына.

— Нынче поедешь со мной в Орду!

— Батя, правда?! — Сашок запрыгал как маленький.

ГЛАВА 76

Дома в Княжеве Федора встретил Грикша диковинной новостью:

— Козел вернулся!

Федор сперва не понял.

— Кто?

Потом разом вспомнил детского приятеля:

— Да ну! Где же он?

— Сейчас, кажись, у Никанора, пьют. Обещал зайти, тебя поглядеть. Ты с ним не очень-то, може, от татар послан...

— Да брось, Козел-то! Ну, Козел! А я думал, загинул в степи, да и на поди! Фрося-то не дожила. А все поминала, как умирала, баяли, все жалела... Козел! Дивны дела твоя! — Он даже расхохотался.

Козла Федор сначала даже и не признал. На нем было татарское платье, он вырос, страшно загорел, борода торчала во все стороны, и только по глазам было видать прежнего друга.

Они неловко обнялись, поцеловались. От Козла густо пахло пивом.

— Ну, покажись! Дай погляжу! А, Федюха, Федюха же! Грикшу не признаю! Важный стал, а ты все такой, пес! — Он хлопнул Федора изо всей силы по спине.

— Параська-то где у вас?

— Давно замужем! В Угличе.

— Мужик-то подходящий?

— Да так себе, по торговому делу... Дети? Как не быть!

— А ты со своей...

Федор предостерегающе нахмурился. Феня вошла.

— Вота женка моя!

Козел неловко поздоровался.

— Нет, Федька, Федюха! А ты тоже загордился! Хоромы срубил! Ну, а Прохорчонок? Погиб? А Яша?

— Был в Весках, а куда-то не то подался, не то угнали... Потерял я его.

— Не бережешь друзей!

— Да тут сами-то едва голов не потеряли... Скажи, где был?

— Спроси лучше, где не был! Я и в ясах был, и в Болгарии, и с Ногаем на угров ходил, и за Железные ворота, и в Кафу, и в Синей Орде, и в полоне в мунгальском побывал, у кагана самого! Китайцев, чинов ентих, как тебя сейчас, видел... Меня уже князь к себе вызывал! Иван Митрич! Я ему про китайцев сказывал, как у них царь первый землю пашет, и все такое, и про мунгалов, и про Орду. Он книги знает, как и ты, Грикша! Да ты еще того и не прочел, что он!

Козел задавался чуток после разговора с князем. А Федор слушал, глядел с радостным удивлением и все не мог понять, как это из проныристого востролицего паренька вымахал такой... Уж не Козел, а Козлище, раздавшийся вширь, с этой лезущей во все стороны соломенной, отчаянно выгоревшей бородой, и белыми бровями, и каким-то степным прищуром бесстыжих глаз.

— Ты, поди, сам-то там обесерменился! — подзудил Грикша.— Кумыс научился пить да конину жрать!

Козел вдруг обиделся:

— Вы меня не можете понять! Ты, Грикша, сам, как я, поживи! Я в колодках по степи! Земля как камень. Вота сапоги сыму, пальцев нет, отмерзли! Вота! — У Козла брызнули пьяные слезы.— Домой пришел...

Федор, успокаивая, притиснул друга, обнял, налил ему ячменного пива. Козел, вздрагивая, пил.

— Кумыс! Жрать там нечего, падаль едят! Всякую! Послед у кобылы и тот съедят. В летнее время сварят вот по столь — и все. А проса, того и в Каракоруме не достать, наши пухнут с голоду! У их, знашь... Знашь, что такое джут?.. И все! И помирай! Тут зажрешь... Кумыс! Ты его пил ли, кумыс?

— Такой гадости...

— То-то, и не говори! А половцы, когда бежали от татар в Крым, дак жрали друг друга, живые мертвых! Как собаки зубами трупы разрывали! Они по четыре дня могут не есть — и воюют! Вы тут ничего не видели, не знаете! А коли хочешь, там кумыс не пить — и околеть можно запросто!

— Ну, мы тоже кое-что знаем! — протянул Грикша раздумчиво, без обиды на Козла.

— Все ж у нас сытей, выходит? — удивился Федор.

Ему, не бывавшему в Орде, казалось, что татары только и знают, что трескают конину от зари до вечера и запивают кумысом да иноземным вином.

— Соколов они мастера натаскивать, ловчих! — сказал Федор, чтобы сбить Козла с обидного разговору. Но Козел уже завелся, не остановить:

— Соколов? А ты их держал? Что ты понимаешь в соколах? — спрашивал Козел, навалившись локтями на столешницу.— Нет? Что ж говоришь про соколов?!

— Да оставь, Козел, ладно! Не злись! Сказывай дальше!

Кое-как успокоили. Пьяный Козел сбивался, повторял одно и то ж, говорил то про Синюю Орду, то про Каракорум, то перескакивал на бесермен-бухарцев.

— ...Мунгалки от прочих... У их бокка, такая шапочка на голове, тут вверх, а там шире...

— А здесь таких и нет!

— А здесь и мунгалов-то мало! Ханы да знать, а то все местные...

— Самих мунгалов, стало, в Орде и нет?

— Половцы, да буртасы, да та же вяда, булгары...

— Дивно, при старых князьях били мы их!

— Смекай! — строго сказал Грикша.— Каков пастух, таково и стадо!

— А чего будет? — спрашивал Федор.— В Орде, слышь, нестроения, Ногай одолеет али кто?

— Кто? — Козел помедлил, улыбаясь хитро-пьяно: — Тохта! Вота кто!

— И не Телебуга даже?

— Тохта! — твердо повторил Козел.

— Выходит, как там аукнется, так тут откликнется? Не весело. И без вины станешь виноват!

— Тебе бы Митрию князю сказать надоть!

— Без нас знают!

— Иван отцу передаст!

— Эх! — Козел, уже вконец запьяневший, утопил в пиве рукав.— Эх! — Он медленно размазывал пиво по столу.— Помнишь, Федька, как мы плыть хотели, князь Митрия спасать... Эх! — Он заплакал вдруг крупными слезами, мотая головой.— Ты не смотри, я... Глаза слезятся у меня!

— Как тебя Мотря устроила, не гонит?

— Не!

— А то ночуй тута!

— Не-е! — Козел мотал головой.

Мать взошла, строго поглядев на мужиков, стала доить корову. Нацедила, поставила перед Козлом:

— Пей!

— Спасибо! Спасибо...

Неверными пальцами он обнял баклажку. Пил, проливал молоко, улился, отставил. Мотая головой, бормотал:

— Эх! Думал... Не поняли... Ты, Федька, не такой... А не понял ты меня!

— Тебе, Козел, жениться нать! — сказал Грикша.

— На ком?!

— Мало ли невест на деревне!

— Сам жанись!

— Чем не любы?

— Чем, чем! Умен больно! Мой отец не хуже твово был! Может, за одним делом и в мужики записаться?

— Мужиком тоже... Крестьяне всю землю кормят!

— А я не хочу никого кормить, я хочу сам жрать!

— Не веньгай!

— Сам не веньгай! Нет, ты скажи, мой батька был кто? Да я уж лучше в холопы пойду к великому боярину!

— Что ж холоп — лучше крестьянина?

— Да, лучше! В иные холопы еще не всякой попадет! Там до ключника дослужусь али по ордынским делам! Да у князя в холопах лучше во сто раз, чем навоз ковырять!

— Нигде не лучше в холопах! — строго возразил Федор.— Когда у меня своя земля и воля, то я и человек! Муж! Вот дом — своими руками сложен!

— Воля, говоришь?! Все мы холопы! Зовут — идем, хоть на убой, хоть куда! Земля твоя? И не твоя, и не князева, великого князя, а кого назначат еще там, в Орде! А дом твой ли? Думашь, не отберут? Не замогут? Что твое? За что ухватишься? Сведут, переселят, на войну ли погонят. Надо — всех пошлют! Ты с домом-то больше холоп! Нет корня — не за что ухватить! Оставишь ли кому что? Севодни тут, завтра в Костроме, Твери, Суждали... Тут и детей не захочешь, и дому не захочешь. Чтобы воля, жить нать, как иноки вон альбо скоморохи — бродить из веси в весь! Оно с собиной-то твоей ты купец, кулак, кровосос — кем не назовут, а без нее кто? Ни кола, ни двора, ни жены не захочешь, ни детей — пропади они! Веселых женок, что слабы на переднее место, найтить завсегда просто!

Козел становился мерзок, и Федор, томясь, не знал, как с ним быть, вести ли куда, и жаль было выгонять друга... Мать нашлась. Постелила рядно, принесла шубу, велела Козлу повалиться спать. Скоро Козел, разутый, помычав еще что-то, захрапел на лавке. Грикша давно уже ушел. Федор сидел над спящим другом и с грустью думал, что прошлого не воротить. Ушел приятель детства — воротился другой, чужой ему человек и принес злые вести, и дом стал шаток, хоть перебирайся из Переяславля куда на север...

ГЛАВА 77

С Волги несло мелкой снежной пылью. Опять подморозило. Река лежала неподвижным белым извивом. Чернели уходящие туда, к устью Тверцы, ряды клетей и анбаров. Отсюда, с кручи, с высоты смотрильной башни княжеского терема, было далеко видать: вытащенные на берег и опруженные лодьи, торговые ряды, лабазы, неровные посады окологородья, суетящийся народ, черный на белом снегу.

Высокая сухощавая женщина стояла, грея руки в меховых нарукавьях, и не шевелилась. Пуховый плат на невысокой новгородской кике четко обводил точеную линию щеки. Шариками снега повисли надо лбом крупные жемчужины редчайшего, розового в отливе, поморского жемчуга княжеского головного убора. Бобровый опашень прямыми складками падал с плеч, почти скрывая носки зеленых, тоже шитых жемчугом сапожек. В руке, спрятанной в рукавах, был зажат белый шелковый плат. Она только изредка смаргивала, смахивая длинными ресницами снег, и безотрывно глядела на далекую дорогу.

Дружинники, «дети боярские», выстроились поодаль, подрагивая от холодного ветра, но тоже не смея пошевелиться, пока госпожа не подаст знака.

Но вот вдали, на изломе берега, показались муравьиною чередой всадники и стали выкатываться новые и новые. Это шла, возвращаясь от Кашина, тверская рать.

Молодшие вытянули шеи, но все так же был неподвижен точеный обвод лица их госпожи, и только когда вдали, на кромке леса, просверкнули яркие корзна и разноцветные попоны княжой дружины, великая

княгиня Ксения Юрьевна медленно разжала руки, обернула строгое, с большими иконописными глазами, удлиненное, в сетке чуть приметных морщинок лицо к своим дворянам и, не улыбнувшись, но как-то прояснев изнутри лицом, сказала:

— Едут!

Она подняла правую руку и плавно взмахнула шелковым платом. Тотчас гулко ударил колокол, и над Волгою полетели звуки благовеста. Княгиня медленным удовлетворенным движением свела руки, спрятав их в рукава, и отвернулась, так что вновь остался виден только точеный очерк щеки да ряд недвижных, словно замороженных, жемчужин в уборе. Почти не дрогнули складки бобрового опашня, но как-то стали строже, словно незаметно выпрямились; и выпрямились, забыв про холод, «дети боярские». А там уже кто-то бежал, и готовили встречу, и вершники выезжали из ворот. Колокола били не праздничным красным звоном, но торжественно и величаво. Мир был заключен, хоть и с потерями, и рать возвращалась непобежденной.

Княгиня стояла, все более выпрямляясь, будто звон вливал в нее новые силы, и уже казалось, что от нее самой исходит властная волна и к ней, притягиваясь, ползет и ползет бесконечная вереница пеших и конных полков.

Били колокола, и в отверстые настежь ворота Твери уже выбегали горожане, сбиваясь в снег по сторонам пути, чтобы первыми увидеть и обнять своих близких.

Уже когда всадники приблизились к городским воротам, Ксения Юрьевна повернулась и стала медленно спускаться по ступеням, чтобы встретить сына у входа на сени. Ее строгое, слегка потемневшее лицо было все так же спокойно, и лишь глаза лучились сдержанной радостью.

Ксения, овдовев двадцати двух лет, стала и одеваться и вести себя, как положено вдовам. Не употребляла ни притираний, ни белил. Но красота ее, которой когда-то без памяти пленился князь Ярослав Тверской, с годами становилась только чеканней и строже. Все яснее проглядывало в облике княгини-вдовы то, чему предпочла она утехи молодости,— власть. Властность была в походке и взгляде, в несуетливых движениях рук, в неженской твердости решений. И сейчас она шла

встречать сына, а скользящим боковым взглядом отмечала осанку и выправку дружинников. И запоминала. И это знали. И забывали дышать в строю.

Много лет прошло с тех пор! И как она жалела, что покойный князь Ярослав так и не увидел своего сына Михаила. В рассказах сыну старалась передать, каким был отец (забывая о многом, что отличало старого Ярослава: его крутости, причудах, быстром гневе, его неразборчивости в средствах, когда ходил на Новгород и бился за власть). И второе, о чем всегда, с детства, рассказывалось маленькому Мише, была родина самой Ксении Юрьевны — Господин Великий Новгород. В Новгород посылала она молодого князя учиться грамоте, когда ему сравнялось семь лет. С Новгородом соединялись у нее мечты возродить древнее киевское великолепие. Теперь же незаметно для себя самой образ старого Ярослава, выдуманный ею, начал сливаться у Ксении с обликом юного сына. Сын должен стать воином и мужем мудрости, сын должен, вослед отца, стать великим князем Золотой Руси. Она не допускала мысли, что может быть иначе. Тверь богатела. После смерти последнего пасынка, Святослава, исчезли поводы для неурядиц в своей земле. Дмитрий с Андреем много старше Михаила и, того и гляди, погубят друг друга в борьбе. Остается только Данила Московский...

Порой она до сердцебиения пугалась, на какой тонкой ниточке висели ее мечты. В нем одном! Любая беда с ним — и исчезнет все. Сердце ширилось от любви и страха за сына. И теперь она, не признаваясь в том, не находила себе места: в семнадцать лет долго ли, потеряв голову, кинуться в сечу одному, напереди всех, и погибнуть в глупой сшибке!

Он шел по ступеням легкий, высокий, тонкий в поясу и уже широкий в плечах, с большими, как у матери, чуть широковато расставленными глазами, темными на белом, длинном, с юношеской худобой западающих щек лице. Надменный, небольшой, твердо очерченный рот, все линии которого были словно подчеркнуты пухом пробивающихся усов, вздрагивал, сдерживая не то улыбку, не то смущение. И по тому, как нервно шел, уже на расстоянии ощущала его волнение.

— Матушка!

Обняла. Вздрогнули плечи под рукой. И поняла — сердце прыгнуло — обиду, детскую, кровную, от того,

что отдали Кснятин и пришлось покориться Дмитрию. Шепнула:

— Ничего, сын! — И отступила.

У него дрогнули ноздри. Глаза вспыхнули гордо. Чуть больше, чем надо, запрокидывая голову, он прошел впереди матери сквозь строй неподвижных дружинников, что замерли, лишь глазами провожая молодого князя.

После молебна в церкви и пира с дружиною на сенях ближние бояра и самые нарочитые из гостей торговых собрались в тереме великого князя. Мед и темное фряжское вино делали свое дело. Головы были горячие, и поражение начинало казаться чуть ли не победой. За столом громко хвалили Михаила, оказавшего мужество в сшибке с московской ратью. Старый воевода Ярославов, Онуфрий, хрипловато возглашал, поводя косматой бородой, брызгая слюной, широко взмахивая руками:

— А тут князь Михайло Ярославич сам, с ратью кречетом! Оны и не́ ждали! Стратилат! — Брюхо воеводы ходило под распахнутой ферязью.

— Стратилат! Опешили москвичи! Пополошились! — орали, подымая чары, соратники...

И теперь мать зорко приглядывалась к сыну: не закружилась ли голова от пустых похвал? Нет, не закружилась. Чтобы и вовсе погасить неуемные восторги воевод, Ксения еще раз перечислила, сколько серебра пришлось заплатить Дмитрию, что уступить ростовским князьям, какие пошлины с тверского гостя обещать Андрею. Девятидневная война дорого обошлась Твери. Виноваты были все. И воеводы, что слишком возгордились тверской силой, и гости, у которых от растущих доходов закружились головы, и сама она тоже. Данил Московский, два года назад приславший полки на помочь противу Литвы, и тот нынче против! И поделом. Прав Дмитрий. Великокняжеская власть должна быть сильна. И добро еще, что не привел татар Ногаевых, попустошили бы всю землю. Ярослав тоже не терпел перекоров, когда был великим князем.

— Кснятина не вернуть! — сказал Михаил с горьким гневом. Кснятина жаль было всем, и гостям, что теряли торговую пристань, лавки и лабазы с добром, и воеводам, и самой Ксении Юрьевне. Жаль было и сел, уступленных ростовчанам. Но все можно еще воротить, ежели выждать время.

Поздно, откланиваясь, разошлась ближняя дружина. Отбыли с поклонами гости, урядясь с княгинею, сколько им платить за проигранную войну.

Оставшись вдвоем с Михаилом, Ксения позволила себе немножко расслабиться. Круглее стала спина, виднее в колеблемом свете стоянцов морщины на усталом лице.

Михаил глядел на мать тревожно. Тени лежали у него на челе, и глаза сверкали в темных озерах глазниц. От теней виднее стали западины щек, мужские бугры вокруг рта.

— Даве не говорила... Епископ Симеон плох, чаю, и не встанет уже! Мыслю, рукополагать достоит игумена Андрея.

— Литвин? Князя Ерденя сын?

— Андрей поможет крестить Литву!

— Мамо, я очень плохо воевал?

— Воеводы хвалят,— строго ответила Ксения.— Широко замахнулись, сын!

— Готовить новую войну? — спросил Михаил, дрогнув голосом. Ксения, перемолчав, мягко и задумчиво улыбнулась. Гася порыв сына, медленно покачала головой.

— Отдохни, сын. Отоспись. Ты устал. Я тоже виновата в этой войны. (Ксения до сих пор говорила поновгородски, как, впрочем, и многие на Твери.) С Данилом Лексанычем дружитьце нать! Его старшие братья простецом сцитают... Послов пошли. А лучше — езжай сам! Он добрый. Не хочет брани. А теперь ступай!

Михаил склонился перед матерью. Благословив и отпустив сына, Ксения осталась одна.

Долог путь к вышней власти. И жалок предпочитающий брать только то, чего можно достичь без трудов. Она погасила свечи. Вышла на галерею. Тверь спала, смутно пошумливая, посвечивая поздними огоньками. Звезды роились в вышине. Красная звезда войны мерцала середи прочих.

И Новгород, ее Новгород, родина, должен принадлежать ее сыну. Старшие Александровичи скоро истощат сами себя. Только Данил... Но он, кажется, один из них и не рвется к великому княжению!.. Не рвется, так Овдотья заставит, бояре подскажут! Княгиня коротко вздохнула, ощутив дрожь, и пошла спать. Устала.

ГЛАВА 78

Московской рати почти не пришлось участвовать в деле. Протасий водил конную дружину в зажитье, а пешцы простояли на устье Малой Пудицы. Сторо́жа ходила по опустелым деревушкам и чуть не прозевала, когда неожиданно подошли тверские полки. Рать пополошилась. Данила сам скакал под стрелами, ругаясь, размахивая шестопером, собирал дернувшихся в бег ратников. Кое-как зацепились за опушку леса. Пока сутки ждали Протасия, все было тревожно, без конницы не чаяли устоять. Тверичи, впрочем, сами не полезли. Загнав москвичей в лес, они обошли Данилову рать и заставили потесниться, в свой черед, ростовчан, что пустошили деревни по Медведице. Видимо, у Михаила все же не хватало сил. Еще через два дня (проведенных многими в снегу и в полной неуверенности, что же происходит у соседей?) объявили о переговорах. И Даниле, дождавшемуся наконец Протасия с конницей, к его облегчению, не пришлось наступать на тверичей. Драться с давешним союзником, с коим вместе позапрошлым летом громили литовцев,— это как-то не умещалось у него в голове. Он и под стрелами скакал с поднятым забралом не столько от презрения к опасности, сколько потому, что в голове не умещалось, как это Михаил может его убить? После уж, когда остаивался под соснами, по конской дрожи понял, что и самого могли... Очень даже свободно!

Полону набрали немного, добра — того меньше. Расходов на сбор и прокорм рати и то не покрыли, верно. Это татарам легко, идут в поход безо всего! А тут с обозами... Куда далече,— коли уж воевать,— так нать татарским побытом: кусок конины под седло... Данил поморщился. Он пробовал раз такое, размятое, густо пропитанное конским потом, мясо, б-р-р-р! Ить и без соли, поди, жрут!

За Дмитровом он покинул свою победоносную рать, что валила кучей, на радостях потерявши всякий строй (тут уже начиналась своя земля, и можно было спихнуть полки на Протасия), и поскакал вперед, где его ждали брошенные на ключников, посельских, путников, старост, тиунов и прочую челядь дела и где без княжого глаза уже, поди, такого наворотили за эти-то три недели зряшной войны!

Переночевав в Протасьеве селе, в тереме своего

воеводы (князю там всегда загодя готовили особый покой, и ключник уже знал, когда — было и вытоплено, и постелено), Данил уже нигде не останавливался вплоть до самой Москвы. Проскакал весь путь верхом и въехал в городские ворота, едва не обогнав своего же гонца.

И первое, что бросилось, когда жадными глазами озирал свое владение,— кули с зерном, густо запорошенные снегом, на снегу, на улице, у житничного двора.

Свалясь с коня, на негнущихся ногах, он пошел к воротам житницы. Выскочил какой-то с перекошенным лицом и, не успев осклабиться, от удара плети полетел в снег.

— Хлеб! Под снегом! Запорю! — взревел Данил. Заметались вокруг него. (Все же выучил, сбежались быстро.)

— Людей нет? А эти! Хари!

Через пять минут «дети боярские» и ратники, снятые со всех стен, торопливо составив копья и отстегнув сабли, бегали с кулями, а Данил, давая волю гневу, бил плетью по бревенчатой стене. Бить людей он все же как-то не мог. Житничий повалился в ноги. Данил булькал, задирая бороду, разевал рот. Тот, сообразив, как был, без шапки, в шелковом зипуне, схватив куль, поволок внутрь, уходя от расправы, и там уже, изнутри, раздался его истошный вопль:

— Как кладешь, падаль!

Кули, оказывается, привезли к ночи да тут и оставили. Случились татарские послы, и захлопотавшиеся бояре не успели распорядиться. Об этом, забегая сбоку, скороговоркой сказывал дворский.

— Какие послы? Хлеб! Хлеб!

Остоявшись, Данил приказал:

— Нижние кули развязать. Ежель замокло, пересушить все! Шкурой, шкурой!

Впрочем, кули таки были навалены на рогожи. Гора таяла, и уже высовывались из-под нее кое-где края рогож. Данил, шаркая, шел к своему двору. Брошенного коня слуги уже водили под уздцы по кругу.

Овдотья, сильно раздобревшая после четвертых родов, в это утро еще не ждала князя и потому поленилась вовремя встать. С вечера пробаловалась, вместо того чтобы сразу лечь, провозились чуть не до полуночи. Спала Овдотья с сенной боярыней. Та недавно обвенча-

лась, и Овдотья, когда уже задернули полог и разоболоклись, стала щупать и щекотать молодку, уверяя, что уже заметно. Развозились, сбили всю постель. Потом, чуть не доведя уже до слез, Овдотья стала обнимать и утешать подругу.

— Данил Лексаныч ужо! — задыхаясь, отбивалась та от княгини.

— А что! И приедет! — Овдотья, прищурившись, развалилась, выгнулась, потягиваясь:

— Уж на тебя его не променяю! — звонко сказала она, снова захохотав.

А утром проспали. Овдотья все же проснулась первая. Высунула нос из полога. Потом выпрыгнула, не зовя девку, поплескалась у рукомоя. Вспомнив вчерашнее, подошла к пологу. Боярыня спала, посапывая, ткнувшись носом в подушку. Овдотья тихонько подняла ей подол рубашки и шлепнула мокрой рукой по мягкому месту:

— Вставай!

Та ойкнула, подпрыгнув на кровати. Заслышав шум, вбежала сенная девка.

— Одеться подавай! — строго бросила Овдотья. Оболокшись, примерила новый синий плат. Красуясь, осмотрела себя в зеркало: брызги серег, очелье над белым лбом, полная белая шея. У нее и голос изменился, стал тоже полный, влажный, трепещущий, с переливами.

Нянька принесла ребенка, младшенького, Ванюшу, показать. Годовалый сын смотрел внимательно, медленно потянулся пальчиками потрогать украшения. Висел в руках, подкорчив ножки.

— Ну-ко, Ванюшка! Стань, стань на ножки! Ну! — говорила Овдотья, присев перед ним на корточки. Ваня стоял, протягивая ручки, и так же внимательно-просительно глядел на мать. Овдотья со вкусом расцеловала младшего в пухлые щеки, отдала няньке.

Завтракали вчетвером рябцами и кашей сорочинского пшена. Холеными, с перевязками, как у ребенка, руками Овдотья рвала холодную дичь: пока, до поста, отъесться! Жаль, что Святки прошли, а то бы пошли сейчас в личинах по Кремнику! Задумавшись, она вдруг всплеснула руками:

— Ба-а-а-бы! Татарских послов видали?

— Без Данил Лексаныча...

— Ничего, мы в щелочку!

Овдотья прыснула и, торопливо ополоснув руки, начала кутать плечи в пуховый плат.

Возвращаясь, громко обсуждали:

— А тот-то! Тот-то, черный! У-у-у! Как ихние женки с има живут! Да и не одна еще... А они мелкие, татарки! — дурила Овдотья.— Их такому-то и нужно не мене четырех! Ох! Бита буду нынче!

Сквозь девичью (девки встали и поклонились) Овдотья прошла в келейку к детям. Там слышался визг. Нянька отлучилась, и Юрий уже таскал Сашу за вихор, а трехлетний Борис, видимо тоже побитый Юрием, сидел на ковре и ревел. Ваня выглядывал из кроватки, стоя, держась за спицы, любовался возней братьев. Завидя мать, нашкодивший Юрий стрельнул разбойными глазами, тряхнул рыжей головой:

— А Сашко меня бьет!

Сашко, уцепившись за ногу Юрия, действительно, не видя матери, яростно лупил старшего брата. Овдотья оторвала «именинника» (Сашку недавно справляли постриги), шлепнула, тут же влепив подзатыльник старшему:

— У-у, пади́на!

Юрко только того и ждал — отчаянно заревел в голос. Теперь ревели все трое, и только Ваня, стоя в кроватке, переступал ножками и с внимательным любопытством глядел на братьев. Нянька, что выносила опруживать ночной горшок, взошла и строго прикрикнула на сорванцов:

— Вот батя приедет с войны, задаст!

— А бати еще нет! — сказал Юрий, сторожко глядя то на няньку, то на мать. Он на всякий случай кончил притворный рев и, решив подольститься к матери, повис у нее на руках.

— Буквы учишь? — спросила Овдотья.

— Ленится! — ответила за него мамка.— Да и непоседа такой, уж дьячка замучил, все вертится.

Овдотья, взяв на руки трехлетнего Борю (он тотчас прижался и стал слегка подхныкивать),— «ну-ко!» — стала перебирать светлые волоски.

«И в кого это Юрко такой рыжий? — подумала она.— Как солнышко!» — На Юрия, первенца своего, Овдотья совсем не могла сердиться и баловала ужасно. Сама знала, ничего с собой поделать не могла.

— Мам! Коня хочу! — стал ныть Юрий, пристраи-

ваясь сбоку. Сашок меж тем занялся игрушкой, из-за которой, видимо, и разгорелась драка.

— Вона сколь! — кивнула Овдотья на деревянных расписных и глиняных лошадей.

— Да-а-а, живой чтобы! Езди-и-ить!..

— Нос не дорос!

— Дорос! — капризно возразил Юрко.— Я уже сажался на дворе!

— Батю проси! Ну-ко! — обратилась она к няньке.— Дай гребень! Плохо следишь, кажись, гниды у их.

— Дак всюду бегают! В девичьей всё! Всяк на руки норовит, и на поварне, и на дворе, не уследишь!

— Да и глаза вон заплыли. Девок построжи! Пущай и за собой следят! Отец увидит, обеим нам с тобой мало не будет! — Взяв гребешок, она стала ловко щелкать насекомых.— Рубашки тоже перемени! — приказала Овдотья.— Ну, пойду. Заспалась я сей день!

— Мама, мам! Мамка, не уходи! — затянули в три голоса княжичи, а Юрко, забежав, ткнулся в материны пышные бедра. Приодержавшись, она огладила золотую голову сына.

— Мам, наклонись!

Она склонилась, он обвил руками ее за шею, потянулся, дыша горячо в ухо, попросил шепотом:

— Подари коня!

Овдотья расхохоталась, шутливо подрала Юрия за вихор, ушла.

Надо было обойти службы, посмотреть, как ткут портна, что делается в бертьянице, в медовушах, солодёжне, проверить рукодельниц: заштопано ли то, выходное? Цела ли снасть, что выдавала сама мастерицам давеча, и почто так много уходит шелку, не воруют ли? В девичьей похвалила шитье, в моечной за разбитую ордынскую дорогую чашку набила по щекам неумеху девку, велела сослать на двор, в портомойницы. Пока держался гнев, прошла в детскую, где Юрко мучал дьячка. Юрию досталась изрядная трепка. Поняв, что мать в нешуточном гневе, он только тихо скулил. После порки ученье пошло резвее. Посидев рядом с дьячком для острастки и убедясь, что дело движется, Овдотья опять отправилась в обход служб. Так, в хозяйственных заботах, пролетело полдня. Отобедали. Наконец, к вечеру, уселись за пяльцы и уже наладились читать жития святых старцев египетских, «Лавсаик», когда ворвалась дворовая девка с выпученными глазами:

— Приехали! В гневе! За зерно!

Овдотья всплеснула руками. Как не догадала с утра приказать заволочить в анбар! Уже все заметались как угорелые.

— Кормить, живо! — приказала Овдотья, сама, отругав себя, торопливо побежала встречу.

Данил входил, отшвыривая двери и на ходу расстегивая дорожное платье. Слуги подхватили ферязь и шапку, Овдотья, охнув, обхватила в объятия полными руками, грудью, вжалась лицом в бороду. Густой конский дух шел ото всего.

— Заждалась, Данилушка!

Он еще фыркал неизрасходованным гневом.

— Моя беда! — скороговоркой повинилась Овдотья.

— Ты в дому! На то бояра есь! — буркнул Данил в ответ. Он еще метал глазами по сторонам, ища домашнего беспорядку. Но тут с ликующим визгом налетели малыши. Юрко, вцепившись, полез, как белка, и уже, сопя, усаживался на плечи. Сашок повис на ногах. И Борисок уже торопился, ковыляя, а нянька, сияя во весь рот, семенила, поддерживая его за ручку, а другой рукой неся уставившегося на отца круглыми глазами Ванятку.

— Ну, даве дрались, а тута вместях!

— Дрались? — спросил Данила, стягивая Юрка.— Ты, поди?!

Дети разом погасили гнев. Тут уж Овдотья могла без труда усадить мужа, сама стянула сапоги, уже несли сменное платье, уже стояла девка с полотенцем. Данил, отмахнувшись, прошел в изложницу. Овдотья следом. Сволок рубаху, брызгался, тер шею.

— Ладно! Париться ужо!

Жена с поклоном подала чистую сорочку, зипун. Данила переменил порты, перепоясался. В мягких домашних сапогах вышел в столовую палату. Овдотья сунулась подавать.

— Седь! — приказал Данил.— Слуги есь!

Овдотья присела, стала отламывать по кусочку, взглядывая на мужа. Знала, что не любил есть один за столом.

Данил наконец отвалился, срыгнул. Посидел, прикрыв глаза. Тело гудело от целодневной скачки.

— Что за послы? — спросил он еще сердитым голосом.

— Завтра...

— Завтра, завтра! Знать должон! Зови!

Думный боярин боком влез в покой, поклонился князю.

— Каково доехали?

Приличия не позволяли сразу начать о деле. Расспросил князя про поход. Данил, дернув усом, отмахнул рукой.

— Сказывай!

— Опять выход требуют, батюшка-князь!

— Что они там сами не сговорят никак! Телебуга с Ногаем в брани, а я при чем? Али и тому и другому выход давать? Ладно, из утра приму. Опеть подарки давать, будь они неладны... А вы тут с хлебом!

— Виноваты, батюшка!

— Помене бы виноватых, поболе тружающихся! — проворчал Данил. В голове уже складывалось, как лучше отделаться от татар: «Свалить на Митю! Пущай брат, раз уж великий князь, сам и решает, а послам — ни да ни нет!» — Что еще?

Боярин улыбнулся:

— Как ты, батюшка, велел примать убеглых, дак с Рязани к нам много народа нонече!

— Слышал. Елортай Рязань громит! Как еще всех не разогнали?

— Тут такое дело... Коломенски бояра опеть просятся к нам!

— С Романовичами в ссору...

— Дак вишь... татары... Им и тех забот хватает!

— Сейчас хватает, а уйдут татары, как тогда? Коломна рязанская ить!

— Душат нас! Мытное с кажной лодьи в Коломне даем! — В голосе боярина аж слезы зазвенели.

Данил пожевал губами. Пристально глядя в лицо боярину, задумался. Коломна была нужна! Как на смех — сразу-то он не разобрался,— его княжество со всех сторон оказалось зажато соседями. К югу пути запирали рязанские города: Коломна и Лопасня, к Смоленску — Можайск, меж ним и Тверью поместился дмитровский князь, хоть и свой, а пошлины платить все же приходилось, от Новгорода отделял Волок Ламской, когда-то новгородский, а теперь Митин город... Туда, к Переяславлю, леса, а там уж удел великого князя. С любым товаром ни к себе, ни от себя без торговых пошлин никуда не сунешься. Купцы, пока доберутся до Москвы, платят и платят. Хорошо Михайле Твер-

скому: Волга! До самого Сарая, и того дале — до Персии самой, путь чист. Волга — не Москва, ее цепями не запрешь, плотами не перегородишь поперек воды! И все-таки воевать не стоило. Сейчас разорены, дак уломаю. Позволил бы хоть рязанский князь свои анбары в Коломне поставить, и то добро! А бояр... Бояр... Поговорить надо, а принять...

— Ладно, иди! Да, что там за колгота у Кочевы с Блином? Места в думе не поделят? Или покосов на Воре? Скажи, вдругорядь выдам головой, тем и кончится, и села отберу! — пообещал Данил. Боярин с поклонами полез вон.

Коломна не выходила из головы, пока парился, смывая дорожную грязь. Все просят! Дак на иные просьбы... Как Овдотья тогда рыдала, узнавши, что Муром снова громят, требовала бить татар: «Ты можешь!» Даже брат не может! А Рязань... Нет, нынче Рязань трогать не след. Еще не след!

После бани Данил, подобревший, возился с детьми. Журил за драки. Теперь велел принести веник и дал ломать. Несмышленыши сопели, старались. Юрко даже с яростью ломал — не получалось. Отец посмеивался. Наконец, когда уже почти дошло до слез, сказал:

— Дай-кося!

Ловко рознял и стал ломать по прутику и откидывать.

— А я думал, надо целый!

— Вот то-то, что целый! Целый не поломашь! Так и вы, братья. Одна семья! Вместях вас николи никто не сломат! А будете драться — ратиться, так кажного по одинке... Уразумел?

— Да! А они!..

— Уразумей! Ладно, воины, спать пора!

— Ты чего пришел? — поднял он глаза на житничего, что давно уж переминался у порога. Житничий начал объясняться, почему сгрузил вечером и не убрал.

— Сам же ты, батюшка, Данил Ляксаныч, не велел мужиков в ночь держать...

— И не велю! Они и так от зари до зари тружаются! Ты на что ставлен?! Беречь добро! Кто там перекидает — дело пятое, а от тебя одна польза: вот — что наработали, вот — люди; твое дело, чтоб,— он поднял ковригу, показывая,— от поля до стола зерна не пропало!

— Дак, батюшка, не пропало же! Зерно, оно холоду не боится...

— Ну, а пал бы морок в ночь? Ростепель? Дождь? И сгорело бы сколь четвериков доброй ржи! Поди! Да, еще! — остановил Данил.— В шелковом зипуне кули не таскают. Свое не беречи — князева и подавно не сбережешь! Ступай! Вдругорядь сблодишь — на конюшню сошлю, коням хвосты чистить...

Разоболокаясь, Данил качался от усталости, но, и уже обарываемый сном, он привлек к себе пышное тело жены. Все-таки как он по ней соскучился! И только одно стороннее еще тревожило ум: что Юрием надо заняться по-годному. Семь лет уже, и учить пора путем!

Данил так и уснул, не разжав объятий. Овдотья, удовлетворенно, с тем радостным удивлением, которое и теперь, после четверых детей, каждый раз появлялось в ней после его ласк, гладила ему волосы, расправляла бороду, потом, повозившись, устроилась, привалясь грудью, уснула тоже.

Данил не любил отлагать решенного дела и взялся за Юрия на другой же день. Тем паче вскрылись крупные Юркины шкоды: он пролил мед из бочонка и рассыпал зерно на поварне. От шалостей с зерном, помня давешнее, Данил решил отучить сына враз. Дал решето и велел все просыпанное там и в амбаре собрать и просеять. Юрий, поглядывая на отца, принялся за работу. Ему скоро надоело ползать по полу, и он, пользуясь тем, что отец отворотился, решил схитрить, принялся заметать зерно под кули. Но батя увидел, и дело кончилось поркой, первой взаправдашней, которую учинили Юрию. Отец порол сам. Избитый, глотая обидные слезы, Юрко вздумал было напомнить о своих правах.

— Я наследник! — звонко и зло крикнул он отцу. Данил, сопя, оглядел наследника, вытащил за шиворот из дверей. По двору как раз проходил спившийся боярчонок, которого не успели услать на село, о чем велел Данил, но тут как нельзя лучше пригодившийся. Данил показал бородой:

— Видишь? Эй? Подойди!

Тот, скинув шапку, угодливо и жалко улыбаясь, приблизился ко князю. От него и нынче несло брагой.

— Все пьешь? Ладно, поди! Видел? Рассмотрел? Добро не беречи — таким станешь!

— Я князь...

— Тебе князя такого показать? И князи есь, что не удержались на столе!

Юрко исподлобья оглядел отца, понял — не врет. Два часа спустя он сосредоточенно веял собранное зерно.

— Батя, а дале чего? Сушить?

— Нет, молоть будем,— ответил Данил.

Пошли на поварню, где была ручная мельница, и там Юрко начал молоть собранное и провеянное зерно. Сперва показалось просто, даже весело, но скоро руки начали отваливаться, глаза заливало потом, он тихо выл, но уже знал, что отец спуску все равно не даст, а Данил только подсыпал да подсыпал в отверстие жернова новые горстки ржи и словно не замечал усталости сына. Когда уже, изнемогая, Юрко отваливался, готовый потерять сознание, отец брался сам, но чуть Юрко приходил в себя, снова передавал ему рукоять мельницы. Овдотья забегала поглядеть, пожалеть сына, но Данил только цыкнул на нее — разом исчезла. Он заставил-таки Юрия домолоть до конца, хоть мальчишка даже с лица спал и глаза провалились. Когда уже кончали, откуда ни возьмись, явился Сашок, хотел потрогать муку.

— А ты отойди! Ты не молол! — с замученной гордостью отгонял брата Юрко. Дали помолоть и Сашку. У него хоть и руки не доставали, но, с помощью отца, намолол-таки горсточку. После замешивали тесто. Юрий, передохнув, въелся в работу, уже месил изо всех силенок. Квашню поставили в тепло и прикрыли рядном. Юрко поминутно бегал смотреть, как подымается опара. Даже ночью просыпался, спрашивал про свой хлеб. Утром выбежал еще до завтрака. Холоп-пекарь умело поправил слепленный княжичем каравай, Юрко сам пальцем сделал крест на нем, чтобы не перепутать. Затем хлебы поместили в печь.

Перед обедом доставали горячую ковригу. Данил дал нести хлеб самому Юрию. Когда уселись за стол, после молитвы, Данил задержал руку и торжественно подал нож Юрию. Тот, прижав теплую ковригу к животу, сосредоточенно, хоть и неумело, покраснев лицом, стал резать. Кое-как отвалил первый ломоть. Приостановясь, поднял голову:

— Батя, это *мой* хлеб?

— Твой, твой! — усмехнулся Данил.— Сам делал! Теперь угощай!

Юрий стал раздавать куски, положил отцу и матери, братьям. Не утерпев, наказал Сашку:

— Крошки не роняй!

Вечером, уже в постели, когда Данил зашел в детскую опочивальню, Юрко спросил его:

— Батя, а я таким не буду, как энтот пьяница?

«Запомнил!» — подумал Данил.

— Береги добро! Всю жисть береги. Кажинный день! И с братьями не воюй! Спи!

ГЛАВА 79

Гонцы от Михаила Тверского прибыли как раз тогда, когда Данил, четыре дня подряд проговорив ни о чем и наградив конями, портами, соболями и куницами всех и каждого из татар в отдельности, сплавил их наконец в Переяславль и был очень доволен собой. Известию о приезде Михайлы он обрадовался еще больше. Все-таки пополох его рати на Пудице был обиден, и то, что к нему первому пожаловал тверской князь, приятно утешило тщеславие.

Данил, не обманываясь нимало, знал не только то, что Тверь и сильнее и богаче Москвы, знал он, прикидывая доходы с торговли, и то, насколько сильнее и богаче. И это «насколько» было настолько много, что ни Андреев Городец, ни братний Переяславль уже не равнялись с Тверью, ни даже Углич, Ростов или Кострома. Один Новгород еще превосходил ее. Ну, Новгород был городом особым, с которым не сравнивались никто и ничто. Даже и в заморских-то землях таких, почитай, поискать! Ежели бы тверской князь сумел подчинить Новгород себе, то без спора следовало согласиться на то, чтобы отдать ему и великое княжение. Вот как Данила понимал Тверь. И порой удивлялся: почему этого не видит Дмитрий? Ведь и нынче, собрав войска из четырех княжеств да еще помочь из Новгородской земли, едва одолели тверичей!

Он постарался принять молодого (между ними было как-никак десять лет разницы!) и молодшего по лествичному счету (сам-то Данила приходился Михайле двоюродником) тверского князя как можно лучше. Вершников с Протасием услали встречать гостя на Сходне. Дружина и городовые бояре приоделись в лучшие порты. Начищенное оружие блестело как лед. Были

прибраны и разметены улицы, по которым должен был ехать тверской князь.

Он с беспокойством думал, как ему поздороваться с Михаилом? Назовет ли тот его старшим братом? (Хоть по лествичному праву волен звать старшим братом одного Дмитрия.) Или просто братом? Но это было бы уже и обидно. И еще: поклонится ли Михаил, поцелует ли в плечо как младший, или им надо расцеловаться как равным? И снова представлялось и так и этак.

Михаил ехал верхом, шагом, в старинном алом корзне на соболях, в алой княжой, как пишут на иконах, шапке. Нынче и корзно и шапки такие уже выходили из обычая. Дмитрий так уже не носил. Разве алые верха шапок сохранялись. Но и то их шили поиному — с разрезом впереди. И вместо корзна надевали опашень или вотолу, так было способнее. Черный, тонконогий, крутошеий конь Михаила, что высоко подымал ноги в серебряных подковах и шел словно танцуя, тоже будто соступил со старинной иконы. Тверская дружина была вся разодета в меха и цветное платье из иноземного сукна.

Данил ждал на высоком крыльце, решив, ради всякого случая, не сходить вниз. Ежели его Михаил и поздравствует как равного, все же не столь прилюдно. Детинец, или Кремник (бояре называли так и так, и сам Данил не мог решить, звать ли ему свой город, как в Новгороде, Детинцем, то ли Кремником), был полон народу. Сбежалась вся Москва. (И тоже старики тутошние звали Москов, и Данил думал порою, что так-то вроде и лучше, город все-таки!) Лезли, осаживаемые, на самый путь.

Михаил спешился, поддержанный стремянными, и легкой походкой стал подниматься по ступеням. Он глядел открыто и уже улыбался слегка, и Данил не выдержал, улыбнулся. Здравствуясь, Михаил отдал поклон и назвал его старшим братом, и Данило совсем повеселел.

Пировали потом сперва на сенях, с боярами и дружиной, после в тереме, в кругу семьи. Юрко вылез-таки:

— Тверской князь, ты воевал с нами?

Взрослые рассмеялись.

— А мы тебя побили, да? — не уступал Юрко.

— Не мы, а все вместях, с дядей Митрием да с дядей Андреем...

— Это как веник?

— Дерутся всё! Я их веник заставил ломать,— пояснил с некоторым смущением Данил. Михаил, однако, не взял во гнев или не показал виду. Он передал подарки. Данилу дорогого коня и икону киевского древнего дела в дорогом окладе с самоцветами.

Данил не очень разбирался в живописи. Скорее в церковном пении — это понимал. Его московские мастеры писали недавно большого «Спаса» для монастырской церкви. «Спас» показался ему как-то мужиковат. Данил гадал: показать ли икону Михайле? Хотелось себя не уронить, и было любопытно, что скажет тверской князь.

Овдотья растаяла от старинных драгоценностей, что пересылала ей Ксения Юрьевна. Не были забыты и дети. Семилетнему Юрию, кроме игрушек, Михаил поднес княжескую шапку, и Юрий набычился и зарделся весь, едва выдавив: «Спасибо». Потом ясно взглянул на Михаила:

— И у тебя такая шапка, да?

— У всех князей! — улыбнувшись, ответил Михаил.

Данил, гордясь, показывал гостю свое уже устроенное хозяйство. Овдотья вечером остудила:

— У их в Твери того боле! Нашел, что казать! Он князь, ему твои мельницы да конюшни на смех кажут!

Обиженный, задирая бороду, Данил возразил:

— Нашел! Что тута было до меня?! Кажен год новы села ставлю! У его мать век с купцами, должон понять!

Но назавтра он подозрительно то и дело взглядывал на Михаила: не смеется ли тверской гость? Нет, молодой тверской князь вникал во все с видимым интересом. Хвалил коней, даже заметил, что чисто в стойлах — оба прошли, не замарав цветных сапог. Подивился, как расстроился город. Новым селам тоже подивился.

— С Рязани бегут?

— Бегут! — подтвердил Данил.— Нонече опеть. С кажного разоренья к нам. Вона! Дотоле был лес! А нынче распахали. Да тут на самой на Боровицкой горе был бор. Я еще застал дерева, а нынче, как стену срубили, так уж и последние снять пришлось.

— А вода есть в Кремнике? — спросил Михаил. Данила вдруг подумал, что не слишком ли он все откровенно показывает тверскому князю? Ключи били под горой, ниже стены. Он смолчал, а про себя прикинул, что надо поставить отводную башню, что ли! Верно,

при воде без воды остаться негоже. Впрочем, у Кутафьей башни (ежели не возьмут!) можно и в осаде из Неглинной воду брать.

Для Михайлы устроили охоту. Били диких свиней и лосей. Привезли трех недавно пойманных медведей, и их выпустили тоже в осок. Звери ревели; орали и били в трещотки загонщики. Михаил, разгоревшийся от скачки, самолично свалил одного из медведей. Соскочив с коня перед самой пастью зверя, ловко посадил на рогатину. Данила, стараясь не ударить лицом в грязь, свалил второго. В нос ударил острый запах зверя, и был жуткий миг, когда дикая сила, вставшая на дыбы, обрушилась и рогатина, упертая в земь, затрещала, прогибаясь. Осочники подхватили, и Данил, обнажив короткий охотничий меч, дорезал зверя.

Медведей несли, связав за лапы. Жирную медвежатину жарили после к ужину, а шкуры зверей тоже поднесли гостю. Тверские подарки Данил отдаривал мехами и бухарской камкой.

Договорились о путях торговых через Волок Ламской, о новгородском и тверском госте. Данил, не доверяя боярам, сам дотошно входил во все тонкости и тут показал себя хозяином более рачительным, чем Михаил, сумел выторговать у тверичей немалые для себя выгоды.

Михаил гостил полторы недели. Провожали его опять до Сходни. Послали поминки великой княгине Ксении.

Дома Данил спрашивал Юрия:

— Ну, посмотрел, какие бывают князья?

— Батя! А мы еще будем с има ратиться?

— Вырасти! Воин! — рассердился Данил.

— А Тверь большой город?

— Большой.

— Больше нашего?

— Больше.

— Намного?

— Намного, Юрий. Лучше не ратиться. Лучше с има торговать!

Данил подумал, пожевал губами.

— Вот что, Юрко. Тут тебе не ученье, баловство одно. Отошлю-ка я тебя в Новгород!

Овдотья ахнула, заголосила.

— Вон Михайлу тож туда посылали! — оборвал ее Данил.

— Батя! А коня?

— Коня? Учиться будешь, будет тебе и конь. Добрый. Видал, какой конь у Михайлы Ярославича? Вот такой!

Перед сном, когда Данил зашел поглядеть, как уложены дети, Юрко опять спросил:

— Батя! А Новгород больше Твери?

— Новгород? Новгород больше!

— Я, батя, поеду в Новгород!

— Поедешь, спи!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 80

Минуло четыре года. В весенний погожий день, когда от горячего солнца на плечах под зипуном намокает рубаха, а из-под еловых лап еще тянет остатним холодом и свежестью недавно растаявших снегов, а первые цветы и острая зелень травы, расталкивая прошлогоднюю дернину, ошалело лезут к солнцу, и уже опадают сережки с лозняка, и пронзительно ясным, солнечно-зеленым пухом овеяны березы, Федор возвращался домой. Он расстегнулся и отпустил повода. Конь шел, принюхиваясь к запахам земли. Дорога вилась вдоль Нерли, и уже начинались знакомые с детства места. Под Купанью мужик на телеге обогнал его на косогоре, прокричал что-то безобидно веселое, и тотчас от телеги отлетело колесо и, виляя, покатилось под угор. А мужик, круто окоротив коня, соскочил и, выкрикнув: «Эх, последнее дело хмельному коня запрягать!» — пустился в погоню за колесом. И тут только видно стало по тому, как бежал, что, верно, хватил лишнего. Федор снисходительно усмехнулся, проследив взглядом за колесом, которое, перескочив канаву и покрутившись, наконец улеглось в молодую траву, и слегка чмокнул, подобрав повода. Конь затрусил резвее.

За четыре года Федор всего раза три был в родном дому. Жену оставил тяжелой; без него родила, без него, через приезд, схоронила второго малыша. Приезжая, привозил добро, серебряные новгородские гривны, подарки жене и матери.

Тверская служба задалась Федору. Ездил он гонцом от тверского князя Михайлы к великому князю Дмит-

рию, ездил и в Новгород. Вместе с тверичами дважды отражал литовские набеги. Из последнего дела привез домой холопа, литвина, взятого на бою, Ойнаса. (Дома и на деревне Ойнаса перекрестили Яшей.)

Он и сейчас возвращался вроде на время, но знал, что уже насовсем. Тверской князь нынче постарается отделаться от великокняжеской помочи. Об этом требовалось рассказать великому князю. Впрочем, Митрий Лексаныч и сам, видно, не обманывается. Не было бы опять войны!

Кснятин тверичам разрешили отстроить вновь, но села по Нерли Дмитрий Михаилу не отдал, и, побыв при тверском дворе, Федор понимал, что ни вдова, великая княгиня Оксинья, ни бояре тверские, ни гости, ни сам Михаил не успокоятся, пока не воротят своего назад. Ладно! Спасибо и за то, чего достиг! А достиг он, кажется, немалого. Выбился в люди наконец. Деревенские при встрече шапки ломят...

Он прикрыл глаза, подставляя лицо солнечному жаркому свету, вдохнул томительный запах весенней земли. Вспомнил лицо тверской княжны, и разом заныло сердце. Никогда больше он ее не увидит, не увидит ее плывущей, словно невесомой, походки, ее высоких плеч, ее продолговатого, светлого, почти голубого лица, с неправдоподобно большими глазами и ресницами, от которых на нежные щеки падали две бархатные тени. Не увидит ее ни в праздничном — в жемчугах, серебре и лалах — уборе, в переливчатых шелках и парче; ни в простом — для нее простом! — светло-зеленом саяне с белыми, как яблоневый цвет, узкими рукавами нижней сорочки, охваченными в запястьях старинными, киевского бесценного серебра створчатыми браслетами... И ее голос, льющийся, со срывами в звонкий шепот, за которыми угадывалась тайная беззащитность гордой княжны.

На него, Федора, уже поглядывали со значением и недоброй завистью тверские дружинники и «боярские дети» княжеского двора. А что было? Два-три быстрых разговора, долгий взгляд и вечер полупризнанья в княжеском саду над Тьмакой. Невесть, запомнила ли его даже великая княгиня Оксинья... А он? Едет домой, где ждет его некрасивая жена... А мог бы... Мог ли? Сам ли он потерялся, оробел тогда, или это было и вовсе невозможно? Да и что, кроме смерти — скорой, тайной (или бегства, очертя голову, вон из пределов

тверских),— чего он мог бы достичь иного?! А на то, чтобы хоть час, да наш,— нет, на то не хватило у него ни решимости, ни воли, ни... И не мог он решиться обидеть княжну, сестру самого Михаила Тверского! Такие, как он, молча гибнут на рати, повторив про себя дорогое имя, или идут на плаху, не разомкнувши уст; таких, как он, не ведают там, где и великие бояре не все и не вдруг могут дерзать даже приблизиться к девушке — княжне из великого древнего рода, а не то что думать о ней как о возможной невесте, жене, возлюбленной...

Он не смог путем и проститься с ней, только узнал потом, что она ушла в монастырь. И подарок — единственный, горький, прощальный, переданный старухою нянькою «для жены»: серьги, золотые, с синими, как весеннее небо, камнями... Только Феньке такие и носить! С ее-то рожей.

Он не смог проститься с княжной тогда и прощался теперь, с новой горечью думая о том часе, мгновении том, когда не решился он переступить, не смог или не сумел? Тот страшный провал, что разделял их по жизни, по родне, по власти... И сладко было думать, что из-за него отреклась она от мира (хотя, конечно, не из-за него!), и несносно было знать, как оболжет ее молва, приписав ей — все не от мира, не от жизни земной — тайного воздыхателя или даже удачливого любовника. «Гулял молодец из орды в орду, из орды в орду, из земли в землю́»... Нагулялся. Едет домой! Гривны-новгородки в кошеле, серьги, дар княжны, за пазухой, у самого сердца. Начинаются первые избы Купани, и можно не думать о лихом человеке, что прянул бы вдруг из-за кустов с ножом или кистенем, норовя разом свалить с коня.

Тут весна еще видней, чем в лесу. Мужики пашут, и чья-то молодка с бельем у реки окликает какого-то мужика:

— Приехал? Борь? Что не зайдешь, Борь? Поведал бы хоша, как живешь, Борь?

И такая в голосе переливается, дрожит не прикрытая бабья истома, так просит голос ее и зовет, что Федор нарочито отворачивается, и самому становится жарко, и сладко, и стыдно в свой черед. И не боится баба! Мужик услыхал бы ейный, шкуру спустил!

А княжна ушла в монастырь. Быть может, она тоже ждала, тоже хотела переступить роковой рубеж,

да и был ли он для нее столь роковым? Ей, может, и решиться было легче, чем ему, Федору, простому дружиннику. И не жена ли, рябая, некрасивая, удержала его от стремительного полета в ничто...

«Есь ли у тебя, добрый молодец, молода жена и есь ли у тя малы детушки?» Есть. И жена, и детки. Схоронив второго, Феня уже опять ходит на сносях. А первенец растет, лопочет, в каждый приезд виснет на руках, хвостом бегает сзади: «Тятя, тятя!» Хвалится: «Ко мне тятя приехал!»

Как там Ойнас-Яшка, пашет, поди? Осенью здорово помог Ойнас, вытянул всю страду. Мать в холопе души не чает: Яша да Яша! А Федору внове и стыдновато как-то: свой холоп! И кабы не падающее хозяйство, не пашня, не дом, что требовали себе мужика, чтоб безотрывно при деле... Ибо двум бабам — старухе матери да брюхатой жене,— как им огоревать эдакой дом! Потому, когда поскакали тогда от леса, он и настиг этого, как после узнал, Ойнаса, потому, сжимая зубы, замахивался клинком и не зарубил, а, оскалясь, вязал арканом поднятые руки, притягивал к стремени и гнал потом, зля себя, заставляя бежать. А вечером поил, не развязав рук, совал хлеб прямо в рот, боялся, что убежит. Ночью, проснувшись, ловил безотрывный тупой взгляд Ойнаса, упертый в огонь. Литвин не спал, и Федор все трогал клинок и, задремывая, спохватывался: не рубанул бы — и жизнь и полоняника потеряшь ни за что!

Ойнаса прошали продать, привязывались даже. Федор зло мотал головой, не отдал. На третий день литвин показал знаками, чтобы ему развязали руки. Он был без портов, в одной долгой рубахе. Шапку уронил тоже, когда бежал, и копье бросил. Когда Федор нагнал его на коне, был совсем безоружен. В Твери Ойнас обихаживал Федорова коня. Когда Федор усадил его впервой хлебать с ним щи из одной миски, впервые улыбнулся робко, недоверчиво потянулся ложкой. По-русски Ойнас почти не говорил, но что ему баяли, понимал хорошо. Постепенно узнал Федор, что и там, у себя, Ойнас был, почитай, холопом. Как-то ночью услышал, что тот плачет — верно, по дому. Федор сердито перевернулся на соломе, Ойнас замолк. Федору стало до жаркости стыдно за себя, но отпустить Ойнаса не мог. Разве за выкуп, но выкупа за него никто не давал, то ли господин его пал на рати, то ли не захотел

разыскивать и давать серебро за раба. Так Ойнас и остался при Федоре. В ближайший приезд Федор свез Ойнаса в Княжево. Составил обельную грамоту на него, как полагалось по закону, и передал матери: «Владей!» Та поджала губы. Присматривалась. Федор думал — откажется. Нет, верно, до того набедовалась без сыновей, что всякому была рада. Дядя Прохор приходил, пощурился:

— Боярином скоро станешь, Федюха?

— Не скоро, дядя Прохор! — ответил Федор как можно весело.— Мне до боярского житья плевать — не доплюнуть! — Помолчав, пояснил: — Мужика нет в доме. Без мужика беда.

— Да, Верухе без вас круто поворачиваться тут! — отмолвил Прохор и еще раз оглядел Ойнаса:

— Как звать-то?

— Яшей назвали! — отозвалась мать.

— Ну, Яшка, не горюй! Тут тебе лучше будет, чем на боярском-то дворе!

Тот заулыбался Прохору, залопотал что-то по-своему...

А осенью воротил хорошо. Мать довольна была. И говорить выучился довольно скоро. Ойнас был выше Федора на полголовы, шире в плечах и сильнее. Федор сам дивился потом, как легко забрал его в полон. Видно, был в гневе и страшен, да и тот уже безоружный бежал, а беглец редко дерется, там уж одна дума: жизнь спасти...

Яшка-Ойнас тоже проложил грань меж ним, Федором, и сельчанами.

Для людей — Яшка, для него самого — княжна. Княжна заставила забыть и ту, первую. И вспомнилось теперь спокойно, как о далеком, прошлом. Вспомнилось просто потому, что девки за селом на горке водили хоровод и пели знакомое с издетства:

Хожу я, гуляю,
Вдоль по карагоду,
Заинька, белая!
Хожу, выбираю
Себе младу милаю,
Заинька, белая!

Он ехал шагом, ловя привычные слова песни и краем глаза следя, как заворачивается в девичьем кругу плетень шуточных «родных».

Весел я, весел,
Со всема собралса!

Пели девушки. Потом начался «разгон»:

Я выпивши пива,
А тестю-то в рыло!

Федор усмехнулся. Тесть у него оказался неплохой. Приезжал, привозил бычка, Фене на саян зендяни. Советовал слушать свекрову — Федорову матку.

Я изъездивши коня,
А шурина со двора!

Пели, отдаляясь, у него за спиной девицы. Федор вспомнил, как советовал Козлу податься в зятья в богатый дом. Тоже бы, верно: «Выпимши пива, да тестю-то в рыло».

Козел-таки записался в холопы, теперь у Окинфа Великого правая рука. Ловок! В богатом платье ездит, в Орду завсегда Окинф его с собою берет главным толмачом... Через холопство-то и в бояре, поди, вылезет!

А тут (уже далеко издали доносились радостные девичьи голоса: «Я изъевши пироги, да тещу-то в кулаки. Весел я, весел, со всема расстался!»), а тут все то же, что и прежде, и так же водят этот хоровод, и так же насмешливо опевают... И с грустной усмешкой Федор подумал, что теперь это уже и к нему относится. Вот он «вылез», поднялся — куда? Влез повыше, а какой-нибудь Окинф Великий и в дому не всегда примет, на крыльцо выйдет баять, а уж князь — и говорить нечего, добро, что запомнил в лицо. Куда он вылез? Оторвался скорей! А они все те же, и так же и при дедах-прадедах, и тогда, до Батыя, и при Юрии, и до Юрия, и тогда, когда Велесу кланялись еще... Ну, тогда, почесть, такого и не баяли. Незачем было. Всяк оставался у себя в роду, в принятые не лезли! А потом пришли князья, обложили данями, построили города, храмы. А потом явились татары... Не важно, как взята власть. Важно, как после себя ведут. (Это уж Федор, всякого насмотрясь, начал понимать.) И не важно, наверно, сколь имеешь добра. Важно, как и кем защищено оно, это добро. Отчего и самое главное не добро, а власть! Это главное, это самое важное. Кто сумеет обещать, чтобы дом был цел, чтобы не сгорел хлеб, чтобы тать не пограбил клеть и ворог не увел скота и детей. Чтобы баба рожала не на снегу, а в теплой избе, чтобы

было молоко для детей и мясо для мужиков, и не подаренное, нет! Сами наработают! А — сбереженное чтоб... Дак пущай и татары, да хозяева! А в Орде война. Второй год замятня. Тохта на Телебугу. Потом Ногай убил Алгуя и Телебугу. Сказывают: прикинулся хворым, заманил и убил. Теперь, слышно, Ногай и с Тохтою в ссоре. Тоже и степи не поделят!

Набежало облако, потянуло холодом.

Победит Тохта, как говорит Козел, Окинфов прихвостень, устоит ли тогда и его, Федорово хоромное строение? Давно ли князь Андрей с татарами зорил Переяславль!

Гроза, однако, будет. Ма́рит с утра!

Федор, озрясь на небо, где вставала, неведомо отколь взявшаяся, густо-сизая, в основании словно клубящаяся туча, застегнулся и пришпорил коня.

Дома Федор узнал, что у князя Дмитрия в Орде умер младший сын, Александр, оставленный отцом при Ногае.

Княжича все знали. Помнили в лицо, молодого, красивого. Бабы плакали. Соседка сказывала, причитая:

— Я-то наревелась! Такой-то был славный, такой приветный!

Про то, что давешней грозой в Криушкине убило знакомого мужика, говорили куда меньше.

Злую весть подтвердил прискакавший Козел. Вошел, независимо цыкнул, поплевал на пол. Расселся, не сняв шапки. И Федор во все время разговора мучился от того, что сказать другу про шапку было совестно, да еще подумает, что гнушаешься им, в холопстве-то, и Федор перемолчал.

Как умер княжич Александр или даже был убит кем, было неясно. Но Федор, как и все, знал, что именно его, а не Ивана прочил великий князь себе в наследники. «Что будет теперь?» — гадали мужики.

Ойнас встретил хозяина приветливо. У него, как скоро узнал Федор (Феня рассказала вечером в постели), завелась на селе сударушка, вдовка, «и с того Яшка веселый стал». Ну, добро!

Мать как-то усохла, стала костистей и словно меньше ростом. У нее нынче выпали три зуба впереди, и в улыбке обнажались пустые десны. Феня ходила напоследях, лицо — в коричневых пятнах, особенно не-

красивая и беззащитная. Федору стало жалко ее. Назавтра он преподнес ей золотые сережки:

— Тверская княжна подарила для тебя!

Феня даже рот открыла, с ужасом подержала в руке, хотела примерить, но вдруг положила назад и заплакала. Сережки смотрела мать. Тоже примерила. Достала свою праздничную, шитую серебром головку:

— С простым повойником и не оденешь!

Гляделась в медное зеркало. Сережки даже и ей казались слишком дороги, хоть мать и умела носить дорогое. Наконец сняла, протянула снохе:

— На, держи!

Феня спрятала серьги, так и не примерив.

Грикшу нынче Федор не увидел. Старший брат по делам архимандрии был в Москве, у князя Данилы. «Налажал князю монастырь», как объяснила мать. Федор не очень понял, но из расспросов выяснил, что брат вроде собирается даже и перебираться в Москву, где стараниями князя Данилы устроялась архимандрия, и подивился: ему казалось, бросить навовсе родной Переяславль, свой дом, свою деревню решительно невозможно. Да и с какой стати от великого князя перебираться к удельному? Грикша, видно, тоже что-то учуял еще прежде других. Невесел оказался нынешний приезд Федора в Переяславль!

ГЛАВА 81

Рано утром Федор вздел самое дорогое платье и перепоясался. Ойнас уже приготовил коня и теперь ждал, держа Серого в поводу. Феня вышла, переминаясь, поддерживая живот. Вот уж не похожа на боярыню! — подумал Федор, вдевая ногу в стремя. Простившись с ней и с матерью, что всплакнула напоследок по молодом княжиче, кивнув Ойнасу, он выехал со двора. Явиться следовало к Гавриле Олексичу или к его сыну Окинфу Великому, что все чаще замещал отца в делах и даже в великокняжеской думе, а уж вместе с ним — ко князю Дмитрию.

Окинф вдосталь продержал Федора на сенях. Величается поболе князя самого! Наконец вышел — большой, с головы до ног облитый золотом. Подмигнул, и Федор принужденно улыбнулся (боярин явно считал, что проторчать у него в хоромине битых два часа —

великий почет). Потом постарался насупить брови, изронил:

— Горе-то великое!

И все слуги, горохом высыпавшие вслед за господином, понурились и склонили головы.

— Да, горе,— ответил Федор.

Окинф внимательно глянул на посыльного, посопел, откашлялся. Ему подали дорожный вотол (проехать было несколько шагов, по городу), и все стали спускаться с крыльца. Кто-то из холопов стал на колени у стремени и наклонился, чтобы боярин мог наступить на него, усаживаясь на коня. Федор едва выдержал, хотелось ускакать вперед. (Не приведи Господь! Верно, что лучше в лаптях на княжом дворе, чем в красных сапогах на боярском!)

Шагом выехали. Шагом — слуги бежали вслед и по сторонам — повернули на Красную площадь. Тут Окинф нежданно пустил коня вскачь, и Федор едва успел сделать то же. В несколько прыжков они были у крыльца и, круто осадив взоржавших скакунов, слезли с коней. Окинф тут уже не воспользовался услугами холопа, слез сам, и довольно ловко, так что и снова Федор едва успел повторить движение Окинфа и оказаться одновременно с ним на земле. Стража, как это всегда было, когда Федор входил гонцом к любому князю, не остановила их вопросом: кто таковы? Окинфа Великого все знали в лицо. Дмитрий тоже принял их не стряпая.

После уставных поясных поклонов (Дмитрий встретил их стоя, но сразу сел в кресло, как подобало князю) Окинф, по приглашению великого князя, уселся, а Федор продолжал стоять, но князь сделал знак рукой, и он сел тоже — дело было беседное, не посольское.

По тяжелому, какому-то мертвому на этот раз, в отечных мешках под глазами лицу великого князя, по его словно под гнетом полуопущенным плечам и тяжело и бессильно брошенным дланям Федор понял, что про смерть сына князь уже знает и весть эта ему безмерно тяжка.

Когда Федор, спрошенный в свой черед, сказал, что Михайла Тверской хочет, кажется, отказаться от великокняжеской помочи и отослать всех переяславцев назад, князь Дмитрий только устало кивнул головой. В глазах его не зажглось былого грозного огня, и

руки не сжались в кулаки. «Что Новгород?» — спросил он, но и тут ясно было, что мыслями князь далеко от новгородских, как и любых других, дел.

Что-то жалкое и бесконечно усталое на миг проглянуло в лице Дмитрия, когда Окинф передал, что тело княжича ради весенней распуты задержалось в пути.

— Что отец? — спросил Дмитрий Окинфа.

— Батюшка нездоров зело! — ответил тот совсем иным, чем в своем тереме, не звонко-раскатистым, а сдержанно-участливым голосом. Федор подумал вдруг, что все, что сказал или скажет Окинф, одна сплошная ложь. Ложь, что он горюет о смерти княжича, ложь, что думает о делах княжьих, ложь и то, что старый Гаврило Олексич болен — верно, и тут у них какой-то свой и вряд ли добрый умысел.

— Поезжай на Клещино! — сказал Дмитрий и замолк. Федор коротко глянул в застывшие глаза князя и тут же стремительно отвел взгляд.

— Поезжай,— продолжал Дмитрий, справившись с собою,— привези Ивана. Тотчас! Оба поезжайте! — прибавил он, подымая голову. Окинф с Федором встали и, пятясь, покинули покой. От двери Федор еще раз взглянул на великого князя. Дмитрий сидел, глядя в безмерную степную даль, мимо и сквозь них, куда он отправил живого, юного, полного сил сына, надежду и веру свою, и откуда ему везут и никак не могут довезти мертвое распадающееся тело... И уже, верно, не видел ни Окинфа, ни Федора.

Ехали верхней дорогой. Там и тут виднелись пашущие мужики. Над черной перевороченной землей курился парок. Грачи тучами вились над полем, переваливаясь, бежали по пашне следом за лошадью, выклевывая жирных червей и личинок. Озеро блестело и будто плавилось на солнце. Обдувало ветром. Окинф мигом повеселел и зорко оглядывал округу, и Федору было неловко и стыдно за этого боярина, что был правою рукой князя Дмитрия, а гибелью княжича Александра едва ли не доволен даже... «Или с Андреем снюхался?» — зло думал Федор.

Ивана Дмитрича не оказалось в терему. Слуги сказали: «Уехал!» И махнули рукой в поля. Тронулись разыскивать княжича.

Переехали овражек, небольшой лесок, что клином тянулся от Княжева, и — Федор уже знал почему-то,

что именно здесь,— увидали Ивана за необычным делом. Он, сойдя с коня и отстранив хозяина-ратая, пахал на крестьянской лошади. Дружинники и слуги, кто верхом, кто спешившись, смотрели молча на княжескую блажь — не то забаву, не то, похоже, взаболь. Кони странным образом слушались Ивана. Княжич старательно и чисто вел борозду. Окинф направил коня прямо по пашне и еще издали прокричал с чуть заметной издевкой в голосе:

— Пашешь, князь?

Иван остановил коня, вглядываясь из-под ладони в подъезжающих всадников. Федор давно не видел княжича и поразился его худобе и какому-то особенному отрешенно-внимательному взгляду его глубоких бледно-голубых глаз.

— Али холопов мало? — продолжал Окинф в том же глумливо-добродушном тоне, кивая на Иванову свиту, что стояла поодаль.

— Холопы есть! — с хрипотцой негромко ответил Иван и оглянулся на своих. Он не мог бы словами связно пояснить, зачем он это сделал. Не потому же, что богдыхан далекого Чина проводил плугом первую борозду! Он, Иван, князь народа-хлебопашца. Народа, что ездит на рабочих лошадях, которые никуда не годны в бешеной мунгальской скачке, но знают слово «борозда», будто родились людьми, тянут плуг в мыле от усилий. И люди его народа работают тут, за год вперед рассчитав все, а не живут одним днем, от набега к набегу, да стадами молочных кобылиц. И вдруг он, князь, должен скакать по полям и рубиться в сечах? Он князь, глава, значит, и тут, в страдной работе этой, должен быть тоже напереди! Мужик и дружина стояли почтительно, пережидая прихоть господина. Он никому ничего не объяснил.

Иван отер холодный пот, от слабости выступивший на челе, и оставил рукояти сохи, тотчас услужливо перехваченной дворским, и заметил оттенок снисхождения у того, когда передавал соху мужику: «Гордись, мол, сам князь изволил прикоснуться!» Он никому ничего не объяснил...

— Здравствуй, Окинф! — сказал он просто, и боярин, соскочив с коня прямо на пашню и утонув по щиколотку роскошными алыми сапогами в жирной земле, тут только скинул шапку и, поклонясь, молвил негромко:

— Батюшка кличет. Велел, тотчас чтоб...

— Хорошо,— ответил Иван, перевел задумчивый взгляд с Окинфа на Федора и повторил совсем уже тихо: — Хорошо...

Он намеренно прятался от отца эти дни. Ждал и не хотел этого разговора. Погибнуть, умереть должен был он, Иван, а не Александр, не Саша, который должен был жить, должен был заменить великого деда, продолжить с годами труд батюшки...

Иван любил отца, и, любя, не хотел увидеть на его лице этого неизбежного, как он был уверен, немого вопроса: «Почему не ты?»

Он медленно оделся. Застегнул кожаный с серебряною отделкой пояс, единственное княжеское украшение во всей своей одежде. Сел на коня. Слуги, уразумев, что княжич едет к отцу, кинулись отчищать его сапоги. Иван подождал, пока они кончат, вдел одну и другую ногу в стремена, глазами указал четверых из своей свиты, произнеся негромко: «В Переяславль!» Коня Иван не понукал. Кони под ним шли сами так, как ему было надо, и этой его особенности, которой он сам не придавал ровно никакого значения, больше, чем всякой другой, больше чем научению книжному, дивилась Иванова дружина, слуги и все, кто его знал, даже народ в соседних деревнях.

Подъезжая к Переяславлю, Иван словно закаменел лицом. Ему по-детски захотелось остановиться на полдороге, у Никитского монастыря, и заглянуть в церковь, просто зайти, и преклонить колена, и осенить себя крестным знаменьем — больше ничего. Но он сдержал себя. Только уже у Переяславских ворот тронул серебряный крест на груди и сказал одними губами:

— Господи, в руки твои предаю дух свой!

У княжого терема на Красной площади его уже ждали. Приняли коня, помогли опуститься с седла. Иван всходил на высокое крыльцо, а следом, поотстав, тяжело ступал боярин Окинф. У дверей думной палаты, где (знаками указали ему придверники) был сейчас отец, Иван остановился и непривычно твердо посмотрел в глаза Окинфу:

— Ты пожди!

И Окинф, будто напоровшись на что-то, остоялся и начал медленно наливаться бурой злой кровью.

Иван плотно притворил дверь, помедлив мгновение (было страшно поглядеть на отца), обернулся. Батюшка

не сидел, как он думал, а стоял и смотрел на него. Иван напряженными связанными ногами подошел к отцу. Дмитрий вдруг сделал какое-то неверное движение, словно шатнулся встречу, а Иван увидел смятенное, несчастное лицо отца и понял, что тот если и укоряет кого, то только себя, а его, Ивана, ждет словно последнее спасение свое. И поняв это, Иван кинулся к отцу, а отец обнял Ивана и зарыдал. И Иван заплакал, пряча лицо на отцовской груди, повторяя только: «Батюшка, батюшка!» А Дмитрий шептал: «Сынок, сынок мой, Ванюша, Ванюшенька!» — и тискал Ивана, и слезы наконец лились, лились, раня и облегчая грудь. И хорошо, что придверная стража там, снаружи покоя, скрестила копья перед лицом Окинфа и еще двоих великих бояринов, так как по глухим, едва доносившимся из-за толстых дверей звукам поняла, что к великому князю не можно и не должно сейчас пускать даже и самых ближних советников.

Они стояли на заборолах городской стены. С озера дул ровный прохладный ветерок. Вдали маячили рыбачьи челны. Слободские избы рыболовов густо лепились почти от самого вала вплоть до воды. Только этот конец Переяславля и не скудел народом. Оттуда, из-под Никитского, и с того конца, что у Горицкого монастыря, изб стало много помене, там и тут появились проплешины от разобранных за ненадобностью клетей. Город пустел, несмотря на все старания Дмитрия. Люди уходили туда, где можно было спрятаться, уцелеть, пережить. Еще больше пустел стольный Владимир. И, глядя на эти проплешины, у Дмитрия бессильно опускались руки. С людьми уходила сила. С силой — власть. Уходила, отливала куда-то, в леса, к Угличу, Ростову, Твери, Ярославлю, Москве, и туда, за Волок, за Шексну, на Мологу и Сухону... Происходил неслышный, как просачиванье воды, уход жизни.

— Тело не привезут?

— Гонец был... Верно, там схоронят...

— Лучше бы все же со мной...

— Бога ради! Прости меня, Иван, я виноват, я, только я, во всем!

— Никто не виноват, батюшка! Пути Господни неисповедимы.

— Господни пути... Ты знаешь, я иногда думаю, что

в чем-то согрешил, в чем-то таком, за что не простится никогда. Все рушится окрест меня, как сухой песок... Я ведь и тебя позвал... Я хочу... Ты только пойми меня, сын. Ты теперь один у меня, один! Ты... Не перечь мне. Я должен... хочу... тебя женить.

— Батюшка, ведь ничего нельзя изменить в судьбе!

— Иван, молю!

Дмитрий вдруг тяжело рухнул на колени, охватив сына и прижавшись к нему головой.

— Один, один! — повторял он в забытьи.

— Встань, батюшка, встань! — шептал Иван.— Дружина, увидят... Хорошо, пускай, хорошо!

Дмитрий тяжело поднялся, прислонился к заборолам, закрыв рукавом лицо. Они долго молчали. Наконец Иван вымолвил с усилием:

— На ком, батюшка?

— На ростовской княжне,— глухо ответил отец.

ГЛАВА 82

Ростов за последние годы как-то незаметно погрубел. Город был по-прежнему многолюден и даже шумнее прежнего, но что-то тонкое, древнее, устойчивое невидимо отхлынуло, раздробилось, потускло в круговерти ростовских княжеских переделов, татарских наездов и народных смут.

То старинное благолепие и благородство, что сохранялось, пока была жива княгиня Мария Михайловна, начало рушиться после ее смерти, но еще продержалось десять лет, пока не умер Борис Василькович, добрый, нерешительный и слабый, отчаянно пытавшийся сохранить последнее, что у него оставалось: «вежество» и высокий строй души. Но ежечасно оказывалось, что перед лицом силы, тем паче силы торжествующей, как ни замыкайся в себе, как ни отделяй свое, родовое, домашнее от внешнего, грубого,— внешнее влезет и размечет весь хрупкий строй прежней жизни. Где милые сердцу утехи, где изящество княжеского застолья, выдержанная беседа, почасту со знатоками книг, скромными, но мудрыми книгочеями из разных земель? Когда за столом ордынский грубый посол, когда жадная татарва рыщет по городу, когда волнуется чернь и торг ежечасно грозит вспыхнуть свирепым мятежом?

После смерти родителей Дмитрий Борисович с какой-то удивительной даже легкостью отказался от всего, что отличало и выделяло ростовский княжеский дом. Он уже не ездил один по улицам, ледяными глазами глядя поверх горожан. Дружина и справа и слева, бирючи и вершники впереди скакали, сопровождая князя в редких поездках по городу. Расточилась, растаяла, растеклась по монастырям знаменитая библиотека князя Константина, что еще была, еще существовала при епископе Игнатии, но уже никто не пользовался ею, ибо никто не дерзал вступить в княжеский терем, полный нынче дружинниками, лязгом оружия и ратных грубых кликов. Тут пили да играли в зернь, но уже не чли книг. И книги стояли молчаливые, плотно смежив кожаные тяжелые переплеты. А с улиц, прилежащих дворцу, и с площади перед теремом исчезли те редкие лица скромно и даже бедно одетых людей, на челе которых меж тем лежит печать особой духовности,— лица книжников, философов и мыслителей, лица с глазами глубокими и взглядами как бы внутрь, в себя устремленными, в себя и в историю, лица, в коих отразилась мудрость столетий, лица хранителей памяти народной, запечатленной в книгах и харатьях, лица людей, без коих народ лишается прошлого и теряет грядущее свое. Перестала звучать греческая речь вперемешку с вычурной, книжно украшенной славянской, утихли споры о пресущественном, о «филиокве», или о предвечном бытии... И площадь, и улицы потускли без них, без этих робких мыслителей, выцвели, заплыли, опростели. Улица стала вседневной, городской обыватель и купец заполнили ее без остатка. И, странное дело, ведь мало же было их, «этих», и словно бы и не видны были они, а как без них изменилась, как огрубела толпа!

С приходом нового епископа Тарасия три года назад, остатки княжеской библиотеки были забраны в книжарню Григорьевского монастыря, и уже туда, в монастырь, собирались приезжие книгочеи.

Дмитрий Борисович в ссорах с братьями не ведал о том или был равнодушен к духовному оскудению Ростова. Да и всегда-то мудрость книжная, что перестает отвечать насущному, выходит из жизни очень скоро, становится даже отяготительной для самих прежних носителей ее. Он старался не вспоминать о навычаях старой бабки своей, а ведь ему было уже семнадцать лет, когда умерла Мария Михайловна! Казалось, доста-

точно, чтобы запомнить на всю жизнь. Но жизнь безжалостно уносит ненужное в суедневной борьбе. Так когда-то умирали последние античные мыслители-язычники среди чуждого им мира христиан и перед смертью, отринув веру отцов, крестились и принимали монашество. Так римские патриции, отказываясь от изнеженности гордых предков, переобувались в солдатские сапоги, инстинктивно перенимали культ силы, которой поклонялись тем больше, чем меньше ее имели на деле. Слабеющий Дмитрий Борисович, ссорясь с братьями, собирал и собирал добро, копил ратников, хотя не мог бы сказать, для чего и против кого. Татары то и дело переполняли Ростов, и с татарами он был дружен и мирен, а для того, чтобы лавировать меж Дмитрием и Андреем, нужны были скорее новгородские серебряные гривны, чем ратная сила.

Князь Андрей, постоянно бывавший в Ростове, и Дмитрий не замечали происходивших тут изменений. И только Иван страшно поразился переменам. Он помнил Ростов когда-то, мальчиком. Помнил умные застольные беседы, книги. Теперь его встречали лязг оружия и ражие морды ратников. А в тот миг, когда он узнал о разорении знаменитой библиотеки князя Константина, Ростов погиб для него окончательно. Он уже холодно взирал на палаты и храмы. Шевельнулась мысль, что отец его не так уж и не прав, что таким вот людям,— не сумевшим сохранить святыню,— ничего и не остается, кроме ярма, насилия, ежечасно карающей их жезлом железным силы. Иван отчужденно озирал омертвевшие для него покои княжеского дворца, кирпичное и белокаменное великолепие, и уже знал, что и оно недолго простоит: пустая скорлупа, в которой изгнил высокий дух, некогда ее наполнявший и питавший. И уже примечал он те легкие, чуть заметные изменения быта, что отмечали огрубевший вкус ростовского князя: варварскую роскошь там, где была строгость истинного великолепия, и то, что пирующий с дружиной ростовский князь не царил, а как бы сам опускался до уровня дружины...

Жениха с невестой показывали друг другу. Ростовская княжна выходила в разных уборах и платьях — «казала сряду». Иван смотрел на чужую ему высокую девочку, и в нем невольно разгоралось незнакомое и тревожное чувство, от которого он уже думал отказаться совсем. С робким удивлением ловил он пугливо-лю-

бопытные взгляды будущей жены. Потом смотрели приданое: дорогие паволоки, бархаты, меха и драгоценные сосуды. Иван пожалел в душе, что тестю не пришло на ум приложить несколько редких греческих книг из собрания прадеда. Он между делом сказал об этом отцу, но князь Дмитрий принял слова сына за шутку и только улыбнулся в ответ.

ГЛАВА 83

От многолюдства, долгих пиров, чужих беззастенчивых глаз, неприятного соседства Федора Ярославского и тяжелого — дяди Андрея, от шума и криков у Ивана разболелась голова. Он уже томился и тосковал по своей холостой келье на Клещине, по любимым книгам, что были для него словно чистые окна в иные миры. Но еще долго нужно было терпеть и блюсти распорядок княжеских торжеств. Венчание назначили во Владимире, первую кашу чинили в Ростове, а большой стол уже в Переяславле — так были соблюдены достоинство и сложные родовые отношения обоих князей.

Данил Лексаныч не был в Ростове и приехал только уже во Владимир, к венчанию. Он дружески улыбнулся Ивану, поздравил и хвалил невесту от души. Иван нашел, что в дяде прибавилось дородства, щеки слегка набрякли и большой нос стал как-то рыхлее и мясистее. Он был еще крепок, но уже не молод, мальчишечье, то, давнее, отошло. Хозяйственные и деловые заботы, чуял Иван, не отпускали его ни на миг. Данил тоже поднес подарки и тоже драгоценности и рухлядь. Но среди прочих даров поднес и небольшую ветхую книжицу в темном переплете. Иван принял ее смущенно-радостно. Книга была обернута в шелк.

— Тебе вот! — сказал Данил и улыбнулся по-старому, по-детски.— Не знаю уж, а молвят: редкая. Из Чернигова привезена!

Иван открыл: это был изборник, с толкованиями на Дамаскина, четвертой беседою Иоанна Златоуста на первое послание коринфянам, сокращенным «Словом святого Григорья о том, как, поганы суще, языци кланялися идолам и требы им клали»,— где после еллинских богов поминались и русские языческие: Род и Велес, Мокошь и Хорс с Перуном. Кончался изборник выдержками из Фотия и сочинением Василия Кесарийско-

го «О том, како молодым людям извлечь пользу из языческих книг». Рукопись, и впрямь, была редкая. У Ивана потеплело на душе. Как дядя, не бывши знатоком книжным, раздобыл такое сокровище? Но Данила пояснил тут же простодушно:

— Ко мне боярин прибежал из Чернигова, из великих бояр, Федор Бяконт прозванием, с женой, с Машей. Осели у меня, на Москве. Дак сколь книг навезли! Полдня из саней доставали. Тяжелые книги! Я и попросил для тебя, объяснил, что ты книжник. Федор Бяконт, значит, сам уже и подобрал...

— Принимаешь новоселов?

— Принимаю. Бегут! Нынче вот уже и великих бояр почал принимать. Бяконт, тот умный. Москву ему поручу. А то все по ратному делу, а у суда, у мыта и нет никого. Протасий, тот с полками больше! А этому и добро постеречи, и гостей и послов принять, все может, и мастеры, каменосечцы черниговски, приехали с им. Теперь церкву каменну буду класть у себя, в Кремнике. По нраву ли книга?

Иван, зарозовев от смущения, раскрыл подарок и прочитал вслух: «Радовахуся я, видя, как одни изощряли свой ум наукою чисел, как другие исследовали истину с помочью философии... Учение не пропадает бесследно, знания слагаются в убеждения, в юных умах зарождаются идеалы жизни, в молодых сердцах зажигаются искры возвышенных стремлений, и на поприще истории являются великие нравственные силы».

Данил усмехнулся, покачал головой.

— Да! Без грамотных людей никакого большого дела своротить не мочно! Я уж и то при Данилове монастыре училище открыл, пущай учатся!

И за брак похвалил его Данила:

— Всё мужичье дак! А тут княгинюшка в доме. Ряд наведет. И дети, без их нехорошо. А так: растут, пострелята! Глядишь, и жисть с ними идет, не прерывается... Я Юрия в Новгород услал, учить. Уже третий год. Ничего, добре учат!

Из Владимира ехали длинной разукрашенной процессией. Жених, отец, тысяцкие, бояра, дружки... Князья верхами, княгини и молодая — в возках. Мужики выходили к дороге, подносили хлеб-соль, поминки. Молодая ростовчанка, алея лицом, принимала дары.

Хлеба наливались и кланялись проезжающим всадникам. В небе звенели жаворонки. Лето пышно отцвета-

ло, и первое осеннее золото уже проглядывало в густой тяжелой зелени дремлющих в горячем воздухе дерев.

Иван ехал рядом с Данилой, и тот рассказывал про свое хозяйство, про новые села, про то, как правит суд на Москве и какие смешные бывают жалобы, особенно ежели судится родня. Он рассказал несколько таких дел, и Иван невольно тоже рассмеялся. Данил усиленно звал в Москву погостить вместе с молодой женой.

— Не хотел я жениться! — вдруг признался Иван.

Данил вздохнул, поглядел скоса на племянника, подумал:

— Отцу-то, конечно, нать. А и тебе...— Он помолчал.— Пусть уж будет и у тебя, как у всех людей!

Иван покраснел, опустил голову. Дядя и тут его понял. По-своему, а понял, и просто так решил. «Ну что ж! — подумал Иван.— Да не минет и меня чаша сия, пусть будет, как у всех людей!»

Дядя Данил ехал, задирая бороду. Оглядывал поля.

— Хлеба нынче хороши! — хозяйственно заметил он.— Добрый будет хлеб! Анбары надо перекрыть наново! — И на недоуменный взгляд Ивана пояснил: — Много хлеба — стало, зараз не продашь. Нать его сохранить, не попортить. Дождь чтоб не замочил и мышь не поела. Я уж и то житницы на столбах с подрубом ставлю, от мыши так способнее. А то — зерно хоть в глиняных корчагах храни!»

ГЛАВА 84

Князь Андрей Александрович после смотрин хотел задержаться в Ярославле у Федора Чермного. На свадьбу племянника в Переяславль ехать ему совсем не хотелось, хоть он и знал, что обидит этим Дмитрия. Но меж ними было уже столько обид, что одной больше, одной меньше — не значило ничего. С Федором Ростиславичем надлежало обсудить дела ордынские, которые складывались, кажется, не в пользу Дмитрия. Тохта, утесняемый Ногаем, по-видимому, что-то начал замышлять. Передавали о семейных неурядицах; о злобе хатуней; о том, что сыновья Ногая, Джека и Тека, стали ненавистны большинству ордынских вельмож; что убийство эмиров Телебуги, на котором настоял Ногай, возмутило многих в Орде... Стареющий всесильный темник, которого на Руси и в Византии называли царем, начинал

терять свое безусловное влияние в Сарае. Сверх того, Орда нынче зорко следила за русскими делами и, кажется, не собиралась позволять слишком усиливаться великокняжеской власти, чья бы она ни была. Андрей не думал при этом, что, стоит ему взобраться наверх, подозрительность Орды тотчас оборотится против него самого. В злобе на брата он дальше свержения Дмитрия уже ничего не видел и ничего не загадывал.

В Ярославле его и застали гонцы из дому, что напрасно промчались до Ростова, разминувшись с князем всего в нескольких часах. Гонцы были от Феодоры, что давно уже не вставала с постели и звала теперь мужа «на последний погляд».

Дворский передавал Андрею, что княгиня совсем плоха и чтобы князь торопился. Андрей по лицам холопов понял, что дело плохо. Ему вдруг стало страшно. Гнев, быстрый, беспричинный, как всегда, и тут оборотился против Дмитрия, словно нарочно затеявшего свадьбу сына при смерти Феодоры. Он тотчас, оставя дела, устремился домой.

В городецком тереме стояла тишина. Ходили на цыпочках. Она ощущала эту немую тишину всей кожей. Феодора трудно закашлялась. На платке, который она отняла от губ, была кровь. «Грудная болесть у меня! Ничо не помогает, ни травы, ни наговоры...» Замученными, горячечно-прекрасными глазами она глядела в стену. Слезы душили ее. Жалко было себя, так жалко! Чуждым взором она обвела ненужную ей роскошь покоя: ордынскую и персидскую посуду, шелка и бархаты. Остановилась на укладке, долго смотрела. Приказала:

— Зеркало подай!

В блестящий полированный круг глянуло истончившееся, желтоватое лицо. И снова стало жаль себя, своих рожденных и умерших детей. На миг уколола острая зависть к сестре Олимпиаде. «Где Андрей?» — спросила она себя. (В горле заклокотала мокрота.) Откашлявшись, справилась, возвысив голос:

— Где князь?

— Посылано. В который раз,— отозвалась сенная боярыня. Феодора зло, молча, заплакала. Слезы катились по щекам на подушку.

Андрей приехал к вечеру третьего дня. Соступив с лодьи, сразу повел по лицам:

— Жива?

— Жива,— ответили.— Торопись, князь!

От пристани прискакал к терему. Потемневший лицом, взбежал по ступеням. Феодора лежала, берегла силы. Кровь горлом шла и шла. Знахари и армянский лекарь отступились, не могли ничего сделать. Княгиня таяла как свеча. Андрей, вступив в покой, шатнулся, увидя бескровное, прозрачное лицо-маску и огромные, жгучие, молящие глаза жены.

— Не пугайся, князь мой! — сказала, справившись, с жалкой и гордой улыбкой Феодора.— Избавлю тебя скоро. (Знала, что вновь к Андрею водили веселых женок,— простить не могла. Дождался бы ее смерти хоть!) Он пал на колени перед ложем. Феодора хотела заговорить. Закашлялась. Влажные бессильные пальцы ее ласкали разметанные по постели тронутые сединой локоны Андрея. «Милый! Злой! Родной! Зачем же, зачем же ты меня бросаешь! Зачем не спасешь! Ты ведь сильный, ты все можешь! Али надоскучила тебе? Али не люба стала? Унеси меня, на руках унеси, не хочу умирать!» А сама плакала, сцепив зубы, рот кривился от задавленных слов отчаянной просьбы. Андрей поднял голову. Она удивленно глядела и стала изгибаться в руках. Девка вбежала, захлопотали. С ужасом он смотрел в таз, где было полно крови. Феодора, откашлявшись, лежала, едва дыша. Подозвала его глазами. Девки опять отступили неслышно.

— Семена выдал...— прошептала умирающая.— И меня тоже. Почто деток нет у нас! Не любишь, не любил...

Андрей бешено затряс головой, скрипнул зубами от бессилия. А Феодора смотрела теперь как-то просветленно, и показалось даже, как когда-то давно, девушкой тем же лукавым, мимо скользящим взглядом длинных глаз под высокими писаными дугами бровей. «Не забудь...» — точно сказала, и губы приоткрылись, и к лицу прихлынул нежный румянец. Андрей смотрел потрясенно и не чуял, не почуял, что она перестает дышать. И только по холоду, вдруг одевшему дорогое лицо, понял, что уже не дышит. Он отошел, трясясь, плечи свело судорогой. Он дрожал и молча дергался, не разжимая губ. Такого одиночества Андрей не почувствовал даже тогда, при смерти Семена. Постепенно дрожь умерялась. Он распрямился. Косо поглядев на ложе, поднял непослушную руку и ударил в било. Вбежали

сенные боярышни. Загомонили. Раздался высокий женский крик. Князь круто поворотился и вышел из покоя.

После поминок, отпустив дружину, Андрей остался с избранными боярами. Молодой Иван Жеребец — Андрей, вперяясь, искал в нем черты отца, старого Олфера («И Олфера я выдал!» — подумал Андрей, глядя в преданные, какие-то всегда яростные, чуть сумасшедшие глаза младшего Жеребца). Поседевший и сгорбившийся, совсем не царственный, с потерянным лицом, тесть, Давыд Явидович...

— Что скажешь, Давыд, про дела ордынские? — Скрепясь, старый советник Андрея поднял голову.— Половину Нижнего забрал у меня Дмитрий! А вы? Что вы?! Что ты, Давыд? Что молчишь?! А ты, Иван? Есть ли у нас дружины? Князь ли я еще? Или все отшатнулись от меня?

И Иван поднялся:

— Приказывай, князь. Дружина ждет!

— И прикажу! — с угрозой произнес Андрей.— Прикажу,— повторил он тише,— после... Ты, Давыд, сам поедешь в Орду.

«Осени тоя (тысяча двести девяносто второго года), как сообщает летописец, бысть знамение страшно на небеси, стояше бо на воздусе, яко полк воинский, на полуденье, тако же и на полунощье, тем же подобием».

ГЛАВА 85

Злые вести на этот раз пришли из Орды. Хан Тохта восстал против власти Ногая и, говорят, одолевал.

Споры начались сперва о вере. Тохта не любил бесермен и позволил шурину удалить жену, принявшую «веру арабов». Ногай захотел вмешаться, Тохта не позволил, защитив шурина. Затем последовали споры о власти. Ордынские эмиры начали перебегать от одного к другому, как во время войны. Хан и темник требовали выдачи беглецов, и оба не уступали друг другу. Тохта, по-видимому, решил прежде всего лишить Ногая опоры на Руси, а это значило, что он обратится против великого

князя Дмитрия. К Ногаю на переговоры уехал Михаил Тверской, поручив свой город матери и боярам. Андрей с Федором Чермным и все ростовские князья с новым епископом Тарасием отправились к Тохте. Надвигалась зима, и наиболее дальновидные, ради всякого ратного случая, потихоньку зарывали в землю добро и хлеб.

Дмитрий, оставя княгиню у постели невестки, начал рассылать гонцов и собирать полки. Невестка, ростовская княжна, все не могла разродиться. Иван ходил потерянный, не думая ни об отцовых делах, ни о надвигающейся войне. С ужасом глядел в искаженное болью лицо девочки-жены. Его прогоняли от постели, где суетились женщины. Ребенок, моленный, жданный и отцом и дедом, перестал шевелиться. В страшных мучениях молодая княгиня родила мертвого. Повитухи объясняли, что сын задохнулся еще в материнском чреве. Иван винил во всем себя.

Великий князь, пересаживаясь с коня на конь, верхом прискакал из Владимира, где он укреплял город. Он уже вызнал, что князья в Орду пошли по совету Андрея с Федором Чермным жаловаться на него, Дмитрия. Полки собирались плохо. Дмитрий, оснеженный, с мокрыми от настывшего льда усами и бородой, прошел прямо к сыну. Иван сидел с мертвым лицом. Поднял глаза:

— Я говорил, батюшка: судьбы не переспорить.

Дмитрий прихмурился:

— Как жена?

— Матушка с ней,— ответил Иван.— Я не могу. Они молчали, и Иван, томясь, видел, что отец уже взял себя в руки, что он и нынче будет резаться за власть, и мучился, что должен помочь, поддержать его, и не мог: не было ни сил, ни воли.

— Я пройду к ней,— сказал, решившись, Дмитрий. Он вышел, шатнувшись в дверях. Иван подумал вдруг, что весь путь от Владимира до Переяславля отец, верно, проделал, не останавливаясь, и его обожгло: там город, рати, опять на Русь надвигается Орда, а он тут, со своею отдельною горестью... Иван встал. Тотчас закружилась голова, но он справился с собой.

Дмитрий, возвращаясь от невестки, столкнулся в дверях с сыном. (Та лежала, глядя огромными, беспомощно-укоризненными глазами, и Дмитрий ушел, не в силах перенесть этого взгляда, в котором было одно только жалобное: за что? Нет, не мог он ни утешить ее,

ни рассердиться за предательство отца, ростовского князя, который, ни во что поставивши родственную связь, всего год назад отпраздновав свадьбу своей дочери с его сыном, сейчас в Орде выпрашивает рать на свата. У него дорогою, пока гнал коня, где-то в душе шевельнулась даже жестокая мысль: не отослать ли теперь невестку к отцу.)

Они вышли.

— Прости меня, батюшка!

Дмитрий угрюмо отмахнулся:

— Ничего! Где Окинф?

— Гаврило Олексич, говорят, очень плох,— поехал к отцу.

— Пошлешь за ним. Не вовремя Олексич умирать надумал! — Дмитрий умолк. Задумался. Приказал: — Пускай Окинф собирает окольную рать. Городовую соберешь сам. Терентий тебе поможет. Я укреплю город — ворочусь. Понимаешь, уже никому не верю... Люди бегут, страшатся татар.

— Прошлую резню запомнили!

— Нынче будет хуже,— отозвался Дмитрий.— Ежели только Ногай не одолеет опять! Не знаю, Иван! Не знаю уже ничего. В Новгород послано, суздальский князь упрежден: ему из-за Нижнего с Андреем не сговорить. Быть может, меня самого еще позовут в Орду!

— Поедешь?

— Не решил.

— Удавят тебя в Орде!

— И это возможно. Все нынче стало возможно, сын!

Тяжелые, с набрякшими венами руки Дмитрия бессильно лежали на столе. Огромные руки. Иван, глядя на них, вспоминал, как отец ловко подбрасывал его, маленького, этими руками и, представя их бессильно уложенными в гробу, замотал головой:

— Нет, нельзя тебе ехать, батюшка! Убьют!

— Да навряд и созовут,— отмолвил отец.— Дак пошли за Окинфом. Терентию с Феофаном сам накажу. Что еще содеется в Орде!

ГЛАВА 86

Старый боярин князя Дмитрия, Гаврило Олексич, на этот раз захворал не на шутку. Был в беспамятстве, а когда пришел в себя, понял, что все — умирает. Он

созвал сыновей, Окинфа Великого и Ивана Морхиню, ближних слуг, дворского. На восьмом десятке лет и умереть было вроде пора. Прочли грамоту, боярин причастился, соборовался. Слуги, иные, плакали неложно. Холопам, что заслужили, Гаврило давал вольную, наделял добром. Отдохнув, попросил оставить его наедине с Окинфом. Прочие, теснясь, вышли из покоя. Гаврило оглядывал ражего, седеющего сына, что уже и сам имел сыновей, справных молодцов.

— Напиться подай!

Пил медленно, маленькими глотками.

— Болит, тятинька? — спросил Окинф.

— А ничо не болит. Вот руки не здынуть! Похоронишь... Пожди! Похоронишь когда, тотчас езжай к Андрею... Меня он не простит, за Олфера, а тебя примет. Ты ему надобен. Семью бери сразу. Митрий князь в гневе страшен...

Он помолчал, справился с дыханием, искоса глянул на сына.

— Помнишь, как еще по торгу ездили? Крестик ты тогды куплял. Жив тот крестик у тебя?

— Жив, тятинька! — ответил, улыбнувшись, Окинф.

— Вот...— Гаврило прикрыл глаза.— Что молвят? Татары где?.. Ты торопись... Татары близко... Нет, не выстоит!

— Кто, тятинька? — спросил, наклонясь, Окинф.

— Митрий, баю, не выстоит нынче, дак без опасу... Князь Андрей все воротит, и земли, и добро... Иначе погубит тебя Жеребец... За отца. Отца его я... На духу того не сказал... Олфера я убил! Душно... Пить подай!

— Умер он, сам умер, тятинька...— бормотал Окинф, поднося ко рту умирающего чарку с кислым квасом.— Ты того... батюшка...

— Нет! — Гаврило поклацал зубами о край чарки, отвалился. Помедлил: — Нет! — Ясно поглядел на сына строгими глазами: — Отравил я его. В шатре. Ивану Жеребцу не скажи...

Он снова заметался, вдруг начал вытягиваться, пальцы беспокойно заползали по одеялу.

«Обирает себя! — понял Окинф и тревожно оглянулся на дверь: — Не услышал бы кто!» Он низко склонился над отцом, придерживая его за голову, чтоб не метался. Тот вдруг захрипел, заоскаливался, выкрикнул:

— Олфер!

— Ну что ты, что, тятя, тятя! — звал Окинф. Ста-

рик успокоился, поймав руку сына, вдруг крепко сжал ее, аж до боли. Дрожь прошла последний раз по телу, глаза приоткрылись и начали быстро тускнеть. Окинф отер холодный пот со лба, дрогнувшей рукой закрыл глаза родителю и начал бормотать молитву. Дверь скрипнула. Иван Морхиня просунул в щель костистую долонь и большелобое, с рачьими глазами лицо:

— От князя срочный гонец!

— Скажи там,— не вдруг отозвался Окинф,— батюшка скончался!

ГЛАВА 87

Беда многоглавым Змеем Горынычем повисла над страной. Снег в этом году выпал рано, и сразу приморозило. Мертвые леса стояли темной игольчатой стеной вокруг белых озер — заметенных снегом пашен. Робко курились соломенные крыши укрытых снегом деревень. Редко заржет конь, проскрипят полозья. Мужик, озираясь, проедет, долго тревожно вглядываясь во встречного, и, узнавши, что свой, прокричит:

— Ково знатья? Татар не слыхать ле?

— Бают, у Володимера! — прокричит в ответ. И мужик, подумав, покрутя головой, решительно заворачивает коня к дому: бежать, так загодя, татары придут, поздно станет!

В михалкинском дому споры, ругань. Феня воет, прижимая маленького ко груди:

— Куды я с дитем!

Старший цепляется за материн подол, тоже ревет. Мать, поджимая губы, свое бормочет:

— Умру здесь! Набегаласи, когда молода была!

Федор сидит мрачный. Ойнас жмется у порога. Федору скоро в дело — объявлен сбор окольной рати,— а Грикши как на грех нет. Прислал весточку, зовет семью туда, в Москву, отсидеться. Хлеб и добро уже зарыты. Дядя Прохор с сыном давеча зашли. Прохор сильно сдал, прибавил морщин. Посидел, усмехнулся бледно:

— Я, как заслышу, что под Юрьевом, ждать не буду, за озеро — и в лес! На Горелом займище отсижусь.

— Вот и я с Прохором! — говорит мать.— А Феню отсылай, в лесе чадо поморозит.

— В дорогах боле тово! Москва не ближний свет! К батюшке уж лучше уеду!

— Татары придут, дак Берендеева николи не минуют! Лучше уж у московского князя отсидеться. Грикша при монастыре, дак и голоду не увидишь!

Феня опять начинает выть, но теперь уже с тоскливой безнадежностью, и Федор, поняв, что женка уступила, мысленно крестится.

— Только счас собирайтесь, не стряпая! С обозом монастырским успеть чтоб. Я до Гориц провожу! — как можно строже говорит Федор.

Ойнасу (ему везти Феню и детей до Москвы) на дворе:

— Вот, Яша. Сбережешь, по гроб жизни тебе...

— Не боись, хозяин. Мой сбережет! — отвечает Ойнас.

— Мамо, может, и ты?

— Не проси. Дом не оставлю. Может, и минет беда, а без глаза тут соседи и те покорыстуютце...

Там и тут скрипят осторожные возы. Потихоньку, подготовив шалаш в лесу, отгоняют скот, подале от ратных завидущих глаз. Впрочем, уезжает совсем — мало кто. На одних санях, с одной лошадью, да коли восемь ртов, куды кинешься?!

Деревни ждут, запорошенные снегом, курясь белыми дымками черных печей. Многоглавым Змеем Горынычем повисла над страною беда.

Князь Дмитрий прискакал в Переяславль уряжать рати. Уже известно стало, что хан Тохта послал на Русь своего брата Дюденя [1] в силе тяжце.

Филипповским постом татары, которых вели Андрей с Федором Чермным, подошли к Владимиру. Город открыл ворота Андрею Городецкому без боя. Владимирские бояре переметнулись к Андрею, как только узнали, что Тохта пожаловал ему, в обход старшего брата, ярлык на великое княжение. Андрей хотел вести татар дальше, но те потребовали платы вперед. Казна была пуста. Меж тем ордынцы пришли на Русь за зипунами и не признавали никаких уговоров. Многие даже и не

---

[1] Дюденева рать была зимой 1293/94 г. (возможно — зимой 1292/93 г.).

знали, какой русский князь, куда и зачем их ведет. Дома остались стужа, падающие от бескормицы стада, голодные жены и дети. Разряженные монгольские нойоны уже не могли, да и не хотели, сдерживать своих людей, оборванных, злых, раздраженных близкой добычей, уже разоривших по дороге сюда древний многострадальный Муром. Ордынский выход, что платили русские князья, оседал в руках хана и его приближенных, не доходя до рядовых ордынцев, вчерашних кипчаков и булгар, сорванных со своих мест и перемешанных властной мунгальской волей. Войско жило грабежом и от грабежа к грабежу. Войску была нужна добыча, а какой урусутский хан сядет потом на престол — не все ли равно! Да и сам царевич Дюдень не желал теперь отсрочек:

— Русский князь хочет стола — русский князь заплатит! — говорил он, посмеиваясь.

На четвертый день стоявшие под городом татары ворвались во Владимир. Андрей едва успел увести из города свою рать и убраться сам. Дмитрий Борисович с Константином в панике ускакали в Ростов — отсиживаться. Татары, как прожорливые муравьи, растекались по Владимиру. Не щадили никого, грабили горожан и бояр, обдирали церкви и монастыри. Во Владимирском соборе расхитили утварь и ризы, содрали оклады с икон, выломали даже и чудное медяное дно (плиты пола) в соборе.

Из Владимира татарская рать покатилась, пустоша все вокруг, дальше саранчой растекаясь по Ополью. Перед ней все бежало. Был взят и разграблен оставленный жителями Суздаль. Суздальский князь с дружиной, не оказав сопротивления, укрылся в лесах. Волна татарской конницы, зверея от грабежей, докатилась до союзного Углича и, невзирая на то, что Константин Борисович был вкупе с Андреем, разорила город вконец, уведя огромный полон и взяв откуп со всех, кто остался.

Волна войны катилась через Юрьев, оставленный без боя и тоже дочиста разграбленный, к Переяславлю. Ордынцы рвали добычу из рук друг друга, не щадя ни старых, ни малых. Андрей пытался что-то сделать, както направить татарский поток, но уже ничего не мог. Он послал на Переяславль Федора Чермного, и тот шел с полками позади татар, нигде не встречая противника. Отдельные боярские дружины, завидя своих, русичей,

выходили из лесу, сдавались Федору, абы сохранить жизнь, или переходили на сторону победителей.

Там и тут горели деревни, или подожженные татарами, или загоревшиеся сами от брошенного без призора огня сбежавшими в леса жителями. Встречу Федору Чермному попадались ополонившиеся татары, гнавшие перед собой русский полон: мужиков, скот, баб с ребятишками... Полоняники с жалкой надеждой глядели на проходившую мимо них ярославскую рать, и ярославцы зло сплевывали, отворачивали лица, ярили коней.

Федор Чермный ехал впереди полков, жадный, злой и счастливый. Всю жизнь он лез, лез и лез, яростно обдирая ногти, подличал, изменял, льстил, всю жизнь он ненавидел: братьев, что выгнали его из Смоленска; прежних ростовских князей, Бориса с Глебом, облагодетельствовавших его и после не пускавших на семейные торжества; властную пратещу, Марину Ольговну, пустившую про него обидную кличку «принятой»; ненавистную тещу Ксению, что чуть не выжила его из Ярославля; дурочку жену с ее безответной постылой влюбленностью; не любил и дочерей ее, не считал их даже своими и облегченно вздохнул, выдав замуж; ненавидел сына, которым пытались его заменить теща с боярами и которого он успел уморить прежде, чем князь Дмитрий собрался увезти мальчишку из Ярославля. Сына Федор ненавидел так, что даже теперь еще испытывал злое торжество от того, что успел-таки, что посланцы великого князя остались ни с чем и не получили от него ребенка (а с ребенком — ярославского княжения, обязательно тогда бы доставшегося сыну Марии, а не его, Федора Чермного, детям от второй, ордынской, ныне уже покойной жены). Он и ее, ордынку, любил не столько за нее самое, сколько за славу ее отца, хана Менгу-Тимура, и ярился, когда до него доходили липкие укоры: «Двоеженец, бесерменин».— «Самим бы так! Да руки коротки!» — Федор Чермный себя не считал двоеженцем. Венчали их в русской церкви, а что постылая Мария тогда еще не умерла... Умерла же она в конце концов! Могла бы и в монастырь уйти, коли на то пошло!

Теперь в руках у Федора соединились Смоленск и Ярославль. О, он покажет этим воронам, Всеволодичам, всем покажет! Взять Переяславль (обещанный Андреем), сердце земли, а там... От дальних планов у Федора кружилась голова. Хищно озирал он бредущих поло-

няников: «Ишь! Гонят, что скот! Поди тоже нос драли: мол, за самим за великим князем! Бараны!» Порою вглядывался, нагибаясь с седла, в какую-нибудь свежую молодку. От него шарахались с испугом. На шестом десятке лет Федор давно уже потерял свою прежнюю необыкновенную красоту. Заострился и как-то отвис нос, посеклись брови, недобрые складки избороздили щеки и чело. Не то рысьи, не то соколиные, когда-то завораживающие глаза князя теперь, обведенные тенью и сетью морщин, пугали пронзительным безумным блеском. Сластолюбиво выпяченные губы в серо-желтой неопрятной бороде были отвратительны. И более всего было отвратительно то, что сам Федор всего этого не знал, не видел, по-прежнему считая себя тем, давним, щеголем и покорителем сердец, каким он был когда-то, давным-давно, четверть века тому назад.

Дмитрий надеялся, медленно отступая, задержать, а быть может, даже и остановить татар. (Втайне он ждал помощи от Ногая, но тот, видимо, уже ничего не мог изменить и ничем не мог помочь своему русскому улуснику.) Но все было напрасно. Полки таяли, растворялись в лесах. Посланные в сторожу воеводы не возвращались или переходили к противнику. Облепленные снегом гонцы на загнанных лошадях привозили все новые вести об изменах и бегствах. Дмитрий и сам почти не слезал с седла. Возвращаясь, пьяный от усталости, узнавал, что без него из города бежали купцы, бежали бояре, бежали, почти не скрываясь, горожане. Переяславль пустел, и уже виделось, что его скоро́ станет некем и незачем оборонять. Городовые воеводы, что должны были забивать население в осаду, только разводили руками. Хмуро оглядывая обмороженные, с заиндевелыми бородами лица еще верных ему бояр, Дмитрий гадал, кого из них он не узрит назавтра. Окольную рать во главе с Окинфом он услал встречу татар, к Берендееву, и теперь ждал от него донесения о противнике.

Великую княгиню с ее боярынями и казной Дмитрий уже отправил на Волок Ламской с просьбой Даниле: оберечь его семью и добро. Туда же повезли и сноху, укутав ее в шубы и набив возок соломой чуть не до половины, чтобы не очень трясло.

Иван оставался с отцом. Он тоже помогал, как мог, объезжал дозоры и видел то же, что отец: бегство, бегство, бегство... В монастырях зарывали в землю, за-

муровывали церковное добро: книги, серебряные и золотые сосуды.

Поздно вечером они сходились с глазу на глаз, сын с отцом, и Иван с тяжелым отчаянием глядел в обмороженное лицо отца, только теперь по-настоящему понимая, как тому трудно было всегда, всю жизнь, держать князей, собирать дани, ублажать татар, укрощать Новгород, связывать воедино распадающуюся Владимирскую Русь.

...Свечи слегка потрескивали, оплывая. Отец горбился за столом. Длинные тени ходили по стенам. Тяжелое молчание висело в палате. Дмитрий поднял голову:

— Ты здесь, Иван? — Он, оказывается, даже не заметил прихода сына.— Ты один? — спросил он снова.

— Один, батюшка.

— От Окинфа нет вестей?

— Еще нет.

Молчание. Отец тяжело дышал, рука безотчетно комкала дорогую камчатную скатерть.

— Чего они все хотят?! Дань тяжка? Татарский выход не люб? Андрей, что ль, али Федор Чермный не станут платить дани Орде? Еще того боле, на брюхе ползать будут перед Тохтой! Снова данщиков да бесермен-откупщиков посадят себе на шею! Федор Чермный, тот любому бесерменину али жидовину всю Русь продаст, не вздохнет! Еще радоваться станет: выгодно продал! Того не понимают, что ль?! Великий князь им не люб? Да без великого-то князя, без главы единой, почнут их зорить кажен год, вон как Рязанскую да Курскую земли зорят! И станут они грызть друг дружку да доносить брат на брата, а в Орде станут их душить, стойно кур... Этого хотят?

Я жесток? Многих ли я жизни лишил? Семена? Дак не сгуби я Семена, и остатних нам не видать бы спокойных-то лет! Этого не видят? Федор Чермный им дороже, что сидел в Орде столько лет, вымаливал погрому на родную землю? Может, татары им нужны? Как в Орде, чтобы и языка ся лишили русского, на татарскую речь перешли... Того ждут? Бросить веру, заветы отцов и прадеднюю славу... Самих себя начнем презирать!

— Вера христианская в смердах еще зело некрепка, батюшка! Гляди, у нас и то, на Клещине, мерянским обычаем Синему камню служат.

Дмитрий поднял воспаленные бессонницей и режущим ветром глаза:

— Думаешь, могут и веру свою позабыть?

— Могут, батюшка.

— Дак что же надобно им? Сила? Привел Андрей татар, погромил — и хорош? Привел бы я, стал еще лучше? Так, значит, им всем — боярам, купцам, смердам — всем им нужна только сила?

— Нет, батюшка.

— Как же нет?

— Вера нужна.

— Сам же ты рек, что откажутся и от веры?

— А нужна вера.

— Что же мы веру потеряли? Храмов мало настроили? Ты, Иван, у меня книжник, философ. Что вычитал ты в книгах своих? Что узнал? Почему? В чем причина? Почему отца слушали? Или я в чем-нибудь виноват? В чем?!

— Не ты виноват, батюшка.

— Так кто же?! Покойный отец?!

— И не он. Преже еще. Храмы построили, а дух Божий утеряли... Если хочешь, отец, я скажу тебе. Люди всегда поздно спохватываются, тогда лишь, когда беда наступила. Надо же думать загодя, еще до беды. Когда ее нет и в помине, когда мнится, что все хорошо. Надо думать не над следствием, а над причиной. О бедах страны нужно было думать не тогда, когда пришел Батый, а еще раньше, прежде, еще за сто лет! Когда казалось, что мы самые сильные в мире, когда казалось, что все народы окрест падают ниц, заслышав одно наше имя, когда мы судили и правили, и разрешали, и отпускали. Когда слава наша текла по землям, когда созидали храмы и раздавали в кормление города. Когда любая прихоть наша вызывала клики восторга, когда, стойно Создателю, мы перестали ошибаться, до того доросла наша мудрость! Когда уже некому стало нас удержать и направить, уже никто и не дерзал возразить противу, а дерзнул бы — не сносил и головы своей! Когда мы решили, что до нас не было никого умнее нас, да и вообще никого: мы первые, единственные, великие! Вот тогда и наступил наш конец. Как до сего дошло? Вот о чем думал я постоянно. За сто лет еще все уже было нами погублено, и мы созрели для кары Господней!

Я тебе говорил о судьбе... Ежели хочешь, отец, мы

виноваты тоже. Ибо мы — тех князей потомки и кровь... Ведь дрались, чтобы всю землю одержать, а когда пришли татары, стали только за себя. А когда только за себя — все падает. То есть, сам-то иной и добьется, и даже умрет в славе. Но потом созданное им долго не простоит. Христос в пустыне отверг власть, пошел на крест и победил. То, что дается при жизни,— с жизнью и кончится. Нужно отречение. Для вечного.

— Темно. Не понимаю я тебя, сын. Что должно делать теперь?

— Молиться. Всё в нас, батюшка! Сумеем сами ся изменить — изменим и мир.

Дмитрий вздрогнул, внимательно поглядел в глаза сына:

— Быть может, ты и прав, Иван. Мы все думать начинаем, когда уже поздно... Но я не знаю, что другое мог бы я делать прежде и теперь. Мне нет иного пути. Быть может, ты... Быть может, Господь не зря взял у меня Сашу и оставил тебя! Молчи! Не думай, я ни на миг не пожалел, что не ты... а теперь...

В дверь постучали. На пороге стоял, весь в снегу, ратник.

— Княже!

Не дожидаясь зова, не блюдя обычая, он пролез в дверь и, пошатываясь, пошел к Дмитрию.

— Ты кто, чей?

— Княжевецкий я... Из рати Окинфа...

— Как... Что? — Дмитрий вскочил, схватя посланца за плечи.

— Окинф Гаврилыч...

— Ну? Разбит?!

— Переметнулси. И дружину свою увел.

Это был конец. Теперь оставалось только одно — бежать. Гонец шатнулся:

— Прости, князь, оголодал я...

— Эй! Накормить!

— Люди со мною.

— Где?

— Там... С сотню. Набрал по пути...

Дмитрий, подтянутый, резкий, уже отдавал приказания:

— Собери, кого можешь! Вели выслать сторожу! Терентия ко мне! Снять всех со стен!

Иван торопливо застегивал ферязь. Уже у порога его догнали слова отца:

— К вечеру выступаем.

ГЛАВА 88

Весть об измене Окинфа Великого и о переходе его со всею дружиной на сторону Андрея привез Федор. Сам он с трудом вырвался из окружения и уцелел чудом. Начиная с того часа, когда Федор проводил своих до Горицкой горы и на взъеме распростился с Ойнасом и залитой слезами Феней, и до того, как заснеженный, полуобмороженный ввалился в терем великого князя, он почти не ел и дремал только в седле.

Не дойдя до Берендеева, они стали кружить по лесу, зачем-то передвигались то вправо, то влево, отходили назад и возвращались вновь. Только что замерзшие злые ратники, дорываясь до какой-нибудь деревушки, намеревались передохнуть и обогреться, их посылали опять в стужу и снег. Все это внешне не имело никакого смысла, и только когда наконец на третий день неожиданно, обойдя татар, они оказались на Юрьевской дороге и стали стягиваться, что-то как будто бы прояснилось. Полк выстраивался, по-видимому, для удара по татарским тылам. Скоро появились воеводы. Окинф ехал большой, осанистый, в медвежьей шубе сверх колонтаря. Оглядывая своих намороженных ратников, прокричал:

— Не робей, мужики! Скоро отдых! К великому князю Андрею идем! Тамо накормят!

— Чего? Куда? — раздались растерянные возгласы. Ратные смешались, затолпились, стали переговариваться. Подскакал один из Окинфовых подручных, начал ровнять строй, покрикивая на мужиков. Кто-то присвистнул, кто-то ударился в ругань, большинство обалдело слушались. Уставшим до предела людям было уже почти все равно куда, лишь бы к месту.

Федор приметил, как двое-трое, вспятив коней, стали забираться за ближайшие елки, намереваясь удрать. Он решительно подъехал к Окинфову холопу и выкрикнул:

— Мы слуги великого князя Митрия!

Голос его прозвучал одиноко, лишь немногие растерянно оглянулись на него. Окинфов посланец беспокой-

но поежился было, но, видя, что прочие молчат, наглея, начал наезжать на Федора конем. Федор, глядя в глаза холую, поднял плеть и изо всех сил огрел его лошадь по морде. Та взвилась, а холуй, бросив оружие и потеряв стремя, вцепился в гриву коня. Федор вырвал татарский, недавно достанный лук:

— Стрелю, сука!

Холуй, побелев лицом, начал отъезжать и вдруг, круто поворотя, помчался за подмогой.

— Вот что, мужики! — громко сказал Федор.— Дело наше худо, а только негоже на свово господина руки здымать. У кого совесть есь — али разбегайсь, али со мной ко князю!

Он поворотил коня и поехал шагом, давая время мужикам опамятоваться. Скоро его начали нагонять верхоконные. Федор оглядел свое войско, набралось душ с двадцать.

— Дорогу хто знат? — спросил он. Двое вызвались. Оказались охотники, знавшие эти места. Скоро послышалось:

— Эгей! Мужики! Постой! Мы с вами!

Их нагоняло еще десятка три ратников.

Когда уже тронулись, Федор услышал знакомый голос и, кивнув остальным ратным, чтобы ехали, придержал коня. Его нагонял Козел. Козел подскакал и, задыхаясь, заорал на него:

— Ты что, Федька, очумел? — Козел глядел зло и хищно.— Кончился твой князь Митрий! Ну, ворочай коня!

Он схватил за повод, и Федор вдруг озверел:

— Прочь, холоп! Ну!

Но Козел, оскалясь, выхватил клинок. Федор, не поспев сделать то же, дал под бока и скачком ушел от удара.

— Тебе мало не будет, Федька! — крикнул Козел.— Коли так, хором своих не увидишь боле!

— Сам сожгешь?

— Вот крест!

— Ну, Козел, были мы с тобой друзья. Вместе князь Митрия спасать хотели...

— Еще чего вспомни! А за холопа...

Поворачивая коня, Федор увидел, как Козел достает лук. Он обернулся в седле. Придержал коня. Прищурился. Козел целил прямо ему в лицо, и Федор ждал, не мигая. У Козла вдруг дрогнула рука, он спустил те-

тиву, стрела прошла мимо уха Федора. Ток воздуха резко ударил по лицу — как ожгло.

— Будешь, Козел, Княжево жечь, преже к Фросе на могилу сходи, поведай матери, кто ты теперь есь! — сказал Федор и, не глянув в исказившееся, густо пошедшее неровным румянцем лицо бывшего друга, поскакал догонять своих. Вторая стрела, пробив осненженные ветви елей, на излете оцарапала круп коня. Федор прибавил ходу.

Все последующее было уже как в полубреду. Они плутали по лесу, уходили от погони, несколько раз подбирали таких же, как они, беглецов и, верно, пропали бы, ежели бы не охотник, знавший каждый куст, каждую прогалину. Усталые всмерть, обмороженные, они наконец оказались в виду Переяславля. Когда выбрались из леса и проглянули верха Никитского монастыря, Федор сумел пересчитать свою не пораз переменявшуюся дружину. Всего оказалось девяносто шесть ратников, почти сотня. Он даже подивился, когда все они сгрудились вместе.

Подъезжая к Переяславлю, Федор уже так хотел спать, что в глазах у него начинало чудить. Жердь, что лежала на дороге, вдруг заизвивалась и уползла, кусты сами разбегались и перескакивали через дорогу. У ворот Федор сообразил сказать, что они от Окинфа Великого, и, впущенный в город, поскакал прямо к княжому дворцу. Он чуял, что ежели задержится — упадет. У двери Федор, опять пробормотав: «От Окинфа!» — отпихнул ратных и полез, не слушая боле ничего. Отведя копья придверников, выдохнул:

— Где князь?

Старшой сторожи, всмотревшись в слепое, буросизое лицо Федора, в его красные, как две раны, глаза, махнул придверникам — пропустить — и побежал вперед. У покоя великого князя Федор опять оттиснул провожатого, а может, просто хотел взять за плечо, да навалился сильней, выбил дверь, ввалился в парное тепло. В тумане перед глазами шли круги, и он узнал князя Дмитрия только тогда, когда тот взял его за плечи.

Через час ратники хлебали щи, ели кашу, пили квас и, рыгнув, тут же, отваливаясь от чашек, падали на попоны. Федор сам заставлял себя отчаянным усилием есть. Он отвечал за приведенных людей, и только это его держало. Тут он повалился, едва стащив и сунув под голову сапоги.

Через четыре часа их разбудили и, диких от недосыпа, влив в каждого по кружке меда, повели торочить коней и строиться. Кое-как накормленные кони упирались и пятились. Разводил боярин, но мужики, привыкшие считать старшим Федора, совались к нему, прошали о том и этом, и Федор махал рукой:

— Тут я не господин!

Несколько ратников шептались посторонь, сговариваясь. Видно, решали бежать сами о себе. Федор не останавливал их и ничего не сказал боярину.

Он уже садился на коня, когда его позвали к Дмитрию. Князь коротко расспросил Федора, заключил:

— Будешь со мной. Семья-то где?

— Женка на Москве, а мать в Княжове, дом сторожит.

— Как там княжовски? — поворотился князь к дворскому.

— А криушкинские — проезжал — все уже дернули в лес! — отозвался тот, пожав плечами.— На Семино, кажись, подались. И княжовски, видно, тоже...

— Скачи! Возьми свежего коня. Ждать нельзя,— приказал Дмитрий.

Федор в опор домчался до Княжева. Деревня была пуста. Выползла одна старуха:

— Матка твоя с Прохором за Вексу подались!

Искать их было бессмысленно. Он поворотил коня.

ГЛАВА 89

Как только стало известно, что князь покидает город, побежало всё. Распахивались дома, люди, уходя, не закрывали дверей. Где только был хоть какой конь, выезжали возы. Бежали и так, волочили добро санками. Черными точками на сереющей глади оснеженного озера тянулись прямиком к тому берегу, в леса. Другие, наоборот, уходили к верховьям Трубежа или за Горицы, в московскую сторону. Город, открывший ворота, пустел, как опруженная корчага. Угоняли скот. Шли пеши, на ходу затягивая платки. Бежали собаки, заглядывая в лица хозяев. Редко взлает глупый щенок или замычит корова. Уходили молча, пугливо оглядываясь туда, где вот-вот должны были показаться верхоконные татарские разъезды. Уходившие, прежде чем потерять из вида, крестились на одинокие главы переяславских церквей.

Мела поземка.

По матовой, в серых и охристых пятнах снежной пелене уходили сытые княжеские кони. Сани, виляя на раскатах, неслись сквозь ледяную пыль, ратники скакали следом и впереди. Воздух обжигал лицо. Великий князь и Иван Дмитрич ехали верхами, переходя с рыси на скок. Крестьянские лошади шарахались в снег, пропуская княжой обоз.

О полдень устроили короткую дневку, кормили коней, пересаживались на заводных. Снова скакали. Дмитров миновали почти не останавливаясь, бросили только запаленных лошадей и набрали свежих. Город провожал их молча, пугливыми облегченными взглядами. Тут тоже кто собирался удрать, а кто уже уезжал из города. Боялись, что татары дойдут и сюда. Втайне все были рады, что великий князь не задержался у них и проскакал дальше.

Оснеженные боры, пригорки, западины, поля и погосты, серые тучи, разметанный дым деревень да изредка с карканьем взлетающие из-под копыт вороны. Дороги, дороги, дороги. Тревожные лица крестьянок, сивые мужичьи бороды над заиндевелыми крупами косматых, татарских кровей, лошаденок. Ветер, режущий лицо, да опять — серое небо, виляющие сани, снежная пыль да сумасшедший топот коня...

Остановились только на Волоке. Здесь князя Дмитрия ожидала княгиня с боярынями, казна, обозы. Ратники валились с седел. Иных волочили под руки, сами не могли уже и идти. Федор, спешившись, пересчитал своих, семеро отстали в пути, не выдержали. «А татары выдерживают и не такое!» — подумал он, озирая бревенчатые тыны и кровли, оступившие площадь, изъезженный дожелта, в клочьях раструшенного сена снег. Горели костры. Скрипели полозья подходящего обоза. Суетились ратники и княжеская челядь. Он стоял раскорякою и не чуял ног под собой. Шатаясь, побрел к огню...

Добравшись до Волока, накормив и разместив людей, Дмитрий тотчас разослал гонцов во все стороны и выставил сторожу. Татары могли и не посчитаться с границами княжеств, а Андрей, получивший ярлык, тем более. Все же он надеялся, что дальше Переяславля Дюдень не пойдет. Надежды эти дымом развеялись через два дня, когда прискакавшие от Дмитрова гонцы принесли весть, что татары, отойдя по Клязьме от Вла-

димира, обрушились на земли Данилы и громят Москву. Уже первый вал бегущих докатывался до Волока.

Федор, узнав о разгроме Москвы, побледнел. У него даже шевельнулась дикая мысль — бросить князя и скакать туда, выручать своих. Вряд ли, однако, в той каше, что творилась теперь в Москве, возможно было кого-то найти. Самому попасть в руки татар — еще хуже. «Господи! — просил Федор, глядя туда, где за дальними лесами лежала обманувшая его московская земля.— Господи!» Он сейчас вспоминал Феню, второго малыша и первенца, которого успел полюбить, и каялся, что был небрежен с ними, почасту невнимателен и груб. Казалось, что она уже погибла под саблями или, того горше, уведена в полон, в степь... На миг он даже покаялся, что так сурово обошелся с Козлом. Козел один мог бы помочь выручить Феню из Орды. Но тогда... Федор медленно покачал головой. Нет, на такое пойти — самому с собой тяжко жить станет. Он стоял, и слезы медленно, незаметно для него самого, текли у него по лицу. Всех бросил: мать, жену, детей. Может, Грикша как ни то?.. Цеплялась останняя надежда.

Сзади подошел дружинник:

— Эй, Федюх, князь кличет!

Федор покивал головой, не оборачиваясь.

— Скажи, сейчас!

Набрал снегу, обтер лицо: мокрых глаз не казать, незачем! Горько усмехнувшись про себя, направился мимо коновязей в княжую избу.

Здесь уже грузили возы, седлали коней. Из клетей выносили кули, укладки, бочки, коробьи с княжьим добром: мехами, дорогой лопотью, посудой, оружием. Князь Дмитрий стоял посреди двора и отдавал распоряжения. Княжич Иван и замотанная в платки и бобровый опашень маленькая круглая, точно кубышка, великая княгиня стояли рядом. Дмитрий кивнул Федору, указал, куда выводить людей. Вгляделся. Потом окликнул:

— Постой! У тебя семья не на Москве ли?

Федор кивнул, и князь нахмурясь, отвел глаза. Федор потоптался одно мгновение, что-то подступило к горлу, но справился и, отворотясь, пошел к своим ратным.

Иван, проследив глазами трогающиеся санные возы, поворотился к отцу:

— Куда теперь?

— В Псков,— не оборачиваясь ответил Дмитрий.— К Довмонту Плесковскому. Он один примет. Больше никто.

Оседлавшие коней ратники с Федором во главе выезжали из ворот. Дмитрий указал Ивану на Федора.

— Вон видишь того ратника? Он мне весть принес про Окинфа. И людей привел. А семья у него на Москве осталась, и мать в Княжеве, не простился с ней... Почитай, погибли уже. Запомни его! Ежели без меня... Когда... Этот не Окинф, не предаст!

ГЛАВА 90

На Москве татар не ждали совсем. Ордынские послы, получивши серебро, соболей и сукна, заверили Данилу, что в его княжество рать не взойдет. И потому, когда из Протасьева примчали вершники с криком: «Татары!» — им сперва никто не поверил, а когда поверили, в городе поднялся пополох. Пока Протасий пытался собрать городовую рать и как-то организовать сопротивление, паника, словно пожар, охватила посад. Хлопали калитки, из них выметывались полураздетые слобожане. Гнали скот. Пробиравшихся верхами пытались на ноги сволочь с коней. Ругань, мат, слезы, истошные вопли затоптанных в сутолоке баб, ревущая, мятущаяся толпа... На Москве-реке стало черно от бегущего в Заречье люда. Мосты ломились, запруженные возами, бежали по льду, карабкались по скользким склонам. Паника перекинулась в Кремник. Пока Данил, срывая голос, верхом метался среди растерянных холопов, наряжая повозных, выводя и запрягая лошадей, во дворце — истошный визг. Княгиня Овдотья крутится по палате, в горнице одевают княжичей. Некрасивая, с перекошенным ртом, Овдотья бросается из дверей к двери, как дикая свинья, опрокидывая скамьи и стоянцы. Срывает одеяла, камчатные покрывала, скатерти, рыдает в голос, слезы крупным горохом катятся по лицу. Пихает, бьет и лупит по щекам холопок, сама волочит сундуки, голосит и ругает всех и вся:

— Мужики! Дурни! Тоже мне, воеводы! Воевать не умеют! Глашка, живо! Это кидай! Бархат бери, мою укладку, скорей! Вороны! Плохо ли жилось?! (В рёв.) Скорей, Антипка, коня! Батюшки!

Она мечется, проворно схватывая нужное, на ходу кутаясь в шубейку, с воплем выбегает наружу. На дворе Данил с трясущейся бородой выводит возы, добро летит кувырком, возки один за другим трогаются. Овдотья, наконец повалясь в сани, заревела белугой. И так, под истошный рев княгини, голошенье боярынь, плач детей, которых кто-то пересчитывает, передавая с рук на руки, возки и розвальни в опор выносятся из ворот княжого двора, мимо церкви, мимо житницы, к воротам Кремника, и туда, через Неглинную, в заречные села, и дальше, в леса. Какая-то из сенных девок, забытая впопыхах, с воем, простоволосая, бежит за уходящим возом и падает в снег, катается по дороге.

Из конюшен выводят последних коней. Данил еще отдает приказы, еще, приподымаясь на стременах, вытягивая бороду, озирает Кремник, смотрит на все это, годами собиравшееся и тут враз, единым часом, порушенное добро, еще медлит...

— Скорей, княже! — кричит ему стремянный, дергая под уздцы коня, и Данил, опомнясь, тоже берет в опор. Сзади, растекаясь, удаляется многоголосый гомон, крики бегущих и ржание перепуганных лошадей.

Грикша в этот день с утра уехал в Данилов монастырь. И когда прискакали с криком: «Татары!» (уже бежали по льду Москвы первые беглецы с посада), покидав монастырское добро в пошевни и выведя обоз, сам, схватив коня с порожними санками, кинулся в город. На реке Грикша угодил в круговерть бегущих. Он плетью, осатанев, бил по глазам лезущих баб и мужиков, кого-то сбил, через чье-то тело перескочили сани, кто-то дважды огрел его кнутом, и все-таки он выбрался из потока и ворвался в уже опустевший город. Проскакав по Великой улице, он поворотил наверх. Здесь, на самом обрыве, стояла изба, которую Грикша снимал, живя в Москве, и в которой остались невестка с племянниками. Ворота были настежь. Дом пуст. Ни Фени, ни Ойнаса. Грикша тут же поворотил вспять и, выезжая по проезду мимо рыбных рядов, увидел скачущих россыпью всадников в косматых меховых шапках. Он не понял сразу даже, что это татары, а поняв, круто поворотил коня к берегу. Лошадь, чудом не вывернув сани, снесла его под угор. Выкатившись на лед Москвы-реки, Грикша по какому-то наитию пригнулся, и тотчас татарская стрела тонко пропела у него над головой. Грикша с маху врезался в глухие

кусты обережья. Конь полз, извиваясь, по грудь в снегу, каким-то последним усилием проминовал сугроб и по твердому насту вскарабкался на обрыв берега. Тут только Грикша обернулся. Татары грабили посад и его не преследовали. Он только тут почуял, что весь, от ладоней рук до макушки, мокр от жидкого горячего пота. У него на миг, как отпустило, потемнело в глазах. Какой-то мужик с безнадежным отчаяньем окликнул его.

Грикша подъехал. Мужик с бабой, кинув в сани узел и двух детей, взвалились.

— Спаси тя Христос! Куда правим-то?

— На Лопасню али на Коломну! — отмолвил он, чтобы только отвязаться.

Вдали, по высокому московскому берегу, скакали стремительные татарские конники, и бил, и бил, и бил одинокий заполошный колокол. Какой-то безвестный звонарь, взобравшись на колокольню и обломив за собою лестницу, вызванивал набат. Снизу уже орали что-то по-татарски, ломились в дверь, а он, прижмуривая глаза от страха и жалости, всхлипывая, продолжал бить набат, пока метко пущенная стрела не оборвала набат вместе с жизнью звонаря. Дернувшись в последний раз, он так и повис на веревке колокола, цепляясь скрюченными пальцами, медленно обвисая, и наконец безжизненным кулем рухнул на дощатый настил. Освобожденный медный язык качнулся, и последний замирающий звенящий вздох пролетел и замер вдали, утонув в заречных борах. А внизу продолжали раздаваться чьи-то вопли, ржание коней и победный гомон татарской рати.

ГЛАВА 91

Дмитров был взят татарами с ходу и разорен, как и прочие города, дотла. Отдельные отряды, зоря все на своем пути, дошли по Москве-реке до Коломны, разграбив и этот город, невзирая на то, что тут уже начинались рязанские владения. Другая рать, подымаясь по Москве-реке вверх, разорила Звенигород, Рузу и Можайск. Можайский князь Святослав Глебович (из смоленских Ростиславичей), петляя лесами, ушел от беды в Тверь. Туда, к Твери, бежали по всем дорогам беженцы из Москвы, Дмитрова, Углича и Переяславля.

Меж тем татарская рать, преследуя князя Дмитрия, заняла Волок Ламской и теперь, вослед бегущим, поворачивала на земли Тверского княжества.

Тверь уже не могла вместить беглецов, а из лесов по всем дорогам ручейками выкатывались все новые и новые сани, брели стада, тащились, падая в снег и снова подымаясь, пешие. Ближе к Твери толпы беженцев густели и уже бесконечною непрерывною чередой вливались в городские ворота. Трясущиеся бабы на телегах, смятенные, со смятыми лицами, мужики, взъерошенные загнанные лошади, собаки с вываленными языками, в многоверстной гонке за возами сбившие в кровь лапы о наст, затравленно жмущиеся к полозьям саней, пятная снег кровью, жалкое блеянье связанных овец на телегах, дети, перепуганно-молчаливые...

Возы стояли уже по улицам, вдоль заборов. Дворы были забиты. На княжом и владычном подворьях в кельях, клетях, молодечных — густо набито народом.

Великая княгиня Оксинья, замотанная в шерстяной плат, в простом вотоле, распоряжалась, стоя на въезде. К ней беспрерывно подскакивали бояре, ключники, дворские и, наклоняясь с седла, выслушивали приказы госпожи. Баб с детьми засовывали в тепло. Мужиков, накормив на поварне, тотчас посылали с делом: возить сено из-за Волги, рубить и возить дрова, молоть рожь. У открытых ворот житницы толпились повозные. Житничий отпускал по счету кули с зерном.

— Проследи там, пожару б не было! — наказывала княгиня.— У кого еще хлебные печи? Фока! Скачи в монастырь, к игумену. Скажи, муку пришлю, пущай тоже пекут хлебы! Ты, Проша, проверь в том конце, как женок разместили? У Дмитровских ворот кто стоит? Пошли к Еремею, выслал бы сторожу!

Новый всадник, видать, издалека, спешивался во дворе. Оставя всех, Ксения Юрьевна поспешила навстречу.

— От князя нет вестей! — ответил тот негромко на немой вопрос госпожи. Лицо великой княгини разом одеревенело. Князь Михайло должен был возвратиться из Орды, и вот — все пути перекрыты татарской конницей. Быть может, уже захвачен? Убит? О последнем Оксинья Юрьевна старалась не думать. Не такие ж они дураки, выкупа ся лишить! Мысленно отодвигая самое страшное (а что тогда? Что? Выморочная Тверь

Андрею... Все надежды, все труды многих лет, вся жизнь. Ежели бы хоть женился, хоть внук! Она и то нашла бы в себе силы...), отодвигая «это» из сознания, княгиня мысленно перебирала сокровища княжой казны, готовила выкуп за сына. (Только бы князь Андрей не захотел его прикончить!)

Оксинья шла по двору, и к ней под ноги кидались бабы и мужики: «Матушка!» И она отвечала, приказывала, распоряжалась, а в груди, сжимая сердце до боли, было одно: сын, сын, сын! И скакали посыльные, и ближние бояре, с опаской взглядывая в очи великой княгине, спешили с приказами госпожи, обходили дозоры на кострах, шагом объезжали улицы и рассылали сторожу по дорогам.

А из лесов выливались и выливались все новые вереницы бегущих и в угасающих, серых, с закатною желтизной и сизым разливом набегающей ночной темноты зимних сумерках устремлялись туда, где, упираясь сотнями дымов и острыми шатрами башен в низкое зимнее небо, стояла над Волгою последним пределом, последним рубежом земли Тверь.

ГЛАВА 92

Княжевецкие мужики прятались от татар за озером, в Вексинском бору. Ратники, пришедшие с Окинфом и Федором Чермным, знали эти места и, окружив крестьян, с руганью погнали домой. Впрочем, захватили не всех. Прохор со своей старухой, с младшим сыном Степаном, снохой и внуками, с Верухой Михалихой, матерью Федора, и вдовой Оленой (та, недавно выдав дочь в Вески, осталась одна и присоединилась к Прохорову семейству) не стал оставаться в бору.

— Окинф придет с ратными, переловят вас тут, как глухарей! — сказал он, и как в воду глядел.

На трех лошадях, в двух санях, гоня коров с телятами, жеребенка и захватив четырех связанных овец, они тронулись дальше и проселками, а то и просто зимниками,— хоронясь большой дороги на Кснятин, по которой беспременно должны были пойти татары,— стали выбираться к Волге.

— В Тверь надоть,— твердо сказал Прохор.— В Тверь, а дальше и некуда. До Нова Города нам не дойтить.

...И все бы ничего, кабы под Велесовым бором на Дубне Прохор, перебираясь через глубокий ручей, не провалился по грудь в полынью. Пока суетились, волокли жерди, кидали, все не попадая, ремечную петлю, связанную из поводьев, Прохор оледенел насквозь. Кое-как вытащив старика, совсем обмороженного, заслышали конский топот и ржанье и, решив, что татарский разъезд, дернули в лес. Ночь провели не разжигая огня. Прохора кое-как переодели, уложили в сено. Утром он спал с лица и весь трясся.

— Ничо, перемогу! — отмолвил он.— Тута вы пропадете...

Снова ехали, петляя по лесу. До первого безопасного жила добрались только на третий день. Прохор, как ввели в избу, так и пал плашью и уже не приходил в сознание. Метался, страшно кричал, бился под шубами. Морщинистое лицо было мокро от пота, лихорадочный румянец горел на щеках. Глаза глядели безумно. Он то и дело начинал бредить, прошал:

— Татары, татары где?!

Звал сыновей. Однажды поманил Михалиху:

— Веруха, Веруха! Твой-то что, а? Твой-то с Окинфом ушел али как? Федюха-то...

Глаза Прохора смотрели почти осмысленно. «Неужто оклемался?» — подумала Вера с надеждой и перекрестилась.

Они двое с Прохоровой женкой попеременно обихаживали Прохора. Степка сидел, потерянно глядя на отца. Его погнали в лес за дровами. Степан возил и рубил дрова, изредка заходя в избу, со страхом взглядывал в воспаленное неистовое лицо родителя. Олена со Степановой женой обихаживали детей и скот, помогали старикам хозяевам. Пришлось развязать один из кулей, смолоть зерна. Потом зарезали овцу, что везли на санях с собою.

Прохор умер в ночь. Вера, проснувшись, услышала тихий разговор. Говорила Прохориха, спокойно сказывала, и Вера не сразу поняла, что же так изменилось в избе? Не слышно было хриплого дыхания больного. Прислушалась, зашевелились волосы: Прохорова женка сказывала мертвому всю свою жизнь.

— Вот ты и уснул, Прошенька! Хорошо мы с тобой прожили. Только нехорошо ты сделал, что меня оставил одну. Ну, Бог с тобой! Тамо увидимся... Деток вырастили, и младшенького оженили, и внучат дождались,

и дом у нас с тобой добрый, справной дом. И не бил ты меня без дела, жалимой был, праведной. И на селе уважали тебя, Проша, и старостой тебя кладовали, и в походы ты ходил бранные, и цел ворочался, и со князем Олександром вместях... Только вот не дома ты помер, Прошенька. Как тебя схоронить, как тебя упокоить во чужой земле?! Не на родетельском мести, не с родетелем-батюшкой, не в домовище белодубовом...

Вера поднялась. Руки тряслись, когда высекала огонь, зажигала лучину. Огонек наконец осветил избу. Раскосмаченные, ошалев от сна, подымались княжевцы. Скотина беспокойно зашевелилась в углу.

Прохориха сидела все так же, причитала, сказывала. По морщинистому лицу ее текли слезы и капали на грудь покойного. Она уже закрыла глаза Прохору, сложила ему руки на груди. Вдруг громкий вопль потряс густой воздух избы. Это заревел, трясясь, Степан, заплакали дети, тревожно замычала корова.

Прохора схоронили к вечеру. Весь день Степан вырубал домовину. Двое местных стариков помогали ему. Нашелся монашек, что прочел над покойным отходную. Олена высоким красивым голосом завела плач. Вера подхватила. Прохориха, погодя, тоже начала приголашивать.

Могилу вырубили топором в мерзлой земле, забросали, засыпали снегом, завалили колодьем — от медведя. Утвердили крест. Старики обещали весной поправить, насыпать курган.

Олена после похорон сказала, что пойдет домой: кому, мол, она нужна, и татары не угонят! Веру уговорили не возвращаться, мало ли, может, в Твери встретит своих? Вновь уменьшившаяся семья погрузилась на розвальни: мужик с женкой, дети и двое старух. Оленину корову с телком оставили хозяйке.

В пути раза два чуть не попали на татар. От встречных-поперечных узнавалось, что взяты Москва и Дмитров. Одна лошадь зашибла передние ноги, и ее вели за собой, не нагружая. Уже недалеко от Твери пришлось бросить вторые сани. Вера шла пешком. Они уже влились в бесконечную ленту беглецов, когда наконец завиднелась Тверь. Некормленая лошадь плелась из последних сил. Они не видели сами себя, но их обострившиеся, почерневшие лица могли бы испугать свежего человека. Застуженные дети тоже метались в жару. Когда доползли к городским воротам, почуя-

лось, что уже не было сил бежать дальше. Они и остановились прямо на улице. Кто-то вынес воды. И по тому, как Прохориха слезала с саней, Вера поняла, что той уже мало остается веку на земле. По улице текли, обходя их, телеги и люди. Казалось, они тут никому не нужны.

— Ай беглецы? — послышалось над ухом.— Вали за мной!

Обрадованные княжевцы снова тронули, спустились под горку, к самому берегу Волги. Тут уже были три семьи. Веселый хозяин охлопывал корову.

— Доится? Ничо! С молоком будем! Князь, кому с коровой, сена дает!

Тверич тут же побежал хлопотать о кормах. Степана — не успел поесть — он, скоро воротясь, утащил из избы.

— Вали на сход!

Улицы кипели. Степан не видывал такого многолюдства и в праздники. Они замешались в толпу мужиков. Тут и там знакомились, вызнавая своих, толковали.

— Дмитровски мы!

— Московлян нету ли?

— И ничо! Тверь — последний город. В Новгород не убежишь, далеко, а Торжок не защита! У меня женка в жару лежит, конь обезножел, куды!

— Князь-то что думат?

— Какой?

— Тверской! Михайло!

— Нет его!

— Чего ничевуху-то баешь, как не быть князю в городи!

— Князь! Князь! — слышалось то тут, то там. Бояр, что шагом проезжали через толпу, окликали, теребили за полы. Где-то раздавали оружие, туда бежали и шли пришлые мужики.

— Князь, князь-от где?! — все требовательней и грознее прокатывалось по переполненным улицам.

ГЛАВА 93

Под горой, у вымолов, бушевало вече. Скоро старосты купецкого братства начали сбивать дружины охочих людей — оборонять город. Шли все, кто только мог стоять на ногах. Ждали Михаила. За князем, толковали, уже послано встречь.

Возвращаясь со схода, Степан увидел, как по улице скакал какой-то словно в корзне и в алой шапке. «Княжич,— подумал он,— али Михайло сам? Тот молодой, бают!» Степан, сам не ведая зачем, побежал, и уже многие бежали к молодому всаднику, окружили коня, пробивались к нему, орали, ликуя, тот смеялся, крутил головой:

— Не князь я, не князь! Боярин я!

А его хватали за стремена, за сапоги, щупали, не верили, что не врет. Молодец наконец вырвался из рук посадских и ускакал. Уже подъезжая к Детинцу, он окликнул старого боярина, что сидел на коне, озирая площадь.

— Чуть вырвался! За князь Михайлу приняли! — прокричал он, смеясь. Старик кивнул головой, серьезно, без улыбки. Сказал, помолчав:

— Намедни решали... Старосты купецкие требуют в осаду сести!

— А ты трусишь? — подзудил молодой.

— Я татар видал! По мне, дак и бежать не грех, а народ — шумит.

Ночью в тереме великой княгини заседал совет. Великие бояра, воеводы, старосты братств и купецкая старшина, выборные от веча. За рублеными стенами палат гудел, не утихая, переполненный отчаявшимся народом город. Хрустел снег. Шли, и шли, и шли, окружая дворец.

Воеводы тревожно молчали. Выборные от черных людей напирали на бояр, требовали оборонять Тверь. Те ссылались на то, что Михаила нет во граде, что против Орды одному Тверскому княжеству все одно не устоять.

Но на улице, под холодными рождественскими звездами, топотала многотысячная толпа отчаявшихся и от отчаяния похрабревших людей, которые уже не могли бежать и хотели драться.

— Орда не на нас насылала татар! — возвысились голоса других.— Тверской князь с городецким мирен!

— Откупиться надоть! — толковали осторожные.

— Данил Лексаныч тож мирен, а Москву, гля-ко, не помиловали, и Можайск забрали, можайский князь у нас, во Твери, сидит!

Взгляды оборотились к Святославу Глебовичу, что, опустив голову, прятался в углу на лавке. Епископ Андрей поднял руку, утишив совет, рек:

— Мирны есьмы, и обиды князю Андрею не чинили, а правду деющий в праве своем есть! Можем ли противу стати? — вопросил он воевод.

— Можем, можем,— заорали черные люди и молодшая дружина. Старики, иные, тоже наклонили головы.

— Достоит тогда присягнути всем на честном кресте, яко битися с татары, а не предатися! — заключил епископ.

За стенами глухо рокотала толпа. Слышались выклики: «Оружия, оружия!»

— Выйди, отче, объяви им,— попросил, подымаясь, старший боярин.

ГЛАВА 94

Мела метель. Попадья в гневе замахала руками. В неровном свете лучины тень метнулась по черному потолку бедной избы.

— Иди-и-и ты! Идол! И не вздумай, балабон несчастный, чудище, прости, Господи, меня грешную!

Видя, что супруг продолжает одеваться, она грубо рванула его за зипун.

— Не пущу! Сказала, не пущу, и все! Нужен ты тверскому князю, о чем ином голова бы болела!

Но, вглядевшись в поджатый рот и углубленные в себя глаза мужа, который не то чтобы с силой, но настойчиво отвел от себя ее руки, попадья переменила тон с бранного на визгливо-плаксивый:

— Татары зорят все, дак одну оставить хочешь, совести в тебе нет, ирод окаянный! Неслух ты, неслух и есть! Дочерь нехристи уведут, куды я денусь-то!

Поп поглядел, посопел. Вымолвил:

— Кого иного... А безо князя людие, аки овцы без пастыря. Князь тверской в свой черед великим князем станет. По лествичному счету ему после Данилы Московского достоит принять бразды! А коли его нынче татары возьмут? Возможно, что уже и князь Данилу пояли в полон али напрасныя смерти предали! И что мы без главы? Разидемся, аки жиды, гонимы гневом Божьим по лицу земли! Каждый, егда мощно, должен приложити труд свой... Сказано бо есть: «В руки твои, Господи, предам дух свой, и не оборют мя врази мои!» Не ровен час,— приостановясь, сказал поп,— все мы

под Богом... Косому отдашь за полть в осеновья, а с Сидорки Лаптя долга строго не спрашивай, убогий он. Потерпи.

И тут только, поняв наконец, попадья взвыла в голос, разом оробев и уже неложно цепляясь за своего батюшку, запричитала бабье, скорбное. Потом, уже когда он выводил запрягать коня, не переставая причитать, засуетилась, увязывая вчерашние пироги, ругаясь и плача, выбежала во двор, где уже готовая лошадь переминалась в санках, а поп носил сено из сарая, сунула узел в сани, в сено.

Поп отворил ворота, строго благословил свою «ругательницу», прижал на миг выскочившую в одной рубахе, спросонок, и прильнувшую к грубой шерсти плохо выделанного дорожного вотола дочь, благословил и ее и, запахнув ворота, дернул вожжи. Лошадка резво выбежала, накренив сани, хорошей рысью унося легкие поповские санки в серо-синюю тьму. Крупные хлопья, рванувшись с ветром в отворенные ворота, разом залепили лица двух женщин, остававшихся на пороге, пока не затих вдали негромкий топот и поскрипывание саней.

Молодому тверскому князю весело было смотреть на островерхие, в снежном серебре, елки, на оснеженные, в инее, ветви берез. Двое-трое встречных, в испуге шарахнувшихся прочь, завидя издали княжой поезд, не насторожили и не объяснили ему ничего. В Коломну решили не заезжать, спрямляя путь. (И — к счастью: как потом узналось, под Коломной их уже ждала татарская засада.) И ежели бы на дороге в Москву перед ним вдруг не показалась смешная, заиндевелая фигурка сельского попика на косматой лошаденке, в легких самодельных санках, весь обоз и дружина князя Михайлы угодила бы под Москвой прямо в лапы татар. Тем паче что Дюдень, зная о скором возвращении Михаила, разослал по всем дорогам заставы с приказом во что бы то ни стало перенять и изловить тверского князя. (До татар уже дошли вести об укреплении Твери.)

Передовой, завидя нелепого встречного, дурашливо стегнул было поповскую конягу, но поп, натягивая вожжи, закричал сердито и вывернул вновь на дорогу, перегораживая путь, и скоро толпа комонных сгру-

дилась вокруг саней, еще не понимая, что и почему.

— Татары? Какие татары?!

— Татары зорят, ордынцы, Москву забрали! Ко князю веди!

Пока полузамерзший поп говорил с князем, а его загнанная лошадка, пугливо поводя ушами, принюхивалась к рослым княжеским коням, дружина и ездовые шушукались, переминались, сбиваясь в кучи, и вместо прежней озорной веселой удали по лицам, по сердцам и даже по насторожившимся коням потек страх. Татары были вокруг и уже вчера могли вполне свободно захватить их всех.

Но вот там, у главных саней, что-то решилось. Батюшка пересел ко князю, и поезд тронулся: сперва ездовые, затем сани и возы с добром, сворачивая в лес, на едва заметную зимнюю санную тропу. Проглянувшее было солнце опять замглилось, и с неба вновь стал валиться теперь уже спасительный снег. Скоро весь поезд скрылся в чаще. И — вовремя. Двух часов не прошло, как по торной, оставленной тверичами дороге прошел рысью татарский разъезд, зорко высматривая по сторонам.

Попик знал дорогу отменно и вывел весь отряд в долину Пахры, а там ночью прошли мимо Рузы, избежав татарских сторожей, и опять дремучими лесными тропами на верх Ламы, мимо Волока, занятого татарами, на Шошу, Старое Селище, Вески Тверские, Езвино... Уже в виду первых тверских сел, когда загонные рати татарские остались позади, поп остановил обоз и, отказавшись от настойчивых приглашений Михаила и бояр переждать в Твери лихое время (от дорожных уже вызнали, что Тверь не взята), начал прощаться.

Михайло, сдружившийся за дорогу с попиком, как оказалось, книгочеем, выйдя из саней и не зная, что еще сделать этому спасшему их человеку, попросил благословения и вручил-таки спасителю после уговоров свой перстень и княжескую икону в серебряном окладе. Поп хоть и говорил, что «недостоит платы прияти служителю божию», но от иконы и перстня отказаться не смог. Благословив князя, он молвил чуть дрогнувшим голосом:

— Будет когда и тебе от Бога власть великая...— Хотел он тут прибавить от писания о сирых и убогих,

но смешался: — Будь, будь... Таким...— Замолк, сердясь на себя за смущение, отводя лицо. Михаил понял, понял и недосказанное попом.

— Буду, батюшка! — заалевшись, ответил Михаил и, не зная, что еще сделать, обнял и расцеловал попа в обмерзшие жесткие усы и бороду.

В санки попу перекинули куль овса и мешок со снедью.

— Спасибо, батюшка! Спасибо! Спасибо! — кричали ему вслед дружинники, пока косматая от мороза лошадка не миновала княжеский обоз, унося маленькие санки с нахохлившимся седоком назад, в настороженные, полные татарских ратников московские леса.

Михаил долго, ласково усмехаясь, глядел ему вслед, потом, сняв шапку, тряхнул кудрями, надвинул погоднее, отвердевшим взглядом обвел дружину и, вскочив на подведенного верхового коня, рысью тронул вперед. В Тверь, стольный свой город, Михаил хотел въехать верхом.

Он скакал впереди дружины, и в груди ширилась гордая радость за свой город, устоявший, выстоявший, за свой народ. И так, казалось, уже близка свобода и власть без татар, без чужого стороннего ярма, стоит лишь захотеть, посметь, как захотел этот поп, как посмела Тверь! Молодость звенела у него в сердце, молодость и удача пьянили ум, и уже чуялось великое близкое время, время славы, новой славы Золотой Руси!

С приездом Михаила городовая пешая рать вышла из города в поле. Князь велел устроить засеки по всем дорогам и не подпускать татар близко к городу. Силы хватало. Глядя на насупленные лица, Михаил готов был померяться силами с самим Тохтой.

Полки, укрепившись засеками, выставили сторожу и начали медленно продвигаться вперед. Но татарские разъезды уходили, не вступая в стычки. А еще через день дошла весть, что татары и вовсе отворотили от Твери. Дюдень, прослышавший о готовой обороне города и вдосталь ублаживший свое ополонившееся войско, не стал дальше испытывать судьбу. Он воротился в Волок, грозя двинуться к Новгороду, и там к нему прибыло посольство новгородских бояр во главе с посадником Лукой Клементьевым с бесчисленными дарами, умоляя царева брата взять мир и не идти далее.

Вскоре, гоня людей и скот, увозя добро, оставляя четырнадцать разгромленных городов, разоренные села

и деревни,— «землю пусту сотвориша»,— татарская рать повернула обратно. Так сходит полая вода, оставляя грязь, раздутые трупы утонувших животных и людей, бревна, щепу и покореженные обвалившиеся хоромы. И вослед уходящим татарам начали вылезать из чащоб, из лесных берлог, сочиться тоненькими обратными ручейками из далеких глухих деревушек перегоревавшие эту беду остатние русские люди, запуганные, скорбные, растерявшие добро, родных и близких своих.

ГЛАВА 95

Князь Андрей, справив во Владимире прощальный пир для воевод уходящего татарского войска (на что, как и на подарки хану и темникам, ушла львиная доля городецкой казны, а также казны углицкого князя, забранной его боярами во время погрома Углича), остался один на один с разоренной, поруганной и вконец озлобленною землей. Вдруг и сразу у него оказалось до смешного мало ратников. Вручив Окинфу Великому Владимир и наделив его селами и землями под городом, уступив Федору Чермному Переяславль, услав Ивана Жеребца с полком в Кострому, а в Городце оставя Давыда Явидовича, Андрей сам, с одною своей дружиной, поспешил в Новгород Великий, ибо только там надеялся и мог получить помочь против разгромленного, но ускользнувшего от плена старшего брата.

Андрей нещадно загонял коней, выбивавшихся из сил на весенних подтаивающих дорогах, и прибыл в Новгород, в городищенские княжеские хоромы, в канун Сыропустной недели, а через два дня сел на новгородский стол: принял власть в Софийском соборе из рук архиепископа и посадника. Вернее сказать, не власть, а то, что осталось от власти, ибо для того, чтобы утвердиться в Новом Городе, он подписал все, чего требовали и не могли добиться новгородцы от князя Дмитрия: независимый торговый суд, суд посаднич с печатью посадника и Господина Великого Новгорода вместо своей, княжой, признание прав совета старых посадников и суды владычного наместника по областям. Сверх того, он возвращал Новгороду забранный Дмитрием Волок Ламской, все княжеские и низовские села по волости, «чьи ни буди», и подтверждал грамотою «путь чист» новгородским купцам

по Волге до Сарая. Тут же, по требованию бояр, часть дружины с новгородской ратью пришлось послать на Неву, против свеев, которые, пользуясь смутой на Руси, успели построить град на устье, запиравший Новгороду выход в Варяжское море. (Рать была отбита в первом сустyпе и по весеннему времени из-за оттепели, задержавшей обозы с обилием, отступила.) С остальными ратными и с новгородской помочью под водительством посадника Андрея Климовича князь Андрей, не задерживаясь долее, устремился к Торжку перехватывать брата, который, как дошли вести, вновь возвращался в Переяславль.

ГЛАВА 96

Весна, заливая солнцем еще дремлющие, но уже наполняющиеся подспудною животворной силой, остро пахнущие сосновые боры, обгоняла княжой обоз. Дмитрий ехал в санях, расстегнув меховую шубу, отвалясь на возвышенное изголовье: сердцу было тяжело в груди, голова кружилась,— думалось, от весны, и он боялся упасть с коня. Что-то надорвалось в нем этою зимой, в многоверстных гонках и скачках надломились силы не только тела, но и души. Слишком многое обвалилось и рассыпалось из достигнутого за прежние годы.

Во Пскове, у зятя, приняли их хорошо. Довмонт, спасибо ему, не поглядел на угрозы Андрея. Старшины градские тоже уперлись, когда им из Новгорода пришла грамота о выдаче Дмитрия... Что ж! Пусть теперь Андрей сам разбирается с новгородцами... Сумеет ли только? Навряд!

Довмонт звал остаться, но Дмитрий, прослышав, что Переяславль отдали Федору Ярославскому, а ему, Дмитрию, вовсе не оставили места на земле, решил не медлить. Сейчас, когда татары только что ушли, когда по лесам еще бродят вооруженные ратники, когда Федор едва ли сумел утвердиться, а Андрей скачет из града в град, сейчас еще можно было все — или многое — воротить. И он ехал, несмотря на хворь, на застуду. Вез казну — пригодится. Ехал с сыном, Иван сейчас впереди. Только княгиню с ее бабьим двором да расхворавшуюся сноху оставил у зятя в Плескове. Как знать, что еще ждет впереди! Тело вот только отказы-

валось служить... Дмитрий, крепясь, терпел толчки, когда кренились сани или полозья ухали в водомоину, пил и пил весенний влажный воздух и не мог надышаться. Хотелось остановить коней и лежать вот так, в тишине, чувствуя, как ласково обдувает ветер, следя, как любопытная птаха, перепархивая с ветки на ветку, ниже и ниже, приближается, оглушительно-звонко верещит, желая и не смея клюнуть горячий навоз из-под конских копыт... Но приходилось спешить, вот-вот рухнут пути и вскроются реки. Иван подъезжал иногда, заботливо вглядываясь в лицо отца, и Дмитрий с усилием улыбался сыну. Это ничего, что немеют руки, что порою нечем дышать! Он просто устал. Ничего. Почему-то во Пскове не мог заставить себя успокоиться, переждать, отдохнуть... Нет, он еще поборется с Андреем! Возможно, Ногай скоро одолеет Тохту. Весна... Набухшие почки вот-вот лопнут... Весна!.. Кони ржут и нюхают воздух, и все еще можно воротить!

Ночью с гулом лопался лед, тронулись реки. Вода шла вровень с берегами, круша ледяные заторы, срывая кусты, подмывая и руша целые деревья. Солнце жгло, и вода в болотах, среди островов снега, нагревалась до тепла. Подснежники дружно лезли на проталинах. Дмитрий застрял, пережидая паводок, и опоздал к переправе. Новгородская дружина с Андреем уже ждала его под Торжком и сторожила все броды.

Ледяная вода шла стремительно, пронося последние рыхлые полузатонувшие льдины, несла коряги, кусты. Кони дрожали кожей и не шли в воду. Федор разоставил сторожу, ругаясь, сам полез наперед. Искупавшись, все ж таки нашел брод, выбрался на тот берег. Стали перетаскивать обоз, но первый же воз поплыл, и его едва вытащили. Стали рубить деревья, вязать плоты. Дружинники по одному перебирались через беснующуюся воду. И тут как раз, когда половина дружины была на одном, а половина на другом берегу, подоспели новгородские молодцы. Федор с крутояра увидал первым подходящую дружину. Завопил, махая своим: беда! Дмитрий, на том берегу, вырвал было саблю из ножен, но новгородцев было во много раз больше, как отсюда было видно — шевелился весь лес, сила валила неодолимая. Федор кинулся было назад, но князя уже схватили под руки, упирающегося, волокли к воде. К переправе, расшвыривая талый снег, уже скакали

в бронях и шишаках с разбойным свистом новгородские «молодчие». Пока там отстреливались, а безоружные обозные заползали под возы, ратники, борясь с течением, переправлялись через реку. Казна, припас, обилие — все осталось на том берегу, ничего не удалось спасти. Мало успели умчать самого князя. Дружина все ж сумела переправиться. Пока первые новгородцы, порушив строй, грабили княжой обоз, Дмитрий с дружиной успел оторваться от погони. Изнемогая, они добрались наконец до Твери. Добро, князь Михайло с матерью не испугались Андрея, приняли Дмитрия, его бояр и ратных. Князь, как сошел с седла, так и слег. Сердце неистово колотилось после скачки. Теперь, опоминаясь, переяславские бояре, хмурые, сидели у постели своего господина. Иван сам терпеливо подавал питье, отирал полотном пот с чела родителя. Озабоченный Михаил почтительно приветствовал Дмитрия, назвав великим князем, рассказал, что Андрей прислал послов из Торжка, требует выдачи, угрожает войной, что Ногай разбит Тохтой и отступил и его нойоны уже перестают ему повиноваться... Понизив голос, посоветовал мириться.

Оставшись наедине с сыном, Дмитрий прошептал:

— Ну, а ты что скажешь?

— Мирись, батюшка. Ты болен, казна потеряна, люди не могут больше... Мирись.

— Ладно, Иван, ты иди! — сказал Дмитрий и, когда сын вышел, заплакал. Плакал он молча. Только слезы лились и лились по щекам. Все кончалось... Кончилось уже... И сила, и жизнь, и власть. Если бы он еще мог встать, скакать, рубиться, не спать ночами, как прежде, как еще зимой. И еще думалось, казалось ему, что отлежится, вот бы лишь успокоить сердце... Но и отлежаться ему не дадут! Быть может... Он усилием воли заставил себя встать. Поднялся, выпрямился, постоял, большой, бессильный, пока ноги вдруг не задрожали страшно, и он сел, мало не упав. Со слабостью пришла отрезвляющая усталость. В конце концов пусть... Земля устала. Он устал тоже. Пусть Андрей... Дядя был тоже Андрей! Но он, Дмитрий, оказался слабее отца. Он усмехнулся невесело. Понурился. Что ж! Ты победил, Андрей. Не будет ли только горька победа твоя!

Послами в Торжок отправились тверской владыка и князь Святослав Глебович Можайский, что до сих

пор сидел в Твери, не торопясь возвращаться в свой дотла разоренный город. Андрей поупирался и взял мир.

Долго обсуждали, долго пересылались. Первое желание Андрея — не дать брату ничего — пришлось отложить. Возроптали все князья, особенно Константин Борисович, в злобе за Углич готовый всячески пакостить Андрею. Оказалось, что проще было родного брата ять, ослепить, убить на бою, но оставить его без удела нельзя было. И Андрей, поняв, что они с Федором Чермным зарвались, уступил. Да и ему самому вдруг не занравилось, что Федор Чермный ухитрился забрать три удела, и каких! Ярославль, Переяславль и Смоленск. Там, глядишь, и на него, Андрея, татар наведет! Оказалось также, что нельзя и Ивана, сына Дмитриева, оставить без удела. И Андрей, скрепя сердце, отдал Ивану Кострому (правда, не в удел, а в держание), а к Федору Чермному послал гонцов с требованием воротить Переяславль Дмитрию. Дмитрий взамен отказывался от великого княжения и присягал, что не будет искать власти под братом.

Уже схлынули воды и березы оделись листвой, когда, подписав грамоты отречения, Дмитрий наконец тронулся из Твери домой. Иван, распростясь с отцом, с частью дружины отплыл еще прежде в Кострому.

Обняв сына, Дмитрий долго не выпускал его, словно чувствуя, что видит в последний раз. Долго смотрел потом, как по синей воде уходили, распустив паруса, вниз по течению смоленые челны, как долго еще мелькали, появляясь и исчезая за мысами, белые паруса.

Проводив сына, он тут же засобирался в дорогу. Ехать решили привычным путем, через Волок. Дмитрий надеялся на помощь Данилы. К Переяславлю, ежели Федор Чермный заупрямится, следовало подойти с ратною силой.

Но до Волока едва добрались. Дмитрий слег. Думали, отлежится. Сожидали княгиню, псковскую помочь. Княгиня и тут не сумела приехать вовремя. Дмитрию час от часу становилось хуже, он терял силы, большое тело переставало повиноваться ему совсем. Нечем было дышать, князя выносили на двор...

В один из дней он позвал к себе Федора, долго глядел угасающими глазами. Трудно подняв руку, вручил кошель с серебром.

— Ежели умру,— прошептал хрипло,— Ивана, сына моего, не оставь. Не оставишь? Ну, прости... Сейчас езжай на Москву, брату весть отвези... И семью свою, может, живы... Ступай.

Федор осторожно поцеловал холодную влажную руку князя. Рука шевельнулась, князь повторил тише:

— Ступай.

Федор вышел. Дмитрий прикрыл глаза, прошептал:

— Боже! Ты — Бог мой, тебя от ранней зари ищу я; тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной.

Князь умер к вечеру субботнего дня, посхимившись и причастившись. Княгиня приехала утром в воскресенье, уже не застав мужа в живых. Тело Дмитрия повезли хоронить в Переяславль [1].

ГЛАВА 97

Княжевские мужики пробыли в Твери до весны, пока не согнало снег. Схоронили Прохориху. Умирая в сознании, старуха все жаловалась, что будет лежать вдали от мужа и родного села. «Ето мне за грехи, что его на чужом погости схоронила!» — утверждала она.

Степан Прохорчонок к весне заработал малую толику денег на тверских вымолах. После смерти матери ворочаться в Княжево он не захотел. Стали делиться. Продали третью лошадь, деньги поделили. Вера подарила Степановой семье корову. Сани сменяли на телеги, приплатив. Степан купил новый сошник. Он уже вызнал, где какие места, и ладился за Волгу, на вольные земли.

— Там какой князь еще татар наведет, опеть бежать! — хмуро объяснял Степан.

— Переморишь детей! — строго упреждала, поджимая беззубый рот, Вера.

Попрощались, перецеловались. Замотавшись, положив тощие пожитки, Вера запрягла своего коня и тронулась вместе с негустою толпой переяславцев в обратный путь. (Уже стало известно, что Федор Чермный оставил город.) Степан же на другой день, уложив куль семенного хлеба, что чудом сберегли (мать, умирая, говорила: «Сберегите!»), отправился к перевозу.

Колеса глубоко вжимаются ободьями во влажную от

---

[1] Дмитрий умер в 1294 г.

весенней сырости землю. Заплывающий водой след тянется за телегой.

— Комарья тут! — вздыхает жена.

— Да...— рассеянно роняет Степан. Проехали уже десяток деревень, места все не находилось. Степан упрямо забирался все дальше и дальше. Марья просила иногда:

— Устали, Степушка, абы куда пристать!

— Абы куда, дак домой нать было воротить!

Он кинул торную дорогу и уже давно пробирался глухоманью.

— Не знай, чье тут и княжесьво...

Ночевали в лесу. От стылой земли кашляли дети.

— Поди уж Господина Великого Новгорода земля!

— Альбо ничья...

— Меньшенькая у нас, Степушка... Довезти бы...

Он оглянулся, вдруг словно впервой увидел вытянувшиеся мордочки двоих своих старшеньких и совсем уже квелую меньшую. Верно, пора было остановиться.

Он еще день пробирался чернолесьем, уже приглядываясь к каждой западинке, к каждому лужку, но то вода была далеко, то лес мокрый, то земля не казалась.

Наконец расступились, не в сотый ли раз, высокие дерева, меж стволов просветлело. С горы открылся воздушный простор, и блеск, и свежее дыхание воды, а потом и тихое журчание сказали о реке. Полого взбегающие горки в лесной густой щетине окружали долинку.

— Глянь, Марья! — хрипло позвал Степан. Жена, сдвинув плат с искусанного комарьем лица, неотрывно глядела в тихую, с мягкими извивами речку, что струилась внизу.

— Красота, осподи!

Усмяглые дети зашевелились на возу. Тоненько заплакала меньшенькая. Марья, закусив губу, стала совать ей, выпростав из рубахи, потную, в набухших венах грудь.

— Не берет! — замученно вымолвила она.

Степан глянул с хмурой тоскою. Прикрикнул на близняшек, что, проснувшись, опять стали пихаться, начал сводить воз вниз по угору, проламывая ельник. Лошадь дергала головой. Овода кружились над нею с сердитым жужжанием. Но Степан, ухватя Лысуху под

уздцы, коротко к морде, сильно и бережно сводил воз, мягко успокаивая словами упиравшуюся, взопревшую и измученную больше всех кормилицу. Корова, привязанная сзади, хромала, дергая вервие. Жеребенок, отстав в ельнике, взоржал испуганно и Лысуха, захрапев, чуть не вывернула воз. Степан удержал, однако, и вывел на пологий, в орешнике, берег, где путь им преградил было завал из сухих дерев. Марья, слезшая с воза еще прежде, взяла теперь Лысуху под уздцы, а Степан, достав из-под сена топор, в три удара — отколь воротилась сила к мужику — перерубил самую толстую рогозину и, натужась, разволок завал. Выехав из орешника, телега разом окунулась в высокое влажное разнотравье, в море цветов, над которыми реяли блестящие, словно парчовые, стрекозы. Отощавшая, изъеденная до кровавых язв корова уже жадно, вскидывая рогатой головой и помахивая хвостом, въелась в сочную траву. Пока выпрягали и поили Лысуху, раз пять плеснула крупная рыба. Степан отошел на угор и копнул деревянною, с окованным краем лопатой. Мягкая и влажная краснобурая земля была добра. Он выпрямился, озирая тихую, в лесном укрытии, прогретую солнцем долину. Прикинул, что дерева на избу удобно будет волочить вниз, под угор. Куда еще бежать? И так пора упущена — пахать да сеять... Хоть сколь, а надо, не то зимы не протянуть! Марья поглядела на него просительно:

— Здеся останемси, Степушка?

— Надоть затесы поискать. Поди, чья еще земля, займуем — худо будет. А место доброе...

— Тихо тут! — сказала Марья.

— Тихо,— согласился Степан.

Монашек стоял, ясно глядя на мужика. Без любопытства окинул оком избу-зимовку и распаханный луг.

— Тута наши угодья, монастырски.

— Почто ж тамги не ставишь? — грубо отмолвил Степан.

— Кто ж вас знал? Оттоль, от дороги, затесы есть.

— Что ж, теперича мне убираться отселе?!

— Почто? Земля — она Божья!

— В холопы, что ль? — с яростью спросил Степан.

— Холопов при монастырях нетути! — строго возразил монашек.— Святой митрополит Кирилл тако заповедал, а паки того, от отец святых... Как мощно братию свою во Христе работить? Захочешь, иди. Путь тебе чист. Хочешь, живи тута. Никто не зазрит. Да ты поговори с отцом игуменом! Он послал: кто ста здеся? Щепки по реки плыли. Он за малую мзду разрешит и осести тутотка, да и попервости может и помочь чем. Жито у нас есть! Угодья монастырски, дак их пахать надоть...— прибавил монашек.

Ночью Степана трясло. Марья, как могла, утешала:

— Ничего, Степа! Тут заживем! Земля добрая! Добрая земля, ее не обижать, все залечит... А может, и впрямь жита у их взять?

— Малая что? — спросил он погодя.

— Плохо, Степушка! — тихо отозвалась Марья.

Монашек появился вновь, когда хоронили ребенка. Молча сбросил с плеч мешок с мукой. Молча заглянул в домовинку, перекрестился. Достал огарок свечи, возжег, начал читать отходную. Исполнив обряд, кивнул на мешок:

— От отца игумена, в дар!

Помог донести гробик. Скоро в орешнике, на пригорке, невдали от поля, появилась маленькая могилка. Когда домовинка была опущена в землю и они, натужась, вдвоем забросали яму и поставили крест, монашек, поклонившись Степану с Марьей, еще раз перекрестил могилу и неслышно пропал в кустах.

— Вот и корень пустили в землю! — сказал Степан.— Бог даст, и нас тута дети наши схоронят!

Марья молча покивала и затряслась от рыданий, клонясь лицом ниже и ниже. Степан привлек ее к себе. Она ткнулась ему в колени.

От реки донесся звонкий голос. Ребята ловили сорожек, уже позабыв о похороненной сестренке.

— Вставай, жена,— сказал Степан.— Дела ждут.

ГЛАВА 98

Данил Лексаныч возвратился в Москву сразу, как ушли татары. Все было разорено, амбары пусты, пол-Кремника выгорело — сгорел княжой двор и житницы. Уцелели хоромы Протасия, там и поселились на время, на-

весив выбитые двери и отмыв изгвазданные полы, княжеская семья вместе с семьями Протасия, Федора Бяконта и еще троих великих бояр, чьи хоромы также были разрушены. Из Новгорода уже дошли вести, что старший сын, Юрий, жив и цел и по весне воротится домой, и Данила мысленно перекрестился. Пока прятались на Пахре, в лесах, у Овдотьи разболелся и в три дня сгорел меньшой, новорожденный, Семен. Но теперь она уже оправилась. Бегала по переходам, дивилась тесноте:

— Вот не знали, како житье-то!

И со смехом сказывала приезжим, как, кувырком, они бежали из Москвы от татар.

Народ опасливо возвращался на свои места. В концах уже стучали топоры. Купцы починяли амбары. Из уцелевших деревень везли хлеб.

Данил, когда, воротясь, прошел по своему порушенному Кремнику, дак едва тут и не заплакал. Он бродил, ковыряя сапогами то здесь, то там. Все, что с такими трудами ежедневно, годами стараний возводилось и копилось, обернулось дымом в единый день. «Не собирай себе богатств на свете сем, что червь портит и тать крадет!» Он жевал бороду, глядя в пустоту. Подошел дворский. Данил слепо оборотился к нему... Мужики и дружина лопатами стали разгребать снег. Данил стоял, тупо глядя, как обнажаются остатки недавнего пожара: рухнувшие обгорелые бревна, зола, черепки. Наконец что-то проблеснуло зеленью. Он опомнился, удержал замахнувшегося пешней ратника. То была завалившаяся, рухнувшая обливная печь — гордость Данилы. Он подошел, присел, потрогал. Потом разогнулся:

— Осторожнее махай, Минич!

Позвал дворского:

— Повороши тута! Которы целы изразцы, пущай отберут. И того... На монастырь лес возят ле?

— Возят, батюшка, Данил Ляксаныч!

— Ну и... того... Житницу вели складать. В первую голову чтоб.

— Велено уже, батюшка!

— Люди-то ворочаются?

Дворский мелко засмеялся.

— А что им сдеется, мужики! Не впервой! Гляди, строются уже!

— То-то... Не впервой...

Данил отворотился и, сутулясь, пошел озирать городовую стену.

Федор прискакал в Москву, когда уже на развороченном посаде и в Кремнике поднялись новые хоромы и клети, были залатаны крыши и бойко звенели молотки и колотушки ремесленной слободы. В Детинце возводились княжие хоромы, под горою жгли изразцы для печей, и ордынцы уже ходили, щурясь, задирая головы, смотрели на княжеское устроение. Им было с чего усмехаться. Нынче Данил безо спора передал ордынский выход с Москвы хану Тохте: оставили бы только в покое! (Землю разорили вконец, впору было не выход платить, а с Орды, кабы такое возможно, просить помочи...) В ход пошло береженое серебро, чего бы трогать не след... Охо-хо-хо-хо! К Андрею тоже послал князь Данил с поклоном и поминками. Ладно, их дела с Митрием, а только Переяславль ярославскому князю отдавать было не след, ой, не след!

Федора князь Данил сперва не признал было. Потом, маленько оживясь, стал расспрашивать: «Ну как? Ну как?» Но, видно, что не очень вникал. Свои заботы, разоренная Москва, да и смерть старшего брата на Волоке — все было поважнее.

— Уходит Ростиславич-то из Переяславля, уходит, бают!

Данил пожевал губами. У него появилась новая привычка, чего раньше не было: жевать кусок бороды. Он раздобрел, но как-то не по-хорошему. Заметно постарел, вокруг горбатого носа обозначились две крупные морщины. На взгляд тридцатитрехлетнему московскому князю сейчас можно было дать уже и все сорок.

Принимал Данил Лексаныч Федора в тесной горнице Протасьевых хором. Свой терем еще не был свершен. Князь прежде поторопился поставить житницу, поварню, бертьяницы, погреба и конюшни.

ГЛАВА 99

Отпущенный князем и накормленный внизу, в людской избе, Федор отправился на посад искать своих. Он сам нетвердо понимал, с какого конца ему начинать. Прежде всего, наверно, следовало разыскать брата. Грикша,

на грех, оказался в отъезде. В Даниловом монастыре, где трудились не покладая рук и где всем было не до него, тоже ничего не знали. Вызнал он тут, однако, что с монастырским обозом, когда бежали, ни Фени, ни детей не было. Он воротился в Москву, ткнулся в указанный ему дом брата, но тут вышла какая-то раскосмаченная толстая баба в сбитом повойнике и начала ругаться:

— Какой брат? Какой Михалкич? Нету тут таких! И не было никогда! Татары убили! Харю б тебе своротить! И не пущу! Ишь, глаза-то налил с утра! Винищем-то разит! Да бесстужий какой, дом ему подавай! У-у-у, ирод, зацапа, волюга тухлая! Язык бы те выворотило, час бы вздохнул, да другой не мог!

Она ругалась, упершись руками в бока. Потом схватила жердь, замахиваясь на Федора:

— Чаво стал, чаво! Уходи!

Стала собираться толпа. Федор не знал, как сладить с осатанелой бабой, не за саблю же браться!

Вылез мрачный мужик.

— Чево нать? Не живут! Нету таких!

Соседи начали стыдить:

— Сказал бы путем! Ты-то здеся давно ли? Избу у тя что ли съели, отгрызли углы?

— Ходют тут всякие! — сипло проворчал хозяин, захлопывая дверь.

— Да ты заходь, мил человек! — позвал другой сосед.

— Кто таков у вас?

— А! Офонас, медник! Сам и женка — ругатели, каких мало! Под горкой жил. А тута один переяславский с монастыря. Да у Офонаса-то дом раскатали, сюда перебралси! А того-то и нету до сих пор! Братец? Да ну! Ну заходь, заходь. Коня тута привяжи, без опасу!

— Народ тут у вас! — покачал Федор головой.

— А всякой у нас на Москве народ! Всякого есь чуда. Со всих мест. Тута и рязанcки, и володимерски... Местных-то, почитай, не остаетси! Разный народ, разноличный! Кабы свои-то, так бы не тово... А толь, деды-то сказывают, тихо было место!

Хозяин подал деревянный ковшик с водой.

— Были, были тута. Бабенка была рябовата така, и с дитем. Двое... Нет, того не знать. Одно чадо. Еще

мужик при ей, словно не муж? Братец, должно, а словно другой!

С надеждой узнать поболе Федор засиделся. Он никак не предполагал, что Ойнас остался с Феней. Ему почему-то казалось, что холоп должен был дернуть от него в бег и уйти в Литву. Смущало и то, упорно повторяемое хозяином, что чадо было одно, и он засомневался. Может, Грикша пристроил Феню с детьми где в ином месте?

— Да вот,— тараторил хозяин,— Глаха придет, она с има толковала тута, она скажет! Мы-то ране ушли, не знам ничо...

Приходилось ждать Глафиру. Хозяин сел на складную скамеечку, надел передник, подвязал волосы кожаным снурком, взял в колени сапог. Ловко отдирая прохудившуюся подметку, продолжал сказывать:

— Так-то... Тихо было место! Стечки, вона, где Неглинка с Москвой сходют, там стоял крест. С мальчишками что случатца, там вешали но́вины на крест, водичку брали, лечили. Помогало.

— И у нас также!

— Во-во! Это уж крест-от потом ставлен, а воду на стечках брали еще при волхвах ентих. Ну, а после в бору, на горе, на Боровицкой, отшельник жил, Вукол, Букол ли, так и так кличут. А там, ближе-то, терем стоял Кучковичей, тутошние были, бояре али князья. Юрий-то, Долгая Рука, ихнее и забрал имение-то и построил град, оттоле прозвася Москов, али Москва. Теперича больши бают Москва, по реке, значит. А кто болтают, что и до Юрия тута град был, Кучково прозывалось место, невесть! Ну, а уж как тут Данил Ляксаныч, значит, сел, то все и завелось: и суд, и торг, и купчи-новгородчи... Вона, как обстроили! Кабы не етая беда, дак тута любота была!

Сказывая, он постукивал молотком, ухитряясь одновременно говорить и держать во рту деревянные гвозди. Кончив сапог, оглядел, полюбовался, прищурился, потом, безразлично шваркнув в угол, принялся за другой.

Федор сидел как на иголках. Наконец возвернулась с рынка Глафира. Стала шумно объяснять, какая нынче дороговь, завидя Федора, всплеснула руками:

— Гость-то у нас! А я и не ма́лтаю!

Глафира тоже, однако, утверждала, что в доме жили женка с дитем и мужик «большой такой, все ходил, с

коням обряжалси». Федор верил и не верил. Набежали соседи, каждый стал советовать свое.

— Ему вот что: на Манькино займище надоть съездить!

— А чо?

— А и не чо, тамо есь две семьи пришлых!

— Не слухай! Ты по торгу походи, паря! На торгу поспрошай, первое дело!

Федор ездил и на одно, и на другое займище, и в рядах прошал, и уже отчаялся совсем.

Ночевал он у своих новых знакомых. Женка, радуясь свежему человеку, сказывала про ихнее житье. Федор слушал и не слушал. Лежал, и редкие слезы скатывались у него по щекам, благо в темноте не было видать.

Грикшу он нашел, по счастью, решив в последний день еще раз съездить в Данилов монастырь, поспрошать, и столкнулся с братом на переезде. Они даже проехали мимо друг друга, но оба разом заворотили коней. Соскочив с седел, обнялись. И прежде чем Федор успел раскрыть рот, Грикша вымолвил:

— Живы.

— Где?! — Федор сорвался и зарыдал.

Проезжие косились на них. Грикша отвязал от седла баклажку. Зашли за кусты, привязав коней. Здесь, у редких клетей, бродили гуси. Сзади подымались зеленя. А Москва вся стояла на виду, на той стороне, вздымая рубленые башни и прясла стен, из-за которых отсюда едва вытарчивал новорубленный терем князя Данилы.

Поглядывая на город, они сели под сараем. Оказалось, Федор все время искал не тех, кого нужно. Грудной ребенок у Фени умер еще дорогой, до Москвы, потому никто из соседей и не знал, что детей двое.

— А за спасенье спасибо не мне, а Яшке твоему.

— Не сбежал?! — ахнул Федор.

— Он их и спас. Я в монастыре был. Кинулся — тут пусто. Под стрелами ушел. И не знал, где они и есть! А Яшка запряг — тоже все бросили, в одних шубах — и погнал туда, к Звенигороду. Где-то, бают, на озере отсиделись, за Рузой... А воротились, я тут их и нашел. Ойнас твой прямо в монастырь привез... Дак страшно глядеть было. Кору там ели, говорят. Я их в Красное Село отвез, там подкормились немного, а нынче в Переяславль тронулись. Маненько ты не застал.

— А в доме твоем какой-то поселился...

— Знаю! Недосуг все... А вот возьму приставов, так я ему покажу, умней станет вдругорядь! Тут, на Москве, свой дом отбить, и то подумаешь преже. Народ всякий. Тебя кто принял-то? А, чеботарь! Ну, он мужик тихий... А ты учись, учись, Федор, ты все по-своему, а люди злы, съедят!

— Где ж ты теперя-то?

— У архимандрита...— неохотно отозвался Грикша. Помолчав, предложил: — Ты етто. Переезжай ко мне. Ужо потеснюсь.

— Да нет, поеду! Давно они?

— В тот четверток.

— Я думал, у тебя тут хоромы! — сказал Федор, печально усмехнувшись.

— Хоромы у бояр! — жестко отмолвил Грикша.

— Али ты столь нужен?

— Серебро в чужой мошне легко считать. Бога благодарю, что не успел построиться! И не буду. Князь Андрей не последнее чудо учудит.

— Думашь?

— Мыслю так!

Они замолчали. Федор только теперь и заметил, что солнце греет, что все зелено и весна. И Москва показалась даже красивой. Высоко, на горке!

Они шагом ехали бок о бок по наплавному, недавно наведенному вновь после ледохода мосту. Грохотали телеги. Настил дрожал и покачивался под колесами и копытами коней. Пешие теснились, стараясь обогнать медленные повозки, проскакивали по самому краю, у воды. Высоко на горе стояла бревенчатая стена. Тут, с берега, она уже все закрыла, и верха и кровли. Видны были только дощатые свесы да шатровый невысокий верх проездной башни.

— Как там у нас, не слыхал? — спросил Федор, когда они, обогнув Кремник, подымались на взгорье вдоль кожевенных рядов. Грикша искоса глянул на брата, вздохнул:

— Не хотел говорить-то! Слух есть, Ростиславич, как уходить, сжег город.

— Федор Чермный? Ярославский князь? — охрипнув, переспросил Федор. Грикша угрюмо кивнул.

— Он. И еще одно. Дмитрий Борисович Ростовский умер, говорят. Теперь Константин Углицкий сядет на Ростов. Это к добру. Они с князем Андреем в ссоре. Ты там вызнай, сестра-то наша жива ай нет?

ГЛАВА 100

Жутко выглядит сожженный город, ежели это город, знакомый тебе с детских лет. Глаза не верят, глаза знают, что вот там и там подымались хоромы, тут и церковь, «шатровый верх», а там клетская, «дивная», как называли ее на посаде. Эта гора щетинилась крышами, там был торг, тут — княжой двор...

Глаза помнят, но там, где мысленному взору представляются хоромы, клети, кровли, верхи,— там сейчас только небо, гладкое место, да глиняные развалы печей, и угасшие головни на земле. Кое-где в небо подымался еще медленный ленивый дым, что-то тлело уже вторую неделю под пеплом.

Федор подивился, какое ровное место тянулось, оказывается, по берегу озера от Горицкой горы до рыжих, опаленных пожаром валов Переяславского детинца. Городня на валах тоже обгорела, порушилась. Люди копошились там и тут в золе, искали остатнее добро. Людей было мало, то ли не воротились, то ли ярославский князь увел с собой во полон.

На Федора взглядывали молча, без интереса. Он, не спрашивая ни у кого ничего, проехал в бывшие ворота — сейчас пустой, обгорелый разрыв среди двух крутых земляных осыпей. И тут было еще более жутко. По кругу тянулся чернорыжий от огня городской вал, а внутри было ровное поле, покрытое пеплом и золой, и на нем, придвинутый к краю, стоял, весь в саже, каменный собор. Собор уцелел, обгорели только верха. От княжеских теремов не осталось и следа. Шагом ехал он по этому пустому месту и оглядывал ровную круглящуюся линию валов и второй разрыв — вторые сожженные ворота — там, впереди, все это густо застроенное тянущимися вверх крутыми хоромами место, место торга, Красную — теперь черную — площадь перед собором и дворцом, дворцом, которого нет. Во всем этом: и в черно-сером пепле, и в пустоте круглящейся ровности городских валов, и в одиноком величавом соборе князя Юрия Долгорукого — была какая-то неживая и страшная красота. На миг представилось, что люди сюда уже не придут, что дожди сгонят черную копоть со стен собора и дочиста отмоют белый камень, а склоны валов порастут зеленой травой, поосыпятся. Мудрые вóроны рассядутся на зеленых склонах, из земли потянутся березки, а потом

рухнет собор, дерева оплетут корнями белый камень. Ели и сосны вырастут на валах. И только круг более густого леса да иногда глиняный черепок на земле, под бором, будут напоминать путнику, что здесь была жизнь, стоял город, жили люди — Русь.

Кто-то ковырялся в золе у собора на месте княжого терема. Подъехав, он узнал знакомого княжеского дружинника. Поздоровались. Тот махнул рукой. Выехав из вторых бывших ворот, Федор направился в рыбачью слободу, выгоревшую только наполовину. Здесь курились печи, сновали люди, рыбаки починяли челны. Знакомый боярин Терентий обрадовался Федору, даже забыл про чины, обнялись. Поговорили о князе Иване, что, похоронив отца, уехал к Андрею добиваться Переяславля.

— Тут бы не спорить...

— В Орду послано?

Боярин пожал плечами.

Княгиня с двором и молодою княгиней остановились в Весках до поры, пока возведут хоть какое жилье. Тело Дмитрия положили в соборе. Федор, простясь с боярином, воротился в город, подъехал к собору, спешился, обнажив голову, зашел внутрь. Долго стоял перед гробницей князя без мыслей, без дум. Потом поцеловал гроб. Приложившись к иконе святого Дмитрия Солунского, вышел вон. Служка потащился следом за ним. Федор оглядел собор, кивнул:

— Верха оплыли совсем!

Тот, тоже задирая голову, покивал растерянно. Федор, не дожидаясь ответа, надел шапку, сел в седло, тронул коня.

Никитский монастырь уцелел, но Клещин-городок спалили тоже. И все-таки, подъезжая к Княжеву, Федор надеялся увидеть свой дом целым. Он приподымался на стременах, ловя знакомую кровлю. Кровли не было. «Сжег Козел!» — зло подумал он. Не было и другой высокой кровли, Прохорова дома. Деревня выгорела до пруда. Только там, за прудом, уцелело несколько изб и клетей.

Федор подъехал к родимому пепелищу. Конь осторожно переступил через поваленную ограду. Заводной, вслед за первым, тоже переступил, высоко подымая ноги, фыркнул, ноздрями втягивая запах гари.

Странно, как трудно было ставить хоромы и как мало осталось от них теперь! Несколько раскатившихся

черных бревен... Он подъехал к тому месту, где был амбар. Так и есть! Яма разрыта, хлеб, значит, украли.

Журчал ручей за деревней. Росла молодая трава. Федор стоял, конь, опустив голову, вынюхивал землю. Заводной, поглядывая на хозяина, поводил ушами.

Он стоял и не думал ни о чем, даже, что надо искать своих, и опамятовался только, когда услыхал крики и увидел старуху, что, хромая, бежала по улице. Он вгляделся, спрыгнул с седла. Мать с воем бросилась к нему.

— Мамо, мамо...— говорил Федор, не выпуская ее из объятий, а она то ревела, утопив лицо у него на груди, то, отстранясь, ощупывала руками его голову, плечи, щеки, причитала. Так они и стояли, мать и сын, когда послышавшийся рядом тоненький дитячий голосок заставил его обернуться. Несколько баб столпилось не в отдалении, и среди них Феня, боявшаяся подойти, с растерянной, намученной, но жалко-радостной улыбкой на лице, и сынишка, тощий, паршивый, который и кричал: «Тятя! Тятя приехал!» А сам, топоча красными босыми ножками, то совался вперед, то, боясь отпустить Фенин подол, возвращался к мамкиным коленям. А за ними высился Ойнас и тоже издали улыбался своему хозяину. Федор отпустил мать, подошел. Бабы уже тараторили, радостно всплескивая руками. Он поднял сына, прижал; обнял Феню, тут тоже залившуюся слезами, потом, передав ей сына, отступил и в пояс поклонился Ойнасу.

— Спасибо, Яша! За жену, за дитя...

Он обнял холопа. Тот застеснялся, забормотал:

— Малое-то, малое-то...— от волненья не находя слов.

Но Федор отмолвил:

— Знаю, Яша! Я Грикшу видал. Божья воля на то! Хоть вы-то все уцелели. Дядя Прохор где?

Из кучки выступила Олена:

— Помер он. Дорогой схоронили.

— И старуха его померла. В Твери! — сказала мать.

— А Степан?

— Не захотел ворочатьце.

— Кого еще нету?

Стали перечислять...

Они шли вдоль деревни. Федор нес прижавшегося к нему сынишку. Мать и Феня семенили по сторонам. Ойнас вел коней. Бабы теснились следом. А впереди,

у открытых дверей клети, стоял и улыбался беззубо во весь рот дед Никанор.

— Федюха! — заорал он сиплым радостным голосом.— Федюха! Сынок!

И оттого, что дед назвал его сыном, у Федора снова защипало в глазах. Он обнялся со стариком, а тот бормотал:

— Вот какого нам Федор Черный с Окинфом натворил, видашь, видашь?

Он вдруг отстранился:

— Переславлем ехал?

Федор кивнул.

— Ну, видал, значит! Ну... Пойдем, поснидашь чего... А хлеб твой сберегли. Нынче разрыли, чтоб водой не поняло. В клети тут и сложен! — прибавил Никанор, и Федору стало жарко даже, он-то подумал, что выкрали.

— Пахать надоть! — примолвила мать.— Яша тут налажал, уже два клина прошли.

— Да,— ответил Федор.— Да... Надо пахать.

Сидели, хлебали уху.

— Ну как теперича, кто у нас князем будет? Иван Митрич али Андрей Лексаныч сам? Кажись, еговы бояре приезжали...

— Кого мы захотим, тот и будет! — резко ответил Федор, откладывая ложку.— Как земля скажет!

— Ето ты верно баешь, Федюха! — поддержал Никанор.— Должон Андрей Лексаныч и нас спросить! Баяли, ты у Митрия покойного был в чести?

— В чести у его Окинф Великой был...— рассеянно отвечал Федор.— Да вот...

Спать их уложили в отдельной клети. Феня, исхудавшая, замученная, стеснялась своего тела.

— Хорошо тебе? — спросил он.

— Не знаю. Отвыкла я от этого...

Федору вдруг стало так горько, так жалко и стыдно, привиделось, что все его ратные труды ничто еще, по сравнению с тем, что вынесли они, женки, старухи и дети. Федор крепче прижал к себе жену. Подумал, что утром уже надобно вновь прощаться и скакать: тормошить вдовую княгиню, собирать ратных, уговаривать бояр, подымать народ и — немедленно, тотчас, сразу — скакать за помочью в Тверь и Москву, везти князя Ивана в Переяславль, собирать дружину, строить, крепить город... Это был старый их и вечный спор

с Грикшей. И Федор упрямо полагал, хоть и не хватало слов, когда спорили, что все-таки жизнь идет не сама по себе, что делают ее люди, мы, живые, и от наших усилий, сообча, миром, происходит то, что потом назовут божьим промыслом, или историей, или еще как-нибудь, мудреными словами, ученые люди. Но что ежели бы оно шло само, без нашей воли и помимо воли, то и жить бы тогда не стоило вовсе в этом грешном мире, на этой суровой земле.

ГЛАВА 101

Иван Дмитрич приехал в Переяславль, бросив Кострому, и начал отстраивать город. К нему стекались понемногу бояре и дружинники отца, все те, кому по землям и по чести не захотелось кинуть Переяславля и своего князя. Возвращались и те, кто попрятался в лесах или переметнулся к Федору Чермному в пору его краткого княжения. Иван принимал всех. Он вдруг, как это иногда бывает с книжными людьми, которым тоже, подчас, достается власть, вместо того чтобы растеряться, проявил, не находившие при отце применения, нешуточные упорство и волю. Отцовы силу и твердость возмещала Ивану ясная убежденность в том, что надо и чего не надо, не нужно делать. Ясность, идущая от воспитанного книгой сознания. Так, сейчас он знал, что ни Федору Чермному, ни даже Андрею отдавать Переяславль нельзя. Впрочем, об Андрее, который остался как-никак старшим в их родовой ветви потомков Невского, он не понимал этого так отчетливо и потому сперва медлил с приездом, чуть не упустив города, а и сейчас еще, уже воротясь, не до конца уяснил свое отношение к Андрею, и потому очень обрадовался известию, что дядя Данил невдолге хочет приехать к нему в Переяславль.

Кроме того, перебывав в походах, пройдя весь тяжкий путь бегства и возвращения, Иван Дмитрич очень живо почувствовал цену верности и уже не мог сам изменить поверившим в него людям, бросить, отдать в чужие руки верных ему ратников и бояр. Потеряв нескольких великих бояринов, перешедших к Андрею вместе с Окинфом, он все же сохранил и вновь собрал дружину отца.

Когда, окончив первоочередные дела, кое-как поправив и залатав Москву, Данил Лексаныч приехал к племяннику в Переяславль, город уже не был так пугающе страшен, каким узрелся весной Федору. Там и сям поднялись слепленные на скорую руку клети и землянки, отстраивалось несколько хором бояр и торговых гостей, уже развернулся торг, и уже росли терема на прежнем месте, около собора, хоть и попроще, и победнее прежних. Люди шевелились всюду, но Данил, шагом объезжавший вместе с Иваном город, все же был потрясен. Он не видел Переяславля таким, каким его оставил ярославский князь, и потому поминутно спрашивал: «А тут? А тут? А тут?» Данил тыкал плетью, а Иван, глядя спокойно своими глубокими глазами, поворачивал к дяде бледное лицо и отвечал тихо:

— Тут вовсе ничего не оставалось. И тут тоже, и тут, и там — до лесу ничего не было.

— Ничим-ничего? — переспрашивал Данил, не в силах поверить и тому, что видели глаза.

— Ничим-ничего,— повторил племянник.— Ровное место. И пепел.

— Ну, Федор! Черный ты и есь!

— Он родня нам? — бесцветно усмехнувшись, спросил Иван, глядя куда-то меж конских ушей.

— Какая ён родня! Был родней по первой жене, да пока сына не уморил! — разъярился Данил.— Смоленский выродок да ордынская б...., вот те и родня! А ему — Переяславль! Гля-ко!

Он кипел и уже горячил коня. Надолго замолк. Перед теремами приодержали: московский князь, стоя, глядел, жуя бороду. Двинул кадыком, показал рукой: всё, мол? Иван склонил голову. Данилу передернуло. Глухой звук, не то рык, не то всхлип, поднялся у него из груди.

— Отцово наследие, отчину,— выродку смоленскому! Хуже татя!

Данил поворотился, и Иван увидел вдруг, что по морщинистому лицу дяди покатились неложные слезы не то горя, не то бешенства.

— Плотников недостанет...— пряча глаза, сказал Данил,— я своих подошлю постом, сотни две альбо три, и повозников тоже, верно, нать?

— Спасибо,— сказал Иван тихо. И повторил: — Спасибо. Не откажусь. Разочтемся.

— А!..— махнул рукой Данил.— Мужики погорелые

не считаются, а мы, родные, как-никак... Отцово добро! Эх, Андрей! Великий князь володимерской!

И в том, как Данил сказал про Андрея, почудилось незнакомое: уже без почтительности прежней, не как о старшем, чуть не вдвое, брате, а как о равном и даже младшем. Иван понял, что дядевей уравняла его, Иванова, беда: сожженный Переяславль отнял честь старшинства у Андрея, и Ивана вдруг залила теплая волна. Своим: «Эх, Андрей!» Данила разом снял с него постоянный душевный груз нужной почтительности к старшему из дядевей, хоть и ненавидевшему его отца и самому отцу ненавистного, но все же, о сю пору, непререкаемо старшего в роде и значении меж них всех. Он даже головой встряхнул, как камень с души свалился. Понял, что и он уже ничего не должен Андрею и не в ответе перед ним.

Князья стояли конь о конь, а мимо них десяток мужиков и четверо коней в упряжке, надрываясь, волокли восьмисаженное коневое бревно.

ГЛАВА 102

Снова ратаи громкими окликами понукивают коней, снова черные борозды протягиваются через затравеневшие поля, и горячее солнце, бог Ярило, древний бог язычников-славян, шлет свои милостливые лучи, пробуждая злаки и травы.

Гаснут и снова загораются зеленые боры, тени облаков ползут по земле. Перепадают дожди. Подымается густая щетка хлебов. Вот уже близок Троицын день, уже заколашивается рожь. Парни и девки, выходя за околицу, «водят колос»: берутся за руки, лицом друг к другу, и по соединенным рукам бежит от села до ближнего поля девчушка в васильковом венке. Задние пары торопятся перебежать вперед, снова подставляют руки. Добежав по рукам до поля, девчушка срывает несколько колосков и вихрем несется в деревню, бросает колоски около деревенской часовни или церкви. Визг, шум, смех. Звучит старинная песня, от дедов-прадедов, от прежних времен, от бога Ярилы идущая. А в Нижнем Новгороде пристают низовые лодьи, и кучки донельзя оборванных и отощавших людей — русский полон, выкупленный своими князьями в Орде,— вереницею спускаются по сходням, падают на

колени, крестятся и целуют родную землю. И идут, растерянно улыбаясь, от села к селу, от города к городу, кормясь подаянием, разбредаются по дорогам в смоляные духовитые боры, в наливающиеся хлеба, в деревни, звенящие песнями, в пестроцветные луга, в Русь.

Земля дремлет под солнцем, только жаворонки звенят на тонких невидимых ниточках в вышине, да звенят топоры на посадах: успеть меж сенокосом и жнитвом срубить, сложить пожженные ратниками хоромы, поставить разметанный амбар, починить клеть, поднять огорожу двора, что по зиме втоптали в снег копыта татарских коней. Страна отдыхает. Страна залечивает язвы войны.

Где-то на севере дружина Новгородской республики возвращается с Наровы, разгромив датчан. Князь Довмонт стережет псковские твердыни. Плывут по рекам новгородские купеческие лодьи. В торжках и рядках кипит торговля, переходят из рук в руки лен и воск, многоразличная железная ковань, замки новгородской ладной работы, бобровые, соболиные, рысьи меха, связки белок, скора и дорогое иноземное сукно, серебро в слитках — гривнах и узорчатая златокузнь. Подвески, кольца, браслеты, кресты, колты, ожерелья — текут, притекая и растекаясь по градам и весям страны.

В лугах уже косят, мужики идут в ряд, с горбушами, низко нагибаясь, взмахивая вправо-влево, вправо-влево. Трава под ножами горбуш валится в обе стороны. Трава нынче добра. Подымаются копны, растут стога. Лето в полном разгаре. По ночам вспыхивают зарницы, и крупные спелые звезды, срываясь, прочерчивают стремительный путь.

Начинается жатва хлебов. По утрам, на призывное пение владимирского рожка выгнав корову в стадо, хозяйки торопятся истопить печи. В полдни деревни стоят пустые, все в полях. Страда. Скрипят, покачиваясь, возы, выстукивают цепа на току.

Богатая Тверь уже шлет торговые караваны вниз по Волге в Сарай и вверх по Тверце в Новгород. Через Смоленск и Москву пробираются реками немецкие торговые гости. Кострома и Нижний принимают бухарских и персидских купцов.

Князь Андрей строит новый княжеский терем на Городце. Константин Борисович, посадив сына в Угли-

че, устраивается на ростовском столе. Федор Чермный нынче опять в ссоре с племянником, Александром Глебовичем, коего сам посажал в Смоленске. Племянник подрос и не хочет слушаться дядю. Ни тот, ни другой впрочем еще не ведают, что через четыре года дело дойдет до войны...

Андреевы бояра вновь и опять нещадно обирают Кострому, Нижний и прочие грады, подвластные Андрею: готовят очередные поминки в Орду, выбивают припас и серебро для княжьих дружинников, оплачивают затеи нового великого князя — Андрей ладит жениться.

В Переяславле уже поднялись сожженные церкви, княжеский терем, городня и палаты бояр. Жизнь понемногу устраивается. Вновь торгуют купцы, куют кузнецы, лепят горшки горшечники. В Горицком и Никитском монастырях опять переписывают книги. Князь Иван покровительствует книжному научению. Москвичи, что прислал Данила, понемногу ворочаются назад. С собою везут связки сушеного леща, бочки знатной соленой переяславской ряпушки — иного товару мало нынче в Переяславле.

Князь Данила у себя на Москве идет по торгу. Идет хозяином, дал себе отдых на час. Коня под узорной попоной ведут в поводу.

— Данил Ляксаныч, батюшка! — весело приветствуют его и, теснясь, расступаются мужики. На румяных лицах продавцов расплываются улыбки, каждый спешит выставить лучшее. Данил прищуривается, иногда трогает постав сукна, резную братину, расписное решето. Сдержанно хвалит. Хотелось бы взять все: оправились, навезли товару!

Торг радует. Есть что продать, значит, есть чем и жить! В руках у бабы, что продает не с прилавка,— совсем, стало, бедна или случаем зашла в ряды,— приметил солоницу хитрой работы.

— Сын! Да погиб.

— Кто остался-то? Сноха? Добра ли?

— А грех жалитце!

Взял солоницу, поглядел еще, вздохнул: такого мастера убили!

— Сколь просишь!

— Ты, батюшко, хучь в подарок прими!

— Внуки остались?

— Внучек.

— Благодарствую, а только и князь не беден. Снохе передай.

Пестрый восточный шелковый плат развернулся, ослепив. Старуха повалилась в ноги:

— Каку диковину! Не по нам!

— От княжа дара не отказывайся. Сына не уберег, на мне грех.

— Воля божья.

— Воля-то воля, а и я в ответе за вас!

Произнося, знал, что слушают, и видел, слушали хорошо. Не подумали бы, что откупается. Эх, дарить так дарить! Достал, поморщась про себя,— знал счет деньгам,— серебряную гривну. Мужик вырастет, заслужит. Сказал строго:

— Внука береги!

Еще строже повел по жадно вспыхнувшим лицам торгашей: не думали бы, что и весь торг золотом осыплю! Шевельнулась мысль — уехать, но не насмотрелся еще, двинулся дальше.

— К нам, княже! — кричали ему новгородские купцы.

Обойдя торг, князь садится на коня. Подъезжают слуги, что на торгу пробирались, поотстав от Данилы — так велел всегда, чтобы не мешали смотреть.

Острожев лицом, князь окидывает холопов, и те разом подтягиваются. Переехали Яузу. Данил глазом прикинул расстояние до Кремника. Намедни выбирал место, где поставить двор для приезжих иерархов церковных. Митрополит Максим ладился через год в Суздальскую землю, хотелось, чтобы и у него на Москве побывал митрополит. Да и на другое какое время. Данилов монастырь udesноват, да и далековато стоит от Кремника. Пущай! Чернецы в спокое будут, от мирского подалей... В Даниловом выстаивал князь все воскресные службы, там и похоронить себя велел. Хоть и не скоро, а помыслить о том надоть! После смерти Дмитрия впервые подумалось, что и сам не вечен на земле.

Он ехал по берегу Москвы к Крутицам — так называлось место, где ладил строить епископское подворье,— и думал о том, что нынче надо ставить житницы в княжеских селах, что прохудился заплот у мельницы на Яузе, что к тверскому князю Михайле надобно послать с поминками, что боярин Федор Бяконт давеча опять толковал про Коломну, будь она неладна! Давно ли на Москве, а уже в одно с Протасием и всеми ими.

Ратиться с рязанцами придет — ну их! А Коломна была нужна... Там бы, при Оке-реке, и амбары, и житницы ставить, и пристани, зараз и грузить на волжские-то корабли, а то тут на челнах да с перегрузкой, не торговля ето — один разор! И бояра рязанские просят и просят их под себя забрать! Данил вздохнул и, прищурясь, посмотрел вдаль, туда, где за полями, за лесами, за речными излуками, при устье Москвы-реки, лежала такая дорогая, такая нужная ему Коломна, рязанская волость, рязанский град...

Осень уже пятнала желтым занавесы лесов. Здесь, за городом, слышнее стал легкий дух увядающей травы, предвестник еще не близкой зимы. Впереди небыстро чвакали топоры, двигались кони, мелькали серо-белые рубахи плотников. Ему навстречу ехал в дорогой шелковой распахнутой ферязи на дорогом белоснежном коне улыбающийся боярин Бяконт, «хозяин Москвы», как звал его иногда и сам князь, поручивший Федору Бяконту посад, сбор мыта и все дела градские. Он приветливо помахал рукой, приударил коня, легко, красуясь, подъехал к Даниле. Поздоровались. Данил кивком головы указал ему на место рядом. Поехали конь о конь.

— Рубят! — сказал Бяконт.— Я уж велел начинать. Местные, вятичи!

Данил усмехнулся. Тут никто не называл вятичами, звали «московляне». Бяконт еще по-своему, по-черниговски.

— Женка как? — спросил Данил, косясь на Бяконтова белоснежного коня. (Боярыне было невдолге родить, и Данил подумывал пойти в крестные к первенцу своего городского головы, оказать честь, о которой намеками Бяконт уже не раз просил его.)

Пока ехали, поговорили о конях, что пригнали продавать ордынцы и из которых Бяконт оставил для князя сорок отборных жеребцов. Данил обещал поглядеть (коней на княжой двор без него не покупали). Поговорили о белокаменной церкви, что уже свершали Бяконтовы мастера: стройной, с возвышенными, на черниговский лад, закомарами в основании главы, оплетенной перевитью резного узорочья. Поговорили о делах ордынских. После Дюденевой рати Тохта, слышно, осильнел в Орде. А Ногай гневается. Послал задушить Джиджек-хатунь, а теперь перебил у себя многих татар. Верно, стали недовольны им или о вере бесер-

менской расспорили! Данил помолчал, пожевал бороду, подумал: «С Тохтой надо теперь по-доброму. Похоже, хозяином станет. И нам спокойнее безо свары ентой!» От Тохты мысли перекинулись к брату.

— Великий князь Андрей жениться надумал! — отрывисто сказал Данил.

Бяконт новости еще не знал, спросил осторожно:

— На ком?

— На ростовской княжне, Митрия Борисыча покойного дочери.

— Анне?

— На Василисе. А к Анне сватается Михайло Тверской. Две свадьбы и будут. Вот!

Бяконт искоса поглядел на Данилу Александровича, подумал. Великому князю Андрею было уже сорок пять — пора внуков нянчить. Михайле Тверскому двадцать три. Андрею в сыновья годится. А сестрам-погодкам шестнадцать одной и пятнадцать другой. Что ж! Князья и позже женились, да и не одни князья. А Данил Лексаныч с братом, видать, не зело мирен! Подумав, Бяконт не сказал ничего. Впрочем, они уже подъезжали к Крутицам.

ГЛАВА 103

Свадьбы великого князя Андрея и Михайлы Тверского играли в одни и те же дни, Святками. Константин Борисович Ростовский устроил племянницам смотрины у себя, в Ростове, после чего Василиса должна была ехать венчаться в Городец, а Анна — в Тверь. (На непременном венчании в Твери настояла великая тверская княгиня.)

На смотрины ростовских княжон съехалось много народу. Федор Ярославский с боярами, суздальский и стародубский князья, дмитровский князь и Иван Дмитрич Переяславский — ради жены: она хотела посидеть с сестрами, проститься перед венцом. Данила в Ростов не поехал, сослался на хворь, отправилась одна княгиня Овдотья, по сложному старому родству, через покойную муромскую бабушку ростовских княжон, приходившаяся им свойственницей.

Федор ехал в Ростов с дружиной князя Ивана. Ему поручались возы с дорожным припасом и подарками от княгини сестрам-невестам. Проследив за повозными

и проверив, как увязаны возы, он ускакал вперед, прихватив троих ратников, готовить ночлег. Лес в зимнем серебре был спокоен и тих, сытые кони шли хорошей рысью, и Федор с горечью думал о том, как быстро все проходит: года не прошло, как схоронили великого князя Дмитрия, и вот они едут на свадьбу его убийцы, Андрея, и, верно, узрят Окинфа Великого, предателя, среди Андреевых великокняжеских бояр. И ратники, что прошлою зимой в этих вот лесах, увеча коней, уходили от смерти, скачут на праздник и еще веселы в чаянье сытного княжеского угощения! Ко всему у Федора прибавлялось личное горе. Летом он был в Угличе, исходил весь город, искал сестру — Параська как в воду канула. В конце концов он разыскал-таки зятя, и не в городе даже, а в одном из пригородов, и тряхнул этого жалкого человека за грудки. Но тот только плакал, размазывая слюни по лицу и, верно, тоже ничего не знал. Военной грозой их разнесло посторонь. Оставалось вызнать в Орде да надеяться на то, что сестра еще воротится с выкупленным полоном, хоть и не вернулась о сю пору! Да еще, быть может, удастся что-то вызнать в Ростове, куда он скачет сейчас. Где-то в душе он чувствовал уже, что и сам готов примириться с исчезновением сестры, как примирился с гибелью меньшого дитяти. Бог дал, Бог взял... Или так и нужно, чтобы заплывали, а не кровоточили раны, чтобы люди, позабыв прошлое, могли снова жить, дышать и радоваться жизни? Или все это, как говорит брат, предопределено свыше, и каждый шаг человеческий расчерчен на века вперед, и ни один волос не упадет с главы твоей без воли Его?

Кони бежали ровной хорошей рысью. Лес примолк. Синие сумерки начинали опускаться с дерев.

Ростов встретил сутолокой и торжественным праздничным многолюдьем. У княжеских палат было вообще не пробиться. Там с утра до вечера толпился народ, кричали, поздравляли. Константин Борисович и его бояре время от времени появлялись, оделяли горожан подарками. Разряженные гости шагом, в сверкающем платье, проезжали, расталкивая толпу.

Урядив старших и сменных, накормив и разместив людей, Федор вышел на княжой двор. Тут тоже толпились глядельщики. Дружинники, расставленные от

крыльца до ворот, то и дело распихивали любопытных. Приходили девушки и бабы, пели величание, и обе княжны появлялись на крыльце, кланялись, дарили женок пряниками и кусками паволок и зендяни. Он таки дождался приезда обоих женихов, первого — хорошо знакомого ему Михаила, который за этот год стал еще статнее, казалось, прибавил княжеского достоинства. Был он опять в алой шапке, но не в корзне, а в собольем опашне, надетом нараспашь, на плечи, с выпростанными рукавами в шитых жемчугом и серебром наручах, в золотом, сканой работы, поясе, что проблеснул, когда на миг отпахнулся черный княжеский опашень. Дивен был и карий конь Михаила, накрытый зеленою бархатною попоной, под золотым, с серебряными стременами, седлом и сбруей, изузоренной тоже золотыми прорезными бляхами. Михаил упруго всходил на крыльцо и словно плыл на ликующих криках толпы. Князь Андрей подъехал на пятнистом арабском, приведенном из Орды, скакуне, накрытом персидскою шелковой тканью, изукрашенной большими фиолетовыми цветами, в золотом цареградском аксамитовом негнущемся вотоле. Шапка его, с опушкою из соболя и с темно-красным, сплошь затканным золотом и каменьями верхом, была похожа на старинные иконописные уборы древних князей. Слезая с коня, Андрей слегка шатнулся и тотчас оглянулся жестким, без улыбки, напряженным взглядом, словно отыскивая, не усмехнется ли кто. Толпа орала, и Федор близко увидел пронзительные глаза Андрея, тронутые сединой крутые завитки усов по краям губ, подчеркивающие жесткую складку рта, и тяжелую золотую цепь на плечах великого князя. Андрей поднимался по ступеням медленно, тяжелою поступью напомнив Федору покойного князя Дмитрия в его последние месяцы. И тоже крики, еще более громкие, неслись ему вослед, обволакивали и словно тщились приподнять, оторвав от земли. Федор не стал разглядывать великих бояр и боярынь, не хотел увидеть Окинфа, выбрался из толпы и проторчал наедине со своею сторожей, пока не позвали нести княжеские дары.

Ивану Переяславскому труднее всего была встреча с дядей Андреем, великим князем. Окинфа Великого, который развязно поклонился ему на сенях, он просто не заметил, прошел мимо, как бы сквозь него, и Окинф закусил губу. Зато дядю пришлось приветствовать,

и хотя он уже встречался и говорил с Андреем после смерти отца, но то были встречи и речи о деле, о княжениях, а не как тут. Иван через силу пытался улыбаться, поминутно отводя глаза от упорно-жгучего, пристального взора великого князя, и после разговора почувствовал себя вконец обессиленным. Прав был дядя Данил, что вовсе не явился в Ростов!

Переяславская княгиня, недавно лишь оправившаяся после тяжкой болезни своей, усугубленной зимним бегством во Псков, была, напротив, очень довольна поездкой. Тут, дома, надеялась она вернуть себе ощущение счастья и беззаботную радость детских лет. Сестры ахнули про себя, когда увидели ее, настолько старшая дочь Дмитрия Борисовича изменилась и постарела. Они целовались, попеременно лили слезы и хохотали, бестолково тараторили о семейных новостях. Со светлой грустью внимала она Нюше с Вассой, еще не чуявшим, к счастью для себя, как страшна жизнь и как быстротечна юность, входила в их девичьи заботы, радуясь про себя, что у нее есть и дом, и заботливый супруг в доме, не отринувший ее и ничем не попрекнувший в самую страшную пору, хлопотала над венчальными нарядами и оттаивала душой в радостной предсвадебной суете. В общем, переяславская княгиня поняла, что и сестрам ее несладко, что после смерти отца в дому не житье, дядя Константин все перевернул на свой лад, и они рады-радешеньки выбраться из дому хоть куда-нибудь. К тому же Василиса давно знала князя Андрея, привыкла к нему, хоть и удивилась поначалу его сватанью, а Анна беспокоилась только до той поры, пока не увидела Михаила. «Он мне и снился!» — сообщила она сестрам ввечеру, округляя глаза, и по ее восторженному шепоту старшая из сестер поняла, что, по крайней мере, этот брак будет удачным.

Казать сряду сестры выходили вдвоем, и князья-женихи сидели рядом друг с другом. Михаил весь как луч света, в остром ожидании суженой, а Андрей, как-то очень старый рядом с ним, насупленный (он не мог не понимать невыгоды сравнения с тверским князем), с мрачною складкой сжатого рта, стиснутых, потемневших, с заметной беловатою полоской слюны, губ, с резко обозначенными западинами щек и тяжелыми отечными мешками подглазий, с сединою в бороде и на висках...

Свадебным тысяцким при нем был Давыд Явидович,

совсем седой, но все такой же торжественно-величавый. Он уже справился со своим горем после смерти Феодоры и не пожелал уступить нынешней чести никому другому. Все же его вторая дочь, Олимпиада, была сейчас ростовской княгиней, и один из внуков сидел уже в Угличе на столе.

Смутен был Андрей на смотринах у ростовского князя. На миг показалось ему, что он что-то губит, разрушает даже в своем давнишнем чувстве к Василисе, которую втайне полюбил еще девочкой четыре года назад за то, чего не было в нем самом и всегда не хватало в Феодоре: за смешливость, за ясную детскую радость, за звонкий голосок-колокольчик, за простоту, которой в Феодоре не было никогда. Сейчас, на смотринах, он глядел на Василису отчужденно и впервые увидел их обеих рядом со стороны: Анну, что была потемней и повыше (и остро подметил вспыхнувший, радостно-удивленный взгляд Анны при виде Михайлы Тверского), и рядом с нею совсем светлую, со смешливо вздернутым носиком свою будущую жену. Он не подумал: «Принесу ли ей счастье?» Счастье — власть — было наконец с ним! Но что-то чуждое, неслиянное почудилось и на миг поднялось между ним и ею.

И он почувствовал с тяжелой тоской, как долит его и отделяет от Вассы груз кровавых прошедших лет, вереница смертей — Семена, Феодоры, Олфера, наконец, брата Дмитрия.

Когда-то он сам не пожелал приглашать братьев на свою, ту, первую, свадьбу. Сейчас с глухой болью узнал об отказе Данилы приехать к нему. Андрей сам не понимал всю жизнь, как ему, его злой душе, недоставало дружбы, и ласки, и семьи, и братней любви...

Лишь на час, лишь на миг поднялось в нем все это, поднялось и ушло вновь. И уже воротились гордость и жажда: жажда получить чужую, неистраченную юность, жажда юного тела, юных и трепетных губ, жажда почуять вновь и опять, в судорогах любви, невозвратные прежние годы, жажда жестокого насыщения...

Андрей недаром выстроил вновь свой княжеский терем. Не хотел, чтобы старые стены напоминали о том, о чем он ныне хотел забыть: годах бессилия, о зависти и, паче всего прочего, о мертвой Феодоре. Он будет великим князем Золотой Руси! Он мертвому Дмитрию докажет — и пусть тот повернется в гробу! И пусть уви-

дят его души Семена с Олфером теперь, достигшего власти, в славе, в золотых ризах, с юной женой!

...И все-таки он не удержался. Вспомнил Феодору, ее последний, предсмертный взгляд и упрек — когда гулял весь терем, когда на Городце, по улицам, были расставлены бочки с пивом для любого смерда, когда бояре славили князя и гремел хор, когда в укромном покое он наконец поднял на руки снявшую уже с него сапоги молодую жену, чтобы швырнуть на постель... Он вспомнил все: старого Жеребца, что бил утром горшки о стену изложницы, и их ту, далекую, нелепую, первую ночь, и, скрипнув зубами, уронив Василису на постель, чуть не ушел, чуть не выбежал вон из покоя, и опомнился только, когда Васса тревожно спросила: что с ним? К счастью, свеча была потушена, и девушка не видала Андреева лица...

Свадьбу в Твери справляли всем городом. С приданым за молодою женой Михаил возвращал и те села, что были отобраны у него во время похода под Кашин Дмитрием Борисовичем.

Молодая понравилась тверичам: «Высоконька и красовита, князю нашему под стать!» — толковали на посаде, возвращаясь с княжого двора, где поили и кормили горожан. От собора до терема после венца молодых вели по расстеленным алым сукнам, и горожане теснились по сторонам, заглядывая в алеющее, с потемневшими, влажно-блестящими глазами, лицо молодой. Строгая свекровь, встретив их в тереме, обняла и расцеловала Анну ото всей души. После ужаса прошлой зимы и томительного ожидания сына Ксения Юрьевна теперь больше всего хотела дождаться и увидеть внуков. И о том же были величальные песни разряженных женок-песельниц:

...Роди сына сокóла, сокóла,
Белым лицем, друг, в меня, друг в меня,
Походочкой во тебя, во тебя.
За услугу за твою, за твою
Золотой венец солью, друг, солью,
Алой лентой первяжу, первяжу.

И Анна поводила головой в жемчугах, в золотом свадебном венце, взглядывала на матово-бледное, стремительное лицо мужа, его гордый, надменный рот и эти, вразлет, темно-огненные очи, и каждый раз томительно-сладко падало сердце. Не во сне, не в сказке ли узреть такого жениха!

И еще тот был почет, что московский князь, Данил Лексаныч, брат великого князя Андрея, мужа сестры, прискакал к ним на свадьбу. И сидел за столом, пил, шутил и смеялся, дары дарил и ее поздравлял, а к Василисе не поехал, вот! Ей не думалось пока, какие там дела-нелюбия у братьев Александровичей, слишком это было сложно и далеко, да и не до того было тут, когда чужой терем, и пир, и первая брачная ночь...

Они стоят у аналоя в княжеской крестовой палате, и Михаил медленно открывает тяжелый переплет дорогого «Амартола», самолично заказанного и переписанного для них недавно в Киеве, с блещущими золотом и многоцветьем изображениями. На первом, заглавном листе, по сторонам, написаны в рост князь и княгиня, это заказчики книги, он сам и вдовствующая великая княгиня, Ксения. «Я и матушка!» — значительно поясняет Михаил, и Анна вглядывается в лики предстоящих, читает подписи, взглядывает, алея, на Михаила и снова смотрит на блещущий киноварью и золотом лист. А он стоит, приобняв Анну, и, тоже любуясь, смотрит на развернутую рукопись всемирной истории, которую ему, Михаилу, предстоит продолжить, вписав туда и свои грядущие деяния... И вписать не пером, то сделают другие, а мечом и мудростью, как писали великие киевские князья, о которых сейчас правнуки слагают легенды. И Анна ощущает ласковое тепло от сильного стройного тела молодого мужа, мягкую тяжесть его руки на своем плече, и ей сейчас и сладко и хорошо с ним.

Кроме этих двух звонких и громких событий, браков великих князей тверского и городецкого, этою же зимой произошло и еще одно событие, внешне невидное, но, быть может, более значительное для грядущих судеб страны. У Федора Бяконта и Марии, его жены, черниговских великих бояр, перебравшихся на Москву, к Данилу, родился первенец, сын, названный в святом крещении Елевферием [1]. Данил придумал-таки, как оказать честь Бяконту, не обидев, однако, Протасия и других своих ближних бояр. Крестным отцом ребенка он сделал не себя, а младшего сына Ивана. Все

[1] Будущий митрополит Алексий. Дата его рождения (мною принят 1294 г.) гадательна. Согласно возрасту, указанному в год смерти (умер в 1378 г. на 85-м году), родился около 1293 г. Согласно датам его жизненного пути, с попутными указаниями возраста, родился в 1299 г.

умилялись потом, и особенно боярыни, как серьезно семилетний княжич отнесся к своим обязанностям: как он внимательно следил за службою, как стоял, не шевелясь, как держал на руках ребенка и шептал ему что-то, успокаивая попискивавшего малыша. И после крещения, когда взревевший от нежданного купанья Елевферий начал было сучить ножками, вырываясь, княжич Иван строго приказал ему замолчать, и тот умолк, таращa круглые глаза. Иван один хранил серьезность, когда улыбающийся священник мазал младенца миром, приговаривая: «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа!» — и улыбались, умиляясь, посадские бабы, и боярыни, и сама княгиня Овдотья. И даже после, когда завернутый ловкими руками бабок Елевферий окончательно утих, Иван не отдал младенца крестной матери, а пожелал сам держать его на руках, и все заглядывал в лицо малышу, и старался строго хмурить свои светлые детские брови. А после, дома, он долго ходил задумчивый, даже не возился с братьями, а укладываясь спать, когда Данил зашел поцеловать сыновей на сон грядущий, спросил:

— Батя! А я теперь крестный отец, да?

— Да, сынок! Это теперь твой крестник!

— И я буду с ним играть?

— Подрастет, будешь!

— И я буду о нем заботиться?

— Да уж, крестник твой!

— Долго-долго?

— Долго, всю жисть!

— Всю жисть...— повторил Иван задумчиво и вздохнул, поворачиваясь на бок.— Я его никогда обижать не буду!

Данил с улыбкою поерошил волосы сына. Волосы были еще мягкие, детские, светлые — как лен.

— Всю жизнь! — повторил он задумчиво, пробираясь по переходу в свой покой.— Эко! Вся жизнь ой-ей-ей как велика!

ГЛАВА 104

Весной в Суздальскую землю прибыл из Киева митрополит Максим, во Владимире рукоположил нового епископа Владимиру и Суздалю — Симеона. А летом вели-

кий князь Андрей, благословясь у митрополита, отбыл с молодою княгиней в Орду.

В Орду собирался и Иван Дмитрич Переяславский, утверждать у хана Тохты отцов удел. Иван медлил. Надо было собрать серебро и подарки, разведать, что и как. Тохта очень мог припомнить ему союз отца с Ногаем. Меж тем разоренная земля подымалась медленно, и он решил не ехать теперь, дождаться осени и нового урожая, а пока продолжал отстраивать город, принимал купцов, давая им льготы, приглашал на опустевшие земли беглых владимирских и рязанских смердов, освобождая переселенцев от даней на несколько лет. Дважды у него побывал Данила, которого с годами все больше тянуло к родной стороне. Озеро и Клещин-городок аж снились порой! Привозил детей, ездил верхом с мальчиками, показывая и объясняя, где что, и притихшие сорванцы удивленно оглядывали незнакомые поля, овраги и склоны, которые были, оказывается, родиной их отца...

Племяннику Данила советовал мириться с Тохтой. Обещал похлопотать за него у хана.

— Митрий, покойник, ошибся тута. А и не ошибиться как было? В Орде невесть что творили в те поры. Один на одного. А теперича, кажись, порядок у них настает, Ногаю, тому, слыхать, вовсе мало веку осталось. Бегут от его. Ну и нам приходит за хана держаться... Оно-то и вернее так! Тохта своей, мунгальской веры. Бесермен не любит, стойно Менгу-Темерю. Ему нашу руку держать волею-неволею, как Менгу-Темерь держал, когда с Абагой персидским ратился. Кто ему, нехристю, окроме Руси поможет? А Ногай, вишь, бесерменин. Тому уж приятели те и будут, кто Мехмету кланяется... Смекай! Он батю твово обидел, а ты того в сердце не бери, о земле думай! Пущай земля в спокое побудет. Все лучше, чем, стойно Андрею, наводить ворогов на Русь! — помолчав, прибавил Данил.

Федор нынче служил самому князю и тоже собирался по зиме с Иваном Дмитричем в Орду. В Сарае для него была последняя бледная надежда найти следы пропавшей сестры. Он уже не верил ни в какие поиски, но это надо было сделать для матери. Вера упорно надеялась, что дочь где ни то да отыщется. Нынче у нее и разговоров и толков было все только об Орде да об Орде.

В доме, что Федор поднял с помощью серебра,

подаренного покойным князем,— хоть и более скромном, чем прежние Федоровы хоромы,— вновь собирались гости. Приходила вековечная подруга материна, Олена, еще одна старушка, перебравшаяся в Княжево с Городища, двое женок помоложе и совсем молоденькая Никанорова внучка. Бабы сумерничали, пряли, пели хором стройными голосами, толковали, и все об одном: о русичах, угнанных в полон.

— Ты, Веруха, не горюй! — сказывала Акимиха, щурясь на огонек лучины и изредка смачивая слюной пальцы.— Быват, и через тридцать лет ворочаютце! Быват, и там хорошо живут. Смотри, Фроси, покойной, сын через сколь годов воротился домой. А еще сказывают, вот какой случай был. Тоже вот, как и у тебя, во Владимире где-то, не то в Муроме, где ни то там, не знай!

— Ты уж хошь и ври, да складнее! вмешалась вторая женка.— Где Володимер-ти, а где Муром?

— Ну, бабы, каки-то вы поперечны, не буду баять!

— Сказывай, сказывай! Мы хоть послухам! Хошь и у нас, скажем, в Переяславли!

— А хошь и у нас! Словом, на Руси. Так же вот угнали в полон девку семи лет. А там она подросла, и татарин ее в жены взял. И татарин богатой, князь ли ихний, или как их там зовут, али купец...

— Может, и купец! Оны к женам-то, бают, добры, татары-ти,— поддержала городищенская старуха.

— Ну, ты не мешай! Значит, проходит там сколь ни то годов, ну, хоть там двадцать.

— Это когда ж тогды?

— Ну, хоть при князь Олександре! И опеть татары Русь зорят, и ету, значит, женку, старуху-то, и забрали, и тому же татарину досталась, который на ейной дочке женат. И привел к себе, в степь. Вот,— бает,— жена, работница тебе, с Руси русская полоняночка. И посадили кужель прясть и дите обихаживать. Да.

— И не признала дочка-то?

— А где признать? Семи лет, да двадцать летов прошло, может, тридцать там... А она смотрит, мать-то, а у дочери ейной пальчик был поврежденной с издетства и такая пометочка на груди, и у той так же, у татарки. Вот она и стала говорить, и та признала ее, старушку ту.

— Вот беда!

— Дочка ейная и оказалась. Та уж матери покло-

нилась в ноги: прости, мол, в моей вины. Дала ей коня, и всего, и казны насыпала, серебра там, золота — у татарина всего уж было! И шубу, и коня самолучшего. И так та и воротилась на Русь!

— Ну уж, поди, и не так сказывашь! — строго перебила до сих пор молчавшая Вера.— Куды ей воротице, коли ни кола, ни двора, ни семьи, поди уж и с дочерью осталась со своей, в татарах, в проклятой Орды! Сама-то посуди: жалко дочерь, коли уж одна у нее!

Вера, поджав губы, покачала головой и прибавила убежденно:

— Конечно, дочка-то ей и давала всего, а только она ничего не приняла: не поеду я, говорит, на Святую Русь, я с тобой, дитя, не расстануся!

Бабы смолкли, поглядывая на хозяйку.

— Ето ить на песню сложить можно,— задумчиво прибавила доныне молчавшая Олена.

— Твой-то что бает? — спросила Акимиха.

— На зиму поедут, говорят, с князем в Сарай, в прокляту Орду!

Олена, что все шевелила губами, тут вдруг, откачнувшись и полузакрыв глаза, пропела тихонько, неуверенно нащупывая напев:

Не поеду я на Святую Русь,
Я с тобой, дитя, не расстануся...

— Не так вытягивашь! — отозвалась Вера и, отложив кужель, повторила на иной голос и громче:

Не поеду я на Святую-у-ю Русь,
Я с тобой, дитя, не расста-а-нуся-а!

Она умолкла и смахнула слезу.

— Вот так. Ежели уж песню складывать...

То не шум шумит, то не гам гамит,
Злы татарове полон делят.
На полонице доставалася,
Доставалася теща зятю.
Как повез тещу зять во дикую степь,
Во дикую степь, к молодой жене:
— Уж и вот те, жена, те работница,
С Руси русская полоняночка.
Ты заставь ее три дел делати:
Уж как первое дело — бел кужель прясти,
А второе-то дело — лебедей пасти,
А уж третье-то дело′ дитю колыхать.—
Уж я ручками бел кужель пряду,
Уж я глазками лебедей стерегу,
Уж я ножками дите колышу,

Качаю дите, прибаюкиваю:
— Ты, баю, баю, мое дитятко,
Ты, баю, баю, мое милое!
Ты по батюшке зол татарчоночек,
А по матушке ты русеночек,
А и мне, старой, ты внучоночек,
Как твоя-то мать мне родная дочь,
Семи лет она во полон взята.
Как у ней-то есть приметочка:
На бело́й груди что копеечка.
Мне и бить-то тебя, так и грех будет,
А дитей назвать мне — вера не та! —
Услыхали ее девки сенные,
Прибежали они ко боярыне:
— Государыня, наша матушка!
С Руси русская полоняночка,
Она ручками бел кужель прядет,
Она глазками лебедей стережет,
Она ножками колыбель колыхат,
Качает дитя, прибаюкивает:
— Ты, баю, баю, мое дитятко,
Ты, баю, баю, мое милое!
Ты по батюшке зол татарчоночек,
А по матушке ты русеночек,
А и мне, старой, ты внучоночек.
Как твоя-то мать мне родная дочь,
Семи лет она во полон взята.
Как у ней-то есть приметочка:
На белой груди что копеечка.—
И бежит, шумит, по сеням гремит,
Дочка к матери повалилася,
Повалилася во резвы ноги:
— Государыня, моя матушка!
Уж и что ж ты мне не сказалася,
Ты прости меня в первой вины,
Ты бери, бери злата-серебра,
Ты бери, бери шубу куньюю,
Ты бери коня самолучшего,
Ты беги, беги на Святую Русь!
— Не поеду я на Святую Русь!
Я с тобой, дитя, не расстануся...

ГЛАВА 105

На дворе молодые княжичи кололи дрова. Дворовой человек, Мирошка, неодобрительно глядел на потеху (у него самого секиру отобрал младший из княжат).

Юрий вышел, поглядел, щурясь, на братьев:

— Ну, кто со мной на охоту! Али мужицкая работа больше по́люби?

Борис, швырнув топор, пошел, оправляя рубаху под кушаком, подхватив летний терлик, брошенный на по-

ленницу Александр, тот с неохотою оторвался, разгоряченный, от дела. Озрясь, воротил секиру Мирохе, улыбнувшись чуть смущенно. Мирон тотчас, наклонясь, стал собирать в костер раскиданные княжичами поленья.

Холопы выводили кровных, упруго сгибающих шеи коней. Скоро ватага комонных с шумом, смехом, шутками, топотом и ржаньем — княжата, сокольники с соколами на кожаных перчатках, загонщики, лучники,— посверкивая узорным шитьем, выехала за ворота, промчавшись прямо к Боровицкому выезду, а на стихшем дворе раздумчиво крякнул топор. То Мирошка, уставя недорубленный княжичем чурбак, из которого только что Борис с трудом вытаскивал, завязив по обух, лезвие секиры, сильным и точным ударом развалил его надвое.

На площадку крыльца вышел Данил. Задумчиво жуя бороду, прислушался к затихающему топоту коней, поглядел на Мирошку, что колол, крякая, разгибаясь и вновь приседая с каждым ударом, прокашлялся. Мирошка поднял голову, скинул шапку, низко поклонился князю. Данил кивнул ему.

— День добер, батюшка-князь!

— День добрый! — Данил, кутаясь в домашнюю ферязь, поднял лицо, втянул крупным носом заречные запахи, подумал, спросил негромко:

— Что, Юрко опеть в девичью бегал?

Мирошка, осклабясь, покивал головой:

— А уж пора жанить молодца, батюшка-князь!

Данил посопел (ишь, застуда привязалась).

— Жанить, жанить... Ты,того, работай!

Мирон тотчас склонился и снова начал равномерно ударять секирой. Данил потоптался, поворотился назад, в терем. Растут дети. Не замечаешь, как и растут! А Овдотья опять на сносях. И у Андрея сынок народился. Василиса ему теперь наделат детей!

Он прошел по переходу на гульбище. Посмотрел сверху на скопление хором, клетей, амбаров, переполнявших Кремник. На каменную церковь свою, что лежала в оправе темно-бурых бревенчатых палат, как резная, рыбьего зуба, драгоценность, вынутая из ларца. Ссутулился. Что-то нынче мало стал ходить по торгу да объезжать посад. Оступят — и не пролезешь. А спроси: почто? Князя поглядеть! Не видели дива! Домой бы... В Переяславль, на Клещино... Озеро синее. Он поглядел в Заречье, в луга. Тоже не оторвешь от серд-

ца, самим строено, обихожено. Эвон! Монастырь свой! Терема, села красные, сады — виноградья, стада...

И что тамо у их, поделить не могут! Давеча, сказывали, епископ ростовский Тарасий от князя Константина ударился в бег к Устюгу. Константин ловил епископа, аки татя. Захватили, привели опять на Ростов. Сраму-то! Федор Чермный снова ладит Переяславль оттягать или сам Андрей? Как воротился из Орды, неймется ему... Сам же дал Нову Городу волю, а теперича с кого ордынское серебро брать? Не знает! А не с меня, не с Москвы! Надо лишку — из моих рук пущай получат! Досыти зорили тут!

Он топнул ногой, сердито фыркнул, выставив бороду вперед. Потом оглянулся: не видел ли кто? Тяжело вздохнул, понурился. Ордынскому баскаку дары да дары. Ты, мол, новы селы ставишь: боле выходу давай! Откуда новы села?! Тех же мужиков ближе к Москве перевожу! Не верит, пес ордынский. (И я бы не поверил, так-то сказать!) А только как с князь Василья, покойника, числа нет, и пущай не вяжется! Тута с кажного пришлого мужика по полтине давать — не забогатеешь. Еще пока отстроются да наработают... Да и неча добро-то в Орду переводить! А подарки давай. Жить без того не могут. Словно и не князь я тута, а ханский слуга. (А и слуга! А и обидно!)

Молодой боярчонок заглянул на гульбище:

— Батюшка, Данил Лексаныч! Посол из Орды!

На сенях Данил столкнулся с Бяконтом и Протасием. Оба боярина спешили к нему, и лица их были хмуры.

— От Михайлы не ворочался гонец? — спросил Данил строго. Бояре разом взглянули друг на друга и на князя. Протасий открыл было рот, но и тут же подавился словом. Бяконт только отрицательно покачал головой. Данил шел крупно впереди, бояре следом. Князь ворчал вполголоса:

— Ну, Андрей! С братом жить не смог... Уморил... Теперича со свояком не сговорит... Опосле што, за меня примется? — Приодержавшись, Данил сказал громче, не поворачивая головы: — Власти хочет, как у родителя-батюшки?! Соборно, всема решать, не по нраву ему? Неча тогда было старшего брата со стола спихивать!

Протасий склонил голову, глухо спросил:

— Полки собирать?

Данил оборотился к нему боком, набычив голову (он

уже сильно располнел и поворачивался тяжело, всем телом), долго поглядел на Протасия, пожевал.

— Миром надо. Пока мочно — миром! Али не наратились еще?! Ты, Федор, собери думу,— бросил он Бяконту.— Посла пока пущай подержат, пущай охолонет с пути...

ГЛАВА 106

Повторялась прежняя история. Добиваясь великокняжеского стола под братом, Андрей надавал обещаний всем и каждому. Богатый Новгород получил Волок и избавился от торговых пошлин, что платил Дмитрию, получил самоуправление, которого добивался давно, и теперь уже сами новгородские власти отстраивали крепость Копорье, разрушенную ими при Дмитрии, отстраивали для себя как щит против свейской грозы. Нынче новгородцы выбили шведов из городка, построенного теми на корельской земле, и «не упустиша ни мужа» — шведская рать с воеводой Сигом была уничтожена полностью. Новгород процветал, а великокняжеские доходы падали. Торговая Тверь тоже не хотела платить больше того, что приходилось по старым уложеньям, да и Данил Московский не хотел, хотя и в Твери и в Москве народу прибавлялось и прибавлялось. Вытрясти союзников своих — ростовского и ярославского князей — Андрей не имел возможности, сверх того, Константин не простил ему угличского погрома. А задерживать ордынский выход — значило потерять и великое княжение, а быть может, и жизнь. Опустевший Владимир бессилен был пополнить казну великого князя, Кострома с Нижним и так стонали от поборов. Оставался Переяславль, сердце земли, отцова отчина (как продолжал считать Андрей, хоть и дарил город Федору Чермному). И князь Андрей все упорнее подумывал о том, что город Александра Невского должен принадлежать ему, а не этому несчастному «монаху» — племяннику Ивану, которому достаточно дать какой-нибудь городок на Клязьме, да и будет с него... Кроме того, Василиса родила сына, и обрадованный Андрей уже готовил ему удел. То, что земля Переяславская после пережитого разорения не хотела Андреевой власти и готова была драться за своего князя, этого Андрей не понимал и не принимал в расчет.

Хан Тохта, озабоченный тем, чтобы получить ордынский выход (да и русские рати в помочь противу Ногая были ему нужны позарез), не хотел новой войны на Руси и приказал князьям собраться во Владимире, урядить свои споры миром. Прибыл посол, Олекса Неврюй, крещеный татарин, сын того Неврюя, что когда-то помогал Александру Невскому прогнать брата Андрея с владимирского стола. Прошлое возвращалось в потомках и властно вмешивалось в жизнь.

Андрей Городецкий вынужден был смириться, и князья со своими боярами, с дружинами военных слуг потянулись во Владимир, на съезд.

Иван Дмитрич Переяславский как раз в это время уехал в Орду, и вместо него во Владимир отправились переяславские бояре, старые бояре Дмитрия, не изменившие сыну, Гаврила и Терентий из новгородских родов, Феофан, Никита и другие из переяславцев. Бояре — это была земля. За каждым стояли сотни слуг, мелких ратников, послужильцев, просто зависимых вотчинников, военных холопов, смердов, для которых тот или иной боярин был «свой»: к нему шли на суд, к нему — за помочью в неурожайный год, к нему же — в дружину, когда начиналась пора ратная.

Андрей никогда не думал о «земле». Для него были свои бояре и были чужие, были князья, ордынский хан, далекая Византия. Смерды должны были давать дань. Споры решать должна была ратная сила. Теперь, когда он наконец получил власть, к которой рвался всю жизнь, что-то, что получалось доднесь, перестало получаться. Он это чувствовал и выливал раздражение на всех: на холопов, слуг, на Вассу, что за один год разучилась улыбаться, только ждала с испугом очередных мужниных причуд. Князь был то нежен, то гневен, и понять отчего — нельзя. То многодневными ласками доводил ее до обмороков, то по неделе глаз не казал, пропадал на охотах или с дружиной. За всем тут, в Городце, стояло прошлое и грозно нависало над ее беззащитной радостью. Только появившийся наконец сын, кажется, размягчил Андрея. Князь подолгу смотрел, как пеленали и купали мальчика, и был тогда тих и задумчив.

Андрей не признавался себе, что порою устает от молодой жены, устает и от власти, которая обманывала его всю жизнь и обманула теперь... Порой ему так не хватало, так хотелось воскресить Семена Тонильеви-

ча, воскресить Олфера Жеребца, спросить их: «Ну вот, я достиг! И что же делать теперь?»

На съезд — княжеский снем — во Владимир Андрей явился в гневе. Хан унизил его, не захотев прикрикнуть на распустившихся князей, не захотев попросту отобрать Переяславль у Ивана и передать ему, Андрею. Хану нужны русские полки... А ежели он их не получит? Увы! Тогда Андрею Переяславля и вовсе не видать! Ибо тогда победит Ногай, а с ним тверской князь и этот Данила, младший брат, что сидит в своей Москве, торгуется с купцами да делает жене кажен год по ребенку. (Данилу Андрей слегка презирал. Пограбили Москву, и поделом! Меньше бы кумился с Дмитрием!) Впрочем, Андрея раздражали и соратники: этот Федор Чермный, что чуть не отнял у него Переяславля, жадный старик — все ему мало о сю пору... Константин Борисович, так не вовремя усилившийся. Теперь, когда Ростов и Углич соединились опять под одною его властью, с Константином приходилось очень и очень считаться... Как нужен был ему сейчас покойный Семен!

ГЛАВА 107

Владимир давно уже не видел в стенах своих такого значительного съезда. Едва ли не с похорон Александра Невского впервые собрались тут все или почти все князья — Всеволодовичи. Сотни лошадей стояли, обмахиваясь хвостами от назойливых слепней, бесконечными рядами у коновязей по всем дворам, конюшням и просто так, на торгу, на площадях, у Орининых и Золотых ворот,— всюду, где только можно было устроить временные коновязи. Целые стада заводных коней паслись в лугах за Клязьмой. Княжеские, митрополичьи, епископские и монастырские подворья были забиты ратниками и слугами собравшихся господ. Шагом проезжали по улице всадники в дорогом оружии, и за ними, от кучек глазеющих горожан, летел говорок узнавания. Указывали друг другу того или иного князя, называли знаменитых великих бояр, за кем и бежали, заглядывая в лица.

В жарком небе висели неживые тающие облака. Начинали поспевать хлеба. Просушенный солнцем Владимир дышал жаром. В улицах облаками стояла пыль. Шелковые одежды, ожерелья и наручи, наборное узорочье

сбруи и седел горели, будто плавились на солнце. Вспыхивали разноцветными огоньками драгоценные камни на рукоятях дорогого оружия.

После молебна (служил новый владимирский владыка Симеон) и многочасового княжеского застолья начались споры и толки, затянувшиеся не на один летний день. До хрипоты толковали о переяславских селах, на которые претендовали и ростовский, и ярославский, и городецкий князья. Константин Ростовский пересылался с Михаилом Тверским о землях, что воротил себе тверской князь, и о тех, которые хотели получить еще друг у друга Константин с Михаилом. Спирались о торговых пошлинах, мыте, о кормах и данях. Андрей требовал воротить переяславские вотчины Окинфа Великого и Морхини, Федор Ярославский свободного, беспошлинного пути через Московское и Тверское княжества к себе, в Смоленск. Андрей, сверх того, желал сам собирать ордынский выход с Переяславля...

Княжеский снем собрался наконец в Успенском соборе. Они стояли под сводами древнего храма, и храм не видел никогда столько дорогих одежд, столько паволок, аксамита, бархатов, камки, тафты и парчи, столько золотого, серебряного и жемчужного шитья, столько сканого и финифтяного узорочья, сквозных рисунчатых цепей, кованых, с каменьями, поясов, нагрудных и оплечных украшений, стольких гордых мужей, собранных вместе и особо от простого, черного народа, что в холстинных, сероваляных и крашенинных рубахах, армяках, зипунах, сарафанах, в сапогах, лаптях, поршнях, просто босиком теснился, прея и отирая пот, там, за стенами собора, в тщетном старании узнать, что же порешат господа Русской земли. С ханским послом прибыл сарский владыка Измаил. Епископский клир был в лучших своих облачениях, сверкали начищенные церковные сосуды, кресты, хоросы и кованые стоянцы для свечей. Легкий туман от сотен свечей плавал под сводами.

Олекса Неврюй стоял в русском опашне из цареградской камки, с крестом на груди, почти неотличимый от прочих, и бесстрастным взглядом монгольских непроницаемых глаз озирал собравшихся русичей. Хану нужны были ратники. Князьям, собравшимся тут,— земли друг друга. Хан велел добыть ратников и не позволять войны. Ногай с кипчаками и аланами еще продолжал угрожать Сараю.

В отличие от великого князя Андрея, ханский посол понимал, что значит — хочет или не хочет земля, и не обманывался. Он знал, что великий хан Темучин победил весь мир потому, что этого захотела монгольская земля, войско. Он читал «Алтын дэптер» (Золотую книгу) монголов и догадывался, что если земля урусутов захочет освободиться от власти хана, ее трудно будет разгромить. Пусть землю урусутов держат урусутские князья. Они сами обессилят землю так, что она, покорная, ляжет к ногам Орды. Хану надо креститься, полагал он, и посадить митрополита у себя, в Сарае. Тогда Русь станет Ордой и будет один великий улус. А князьям, собравшимся здесь, не надо давать лишней воли. Иначе они опять начнут убивать друг друга, от чего ослабнут и Русь и Орда, а тогда победит Ногай и люди магометовой веры одолеют истинных моалов, потомков великого Темучина и мудрого Бату. Это Тохта понимает хорошо, потому и не дает великому князю Андрею Переяславль.

Сквозь высокие окна узкими мечами света пробивалось солнце, и там, куда достигали его лучи, меркнули огоньки свечей и ярче горели серебро и золото одежд. Андрей стоял внешне спокойный, только крутые завитки усов по углам рта шевелились, как всегда, когда подступало бешенство. Михаил, бледнея, изредка подымал недобро вспыхивающий взор; он был самым младшим из князей по годам и самым сильным по княжеству. Федор Чермный, кривясь морщинистым лицом и весь подаваясь вперед, вглядывался в лица противников. Константин Ростовский смотрел отрешенно и стоял прямой, блюдя, паче прочих, княжеское достоинство свое. Данил, выставив толстый нос и задрав бороду, сопел, стараясь не глядеть ни на кого, кроме епископа. Бояре, старики и молодежь, держались своих князей и поглядывали на них с беспокойством. В спорах и перекорах до снема никакого согласия достигнуто не было. Особою плотною кучкой стояли переяславские бояре, почти держась друг за друга. Они — ежели князья захотят так порешить — могли потерять все: и власть, и земли, а иные, как Феофан с Онтоном, даже и жизнь.

После молитвы первым заговорил Андрей. Втайне он надеялся, что тут, в соборе, и перед лицом ордынского посла ему, великому князю, побоятся перечить. Но он ошибся. Хрипло и трубно, нарушая и чин, и ряд, и все

на свете, из толпы переяславских бояр возгласил Терентий Мишинич:

— Мы без господина своего отчину его княжескую передати никому не мочны! А сёл Окинфу на нашей земле нетути, отъехал есть господина своего.

— Отчину свою князь Иван поручил мне! — звонко и страшно прогремел голос Михайлы Тверского. Двое-трое стариков переглянулись: ну и глас, такой и на рати слышен!

— Пущай Иван воротитце из Орды! — подтвердил, кивая, Данил Московский, отводя рукой вылезшего без пути боярина.

— И князю Константину села Ивановы не надобе.

— Ростов — старейший град Суздальской земли! — вскипел Константин Ростовский.— При дедах-прадедах села те были ростовских князей! Еще преже Великого Всеволода!

— В той поры и град Володимер был пригород Ростову! — ответил Данил, смерив князя Константина сердитым взглядом с головы до ног.— И ты, Федор Ростиславич,— продолжал он, намеренно назвав ярославского князя по отечеству.— Не тебе держать отень град наш, Переяславль, и не путем всел ты тамо, и не путем правил!

Одобрительный гул покрыл его последние слова.

— То была моя воля! — срываясь, заорал Андрей.— Я старший в роде, и град отцов мне надлежит...— У него прыгали усы и лицо пошло пятнами. Данил перебил брата, возвысив голос, и, тоже срываясь и наливаясь кровью, возопил:

— Воля, а не право! А мы здесь сошлись говорить о правах! Это и мой дом, и я бы не поднял руки сжечь терем отца нашего, к лику святых причтенного князя Александра! Господь узрит наши дела и рассудит ны в сем свети и в оном!

Он оглянулся, задохнувшись, вздел руки и сказал с проблеснувшей нежданной слезой:

— Зришь ли, Господи! В соборе сем слышали мы слово епископа Серапиона! Что ж мы раздираем отчину свою? Каждый да держит без спора свой удел! А Иван — в отца место, и ты, Андрей, устыдись!

Михаил Тверской поднял руку, пытаясь урядить тишину, и громко воззвал:

— Братья! Я молодший средь вас, но и мой отец сидел на столе великокняжеском, и мне подобает место

в совете сём. Достоит нам урядить о ратях, по слову посла царева, а о землях, о язвах наших говорить здесь, перед ханом безлепо. Да не вопросят нас: можем ли в которах и спорах наших володеть Русью?

Многие оглянулись тут на Олексу Неврюя, что, сузив глаза, смотрел, не то одобряя, не то запоминая, на тверского князя. В лице посла резче проступило чужое, степное, мунгальское, и показалось на миг, что не зной летнего дня, а жаркое дыхание бесчисленной конницы струится из-за его спины в отверстые окна и двери собора. Но тут взорвался Федор Чермный. Трясясь и брызгая слюной, он закричал о своих правах, стал грубо грозить Ордой:

— Я зять царев!

И стихшее было собрание князей и вельмож взорвалось.

— Двоеженец и сыноубийца! — выкрикнули из толпы. Восстал вопль и створилось неподобное. Бояре лезли друг на друга:

— Предатель, раб, покинувший князя своего! — кричал Феофан Окинфу Великому.

— Убийца! — гремел Окинф в ответ, наступая на Феофана.— Не тебя ли Митрий князь послал зарезать Семена на Кострому?! Кровь его еще взыщется на главе твоей!

Кто-то кого-то уже хватал за отвороты ферязи, трещало дорогое сукно. На Федора Ярославского наступали с трех сторон. Андрей орал, срывая голос, и его уже не слышали. Вдруг лязгнула сталь, и жутким просверком смерти обнажился чей-то клинок. И разом руки схватились за рукояти, и уже на взмахе затрепетало множицею жаждущее крови оружие, и уже, отбитая мощным ударом Михайлы Тверского, чья-то кривая сабля взвилась, прочертив молнийный след под сводом собора, и со звоном покатилась по плитам... И в этот миг епископ Симеон, со вздетым крестом в руке, ринулся с амвона в толпу, прямь под клинки, и за ним, мгновение лишь умедля, сарский владыка Измаил, с разверстыми дланями старческих трепещущих рук, с криком:

— Братья, не оскверните храма! Здесь, пред лицом Бориса и Глеба, князей убиенных!

Измаил сухими руками указывал, простирая их, на икону древнего киевского письма.

— Достоит святительское наставление в делах мир-

ских, аще не имут мира сами у ся! — строго говорил меж тем Симеон, подымая и оборачивая ко всем поочередно крест.— Именем того, кто погиб за ны при Понтийстем Пилате, велю: да снидете в мир и любовь!

Помедлив, с тупым коротким лязгом, клинки начали падать обратно в ножны.

Данил вдруг рукавом отер мокрое чело и крупно перекрестился. Глядя на него, начали креститься и другие. И долго, и медленно гас, остывая, протянувшийся наискось, пронзивши воздух собора, длинный, словно натянутый харалуг или светящийся след стрелы, взгляд. Это Андрей с Михайлой Тверским молча смотрели в глаза друг другу, но наконец и они враз опустили очи.

Так ни о чем и не столковались князья на соборе. Каждый остался при своем. Данил пытался поправить дело, поговорив с братом Андреем в особину, но тот лишь язвительно отмолвил:

— Преже мне Дмитрий проповеди читал, а теперь ты? Я как-никак старше тебя и знаю сам, что мне творить!

Данил молча сжевал обиду.

Разъезжаясь, князья береглись друг друга. Дружины от Владимира ехали в бронях, на ночлегах, пока не добрались до своих княжеств, выставляли сторожу. Не только то помнилось из киевской великой старины, как были увенчаны святостью князья-страстотерпцы, Борис и Глеб, но и то, как после братнего съезда в Долобске, созванного самим Владимиром Мономахом, князья, схватив, ослепили брата своего, Василька Теребовльского. И то было, не сотрешь! И был рязанский князь-братоубийца, Глеб, что зарезал братью свою во своем шатре во время пира... Кровь, дедами пролитая, да не пади на главы правнуков наших!

ГЛАВА 108

Андрей, воротясь, в гневе стал собирать полки. Что бы там ни баяли, а пока Тохта задерживает Ивана у себя, и Андрей решил своею волей забрать Переяславль. От хана можно будет потом и откупиться! В конце концов, он сейчас слишком нужен Тохте! Федор Чермный и князь Константин тоже дали рати. Окинф собирал владимирское ополчение.

Данил не успел доехать до дому, как к нему прискакали гонцы от князя Михайлы. Данил умел торопиться, когда нужно. Вечером он собрал воевод. Покусывая бороду, мерил глазами боярские лица. Все говорили единогласно «едиными усты». Дать князю Андрею занять Переяславль нельзя было. Михайло Тверской предлагал встретить рать Андрея под Юрьевом, на древнем полчище, где не раз встречались рати враждующих князей. Встретить там и не дать вступить в Переяславскую землю. От Москвы до Юрьева было втрое-вчетверо, а от Твери и впятеро дальше, чем от Юрьева до Владимира, где уже стоял наготове Окинф Великий с владимирским полком.

— Послать весть переяславцам! Пущай седлают коней!

— Выступать не стряпая. Обозы пущай догоняют, не ждать!

Протасий поднялся, высокий, костистый, торжественный, как перед причастием. Наконец-то пришел час доказать, что и московляне чего-то стоят в ратном деле!

— Прикажи, батюшка, Данил Лексаныч, свету не ждать!

Данил поднялся, сказал:

— Храни тебя Бог, Протасий!

Оба, ни тот ни другой, уже не уснули до утра.

Тихую летнюю ночь, полную разговорами звезд и шелестом бегущей воды, прорезало конское ржанье, топот, смутное шевеление бегущих куда-то людей и скачущих гонцов. Земля вновь насильственно отделилась от неба, закопошилась своею беспокойною жизнью, и звезды отдалились, стали строже, и примолкла, и тоже как бы отдалилась вода, а небо стало светлеть, холодеть, синеть, и вот уже четко обозначились ломаная линия крыш, остроконечья шатровых кровель... Вот уже озолотилось небо, и уснувшее на краю окоема облачко зажглось светлым лучистым огнем. Вот уже столб света, как поднятый меч, поднялся над щетиною дальних лесов, и первые солнечные брызги, мгновенно пронзив влажный утренний парок, легли на бревенчатые стены, ворота, кровли, зажгли розовым лица и багряным — гнедые бока коней. Звонили колокола, орали птицы, потревоженно кружась над городом, и вот восходящее солнце залило наконец землю и удивилось, повиснув в вышине, необычному

сосредоточенному кипению маленького бревенчатого городка. К нему и от него тянулись конные рати, бойко катились возы, из раскрытых настежь ворот крепости выезжали и выезжали, и вскачь уходили вперед по Дмитровской дороге все новые и новые, ощетиненные копьями дружины, и уже прерывистая череда конных полков, протянувшись полями и лугами Подмосковья, головой утонула в лесах, а вершники, перескакивая с коня на конь, летели вперед по дороге на Переяславль, только брызгами пыли из-под копыт с пристывшей за ночь дороги да замирающим вдали цокотом тревожа покой еще сонных лесных деревень.

Протасий отсылал полки, не ожидаючи остальных, и скоро сам ускакал вперед, оставя молодших воевод доправливать рати. Данил выехал на второй день, захватив сына, Юрия. В третий день за ушедшею ратью уходили обозы, и Федор Бяконт принимал, проверял и выслушивал остатних воевод, и, поглядев в глаза черниговскому боярину, те уже не шли — бежали рысью.

Михайла Тверской, забрав все купеческие суда, насады, учаны, паузки, челны и лодьи, посадил рать на корабли и спустил по Волге до Кснятина. Оттуда, берегом Нерли, полки шли к Переяславлю на рысях через Хмельники, Купань, берегом Клещина-озера, и, не задерживаясь у города, на ходу хватая с седел протянутые крынки с молоком, квасом или водой, ловя караваи хлеба, что кидали и протягивали им выстроившиеся вдоль всей дороги радостные переяславцы, мимо Красного Села, по Трубежу, на Берендеево, и дальше, и туда, туда, выливаясь в поля,— так что даже обогнали москвичей, и уже на Колокше, под Юрьевом, встречали переяславскую, двумя днями ранее подступившую к Юрьеву дружину. Михайла Тверской, прискакавший в пыли, в разводьях пота, с ошметьями грязи на щеках, не сходя с седла выслал сторожу и начал уряжать полки. Рати подходили и подходили. Данил, в два дня доскакавший от Москвы до Юрьева, без спору уступил воеводство Михаилу и подчинил тому Протасия с ратью.

Юрий, зеленый и едва живой после бешеной скачки, с завистью смотрел на отца, которому, хоть зипун и потемнел от пота, было словно бы ничего. Он еще не понимал, что с возрастом у человека появляется умение владеть собой, какого нет у мальчишки, и старик, а уж зрелый муж и подавно, легко вынесет то,

чего не сумеет желторотый шестнадцатилетний юнец. Впрочем, умывшись холодянкой и пригладив свои пропыленные до седины рыжие кудри, Юрий стал с восторгом осматриваться и уже скакал по полям от полка к полку, спрашивая: кто и откуда? И чуть не прискакал к подошедшим ростовчанам. Добро, ему вовремя закричали с холма, а отец, спустя полчаса встретивший сына, которого счел уже попавшим в полон, закатил ему такую оплеуху, что Юрий едва удержался в седле и больше уже не совался никуда один, без приставленных к нему старших дружинников.

Андрей Городецкий пошел было к Юрьеву, но Михаил так разоставил полки, что передовой полк Андреев чуть весь не попал в полон и отошел на рысях, едва выбравшись из окружения. Окинф, поведший своих в обход, лоб в лоб столкнулся с Терентием и переяславцами и не посмел без князя начать бой. В конце концов Андрей отступил на несколько верст и стал подтягивать свои разбросанные без толку рати, а Михаил, три дня не слезавший с седла, назначил сторожу, отдал последние распоряжения и, подъехав к шатру, упал с коня. Слуги, бросившиеся к нему с ужасом и воплями, увидели, что князь их крепко спит. Подняв осторожно бесчувственное тело Михайлы, они устроили его на соломенном, застланном попонами ложе и послали за Данилом.

Смеркалось. Данила сидел у костра вместе с сыном и двумя боярами на подложенных седлах и ел горячую кашу из котла. Он скосил глаза на вестника, проглотил, покивал головой, выслушал, переспросил:

— Спит? Ну и пущай спит. Уходился. Молод.

Данил вздохнул, опять потянулся за кашей.

— Не тревожьте там его. Андрей в ночь не сунется. Скажи боярину, пусть будет в покое. Я посторожу!

Доев кашу и облизав ложку, он оборотился к Юрию:

— Видал? Не добро все самому делать. Так и пропасти мочно. Скачи к Протасию, пущай пошлет в сторожу кого ни то. Да узнай там, все ли обозы подошли? А я тоже лягу. Из утра надо Андрея добывать.

— Бой будет, батюшка? — загоревшись, спросил Юрий.

Данил поглядел в огонь, потом на сына.

— Ратиться-то сам будешь али людей пошлешь? — спросил он, прищурив глаза.

— Знамо, людей пошлю! — не поняв, обиделся Юрий.

— Ну, а людей и поберечь не грех! Свои люди-то, не чужие, тоже православные христиане. Постреляли маненько из луков-то, и хватит. Понял Андрей, что не с бабами пришел биться, чего ж больше! Теперича и столковаться мочно. А ты молод, глуздырь, у меня, молод да горяч. Никогда не лезь вперед носом-то, нос переломят, того! Преже головой подумай! Видал, как Михайло Андрея обошел? Те и убрались безо всякого бою. И на рати ум нужен, и чтобы не ратиться, да побеждать — того больши! Скачи, сынок, да все толком передай! А я лягу. Приустал маненько. Все на кони да на кони... Да жары-ти стоят! Уж и сердцу что-то тяжело.

Утром, переговорив прежде с Михаилом, Данил приказал трубить и начал пересылаться с Андреевой ратью, а когда воротились гонцы и привезли ответ, что Андрей готов начать переговоры, Данила неторопливо сел на коня и с немногою дружиной поехал, несмотря на отговоры князя Михаила и иных бояр, к Андрею в стан.

— Тебе нельзя! — спокойно отмолвил он тверскому князю.— Тебя он и захватить может. А меня пущай задержит! Княжесьво не пустое, бояре да Юрий постерегут, а и хана он побоится. Хану нынь голка на Руси не надобе. А толковать с ним мне способнее самому. Все ж таки брат родной!

Не слушая ничего больше, отстранив побледневшего Юрия, Данил шагом выехал из стана впереди своей свиты, проминовал холм, спустился, маленький издали, к ручью, вот переехал, вот говорит о чем-то с вражьими дозорными, вот те поскакали опрометью к себе, а Данил, все так же неторопливо, следом за ними, поднялся на холм, перевалил за гребень и скрылся из виду.

В небе плыли жаркие полусонные облака. Жаворонки звенели над истоптанным порушенным хлебом. Юрий почувствовал вдруг, как взмокли ладони, которыми он держал поводья коня. Что, ежели отец не вернется? Он растерянно оглянулся: зачем они его отпустили?! С внезапно вспыхнувшей неприязнью Юрий увидел близко от себя красивое серьезное лицо князя Михаила. (Мог бы и сам поехать, чем тятеньку посылать!) Спокойное, с чуть сведенными бровями лицо. (И не боится, ничто ему!) Еще вчера считал он Михайлу ге-

роем и завидовал, что его отец не такой, а слишком простой и мирный... Михаил Тверской меж тем поехал проверять сторожу. В жарком безветренном воздухе струился дым костров. Ратники варили кашу. И Юрий готов был заплакать, завыть, броситься на всех: чего они ждут, чего медлят? Надо же скакать, рубиться, надо спасать отца!

Данила вернулся к вечеру, усталый, но довольный.

— Уломал! — говорил он собравшимся воеводам.— Припугнуть маненько пришлось: мол, иньшая рать у нас на подходе, да и, мол, своих сдержать не мочно, рвутся в бой! Ярославцы, те струсили... Еще не всё, еще дотолковаться не смог! Андрей лютует, ну, поутихнет ужо́!

Вечером, в шатре, Юрий, как прежде мальчишкой, прилез к отцу, сунулся под полог. Тот устало поерошил волосы сыну.

— Батя, ты храбрый?!

Данил засмеялся, потом закашлялся, долго утирал платком рот.

— К родному брату во стан съездить — не велика доблесть! — наконец отмолвил он.

— Не-е-ет, все равно! — надулся Юрий.

— Ну, а ты бы поехал? — спросил Данил.

— Я? Нет! — решительно потряс головой Юрий.— Я бы бояр послал! Я бы и сам его захватил, коли бы сумел!

— Ты тому, что ль, в Новом Городи научилси? — задумчиво глядя на сына, спросил Данил. Юрий, как в детстве, сердито шмыгнул носом.

— Ничо, Юрко, вырастешь, авось поумнеешь! — вздохнул Данила.— Мотри только, чтоб у тя с братьями не было того, что у нас! Из гроба прокляну! Ладно. Иди, спи!

Постояв еще и еще поспорив через послов, князья наконец заключили мир и начали расходиться.

Тяжелее всего это стоянье обошлось юрьевскому князю. Столько было погублено хлеба, потравлено, затоптано в пыль, что и не сосчитать — хорошей войне впору.

Через год, довершая мир, Данила Московский женил сына Юрия на дочери ростовского князя Константина Борисовича. Свадьбу справляли в Переяславле.

ГЛАВА 109

Иван Дмитрич все лето и осень пробыл в Сарае. Тохта уезжал, возвращался, принял наконец Ивана, не ответив ему ни да ни нет. Добро таяло, растекаясь по мошнам ордынских вельмож. Из дому приходили смутные вести. Переяславцы не знали, чему верить, пока наконец не прибыли гонцы от Терентия с Феофаном и от Михаила Тверского с рассказом о брани во Владимире, о походе Андрея и стоянии ратей под Юрьевом. Только убедясь, что на Руси установился мир, хан Тохта подтвердил Ивану Дмитричу ярлык на отцову вотчину — Переяславль. Припозднившийся князь с дружиной пережидали ледостав, потом — болезнь князя, который едва не умер в Орде, и наконец Святками, санным путем, тронулись домой.

Ранняя весна чуть не задержала в пути княжеский обоз. Иван, оправляясь от болезни, лежал и думал. Он рад был, что съездил в Орду, что увидел своими глазами Сарай — шумный разноязычный город, перекресток восточных и русских дорог, купцов изо всех стран и ставку великого хана, расписные юрты и неоглядные стада коней... Он старался понять: почему? И, кажется, понял, хоть и не мог того выразить словами. Он пытался постичь: надолго ли? И постигал, что надолго, что это не наважденье, не сон, и грозный дед, о котором с почтением вспоминают о сю пору, святой Александр, прозванием Невский, не зря уряживал с Ордой. Видимо, дед понял все это еще тогда... И еще одно, отрадное, было̀ понято им в разноплеменной Орде на перекрестке мировых дорог, понято, что это — ветер, ветер времени, и не погибнет Русь, и уцелеет, и устоит, и вырвется, только — как и когда? Ибо там вязали воля и власть, а не народ и предание. Но воля слабеет и власть преходит со временем, а предание живет и народ остается на земле, пока он народ, пока он един и сознает себя. И, быть может, не надо так коситься на языческие хороводы у Синего камня, в них — память земли, искони́, от прадедов, от языческих, Велеса и Хорса, Симаргла и Даждь-бо́га, времен.

К возку подскакал старшой, наклонился к окошку, спросил, не надо ли чего.

— Не надо, Федя! Спаси тебя Бог. Скучаешь по дому?

— Не я один, батюшка-князь! Ничо! Отмучились

в неволе, в проклятой Орды, домой едем! Кони и то чуют!

Иван улыбнулся, откинулся на подушки. Голова кружилась от слабости, от весны. По снегу бежали голубые тени. Грело солнце. Иван высовывал бледное лицо и, полузакрыв глаза, пил свет. Уже начинались перелески, рощи. Уже по-иному па́хнул ветер. Начиналась родина, Русь.

Федор шагом ехал из Переяславля в Княжево. Распустив дружину, один. Князь был доволен его службой, наградил. Воз с добром завтра доправят из города ратные, сам уже не смог ждать. Он ехал нижней дорогой и видел, что лед уже отстал от камней, образовав большие промоины. Скоро сломает лед и начнется нерест. Он повернул на въезд у Криушкина, поднялся по крутосклону, миновал село, поздоровавшись с окликнувшим его знакомым мужиком.

— Никак из Орды?

— Из нее, матушки!

— Князь воротилси?

— В городи сидит!

— Заезжай!

— Опосля!

Он проехал полем, где уже чавкало под копытами. Снег раскисал. Мальчишки звонко кричали. Остановив коня, из-за кустов, уже набухших в предведении весны, вгляделся, услышав ломающийся знакомый голос с новыми низкими срывами, и узнал лицо сына, который, разгоревшись, спорил — шапка сбита на лоб,— грозя кому-то кулаком. Растет! Он еще хотел постоять, но его приметили: «Твой тятя приехал!» И Федору пришлось, тронув коня, выехать на дорогу. Сын подошел, стесняясь перед мальчишками, сдерживая улыбку:

— Здорово, батя!

Федор тоже хотел нагнуться с коня, приласкать, но раздумал, только кивнул, спросил:

— Матка дома?

Представил вдруг некрасивое, в испуганной ждущей улыбке лицо жены, до боли родное, и весна, и снег...

— Дома,— ответил сын.— Даве в бору была, дровы волочили.

Федор шагом ехал по селу, а сын шел у стремени.

— Эй, придешь? — кричали мальцы вслед.

— Опосля! — отмолвил сын, отмахнувшись, и уже резвей пошел рядом с почуявшей дом тоже прибавившей шагу лошадью.

ГЛАВА 110

Дивно, как бежит время! Новою травою поросли валы Клещина, обведенные новым, правда жиденьким, на абы как, тыном. И хоромы поставили опять, и яблони, уцелевшие от огня, оделись розовым цветом, и сронили цвет, и вот уже батюшка в церкви раздает прихожанам резаные кусочки яблок — значит, можно обирать сады. Вот уже и хлеб свезен на тока, и смолочен, и провеяно зерно, вот уже и птицы потянули на юг, пустеют поля, и девки собираются вечерами на супрядки. Вот уже и первый снег яркою белизною укрывает холмы, и дивно горят в белоснежных уборах желтые свечи еще не облетевших берез. И уже серо-синею мглою оделося зимнее небо, и задувают ветра, лепят в лицо колючим снегом, и волки, жалобно подвывая метелям, обходят схороненные в снегах деревни. Кончился Филипповский пост, подошло Рождество. Скоро Святки, Масленая, ряженые, скоро свадьбы. Ныне на Переяславле затевается большой праздник, московский князь Данил Лексаныч женит сына на ростовской княжне.

Со звоном летят разубранные сани, возок, обитый соболями, вершники в лентах, в лентах гривы лошадей, дружинники на скаку подбрасывают копья, орут, бояре скачут в алых, синих, рудо-желтых, крытых парчой и бархатом опашнях, сверкают попоны дорогих коней, жаром пышут конские морды, снег из-под копыт — берегись! Скачет в Переяславль свадебный поезд ростовской княжны.

Терема разубраны, красные ковровые дорожки настелены у крыльца и на крыльце. Глядельщики ждут. Переминаются, скалясь, кони. В палатах и горницах суета. В новом, негнущемся, с саблями наголо ждут «дети боярские», берегут путь, не перебежал бы кто дорогу невесте.

Боярышни смотрятся в серебряные полированные зеркала, белят лица, подводят брови, натирают щеки для яркого румянца. Холопки замучались с платьями: то не так, иное не эдак.

Жених, расчесав рыжие кудри, томится, ждет, по-

глядывает на отца. Данил Лексаныч сидит, поглядывая на сына, и самому дивно: как время бежит! Давно ли тут, на этом же месте, сожидал он незнакомую муромскую княжну? Кажется, вчера, ан — вот сидит молодец, не дает себя обмануть. И вчерашняя девочка, недавно родившая пятого сына, Афанасия (да двое умерли, всего-то было семь), пышная, раздобревшая (да и он не тонок стал в поясу, подчас и нагибаться трудновато), сряжается там, в бабских горницах, сердясь на девок, натягивает на пышные бедра хрусткий шелк, вдевает серьги, румянит и сурьмит свое белое, с двойным подбородком, с первыми морщинками под глазами, раздавшееся вширь лицо.

— Вот здесь и стояли прежние терема! — говорит отец, вздыхая.— Батюшка строил. Твой дед Олександр Невский. Святой. Глаза закрою, и вижу их, те терема! Тута и мы с матерью венчались. Понимай! Меня с Клещина в Никитский монастырь в училище на кони возили. Верхом. Аз, буки, веди, Псалтирь. Потом уж и до Амартола дошли... Там западинка такая у нас, в летнюю пору приедем, покажу. Чудесит в ней по ночам...

Юрий слушает рассеянно, сидит как на иголках. Вот-вот уже! И все-таки спрашивает, не утерпев:

— А кто, батя, получит Переяславль после князя Ивана? У его ведь детей нет!

Данил косится на сына, жует губами, прежде чем ответить.

— В великое княжение отойдет...— отвечает он неохотно.

— Дяде Андрею?

— А уж там кто будет великим князем! — возвысив голос, возражает отец, не глядя на сына. Молчит, жует бороду, думает, прибавляет, помедлив: — И то еще, как решит земля.

Слышно, как бегут по переходу, отворяется дверь:

— Едут!

Оба, отец и сын, встают, и оба, оборотясь в красный угол, осеняют себя крестом. Отец — истово и благолепно, сын — торопливо и с невольною дрожью в руке. Потом идут к выходу и Данил слегка подталкивает Юрия в спину.

Свадьба сына! Вот они сидят в ряд, его пышная, красивая, крупитчатая Овдотья, младшие сыновья, тоже

рядком, косятся на гостей. А Юрий-то, Юрий, первенец, рыжий постреленок, сидит — женихом! А невеста славненька. Бог даст, родителей за нее корить не станет. И постаревший ростовский князь Константин тоже... Давно ли! Тещи нет, хворает. (Давыда Явидовича в Переяславль тоже не стали звать.) Хозяин, Иван Дмитрич, племянник, которого учил когда-то держать бобышки в руках, что-то бледен глядит. Вот не любил его Митя, а один только и остался у него. И княжество сохранил! Трудно Ивану, поди, после книг с людями управляться! И Митина княгиня куды как сдала! Отекает и задыхаться стала. Митя умер, и ей не житье... И жалко золовку, а помочь тут нечем.

Пир идет, бояре подымают чары, девки-песельницы высокими голосами славят гостей.

Нам сказали, что Данил-от небогат,
Повестили, что Лексаныч небогат.
Он богат, богат, богатее всех,
Он хрустальные хоромы становил,
Он куницами кровли крыл,
Соболями-то прикладывал,
Молодой жене нахваливал.
Вереи-то новы, точеные,
А столбы-то позолоченные,
Подворотня — дорог рыбий зуб.
У дверей замки серебряные,
В дверях кольца позолоченные...

Потолкавши одна другую локтем, песельницы продолжают:

Середи двора горюч камень лежит,
Из-под камешка Москва-речка бежит...

Данил, когда к нему подходят, кланяясь, с тарелью, щурясь, сыплет иноземные серебряные монетки. В такой-то день не грех и тряхнуть мошной!

Бояре пьют за здравие молодых, слуги носят запеченных в тесте поросят, рябцов, лебедей на серебряных блюдах, словно живых, убранных перьями, с выгнутыми шеями, дичину, пироги, заливное, разварных и вяленых осетров, переяславскую ряпушку, мед, иноземное темнобагряное вино. Все новые и новые перемены, новые пузатые кувшины, бутыли, корчаги, малиновый квас и горячий сбитень, и снова уха, и снова кулебяки, сочни, соленое, печеное, вяленое, белая сорочинская каша, изюм, пряники, киевское варенье, каленые орехи, желтые кусочки дорогого ордынского сахара... Славит дружина князя, славят бояре молодых, гремит хор.

А Юрий быстрыми, с хитринкой, глазами уже поглядывает на молодую. Эко! Не терпится молодцу! Ладно, пожди, Юрко, пожди, кочеток, скоро и вас сведут в холодную горницу, на пуховую перину, как нас с твоей матерью водили!

Федор на этот раз удостоился чести быть позванным на свадьбу и сидел в числе гостей-бояр на нижних столах. Данил узнал его, говорил, даже обещал заглянуть, ежели выпадет время, в Княжево. И мать упрямо ждала, что московский князь исполнит обещание, и очень расстраивалась, что не заехал, обманул: «Ну, со свадьбой много делов у его!» — утешала она себя, когда уже стало известно, что князь покинул Переяславль, так и не заглянув к ним. Бабам-соседкам она сказывала после с гордостью и обидой:

— Мой-то Федя на пиру сидел с московским князем вместях! И говорил с им. А к нам не заехал... Данил Лексаныч... Как же! Помню его! Отроками еще дружили. Моей-то Параське «царскую куклу» подарил...— Тут Вера начинала плакать, как всегда, вспоминая дочь, и бабы принимались ее утешать: «Гляди, может, и найдется!» — хоть никто уже не верил, что Верухина дочь еще в живых.

ГЛАВА III

Федор получил нынче несудимую грамоту на землю. Теперь, если бы даже Окинф Великий воротился, он бы не смог сделать ему большого зла: Федор отвечал по суду только перед самим князем, как любой бояринвотчинник. Впрочем, вся вотчина его была пока что — два крестьянских надела да холоп Яшка. И жили они не землей, а службой Федора, получавшего месячину от князя зерном, мясом и рыбой. В серебре Иван нуждался так, что не мог платить иначе, как натурой, даже ближайшим слугам из боярчат и вольных ратников — вроде Федора. И, конечно, умри князь Иван да вернись Окинф, Федору все равно пришлось бы плохо. Впрочем, плохо пришлось бы не ему одному. Передавали, что Окинф продолжает подбивать великого князя Андрея пойти походом на Переяславль, забрать город себе, а Окинфу воротить его вотчину. Но Андрей застрял в делах новгородских и ордынских и пока, слава Богу, не трогал князя Ивана.

В дом взяли соседскую девку в работницы, в помощь матери с Феней. Четыре лошади, корова с телком, два десятка овец требовали нешуточного ухода. Одной воды потаскаешь. Мать все прихварывала, жаловалась на боли в боку, становилась забывчива. Засунув куда-нибудь мутовку или веретено, долго искала, жалуясь, что утянули соседи... Сын зубрил грамоту, бегал туда же, куда и отец, в Никитский монастырь. Только к другому наставнику. Старый учитель умер, и Федору все казалось, что новый учит хуже, небрежнее. Сын, когда спрашивал: «Чево она сдалась, грамота?» — получал затрещины, как и сам Федор когда-то от старшего брата. Ничего, помогало. Читал бегло, и Псалтирь одолел уже полностью. Сын начинал тянуться в рост, голос становился хрипловат, в драках не уступал и не жаловался. Федор косился порой на широковатый распухший нос сына, разбойные, широко расставленные глаза. Иногда казалось, что сын и косит, как Феня. Он уже начинал пахать, хоть и не всегда справлялся с сохой, лихо ездил верхом. Грикша в очередной свой приезд долго разглядывал племянника, потребовал почитать ему вслух, прикрикнув на заупрямившегося парня. Тот поглядел воровато на отца, понял, что пощады не будет, покорился. Грикша слушал, собрав лоб в морщины, думал, утупив очи в пол. Отослал мальчишку, сказал Федору:

— Может, пошлешь ко мне? Можно пристроить к монастырскому делу альбо на княжой двор, к Даниле Лексанычу...

— Пущай подрастет...— ответил тогда Федор.

Вскоре после свадьбы княжича Юрия, отпраздновав Пасху, мать слегла. Она лежала небывало тихая, почти не делала замечаний Фене, не гоняла девку, и Федор встревожился. Он даже хотел позвать лекаря с княжого двора, мать замахала рукой:

— И не думай! Отлежусь! — Подумав, сказала однако: — Бабку Ознобиху созови!

Мать и парили, и натирали. Ознобиха шептала над ней, жаловалась, что зубы выпали, сила у ней уже не та, без зубов и наговор не крепок.

— Болит что, мамо? — спрашивал Федор с тревогой.

— Ничо не болит. Отлежусь,— отвечала мать.

Она лежала в избе; когда потеплело, ее перевели в клеть. Заходила Олена, подолгу сидела с подругой.

Как-то Федор зашел к матери и в полумраке клети сразу не понял, но почуял, что что-то изменилось. Мать тяжело дышала. Лицо было в поту, заострился нос.

— Простыла я! — сказала она и трудно закашлялась.— К лежачему-то всякая хворь пуще пристанет...

К вечеру у нее начался легкий жар. Она заговорила сбивчиво. Вдруг спросила:

— Что Прохор-то не заходит?

Федору стало страшно. Как-то все меньше замечал мать последние годы, а как подумал, что без нее совсем — и испугался до холодного ужаса. Мать казалась вечной, как земля, как небо. И не думалось, что все отдаляется и отдаляется она, уходит... И скоро уйдет. С поздним раскаянием вспомнил, как привычно небрежничал с нею, как отмахивался от ее настырных расспросов, как раздражался, когда она вновь и вновь заговаривала о сестре, стыдился смешной гордости материной, когда она при нем начинала хвалиться его службою на княжом дворе. И только тут пожалел, что князь Данил не нашел поры заглянуть к нему, почтить мать. Прежде, наоборот, радовался: не в его, мол, дымной избе князя чествовать. А матери это было так нужно! Вспомнил, как она сидела и пряла, зорко глядя, чтобы братья учили грамоту. Без нее бы, быть может, так и остался в мужиках...

Федор сидел у постели матери, задумавшись. Не заметил, как она открыла глаза, вздрогнул, когда сказала негромко:

— Сединой-то тя поволочило!

Мать смотрела ясным взглядом, но словно откуда-то издалека. Он взял ее руки — руки были чуть теплые и такие легкие, почти ничего не весили.

— Умру,— сказала мать после долгого молчания.— Ежели Параська воротится, от дому не гони, прими уж ее к себе, Феденька! Ты у меня жалимой, тоскливой, Грикша-то, может, и не захочет ее принять, убогую-то...

— Что ты, матушка! — выдохнул Федор. Он ткнулся матери в грудь лицом, чуя, как горячо защипало в глазах, и, ощутив знакомый с детства материн запах, заплакал. Мать с усилием выпростала из тряпья легкую невесомую руку и погладила его по голове. Она и тут, напоследях, сама умирая, утешала своего почти сорокалетнего младшего сына, жалея, что оставляет его

одного в холодном и трудном мире на чужих нежалимых людей...

Мать схоронили на погосте, в отчем месте, как она и просила, близ родителей. Когда обряжали в гроб, плакали все. Феня ревела в голос, плакал Ойнас, девка тоже шмыгала носом. Плакали соседки, собравшиеся проводить покойницу.

На погосте, когда засы́пали могилу и утвердили крест, бабка Олена завела высоким чистым голосом похоронную причеть. Вопила-пересказывала всю Верину жизнь, и беды, и разоренья, и вдовство, и пожары. Другая соседка подголашивала ей. Когда бабы смолкли, звонко и радостно защебетала какая-то птичка, и все подняли головы и прислушались. Кончив, разделили кутью, съели, высыпали на могилу для птиц. Когда-нибудь и мать обернется птичкой, прилетит поглядеть на хоромное строеньице, на природную кровинушку, на своих внучат-правнуков...

Негустая толпа княжевецких сельчан с погоста отправилась к Федору помянуть покойницу. Вспоминали о ней только доброе. Быстро захмелевший дед Никанор (он уже с трудом ходил, но тут выполз и на кладбище был со всеми) кричал:

— Веруха! Ты, Федька, гордись, твоя матка... Эх!

Ему не хватало слов, он мотал головой и, сникая, ронял старческие слезы. Бабы успокаивали старика, подливали пива. И Федору, сквозь рвущую боль в груди, было радостно, что поминают неложно, добром, что, и верно, не делала его мать никогда и никакого зла людям.

Грикша, предупрежденный через монастырских, приехал из Москвы на сороковины. Он был уже совсем седой, как-то Федор увидел это только теперь.

Наследство они поделили без спора, да и делить-то было нечего. Нынешний двор Федор ставил сам, без помощи брата. Он отдал Грикше одного коня, за прочее заплатил серебром. Землю делить не стали, Грикше все одно пришлось бы ее запустошить. Поспорили малость только о кое-каких старинных вещах, что хранились в материной укладке. Обоим они были дороги как память об отце. Грикша скоро уехал к себе, в Москву, а Федор с Ойнасом начали готовиться к жатве. Уже поспевал хлеб.

ГЛАВА 112

Этой зимой на Руси было спокойно. Орде хватало своих забот. Великому князю Андрею тоже пока было не до Переяславля. Хан Тохта в первом сражении с Ногаем, на Дону, был разбит и отступил, однако с помощью русских войск вновь начинал теснить своего врага. Монгольские эмиры покидали Ногая, и уже ясно стало, что тому долго не продержаться. После разорения Кафы, резни в Крыму и убийства родичей, учиненного сыновьями Ногая, от него отвернулись все, кроме половцев и алан — недавних врагов Орды.

Зима была малоснежной, и весна наступила быстро. Данил Лексаныч о Рождестве гостил в Переяславле у племянника, у которого этою зимой умерла мать, вдова великого князя Дмитрия, ездил в Тверь, сына Юрия начинал приучать к хозяйству, поручая ему то одно, то другое, сам же все чаще бывал в Даниловом монастыре, отстаивал службу, почасту и трапезовал с братией да ставил и ставил новые села.

Когда паводок согнал снега, Юрий отправился вместо отца объезжать волости. Возвращался веселый. Скидывая чапан, заляпанный грязью, разливая густой запах конского пота, хвастал:

— Зеленя хороши! Скрозь проскакали от Красного до Рузы. Мужики пашут вовсю. Сады смотрел. Надоть баб послать порыхлить под яблонями, да зайцы кой-где погрызли, пообрезать тоже нать. Дневали в Звенигороде, уху хлебали из икряных ершей — хорошо! Купцов скоро ждать новгорочких надоть!

— Пристаня чинят?

— Минич смотрел... Гляну ввечеру.

— То-то! Анбары кой-где перекрыть, с зимы прохудились.

— Росчисти смотрел за Истрой, рязанских убеглых дворов с полста тамо можно поставить.

— Мужиков одних пошли. Преже пущай подымут целину, в шатрах поживут, ничо! Скажи Афоньке: месячину дать им из нашего. А бабы тут на дворе да на огородах до поры, до хором. Приглядишь тамо, чтоб сорому не было от ратных. Народ ить молодой и в грех не возьмут! А мужикам лишней обиды тоже не нать.

Данил слушал сына довольный. Юрий, кажись, не шутя начал вникать в хозяйство. Выслушав, остерег:

— Не посохло бы только. Вода нынче низко стоит.

— Да, старики баяли...— рассеянно отмолвил Юрий.

— Старики, они знают! — возразил Данил.— Им от дедов-прадедов знатьё пришло. Стариками не гребуй... Наказывай там, пущай поболе в низинах, под лесом, пашут, где самая мокрядь. Нынче ничо не вымокнет, не того бояться нать.

Год, и верно, выдался тяжелый для всех. Первое несчастье произошло в Твери, где чуть не сгорел князь Михайло. Пожар в тереме занялся невестимо как в ночь субботнего дня на Святой неделе. Сени были полны боярчат, слуг, а не слышал никто. Михаил выскочил в чем был, сам вытаскивал княгиню из пламени. Сгорела казна, порты, обилие, ничего не успели вымчать из огня. Михаил долго болел, и Данил ездил в Тверь, помогал союзнику.

Уже в июне начали сохнуть огороды. Боры стояли горячие, истекая смолой. На лугах вяли травы, склоняя метелки соцветий, даже в болотах высокие сочные стебли бессильно свешивали головки едва распустившихся, с дурманящим запахом, цветов. Хлеб был редок, уродило только в самых низинках. Данил и тут оказался прав. Петровым постом начали загораться боры. Синий дым вставал вдали, над лесами, по всему окоему. Князь рассылал слуг, холопов, дружинников окапывать и тушить леса. Все было напрасно. Огонь пробирался по иссохшему валежнику, горели мхи, свечами бледного призрачного огня вспыхивали стволы и, обгорая, с треском рушились, вздымая облака искр и душного дыма. Лоси, лисы, зайцы, барсуки бежали от огня в город. На Великой улице поймали медведя. Косолапый, обгорев на пожаре, бестолково тыкался, скулил. Хотели убить, потом, пожалев, поили водой. Зверя, привязав на цепь, свели на княжой двор.

Солнце бледно светило сквозь сизый морок. Горели моховые болота. Едкий дым полз по земле, разъедая и слепя. Вспыхивало и тлело тут и там. Вдруг целые острова с деревами проваливались куда-то внутрь. Гибли люди. Жители лесных деревень, бросив избы на съедение огню, спасались со скотом и пожитками в город. Душный чад горящего мха заволакивал Москву, першил в носу, разъедал горло. В тяжком дыму было трудно дышать. Данил отправил княгинь с малыми в село на Воробьевы горы. Сторожа следила за кострами и кровлями посада. Уже не тушили, только оборонялись от огня. Боялись, что загорится Москва. Река

мелела, там, где была текучая вода, вылезли островки и мели.

В июле мимо Москвы, через горящие леса, валила рать ярославского князя. Федор Чермный заехал к Даниле Московскому. Кашляя, отплевываясь, пил холодный квас. Юрий поглядывал то на злое, морщинистое лицо недавнего их супротивника, то на отца. Данил хлебосольно потчевал Федора Чермного, неторопливо беседовал, только лишь иногда с легкой усмешечкой на лице.

Ярославский князь шел походом на Смоленск, на отложившегося племянника своего, Александра Глебовича. Сидя за столом, хвастал, что сотрет племянника в порошок. Данил кивал, поддакивал. Провожая Федора Чермного, вышел на крыльцо.

Юрий не утерпел спросить. Тут же стояли Борис с Александром. Все трое уже спорили давеча, без отца, о ярославском князе. Данил поглядел на сыновей:

— Думашь, почто принимаю? А и не принять как? Князь! Не принять, не угостить нельзя. Нищих, убогих принимаем, не гребуем.— Он еще подумал: — Возьмет ли Смоленск? Навряд. Смольняне упреждены. Ждут. Отобьются! Кому он надобен там... И у нас-то никому не надобен.

Сыновья смотрели на отца. Александр проговорил сердито:

— Он ить Переяславль сжег! Его бы вовсе не примать!

— Нельзя,— строго отмолвил отец.— Гость!

Федор Чермный, и верно, не взял Смоленска. Постоял под городом, приступал несколько раз к стенам, но был отбит и с соромом отступил. Вскоре потрепанные ярославские рати валили назад сквозь дымные, затянутые горьким чадом леса, и вновь Данила принимал Федора Чермного, несчастного, злобного, задыхающегося от кашля и обиды.

— У тебя, князь, Ярославль. Детям есть что оставить! — говорил Данил примирительно.— А Смоленск оставь. Земля не восхощет, что сделашь! Да и годы твои преклонные, о душе подумать пора.

И Федор настороженно косился на спокойное, с прищуром, раздобревшее лицо московского князя. Ворчал:

— Смерды! Песья кровь. Падаль...

Выпяченная нижняя губа его судорожно подавалась

вперед. Он злился на московского князя, подозревал, что тот чем ни то помог смольнянам, но толком так ничего и не узнал и вынужден был покорно терпеть спокойные, чуть насмешливые утешения хозяина.

Княжичи тоже сидели за столом, глядели во все глаза то на Федора Чермного и его нахохленных воевод, то на батюшку и готовы были прыснуть в кулаки.

Проводив ярославского князя и опять остановясь на крыльце, Данил, дождавшись, когда последние всадники отъехали, оборотился к детям:

— Ну вот! И нету больше Федора на смоленском столе!

— Батюшка, ты сам упреждал смольнян? — не вытерпел и на этот раз Юрий. Данил захохотал, торнул сына в затылок:

— Думашь, сами не знали?!

Отсмеявшись, прибавил:

— Упредить — невелик труд. Земля отвергла его, вот что! Да тут,— приодержавшись, добавил Данил,— что племянник, что дядя — друг друга стоят. Ставил его Ростиславич, чуял, что по духу свой: таков же подлец. Ан он свой и обвел! Подлец завсегда в людях ошибется — по себе судит дак! Людей себе ищут, думашь, по уму? По сердцу, как на сердце ляжет! Сам хорош, хороших и найдешь, и служить будут верно. А сам как Федор Чермный, и холопы твои будут таковы же, и служить станут до часу, пока не споткнулся. Так-то, сын!

Лесные пожары утихли, только когда пошли наконец осенние дожди. Но и когда уже выпал снег, на моховых болотах нет-нет да и протаивало, курилось упорным едким дымом, пока уже метели с морозами не укрыли все вдосталь, до конца.

Федор Чермный умер в следующем году, посхимившись, у себя, на Ярославле. При жизни он всем мешал, и о нем постарались забыть, вернее, забыть то, чем он был на деле. В памяти и преданиях он остался родоначальником ярославских князей, и его потомки, вкупе с монахом-летописцем, много потрудились, чтобы в житии Федора Чермного придать своему предку черты благолепия и святости.

Год этот, предпоследний год тринадцатого столетия, начался грозным солнечным знамением, предвещавшим, как толковали старики, новую рать. Всколыхнулось на западной окраине страны... Немцы в силе тяжкой пришли под Псков, и князь Довмонт, выйдя навстречу, разбил их в кровавой, небывалой доднесь сече на берегу Великой, в виду псковских стен. Это был последний подвиг знаменитого псковского князя. Тою же весной, двадцатого мая, Довмонт умер, с почетом и скорбью быв положен в соборе святой Троицы. Да будет память его нерушима в Псковской земле!

На далекой южной окраине, в степи, на берегах Ак-Су [1] в гигантском сражении решилась в том же году судьба ордынского ханского престола, а вместе с тем и ближайшая судьба Владимирской земли.

Разбитый в прошлом сражении на Дону, хан Тохта не сложил оружия перед Ногаем и нынче вновь собирал войска. Русские дружины, посланные князем Андреем, пришли ему «в пору и вовремя».

Прибывший на этот раз в Орду старшим над сотнею воинов, Козел был доволен донельзя. Дело предстояло верное. К Тохте подходили и подходили полки мунгальских эмиров, и когда вся громада конницы двинулась в степь, то сколь он ни подымался в седле, сколь ни тянул шею — конца-краю рати так и не удавалось увидеть. На дневках кони выедали траву дочиста, в ручьях не хватало воды, и из-за нее дрались. Ночевали, привязавши к ноге повод — не увели бы коня! В эдакой буче, поди, и пропажи не отыщешь! Козел, покрикивая, подтягивал ратных, на привалах расставлял двойную сторожу.

Шли много дней. Ратники почернели, спали с лица, исхудали кони. Ногай все отступал, стягивая полки. Рать Тохты была уже далече за Доном. Уже и за Днепр перешли, переплавились на надутых бурдюках, а сражения все не было и не было. Когда подходили к Ак-Су, ни Козел, ни большие воеводы русского полка не помышляли больше о подвигах. Усталь до одури охватила всех, и чаялось хоть какого конца, лишь бы скорей!

Утро сражения, нежданного для рядовых кметей,

---

[1] Южного Буга.

началось сшибками передовых конников, но ихний полк до полудня лишь двигали с места на место, не вводя в бой. Где-то нарастал и опадал рев ратей, гудела от топота копыт земля. В пыли смутно маячили темные массы движущихся комонных, и не понять было толком — своих или чужих. Громадность того, что происходило там, впереди, подавляла воображение.

Ратники забывали жевать сухари, изъеденными пылью глазами тщетно вглядывались в даль. Но все так же не смолкал бранный шум, и все так же двигались в пыли неразличимые бунчуки и знамена, пока, наконец, ополдень к ним не подскакал окольчуженный татарин и не прокричал хрипло что-то неразборчивое, показывая белые зубы на черном от пыли лице. Полк тронулся в согласном копытном перестуке, все убыстряя и убыстряя бег. Монгольское «хурра-аа!» нарастало. Вот показались отдельные отступающие комонные. Привставая в седлах, они оборачивались, пускали стрелы в неразличимое облако пыли позади себя.

— Урра-а-а! — заорали передовые, и Козел подхватил высоко, с провизгом, тот же крик, вырывая клинок. Злость, и обида, и страх, и пьянящая удаль сражения — все слилось воедино в нем в этот миг, и он уже не принадлежал себе, да и не свернуть бы было: вал конницы, катящей следом, мог растоптать любого беглеца. Вот впереди замаячили, как в тумане, узколицые половецкие морды Ногаевых татар в меховых шапках. Мимо уха с жутковатым сосущим присвистом прошла стрела, и дальше началось невообразимое. Козел едва поспел раза два неразличимо ударить во что-то саблей, все силы уходили на то, чтобы не упасть самому и удержать от падения жеребца. Вздымались оскаленные конские морды, режущий острый крик летел в уши, валились под копыта брыкающиеся кони и тела всадников. Сабли высверкивали, точно короткие молнии, заставляя прижмуривать глаза.

Козел рвал поводья, вздымал щит, вертел шеей, пригибая голову, и едва не пропустил тот миг, когда татары Ногая начали поворачивать коней и можно стало, закинув щит за спину, рубить и рубить бегущих...

До вечера русские дружины, поредевшие, измученные, вводили в дело еще раз пять. Однажды близко промаячили бунчуки самого Тохты. Бой длился с неслабеющей яростью, и совсем онемела рука, сжимавшая саблю, и казалось, что этому никогда не будет конца,

но вот — уже под низкими лучами вечернего солнца — их снова бросили в сумасшедший приступ, и нежданно вражеские ратники, не приняв боя, начали заворачивать коней. Это была победа. Началась радостная, от предвкушения добычи, погоня за отступающими.

Козел скакал, примериваясь так и эдак, за одним «толстомордым», как он его мысленно прозвал, и приладился-таки, рубанул вкось, через плечо, и видел, проскакивая мимо, как, заливаясь кровью, опрокидывается навзничь порубанный скуластый татарин. Другой, глянув на Козла, вдруг бросил саблю, уронил поводья и, двумя руками вцепившись в гриву коня, ринул в сумасшедший скок, и Козлу, давно оторвавшемуся от своих, едва достало злости, чтобы догнать и вновь рубануть с потягом, следя, как белоглазый с испугу татарин, вдруг померкнув лицом и охнув, отваливает, теряя стремя, вбок, готовый вот-вот пасть с седла.

Солнце уже цепляло красным ободом за вершину холма, когда Козел, начавший петлять по истоптанному полю в поисках своих, настиг еще одного, старого и, видимо, непростого татарина в лисьей шапке, в шелковом разорванном халате сверх панциря, на дорогой, хоть и измученной до предела лошади. Козел, подскакивая, поднял саблю. Морщинистый старик смотрел на него слепо из-под кустистых бровей, не подымая оружия. «Пансырь беспременно снять!» — подумал Козел.

— Стой! — крикнул он по-татарски. (Убить можно было и потом, ежели старик не затеет улизнуть.) Но татарин не тронулся в бег, и, подскакав, Козел понял, в чем дело: конь под татарином истекал кровью, а сам он тяжко, с хрипом, дышал. Козел, также по-татарски, приказал:

— Панцирь снимай!

В ответ тот поднял ладонь, пробормотал что-то. «Сдаюсь»,— разобрал наконец Козел.

— Кто таков? — спросил он, подъезжая совсем вплоть, но сторожко не опуская оружия.

— Нохой! — ответил старик без всякого выражения. Помолчав, пожевав губами, вдруг сам приказал хрипло:

— К Тохтогу веди! Сейчас веди!

Козел раздул ноздри: «Приказывает ищо!» Как-то не враз и дошло, что сам грозный Ногай перед ним. Он воровато огляделся по сторонам: «Доедешь с ним, как же!.. Увидят те же татары Тохты такую добычу, и по-

минай Козла как звали! Сами от своего хана награду восхотят получить...»

— Нохой, говоришь? — переспросил он. Старик покивал головою, все так же без всякого выражения глядя на Козла и мимо него слезящимися отечными глазами на измятом морщинистом лице. Он, видимо, устал до предела, устал до конечных сил и хотел одного уже — сдаться в плен. Но привычка властвовать и повелевать, воспитанная всей жизнью, сказалась и тут. Вражеский воин, стоящий перед ним с обнаженной окровавленной саблей, не существовал для Нохоя. Он, этот урус, был простым смердом, и от него требовалось лишь одно: доставить своего великого пленника к хану Тохте, мальчишке, которого он не разгадал вовремя и которому сегодня улыбнулась отвернувшаяся от него, Нохоя, судьба.

Козел продолжал глядеть на Ногая, все еще не в силах обнять мыслью совершившееся, и вдруг разозлился: как смеет этот татарин так вот повелительно глядеть на него, своего победителя! В ногах валяться должен, умолять! А он, Козел, тогда почванится маленько и решит... Да что тут решать!.. (Решилось на диво легко и вдруг.) Одну голову привезти Тохте, и вся недолга!

Старик еще что-то выкрикнул, гневно шатнулся, защищаясь рукой, но Козел, хищно нацелясь, не промахнул: концом сабли точно попал в горло над медным воротником кольчуги и почти напрочь смахнул татарину голову. Гордясь собою, он подхватил другой рукой полуотрубленную голову за волосы и вновь легко махнул саблей. И, уже не глядя на падающий безголовый труп, засовывая отрубленную голову в торока, примолвил, кривясь:

— Так-то вернее!

Он даже не стал снимать с Ногая богатого панциря. Голова этого старика (ежели он не соврал, конечно!) должна была потянуть перед Тохтою столько, что окупит с лихвой всякую иную добычу.

Выскакав на бугор и озрясь, Козел порысил в сторону большого полка. Однако еще вдосталь пришлось ему попетлять среди монгольских ратников (не знай он языка, его бы давно и самого скрутили арканом!), и только уже в полных сумерках Козел подъехал к раскинутому шатру Тохты.

Перед шатром трещал разгоравшийся костер. Нуке-

ры скрестили было копья, но Козел крикнул по-татарски еще издали: «Нохой!» — подымая над головою окровавленную торбу.

Тохта, только что снявший бронь, вышел за порог юрты и отвел рукою сунувшихся было перед ним нойонов. Козел, лихо спешиваясь и доставая из сумы отрубленную голову, шагнул вперед.

— Узнаешь, хан?! — спросил он и, прежде ответа, по изменившемуся взгляду Тохты поняв, что старик его не обманул, ликуя и наглея от своей удачи, выдохнул: — Плати! Голова ворога твоего!

Козел глядел хищно и жадно глаза в глаза Тохте. Ноздри его прыгали. Такой удачи у него еще не было во всю жисть. Теперь с ордынским золотом да в Княжево! Ежели еще и князь Андрей этого дохляка Ивана погонит вон из Переяславля! Вота жизня будет!

Тохта, не отвечая, долго смотрел на голову старика, седую от пыли, с жалко торчащими пучками седых бровей, «столь густых и длинных, что они, при жизни, закрывали глаза его».

Кругом дышали, заглядывали, сопели, сожидая ханского слова, сегодняшние победители.

Тохта поднял бесстрастные, замкнутые глаза. Вопросил негромко, как воин узнал, что перед ним именно Нохой? Выслушав, что всесильный темник, будучи схвачен, сам назвал себя и просил отвести к Тохте, молча кивнул и вновь внимательно оглядел серую мертвую голову. Нохоя следовало казнить ему самому, и с почетом, не проливая крови. Надлежит оказывать милость поверженному врагу. Он помолчал и, уже не глядя на урусутского воина, приказал:

— Уруса казнить! Не подобает простому воину убивать сдавшегося ему столь великого мужа.

Жалкий крик был враз оборван горловым клекотом... Нукеры, сделав свое дело и вытирая ножи, оттащили труп в сторону. Эмиры и нойоны Тохты, важно кивая головами, вполголоса одобряли мудрое решение того, кто теперь стал неоспоримым преемником великого Бату-хана.

Так закончился раскол Золотой Орды, дорого обошедшийся Орде и еще дороже многострадальному «русскому улусу».

Волны от разгрома Ногая пошли по всей земле. Зашевелились, потекли, разоряя города и веси, разбойные отряды разбитых и победителей. Южная Русь, не-

когда силой привязанная к Орде Ногая, погибала теперь вместе с ним.

Этою зимой от татарского насилия разбежался весь Киев, и митрополит Максим со всем клиром и двором переехал во Владимир. В апреле он сел на волостях владимирского епископа, переведя владыку Симеона в Ростов.

В Рязани тою порой умер князь Ярослав Романович, и на рязанский стол сел Константин Романович, набравший конную рать из разбежавшихся ногаевых татар и сразу рассорившийся с племянниками, пронскими князьями, а заодно с Данилом Московским из-за рязанских мужиков и порубежных сел.

Тверь собирала силы. Ждали, что после разгрома Ногая Андрей опять обратит свои взоры на Переяславль. Михаил, оставя жену (Анна была на сносях) на попечение матери, поехал в Переяславль договариваться с Иваном. А беглецы из южных разоряемых княжеств все шли и шли, пробираясь дорогами и лесами в спасительные заокские и заволжские села, и за ними тянулись бояре с послужильцами, и даже мелкие князья снимались с мест, чтобы поискать счастья на севере.

ГЛАВА 114

Юрий, нынче воротясь из Переяславля, застал отца в хлопотах.

— Ко мне большой боярин просится с Волыни, Нестер Рябец с сыном. Тысячи полторы людей с има!

Юрий присвистнул:

— Сила!

— То-то! — отозвался отец.— Сила силой, а хватило бы запасу прокормить!

— Ну, до осени дотянем.

— До осени не хитро дотянуть. У твово родителя, Юрий, хлеба было засыпано на три годы вперед! А только засуха подъела.

— Где посадим?

— Подумаю с боярами! На Сходне у нас земли пустые еще.

Волыняне подходили весь следующий день и располагались станом за Москвою-рекой. Бояре, старый Нестер Рябец и Родион, трапезовали у князя.

К вечеру, когда утихла суета на торгу и начал успокаиваться посад, Данил с Федором Бяконтом отправились осматривать стан. Волынский табор протянулся аж до Данилова монастыря. Горят костры. Плачет ребенок. «Долго ли еще брести?» — спрашивает кто-то от шатра. Кони под коврами чутко дремлют, изредка встряхивая гривами. Звяк оружия, и вновь тихая южная речь. Люди истомились в дороге.

Встречу князю шел хромающий Нестер — тоже обходил свой стан — и сын Родион, на голову выше отца, красавец, непривычно бритый. Долгие усы свисают ниже щек. Соколиные, холодные глаза. Поздоровались. Спешились, пошли рядом. Данил озирал измученные лица, котлы и то, как истово приезжие хлебают кашу (каша — его дар, значит, уже успели сварить). Где и разместить такую орду? А принять нужно!

Волынские бояре ступают следом. Где-то там остались Холм, Галич, Владимир Волынский, королевские приемы и блеск, и снова, как в древнем Киеве, кочевье, костры, и кажется — на века назад отброшены они к седым легендарным временам Всеслава и вещего Олега...

Женщины с запавшими глазами оглядывают московского князя, когда он проходит мимо. Переговариваются меж собой. Кормят детей. В сумраке весенней ночи скрипят возы. Сквозь речную сырость доносит дух свежего печеного хлеба, что везут из Кремника.

— Сколь у него кованой рати? — спросил Бяконт, когда они, возвращаясь, переехали мост.

— Да немало, неколико сот.

— С этою силой Коломну-то бы и отобрать! — сурово сказал Бяконт, глядя перед собой.— Князь Константин, слышь, наши дворы в Коломне под себя забирает!

Он уже знал, что Данила опять отмолвит отказом. Но князь промолчал. Сзади них цокали по доскам моста копыта дружинников. «Добро бы вовсе не воевать! — думал Данил, вздыхая.— Дак ить с им добром-то не сговоришь!»

Данил не сказал ничего. Он ехал и думал. Москва была мала. Затерянный в лесах деревянный городок. И речка, что вьется под холмом,— не Ока и не Клязьма, маленькая речка Москва. Там, на устье... Да, Коломна была нужна. Они поднялись к воротам. Не оборачиваясь, Данил спросил:

— Что твой ентот... рязанской...

— Опять приезжал! — с готовностью отозвался Бяконт.

— Ежель ратиться...— все так же, не глядя, проговорил Данил,— рязане — оны к бою привычны... Сорому б не было!

— У меня он, могу завтра ж и привести! — молвил Бяконт. Данил тут повернул свой большой нос, скосил глаза на Бяконта:

— Ладно, приводи, погляжу! Торопиться все ж не будем. Преже надо с Андреем и с ханом Тохтою урядить.

ГЛАВА 115

В следующем году Федор отправил сына в Москву. Грикша обещал поговорить с великим боярином Протасием, а быть может, ежели удастся, встретить князя Данилу Александровича в монастыре и напомнить о Федоре. Тогда парня могли бы взять и ко двору, в число «детских», там уж от него самого зависит, как сумеет выслужиться. Жить Грикша брал племянника к себе, чтобы заодно убирался с лошадьми. Федор сам когда-то начинал повозником, при конях, так что сыну предстояло в чем-то повторить родительский путь. Феня плакала:

— Куды отправляшь дите! Жалости в тебе нет, ирод поганый! Сам всю жисть ездишь, а он бы хоть дома посидел... Мог и ко князю Ивану определить!

Федор сам толком не знал, почему отсылает сына в Москву. Конечно, князь Иван не отказал бы ему, но у князя Ивана не было детей. В чьи еще руки попадет удел! В душе он иногда смутно жалел, что не послушал своего «московского князя», когда еще Данилу только дразнили этим прозвищем, и не последовал за ним.

Сын был перед отъездом непривычно тих. Федор усмотрел, как парень украдом, на задах, прощался с какой-то совсем уж зеленой девкой, и та всхлипывала, вздрагивая худенькими плечами. Он вспомнил свое, давнее, и скорее ушел, чтобы не спугнуть детей.

Федор рассказал сыну о своем первом пути во Владимир, пересказал, как мог, слово епископа Серапиона. Сын слушал, потом спросил:

— Батя, а Москва поболе Владимира?

Федор рассмеялся.

— Меньше Переяславля! А уж с Владимиром и сравнить некак. Там чего и есть — дак только князь Данил Лексаныч строил.

Сын ни о чем больше не спросил, но видно было, что разочарован незначительностью своего будущего места обитания. Отправляли его в Москву с монастырским обозом. Федор наказал старшему повознику последить за парнем дорогой. Тот обещал, знал, что Федор служит на княжом дворе.

Весна выдалась ветреная, с грозами и ливнями. Почасту полыхали молнии, избы там и сям загорались, как свечи. Передавали, что туда, к Ростову, ветра были еще сильнее, а где-то вихрем разметывало клети, сносило и целые церкви.

Летом заратился Александр Глебович Смоленский. Ходил походом к Дорогобужу. Освободясь от дяди, пытался расширить владения, но был отбит. Митрополит Максим отправился в Новгород с ростовским владыкою Симеоном и тверским епископом Андреем на поставление новгородского архиепископа Феоктиста. Говорили, что по совету князя Андрея, мыслившего укрепить свою власть в Новгороде авторитетом церкви. Тем же летом свея захватила Неву. Королевское войско привело мастеров из Рима, поставили каменный город на устье Охты, нарекли Ландскрона (венец земли). На Новгород обрушилась эта беда и еще пожар города и пожар Торжка. Великого князя Андрея в ту пору не было в Новгороде. Он ссорился с Михаилом Тверским, с суздальским князем и снова угрожал Переяславлю.

ГЛАВА 116

Князю Ивану Дмитричу было не до чего. Вести доходили до него смутно, не задевая сознания. Порою он, опоминаясь, понимал, что ему не удержать Переяславля, но как приходило, так и забывалось. У Ивана умирала жена. Княгиня так и не оправилась после неудачных родов и зимнего бегства во Псков шесть лет назад. Он вывез ее на Клещино, в городок, где нарочито для жены велел пристроить к терему высо-

кое гульбище с кровлей, чтобы было видно озеро и не мешали дожди. Княгиня полулежала тут, на мягком ложе, укутанная в покрывала и опашень (ее все время знобило, а в покоях казалось душно), и смотрела на озеро с черными полосками рыбачьих лодок, на далекий Переяславль, а иногда взглядывала вниз, где в саду просушивалась ради летнего погожего дня мягкая рухлядь из княжеской казны: саженные жемчугом вотолы, меховые и бархатные опашни и телогреи. Шелковая персидская камка колебалась под ветром, задевая вершинки травы, судачили бабы, собравшиеся поглядеть на княжескую красоту, да изредка покрикивала девка, отгоняя лезущих к блеску драгого шитья сорок.

Здесь, наверху, ветер приятно обдувал похудевшее лицо княгини и легче дышалось. Она слушала: вот скрипят ступени, раздается знакомый, слегка неуверенный тихий голос. Он спрашивает там сенных боярышень, не зная, что голос от крыльца доносится сюда. И она улыбалась его детской смешной хитрости. Сейчас войдет и будет уверять, что она сегодня лучше выглядит, хотя внизу ему только что сказали, что княгиня еще похужела со вчерадня.

Она любила его бледное лицо, обрамленное темнорусой бородкой, его мягкие внимательные глаза. Нагибаясь, Иван целовал ее, гладил ей руки, усаживаясь на скамеечку у ног.

Откинувшись на подушки, княгиня улыбалась, полузакрыв глаза. Ей было хорошо. Боли, что мучили, не давая спать по ночам, уходили, затихали от медленных поглаживаний Ивана. Он рассказывал ей негромко. Иногда она засыпала с улыбкой под журчание его речей. Иногда она видела темные круги под глазами Ивана, тогда догадывалась, спрашивала:

— Снова князь Андрей?

Иван замученно кивал, сутулясь:

— Михаил тоже зарится на Переяславль, и Константин Борисыч тоже, с тех пор как после смерти Олимпиады женился в Орде! Как воронье на отцов удел!

— Деток нет у нас...— отвечала княгиня.

Иван опять думал о том, что власти не удержать. Как бы хорошо, чтобы каждый сидел у себя в уделе, а обчее решали соборно, не ссорясь. Он представлял себе страну всю из уделов. Как князья, так и бояре

в своих вотчинах, так же смерды, деревенские миры... Нет! Бояре станут притеснять смердов, те начнут гнать бояр... Может быть, когда-то и был золотой век, когда селяне жили родами, водили хороводы, кланялись солнцу. И старцы, сходясь у какой-нибудь священной березы, камня или озера, толковали и решали общинные дела. К этому нельзя вернуться! Куда деть все эти города, торговлю, ремесло, монастыри, книги? Да и соседи не позволят: займут, поработят, перебьют... А все-таки хоть уделы, да хоть так не трогали бы друг друга! На Западе, в немецких, папских и прочих землях, там рыцари сидят у себя в замках, города ссорятся и живут сами по себе, как Псков, как Новгород. Войско служит за плату, как у нас дружина, да и дружина-то у нас служит теперь по земле! Там короли и князья не имеют большой власти в стране. Но Запад, хоть и разделен, у них одна вера, один папа римский, первосвященник. Раз вера одна — и гибелью раздробление не грозит. Кто ни одолеет — тот ли, другой граф или герцог, король — не меняется самое главное: жизнь народа. У нас же надо всеми нами висит Орда, да и немцы, свеи, литва — все готовы растерзать землю. У нас очень может и вера кончиться. Меря, мордва, ижора, водь, чудь, корела, весь — едва крещены! Не так нас, русичей, и много тут! А дальше — степь. Спасти нас может только единение.

— Только единение! — повторяет Иван громко, забыв, что княгиня слушает его.

— Иван! — пошевельнувшись, спрашивает она.— А князь Андрей тоже хочет объединить землю?

— Князь Андрей... Он хочет для себя, для своей воли... Но чтобы содеять великое, надо отказаться от себя, от «своего». Может быть, и мне не следует держаться за власть? «Не умрет зерно, не прорастет». Все, что в жизни утешно, с жизнью и кончается. И Моисей не ступил в землю обетованную, и Христос отвергся царства земного, но победил, погибнув, приняв крестную муку... И потом, спасти нас может только вера. Одной властью, насилием не соберешь страны. Батюшка тоже сорвался, не возмог. И Андрей... Прости, я тебе мешаю!

— Говори, говори, я слушаю! Мне хорошо, когда ты говоришь со мной... Почему ты молвил: вера, а не закон?

— В речении митрополита Иллариона,— начинает Иван, волнуясь и хмурясь,— о законе и благодати сказано, что закон темен, благодать же светла. Я скажу более: благодать — это общий путь всего земного! Не потому дети слушают родителей, что те — власть, а потому, что нет любви большей, чем родительская. Любовь соединяет отцов и детей, ближних с ближними, племена и земли. И Христос говорил: «Возлюби!» Это главное, в этом всё! И власть без любви — темна. Можно железом подчинить языки и страны, можно в затворы и в ямы сажать людей, увечить, предавать мукам, роботить в холопы. Можно отобрать все, и только выдавать за тяжкую работу скудный хлеб. Окружить стражею, подавить оружием и цепями, и будет стоять, держаться... И все равно упадет. Даже ежели не будет сопротивления. Потому что тогда исчезнет желание жизни, станет все одно: жить или умереть. И не для отдельного человека — так-то любой будет стараться приспособиться, уцелеть. Но народ погибнет. Всякий станет лишь за себя. А это значит, что и дети станут не нужны. Ибо первую жертву отречения рождает любовь: отдавание без возврата детям, и не обязательно своим! Всем, всяким, будущему. Для кого старец строит терем, садит древие плодоносное? И посему, можно отобрать у всех всё, всех обратить в холопов, и чтобы земля — князева, но такое здание погибнет. Без любви, без совета и согласия нет жизни. Без нее власть мертва, и мертвым делает все, к чему прикоснется. Принуждение без любви... Вот какой власти хочет Андрей!

Княгиня смотрит на загоревшееся бледным румянцем лицо мужа. Вот таким он и был всегда, восторженным от книг, от старинных слов, что звучат в его устах так, словно сказанное только что. Княгиня слушает в легком забытьи. Она глядит, прикрывая глаза, на серебряную парчу озера, и чудится, что это озеро Неро и родной терем у нее за спиной. Так хочется еще раз, последний, поглядеть на родимую сторону! Но если бы и могла,— горько видеть места, где ничего и никого не осталось, а у дяди Константина незнакомая чужая жена, татарка, дочь ордынского князя, и ничего уже от прошлых лет! Нет, лучше не ездить, лучше сидеть так, и вспоминать и представлять себе прежнее их житье, когда она была совсем маленькой и покойный отец возил ее с собою в седле. И густые хлеба, в поло-

сах света, и тени от облаков, и крупный дождь, и радость, и испуг от грозы...

— Ты устала, хочешь отдохнуть? Я не мешаю тебе? — спрашивает муж. Княгиня медленно качает головой. Потом говорит:

— Ты иди, Иван, дела тебя ждут! Я, наверно, посплю.

Она знала, что муж со своими сомнениями ездил во Владимир, к митрополиту Максиму, и долго толковал с ним о праве и власти. Еще до того, как Максим отправился в Новгород на поставление Феоктиста.

— В чем смысл жизни человеческой? — спросил тогда Иван митрополита.

— В делании, угодном Господу,— ответил Максим.

— Но вот я князь, и нет наследника у меня, и земля моя не хочет алчущих обладати ею. Что делать мне?! В чем смысл жизни моей? — с болью вопросил Иван.

— Грядущему провидец — Господь, и воля его скрыта от глаз людских! — строго отмолвил митрополит.— Ты не знаешь, что произрастет из плода незнакомого: злак или плевел? Как пахари не знают, пошлет ли им Господь урожай или засуху! Князь лишь исполнитель воли Вышнего и должен паче всего хранить и укреплять веру, ибо в ней — спасение.

Митрополит Максим не без любопытства разглядывал этого князя, с лицом скорее иноческим, чем княжеским, как бы не от мира сего. А Иван тоже пытливо изучал твердое сухое лицо митрополита, его покляпый нос, осторожно-внимательные глаза под почти сросшимися бровями. Митрополит-грек был воин и наставник. «Неужели ни бегство из Киева во Владимир, ни неудачи проповеди Христовой в Орде не надломили его? — думал Иван.— Или он видит нечто, невидимое другим? Почему именно во Владимир, а не на Волынь, не ко князю Юрию Львовичу Волынскому, перебрался он со своим клиром?»

Весь этот разговор и думы свои, им порожденные, Иван уже не раз пересказывал больной жене, а она порою дивилась, а порою гордилась им — тем, что ее Иван так упорно думает о судьбах страны и народа и так мало — о своей собственной.

Озеро менялось, по нему пробегали тени, вода становилась синей или серой, как полированная сталь. Когда княгине становилось лучше, она гуляла по саду, плела венки из полевых цветов и тут же бросала их, не

доплетая. Когда шел дождь, ее уводили или уносили в хоромы. Там она лежала, томясь, и ждала, когда снова покажется солнце. Приезжала сестра Анна из Твери со своим князем Михаилом, с первенцем Дмитрием. Княгиня глядела на сына сестры, годовалого горластого малыша, и радовалась за сестру, за ее счастье. У второй сестры, у Василисы, что была замужем за князем Андреем, по слухам, жизнь не заладилась. Двое детей родились и умерли сразу после крестин, жил только старший, Борис. Василису хотелось тоже повидать, утешить, но та не приезжала. Верно, муж не пускал.

Подходила осень, начинали желтеть листья в саду. Осенью пришло известие, что сестра Василиса умерла четвертыми родами. Княгиня лежала и, смежив глаза, плакала. Представляла себе, как великий князь Андрей сидит сейчас, горбясь, над телом сестры или зверем бегает по покою, по-мужски неспособный примириться со смертью, ежели это не смерть в бою. Она уже не могла встать, не могла поехать на похороны, даже на поминальный пир. Позже узнали, что князь Андрей схоронил жену во Владимире, в соборе Княгинина монастыря, рядом с матерью. Значит, сильно жалел, сильно любил все-таки! И княгиня жалела великого князя Андрея, как ни жесток он был ко всем, и к ним тоже, и усопшую сестру, и мужа, Ивана, который скоро останется без нее...

Когда наступили холода, княгине стало еще хуже. Она уже лежала пластом, глядела на огонек лампады и изредка стонала, когда уже было невмоготу. Ее перевезли теперь в Переяславль, в терема. Было душно, и княгиня то и дело просила открыть оконце, впустить немного холодного, уже по-зимнему звонкого воздуха с подстывших полей и облетевших уснувших лесов. Когда она умерла, шел снег. Князь Иван только что воротился из Заозерья. Узнав, что княгиня опочила без него, страшно зарыдал и повалился без памяти. Князя едва привели в чувство. Он не мог ни стоять, ни сидеть. Всю обрядню делали без него. В церковь Иван велел свести себя под руки и, целуя покойницу, опять едва не упал в обморок.

Через день примчался посол из Ростова, от князя Константина Борисовича. Князь требовал воротить ему села, что пошли в приданое за умершей племянницей.

Иван, которому пришлось принять и выслушать

посла в думной палате, был скорее похож на мертвеца, чем на живого человека. Бледный до синевы, с почти безумным взглядом огромных глаз, он молча выслушал требования ростовского князя и, неверным движением руки удалив посла, встал, дрожа, в своем зелено-черном облачении, обвел взглядом лица бояр и дружины и — рухнул на руки подбежавших «детских».

ГЛАВА 117

Федор, распорядясь, чтобы князя отнесли в спальный покой, сам вышел к ожидавшему послу и, смиряя ярость голоса, произнес:

— Скажи своему господину, что никаких сел он не получит! Что так велел передать князь! И еще скажи, что только тать зарится на чужое добро! А ростовскому великому князю это невместно!

Посол, побледнев и не сказав слова, поворотился и вышел. Скоро ростовчане в тяжелом молчании садились на коней.

Терентий, что вышел вслед за Федором и услышал, что тот сказал (но было уже поздно вмешаться), по уходе посла накинулся на Федора с кулаками:

— Ты! Как смел! Без князя, безо всех!

— Убери руки, боярин,— мрачно ответил Федор.— И вот что. Надо собирать полки, распорядись! И думу созвать надоть. Пока князь лежит, не захватили бы нас той поры!

Дума собралась к вечеру. Терентий Мишинич, опомнясь, взял все на себя. Тотчас разослали гонцов подымать рать.

Терентий после совета созвал Федора. (Федор в этот день распоряжался сторожей, был неподалеку на стене и тотчас явился к боярину.)

— Заварил ты кашу,— сказал Терентий озабоченно, но уже без злобы.— Помогай расхлебывать! Как думашь становить рати?

Федор, поняв, что боярину нужно дело, ответил то, о чем уже помыслил про себя:

— Они на Итларь пойдут, а оттоль по Нерли, боле некак! А нам надо послать дружину на Брынчаги и оттоле по Саре ударить им в хвост, да обозы отнять. Чем больши рать пошлют, тем им и хуже без подвозу-то, разве в зажитье отправят кого, дак опять перенять мочно!

Терентий долго молчал, прикидывал, думал. Наконец поднял веселые глаза:

— Ну что ж... Смотри только! Тебя и пошлю!

Федор слегка улыбнулся в ответ, про себя похвалил боярина: иной бы ради давешней обиды и в очи не принял...

— Еще прикажи, боярин, снедный припас выдать с княжого двора.

Федор почти не спал, проверял у каждого из полутораста ратников: хорошо ли подкован конь, сбрую, оружие, сапоги. Выехали в сумерках. Снегу еще было чуть, и Федор надеялся провести дружину там, где в иную пору не пролезть. Он и обоза не взял с собою никакого. От Купани свернули на Хмельники. Федор вел своих не останавливаясь, и стали на привал уже на Сольбе. Отсюда до Сары тянулись сплошные леса без дорог. Мужик, из местных, повел по затесам.

Стреноженные кони хрупали ячменем. Ратники грелись у костров. Лес, промороженный и пустой, стоял, потрескивая от холода. Дрожь пробирала насквозь, казалось, до зари и не выдержать. Кое-как дождались света. Снова шли, пробираясь целиной. Уже на Саре Федор узнал, что он обогнал врага. Пришлось опять укрыться в лесу, наделать шалашей и ждать, выслав сторожу, подхода ростовчан.

Вечером он подсел к огню, слушая разговоры ратных. Больше толковали про свои дела, урожай. Жалели княгиню. В голосах мужиков сквозила неуверенность. Это было плохо. Люди должны верить в удачу. Но как поправить дело, Федор не знал. Он догадывался, что за большим боярином люди чувствовали бы себя увереннней, чем с ним. Слишком близок, слишком свой. Полежав,— сон не шел,— он вылез из шалаша. Шерсть на конях заиндевела. Он распутал коня, подтянул подпругу (седел с лошадей не снимали) и поехал по седому стылому лесу проверять сторожу.

Ростовская рать показалась ополдень. Федор, укрывшись в ельнике, выглядывал, считая полки. Он не был уверен, что про них не узнала ростовская сторожа, и потому велел своим свернуть и переменить стан. Ростовчан было много. Он устал считать, пока они проходили. Всего набиралось тысячи три с половиною, а то и все четыре тысячи ратных, с заводными — до десяти тысяч коней.

Обоз, как он и ожидал, надеясь на плохую дорогу, отстал от рати. Первые возы показались уже в сумерках. Федор подъехал к своим продрогшим до костей воинам, оглядел сизые от холода лица, усмехнулся:

— Ты, Мишук, станешь со своими впереди, на дороге. Пропустишь кого — голову сыму. Кто бы ни был — руби! Гавря поведет своих в хвост. Остальные за мной. Заводных коней оставить всем. Ворон не ловить!

Он приподнял голос и почуял: тронуло. Подобрались.

Глухо затопотали копыта, затрещали ветви. У крайних елочек Федор еще раз оглянулся, оскалил зубы и, вырывая саблю, прокричал:

— С Богом! Руби!

Кони вынеслись, взметая снежную пыль. Откуда-то из морозного воздуха возник и повис в воздухе крик:

— А-а-а-а-а!

Впереди, уже размытые сумраком, шарахались в оглоблях и вставали на дыбы кони, горохом сыпались с возов обозные. Кто хватал копье, кто плашью кидался в сугроб. С обозными расправились быстро: обезоружили, перевязали. Рубя постромки, вели коней, опрокидывали и потрошили возы. Жалко было поджигать добро, выливать на снег бочки с пивом, портить хлеб, кидать в костер связки рыбы и окорока. И ратники, и сам Федор аж стонали, уничтожая припас. Заводных и захваченных коней нагрузили добром как могли, но много ли войдет в торока! Да и надо было спешить. Чтобы не попасть в лапы неприятеля, Федор сразу отсылал навьюченных лошадей с коноводами назад. Но уже прискакал сторожевой с криком, что показались ростовчане. Тут кто-то придумал пробить прорубь, и последние возы, завозя на реку, просто стали спихивать целиком в воду, под лед.

Федор, велев кончать быстрее, повел половину дружины встречу ростовской рати и в полной уже тьме суматошно и безоглядно ударил в лоб, крича как можно громче и веля наступать несуществующим сотням дружинников. К счастью, враг вспятился, оставя поле боя за Федором, у которого оказалось зарублено всего трое ратных да двоих тяжелых отправили назад на захваченных санях. Он мог теперь и отойти, но решил, раз уже повезло, попробовать остановить всю ростовскую рать. До утра его ратники скакали, орали, свистели, «окружая» ростовчан. Уже всем передалась бесшабашная

удаль, что охватила и несла Федора, а потому приказывать было легко, его понимали с полуслова. Сам Федор трижды врубался в сечу, ему помяли шелом и отрубили ухо коню, зато к утру ростовская рать, потеряв обоз, стояла, обрывшись и устроив засеки, а Федор уводил своих смертельно усталых людей на загнанных конях в лес, туда, где ждали его воинство две бочки захваченного пива, копченое мясо и заводные лошади. Трупы одиннадцати своих зарубленных ратников (еще двоих так и не разыскали, может — попали в полон), завернув в попоны и приторочив к седлам, увозили с собой, чтобы похоронить дома. Мужики были веселы, засыпающего в седле Федора хвалили в очи и позаочью. С собой уводили полон — с кого надеялись получить выкуп. Захватили даже двоих ростовских бояр. Запоздалая ростовская погоня не настигла переяславцев.

Воротясь, Федор узнал, что сам владимирский владыка Симеон прискакал смирять рассорившихся князей и сейчас был в стане Константина Борисовича, так что Федоров отряд почти что выиграл войну.

Оправившийся Иван Дмитрич уже стоял наготове, с собранной ратью, и ростовский князь уступил. Спор, по совету епископа, порешили передать на совет старших князей-братьев и великого князя владимирского Андрея.

ГЛАВА 118

Снова по зимним дорогам земли скакали гонцы. В Тверь, Москву, Ростов, Ярославль, Городец, Стародуб, Суздаль, Новгород...

Смерть Василисы несколько надломила Андрея. Он вдруг понял, что и его силы не безграничны. Упорный гнев, которым жил он все долгие годы борьбы с Дмитрием, сейчас, не находя себе должной пищи, как-то сгас, раздробился до мелкого раздражения. Он не был доволен бездарным походом князя Константина, но, быть может, еще год назад захотел бы отплатить Ивану. Но сейчас, когда только что умерла жена, оставив ему пятилетнего бледненького малыша, с которым Андрей, не выучившийся смолоду быть отцом, не знал, что ему делать, городецкому князю было не до того. Андрей с болью чувствовал вместе с тем, что этот малыш с серьезным личиком («А мама скоро при-

дет?» — спросил он Андрея через день после похорон) — единственное родное для него существо, его кровь, единственное, может быть, что оставит он после себя на земле.

Кроме того, Новгород требовательно звал великого князя с полками. Свеи захватили устье Невы, грозя отрезать город от моря. Было не до войны с Иваном, и Андрей согласился на уговоры епископа, согласился и на то, чего потребовал от него главным образом тверской князь: чтобы княжеский снем был теперь не во Владимире, а в Дмитрове, где князья-братья будут все в равном положении и в равных силах, а не на милости великого князя и не под угрозой ростовского. И на это согласился Андрей в своем высоком тереме над Волгой, над белою, уходящей в далекие ордынские степи дорогой. Они, конечно, переспорят, перетянут на свою сторону и все оставят так, как было... Ну, что ж! Все-таки у него есть сын, есть для кого жить, и надеяться, и терпеть. Сына он посадит на Костроме. Пусть Давыд Явидович с Жеребцом будут у него в воеводах! Сыну достанется большой удел: Городец, Кострома, Нижний и Великий Новгород в придачу. Даст Бог, когда-нибудь ему достанется и Переяславль. Отдавать отцов град Константину Ростовскому или Михаилу Тверскому незачем... А там — кто знает? Быть может, сын доделает то, чего не удастся отцу, и будет Великая Русь, со своим кесарем на престоле, будут византийские мраморные терема, и будут ордынцы ходить под его рукой, а не он под рукою ордынского хана!

Он прошел на женскую половину. Поднял на руки бледненького строгого малыша. Подержал на вытянутых руках.

— Поедешь в Кострому! — сказал он мальчику.— Будешь там княжить. Пошлю добрых воевод с тобой!

— А мама ко мне приедет? — спросил сын.

— Тебя будут любить...— ответил Андрей и отворотил лицо.

ГЛАВА 119

Княжеский снем в Дмитрове собрался в марте, в самом начале нового, 1301 года. (По мартовскому счету, март — первый месяц в году.)

Снова по всем дорогам замелькали расписные, обитые кожей и окованные серебром возки, дорогие кони под узорными седлами, красные сукна, золото, серебро и восточная бирюза на сбруях лошадей, собольи и бобровые опашни князей и воевод. Дмитровцы пуще владимирцев толпились на улицах, узнавали князей, разглядывали сбрую и упряжь, дивились коням. Бабы завистливо провожали глазами иноземную красоту одежд: вот бы кусочек такого на оплечья к сарафану!

Князья собрались на сенях княжеских хором, сидели в шубах, в шапках. От дыхания струился парок, в палате было настужено. Дмитровский князь велел принести жаровни с углями, согревались также сыченым медом и горячим сбитнем.

Вот они сидят, и в сердцах их нет братней любви друг к другу. Андрей желчно озирает упрямых подручников, седые завитки усов вздрагивают, крупные руки с трудом удерживаются, чтобы не сжаться в кулаки. Михаил выглядит, как князья на иконах: прямоплечий, с отросшей, чуть кудрявою темной бородой и уже слегка обозначившимися будущими крутыми взлысинами надо лбом. Тридцатилетний красавец — и «не бысть единого порока в нем», как сказал бы древний книжник,— устремляет на собеседников властный взгляд своих широко расставленных глаз. Константин Борисыч, насупленный, обозленный неудачей, недоверчиво озирает князей-братьев: помогут ли? Он худ, морщинист, хоть и крепок еще (не взял бы иначе молодую жену!). Его узкие, с длинными пальцами, красивые руки беспокойно подрагивают, выдавая волнение. Данила сидит откинувшись, выставив вперед нос и бороду, руки на трости. Раньше без трости ходил. Он сильно потолстел, лицо немного одрябло и в крупных морщинах. На вид он сейчас не младше Константина Ростовского, но глаза поблескивают еще молодо, и хитринка то появляется, то прячется в них, когда Данил переводит взгляд с Константина Ростовского на Андрея или Ивана.

Иван бледнее обычного, он все еще болен. Он старается сидеть прямо, хотя это ему и тяжело. У него порою обиженно вздрагивают губы, и тогда кажется, что он еще совсем юноша, младше Михайлы Тверского. В глазах у него вопрошание и затаенная боль.

Данил слегка подмигивает ему. От дяди к племяннику перескакивает какая-то искорка, и Иван немного

расслабляется, вольнее располагаясь на лавке. По крайней мере, дядя Данил должен ему помочь!

Суздальский князь, Михаил Андреевич, очень похожий на отца, покойного Андрея Ярославича, брата Невского, внимательно и недобро разглядывает прочих братьев-князей. У него свой счет: за многократные погромы Суздаля, за отобранный у отца Нижний, который он твердо намерен вернуть, ежели только великий князь Андрей, двоюродный брат, споткнется. Он уже и тверскому князю обиняком обещал свою поддержку, ежели что... И тоже в обмен на Нижний. Он и с Данилой Московским пытался говорить. Приглашен и Михаил Глебович Белозерский, поскольку интересы ростовских князей касаются и его. Приглашены старики — юрьевский и стародубский князья. Эти — по роду, по дедам-прадедам. Тоже Великого Всеволода ветвь. Хоть ни силы, ни власти у них уже нет, и оба понимают это, и оба смирились.

Хозяин, Василий Константинович, занят больше слугами и питьем. Ему уже и та честь, что собрались у него во граде. Решать тут, в этом совете, будут четверо: великий князь Андрей, созвавший всех, чтобы «раз и навсегда» урядить о княжениях (надолго ли хватит этого «навсегда», не знает никто — на год бы хватило, и то добро!), Константин Ростовский и Михайло Тверской с Данилом. И все четверо — вокруг Ивана, вокруг удела Переяславского, почти уже выморочного, срединного, главного удела великого князя Александра.

Удел этот примыкает к Ростовскому княжению, и Константин требует сел спорного пограничья. Но удел когда-то был частью общего удела Ярослава Всеволодича, разделившего свою землю меж Ярославом и Александром. И сын Ярослава, Михаил, хочет вновь соединить эти княжества под властью Твери. Однако выморочные (оставшиеся без князя) земли отходят в волость великого княжения. К тому же Андрей Городецкий старший в роде своем. У него двойное право на Переяславль, ежели княжеский стол в Переяславле опустеет. Однако, по лествичному праву, следующий за Андреем должен сесть на великокняжеский стол Данил, и, ежели на то пошло, пущай Переяславль оставят в покое! Кто будет великим князем, тому и владеть.

И все они, кроме, быть может, Данилы, забывают,

что Иван-то не умер, что вот он, сидит за столом, со своим взором праведника, и его рать только что отбила нападение ростовского князя, да и как, с соромом, перехватив обоз!

— Я не умер еще! — хочется крикнуть Ивану. («Как воронье на падаль, как воронье на падаль!» — повторяет он про себя.) И как мал, как узок мир! Вот из них должен будет выбрать он наследника себе и господина земле своей (все равно когда-то должен будет, рано или поздно это произойдет!). Вот из них... И думать надо не о них, не о себе, а о земле, о народе. О, как это трудно, когда перед тобой — они! Дядя Андрей, что не пожалел родного гнезда, выдал град Федору Чермному, который и сжег его в дикой бессмысленной злобе... Или Константин, дядя жены, у гроба покойной уже потребовавший раздела...

У каждого из сидящих здесь есть и иные заботы. Белозерский князь должен урядить с ростовским, ростовский — с Михайлой Тверским. Михаил хочет воротить все, забранное у него прежде, да и мать, Ксенья, не дает сыну забыть о потерях. Тверь сильна, а ее сын, считает Ксенья Юрьевна, должен стать первым среди прочих. Даниле Московскому нужно, чтобы Андрей не лез в его дела. Поход на рязанского князя задуман давно, но Данил осторожен — без Андреева, пусть молчаливого, согласия начинать войны с Рязанью он не хочет.

Князья спорят уже три дня от темна до темна, ссорятся и мирятся. Но Андрея ждет Новгород, и, в конце концов, этот Иван, «монах», оказывается слишком упрям. Ничего, придется подождать. Быть может, дело вернее решится в Орде! И Андрей решает уступить, не вырывать у Ивана непременного решения судьбы своего удела. У царя ордынского решить можно вернее... И без Михайлы Тверского к тому ж!

Константин Борисович уступил, выторговав себе у Ивана два села и отказавшись от прочих. Данил добивается от брата Андрея обещанья, что в дела его с рязанским соседом, как бы они ни поворотились, никому лезть «не надобе». Михаилу ростовский князь уступает, но тоже не все прошенное, и они замиряются на время. С Иваном Михаил Тверской уряжается о деревнях под Кснятином, но хитрого договора, который предлагает ему Михаил и по которому, в случае

смерти Ивана, тверской князь может рассчитывать на Переяславский удел, Иван не подписывает. Князь Иван не хочет здесь решать ничего, что будет после его смерти. Не за тем он прибыл сюда!

В конце концов только они и остаются без уряженья, недавние соратники, Михайло Тверской и князь Иван. И Андрей Городецкий и ростовский князь втайне довольны ссорою вчерашних союзников, и довольство это смягчает им те обидные для самолюбия и княжеской чести статьи договоров, по которым им пришлось уступить.

Князья пируют с боярами и дружиной, князья разъезжаются по своим городам. Андрей — прямиком в Новгород, где он восемнадцатого мая уже подступит к Ландскроне со своими и новгородскими полками и сокрушит, обратив в прах, этот «венец земли» с воеводою Стенем и гордою свейскою ратью. Михаил воротится в Тверь, где Анна родит ему второго сына, Александра. Ростовский князь поедет дальше ссориться с соседями и кумиться с Ордой, а Данил Московский начнет исподволь собирать рати, чтобы осенью, сняв урожай, пойти походом на Рязань.

Иван же Дмитрич выходит на крыльцо и окликает Федора, что мерзнет на страже вместе со своими переяславскими ратниками.

— Лиски и Боровое пришлось отдать! — устало говорит князь Иван.

— И того не стоило! — ворчливо отвечает Федор. В общем доволен и он, что все прочее обошлось. По ступеням спускается боярин Терентий и тоже кивает Федору:

— Своди своих на поварню, там горячий сбитень для вас сготовили! — говорит он, и ратники обрадованно сбиваются в кучу. Все намерзлись, истомились — сил нет!

— Такое бы решать с митрополитом нать! — говорит Терентий князю. Иван кивает, потом взглядывает на боярина. Митрополит Максим уехал в Царьград, на церковный собор. Может быть, и на то надеялись Константин с Андреем, что без митрополита им будет легче настоять на своем? Кто знает! Братьев-князей не вдруг поймешь!

ГЛАВА 120

Кони бегут домой. Хорошие кони, бегут ровною легкой рысью. На бегу изредка вздымают хвосты и, почти не прерывая ровного бега, роняют на дорогу горячие комья, обдавая добрым духом свежего навоза. Возок виляет, мягко раскатываясь на спусках, и колышется на выбоинах пути.

Князь Иван в полудреме. Он смертно устал за эти дни, отнятые у тишины, у покоя, у мыслей, у воспоминаний о ней, покойнице. Теперь ему снова жить, и снова думать, и мучать себя, и решать, и весить опять и вновь судьбы земли, меж тем как ниточка его собственной жизни уже стала такой невесомо-тонкой, что кажется, ничего не стоит уже и оборвать ее, окончить и тихонько уйти...

Федор скачет впереди возка, щурясь от летящего снега, жалея, что не смог навестить сына: как-то он там, на Москве?

И в снежной пыли, в сумерках короткого зимнего дня над ними незримо проходит видение:

Уже весна. Зеленеют незнакомые мягкие склоны гор, поросшие хвойными и буковыми лесами. Толпы народа у подножья Карпат встречают иной поезд — митрополита Максима, который едет через Волынь на Константинопольский собор. Тут мягкий воздух и богатая земля, тут растет пшеница, цветут сады и зреет виноград. Тут веселые, прямые и хлебосольные люди. Тут наследье великого князя Данила Романовича Галицкого и брата его Василька. Здесь правит князь, женатый на сестре Михаила Тверского. Здесь сохранена культура Золотой Киевской Руси. Здесь каменные города и летописец не хочет признавать еще ордынского плена Руси. Здесь крепка православная вера и близки страны Запада. Дороги отсюда в иные земли и страны легки. Почему же не здесь, а там, в суздальских лесах да на просторе владимирского ополья, почему же там, а не здесь чуется будущее русской земли? Митрополит Максим не думает и не видит того, что видел покойный Кирилл. Для него, грека, в северных лесах не теплится свет. Он хотел было сидеть в Киеве, на всей митрополии русской, он побывал у Ногая в Орде, но обрушился Ногай, изменило текучее степное море, и вот он перебрался во Владимир-на-Клязьме, где как будто крепкая власть и где видится прочный союз с опасною для

Царьграда Ордой. Но и там не увидел он прочности. (Увы, нет ее и в родной Византии!) Братья смертно бьются за власть, дымом истаивают города, смерды творят требы и жертвы приносят языческим богам. Что принесет он с собою, в душе своей, на собор иерархов? Укрепится ли свет веры в этих бесконечных пространствах, уходящих в дикие лесные пустыни?

На пути к митрополиту являются многие — принести дары, благословиться, просто прикоснуться к одежде, услышать, взглянуть на духовного главу Руси. Князья и бояре считают честью принять и проводить митрополита. Среди прочих является к нему на Волыни скромный, но славный праведною жизнью игумен Ратского монастыря, монах и художник, с длинными, нервными пальцами умных рук, и подносит икону, писанную им самим: лик Богоматери, столь тонко и с такою верою исполненный, что Максим, зная, что делатель виден в делах своих, долго глядит на подаренный ему лик, долго беседует с дарителем и все не может понять, кого напоминают ему эти пытливые очи, это бледное, слегка неземное молодое лицо в темно-русой легчайшей бороде, кого и где? И наконец Максим вспоминает и дивуется, до чего ратский игумен Петр похож на того князя Суздальской земли, Ивана, сына Дмитриева, что приходил к нему беседовать о вере и власти и разговор с которым был так труден для митрополита, ибо не простою мыслию,— подчас лукавой и двоедушной,— а мыслию, соединенною с верой, были пронизаны слова и вопрошания молодого переяславского князя. А перед верой бессильны ухищрения ума, и многое знание, и премудрость книжная — ибо без веры, без духа Божия, несть спасения, а с верою и мудрость, и добро, и жизнь вечная, с верою — всё.

Видение незримо ширится и тает, исчезая в снежной пыли, в сиреневых сумерках, в тишине настороженно ожидающего весны бора. Княжеский поезд скачет домой, в Переяславль.

ГЛАВА 121

Житницы полны хлеба. Амбары и погреба ломятся от снедного изобилия. В медовушах разливанное море медов и заморских вин. В бертьяницах меха и кожи, скора, лопоть, лен, иноземные бархаты и шелка. В лар-

цах, сундуках и скрынях золото и серебро, чаши и братины, дорогие пояса и цепи, жемчуг и гривны новгородского серебра. В оружейных палатах брони и панцири, куяки и колонтари, сабли, шеломы, щиты, мечи, топоры, клевцы и рогатины, связки копий и мешки стрел, луки, колчаны, седла, попоны и сбруя, запасные подковы, гвозди... Все есть, и всего много. И дружина, кованая рать, в бронях и легкая конница, и пешцев можно набрать, села полны народом. И бояр прибавилось на княжом дворе, хоромы больших бояр заполнили весь угол Кремника.

И бояре и дружина требуют вести их в поход. И купеческая старшина требует отобрать Коломну и поставить там свой мытный двор, посадить своих тиунов и вирников. И так уж в Коломне что ни купец, то и москвич, а сборы торговые уходят посторонь. А нынче и совсем худо стало, как рязанский князь на лодейное и весчее руку наложил. И не вытерпеть, и нельзя, чтобы богатства и обилие утекало в пограничьях на чужих мытных дворах тому же хоть рязанскому князю. Почему тот, кто лучше хозяйничает на земле, должен платить тому, кто только берет, не делая ничего самолично.

Но сам же Данил говорил всегда: «каждый да сидит в уделе своем», и на старости лет... Хоть он, конечно, тоже Ярославич, а Ярославичи все любили воевать. Но накопленные воинскую силу и оружие нельзя сохранить, не бившись. Мельник должен молоть, воин — воевать. Иначе — к чему он? Дружина, гости торговые, бояре — все хотят, все толкают его в поход. И время способное, пока Константин в ссоре с племянниками. И татарская рать у Константина, слышно, из ногаевых татар набрана, за них авось царь ордынский не вступится. И... к чему скрывать! Сам Данил хочет, давно хочет, ох, как хочет получить Коломну!

С боярами из Рязани, что приезжали отай, сговорено. Протасий поведет ратных. Родиона, пришлого, Данил отдал ему под начало. На думе князь, сердито и тяжело дыша, задирая бороду, требовал приготовить все как нать. «Сраму бы не было! Как под Кашином! Рязанские кмети обыкли воевать!» — вновь и вновь повторял он. Воеводы радовались. Данил Лексаныч сердит, значит, решил.

Убран хлеб. Бабы копают огороды. Тонкий запах осени, запах вянущих трав, провожает московскую рать.

Данил в шлеме и панцире пропускает полки, что на рысях выходят по Коломенской дороге. От пристаней отчаливают лодьи с пешей ратью. Протасий, тоже в кольчуге и шлеме — сивые волосы выбиваются из-под шелома, лицо потное: жарко! — едет от причалов в гору. Останавливается рядом с Данилом, расстегнув ремешок, снимает шелом, ветерок треплет его волосы, отдувает бороду. Ратники идут походным строем, брони и оружие в тороках, копья приторочены к седлам, у каждого заводной конь. Тысячи лошадей — рыжих, красных и серых, гнедых, соловых, игреневых, карих и вороных, караковых, пегих, буланых, редрых, каурых, сивых, чалых, мышастых, саврасых и бурых — хорошо кормленных, с круглыми, словно налитыми спинами. Густой конский дух перекрывает все прочие запахи, и в его волне проходит, и проходит, и проходит конная московская рать.

Рядом с князем на отборных выстоявшихся лошадях четверо сыновей. Рыжий веселый Юрий, он тоже без шелома, в одной кольчуге с короткими рукавами сверх малинового зипуна. Рядом высокий Александр, в броне с зерцалом и граненом шеломе, гордится оружием — не диво в восемнадцать-то лет! За ним Борис, щурится на проходящую рать. Он без шелома и брони, в одном кожаном кояре с перевязью. На перевязи дорогая ордынская сабля, подарок отца. Борис то и дело слегка трогает рукоять ладонью: позволит ли ему батюшка обновить саблю в бою? И страшно, и по-мальчишечьи сладко испытать «это», почуять себя героем, «храбром», скакать и рубить в настоящем сражении! Только тринадцатилетний Иван не жаждет в бой. Он внимательно следит за проходящим войском, иногда взглядывает на отца, седого, в сверкающих доспехах, непривычно грозного, на его горбатый нос, на его выпростанную наружу бороду, на его утонувшие под шеломом строгие «повелительные» глаза, на княжеский шестопер, что подвешен у батюшки на кожаном паворзне через руку. Все непривычно, все грозно, и батюшка непривычен, и сколько же собрано коней! Ему очень хочется поднять на руки крестника Елевферия, посадить перед собой на седло и показывать ему проходящую рать, или младшего братца Афанасия,— но нельзя. И тот и другой дома. Даже матушка смотрит сейчас издали, со смотрильной башенки Кремника.

Рать проходит. Разъезжаются воеводы. Данил с кня-

жичем Иваном спускается к пристани, где его ждет лодья. Старшие сыновья отправлены с Протасием в конном строю.

Полки миновали Коломну без боя. Город, в котором почти не было рязанской сторожи и множество жителей — москвичи, сам открыл Даниле ворота. Князь Константин с собранным войском, слышно, стоял на полчище под Рязанью. У Коломны переправились через Оку. Высадили пешую рать, перетащили обозы. Погода скоро переменилась, задул холодный ветер, мигом сорвал желтую листву с дерев, начал сечь холодным мелким дождем. От Коломны до Рязани тащились четыре дня. Мокрые до нитки разъезды возвращались и уходили назад, в дождь. К счастью, к вечеру третьего дня разведрило, мокрядь сменило холодом. Ветер сушил дорогу, и продрогшая, отсыревшая до костей пешая рать пошла резвей. Сбросили стертые лапти, повязали новые. Уже по сторонам запоказывались татарские и рязанские разъезды князя Константина. Конная московская сторожа перестреливалась с ними без особого толку.

Рать Константина встретили уже за Вожей, под самим Переяславлем-Рязанским. С вечера стали станом, обрылись, утром начали уряжать полки.

Рязанские бояре обещали захватить князя Константина во время бегства, но в бегство его обратить должны были московские воеводы.

Княжичи, под дождем и в грязи растерявшие молодой задор, жались к отцу. Перед боем они от волнения почти не спали (кроме Юрия, тот был как рыба в воде), и потому ни один не обиделся, когда Данил, уже в шишаке и броне, оборотясь с коня, приказал:

— Эй! Миныч, поберегай мальчишек! Сунутся без пути — пропадут! А ты, Юрко, вали к Протасию. Да смотри, ежели что — голову оторву!

Сказал — и больше не смотрел на детей, целиком занятый начинающимся боем.

Уже от криков ратей плотно густел воздух. Юрий поскакал, подпрыгивая на седле, вслед за двумя дружинниками на правое крыло, к воеводе Протасию. Московская пешая рать, чавкая лаптями, пошла вперед. Далеко слева рязанские пешцы, посверкивая оружием, неровными рядами переходили лощину. Им навстречу вынеслась на рысях волынская кованая дружина Родиона Нестеровича. Справа конный полк Протасия тоже

медленно подвигался вперед, а перед ним, в видимом беспорядке, отходили, отстреливаясь, негустые кучки конных рязанцев.

Данил стоял чуть впереди воевод, озирая бой. За ним тяжело хлопало на ветру развернутое московское знамя. Запасная конная дружина стояла в шеломах и бронях с поднятыми копьями. Ратники, вытягивая шеи, вглядывались в поле боя. Кони настороженно поводили ушами, поматывали мордами, дергали повода, переминались, подымая то одно, то другое копыто. По небу шли серою чередою рваные рыхлые облака с ослепительными холодными пробелами, иногда приоткрывался кусок бледной осенней голубизны, по которому, точно дым, летели легкие лиловые клочья, и снова все заволакивалось серо-синею клубящейся пеленой.

Далеко впереди, на холме, тоже стояли, щетинясь копьями, тесные ряды конной рати и полоскался по ветру рязанский стяг. Там иногда что-то посверкивало. Верно, блестели харалужные брони князя Константина и его воевод, их корзна и дорогие попоны лошадей.

Вдруг из-за горы, справа, начала выливаться и пошла все быстрей и быстрей, густою лавой, растекаясь двумя рогами, в обхват полка Протасия, татарская конница. Московские пешцы, уже далеко ушедшие вперед, словно споткнулись, затоптались на месте. Данил, поворотясь (и княжичи увидели, как изменилось и стало гневным его лицо), протягивая шестопер, закричал что-то, и тотчас двинулся один из стоявших сзади конных полков и на рысях пошел вперед, в обгон пешцев. Данил, сдерживая коня, шагом двинулся вперед, и за ним поплыло княжеское знамя, и шагом, с глухим дробным топотом, удерживая поводьями храпящих коней, тронулся весь полк.

Там, впереди, татары уже сшиблись с Протасием. Пеший полк, вместо того чтобы идти вперед, совсем стал, а обходившая его только что посланная конная дружина еще не доскакала до места. В это время с горы, оттуда, где стояло знамя рязанского князя, стремительно излились плотные ряды конной рати и, расскакиваясь на ходу, наметом пошли на москвичей. Пешая рать дрогнула. Данил, ругнувшись, двинул второй полк, а сам, привстав на стременах, следил, что происходит впереди. Вдруг, оборотя гневное лицо к воеводе, он крикнул:

— Пожди тута!

И поскакал сам вперед, туда, где уже бежали встречу ему пешие ратники.

— Батюшка! — крикнул Александр, рванувшись следом, но дружинник грубо схватил под уздцы коня княжича:

— Не балуй!

За отцом поскакало всего полтора десятка ратников, его «детские». С падающими сердцами следили сыновья, как отец далеко впереди подскакивает к первым бегущим, замахивается шестопером, что-то кричит, а его «детские», растянувшись по полю, с саблями наголо гонят назад бегущих.

— Повернет! Нет... Повернет! — шептал в забытьи Борис. Александр, бледный, смотрел, сжав зубы, слезы катились у него по лицу. Иван с тревогою смотрел на воеводу, что тоже безотрывно следил за князем. Но вот пешцы повернули и нестройною толпой побежали назад. Князь гнал их, размахивая шестопером и (не слышно отсюда) страшно матерясь, и уже, обскакав поворотивших мужиков, врезался в пешую рать, где: «Князь! Князь!» И уже, с поднявшимся ликующим криком, рать поворотила и пошла, быстрей пошла, еще быстрей и уже бегом, с ртами, разорванными в реве, опрокидывая рязанскую конную дружину, и уже те заворачивали коней, устремляясь в бег.

Юрий чудом не погиб под копытами татарской конницы. Он только что подскакал к полку, когда татары во главе с рязанскими воеводами начали появляться из-за холма и с визгом скатываться вниз, прямо на московский полк. Протасию, который в сплошном крике, ржании, гуле и топоте тысяч коней, срывая голос, поворачивал полк, развертывая его лицом к татарам, было не до Юрия. Пригнувшись,— в воздухе над ним со зловещим пением прошли татарские стрелы,— княжич вытащил лук и стал стрелять, почти не целясь, в катящуюся все ближе и ближе лавину татарской конницы, быстро опоражнивая колчан. Конь плясал под ним, и вряд ли хоть одна из стрел Юрия достигла цели. Татары были совсем близко,— он уже различал оскаленные скуластые лица, и тогда, убрав лук, он вытащил было саблю и только тут, невольно оглянувшись, увидел, что остался один, далеко от полка. Юрий припустил к своим, за ним уже гнались, сматывая на руку арканы, двое татар, по платью и оружию признавших дорогого пленника. Юрий скакал, остро переживая

страх и радость сечи, и, не доскакав до своих, снова повернул, усмотрев зарвавшегося татарина, и обнажил клинок, и кинулся, но чей-то конь, налетев на него грудью, выбил Юрия из седла, и дальше он плохо понял, что произошло. Вокруг оказались московские ратники, и знакомый старик дружинник, за шиворот подняв Юрия («Жив? Жив!»), кинул его в седло и поволок подальше от сечи. И Юрий, переживший и радость, и страх, и панический ужас смерти, сейчас плакал от стыда и унижения. Ратник держал за повод его коня, меж тем как перестроенный полк уже катился мимо и вокруг них, встречу татарам, и клинки, как редкие зыбкие колосья, колыхались над головами скачущих ратников.

Обтекающий клин татар был смят посланным на помочь полком, и Протасий густым тараном кольчужной конницы прошиб татарскую лаву насквозь. Легкие татарские всадники заворачивали коней, огрызаясь стрелами, уходили, а московский полк, озверев от победы, катился, почти не отставая, следом за ними, рубил и топтал непроворых, и уже докатывался до вершины холма.

Данил, видя, что пешцы пошли в дело и уже теснят врага, остановился и утер пот. Понял, что давеча струхнул маленько. Слева, рассыпаясь по склону, бежала рязанская пешая рать, а волынская дружина Родиона, рубя бегущих, косо подвигалась по подошве холма, отрезая рубившихся в середине, под холмом, рязанцев. И полк Протасия, справа, растянувшись вширь, гнал татар и уже взбирался на бугры, с которых давеча скатывались татары. Это была, кажется, победа.

Данил поднял шестопер и помахал им, призывая к наступлению. Полк, переходя в рысь, а с рыси на скок, пошел вперед, и Данил, все утирая и утирая льющийся пот, стоял, пропуская полк мимо себя, и слушал, как тяжело у него в груди бьется сердце и кровь толчками ударяет в виски. Потом шагом поехал вслед за полком.

Княжичи, Борис с Александром, подскакали к отцу.

— Батюшка, победа?!

— Кабыть так,— отозвался Данил, с рассеянной легкой улыбкой озрев сыновей.

— А что, могли разбить нас? — спросил, не утерпевши, Борис.

— Да нет, куды! Мало у его рати... Маненько-то

заминка вышла. Пополошились, как увидали татар, ну да поправились... А татар-то, татар погнали! Ну, Протасий, храбор! — рассмеялся Данил, покачивая головой. Потом, кивнув на уходящий полк, бросил сыновьям: — Ну, скачите теперь!

— Можно?! — только выдохнули оба княжича и стрелами, опережая друг друга, понеслись по полю догонять полк. Охраняющие княжичей всадники, как пришитые, неслись следом, не отставая.

Князя Константина взяли, как и обещано было, его собственные бояре, ездившие перед тем в Москву. Их было двое. Князь растерянно смотрел, как катится мимо, сверкая клинками, московская конница, и еще не понимал, почему его коня держат под уздцы и что за ратники окружают его, отбивая от других. Когда понял и рванулся, было поздно. Князя обезоружили, взяли под руки, он рычал, плевался, стременами увечил бока коня, и тот вставал на дыбы и хрипел, затягивая аркан на своей шее. Но уже подскакивали москвичи, и Константин, яростно глядя на предателей, утих и дал повести своего коня в стан Данилы.

По всему полю вели пленных. Бой утихал. Пешая рать уже возвращалась в стан.

Данил принял рязанского князя в шатре, глядя на него с добродушным лукавством. Князь был высок, прям, с недоуменно возведенными кустистыми бровями и узкою, тронутою волнистым серебром бородой. Он все еще не понимал, как все это совершилось, и все еще не мог поверить, что — пленник Данилы Московского. Сперва Константин даже не хотел разговаривать, но к ночи помягчел и согласился поужинать вместе с Данилой, но и за едой брал мало, пил еще меньше и смотрел прямо перед собой все с тем же недоуменно-сердитым выражением лица и приподнятых, словно удивленных бровей.

Возвращались опять под проливным холодным дождем. Когда подошли к переправе, летела уже снежная крупа, и Ока шла темная, холодная даже на взгляд, так что, глядя на воду, дрожь пробирала.

В захваченной Коломне был оставлен полк с городовым воеводой. Данил был уверен, что уломает-таки князя Константина и заставит по договору отказаться от своих прав на город в пользу Москвы. Пленного князя, воротясь домой, поместили в особном покое, оставя ему несколько своих слуг и присланного из

Рязани священника. Охране Данил велел стеречь князя пуще глаз, но не утеснять ничем. Блюда ему посылались со стола Данилы, а зимой князю разрешили даже охотиться.

В Рязани остался сын Константина Романовича, Василий. С ним тоже велись пересылки. Но сын ссылался на отца, а князь Константин, проводивший дни за чтением греческих книг, сердито отвечал Даниле, что по миру Коломны ему не отдаст. Данил и бояр к нему посылал, и сам заходил, глядел с уважением, как князь неторопливо листает писанную греческим уставом книгу (хотелось спросить, что это такое, но — боялся уронить себя), вздыхал, вновь и вновь заводил разговор о Коломне, но Константин упрямо тряс головой, как будто не он был в плену у Данилы и не стояли уже в Коломенском детинце московские ратные люди, и не соглашался ни на какие уступки.

Между тем проходила зима. Заболел князь Иван, и снова неотвратимо возник вопрос о переяславском наследстве.

ГЛАВА 122

Князь Иван, воротясь с Дмитровского снема, занемог. У него ничего не болело, но силы таяли день ото дня. Он перебрался из города в Клещин-городок и остался тут на зиму. Князь почти никого не принимал. Читал. Думал. Было тихо. Только ветер пел свою песню. От печей, облицованных зелеными изразцами, шло приятное тепло. (Топка находилась с той стороны, за стеной, и дым не проникал в горницу князя.)

С раннего утра к нему заходили ключник, посельский или дворский с отчетами по хозяйству. Иван слушал, просматривал грамотки, вызывал Федора — посылал проверить. На дворе старосты божились, кланялись Федору, совали ему в руки «доброхотный принос». Спирались на мужиков. Федор сурово отводил руки.

— Князя грабить не дам! Мужики тебе все собрали, не лукавь. Остатнее завтра довезешь, а не то ратных пошлю. А будешь зорить кого — мало не будет!

Иван иногда изнемогал, беспомощно глядя на своего верного слугу, пытался отречься от хозяйственных забот, говорил:

— Прости им!

— Нельзя, князь,— возражал Федор.— Уважать тя перестанут. Кусок хлеба подари зазря — там и княжесьва не соберешь! Не сирые, не убогие, у кажного от добра лари ломятся, от скота тыны трещат. И мое слово порушишь, мне с има потом вовсе не совладать будет!

Затем Федор вводил очередного посельского или данщика, тот падал на колени, а князь, закусывая губу, чтобы не рассмеяться или не расплакаться, тихо говорил несколько непреклонных слов. Федор подымал просителя на ноги, иногда за шиворот, и уводил, наказывая по дороге:

— И боле князя нашего не тревожь! Он святой! А будешь лукавить — на твое место Никифора пошлю либо Васюка Лапу. Я те села знаю, богатые села-ти! Они и кормы соберут, и тебя обдерут!

И данщик сжимался и назавтра привозил положенное сполна.

Возвращаясь домой, Федор то и дело заставал у Фени то овцу, то несколько кур, гуся, корзину яиц, сыр, а то и связку белки. Сердито выговаривал, чтобы не брали впредь. Дома без сына было непривычно пусто. Федор смотрел, как Феня собирает на стол, придирался к чему-нибудь пустому, начинал грызть жену, ежели день на княжом дворе выдавался особенно тяжелый. Феня визгливо отругивалась. Потом звали Яшу-Ойнаса, Федор умолкал. Два мужика — управитель князя и холоп — молча, истово ели. После еды Федор добрел, а Феня долго еще продолжала дуться на него. Перед сном он обходил хозяйство. Кони стояли ухоженные, двор был чист — Яша не зря ел господский хлеб. По отгульным дням приходили гости. Феня с девкой пекли и стряпали тогда на полдеревни. Когда из Никитского монастыря отправляли обоз в Москву, Федор посылал когда полвоза, когда воз снеди брату, иногда порты, холст, новый зипун — для сына.

Федор понимал, что князь Иван кончается. И что будет с княжеством, с ними со всеми, с его службой, когда это произойдет, не представлял.

Иван, отдохнув от утренних тяжких дел, успокоившись, радовался воротившейся тишине. Брал книгу и уносился мыслью в далекие века и иные земли. Или просто лежал, думал. Выходил на гульбище, глядел на озеро, сидя в кресле покойной жены и, как она, закутавшись от ветра.

Знакомый вид, заозерные синие дали, далекий Переславль, монастыри, рыбачьи челны на мягко светящейся воде, легкая песня женок — во все теперь вплеталась тихая горечь расставания с этим миром. Ему хотелось не думать ни о чем, только читать и лежать, но думать надо было. Жизнь шла. Где-то двигались рати, трубили трубы. Дядя Данил осенью затеял поход на Рязань, пленил и привел к себе князя Константина Романовича. Дядя стал грузный, старый, а когда-то был худой, смешной, носатый подросток и прощался с ним, с мальчиком, у крыльца, уезжая княжить в Москву. А Михаила Тверского он тогда вовсе не знал, а теперь его опасается даже дядя Андрей, великий князь...

Умрет он, и, конечно, Андрей пошлет сюда тотчас своих бояр, воротится Окинф Великий, начнет судить и править от лица князя. Плохо же тогда придется Федору! А если оставить завещание? Завещания они не послушают! А все же?

Он не хотел оставлять Переяславль Андрею. Вопреки разуму, вопреки лествичному счету, вопреки всему. Не должен был Андрей губить его отца! Ежели право силы признавать за право вообще, тогда уже ничто — и никакая заповедь любви, никакое вежество, ни достоинство мужей нарочитых, ни добро, ни Бог, ни честь — не будет иметь цены! А как же тогда дядя Данил, любимый им паче прочих, решился напасть на Рязань? Там были давние споры из-за Коломны — и все-таки! А отец отобрал Волок у Новгорода, и дядя Андрей им его воротил. Только Михайло Тверской до сих пор не захватывал чужого. Быть может, он и есть лучший князь на Руси?

В конце концов он, Иван, не может и не должен решать просто по родству или по тому, что ему ближе дядя Данил, чем дядя Андрей. Он должен забыть про свое, личное, и думать о земле. Ведь не золотой пояс, не скрыню с добром должен он подарить, а княжество, людей и с ним вместе — будущее всей русской земли.

Да, всей! Потому что тот, кому будет принадлежать его город и весь Переславский удел, тот и станет... Ну, хоть сможет стать во главе земли и сделать то, чего не удалось его отцу: объединить Русь, а когда-нибудь даже и одолеть Орду. Да, он умирает, он слаб, для него мучительно тяжко даже поговорить с ключником, и ежели бы не верные ему отцовы бояре, что блюдут землю, да не верный Федор здесь, во дворце, что оберегает

его, елико мощно, от вседневных дел, он бы, верно, уже погиб, раздавленный тяжестью своей власти. Но от его решения, быть может, на века и века зависит судьба земли, родимой русской страны, Руси Великой, Золотой, или, как нынче стали петь старики гусляры, Святой Руси...

И, быть может, он должен переступить через себя и вручить княжение дяде Андрею. Андрей — великий князь. У него в руках половина Волги, Владимир, Великий Новгород. Получив Переяславль, он сумеет объединить страну. Пройдут века. Где-нибудь на Волге, в Городце, Костроме, Нижнем или в старом Владимире утвердится столица Руси. И он, Иван, и нелюбимый дядя Андрей равно уснут в земле. Будут новые князья, новые бояре. Возведут белокаменные терема над Волгою или Клязьмой, и Орда станет давать дань Руси, как это было при первых князьях... А с чего начнется все это величие? С его, Иванова, дара...

Но сумеет ли дядя Андрей сделать то, чего не удалось покойному батюшке? Кому он, в свой черед, передаст княжение? Сыну? Сын мал еще, и неясно, каким вырастет, да и по лествичному праву власть перейдет дяде Данилу, а после него — Михайле Тверскому. Вновь из-за Переяславского удела возникнут войны. Власть великого князя, ежели потомки Андрея удержат Переяславль за собой, только лишь ослабнет, отдалив грядущее объединение страны...

Так, может, завещать удел Данилу? Ему и перейдет власть вместе с великим княжением и... вражда с Михайлой Тверским, Москве никогда не справиться с Тверью. Тверь ныне — самый сильный город Руси. У Михайлы Ярославича растут сыновья, его рати сумели устоять против сил четырех княжеств тогда, при батюшке! Получив Переяславль, а затем великое княжение, Михаил сядет в Новгороде Великом и соберет в свои руки всю страну. В Твери переписывают книги, там сила соединена со знанием. Оттуда, с верховьев Волги пойдет и должна пойти новая, Великая Русь! Когда-то и князь Михаил умрет, и, быть может, далекие правнуки будут чтить его прах — прах первого основателя нового величия страны. По Волге поплывут корабли до Сарая, до Железных ворот, до далекой богатой Персии, а в другую сторону побегут дороги на Запад, в Литву, на Волынь, и туда, по Днепру, в Киев и Царьград, и туда, через Новгород, в Заморие, и во Псков, и в земли

чудские. И город Тверь в сердце страны, изукрашенный храмами и палатами, будет стоять, как златой венец над Волгой, над широкой, уходящей в далекие дали рекой... И с дядей Данилой Михаил сумеет примириться, ведь и доднесь они помогали друг другу! И когда великое княжение попадет в руки Михаила, он уже сумеет собрать и всю землю в десницу свою и противустать Орде. Будет престол златокованый и князья гордые, как Владимир Святой, как Мономах, как Великий Всеволод...

Иван лежит, смежив очи, книга уронена на пол, рука бессильно покоится на покрывале. Перед его закрытыми глазами плывут корабли, проходят рати, возникают и рушатся княжения, царства и города... На улице снег, вечер. Сейчас придет Федор долагать, что сделано за день. Потом можно уснуть или опять думать.

...Как прост был всегда дядя Данил! Как он любит все это: и хлеб, и кожи, и вяленую рыбу, сам смотрит, вычищены ли денники, не загноились ли копыта у лошадей... С таким князем его Федору куда легче было бы, чем с ним, с Иваном, или даже с Михайлой Тверским. Там величие, свет, отблеск Золотого Киева, а что за величием? Холод, пустота, отчуждение. Были грозны князья и величавы бояре. «Дай, дай, дай, княже! Дай мне место, пригрей, приюти, златом осыпь»,— вспомнил он слова Даниила Заточника. И: «мало мне, княже, двухсот гривен»... Мало! Цена иного княжества целиком! И пришли татары. И развеяли в прах гордость, славу, добро... Так, быть может, и не власть, и не величие, и не сила, а иное нечто, то, что было в Орде и чего не оказалось на Руси? Что? Что и сейчас делает неодолимой степную мунгальскую конницу? Величие власти? Закон? Пресловутая «яса» Чингизова? Или то, что были они едины все, были они — народ, и князья их были те же степные наездники, жрали ту же конину, пили тот же кумыс, пели и слушали те же песни, и — чего уже теперь не стало в Орде — любой простой воин мог подняться до звания темника, стать нойоном, даже и князем, как было и на Руси при Владимире Святом, что сделал великим мужем Кожемяку, одолевшего богатыря печенежского...

И чему защита книжное научение, и серебро, и вежество, и иное прочее, что было в Ростове и истаяло, исшаяло, развеялось пеплом без вражеского одоления, без пожаров, погромов, при живых ростовских

князьях... Быть может, то, что Данил сам считает кожи и лупит слуг, рассыпавших овес, а за едой сам собирает крошки со стола себе в рот, быть может, то, что тетка Овдотья, не стыдясь, вычесывает вшей у своих «сорванцов», и сама строжит девок, и ходит ряженой с боярынями, и хохочет, и все равно — госпожа? Быть может, в этом спасение?!

И справится ли Михайло с Ордой или не вытерпит, поспешит, не сумеет быть мягким и себе на уме, как дядя, что отбил-таки у Рязани Коломну, и никто ему не помешал... Да и нужно ли сейчас, при хане Тохте, бороться с Ордою или надо, как сделал когда-то великий дед, Александр Невский, и как подсказывает сейчас Данила, заключить союз с мунгалами против бесермен, с одной стороны, и жадных латинян — с другой? Не страшнее ли для русской земли немецкие рыцари и свея, что суетливо и упорно лезут и лезут каждый год за Нарову и псковские рубежи?

Ивану тяжело думать о ратях, о смерти, посеченных полоняниках и вытоптанных полях, но он знает,— видел сам, вырос среди этого,— что нужны и сила, и власть. Их можно не применять, не лить крови, но быть сильным нужно. Иначе не стоять на земле. А силы основа — вера, основа веры — добро. И не самое ли важное тогда: любить землю, любить и беречь ее, не насиловать, не уродовать, вырубая леса, сжигая хлеба, калеча пашню, в груды сора обращая города и храмы, спесиво считая, что новые храмы и города возникнут сами собой? Не самое ли важное — любить народ, своих соплеменников на этой земле, верить им, требовательно верить, не прощая зла, но и не насилуя, не обращая их по прихоти своей в иную веру или раздаривая по произволу своему, как Андрей, подаривший Переяславль ярославскому князю Федору Чермному? И как тогда плакал Данил, видя разоренный город, и присылал потом мастеров-москвичей, чтобы возродить отцово добро... Ну, а кто будет после Данилы? Этот рыжий Юрий? Лучше бы Александр или Борис...

В двери стучат. Входит Федор. Князь Иван смотрит на него, выслушивает, кивает головой. Потом — Федор уже тронулся уйти — останавливает его и, отводя глаза, тихо спрашивает: как кажется ему, Федору, ну и другим... Всем... Там, на селе... Кому после него, Ивана, достоит княжить на Переяславле? Федор хочет возразить, что батюшка-князь еще жив и... Но Иван нетерпе-

ливо машет рукой, и Федор проглатывает несказанные слова. Он очень не хочет отвечать князю и бормочет:

— Великие бояре знают лучше нас.

— Я спрашиваю тебя! — с терпеливой настойчивостью возражает Иван. Федор смотрит на князя, молчит, поводит плечами.

— Как сказать дак: право-то имеет Андрей Лексаныч больше, великий князь. Выморочно — егово добро... Ну, а по силе и по тому, каков князь и умом, и обликом, и по всему — дак лучше всех ныне Михайло Тверской... Ну, а своим-то здесь считают больше московского князя, Данил Лексаныча. Здесь его все помнят. Простой. Моя матка умирала, дак жалела, что не зашел, не наведался к ней.

Федор, сказав о матери, скупо улыбнулся и смолк.

— Спасибо, Федор. Прощай. На сегодня все.

Федор вышел, осторожно прикрыв дверь. Иван снова смежил глаза. Повторил шепотом: «Своим здесь считают московского князя». Усмехнулся. И он тоже считает Данилу своим!

В Рождество приходили славщики. Потом приходили ряженые из деревень. Приезжали бояре. Участливо и тревожно взглядывали в очи князю.

Весна была бурной, разом вскрылись все реки и ручьи. Ветра словно взбесились. Бурей рвало хоромы. Дрань и бревна, взятые вихрем, летели по воздуху. Ломило и валило леса, убивало людей и скот. Словно бог Ярило, в гневе и славе прежних языческих времен, пришел покарать отпавшую от него под сень креста землю славян.

Вскоре после Пасхи, когда утихли ветра и наступили наконец теплые майские дни, Иван вызвал переяславского архимандрита и игуменов Никитского и Горицкого монастырей, а также избранных великих бояр. При них и при княжеском духовнике слабым, но твердым голосом объявил свою волю:

— Яз, князь Иван, при животе своем, оставляю княжество Переяславское со всеми селы и деревни и землями дяде своему Даниле Александровичу, князю московскому.

Иван велел переписать грамоту. Скрепил подписями и княжескою печатью оба пергаментных свитка: образец и противень. Одно завещание вручил архимандриту, другое оставил у себя. Причастился. Отпустил духовенство и бояр, заповедав до его смерти грамоту не разглашать.

Про себя подумал, что нынче же вечером супротивники Данилы пошлют гонца с известием князю Андрею.

Вечером он вызвал к себе Федора. Иван совсем не хотел, чтобы завещание, над которым он думал столь мучительно и долго, было попросту уничтожено боярами Андрея, которые начнут хозяйничать тут после его кончины.

— Скачи в Москву! — приказал Иван Федору.— Передай грамоту князю Даниле.

Он протянул противень завещания Федору, помедлил. Прибавил:

— Берегись, чтобы не перехватили. И... смерти моей не жди. Скачи сейчас!

Федор спрятал грамоту за пазуху. Потом опустился на колени перед ложем князя и прижался губами к бессильной и влажной руке Ивана.

— Храни тебя Господь! — прошептал князь.

Иван Дмитрич умер пятнадцатого мая [1], «тих и кроток, и смирен, и любовен, и милостив», причастившись и соборовавшись, и был положен рядом с отцом в древнем Спасо-Преображенском соборе града Переяславля.

Весть о смерти князя едва не обогнала Федора по дороге в Москву.

ГЛАВА 123

Въезжая в Москву, Федор надеялся сразу попасть к Даниле, но у ворот Кремника его задержали. Стража скрестила копья, вышел боярин.

— Гонец от князя переяславского! — строго бросил Федор, уверенный, что его тотчас пропустят. Но боярин спесиво потребовал путевую грамоту. Ее у Федора не было. Пришлось долго ждать, препираясь со сторожей. Наконец вышел еще какой-то боярин, Федора пропустили в ворота, но не допустили до дворца, а отвели на посольский двор. Федор, мрачный, расседлал и покормил коня, пожевал сам дорожную краюху хлеба — накормить его почему-то не догадались. Он снова ждал, изнывая, беседовал со сторожей, пока не появился теперь уже третий боярин, которому Федор вновь повторил, что он послан от князя Ивана к Даниле Лексанычу.

---

[1] 1302 г.

— Кака грамота? Дай сюда! — потребовал боярин.

— Грамоту мой князь велел передать князю Даниле Лексанычу из рук в руки! — наливаясь гневом, ответил Федор.— Поди доложи! А гонца непутем держать — николи того не бывало!

Боярин смерил Федора взглядом, почесал в затылке и, проворчав что-то неразборчивое, ушел. Федор начал догадываться, да и по разговорам понял, что все эти строгости тут потому, что стерегут рязанского князя и боятся, чтобы его не похитили.

Наконец, уже ввечеру, он попал к Протасию. Московский тысяцкий припомнил лицо Федора и говорил с ним приветливее, но тоже как-то загадочно. Он велел гонцу обождать, сославшись, что князь нездоров. Велел накормить Федора, поставить коня в стойло и ждать его, Протасия, не уходя из терема. Наконец в темноте, когда уже Федор, проклиная москвичей, мыслил завалиться спать, его позвали и провели в княжой терем. Идучи вслед за двумя ратными, Федор поднялся на крыльцо, прошел крытыми переходами и оказался в думной палате князя. Хоть была и ночная пора, тут не спали. Десятка полтора бояр сидели по лавкам, а в глубине, в кресле, сам князь Данил. Его остановили у дверей. Федор отдал поклон и громко молвил:

— Здравствуй, князь! Послан есмь от князя переяславского Ивана Митрича к тебе с грамотою!

Крайний боярин протянул руку. Федор, уже достав свиток, покачал головой и отвел руку.

— Грамота тайная. Князь Иван Митрич велел передать тебе прямо из рук в руки!

В палате повисло молчание. Потом раздался общий вздох, и кто-то из бояр молвил:

— Князь Иван умер!

Федор, задохнувшись, обвел глазами озабоченно-хмурые лица бояр, сделал шаг вперед и сказал, срываясь, прозвеневшим голосом:

— Данил Лексаныч! Покойный князь Иван велел передать тебе это из рук в руки с глазу на глаз!

Данил смотрел на него насупясь, задрав голову. Тут только Федор сообразил, что, кажется, не поименовал его князем. Шумно засопев, Данил молвил наконец:

— Подойди сюда!

Федор, печатая шаг, подошел к Даниле, на мгновение их взгляды встретились, и Данил, только что го-

товый выгнать гонца из палаты, вдруг махнул рукой, и бояре, переглядываясь, начали подниматься и гуськом покидать покой. Они остались одни. Федор опустился на одно колено, сказал глухо:

— Прости, Данил Лексаныч...— И, с неловким опозданием, прибавил: — Княже...— И заплакал. Он стоял на коленях и плакал, и Данил смотрел на него и весь как-то опускался, и поникал, и не прерывал Федора, пока тот, справившись сам, не вытер рукавом лицо, поднял глаза и протянул грамоту:

— Вот! — сказал он и повторил еще раз: — Вот... Князь Иван, покойный, грамотою сей... Дарит тебе Переяславль.

Он встал с колен и стоял, немо выпрямившись, пока Данил, меняясь в лице, читал и перечитывал завещание и, отрываясь от строк, удивленно, смятенно, радостно взглядывал на Федора.

— При... живом? — спросил он, запнувшись.

— Сам отправлял. Своими руками вручал. Противень. Грамота в Горицком монастыре. Кабы не держали меня здесь твои бояра, из утра бы еще вручил... Не узнал меня, князь? — вдруг спросил он почти грубо. Данил всмотрелся, заслонив глаза от свечи, спросил, еще не веря:

— Федя? Федор! — повторил он радостно и смущенно прибавил: — Голова у меня стала не та, забываю, прости... Да и поседел ты... По голосу-то враз не признал! Дак сам, говоришь?

— Сам. Он давно думал, со мной баял о том еще до Рождества. Коли решишь — спеши, Данил Лексаныч, а то Андреевы воеводы уже, верно, у нас сидят!

— Ладно, Федор. Спасибо тебе. Поделом и опозорил меня перед воеводами. Своих забывать грех. На вот пока...

Он снял, потужившись, золотой перстень с изумрудом, протянул Федору:

— И еще... Это спрячь, спрячь! Остановишься на посольском дворе...

— Прости, князь! — возразил Федор.— Отпусти в город, на посад, брат у меня тута и сын тоже.

— Сын?

— Служит у воеводы твоего, у Протасия, в молодших.

— Что ж ты... Сколь летов-то молодцу?

— Шестнадцатый уже.

— Грамоте разумеет? — строго вопросил князь.

Федор кивнул.

— Дак его и ко мне на двор взять мочно!— предложил Данила.

— А поглядишь, княже! — ответил Федор.— Не забудешь, дак...

— Ну, ну, не срами, не срами! — чуть сведя брови, перебил его Данил и хлопнул в ладоши. Вошел слуга.

— Зови бояр! — приказал князь. Гуськом начали входить давешние бояре, с любопытством взглядывая на гонца.

— А ты ступай! — оборотился Данил к Федору.— Тамо скажешь, где пристал, чтобы найтить мочно.

На дворе к Федору подошел посыльный и с поклоном передал ему кошель, в котором, когда Федор принял кошель в руки, звякнули тяжелые гривны-новгородки. Ему вывели коня, отворили ворота. Двое ратников, тоже верхами, проводили Федора на посад. В улицах уже были поставлены рогатки, и без провожатых Федору много пришлось бы объяснять, кто он и откуда.

С забившимся сердцем Федор отворил калитку Грикшиного дома. Хрипло залаял пес. Грикша вышел сам. Не удивился, завел коня, затворил ворота. Прошли в горницу. Брат, видно, читал. Одинокая свеча горела на столе, и лежала открытая книга.

— Погодь, не буди! — сказал Федор, опускаясь на лавку и глядя на разметавшегося во сне сына. Потом перевел взгляд на брата, что молча доставал кувшин с квасом и хлеб.

— Князь наш умер.

— Знаю! — не оборачиваясь, отмолвил Грикша.

— Я его живым...— У Федора пресекся голос, и он замолчал.

— Ты с чем прибыл-то? — спросил брат, беря нож и отрезая краюху. Федор помедлил, не зная, может ли уже говорить. А, к утру вся Москва узнает!

— Завещание князя Ивана привез.

— Даниле? — без удивления, как о жданном, спросил брат. Федор кивнул и выложил на стол золотое кольцо. Грикша сел, вздохнул, налил себе тоже квасу, мотнув головой в сторону кольца, велел: — Спрячь!

Выпил, вытер бороду, сказал, вздохнув:

— Войны не миновать!

— Тятя? — раздался сонный голос сына.— Тятя приехал!

Выпутавшись из одеяла, он подбежал к отцу, неловко, по-телячьи; ткнулся губами отцу в бороду.

— Тятя... Приехал... Приехал же! — повторял он, не зная, что еще сказать. Федор привлек его к себе и так и сидел, вдыхая здоровый сонный запах сына, радуясь и отдыхая после тяжелого суматошного дня... Он свое дело сделал. И последнюю волю князя Ивана исполнил. Теперь черед за Данилой, как уж он сам решит!

ГЛАВА 124

Данил Лексаныч, когда бояре зашли в палату и уселись, а переяславский гонец покинул покой, оглядел своих советников и воевод грозно-веселым взором, пожевал губами, потом протянул грамоту Бяконту и, откидываясь в кресле, сказал:

— Князь Иван оставил Переяславль мне! Чти вслух!

И, когда смятенные воеводы выслушали завещание, помолчав, твердо примолвил:

— Како помыслим о сем, бояре?

Кто-то потянул пергамен из рук Бяконта, завещание обошло круг. Каждый хотел хотя бы потрогать свиток или прикоснуться рукой к вислым серебряным печатям с клеймами покойного Ивана.

— Великий князь знает? — спросил Протасий.

— Надо думать, вызнал уже! — возразил кто-то из бояр. Тут все заговорили враз, перебивая друг друга.

— До утра отложим! — сказал наконец Данил, утомясь. Да и боярам надо было дать помыслить о себе.

В теремах, куда Данил прошел через висячую галерею, уже знали. Полуодетые княжичи во главе с Юрием толпились у дверей покоя.

— Да, да! — бросил им отец, проходя.— Спать, спать!

Овдотья в одной рубахе стояла у стола босиком, расставив толстые ноги, и наливала из кувшина квас. Данил сбросил княжескую епанчу на руки сенной девке, свалился на лавку. Девка стащила с него сапоги и убежала. Данил пил и ел, поглядывая на жену, на ее крепкое еще, раздавшееся вширь тело, колышущиеся под рубахой груди. Кончив, обтерев рот, привлек ее к себе, ткнулся носом и бородой в мягкий бок.

— Вот, жена! Отцов удел...

— Ты хоть рад ли? — спросила Овдотья, выпрастывая голые руки, чтобы поправить косы.

— Андрей ить не смирится!

— Гони ты его в шею, Андрея! — взорвалась Овдотья.— Свое добро уступать!

Он поглядел снизу вверх на красное, разгоряченное лицо жены, захохотал, шлепнул княгиню по мягкому.

— Пошли спать! Утро вечера мудренее!

Уже когда улеглись и задернули полог постели (девка, неслышно ступая, пришла прибрать со стола и вышла опять), Овдотья, поворочавшись, посунулась носом к плечу мужа, погладила его по груди, спросила негромко:

— Не откажешься?

Данил молча забрал ее мягкую ладонь, подсунул под щеку себе, прикрыл глаза и, уже засыпая, пробормотал:

— Да нет... Как тут откажешься... Драться буду, а от Переяславля, от отчины отней, не откажусь...

Юрий, так тот совсем не спал этой ночью. Сперва еще полежал на спине, слушая, как посапывает беременная жена (первый ребенок умер, едва родившись, и затем был выкидыш. Дети что-то не задались Юрию). Потом, чувствуя, как кровь ходит глухими толчками, встал, живо оделся, прошел на галерейку. Вздрагивая от ночной весенней свежести, ждал рассвета. Небо зеленело, яснело, розовело. Сторожа дремала внизу, у ворот. По стене, плохо видный отсюда, расхаживал ратник.

«Даст ли мне батюшка Переяславль или не даст? — гадал Юрий.— Может, и сам туда воротится!» Все то, что говорил о городе прежде отец, все те места, что показывал ему, мало занимавшие прежде Юрия,— все вспоминалось теперь с великим значением. Он перебирал в уме переяславских бояр: Терентия, Феофана, Гаврилу и прочих, вспомнил даже и того послужильца, о котором баял батя, учились вместе, кажись, Федора,— и имя вспомнил! Да не он ли нынче и грамоту привез? Всех их теперь надо было помнить, каждого обадить, привлечь... Переяславль! Не эта же Москва вшивая! Дедов град!

— Не спишь, Юрий Данилыч? — окликнули снизу. Юрий свесился через перильца, увидел скалящуюся рожу своего выжлятника, что, верно, сейчас ходил кормить хортов — борзых псов, покивал, прокричал что-то в ответ, сам не понял, что: мысли были все там. Он поежился, почесал ладони. Всегда чесались, когда сильно

чего хотел. Постучал мягкими сапогами нога о ногу. Скорей бы уж батюшка вставал, чего решат!

Ему вдруг стало страшно: а что как отец откажется, побоится дяди Андрея?! «На коленях буду ползать, уговорю!» — подумал Юрий. Солнце наконец брызнуло из-за дальнего леса, и желтый ясный свет лег на верхи теремов, на кровли и смотрильные башенки. Напротив, на гульбище, показались Александр с Борисом.

— Батюшка проснулся? — крикнул им Юрий, сделав руки трубой и сдерживая голос, чтобы — ежели что — не разбудить родителя. Борис помотал головой: нет еще! Юрий опять свесился через перильца и стал, поколачивая нога о ногу, следить за проходящими и проезжающими по улице. «И чего батюшка так цацкается с им!» — подумал Юрий, глядя вбок, туда, где, не видная за церковью, стояла хоромина, в которой содержали рязанского князя. Он вспомнил свою оплошность в бою и особенно озлился на Константина, упрямого старого дурня.

По улице кто-то проскакал стремглав. Со скрипом отворились ворота Кремника. Солнце, поднявшись, начало греть Юрию плечи. Зазвонили колокола.

Данил упорно думал все утро. На сыновей только глянул свирепо. Ел — молчал. Оболокался для княжеской думы — молчал. Приостановясь, Юрию:

— Юрко! Возьми кого из бояр, созови в думу баскака ордынского, живо! Да покланяйся тамо, носа не задирай! С почетом чтоб!

Юрий поглядел на отца сумасшедшими жадными глазами, ничего не понял. Понял только, что надо бежать, исполнять. Вздел лучшее платье. Ринулся на ордынский двор. (Мысленно ринулся: выводили коней — от терема к терему два шага,— ехали верхами, истово приглашали. И так же верхом, неторопливо, явился баскак).

Дума: решительные и испуганные, озабоченные, жадные, ждущие с нетерпением и со страхом лица, вислые и окладистые бороды, руки в перстнях, бояре в долгих опашнях, в шапках, сидят по старшинству, по званию и породе: думные бояре, тысяцкий Протасий, городовой боярин Федор Бяконт — эти впереди, дальше — окольничий, за ними ратные воеводы, старшая дружина, свой двор. На почетном месте баскак. Княжеские сыновья, кроме младшего, шестилетнего Афанасия, тут же. Данил, выждав время, подымает бороду

и говорит, больше для баскака, чем для всех остальных:

— Князь переяславский, сыновец наш, Иван Дмитрич, при кончине своей отказал вотчину свою, град Переяславль с волостью, деревни и селы, спроста рещи, весь удел — мне, дяде своему, в наследие и в род...

Приодержавшись, он делает знак. Чтут грамоту, показывают баскаку. Татарин смотрит печати, щурит глаза, кивает. Он понял.

— И о том просим мы, князь московский, повестить господину нашему, Токтаю, царю ордынскому, дабы не было о том которы и обид во князьях. (Баскак совсем сощурил глаза: думает, какие подарки пошлет ему князь Данил сегодня вечером?)

— Сами же мы решили, подумав с боярами, в Переяславль не идти, доколе тамошние бояра нас не позовут к себе сами на стол. И о том тоже просим передать царю, дабы обид на нас от нашего старшего брата, великого князя Андрея, перед царем не было!

В думе ропот. Юрий смотрит, не понимая. Отец кончил и задирает бороду. Всё! Можно отпустить баскака. Ропот стих. Потрясенная тишина.

А затем — проводив баскака и отпустив многих бояр — Протасию с Бяконтом:

— Вызвать переяславского гонца. Пущай немедля скачет к Терентию. Посылать за ним московских гонцов, без грамоты, словесно да изъяснят! Юрию — быть готовым тоже скакать в Переяславль. Протасию — готовить дружину. Бяконту — собирать посольство в Орду. С подарками! Казны не жалеть!

ГЛАВА 125

Федора вызвали и отослали с наказом тотчас. Москвичи поскакали следом через два часа. Выпускали их так, чтобы не углядели татары.

В Переяславль меж тем прибывают великокняжеские бояре. Окинф занимает терема, опечатывает казну, расставляет владимирскую сторожу у городских ворот, на мытном дворе, на торгу. Сам с дружинниками едет в Горицы и требует выдачи завещания покойного князя. Горицкий настоятель трусит перед великим боярином, тем паче что и покойный Гаврило Олексич и Окинф — вкладчики монастыря. Грамота переходит в руки Окинфа и отсылается князю Андрею. Перерывают княже-

ское хранилище и казну, ищут противень — противня, второго списка грамоты, нет.

Отстраненные от городовых должностей переяславцы ропщут, ждут потери кормлений. Феофан сидит в загородном тереме Терентия Мишинича, трясется, ждет, что схватят и предадут смерти за давнюю казнь Семена Тонильича.

Тут-то и является Федор, а за ним москвичи с вестью, что Данил Лексаныч ждет посольства. Окинф уже показал себя, и бояре, почуявшие, что приходит конец их местам в думе, почету, должностям, доходам, всему, что добыто трудами и ранами на службе у двух князей, отца и сына (а то и трех: старики служили еще Александру Невскому), почуяв неминучую беду, начинают украдом съезжаться к Терентию. Решают пригласить настоятеля Никитского монастыря — тоже свидетеля завещательной воли Ивана. Вооруженные ратники и холопы разоставлены в засадах — не нагрянул бы Окинф с ратью.

— Ты побудь у меня! — велит Терентий Федору.— Домой на Княжево не суйсь, там тебя ищет уже какой-то Окинфов холуй.

— Козел, верно! — догадывается Федор.

— Уж не знаю, кто таков, козел али волк, а только у Окинфа зуб на тебя, сам знашь. Да и... Не повестили ли ему, что ты грамоту увез? Так что сиди, не кажи себя, поимают. Женка не знат ничего, и добро!

Федор только тут начинает понимать, в какую замятню попал и что рискует теперь потерять не только место при князе, но и дом, и землю, и едва ли не саму жизнь.

Ночью переяславские выборные, пробираясь лесами мимо застав, отправляются к Даниле: звать на стол. В Москве их после беседы с князем вызывают в думу, показывают баскаку. Тот кивает головой, понимая, что вечером будут новые дары. Соглашается послать от себя вестника к великому хану в Сарай, куда уже везут княжеские сокровища — поминки от князя Данилы.

И только после того у ворот Переяславля появляются верхоконные москвичи. Полк, собранный Терентием (переяславцам никому не любо идти под Андрея), занимает Клещин-городок и дороги на Ростов и Юрьев. На торгу, в самом городе, бьют и волочат городецкого мытника. Посланной на Вески Окинфовой стороже не пробиться в город, ее окружают и берут в полон. Му-

жики грубо хватают под уздцы коней, упрямых крюками и арканами сволакивают с седел. Блестят широкие лезвия рогатин, тут не до шуток. Сторожа, сдаваясь, складывает оружие.

В терем к Окинфу вбегает стремянный. Он в растерзанном зипуне, на зеленом сапоге кровь.

— Беда, боярин! Едва ушел, зорят наших! У Дмитровских ворот сторожу смяли, уходить пора!

Окинф, ругаясь, натягивает кольчужную бронь. Торочат коней. Вьюки с нахва́танным добром, оружие... Скорей, скорей! Но у Владимирских ворот толпа горожан.

— Руби!

Но за городом — полк Терентия. Окинфа схватывают, вяжут стремянного и иных холопов, поворачивают коней. Через час, развьючив поклажу, уносят добро назад, в терема. Окинф с прочими сидит под стражей, город — радостный — в руках москвичей и переяславской рати. Юрий без шапки, рассыпая рыжие кудри, под крики толпы едет шагом по городу, машет рукой, улыбаясь во весь рот направо и налево. Радость переполняет его, он весь сейчас из одной радости, из одного ликования. Ну каким же умным оказался отец! Ну какие же они все славные! Ну какой же город, какой собор, какая чаша воды за валами! А терема, а толпы народа, а торг! Отсюда он, пока будет жив, не уйдет! Единственное, что нарушает счастье Юрия в ближайшие дни,— строгий наказ отца, которого невозможно было ослушаться: отпустить всех захваченных бояр великого князя Андрея с их дружиною, не чиня им никаких обид, воротив коней и оружие. Сам бы Юрий ни за что этого не сделал, сгноил бы захваченных в яме. Но по отцову слову пришлось отпустить.

Всех переяславцев, что помогали ему, Юрий оставляет на прежних местах в думе и в войске, даже Федор, вызванный через дружинника, получает место в охране дворца, хоть и не прежнее, но и не самое низкое. Юрий принимает его милостиво, и Федор наконец уверяется, что, по крайности, почти ничего не потерял во всей этой замятне, когда, рискуя головой, исполнял последнюю службу покойного князя Ивана.

ГЛАВА 126

Михаил Тверской и Андрей Городецкий, узнав о завещании Ивана, оба были в страшном гневе. Но ежели Андрей, как великий князь, попросту не пожелал считаться с волей покойного и послал своих бояр на Переяславль, то положение Михаила оказалось труднее. Собрать рать и пойти на своего союзника и друга князя Данилу? Зачем? Чтобы Андрей смог без хлопот получить Переяславль? Поддержать Данилу, самому вовсе отказавшись от города? Ему оставалось ждать событий и хранить мир. И мать, великая княгиня Оксинья, сказала:

— Терпи! Твое время еще придет, сын! Андрей не отступится от Переяславля, а Даниле навряд усидеть, ратной силы недостанет. (Про посольство Данилы Московского в Орду не знали еще ни она, ни Андрей Городецкий.)

Андрей только-только воротился из Новгорода, где ему пришлось задержаться, заключая мир со свеей. Увидя своих, с соромом изгнанных из Переяславля бояр, он рвал и метал. Не задумавшись дня, Андрей велел собирать полки, послал гонцов в Ростов и в Тверь, к Михаилу. Но из Твери пришел ответ, что тверской князь, поскольку Переяславль дан Даниле по завещанию, ратей своих на московского князя не пошлет. А Константин Борисович Ростовский без тверского князя тоже не решался начать войну (а быть может, и не хотел) и советовал просить помощи у хана. Оставалось одно — идти в Орду.

Летом Андрей, не дав мира Даниле, но и не начиная ратных действий, отправился в Сарай жаловаться на брата и оспаривать незаконное завещание князя Ивана. Потянулись томительные дни, недели, потом месяцы ожидания.

Сжали хлеб, свезли на тока, обмолотили и ссыпали в житницы. Андрей все не возвращался, прочно застряв в Орде. Тохта не говорил ни да ни нет. Подоспели дела церковные, митрополит возвращался с Константинопольского собора, и Андрею пришлось хлопотать о новых ярлыках для служителей церкви, о жалованье церковном: праве церкви не платить со своих доходов ордынского выхода,— без конца дарить и дарить татарских вельмож и самого царя. А меж тем из Москвы

тоже шли и шли подарки в Орду, и хан Тохта, принимая своего русского улусника, оглядывал его бесстрастным взглядом и, угощая бараниной, привозными винами, сластями и виноградом, гадал: так ли прочно сидит на столе своем князь Андрей, чтобы уже перестать ему помогать и избрать другого, тоже послушного, но более слабого князя? Или же он ослаб и надо ему помочь, но так помочь, чтобы он не усилился слишком и не начал гибельной войны на Руси и чтобы в любом случае — от силы ли чрезмерной или от крайней слабости — не перестал платить ордынского выхода, русской дани Орде?

Проходила осень. Наступала зима. Андрей захворал в Орде, мучился животом, хан все не отпускал его на родину. Стояли наготове, без дела, собранные дружины, томились ратники, воеводы потихоньку рассылали людей по домам. Застыли реки, земля укрылась белой пеленой, и установился санный путь. Скрипели и визжали на морозном снегу полозья, ползли обозы со снедью и зерном из деревень в города. В Новгородской волости стояло тепло, снегу не было и ожидали недорода.

В самом конце года, двадцать шестого февраля, на Костроме, в княжеском терему, умер маленький бледный мальчик, оставшийся без матери, наследный князь, внук Александра Ярославича Невского, князь костромской и будущий князь городецкий, Борис Андреевич. Седые бояре сидели у постели малыша, сновали бабки, мамки, лекари и знахарки, и вот — понадобился только священник: отпеть и похоронить. Седой ветхий Давыд Явидович потерянно глянул на Ивана Жеребца, на его склоненную воловью шею, в дикие, уставившиеся на труп ребенка глаза:

— Не уберегли! — сказал он, всхлипнув. Жеребец глядел на усопшего княжича, все еще не понимая. Он мог взять меч и обратить в бегство десяток ратников, мог ударом кулака свалить лошадь, порвать ременной аркан, мог во главе дружины опрокидывать вражьи полки, под Ландскроной расшвыривал шведов, проламывая клевцом вражьи головы в шеломах,— и был бессилен, совсем бессилен здесь, перед этой тихою, беззвучной, на мягких ногах детской смертью. Он с трудом разогнул шею, глянул на Давыда с сумасшедшинкой, отмолвил хрипло:

— Да, не уберегли...

Скорбные гонцы, сами опасаясь своего известия, помчались сквозь последние февральские метели к князю Андрею, в Орду.

ГЛАВА 127

В этом году Данил чувствовал себя нехорошо. Летом, ближе к осени, однако, съездил в Переяславль, к Юрию. Поглядел хозяйство, поругал сына для прилику, так, чтобы носа не драл. Принимал бояр. Вспомнив, спросил про Федора. Федора вызвали ко князю.

Данил Лексаныч сидел как-то непривычно старый, тихий, старше своих — и Федоровых — сорока с малым лет. Расспросил, покивал головой. Спросил про мать, про сестру. Узнав, что Параська пропала, огорчился, вздохнул.

— И кукла пропала? — спросил, поглядев исподлобья Федору прямо в глаза.

— И кукла. Дом сгорел, дак...— отмолвил Федор.

— Женку-то жалеешь?

Не ожидая ответа, кивнул Юрию, что сидел рядом, с любопытством оглядывая Федора быстрым взором голубых беззастенчивых глаз. Тот понял отца, встал, вышел, воротился, неся женскую кунью распашную шубу. Отец одобрил, кивком головы, подарок.

— На, возьми!

Юрий протянул шубу Федору.

— Женке подари. А сына твово, буду жив, возьму на двор. У Протасия он? Спрошу. Вот, Юрий, кто нам Переяславль подарил!

Федор поклонился, прощаясь, в пояс, и ушел с неспокойным сердцем. Данил Лексаныч выглядел уж очень нехорошо, а в чужого для себя князя Юрия Федор не очень верил. Воротясь в этот день в Княжево, он долго убирал коня, потом взошел, торжественно остановился у порога, развернул подарок:

— От князь Данилы тебе! На! — бросил, невесомую, в руки.— Прикинь-ко!

— Да полно уж,— нерешительно обминая пальцами дорогой мех, проговорила Феня.— Не в наряде дак!

Вздыхая, надела. Шуба была как раз до полу, чуть виднелись носы чеботов. Стала выше, стройнее. Усмехнулась, задумчиво щурясь, виднее стали мелкие морщинки у глаз.

— Молодой бы! В церкву ходить теперь.

Представил ее молодой вдруг, в этой дорогой шубе, ощутил стыд, что не смог тогда, всю жизнь...

Вздыхая сняла, бережно убрала в скрыню. Подошла, села близко, приобняв:

— Ништо, Федюша, не журись, не худо прожили мы с тобой! Сына подняли, вишь...

Бережно освободясь от ее руки, он распрямился, вздохнул, привлек к себе за плечи. С той же горькой жалостью увидел близко тронутые сединой, поредевшие волосы.

— Бориска Шумаровский давеча весть передал от Вани, кланяется, мол, в чести у боярина, бает...

Они помолчали. Потом Феня посвежевшим голосом похвасталась:

— Я седни пироги затеяла, каки любишь! Со снетком!

Федор хотел спросить про снетка вяленого: отколь достала, и не смог справиться с собой, что-то запершило в горле. Закашлял и только прижал сильнее. Она поняла без слов, пояснила:

— Даве купцы-белозеры наезжали, дак Марья взяла лукошек пять, а я уж у нее достала!

Отужинав, сумерничали.

Верно ли, что прожита жизнь? Сила в плечах еще есть, еще желания не ушли из сердца. Правда, молодость ушла. А жизнь — кто ее измерит! Вон старик Никанор все волочится, а ему уж не сто ли летов? А дядя Прохор погиб, какой богатырь был! Умерла мать, а Олену, ее подругу, словно и годы не берут. Жить еще долго нужно. Нужно поставить сына на ноги, быть может, дождаться внуков, а то и правнуков. Княжеский дар, серебро и перстень, он зарыл в землю на черный день. Может, скоро война, и тогда Козел по старой злобе снова подожжет его хоромину (о смерти давнего недруга своего Федор так никогда и не узнал), и снова, когда схлынет вражеская рать, надо будет рубить избу, ставить клеть, подымать сараи и житницу, заводить коней и скотину.

И когда-нибудь они будут также сидеть с Феней, тогда уже старые старики, и воротится сын — городовой боярин, или княжой ключник, или еще в каком высоком чине — и будет ласково-снисходительно беседовать со стариком отцом, и соседи набегут поглядеть на Федорова сына, подивиться конскому убору, седлу, дорогой одежде. И они с Феней тоже станут дивиться и гор-

диться сыном, а он, Федор, вспомнит о прежних своих путях, и посольской службе у князей, и о городах, которые видел: Владимире, Твери, Ростове, Господине Великом Новгороде. И они будут пить мед, и он, Федор, всплакнет по стариковской слабости, вспоминая прежние годы...

— Не пора ли свечу затеплить? — говорит Феня.— Тёмно уже!

ГЛАВА 128

Данил Лексаныч выстоял службу в Никитском монастыре, одарил братию, после проехал на Клещиногородище, где его с поклонами встречали прислуга и городищенские мужики. Походил по саду, хотел посидеть на траве, на старом валу, да не решился. Кабы один был, ничто! С терема, с гульбища, долго глядел на озеро. После закусил простоквашею и черным хлебом и к ночи воротился в Переяславль. Переяславским боярам обещал побывать у них зимой и отправился назад, на Москву, в которую он столько вложил труда, и сил, и прожитых лет, что уже понял: никогда отголь не уедет.

Зимой Данил расхворался и в Переяславль не поехал. Он то лежал, то вставал, когда легчало. Иногда отправлялся в княжеском возке в монастырь в сопровождении младших сыновей, что ехали верхами по сторонам возка. В монастыре он, отстояв службу, трапезовал, оглядывал рубленые храмы и кельи, спрашивал отца архимандрита, не надобно ль чего для братии? Как-то смехом, а потом и серьезно повторил, что, ежели умрет, чтобы похоронили его на монастырском кладбище, и не особо, а «со всема вместе», в такой же, как и у прочих простой могиле.

О Рождестве он зашел ко князю Константину Романовичу, что до сих пор сидел у него в Кремнике и, ежели не выезжал на охоту, обыкновенно читал то жития святых, то Девгениево деяние, или повесть об Акире Премудром. Держали князя по-прежнему «в чести»: со своими слугами, духовником, не урезывая ни стол, ни питье... И по-прежнему сердитый рязанский князь не желал отказаться от Коломны и тем освободить себя из заточения.

— Ты, Данил Лексаныч, уже и сам в домовину глядишь! Переяславль получил! И все тебе мало! Кажен год Рязань громят и свои и чужие! Наших князей давят в Орде, наши смерды угнаны в полон. За хребтом Рязани отсиживаетесь! И Юрий Владимирский выдал и бросил Рязань Батыю! А кто спасал честь земли и славу отню? Рязанский, наш, воевода, Евпатий Коловрат! И Всеволод Великий громил рязанские земли, и доброго слова не скажут о нас: буяны да воры — только и прозывания! Где удальцы и резвецы рязанские? Кости их белеют на полях! Где храмы и терема? И следа не осталось! Народ бежит. Были мастера, и златокузнецы, и книжному научению горазды. Где они? Но от великих князей черниговских и киевских корень наш, и свет древлеотческой старины еще теплится, яко лампада неугасимая, в рязанской земле! Мы с мечом, изнемогая, стоим на рубеже земли русской и что же видим от вас, владимирцев? Какую помочь либо хоть участие в нашей горькой судьбе? Где же ваша братняя любовь, где совесть, где копья и сабли ваши, где ваши великие полки?! Не дам тебе Коломны! И не проси. Умру, а не дам. Не отдам, дак хоть дети воротят в свой час! — гневно сказал Константин.

Данил обиделся.

— Ты сам, князь, немолод, о душе и тебе помыслить надоть! — отмолвил он. Засопел и не знал, что еще сказать. Так и ушел, едва простясь, и больше не заходил, только бояр посылал от времени до времени.

Для себя он подумал о душе. Заботливо составленная духовная перечисляла, чего и сколько следует жене, каждому из сыновей, на монастырь, на помин души, на бедных. Не забыты были ни кони, ни портна, ни сосуды, ни шитье, ни оружие. Москву Данила оставлял детям в нераздельное владение, заклиная их хранить мир и любовь. Духовную грамоту заверили архимандрит и старейшие бояре. До времени она хранилась также в Даниловом монастыре, а противень — во дворце, в ларе с прочими грамотами.

ГЛАВА 129

В феврале Данила слег. Овдотья и парила его и растирала. Данил лежал молча, выставив горбатый обострившийся нос, иногда подзывал сыновей, пытливо разглядывал и отсылал, приласкав.

Второго марта, когда уже стало ясно, что надо ждать конца, он принял схиму, причастился и соборовался. Четвертого марта, перед самым концом, вызвав сыновей, Данил знаком велел им наклониться к нему и прохрипел:

— Юрко нравный... крутой... А все одно не перечьте друг другу... Помните про веник!

Потом слабо махнул рукой и затих. Скоро задышался, хотел приподняться, помотал головой. Овдотья приникла к нему, выспрашивая:

— Чего, чего тебе?

Но он только захрипел и начал отваливаться. Дыхание, редкое и тяжелое, скоро прекратилось, и тело начало холодеть. Овдотья прикрыла ему глаза, подержала, давясь от слез, потом упала на грудь князю и навзрыд заплакала.

К Юрию в Переяславль послали срочного гонца. Говорили потом, что Юрия на похороны не отпустили переяславские бояре, боялись, что без него воеводы Андрея захватят город.

Хоронили Данилу, как он и велел, в Даниловом монастыре, на общем монастырском кладбище. Уже пригревало солнце и первые весенние капли опадали с ветвей на голубой ноздреватый снег.

Московский тысяцкий, великий боярин Протасий, плакал над гробом. И многие москвичи плакали, провожая своего князя, истинного основателя Москвы и родоначальника московского правящего дома, который, несмотря ни на что, был-таки и миролюбив, и тих, и кроток, и милостив, и не так уж несправедливо причтен впоследствии к лику святых [1].

ГЛАВА 130

Юрий прискакал в Москву на сороковины. Весной он успел нежданным набегом захватить Можайск, пленил тамошнего князя и присоединил Можайск к Московскому уделу. В Твери, узнав о новом захвате Юрия, забеспокоились. Однако Андрей все еще сидел в Орде, и Михаил Тверской, которому по лествичному счету после Андрея должно было достаться великое княжение, предпочел выжидать. (Поскольку Данила умер

---

[1] Данил умер в 1303 г.

раньше брата Андрея, не побывав на владимирском столе, его потомки, с Юрия начиная, по лествичному счету теряли право на великокняжескую власть.)

Проходило лето, колосились хлеба, облака дышали зноем, Андрей все не ехал. Наконец осенью великий князь воротился на Русь. Воротился с ярлыками от хана, с церковным жалованьем, надломленный и усталый.

Он прибыл в Кострому, где похоронили маленького Бориса, отслужил панихиду по сыну, посетил могилу, постоял, недоуменно глядя на известняковую плиту — все, что осталось от его прежних надежд. Ему захотелось спросить: «А где же сын? Приведите его». У него дернулась щека, он сдержался. Давыду с Жеребцом велел без жалости выколачивать с Костромы новые налоги — в Орде он издержался вконец, опустошив великокняжескую казну.

Вместо конного войска Тохта дал ему ярлыки к прочим князьям с призывом жить в мире и урядить о переяславском княжении между собой. Возможно, будь жив Борис, Андрей теперь и не посмотрел бы на ханские ярлыки, собрал рати и вышвырнул этого рыжего щенка из Переяславля. Но он смертельно устал. И драться было не для кого. Для него самого наступило пресыщение властью.

Андрей разослал гонцов ко всем русским князьям, созывая на снем. Начались долгие пересылки и выбор места. Юрий наотрез отказывался ехать во Владимир. Наконец порешили собраться на спорной земле, в самом городе Переяславле, у Юрия.

Андрей понимал, что, соглашаясь на снем в Переяславле, он уже почти уступил сыну Данилы. Так и получилось. Долгие переговоры окончились ничем. Постановили в конце концов до поры оставить удел Юрию, отобрав у него великокняжеские доходы с Переяславля. Юрий тотчас отослал новые подарки в Орду и начал всячески затягивать с выплатою даней, обещать — не давать, держать — не пускать, и дотянул до весны, до распутицы, а там и до Петрова дня, хотя Андрей уже начал собирать войска. Но тут великий князь, к счастью для Юрия, занемог, и рати не вышли в поход.

В июле поползли слухи, что великий князь Андрей умирает. Слухам этим суждено было подтвердиться.

Великий князь владимирский, князь городецкий,

костромской и нижегородский, князь Господина Великого Новгорода и Пскова умирал у себя в княжеском тереме, на Городце.

Он лежал и думал и понимал, что умирает. И ему было одиноко. Все, кого он любил и кому верил, ушли раньше его. Ушел Семен Тонильевич, ушел Олфер, умерла Феодора. Сейчас, в свой последний срок, он вспоминал почему-то ее одну, совсем забывая про Василису, недавно усопшую юную супругу свою. Не вспоминал он и детей, ею рожденных и умерших, только вспомнил могильную плиту над телом бледного мальчика, костромского князя, последнего сына своего.

Тохта обманул его, подло обманул, использовал и бросил, как старую ветошь. Где же ты, далекая Византия, мраморные дворцы, величие власти, золотое величие кесарей?

Что оставляет он? Бревенчатый город над рекой, измученные данями и поборами города, где глухо бурлит гнев и обида на него, на Андрея. Зачем он дрался, воевал, губил землю, наводил татарские рати на Русь? И где и в чем та мечта Семенова, и гордые замыслы его и Феодоры, которая когда-то, давным-давно, далеким-далеко, там, в Великом Новгороде, шла по сукнам от пристани ко дворцу под радостный шепот толпы. Шла гордою византийской царевной, принцессой Анной, приплывшей ко князю Владимиру... А теперь лежит, изгнивая в земле, где только рассыпающийся прах в княжеском жемчужном уборе да черви, могильные черви среди жемчугов...

Почему он не бросил все и не поехал хотя бы поглядеть на дворцы и храмы Царьграда, своими очами узреть то, о чем баял ему Семен? Может, все — сказка, все дым и тлен, и нет дворцов, ни злата, ни храмов. Только Волга течет полосою стали, то синею лентой, то белой, как небо, или розовой на заре дорогой, уходя в далекие страны, на Восток, в Персию...

Волга, текучая вода. Одиночество. Напрасно прошедшая жизнь. Что ж! Ему осталось свершить немногое, распорядиться тем, что ему уже больше не принадлежит: властью, великим княжением. Благо, тут ни у кого не возникнет споров. Да, ты, Михаил, молодой, красивый и гордый, князь от света чела своего, законный наследник по лествичному древнему праву великих владимирских князей, ты победил! Тебе передаю тяжкий венец, вырванный мною у брата своего, золо-

той и терновый венец высшей власти. Высшей — под властью ордынского цесаря...

И за все, за все заплатили ему одним лишь последним унижением, одним лишь советом миром покончить вражду с братьями! Так был ли он хотя бы великим князем владимирским? Или жалкой игрушкой в деснице татарского царя?!

Крестить Орду... Свет веры... Новая Великая Русь... Облачные города над великою холмистою русской равниной, где проходят дожди, где ветер колышет леса и текут, извиваясь, голубые реки на север, на запад и на юг, уходя в чужие пределы, в иные земли и страны... Где ты, золотое величие?! Только Волга течет и течет бесконечной, как время, струей...

Когда Андрей умирал, был великий гром. Тучи столбами громоздились над притихшей землей. С ужасом, будто божьи зеницы, разверзалось небо, и ветвистые, толщиной в руку, молнии, раздирая, опаляли небосвод.

Гром гремел и раскатывался по земле. Узнав о смерти великого князя, взбушевались народные мятежи. В Нижнем громили и топили в Волге Андреевых наместников. Вече встало и в Костроме. Дряхлый Давыд Явидович был растерзан озверелой толпой. Иван Жеребец, чудом успевший спровадить сына, Андрея Кобылу, за Волгу, защищая Давыда, пал с раскроенным черепом. В замятне погиб и Александр, знатный костромской боярин, сын Захарии Зерна, кинувшийся было спасать воевод великого князя.

Андрей умер двадцать седьмого июля [1], на память мученика Пантелеймона, приняв схиму, и был положен у себя, на Городце. После его смерти бояре Андрея, всем скопом, поехали служить в Тверь.

ЭПИЛОГ

Ветер начинается над Русью. Полные ветром густолиственные липы тяжело шумят, ворочая ветвями, светлые изнанки трепещут — словно огоньки пробегают по зеленым кронам дерев.

---

[1] 1304 г.

Ветер гонит пыль по дорогам и клонит долу хлеба. Зеленые тяжкие волны ходят по золотому полю, и колосья с тревожным шорохом, сердито сталкиваются усатыми головами.

Ветер развеивает гривы лошадям, ветер холодит и сушит тело, потное после ночлега в сене, под овчиной. Время вставать запрягать коня!

Ветер шевелит соломенную кровлю, и Федор думает, просыпаясь: «Не снесло б невзначай!» Он лежит и слушает ветер, что гудит и тоскует в бесконечных высоких просторах. Слушает, как тихонько ноет зашибленная в юности голень, как тупо свербят не пораз обмороженные пальцы, как тянет в жилах — должно, к непогодью!

А ветер жалуется, и зовет, и не дает уснуть, и тревожит, словно забытая песня, пришедшая из далекого детства, из прежних, невозвратимых, золотых и горячих лет, и скорбит, и зовет за собою, волоча над землей сырые холодные облака.

Ветер проходит над Владимирским опольем, гудит в шатрах и куполах церквей, рябью, сизыми языками вспарывает воду на Волге, и кренятся новгородские ушкуи в пенных струях, а то и заходят за острова и мысы переждать — не перекинуло б невзначай. Ветер гудит над Ростовом и Тверью, уходя в новгородские пределы...

Ветер пахнет дождем, и бедой, и надеждой. Что несет он с собою из далеких прошедших времен? Надвигаются новые брани, как тени облачных куч, и, как тени, бегут по земле.

Над Русью ветер.

1977

СЛОВАРЬ

древнерусских, церковнославянских
и иноязычных слов, использованных в Собрании
сочинений

Азя́м — род верхней одежды, долгий кафтан без сборок, из домотканины или сукна.

Акони́т — ядовитое растение.

Аксами́т (гексамит) — византийская дорогая узорная ткань сложного плетения с золотой (металлической) нитью.

Алава́стр (алебастр) — гипс; сосуд для мирра (освященного масла), употребляемого в богослужении.

Ала́ны (ясы) — народ арийской расы (иранской ветви), первоначально кочевые племена сарматского происхождения, жили в южнорусских степях. В описываемую эпоху христианизировались, имели города на Северном Кавказе, развитое ремесло и земледелие. Оказали стойкое сопротивление монголам, позже вошли в состав Орды. Считаются предками современных осетин.

Артуг — шведская мелкая медная монета, имевшая хождение на Руси (главным образом в Новгороде).

Архимандри́т — настоятель монастыря высшего ранга (ниже — простой настоятель, игумен). Архимандриты обладали бо́льшими правами, чем игумены. Так, юрьевский архимандрит в Великом Новгороде одновременно был главой всей монашествующей церкви, то есть ведал всеми монастырями Новгорода. Вообще приставка «архи» (свыше, сверх) показывает наиболее высокую степень. На Руси в ту пору высшим лицом был митрополит, поставляемый константинопольским патриархом. В отдельных княжествах имелись епископы, например в Рязани в начале XIII в. Во Влади-

мирской Руси епископы были в Ростове, во Владимире и в Твери (с 1272 г.), затем в Суздале. Значительно позже появляются епископии и в других центрах (Коломенская, Пермская, Вологодская). Великий Новгород имел своего епископа с начала XI в., который в XIV в. получает сан архиепископа, что подчеркивало независимость Новгородской республики. Несколько епископий имелось в Галицко-Волынской Руси (Владимирская, во Владимире-Волынском, Холмская, Перемышльская, Галицкая, Полоцкая, Луцкая, Туровская). Новая епископия была организована в 1261 г. митрополитом Кириллом в столице Золотой Орды Сарае во главе с сарским (от Сарай) епископом. Сарский епископ осуществлял дипломатическую связь Руси с Ордой и Византией.

Баскáк — татарский чиновник, надзирающий за князем. В исторической литературе дискутировался вопрос, не представляло ли баскачество системы вооруженных татарских отрядов на Руси. Однако современные исследователи приходят к выводу, что баскаки не имели при себе никакой значительной военной силы и даже не являлись сборщиками дани (дань собирали сами князья). Баскак осуществлял ханский надзор за действиями князя и, если считал их подозрительными, писал доносы в Орду, откуда присылались карательные войска.

Бáхтерец — доспех, заменявший кольчугу. Состоял из продолговатых плоских железных пластин и блях, нашивавшихся на суконную основу.

Бертья́ница — кладовая.

Бесермéн, бесермéнин, бесермéны (басурманы) — иноверцы, обычно жители восточных стран, магометане. Сборщиками дани в русских городах сперва были представители среднеазиатских народов, купцы и ростовщики, откупавшие право сбора дани у монгольских ханов и сильно наживавшиеся на грабеже русских городов, большей частью мусульмане («бесермены»). Их-то и выгнали в 1262 г.

Бирю́ч, бирючи — глашатай, объявляющий по улицам и площадям постановления правительства. Иногда еще и полицейский служитель.

Борть — это улей, сперва дуплистое дерево в лесу, потом специально выдолбленная колода, там же в лесу помещаемая. *Бортничать* — собирать дикий лесной мед, «бортный мед». В Древней Руси долгое время — основной способ добычи меда (пасеки появились позднее). *Бортник* — сборщик меда. Княжеские бортники имели ряд привилегий, выделяющих их из прочих крестьян.

Братчина — складчина, праздник за общий счет, устраиваемый деревенским обществом, ремесленным или купеческим братством. На братчину собирали со всех участников (ссыпали) заранее хлеб (рожь), из которого изготовляли солод для варки пива. На братчинах в Древней Руси решались также общественные дела, происходили выборы. Права братчинных собраний зачастую охранялись законом. Споры и ссоры, происходившие тут, не подлежали юрисдикции княжеского суда. Крестьяне, например, имели право «выбивать» с братчинных праздников незваных гостей.

Бронь — кольчуга, кольчатая железная рубашка.

Вери́ги — железные цепи, надеваемые на голое тело, под одежду, ради «умерщвления плоти».

Вертогра́д — виноградник, сад.

Ве́ршник — верховой, скачущий впереди во время торжественного выезда, встречи княжеского или свадебного поезда.

Ве́счее — налог за взвешивание товара, весовой сбор.

Весь («грады и веси») — село, сельское поселение, деревня.

Вече — народное собрание в древнерусском городе. Иногда возникало стихийно, как временный орган высшей власти, осуществляемой тут же. Вечем могли свергнуть неугодное народу правительство, потребовать казни изменников, решать вопросы обороны города или военного похода и проч. В Великом Новгороде, Пскове, Вятке веча были постоянным высшим органом республиканского управления. Просторечное — *вечье*.

Ви́ра — судебная пошлина, штраф. Часто пеня за смертоубийство, которая шла, по закону, в княжескую казну. *Ви́рник* — сборщик вир.

Власяни́ца — рубашка из конского волоса, надеваемая на голое тело, под платье, ради «умерщвления плоти» (обычно — монашеская).

Вожева́тый — обходительный.

Во́здух (церк.) — покрывало, употребляемое в церкви, богато вышитое изображениями святых и узорами. Воздухи (или воздуха) обычно вышивали по обету, в дар церкви, женщины из высших сословий.

Во́и — ратники, воины.

Вото́л — верхняя долгая грубая дорожная одежда из валяного сукна. В описываемое время существовали также дорогие, саженые жемчугом (обычно — княжеские) вотолы.

Во́тчина — наследственный (позже — жалованный в наследственное владение) земельный надел, владение, в

пределах которого владелец имел ряд судебных и прочих прав относительно крестьян, живущих на его земле. Вотчинники (обычно — бояре) по суду отвечали лишь перед самим князем, на что им давалась «несудимая грамота», удостоверяющая их право не отвечать перед государственными судебными органами.

Выжля́тник — псарь. *Выжля, выжлец* — охотничья собака.

Вы́морочный — оставшийся без хозяев (умерших).

Вы́ступки — кожаные башмаки (обычно женские) вроде туфель без каблука. (Каблуки в старину были только у мужской обуви).

Вы́ход (ордынский) — дань, собираемая для Орды (обычно по полугривне с «дыма», с одного двора). Выход был тяжел тем, что его надо было вносить серебром, а дорогого металла при господстве натурального хозяйства в обороте было очень мало.

Вя́тший (новгородское) — лучший, благородный, знатный. Вятшими в Новгороде были крупные бояре-землевладельцы.

Голы́зина — проплешина в поле.

Горбу́ша — старинная коса с короткою кривой рукоятью. Затачивалась, как нож. Косили ею внаклонку и в обе стороны. Позволяла косить в кустах, среди деревьев.

Го́рний — верхний. В переносном смысле — небесный («выси горние»).

Городня́ — городская рубленая стена; часть стены между двумя башнями.

Грань — затес, зарубка на дереве, отмечающая границы поземельных владений.

Гри́вна — продолговатый серебряный слиток, служивший основной оборотной единицей. (Старая «ветхая» гривна — 49,25 г. серебра, новая гривна «новгородка» — 197 г. серебра. В центральной Руси были гривны в 140—160 г. серебра. Одна старая гривна = 25 ногатам = 50 кунам = 100 векшам (белкам) или: 20 ногатам = 50 кунам = 150 векшам). В названную эпоху на Руси был период безмонетного торгового обращения. Были кожаные деньги (белки) и весовые гривны, принимавшиеся по весу заключенного в них серебра. Иностранные монеты (восточные и западные) могли употребляться тоже, но не как правило. Рыночная торговля была, в основном, видимо, меновой.

Грифо́н — геральдический византийский и древнерусский зверь с телом льва, головой и крыльями орла.

Гу́льбище — балкон, терраса для прогулок, иногда — пиров.

Дво́рский — управитель, ведущий дворовое хозяйство князя или боярина. В его ведении службы, мастерские, снабжение усадьбы и проч. Собственно имуществом и казной ведал ключник, а управляли селами — посельские.

Делюй (делюи и ордынцы) — сборщик татарской дани (из русских) низшего разряда.

Дёрвиш — род странствующего монаха на мусульманском Востоке.

Дети боярские — младшая дружина (младшая по значению, а не по возрасту). Обычно набиралась из бедной, малоземельной боярской служилой среды, также из молодых, только начинающих карьеру юношей. Жили дети боярские обычно тут же, на княжеском дворе.

Джут — гололед (в степи).

Доли́чье — фон иконы, всё, кроме лица (лика) святого.

До́ндеже — доколе, покуда, пока, до.

Ендова́ — низкая широкая чаша, род братины. От последней отличалась наличием носка для разлива питий. Ендовы в быту были чаще всего медные, в богатых домах — из серебра.

Живо́т — жизнь, добро, имущество. Лишить живота — лишить жизни. Крестьянские животы — крестьянское имущество, рухлядь, скот, добро. Обезживотеть — обеднеть.

Забо́рола — верхняя часть городской крепостной стены, верхняя площадка, «забранная» с наружной стороны стенкой с бойницами в ней.

Заво́ры — засовы, запоры. В полевой изгороди — жерди, которыми закрывались ворота.

Зага́та — соломенная окутка избы на зимнюю пору. Делалась из жердей огорожа вокруг дома, а затем пространство между ней и стеной плотно набивалось соломой.

Зажи́ток — имущество, добро, богатство.

Зажи́тье — военный рейд (обычно совершаемый конницей) с целью грабежа вражеской территории; сопровождался захватом полона, угоном скота, поджогами.

Закома́ра — сводчатое полукруглое перекрытие в храме над пролетом (каморой). Поскольку храмы чаще всего строились в три пролета (нефа), то и закомар было по три с каждой стороны. Кровля, крытая по закомарам,— полукругами. Снаружи членение по закомарам подчеркивалось выступающими гранями (лопатками).

Замятня́ — беспорядок, паника, мятеж, усобица и проч.

Зауша́ть — наносить пощечины.

Зендя́нь — пестроцветная хлопчатобумажная материя, привозилась из Бухары.

Зерцáло (бронь с зерцалом) — латы, соединенные с кольчугою. Металлическая сплошная накладка на груди, соединенная с кольчугой, обычно блестящая.

Изóграф — художник.

Инуда, и́нуды — иное место, другая сторона.

Исихия — молчание. Греческие монахи афонских монастырей *исихасты*, творя молчаливую «умну́ю» молитву, доводили себя с помощью медитации до состояния, в котором начинали видеть невещественный *фаворский свет*. Сущность споров, разгоревшихся в Цареграде, была такова. Выходец из Италии Варлаам утверждал, согласно учению католической церкви, что в мире есть только две субстанции: нематериальная и непостижная — бог, и материальная «тварная» — созданный им зримый мир. Практика монахов-исихастов, по его утверждению, была ложной, и видели они не свет, а лишь свои болезненные галлюцинации. Григорий Палама, двадцать лет проведший на Афоне, постигая исихию, утверждал, что в мире три сущности: непознаваемый бог, тварный мир и истекающие из божества энергии, пронизывающие и творящие видимый мир. И что эти энергии узреть можно, то есть смертному возможно постичь божество, обóжиться. За этими спорами стояли два взгляда на мир и назначение церкви. За Варлаамом — представление о том, что церковная иерархия во главе с папой римским повторяет божественную и, следовательно, надо принять унию с Римом. Согласно Паламе, напротив, утверждался принцип православия: высшим авторитетом церкви является она сама, соборно, со всеми верующими, поскольку каждый, хотя в идеале, способен узреть фаворский свет и приобщиться к богу, а посему именно греческая церковь хранит истинные заветы православия и, следовательно, никакая уния с Римом невозможна. Учение паламитов-исихастов об энергиях проложило дорогу современной энергетической картине мира.

Каáн, кагáн — князь, хан.

Калáм — тростниковое перо.

Калитá — кошелек, носимый на поясе.

Камилáвка — монашеская черная шапочка типа глубокой тюбетейки, надевалась под клобук. Также головной убор белого духовенства.

Кáмка — шелковая ткань.

Кáпище — местонахождение капов — идолов. Языческий храм, божница, место отправления языческих культов (часто под открытым небом).

Карагóд, каравóд — хоровод.

Ке́ларь — монастырский управитель, инок, ведающий монастырским имуществом, припасами и светскими делами монастыря.

Ки́ка, кичка — женский головной убор, кокошник с «рогами» или высоким передом.

Кичи́га — длинная палка с плоским, похожим на человечью стопу, расширением на конце. Употреблялась для полоскания белья в проруби и выколачивания мокрого белья (также, видимо, для молотьбы).

Клеве́ц — оружие типа молоточка или топорика, но с острым зубом, «клювом», на конце, предназначенным для проламывания доспехов.

Клобу́к — монашеский головной убор, обычно черный. У высших иерархов церкви мог быть, наоборот, белого цвета. (Специальный клобук получил, например, в Константинополе новгородский архиепископ, чем впоследствии очень гордились новгородцы). Клобук надевали сверх камилавки (шапочки, похожей на глубокую тюбетейку), он закрывал уши и спускался концами на плечи.

Клю́чник — управитель в доме (ведающий ключами). Обычно — первое лицо после господина.

Кметь — воин, ратник.

Княжчи́ны — личные княжеские земельные владения, данные князю за службу или купленные им на территории княжества.

Колгота́ — ссора, свара, неурядица.

Ко́лкол (обл.) — колокол.

Колт, колты — украшение в форме полумесяца со сложным узором, иногда использовалось как сосудик для духов. Колты вешали над ушами, прикрепляя к головному убору. Их украшали перевитью, зернью, чеканкой, чернью, многоцветной эмалью. Изготовлялись обычно из золота или серебра.

Колонта́рь — доспех из металлических пластин, скрепленных кольчужным плетением.

Ко́монь, комонный — конь, конный.

Ко́рзно — княжеский парадный плащ, застегивался пряжкою на плече. В названную эпоху постепенно выходит из употребления.

Корм — а) плата натурой за сбор налогов, та часть дани, которую княжеский сборщик (кормленик) по закону берет себе; б) натуральная плата за военную и иную службу, которую служилый человек получал от князя в виде разрешения собирать налоги в свою пользу с определенных волостей. В последующие века система кормлений выроди-

лась, стала приводить к злоупотреблениям и была ликвидирована.

Коромóла, коромольник — измена, изменник.

Коротéль, коротей — короткая женская шубка в талию или прямая.

Косóги — черкесы.

Костёр — крепостная башня (также круглая поленница дров, выложенная в виде башни).

Костыч — будничный сарафан.

Котóра — ссора, вражда. *Которовáться* — ссориться, враждовать.

Кочь — верхняя выходная одежда, род суконного плаща или епанчи.

Коя́р — кожаный панцирь, род кожаной куртки. *Бумажный кояр* — из бумаги (бумазеи), стеганный на вате.

Крêмник (детинец) — кремль, крепость внутри города.

Крюковáя (рукопись) — рукопись с нотными знаками, «крюками», которые ставились над строками текста в богослужебных певческих книгах.

Куманéц, кумгáн — восточный узкогорлый сосуд с носиком и крышкою, обычно металлический.

Кýны — деньги (см. *гривна*).

Куя́к — пластинчатый панцирь из нашитых на сукно чешуек; также род шлема.

Леготá — легкость, послабление, льгота.

Лêпо, прилêпо — красиво, достойно, хорошо.

Лêствичное право — от слова «лествица» (лестница). Обычай княжеского наследования в Древней Руси. Все князья Рюриковичи считались братьями (родичами) и совладельцами всей страны. Поэтому старший сидел в Киеве, следующие по значению в менее крупных городах. Княжили в таком порядке: старший брат, затем младшие (в соответствии с возрастом), затем дети старшего брата, за ними дети следующих братьев, за ними, в той же последовательности, внуки, затем правнуки и т. д. Те из потомков, чьи отцы не успели побывать на великом княжении, лишались права на очередь и получали уделы на прокорм. По мере смены главного князя все прочие переезжали по старшинству из города в город. Такой же лествичный порядок сохранялся и внутри отдельных княжеств, на которые распадалась Киевская держава. Порядок этот помогал сохранять единство страны, но был неудобен в силу постоянных переездов князей с дружинами из города в город и смены администрации. Кроме того, старшие племянники часто ссорились с младшими дядевьями, что вело к усобицам.

Ли́хва — ростовщический процент с капитала, отданного взаймы.

Лови́тва — ловля, охота.

Лони́сь — в прошлом году.

Ло́поть, лопоти́на — одежда.

Лу́да — каменистая отмель.

Ляди́на — сорный лес, заросли, частолесье, смешанный подрост на пожоге или на болоте.

Мамлю́к, мамлю́ки — наемная армия в Египте. Вербовалась из покупных рабов, в том числе из половцев, которых монголы продавали в рабство крымским купцам. Половцы-мамлюки захватили власть в Египте (первый их султан — Бейбарс) и начали борьбу с персидскими монголами. Им удалось отбить наступление монголов. В борьбе с персидскими ильханами египетские мамлюки заключали союзы с Золотой Ордой. Через Византию в Орду и из Орды в Египет посылались посольства.

Мисю́рка — невысокий округлый шлем типа железной тюбетейки, восточного происхождения. *Мисю́рский* — египетский.

Ми́тра — высокая твердая шапка из драгоценных материй, богато украшенная. Головной убор епископов и митрополита во время богослужения.

Молоде́чная — караульное помещение; казарма, где находилась дружина, охранявшая господский двор.

Монатья́ — мантия монаха, накидка.

Мура́вленая (от слова мурава — трава) печь — печь, которую покрывали изразцами, расписанными травами.

Мурья́ — пчелиный улей (внутренность его); конура, тесное помещение, лачуга. Сидеть в своей мурье — заниматься своими семейными делами, ничем более не интересуясь.

Му́фтий — мусульманский священник, проповедник, духовное лицо.

Мухо́ртый — невзрачный, хилый. Также цвет конской масти (с подпалинами, с желтизною на морде и в пахах).

Мы́то — торговая пошлина. *Мытный двор* — таможня. *Мытное* — то, что платят, определенная сумма торговых сборов.

Нако́н — раз.

Нало́й — столик с наклонной доской для чтения и письма.

Напа́рья — коловорот, большой плотницкий бурав.

На́ручи — твердые нарукавья, надевавшиеся отдельно, часто из дорогого материала (парчи), шитые жемчугом.

Насáд — речное судно с набитыми (повышенными) бортами.

Нестроения — смуты, нелады.

Несудимая грамота — грамота на владение вотчиной, одновременно удостоверяющая неподвластность владельца обычному суду (вотчинники судились у самого князя).

Низ, Низовская земля (в смысле географического расположения) — относительно Новгорода — Владимирская Русь, относительно Руси Владимирской — Поволжье.

Ногáта — единица денежного счета в Древней Руси (см. *гривна*).

Нойóн (монгольск.) — родовой правитель, князь, военачальник.

Нýкер (монгольск.) — телохранитель.

Обáдить — улестить, расположить к себе; обмануть.

Обжа — мера пахотной площади, определяемая объемом работы; то, что обрабатывает человек на одной лошади (в зависимости от качества земли могла быть больше и меньше). В Новгородской области около 5 десятин в одном поле (при принятом трехполье всего 15 десятин пашни и поля).

Обло, облый — круглый, закругленный. Рубить в обло (с остатком) — вырубать чашку, полукруглый паз в бревне, в который поперек укладывается следующее бревно сруба.

Обрудь — сбруя.

Овнач — род чаши.

Одеснýю — по правую руку (десница — правая рука).

Огнищáнин — хозяин, домовладелец, член племени, деревни и проч.

Опашень — долгая распашная верхняя одежда с короткими широкими рукавами (обычно летняя).

Осóчник — загонщик на охоте. *Осок* — облава.

Отень — отчий, родовой, отеческий.

Охабень — верхняя долгая одежда прямого покроя с четырехугольным откидным воротом и с прорехами для выпрастывания рук.

Охлýпень — верхнее бревно, с выдолбленной в нем выемкой, которым прижимались доски или драни на кровле. Кладется сверху коневого бревна, комлем к фасаду. На лицевой стороне из конца охлупня (из корня) вырезали голову коня.

Охлю́пкой — верхом без седла.

Ошýю — слева, по левую руку (шуйца — левая рука).

Па́бедье — полдник, второй обед.

Па́волока — шелковая ткань.

Па́ворзень — ремешок для прикрепления оружия к руке воина.

Пайцза — металлическая или деревянная дощечка с надписью, выдаваемая монгольскими ханами своим подданным. Служила и охранной грамотой, и знаком власти, и пропуском.

Па́ки — опять, снова.

Панаги́я — нагрудное украшение высших иерархов церкви.

Папёрки (обл.) — паперть.

Па́рдус — гепард, барс.

Па́узок — речное грузовое судно.

Пе́леть — хозяйственная пристройка к овину для хранения кормов.

Пеня — штраф.

Пли́нфа — старинный плоский квадратный кирпич. (В послемонгольское время выходит из употребления.)

По́быт — обычай.

Повалу́ша — верхнее жилье в богатом доме, место сбора семьи, приема гостей. В боярских хоромах повалуша — богато украшенное помещение для торжественных приемов и пиров, поднятое на высокий подклет. Также спальня, иногда без печей, холодная.

Пово́йник — головной убор замужней женщины.

Позо́вник — приказной служитель (вызывающий на суд).

Полть (мяса) — половина туши, разрубленной вдоль по хребту.

Помава́ть — помахивать, качать.

Поми́нки — подарки.

Пополо́нок — придача к покупной цене (полагалась по традиции при всякой значительной покупке). Иногда пополонком служил какой-нибудь предмет, драгоценность, домашнее животное.

Поприще (церк.-слав.) — путевая мера, около 20 верст (дневной переход). В некоторых значениях — меньшая мера. В переносном смысле — поле деятельности.

Поро́к — камнеметная осадная машина для разрушения городских укреплений. Также таран.

По́ртно — холст, сотканный из грубой пряжи — пеньковой или льняной. Вообще холсты, холстина.

Порты́ — одежда (вся). В узком смысле как штаны стало употребляться в более позднюю эпоху.

По́ршни — род сандалий из обогнутого вокруг ноги и

присборенного у щиколотки куска кожи (обычно сыромятной). Также кожаные плетеные лапти.

Посéльский — господский управитель на селе.

Поскóнь — грубая льняная ткань (холст).

Постáв (сукна) — штука, целый кусок ткани.

Посýживать (грамоты) — заново утверждать, возобновлять. Посуживал грамоты на землю новый князь, удостоверяя этим свое согласие с постановлениями предшественника. Непосуженная грамота теряла свое значение.

Потúр — кубок для вина, употребляемого при богослужении, полусферический, на высокой ножке. Обычно богато украшался.

Поя́ть — взять.

Прок — прочее, остаток.

Прóтивень — список с грамоты, копия, составляемая одновременно с основным текстом и имеющая такую же правовую ценность.

Протóри — потери, издержки, убытки.

Пятнó (конское) — клеймо, тавро на лошадях. Продажу коней в Древней Руси контролировала княжеская власть, взимая особый налог за «пятно» — за клеймение и продажу лошадей.

Разлáтый — широкий, раздавшийся в стороны.

Раменá (церк.-слав.) — плечи.

Рáменье, раменной лес — лес на опушке, соседний с пашнями; мешаное чернолесье; густой, дремучий лес; лесной клин.

Рéзы — знаки, отметки (бортные знаки и проч.), в том числе долговые отметки, по которым взимали ростовщический процент со взятого в долг капитала. *Резы емлют* — занимаются ростовщичеством.

Рогáгита — копье с широким и длинным лезвием, иногда с двумя поперечными рожками ниже лезвия. Охотничье и боевое оружие (у пехоты).

Ропáта (новгородск.) — немецкая (вообще западная) церковь.

Рýхлядь — мягкое имущество, меховые вещи и проч.

Рыбий зуб — моржовый клык (так же называли и слоновую кость).

Рядóк — небольшое торговое поселение.

Сак — сетяной мешок для переноски сена.

Сарафан — в описываемую эпоху мужская долгая рубаха (верхняя). Позже превратился в женскую одежду.

Сая́н — женское платье (род сарафана) с большими декоративными пуговицами от ворота до подола, обычно металлическими, сквозными.

Свесть — свояченица.

Свёя — шведы, Швеция.

Сéни — отдельно поставленная постройка на столбах или на подклете в ансамбле княжеского двора, связанная с теремом висячими переходами. Без печей. Служила для княжеских пиров, приемов. Наличие подобных сеней отличало в старину именно княжеские хоромы.

Сидéлец — купец (лавочный купец).

Сиóн (выносной) — символическое изображение иерусалимского храма (в размер блюда и высотой до полуметра). Его ставили в алтаре на престол и выносили во время торжественных богослужений.

Скань — вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой или серебряной проволоки, гладкой или свитой веревочкой. Сканая работа высоко ценилась в древности. Сканью украшались колты, перстни, дорогие переплеты книг, оправы кубков, пластинчатые пояса и проч.

Скéпать — колоть, щепать.

Скóра — шкура (отсюда — *скорняк*).

Слега, слеги — жерди, которыми кроют кровлю (кладут поперек стропил). Вообще жерди, которыми что-то закрывают, застилают (пол, потолок и проч.).

Смерд — крестьянин, свободный общинник, человек. (Презрительный оттенок слово приобрело позже.)

Снем — сейм, княжеский съезд, совещание.

Собь, собина — собственность.

Солéя — возвышение в церкви перед алтарем.

Сорочинская каша — рисовая. Рис звали «сорочинским пшеном» (сарацинским), поскольку привозили с юга, из мусульманских стран.

Сря́да — одежда, костюм. *Казать сряду* — показываться в праздничном наряде жениху (один из этапов русского свадебного обряда).

Стéчка — место слияния двух речек.

Стóгны — площади.

Сторóжа — стража, охрана, разведка (военная), караул.

Стратилáт (греч.) — воевода.

Стря́пать — медлить, долго собираться.

Сýлица — легкое и короткое копье конного воина, часто — метательное копье.

Сябр, сябер — товарищ, артельщик, соучастник.

Тамгá — клеймо, печать, одновременно налог с продажи клейменого товара.

Тать, татьбá — вор, воровство.

Тегилёй, тегилёя — простеганный, на толстом слое ваты, шерсти или войлока матерчатый панцирь.

Толмач — переводчик, знаток языков. *Толмачить* — переводить, уметь объясняться на чужих языках.

Торока́ — сумки, прикреплявшиеся к седлу, а также ремни, которыми верхоконный привязывал позади седла различную кладь. *Торочить* коней — нагружать торока, привязывать к седлу что-либо (например, копья на походе, снедь, лишнюю запасную одежду, бронь, оружие и проч.).

То́рчин, торк — обрусевший кочевник из племени торков, когда-то поселенного русскими князьями под Киевом.

Тру́дник — работник, временно обязанный или сам обязавшийся (из религиозных соображений) трудиться в монастыре. Также инок, взявший на себя обет какого-то подвижничества.

Тумён — военное подразделение в монгольской армии, десять тысяч всадников. Иначе — *тьма.* Начальник тумена — *темник.* Первоначально все монгольское войско состояло из одиннадцати туменов.

Тупи́ца — лопата (деревянная, с железной оковкой); также древокольный топор, колун.

Убру́с — платок (обычно белый); полотенце.

Улу́с (монгольск.) — становище кочевников, поселение; шире — страна, область, подчиненная единому управлению (одному из ханов-чингисидов).

Усмя́глый — усталый, потный, замученный, сонный.

Учан — речное судно (по-видимому, грузовое).

Ушку́й — новгородская легкая ладья. Новгородцев, ходивших на ладьях-ушкуях в военные походы на Низ, называли *ушкуйниками.*

Фаво́рский свет — свет, в ореоле которого, по евангельскому преданию, Христос явился избранным ученикам на горе Фавор. Афонские монахи XVI столетия особыми приемами и молитвами (род медитации) доводили себя до такого состояния, что могли видеть «священный свет» — как бы прямое истечение божества, невидимое другим людям.

Согласно христианскому богословию бог представляет триединство Отца, Сына и исходящего от них Духа Святого в виде света. Этот-то невидимый свет и называли *фаворским.* Видеть фаворский свет — значило из этого земного и грешного состояния суметь прорваться к потустороннему, незримому, надматериальному, суметь соединиться с божеством, что давалось только при достижении абсолютной святости. Свет этот мог также окружать ореолом и самого святого (обычно его голову, почему вокруг голов святых на иконах изобража-

лось сияние в виде золотого круга). Истечение света в результате усиленной духовной (мозговой) деятельности, иногда видимого простым глазом, отмечено и современной медицинской наукой.

Фе́рязь — мужское долгое платье с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Также женское платье, застегнутое донизу.

Фини́фть — эмаль.

Фря́ги, фря́жский — итальянцы, итальянский.

Харалуг — булат, сталь.

Хату́нь — женщина, жена, ханша.

Хвалынское море — Каспийское.

Холоп — раб. Рабами были обычно работники при дворах зажиточных людей (крестьяне все были свободными). Часто в холопы поступали (записывались, беря на себя «обельную грамоту») даже лица из боярской среды, разорившиеся землевладельцы. Такие холопы становились управляющими, посельскими, дворскими, ключниками. Поскольку они были холопами, господин мог их убить в случае измены и, следовательно, рассчитывал на их верность во время службы; с другой стороны, за верную службу холопа, при смерти господина, отпускали на волю, наделяя добром. То есть разорившийся вотчинник, поступив в холопы и верно прослужив господину, мог потом вновь получить (в дар) деревню и стать полноправным землевладельцем-вотчинником — снова войти в боярскую среду. Холоп-управляющий жил много лучше рядовых свободных крестьян, с господином был в большой близости (отсюда и пошли патриархальные отношения и холопская верность, дожившая до XVIII—XIX вв). Холопство, таким образом, могло быть путем к карьере. Были холопы — военные слуги (дружинники).

Хоро́с — церковная висячая люстра в виде круга с укрепленными на нем свечами.

Хуру́т (монгольск.) — род сыра из свернувшегося при кипячении кислого молока. Хурут отжимают, режут на кусочки и сушат на солнце впрок. В зимнюю пору хурут разводят теплой водой и получившуюся кислую жидкость пьют вместо молока.

Цени́нный — изразцовый. Ценинное производство — производство обливной посуды и изразцов. В описываемое время изразцы были еще редкостью.

Чадь — младшая дружина, иначе: детские слуги, вольные слуги.

Чапа́н (татарск.) — дорожное верхнее платье прямого покроя из грубошерстного сукна.

Часы (церк.) — молитвы на определенное время (несколько раз на дню). Служить или читать часы — читать и петь псалмы и молитвы.

Чéлядь — прислуга. *Челядня* — помещение для слуг, людская.

Чёботы — сапоги.

Чёрный бор — налог (сборы) с черных (крестьянских) волостей. Этот налог время от времени требовали владимирские князья с Новгорода. Новгородцы, опираясь на свою независимость, черного бора старались не платить и давали лишь под нажимом военной силы.

Число (татарск.) — перепись людей и дворов с целью обложения данью. На Руси число проводилось дважды: один раз при Александре Невском (распространившем число на Новгород); другой — при Василии Костромском (при хане Берке).

Чýга — летняя верхняя одежда, узкая, с короткими, по локоть, рукавами, из которых высовывались рукава нижней одежды.

Шестопёр — род булавы, металлическое оружие с круглым концом, усаженным пластинчатыми стальными выступами. Часто — знак воеводского достоинства (как и булава).

Шишáк — шлем с навершием, каска с гребнем или хвостом.

Шишкó — домашний черт, род домового. Приписывают склонность к мелким каверзам: бесить лошадей в стойлах, душить (не до смерти) спящих и проч.

Щепетúнный (товар) — мелочный галантерейный товар: украшения, бисер, духи, помада, шнурки, нитки, иголки, безделушки, пуговицы и проч. *Щепетильник* — продавец галантереи. Часто торговал вразнос.

Энколпиóн (греч.) — створчатый нательный крест (для помещения в нем частицы мощей).

Энкóмий — похвальная речь, жанр византийской литературы, появившийся в V—VI вв. В энкомии чередовалась ораторская проза с диалогическими сценками. Исполнялись энкомии иногда в лицах (во время больших церковных празднеств, в церкви).

Ясы — см. *аланы.*

Яхонт — собирательное название ряда драгоценных камней (алых и голубых), преимущественно лалов — рубинов и сапфиров, а также аметистов и гиацинтов.

СОДЕРЖАНИЕ

Балашов Д. М.

Б20 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Младший сын: Роман/Вступ. ст. Л. Гумилева.— М.: Худож. лит., 1991.—622 с.

ISBN 5-280-01601-2 (Т. 1)

Собрание сочинений Дмитрия Балашова открывается историческим романом из серии «Государи Московские» — «Младший сын». Действие происходит во второй половине XIII века, после кончины Александра Невского. Его младший сын, Даниил, создает Московское княжество — центр будущего Русского государства. Старшие сыновья — Дмитрий и Андрей — вступают в кровопролитную борьбу за власть, за Великое княжение владимирское.

Б $\frac{4702010201-165}{028(01)-91}$ Подписное

ББК 84Р7

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БАЛАШОВ

Собрание сочинений в шести томах

Том первый

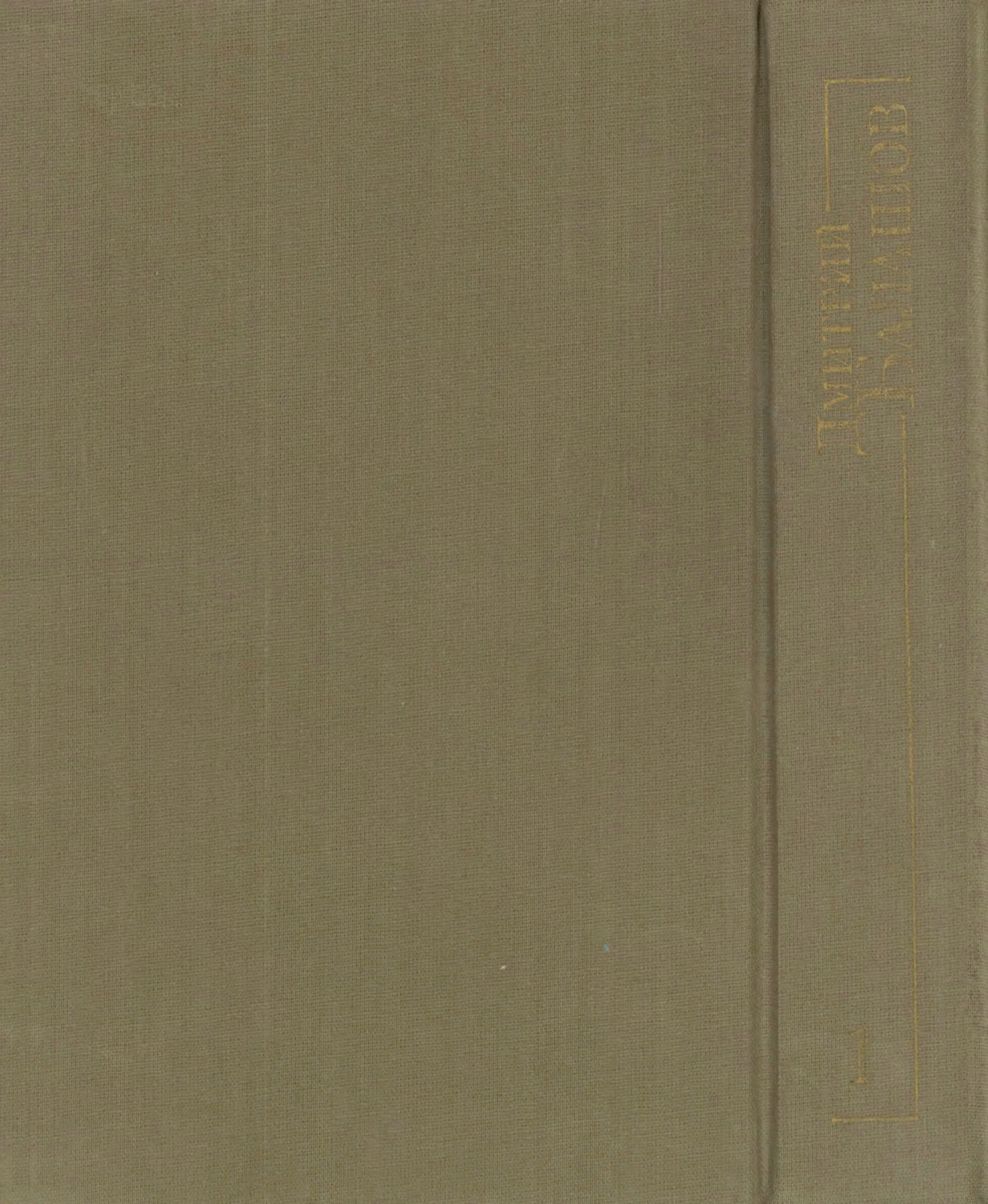
Редакторы Т. Шурыгина, Е. Дворецкая
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор Н. Кошелева
Корректоры Т. Сидорова, Н. Замятина

ИБ № 6285

Сдано в набор 02.11.90. Подписано к печати 24.06.91 Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76 + 1 вкл. = 32,81. Усл. кр.-отт. 32,86. Уч.-изд. л. 35,72 + 1 вкл.= 35,77 Тираж 100 000 экз. Изд. № III-4001 Заказ № 1556. Цена 8 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28


Дмитрий
Балашов
1